Allan Shade http://soc.lib.ru

Американская социологическая мысль

ББК 60.5 А61

Рецензенты: доктор философских наук Голенкова З. Т., кандидат философских наук Коровин В. Ф.
Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Московского университета

Американская социологическая мысль: Тексты / Под В. И. Добренькова.—М.: Изд-во МГУ, 1994.—496 с. ISBN 5-211-03099-0

Вниманию читателей предлагается обширная хрестоматия по американской социологии XX века. В этой стране западного мира социологическая теория и прикладные исследования развивались наиболее интенсивно. Книга имеет прежде всего учебное предназначение. Тексты американских социологов раскрывают действительные проблемы реальных людей.
В книгу включены впервые переведенные на русский язык статьи и отрывки из произведений наиболее значительных представителей американской социологической мысли, таких, как Г. Блумер, Т. Знаменский, Ч. Кули, Г. Маркузе, Р. Мертон, Т. Парсонс, П. Сорокин, А. Шюц и др. Дана широкая панорама направлений американской социологии конца XIX — начала XX вв.: структурный функционализм, необихевиоризм, интеракционизм, неомарксизм, экзистенциальная социология.
Для специалистов в области истории социологии и социальных наук, студентов, аспирантов, преподавателей.

ББК 60.5
АМЕРИКАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
Зав. редакцией Н. А. Рябикина
Редакторы З.С. Ершова, В. М. Бакусев, Н. П. Сушка
Переплет художника В. С. Вехтера
Художественный редактор А. Л. Прокошев
Технический редактор Н. И. Смирнова
Корректоры S. И. Долина, В. В. Конкина
ИБ № 4270
ЛР № 040414 от 27.03.92
Сдано в набор 02.12.93. Подписано к печати 16.05.94. Формат 60X90/,$. Бумага офсет. № 1. Гарнитура литературная. Офсетная печать. Усл.-печ. л. 31,0. Уч.-изд. л. 34,92. Тираж 5000 экз. Заказ 1706. Изд. № 1968. Ордена «Знак Почета» издательство Московского университета. 103009, Москва, ул. Герцена, 5/7 Издательство Московского университета, 1994 г. 170000, г. Тверь, Студенческий пер., 28 Областная типография ISBN 5-211-03099-0

ПРЕДИСЛОВИЕ

Кафедра истории и теории социологии социологического факультета Московского государственного университета предлагает вниманию читателей обширную хрестоматию по американской социологии XX века. Именно в этой ведущей стране западного мира социологическая теория и прикладные исследования развивались, пожалуй, наиболее интенсивно.

Книга имеет прежде всего учебное предназначение в рамках программ факультетов и отделений социологии наших вузов. Однако первая публикация на русском языке текстов, в совокупности представляющих широкую панораму американской социологической мысли нашего столетия, должна заинтересовать не только тех, кто связан с социологическим образованием в узком смысле, но и обществоведов других специальностей, а по существу, и всех тех, кто стремится к укреплению авторитета и значимости социологии во всех сферах нашего общества.

Современный «ренессанс» социологических исследований в нашей стране глубоко симптоматичен. Ведь радикальные изменения в сферах политики, идеологии, экономики, призванные обновить наше общество, сделать его подлинно гуманным и динамично развивающимся, немыслимы без разработки фундаментальной системы научно обоснованной «навигации», определяющей путь в будущее. Подобная система

социальной ориентации не может не опираться на достижения социологии, других общественных наук, на достоверную социальную информацию, широкую академическую гласность и демократию. Социология в своих лучших мировых образцах учит непредвзятости социального анализа, обоснованности оценок и практических выводов. Перефразируя известное изречение Огюста Конта, можно с уверенностью сказать, что в политическом или общественном действии любого масштаба будет ровно столько научности (а значит, и эффективности), сколько в нем содержится социологии.

Социология по самой своей природе гуманистична. Она есть в конечном счете наука о действительных проблемах реальных людей. Эта исконная близость социологии к живой человеческой реальности в чем-то роднит науку, которую мы представляем, с медициной. И в той и в другой области теории и социальной практики должны господствовать принципы гуманизма, объективности, повышенной нравственной ответственности. Если медицина ставит своей задачей предотвращение болезней, диагностирование и лечение с целью спасения человеческих жизней, то социология видит свою миссию в том же самом, но только по отношению к обществу в целом.

Гуманизм всегда должен быть конкретным и действенным. Обостренный социальный «нерв» социологии — это то, что может и должно обнаруживать свое присутствие во всех возможных формах и видах социологической деятельности: от студенческого реферата до итоговой научной монографии, от простейшего исследования локального масштаба до социологического обоснования долговременной политической стратегии. И здесь нам есть что перенять у наших американских коллег, как правило, не теряющих из виду гуманистические ориентиры социальных исследований, какой бы частный характер они ни носили. И потому сегодня нельзя не согласиться с американским социологом Алексом Инкельсом, утверждающим, что если мы хотим пойти дальше простого составления статистических таблиц уровней мобильности различных страт к более сложным объяснительным схемам, обладающим возможностями прогноза в новых ситуациях, мы должны уметь обращаться с личностным компонентом — мотивированным субъектом деятельности в условиях социального действия.

Гуманистическая направленность социологии, присущий ей интерес к проблемам людей и общества позволяют ей быстрее других дисциплин освобождаться от груза догматизма, ибо социология, одна из наиболее практически ориентированных общественных наук, чутко и динамично реагирует на запросы общества и менее всего склонна принимать что-либо на веру без соответствующей процедуры верификации. В исследованиях современных американских социологов читатели предлагаемой книги, надо думать, ощутят этот дух здорового критицизма, присущий американскому национальному сознанию. Вспомним известные слова Алексиса де Токвиля о том, что «Америка — одна из стран, где правила Декарта менее всего изучают, но где их более всего применяют на практике... Американцы следуют картезианским принципам, так как те же условия общественной жизни естественным образом предрасполагают их умы к восприятию этих принципов». Эти слова, сказанные полтора века назад, когда социология еще не существовала как самостоятельная наука, справедливы в наши дни. Социологическая теория в США — и не только в лице так называемого «критического» направления» (Ч. Р. Миллс), но и в целом — дает пример трезвости анализа, даже если мы по тем или иным причинам не согласны с исходными методологическими посылками осуществляющего его социолога.

Ныне, когда во всем мире, в том числе и у нас, раздаются призывы добиться деидеологизации социологии, видимо, можно и должно говорить об освобождении социальных наук от социального превосходства, идейного догматизма.

Но, думается, никто из тех, кто считает себя социологом, не должен и не может отказаться от идеологии гуманизма, идеологии общественной морали, идеологий миролюбия. И дело даже не в том, как понимать соотношение идеологии и социологии или же трактовать понятие «идеология». Важнее всего признать сами эти принципы, утвердить их не в качестве абстрактных лозунгов, а как руководство к социальному действию. Это — необходимое требование для всех современных социологов и грядущих поколений служителей этой прекрасной науки.

Социология призвана объединять людей и страны, общественные организации и научные сообщества, интегрируя интеллектуальные усилия и направляя их на достижения ближайших и отдаленных целей сохранения человечества. Именно под этим углом зрения, как представляется, и следует трактовать известное положение Толкотта Парсона об «интегративном состоянии» социальной системы, что и признавалось этим выдающимся социологом одной из главных функций любых состояний, структур и процессов, присущих обществу.

Однако любой процесс подлинной интеграции происходит только в условиях динамического демократизма, получившего разностороннее объяснение в современной социологической теории. И разве не предельно актуально звучат для всех нас слова уже цитировавшегося Т. Парсонса о том, что как бы социологи не понимали термин «социальная система», «она всегда рассматривается как «открытая» система,

находящаяся в отношениях взаимозависимости и взаимопроникновения с рядом окружающих систем. Отсюда следует,— завершил свою мысль американский ученый,— что специфические способы связи с окружающими системами должны находиться в центре внимания социологии...». С этими утверждениями Т. Парсонса нельзя не согласиться.

Понятие «открытость» в современном обществознании и, более того, в современном мире становится синонимом международного взаимопонимания, доверия, содружества во имя реализации общечеловеческих идеалов. Однако эти гуманистические принципы не материализуются в деятельности людей и государств сами собой. Для их воплощения в социальные действия требуются немалые усилия, причем усилия целенаправленные, научно обоснованные. Наконец, открытость и интеграция подразумевают создание единого языка общения в самом широком смысле этого понятия. Ведь новое политическое мышление, заявившее о себе в современном мире столь ярко и убедительно, требует и нового языка. И здесь роль социологии может быть уникальной. Именно эта социальная наука разрабатывает язык взаимопонимания в ходе исследования общечеловеческих социальных проблем, которые роднят самые различные общества, страны, регионы. Конкретные исследования этих проблем, их теоретическое осмысление в рамках социологии становятся цементирующим раствором, связывающим все человечество в единое, но бесконечно богатое, внутренне многообразное целое. «Единое во многом» — этот принцип, дошедший до нас еще со времен античности, с новой силой заявляет о себе в социологии XX века. Читая помещенные в данном сборнике тексты социологов, читатели еще раз убедятся, как важно сохранять в науке принцип плюралистичности, состязательности школ и направлений, когда взаимные несогласия — а их немало среди американских социологов — не приводят к взаимному отрицанию и борьба идей не сопровождается борьбой людей в науке. Что ж, это один из важных уроков, который мы можем почерпнуть из изучения новейшей истории американской социологии, урок, свидетельствующий не только о высоких теоретических и прикладных достижениях этой науки в США, но и об уровне как социологической культуры, так и культуры в социологии, достойных самого пристального внимания.

Но, быть может, самое главное состоит в том, что вдумчивый читатель обнаружит в книге материалы для самостоятельных размышлений, когда те или иные мысли, высказанные американскими социологами, позитивно или негативно натолкнут его на самостоятельный поиск в социологии, помогут ему увидеть идейно-теоретическую ситуацию, сложившуюся в американской социологии в целом, а вместе с тем и более отчетливо осознать задачи, стоящие перед современной социологической мыслью.

Историческая ситуация дает нам, социологам обеих стран, прекрасную возможность объединить наши усилия во имя достижения научных целей, обогащая наши национальные культуры, сближая народы наших стран. Предлагаемый сборник текстов американских социологов создавался группой социологов Московского университета как продуманный вклад в дело решения этих больших задач. Мы надеемся, что за первым шагом последуют и другие — встречное движение должно быть динамичным и реальным.

Предлагаемый сборник текстов американских социологов создавался творческой группой преподавателей и сотрудников кафедры истории и теории социологии под руководством доктора филос. наук, заведующего кафедрой, декана социологического факультета В. И. Добренькова. Редактор-составитель сборника кандидат ист. наук Е. И. Кравченко. Научно-вспомогательная работа выполнена Д. И. Водотынским.

Редакторы сборника выражают глубокую признательность сотрудникам кафедры истории и теории социологии доктору филос. наук Е. И. Кукушкиной, кандидату филос. наук В. П. Трошкиной, кандидату филос. наук Е. В. Гарадже, кандидату филос. наук Л. П. Беленковой, кандидату филос. наук Н. Е. Покровскому, кандидату филос. наук С. М. Никитину, оказавшим помощь при подготовке этой книги, а также студентам и аспирантам социологического факультета, принявшим участие в работе по переводу оригинальных текстов.

БИХЕВИОРИЗМ. ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБМЕНА

П. М. Блау. РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ И ИХ ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ[1]

[1] B1au P. M. Introduction: Diverse Views of Social Structure and Their Common Denominator //

Continuities in Structural Inquiry / Ed. by P. M. Blau, R. K. Merton. London; Beverly Hills, 1981. P. 1—23. Перевод А. Бурака.

На Всемирном социологическом конгрессе в Упсале (Швеция) в 1978 году три пленарных заседания были посвящены теме «Разновидности структурных исследований». Большинство статей данного сборника первоначально были представлены там в качестве докладов. Как следует из названия сборника, в нем идет речь о преемственности в структурных исследованиях, поскольку он является продолжением более раннего сборника статей на эту же общую тему (Блау, 1975).

Различные главы этой книги (так же как и предыдущей) весьма отличаются не только пониманием социальной структуры, но и методами анализа. В сборнике рассматриваются как чисто качественные аспекты концептуальных проблем, так и количественные аспекты моделей структурного анализа, основывающегося на эмпирических данных. Одни авторы сравнивают и критически оценивают различные теоретические ориентации в изучении социальной структуры, другие выступают с анализом категорий и уточнениями, третьи разрабатывают формальные теоретические модели и применяют их для анализа количественных эмпирических данных.

В связи с этим возникают два вопроса: имеют ли все эти подходы общий знаменатель и есть ли смысл объединять их в одном сборнике? У обществоведов, которых заинтересуют теоретические обсуждения первой части сборника, рассмотрение количественных моделей в третьей части особого интереса может и не вызвать. Возможна и обратная ситуация. Тем не менее есть достаточные основания включить все эти весьма различные модели интерпретации социальной структуры в одну книгу, поскольку лишь таким образом можно подчеркнуть наличие столь большого разнообразия подходов к структурному анализу в настоящее время.

Как отметил мой коллега-редактор в своей статье, вошедшей в предыдущий сборник (Мертон, 1975), разнообразие и плюрализм подходов в научной дисциплине обычно являются главным источником развития научных знаний.

Однако остается вопрос о том, есть ли какая-либо отличительная черта этих авторов, анализирующих социальную структуру и имеющих такие разнообразные точки зрения на ее природу. Существует ли общий знаменатель их подходов, позволяющий провести различие между ними и подходами других ученых-обществоведов. После краткого обзора содержания сборника я намереваюсь дать утвердительный ответ на этот вопрос.

Краткий обзор сборника

Первая часть сборника посвящена подробному рассмотрению различных структурных ориентации. При этом особое внимание уделяется основным и наиболее широко известным формам структурного анализа. В частности, структурализм Леви-Стросса и марксистский структурализм рассматриваются и сравниваются со структурно-функциональным анализом в антропологии и социологии. Теоретическая система Леви-Стросса анализируется в сравнении с теориями Рэдклиффа-Брауна, Парсонса, Вебера и других авторов. Здесь же дается и критический анализ марксистского понимания социальной структуры, которое предлагают Альтюссер и Уоллерстайн. В статьях, вошедших во вторую часть сборника, рассматриваются различные аспекты и элементы социальной структуры, а также делаются некоторые выводы из анализа взаимозависимых структур. И наконец, в последней части конструируются и применяются к эмпирическим данным три количественные модели социальной структуры.

В первых двух статьях структурализм Леви-Стросса противопоставляется структурному функционализму — теоретической традиции, восходящей к Дюркгейму, характерными представителями которой являются английские социологи антропологической ориентации и Парсонс в американской социологии. Лич сравнивает структурализм Леви-Стросса со структурным направлением в британской антропологии, наиболее характерными представителями которого являются Рэдклифф-Браун и Майер Форте. Он подчеркивает, что для этих английских антропологов термин «социальная структура» относится к эмпирической реальности, т. е. наблюдаемым группам и иерархиям, разделяющим общество и «фактически существующим в мире вне нас». В противоположность этому для Леви-Стросса социальная структура — это мысленная конструкция, создаваемая теоретиком для объяснения эмпирических наблюдений и лишь в общих чертах отражающая модели различных эмпирически наблюдаемых положений и отношений. Конечно, английские структуралисты вполне осознают, что эмпирические данные, которые они находят во внешнем мире, зависят от концептуальных схем наблюдателя, а Леви-Стросс специально подчеркивает, что его структурные построения отражают основные черты, хотя и не во всех подробностях, эмпирических закономерностей (patterns), наблюдаемых в различных системах или явлениях. Однако определяющим критерием характера теории и

ее фальсифицируемости, если употребить термин Поппера (1959), является то, относятся или не относятся ее основные категории к эмпирическим закономерностям, которые являются внешними по отношению к теоретическим формулировкам и таким образом представляют собой объективные критерии их истинности.

Это различие между английским и французским структурализмом вызвало споры относительно роли эмпирических данных в антропологических исследованиях родства; споры, которые еще более обострились, когда Леви-Стросс в ряде своих последних работ занялся изучением мифов. Причиной тому стал его способ интерпретации мифов, характеризующийся меньшей определенностью, большей удаленностью от объективных эмпирических условий и менее поддающийся проверке в процессе исследования по сравнению с его теорией родства. Между тем сам Леви-Стросс своим главным вкладом в теоретическую социологию считает именно интерпретацию мифов. В заключительной части своего эссе Лич пытается примирить возникшие разногласия.

Росси сравнивает трансформационный структурализм Леви-Стросса с различными формами эмпирического структурализма в социологии и особенно со структурным функционализмом Парсонса. Однако в отлитие от Лича, целью которого является представить уравновешенную точку зрения на альтернативные структурные подходы, Росси в данном сборнике, а также в своих других работах откровенно считает себя приверженцем Леви-Стросса и ставит своей целью критику с точки зрения трансформационного структурализма других ориентации в изучении социальной структуры. Так, например, он резко критикует эмпирический структурализм за недостаточную эпистемологическую утонченность, эмпирическое пристрастие к наблюдаемым данным и механистическое теоретизирование на основе статистических моделей, противопоставляя всем этим аспектам взгляды Леви-Стросса. Страстная защита Росси взглядов Леви-Стросса и его критика других видов структурного анализа в социологии особо подчеркивают различие между подходом Леви-Стросса и тем, что Росси называет эмпирическим структурализмом в американской социологии.

Оба автора, которым было предложено изложить.свои взгляды на марксистский структурализм (их статьи составляют две следующие главы сборника), выступают с его критикой, однако и тот и другой критикуют марксистский структурализм не с консервативных позиций, а с точки зрения альтернативного марксизма. Один из них обосновывает свою критику в общетеоретических терминах, в то время как другой основной упор делает на значение конкретно-исторических условий, рассматривая в качестве примера конкретную революцию.

Хайдебранд дает общий концептуальный анализ и критику марксистского структурализма, уделяя особое внимание определению этой категории Альтюссером. Хайдебранд начинает с оригинального анализа сходства между концепцией лингвистической структуры Соссюра и концепцией экономической структуры Маркса. Автор отмечает параллелизм лингвистического дуализма обозначаемого и обозначающего и экономического дуализма труда и заработной платы. Поднимая характерный для социологии знания вопрос о причинах возникновения марксистского структурализма, Хайдебранд рассматривает последний как продолжение конфликта между растущим антисталинизмом левых сил после второй мировой войны и реакцией на это «инфантильное левачество» новых левых с их утопизмом, антиавторитарностью и особым вниманием к ранним произведениям Маркса, больше испытавшего на себе (например, в понимании отчуждения) остаточное влияние гегелевской диалектики, чем четко разработанной модели экономического детерминизма. Целью Альтюссера как раз и является выработка такой научной модели марксистской социальной структуры. В процессе своих рассуждений Альтюссер преобразует проводимое Марксом различие между экономическим базисом и надстройкой в трехуровневую структуру, выделяя между идеологической надстройкой и экономическим базисом промежуточную политическую структуру. С точки зрения социологии знания теория, которая наделяет политическую структуру особой ролью, созвучна с тем движением, главенствующее положение в котором занимает государственный социализм Советского Союза.

Основное возражение Хайдебранда против марксистского структурализма заключается в том, что он игнорирует значение практической критики как неотъемлемой части диалектического анализа. Другой критический аргумент, который он выдвигает, заключается в том, что марксистский структурализм во многих отношениях сходен с традиционным методом структурно-функционального анализа в социологии, что также отмечается самими представителями этого направления (см., напр., Липсет, 1975). И то и другое направление исходит из концепции социальной упорядоченности, детерминизма и функциональности. Оба направления предполагают, что упорядоченная социальная структура ограничивает и должна ограничивать свободу действия индивида. И наконец, вместо того, чтобы постоянно критиковать существующие социальные условия и стремиться улучшить их, марксистский структурализм, так же как и структурный функционализм, имплицитно принимает существующие политические структуры (хотя структуры и неодинаковые: Россия Сталина в одном случае и Америка Никсона в другом)

как неизбежные и, возможно, даже наилучшие из возможных.

Цайтлин излагает свою конкретно-историческую концепцию на основе тщательного разбора неудавшейся буржуазной революции, направленной против крупных землевладельцев в Чили в середине XIX века. Одним из вопросов, которые поднимает автор этого марксистского исследования, является вопрос о том, почему Чили, несмотря на поражение этой революции, стала страной стабильной демократии, сохранявшейся на протяжении более ста лет. В этой связи Цайтлин подчеркивает, что на этот вопрос невозможно дать удовлетворительный ответ, не принимая во внимание конкретно-исторические обстоятельства формирования классов и возникновения классового конфликта.

В XIX веке независимые источники политической силы различных классов чилийского общества не позволили какому-либо одному классу навязать остальным деспотический режим. Это обстоятельство и способствовало становлению демократии в стране. Цайтлина в первую очередь интересует теоретическое значение его исторического исследования для теории марксизма. Именно на основе своего исследования он выступает с резкой критикой теории мировой системы Уоллерстайна (1974), обвиняя последнюю в ложных выводах, являющихся результатом полного игнорирования влияния конкретно-исторических условий на события в той или иной стране. Основной аргумент критики заключается в том, что изменения общественно-экономической жизни страны невозможно объяснить теоретическими обобщениями, не принимающими во внимание конкретно-исторические обстоятельства. Кроме того, Цайтлин критикует теорию Уоллерстайна за ее функциональность и телеологические предпосылки, а также распространяет свою критику на взгляды Альтюссера и на теорию зависимости.

Основная мысль главы, написанной Айзенштадтом, состоит в том, что Макс Вебер не только предвосхитил основной принцип Леви-Стросса, но фактически пошел дальше и определил социальные процессы, в которых этот принцип проявляется, чего Леви-Строссу сделать не удалось. Принцип, о котором идет речь, заключается в том, что социальные закономерности должны объясняться в терминах глубинной структуры, состоящей из кодов символов и мифов. Структуралистический тезис, утверждающий, что объяснением жизни общества является именно его символическое измерение, поднимает вопрос, ответ на который в этом тезисе не содержится, а именно: каковы те конкретные институциональные механизмы, через которые культурные символы и ценности влияют на наблюдаемую социальную организацию? По мнению Айзенштадта, ответ в целом подразумевается веберовской концепцией «Wirtschaftsethik» и, в частности, его теоретическим анализом роли кальвинистской этики в становлении капитализма. Протестантская этика и религиозные догмы вообще — это символические коды социальных ценностей, которые управляют ориентацией личности, узаконивают власть и, следовательно, влияют на конкретную организацию социальной жизни.

В следующих двух главах концепция социальной структуры анализируется на основе выделения в ней нескольких уравнений, или измерений. В качестве дифференцирующего критерия Уорринер использует сущность элементов, взаимосвязи которых придают структуре определенные очертания. С помощью этого критерия автор выделяет три уровня социальной структуры. Межличностный уровень представляет собой структуру социальных отношений между отдельными личностями, например социометрическую схему связей в малой группе. Межпозиционный уровень отражает структуру отношений между различными социальными положениями, которые не следует путать с занимающими их людьми. Примером этого уровня может служить система родственных связей в племени. Межорганизационный уровень отражает структуру отношений между официально организованными общностями, например формы торговых отношений между фирмами в определенной социальной сфере или же взаимосвязанные директораты корпораций в обществе.

Уоллас также подчеркивает важность концептуализации структуры как иерархии уровней, в которой структура каждого последующего уровня заключает в себе структуру предыдущего. На каждом уровне необходимо различать совокупности элементов, составляющие структуры, и элементы, из которых состоят эти совокупности. При этом элементы более широкой совокупности могут в свою очередь рассматриваться как состоящие из менее объемных (широких) элементов при анализе последующего, более низкого уровня структуры. Однако главной мыслью Уолласа является то, что эти различия в масштабе структуры могут быть проанализированы в трех различных измерениях.

Число структурных единиц может варьировать от малой группы до целого общества; социальное поведение может рассматриваться, начиная с такого единичного акта, как, например, приветствие, и кончая таким многомерным действием, как вступление в брак; а протяженность исследуемого явления может быть как узко ограниченной в пространственно-временном отношении, например почасовая производительность труда на каком-либо предприятии, так и широкомасштабной,

например годовые темпы экономического роста страны. Эти три измерения углубляют анализ последующих уровней структуры и могут быть использованы для восьмимерного описания свойств социальных явлений. Прежде всего объектом исследования могут быть люди или другие живые организмы; и в том и в другом случае основное внимание может уделяться либо физиологическим, либо психологическим особенностям поведения изучаемых организмов. Наконец, каждая из полученных четырех категорий может изучаться с точки зрения пространственных или временных закономерностей. Перекрестная классификация трех указанных дихотомий дает восемь типов чистых социальных явлений, различные комбинации которых могут быть использованы в конкретном анализе.

Глава, написанная Кадушином, посвящена опосредованному, или непрямому, социальному обмену. Прямой обмен неизбежно ограничивается людьми, находящимися в непосредственном контакте. Поэтому крупные структуры социального обмена неизбежно предполагают многочисленные формы непрямого обмена. Прямой обмен обеспечивается личными обязательствами, необходимостью отвечать взаимностью на оказываемые услуги с тем, чтобы их продолжали оказывать, а также общественным порицанием за неблагодарность. Однако все эти факторы не обеспечивают вознаграждения тем, кто "отпускает хлеб по водам" [2], надеясь на будущие дивиденды от третьих сторон. В этой связи возникает проблема условий, способствующих непрямому обмену, которая и рассматривается Кадушином.

[2] «Отпускать, хлеб по водам» означает делать добро, не ожидая благодарности (Библня. Книга Екклесиаста XI, I – *Прим. перев.*

Будон анализирует разнообразные парадоксальные последствия, порождаемое взаимозависимыми структурами. Взаимозависимые действия индивидов часто имеют совокупные результаты, противоположные тем, которые отдельные индивиды намеревались или желали получить. Будон начинает с простого примера длинных очередей за билетами в театр. В такой ситуации отдельным людям представляется разумным прийти в кассу раньше, в результате чего средняя продолжительность ожидания в очереди увеличивается, а шансы купить билеты уменьшаются, что прямо противоположно интересам этих людей.

В качестве сложного примера автор приводит меритократическое общество, в котором шансы получить хорошую работу зависят главным образом от уровня образования. В таком обществе каждый человек заинтересован в получении максимально возможного образования, повышении качества образования, обеспечении равных возможностей для получения образования и повышению образовательной мобильности. Однако Будон показывает, что все эти изменения существенно не расширяют возможности профессиональной мобильности и не уменьшают неравенство их профессиональных статусов в ситуации, где распределение рабочих мест определяется такими внешними факторами, как условия промышленной деятельности и экономический спрос. Наоборот, результатом этих изменений является то, что для достижения определенного профессионального статуса требуется более высокий уровень образования, что противоречит интересам отдельных претендентов на этот статус, хотя и не противоречит их заинтересованности максимально повысить свой образовательный уровень, так как это дает им больше шансов получить престижную работу. В следующем поколении этот процесс повторяется в том смысле, что образовательный ценз, дающий детям те же профессиональные шансы, которыми располагали их родители, становится выше.

Базируясь, на (многочисленных примерах, Будон делает вывод, что в основе внешних социальных ограничений, на которые индивиды наталкиваются в коллективных ситуациях, обычно лежат взаимозависимые структуры, поскольку именно такие структуры предполагают, что совокупные действия многих людей часто приводят к неожиданным и противоречащим их интересам результатам, воспринимаемым как внешне навязываемые изменения социальных условий.

В трех последних главах сборника рассматриваются и применяются для анализа эмпирических данных формально-теоретические модели. Мейхью и Шоллерт представляют базовую модель социальной структуры, что является продолжением интереса Мейхью к таким моделям, где структурные условия выводятся из вероятностей, основывающихся на численности или другом количественном свойстве общности. В предлагаемой модели вероятная степень должностной дифференциации в социальной структуре прогнозируется исходя только из двух показателей: численности и материальной обеспеченности. В результате получается чисто социологическая модель, совершенно игнорирующая какие-либо влияния личностных качеств индивидов. Согласно данной модели каждый из таких факторов, как численность общности, общий уровень благосостояния, а также уровень благосостояния каждого ее члена, оказывает определенное влияние на ожидаемую должностную дифференциацию. Несмотря на то что разнообразие должностных положений в определенной социальной общности и неравенство этих положений с точки зрения сосредоточения ресурсов, измеряемое

индексом Джини (Gini index), не обязательно связаны, авторы утверждают, что их модель прогнозирует как второе, так и первое строго на основании критериев численности и материальной обеспеченности.

Мак-Ферсон формулирует количественные процедуры для анализа того вклада, который вносят добровольные объединения в углубление социальной интеграции, и того значения, которое имеют классовые различия для мобилизации политической власти. Анализируя выборочные данные, он вычисляет параметры прямоугольной матрицы, характеризующие лиц — членов добровольных объединений. Подсчеты Мак-Ферсона показывают степень связей между добровольными объединениями через их членов, степень связей между людьми благодаря их общему членству в добровольном объединении и степень сплоченности социальной общности в результате участия ее членов в добровольных объединениях. Классовые различия между членами разных организаций, последовательно выявляемые исследованием, оказывают усиливающее воздействие на связи между организациями, проявляющееся в том, что чем однороднее с точки зрения классовой принадлежности та или иная организация, тем более широко будут представлены классовые различия в ее связях. Таким образом, в результате взаимодействия различий членов разных организаций и однородности добровольных объединений приумножаются те преимущества, которые дает густая сеть межорганизационных связей высшим слоям общества для мобилизации ресурсов в политических конфликтах.

В заключительной главе Брейгер использует блок-модель, первоначально разработанную для изучения связей в малых группах, с целью проверки теории Уоллерстайна (1974) относительно экономических связей между странами в мировой экономической системе. Он отмечает, что его процедура особенно удобна для этой проверки, поскольку единицы классифицируются не по их собственным характеристикам, а по их связям с другими единицами, точно так же, как и сам Уоллерстайн определяет место отдельной страны в мировой системе исходя из ее отношений с другими странами. Проведенный ранее аналогичный блок-модельный анализ международной торговли (Снайдер и Кик, 1979) в основном подтверждает тезис Уоллерстайна, что экономические отношения между странами отражают различия между центральной группой экономически ведущих стран и периферийной группой эксплуатируемых стран. (Существование третьей, промежуточной, категории эмпирическими данными подтверждается не столь определенно.) Брейгер обнаруживает аналогичную картину и среди экономически ведущих стран, где выделяются центральная и периферийная группы. Однако автор поднимает вопрос о том, не является ли общий объем торговли, на котором основываются его собственный и более ранние эмпирические исследования, в первую очередь отражением экономических ресурсов и уровня развития самой страны, в то время как исходная теория предполагает классификацию стран на основе их отношений с другими странами, а не на основе их собственных характеристик. Чтобы ответить на этот вопрос, автор использует сложную процедуру учета общего объема торговли и, следовательно, уровня экономического развития. Полученные в результате остаточные модели импорта и экспорта свидетельствуют о существовании не одной монолитной структуры с центральной группой стран, а ряда соперничающих друг с другом центров.

Эмерджентные свойства

Концепции социальной структуры, четко определенные или подразумеваемые в статьях данного сборника, значительно отличаются друг от друга и даже содержат противоречивые элементы. В одних сопоставляются социальная структура и культура, в то время как в других культурные символы и идеи рассматриваются в качестве самой сути глубинной структуры. Некоторые авторы концептуализируют структуру в форме теории, постулирующей закономерности и таким образом упорядочивающей эмпирические наблюдения, другие же авторы считают, что социальная структура существует во внешней эмпирической реальности и представляет собой не теорию, а то, что необходимо объяснить с помощью теории.

Ряд авторов определяют структуру с точки зрения статусных или должностных различий, влияющих на социальные отношения, наряду с авторами, определяющими структуру в терминах моделей социальных отношений, из которых выводятся статусные различия. С точки зрения одних, структурная социология выделяет такие чисто формальные аспекты социальной жизни, как численность, дифференциация и иерархия, целиком игнорируя содержательную сторону дела, в то время как, по мнению других, макросоциологические структурные исследования сосредоточивают внимание на отличительных особенностях исторических социальных систем в определенные периоды времени в определенных регионах. Интеграция, порядок и единство мнений являются определяющими атрибутами социальной структуры, выделяемыми одними авторами; дифференциация, противоречие и конфликт рассматриваются как решающие факторы

другими.

Тем не менее во всех этих различных взглядах на социальную структуру можно выявить общий знаменатель. Он заключается в том, что социальная структура тождественна эмерджентным свойствам комплекса составляющих ее элементов, т. е. свойствам, не характеризующим отдельные элементы этого комплекса. В любой структуре можно выделить элементы, составляющие собственно структуру, и комплекс элементов, из которых структура строится. С аналитической точки зрения это не одно и то же, поскольку комплекс элементов структуры представляет собой лишь механическую совокупность элементов, в, то время как собственно структура, в самом широком смысле, определяется взаимосвязями этих элементов, включая как взаиморасположение и косвенные влияния этих элементов, так и прямые связи между ни- ми. Не видеть этого различия означает не видеть за деревьями леса. Сумма всех деревьев остается неизменной независимо от того, стоит ли каждое дерево на отдельном участке или же все деревья растут вместе. Однако только во втором случае деревья составляют лес. Вода отличается от водорода и кислорода не элементами, составляющими их, а связями между этими элементами. Вся разница в том, соединены ли два типа атомов в одной . молекуле или в двух разных молекулах. Структура группы также отличается от совокупности составляющих ее членов теми свойствами, которые не могут быть использованы для описания отдельных членов группы, так как они характеризуют отношения или сочетания отдельных членов и, следовательно, относятся ко всей группе как целому. Сосредоточивая внимание на эмерджентных свойствах социальных общностей, структурный анализ по своей сущности является антиредукционистским методом.

Следует отметить, однако, что речь идет не только о различии между отдельными индивидами и общностями. Эмерджентные свойства структуры могут наблюдаться на различных уровнях социальной общности, а так как критерий эмерджентных свойств формально одинаков для всех уровней, то это означает, что природа таких свойств не остается неизменной. Для ясности повторим, что эмерджентные свойства характерны для всего Целого, а не для его составляющих элементов. С точки зрения этого критерия средний уровень интеллектуальных способностей (IQ) и среднее значение уровня образования не являются атрибутами структуры группы, хотя они и относятся к совокупности членов группы, в то время как социометрические связи и групповая сплоченность — это атрибуты, не выделяющие отдельных членов группы, а следовательно, составляющие эмерджентные свойства структуры группы. Организации также обладают эмерджентными свойствами, т. е. свойствами, которые отличаются от каких-либо характеристик трудовых коллективов или других подразделений данной организации. Конфигурация иерархии власти, степень централизации процесса принятия решений и разделение труда иллюстрируют эмерджентные структурные свойства организаций. У наций также есть эмерджентные свойства, отличающиеся от характеристик различных групп населения, организаций и регионов. Примерами этих свойств могут быть форма правления в стране и ее экономические институты.

Эмерджентные социальные структуры часто определяются слишком широкими, неясными и даже таинственными терминами. Ученые говорят о духе времени, конфигурации культуры, упадке цивилизации, фольксгайсте (Volksgeist), или национальном характере народа, гештальте (Gestalt) социальной системы. Неточные способы использования эмерджентных свойств и определений, выражающих их сущность,— «целое есть нечто большее, чем сумма его частей»,— несомненно, являются причиной той критики, с которой выступают против них ученые, занимающиеся философскими проблемами естествознания и предпочитающие четкие научные формулировки (см.: Нагель, 1955). И все же эмерджентные свойства можно определить в строго операциональных терминах. Даже более абстрактные теоретические понятия, используемые в структурном анализе, и могут, и должны, с моей точки зрения, концептуализироваться с достаточной четкостью, с тем чтобы их смысл мог быть подвергнут операционализации и измерению. Но прежде чем рассмотреть ряд классов операциональных эмерджентных свойств, необходимо сказать несколько слов о компонентах социальной структуры, о связях между ними и об уровнях структурного исследования.

Компоненты социальной структуры могут концептуализироваться как индивиды, роли, статусы, позиции, группы, места или любые другие подразделения некоторой многосложной общности. На первоначальном этапе компоненты обычно описываются с помощью уникальных маркеров, т. е. используются либо их названия, либо символы, заменяющие названия. Так, в социометрическом исследовании малых групп индивиды идентифицируются с помощью имен, букв, чисел или подобных отличительных символов; при изучении профессиональной структуры общности профессии определяются их названиями; в макросоциологических исследованиях города или нации тоже обозначаются их названиями. Однако пока изучаемые объекты и их составляющие идентифицируются с помощью специальных маркеров, их можно описывать только по

одному за один раз, т. е. их невозможно проанализировать систематически с целью выработки даже ограниченных или гипотетических обобщений о социальной структуре. Систематический анализ требует замены уникальных маркеров упорядоченными аналитическими свойствами (Пржеворский и Тойн, 1970). Так, в исследовании, проводимом методом опроса, респонденты классифицируются по их различным характеристикам с целью выявить связи между этими аналитическими характеристиками, например между уровнем образованности и предпочтением в голосовании. В структурном исследовании процедура в принципе такая же, только в нем сначала необходимо заменить уникальные маркеры элементов исследуемого объекта аналитическими свойствами структуры. Например, при изучении малых групп имена или символы, с помощью которых обозначаются отдельные члены группы, заменяются различными характеристиками социометрических связей группы, а названия профессиональных групп — индексом разделения труда, к примеру, при сравнительном исследовании разных стран.

В макросоциологических исследованиях компоненты социальной структуры сами являются крупными общностями со своей собственной социальной структурой. И здесь возникает вопрос о том, каким образом следует концептуализировать прямые связи между общностями. Следует ли, к примеру, рассматривать взаимозависимость как прямую связь даже при полном отсутствии общения? Следует ли считать прямой связью одностороннюю зависимость или общие ценности и нормы? Конечно, все эти вопросы упираются в дефиниции, тем не менее я считаю возможным дать на них отрицательные ответы и определить прямую связь или социальное отношение (в отличие от таких абстрактных отношений между группами, как различия по численности или обеспеченности ресурсами) как действительное социальное взаимодействие и общение, которые могут быть быстротечными (единичный акт взаимодействия) или продолжительными (семейно-брачные отношения), социальными или экономическими, воплощаться в форме сотрудничества или конфликта, осуществляться между людьми, занимающими равное положение, или между руководителями и подчиненными.

Некоторые социальные контакты, например непосредственное общение в неофициальной обстановке, могут иметь место лишь между отдельными людьми, а не группами, т. е. не все члены больших групп могут находиться в непосредственном контакте. В соответствии с этим непосредственные социальные отношения между различными группами обычно выражаются в виде уровня (частоты) социального взаимодействия их членов. Примерами могут служить уровни межэтнических браков, дружеских отношений между представителями различных рас, свиданий между лицами противоположного пола — представителями различных социальных классов. Дюркгейм был первым, кто отметил, что социальные факты можно часто представлять в виде частоты индивидуального поведения: уровня браков, разводов, самоубийств и т. д.

Социальные структуры — это входящие друг в друга серии последующих уровней все более широкого масштаба. Впервые такое представление о социальной структуре было выдвинуто Саймоном в 1965 году и затем получило дальнейшую разработку у Уолласа и Уорринера, представленных в данном сборнике. Так, если идти в направлении сверху вниз, то страны состоят из регионов, подразделяющихся на провинции или штаты, которые включают округа и города, а последние в свою очередь состоят из районов, поделенных на кварталы с домами, в которых живут семьи или отдельные лица. Исследователь решает, какой уровень структуры изучать, а также что будет единицей его анализа, о структуре которой представляется возможным сделать обобщения. Какой бы уровень структуры ни избирался, он может быть проанализирован по отношению к его соседним уровням. Следующий, более высокий уровень — это то окружение, которое оказывает влияние на изучаемую, структуру. Например, при изучении структуры трудовых коллективов их непосредственной социальной средой являются условия в подразделении организации, где они работают. При изучении структуры фирм такой непосредственной социальной средой являются условия рынка. Вполне очевидно, что невозможно систематически проследить влияния окружающей социальной среды, не изучив значительное число структур в различных социальных контекстах. Следующий, более низкий, уровень состоит из совокупности элементов изучаемой структуры. Примерами таких составляющих элементов могут быть члены трудового коллектива, этнические группы города, отделы и филиалы компании. Однако анализ самой социальной структуры коренным образом отличается от изучения составляющих ее элементов с их внутренней структурой, поскольку такой анализ сосредоточен на эмерджентных свойствах совокупности элементов, характеризующих не отдельные элементы, а способ их сочетания и отношения между ними.

Теперь, наконец, рассмотрим четыре основных вида эмерджентных свойств. Первый вид — это численность элементов социальной совокупности. Для малой группы это всегда число ее отдельных членов. Однако для общества и других крупных объединений существуют два способа подсчета числа компонентов. Первый, как и в случае с малыми группами и общностями любой величины,— это подсчет всех отдельных

членов. Второй способ — это подсчет более крупных компонентов, например, численности общностей, входящих в штат, численности подразделений корпорации, численности независимых фирм на рынке, численности родов в клане. Число индивидов и число подгрупп которые могут быть нескольких разновидностей, представляют собой два различных типа эмерджентных свойств социальных объединений. Несмотря на то что численность группы может рассматриваться в качестве основания всех структурных свойств, отражающих различные формы дифференциации, она, строго говоря, не является свойством социальной структуры, в то время как число компонентов определенно является атрибутом социальной структуры. Несмотря на это, численность социальной общности — это прототипичное эмерджентное свойство социальной совокупности элементов; она обладает определенным операциональным значением; она не может существовать без элементов, однако характеризует элементы не в отдельности, а только в совокупности.

Численность группы или общества часто игнорируется или рассматривается как не представляющая теоретического интереса. Напротив, с нашей точки зрения, численность — это очень важная теоретическая категория в структурной социологии, так как она является общим эмерджентным свойством всех социальных групп, включая не только все многообразие социальных групп, структура которых изучается, но и подгруппы любого профиля, являющиеся структурными компонентами того или иного социального объединения.

Второй вид эмерджентных свойств относится к социальным отношениям между людьми, представляющим собой прямые связи между элементами структуры социальной группы. Социальные отношения индивидов в малых группах выражаются в непосредственном социальном взаимодействии и общении. Структура группы, а точнее один ее аспект, может быть графически изображена в виде социограммы и обычно представляется с помощью матрицы предпочтений, из которой могут быть получены многочисленные измерения структуры. В макросоциологических исследованиях всего общества или других крупных социальных объединений структурные компоненты представляют собой комбинации индивидов в различных измерениях (что избавляет исследователя от изучения отношений между миллионами компонентов): различного рода группы, различного масштаба территории (районы, общины), а также социальные слои, выделяемые на основе иерархических различий. Все эти подразделения населения могут быть квалифицированы категорией «социальное положение», употребленной в самом широком значении всех тех отличительных особенностей людей, на основании которых люди сами проводят социальные различия.

Как уже отмечалось, показателями прямых связей между различными положениями являются частота и уровень социальных отношений и взаимодействия между людьми, занимающими эти положения, например уровень социальных контактов между лицами, занимающими различные должности в организации. Однако также существуют и другие прямые связи между крупными компонентами общества, такие, например, как торговля и другие формы обмена между фирмами или же коалиции и конфликты между политическими партиями. Категории, описывающие социальные отношения между людьми, определенно идентифицируют эмерджентные свойства структуры социальной группы, которые не существовали бы, если бы составляющие элементы этой группы рассматривались отдельно.

Еще одним эмерджентным свойством является состав социальной совокупности, находящий свое выражение в различиях между ее элементами. Эти различия и их степень могут быть определены независимо от того, являются ли составляющие элементы неупорядоченными номинальными категориями, т. е. могут быть только маркированы, или же упорядоченными классами, которые могут быть ранжированы. При этом обычно задаются следующие вопросы: насколько отличаются друг от друга различные институты и сколько существует отдельных институциональных сфер? Насколько многосторонними являются промышленное разнообразие, разделение труда или этническая неоднородность? Исповедует ли большинство людей одну религию или много религий? Что касается установления многообразия или неоднородности, то необходимо учитывать различия не только в величине различных компонентов, но и в их численности. Предположим, что в двух общинах представлено по десять одних и тех же вероисповеданий. Однако в одной общине 90 % людей исповедуют одну религию и только 10 % — остальные. В противоположность этому во второй общине каждую религию исповедуют приблизительно 10 % людей. Совершенно очевидно, что в первой общине, где население неравномерно распределено по вероисповеданию, наблюдается меньшая религиозная неоднородность, чем во второй общине, население которой распределено по вероисповеданиям равномерно.

Для социальных компонентов, основанием дифференциации которых являются различия в обладании каким-либо ресурсом, например богатством, доходом, властью или образованием, неравномерность распределения этого ресурса свидетельствует о степени социального неравенства (особенно показательно здесь различие между

распределением населения и распределением ресурса). Различные формы неравенства — это различные аспекты состава социальной совокупности. Композиционные характеристики также отвечают требованию критерия эмерджентного свойства тем, что они определенно относятся к структуре целого, не проявляясь в отдельных его частях.

И наконец, необходимо отметить два типа структурных свойств более высокого порядка. Один из них заключается в глобальных характеристиках (Лазарсфельд и Мензель, 1969) инфраструктуры общества, которые, как предполагается, лежат в основе жизни общества и объясняют ее наблюдаемые модели. Подход к изучению социальной структуры, делающий акцент на этих свойствах, порождает совершенно различные и даже противоречивые теории в зависимости от того, какова, по мнению их сторонников, фундаментальная природа базиса общества, т. е. рассматривается ли она главным образом как совокупность объективных экономических условий или же субъективных культурных ценностей. Для Маркса социальная инфраструктура заключается в материальных экономических условиях: производительных силах, производственных отношениях и их диалектическом взаимодействии. Для Леви-Стросса глубинная структура — это область культурных символов и значений, так же как и для Парсонса культурные ценности и нормы составляют тот субстракт, который в конечном итоге управляет социальным действием, отношениями между людьми, институтами общества.

Вторым типом структурных свойств более высокого порядка являются абстракции, выведенные из свойств более низкого порядка, из моделей либо социальных отношений между элементами, либо комбинаций элементов. Так, сторонники сетового анализа (network analysts) акцентируют внимание на многочисленных более сложных факторах, основанных на более простых факторах, в терминах которых можно характеризовать и анализировать социальные цепи (Митчелл, 1969; Варне, 1972). При блок-моделировании используются сходства моделей социальных отношений для получения изображений структур социальных положений (Уайт и др., 1976). Иллюстрацией может служить исследование Брейгером торговых отношений между странами. Из состава социальной совокупности можно вывести другого рода абстракцию, относящуюся к ее внутренним различиям, особенно к распределению ее членов по различным положениям. Поскольку можно видеть многочисленные аспекты внутренних различий, правомерно поставить вопрос о том, в какой степени различия по разным направлениям пересекаются, а не частично (или полностью) совпадают, о чем свидетельствует эмпирически устанавливаемая определенная корреляция между ними. Например, насколько тесно взаимосвязаны различия в характере профессиональной деятельности, уровне образования или доходах? Та степень, в которой пересекаются отличительные черты в разных измерениях, как раз и является тем эмерджентным свойством социальной структуры, которое имеет большое значение для социальных отношений и интеграции (Блау, 1977).

Эмерджентные свойства — это источник внешних структурных ограничений, которые испытывают на себе индивиды, а действие этих ограничений говорит о том, что они лишь в определенной степени совместимы с проявлением свободной воли. Возьмем в качестве примера влияние состава какой-либо общности на социальные отношения в ней. Несмотря на то, что каждый американец, исповедующий христианство, свободен в своем выборе установить близкие дружеские отношения с евреем, у большинства американцев-христиан нет и не может быть такого друга, поскольку в стране, так сказать, просто не хватит евреев. Несмотря на то что индивиды свободны в своем выборе устанавливать любые социальные отношения, они не свободны определять, какие другие люди из их окружения доступны для того, чтобы с ними можно было устанавливать социальные отношения. Эта характеристика социальной структуры неизбежно ограничивает совокупные выборы индивидов. Другим примером, приводимым Будоном, является то, что каждый свободен или закрыть свой счет в банке или же оставить деньги на своем счету. Однако стоит большинству людей начать забирать свои вклады из банков, как это вынуждает и остальных также закрывать свои счета, а это приближает тот день, когда у банка не останется средств для выплаты своим вкладчикам, что, конечно же, явно противоречит тому, чего последние хотели добиться. В такой ситуации индивид беспомощен и вынужден участвовать в этом процессе, чтобы не потерять деньги. Таким образом, основополагающим принципом является то, что эмерджентные свойства — это характеристики социальной структуры, не поддающиеся контролю со стороны индивидов, даже когда эти характеристики являются совокупным результатом их же собственных действий, и эти условия социальной среды с необходимостью ограничивают то, что способна реализовать свободная воля людей.

Различия в концепции социальной структуры

Признание значения эмерджентных свойств социальных общностей представляется мне минимальным общим знаменателем структурной социологии. Противоположным подходом

является психологический редукционизм таких методологических индивиду-, алистов, как Хоманс (1974), которые стремятся объяснить социальные общности с помощью их элементарных свойств, т. е. с точки зрения психологических понятий и принципов, управляющих поведением индивидов. Однако по другим параметрам концепции структурных социологов значительно отличаются друг от друга, о чем говорилось ранее и о чем свидетельствуют статьи, представленные в данном сборнике. Структурализм Леви-Стросса и структурализм Маркса акцентируют внимание на разных эмерджентных свойствах и отличаются также в других отношениях. В то же время обе эти теоретические ориентации отличаются от сетевого анализа и структурного функционализма. Вкратце рассмотрим некоторые из основных их различий.

Масштабы структурного исследования могут варьировать от микросоциологических исследований социопсихологических процессов и социальных связей в малых группах до моделей социальных положений и отношений в рамках целых государств или даже мировой системы международных отношений. На более абстрактном уровне микросоциология занимается не малыми группами, а микропроцессами и микроструктурами, которые пронизывают общество, такими, например, как формирование мнений и управление ими, социальный обмен, статусные серии, ролевые серии, т. е. использует подход, аналогичный микроэкономике (проблемой многих сравнительных исследований наций является то, что они ограничиваются очень небольшим числом стран, что отвлекает внимание от анализа структуры различных типов общества, так как имеется слишком мало примеров для сравнения), и способствует рассмотрению обществ как заданных социальных контекстов и анализу поведения и отношений индивидов под углом зрения тех влияний, которые оказывают на них эти социетальные контексты. Изучение структуры общества не может осуществляться таким образом. В качестве единиц анализа должны использоваться не отдельные члены общества, а целые общества как таковые, независимо от того, позволяют ли данные, собранные на достаточном числе обществ, сделать надежные обобщения или же идеи, которые предстоит проверить позже, основываются на конкретном изучении лишь нескольких обществ.

Другое различие, относящееся к масштабу в более аналитическом смысле, определяется тем, ограничен ли анализ социальной структурой (как бы она ни была очерчена) или же распространяется на внешние силы, рассматриваемые в качестве факторов, определяющих условия в структуре и структурные изменения. Такие внешние причины структурных условий и изменений могут являться (хотя и не обязательно) частью концепции инфраструктуры. В этом разница между Парсонсом и Леви-Строссом, если я их правильно понимаю. Для Парсонса культура аналитически отличается от социальной структуры и оказывает на нее большое влияние. (При этом Уоллас отмечает непоследовательность Парсонса в определении различия между культурой и социальной структурой.) Что же касается Леви-Стросса, то культурные символы и значения сами являются сущностью социальной структуры. Эволюционисты, начиная со Спенсера и кончая Ленски (1975), в качестве силы, управляющей эволюционным расширением структурной дифференциации, рассматривают технологические изменения. Для Хоманса, так же как и для Фрейда, внешними факторами, определяющими социальную структуру, являются психологические принципы поведения человека. Недавно биосоциологи (например, Уилсон, 1975) выступили с мыслью, что структура социальной жизни в конечном счете коренится в биологическом строении человека.

Концепция социальной структуры может основываться на субъективной или объективной онтологии. Иллюстрацией этой противоположности может служить различие между идеалистической интерпретацией истории Гегелем и материалистической интерпретацией Марксом. Определяющим критерием при этом является то, концептуализируется ли социальная структура в виде символической интеллектуальной конструкции или же в виде объективной эмпирической реальности, проявляющейся в распределении ресурсов и социальных положений. К этой дихотомии относится и различие, проводимое Уолласом, между психологическим и физиологическим аспектами социальных явлений, равно как и различия между психоанализом и бихевиоризмом в психологии и парсоновским и экологическим подходами в социологии. По мнению Лича, Росси и Айзенштадта, структурализм Леви-Стросса представляет собой субъективную точку зрения, марксистский же структурализм представляет собой объективную точку зрения.

Принимая принцип, согласно которому для объяснения эмпирических данных теории должны идти дальше простого обобщения этих данных (Брейтуэйт, 1953, с. 50—87), структурные аналитики вместе с тем отличаются, с одной стороны, по степени того, как их наиболее абстрактные теоретические категории отражают часть структуры, не охватываемую эмпирическими наблюдениями или лишь в общих чертах отражаемую в них, а с другой стороны, по степени выводимости этих категорий из эмпирических наблюдений и логической связи с операциональными понятиями, которые

могут быть измерены в процессе социологического исследования. Создаваемая социологом идеальная концепция социальной структуры как основополагающего субстрата, всесторонне не представленная ни в одном конкретном историческом случае, обычно порождает понятия, которые недостаточно четко определены для того, чтобы найти конкретное эмпирическое воплощение. Об этом говорит Лич применительно к понятию глубинной структуры Леви-Стросса. В то время как модель структуры родства Леви-Стросса действительно подразумевает конкретные брачные правила, его концепция значения и основополагающей структуры мифов, хотя и вызывает восхищение проницательностью мысли, не достаточно четко определена, чтобы позволить другим исследователям недвусмысленно классифицировать мифы на основании предложенных Леви-Строссом концептуальных различий.

В то же время, когда теоретические понятия возникают в результате комбинированных эмпирических наблюдений, они легче поддаются как абстрактной, так и конкретной концептуализации. Так, например, концепция, согласно которой положение страны в мировой экономической системе зависит от ее экспортно-импортной политики по отношению к другим странам независимо от ее экономического потенциала, представляет собой довольно абстрактную идею, поскольку экспорт и импорт различной продукции осуществляются по-разному, а сам этот процесс фактически зависит от экономического потенциала страны; тем не менее блок-модель Брейгера отражает основное эмпирическое содержание этой теоретической концепции. Точно так же парадоксальные последствия систем взаимозависимости Будона являются абстракциями, построенными на основании анализа целенаправленных действий индивидов. Тем не менее приводимые примеры свидетельствуют о том, что эмпирическое воплощение этих абстракций поддается наблюдению. Мое определение социальной структуры как многомерного пространства, образуемого линиями дифференциации (Блау, 1977),— это тоже абстракция, выводимая из эмпирических связей между различными линиями дифференциации и выражающаяся в них.

Еще одна разновидность структурного анализа определяется наличием тесной связи между концепцией социальной структуры и представлениями о социальной функции и функциональных требованиях. Так, концепция социальной структуры Парсонса основывается на его теоретических посылках, согласно которым все социальные системы должны удовлетворять четырем функциональным требованиям, дифференцируясь при этом на четыре сферы институциональной структуры, обеспечивающие соответственно функции адаптации, достижения цели, интеграции и сохранения модели. Поскольку подсистемы должны удовлетворять тем же функциональным требованиям, они затем подразделяются по параллельным линиям. Таким образом, эволюционное развитие состоит в растущей дифференциации в виде повторяющегося разделения. Последние теоретические работы Мертона имеют противоположную направленность. В своих ранних работах он тоже связывал исследование социальной структуры со своим вариантом функционального анализа. Однако впоследствии он перешел к более четко определенной форме структурализма, что отмечает Барбано (1968) и что наиболее ярко проявляется в его анализе статусных серий и ролевых серий (Мертон, 1968, с. 422—438). Аналогичное расхождение в развитии двух социологов имело место поколением ранее. Так, Малиновский оставался главным образом функционалистом, в то время как Рэдклифф-Браун (1940, с. 188—204) приблизился к форме структурного анализа, которая, по крайней мере в какой-то степени, содержала в себе скептическое отношение к выводам и предположениям функционалистов.

Зиммель проводит различие между формами социальной жизни и ее содержанием. Он подчеркивает, что предметом социологии являются формы социации (Vergesellschaftung), рассматриваемые отдельно от их содержания, хотя социальные формы могут конкретно выражаться в каком-то реально существующем содержании. Под категорией содержания Зиммель подразумевает два вида факторов: психологические ориентации индивидов, мотивирующие их поведение (например, зависть и жадность), и институциональную область исследования (например, экономическую или политическую жизнь). Концепция устойчивых форм социации включает главным образом такие процессы социальной интеракции, как конкуренция и конфликт. При этом акцентируется внимание на общих чертах каждого вида интеракции независимо от того, чем она вызвана — завистью или честолюбием — и где она происходит — в процессе неформального общения или производственной деятельности. Однако формы социальной жизни также выражаются в моделях или структурах различных социальных положений, таких, как роль незнакомого лица, разделение труда или различия между статусом нищего или простого бедняка.

Социальная структура может концептуализироваться в терминах ее формальных свойств, как это делает Зиммель, или в терминах ее субстантивного содержания, как это делает Вебер. В то время как Зиммель рассматривает триады независимо от того, состоят ли они из трех индивидов или трех наций, и независимо от того, вовлечены ли они в экономическое или военное противоборство, Вебер занимается вопросом

объективного значения этики кальвинизма для социального поведения и институтов. В макросоциологии акцент на формах часто сводится к определению конфигураций социального распределения людей, т. е. к указанию на то, занимают ли большинство людей одинаковое социальное положение или же они распределены по разным положениям независимо от содержания этих положений. Примерами могут служить исследования разделения труда или социальной стратификации. С другой стороны, акцент на содержании, как правило, означает изучение роли культурно-ценностных ориентации, их субстантивного значения и влияния. В качестве примеров можно привести исследования религиозных верований и политических идеологий.

Однако это не единственный способ применения различия между формой и содержанием в макросоциологических исследованиях. Другой контраст в этих терминах, который может быть в качестве альтернативы представлен дихотомией номотетических и идиографических концепций Виндельбанда, определяется тем, уделяется ли большое внимание формальным теоретическим абстракциям или же отличительным историческим условиям. Пытаемся ли мы в наших объяснениях социально-экономических событий дать родовые характеристики классовых структур и систем международных отношений или же охарактеризовать конкретные исторические условия в разных странах? Именно этот вопрос поднимает в своей критике Уоллерстайна и Альтюссера Цайтлин. Существуют ли общие формальные свойства и принципы, лежащие в основе различных по своему эмприческому содержанию правил родства и мифов? Именно этот вопрос, по мнению Лича, отличает Леви-Стросса от английских антропологов. Следует ли создавать теории неравенства общего характера независимо от реальной природы неравенства или же социальные теории должны конкретно относиться к экономическому неравенству или какому-либо другому виду неравенства? В ответе на этот вопрос заключается различие между моей и марксистской структурной теорией. Формальный подход носит более абстрактный и общий характер, содержательный подход — более исторический и эмпирический характер. С точки зрения этого различия теория Леви-Стросса и моя теория более формальны, в то время как теории Вебера и Маркса более содержательны. Широкие обобщения достигаются за счет конкретности. Социальные формы заслоняют собой историческое содержание. Теория Маркса имеет больше эмпирического содержания — в том смысле, в каком понятие «эмпирическое содержание» употреблял Поппер (1959),— по сравнению с моей теорией, поскольку моя концепция не содержит в себе отличительных особенностей различных видов неравенства, в то время как теория Маркса конкретно характеризует экономическое неравенство.

Последний дифференцирующий фактор в структурном анализе, на котором мы остановимся, содержится в ответе на вопрос, являются ли наиболее элементарными понятиями понятия «социальные отношения» и «социальные положения» или же они таковыми не являются. Для теорий, в которых структура концептуализируется в терминах символов, ценностей и значений культуры (как это видно у Леви-Стросса), ни социальные отношения, ни социальные положения не являются элементарными исходными категориями. Однако большинство социологов-структуралистов проводят различие между культурной сферой идей и идеалов и структурной сферой различных положений и моделей отношений. Для некоторых социологов моделирование социальных отношений является исходной точкой анализа. При этом предполагается, что именно отношения между людьми привели к дифференцированным ролям и положениям. Для других социологов исходной точкой являются различия между социально признанными положениями. При этом предполагается, что социальные положения людей оказывают большое влияние на их социальные отношения. Первая ориентация превалирует в микросоциологических исследованиях, вторая — макросоциологических, что вполне оправдано, поскольку главные направления причинного влияния в обеих ориентациях, по всей видимости, прямо противоположны.

На первоначальном этапе формирования малых групп социальные отношения, устанавливаемые в процессе социальной интеракции, дифференцируют роли членов групп, однако в стабильных организациях или обществах большинство социальных отношений регулируется устойчивыми различиями в социальных положениях, закрепленными в регламентированных атрибутах и имеющихся ресурсах. Для первого подхода характерны исследования, использующие социометрические методы или процедуры блок-моделирования для анализа социальных отношений в очень немногочисленных малых группах. Получаемые модели отношений применяются для классификации индивидов по социальным ролям или положениям. Первоначально эти методы были разработаны при изучении малых групп, однако, как видно из примера анализа международных торговых отношений, проведенного Брейгером, они были адаптированы и для изучения отношений между группами общностей. Второй подход иллюстрируется эмпирическими исследованиями, в которых индивиды сначала классифицируются в соответствии с ограниченным числом категорий по социальному положению, например на основании вероисповедания, этнической принадлежности, отрасли промышленности или профессии, после чего анализируются модели отношений между людьми, занимающими близкие или

отдаленные положения. Вариант этой процедуры представлен в докладе Мак-Ферсона о добровольных объединениях.

Сочетание объективной онтологии, акцент больше на форме, чем на содержании, а также макросоциологическая посылка, что различия в социальных положениях оказывают решающее влияние на социальные отношения,— такая комбинация предполагает сосредоточение внимания в ходе социологического исследования на численности каждой группы, числе групп и численном распределении членов по группам. Это объясняется тем, что численность является наиболее формальным объективным свойством социальных общностей и их компонентов. Хотя, строго говоря, численность не является атрибутом социальной структуры, численное распределение населения по социальным подструктурам и положениям, указывающее на его неоднородность и неравенство в различных отношениях, является прототипичным эмерджентным свойством социальной структуры населения. Такой акцент на количественном измерении социальной структуры представляет мою собственную точку зрения, которая, конечно же, разделяется не всеми социологами, занимающимися социальной структурой. Только четверо из авторов данного сборника — Будон, Мейхью, Шоллерт и Мак-Ферсон,— так же как я, уделяют основное внимание значению числа членов и компонентов для структурного исследования.

Б. Ф. Скиннер. ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ[1]

[1] Skinner B. F. A Technology of Behavior // Публикуемый материал представляет собой 1-ю главу кн.: Skinner B. F. Beyond Freedom and Dignity. N.Y., 1971. P. 3—25. *(Перевод А. Гараджи).*

Пытаясь разрешить те устрашающие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в сегодняшнем мире, мы, естественно, обращаемся к приемам, которые нами лучше всего освоены. Мы отправляемся от силы, а наша сила — наука и технология. Чтобы сдержать демографический взрыв, мы ищем лучшие способы контроля над рождаемостью. Перед лицом угрозы ядерного уничтожения мы создаем все более крупные сдерживающие силы и противоракетные системы. Мы пытаемся предотвратить голод в мировых масштабах новыми видами пищи и лучшими способами ее выращивания. Усовершенствование санитарии и медицины, как мы надеемся, обеспечит контроль над заболеваемостью, улучшение жилищных условий и совершенствование транспортной системы решит проблемы трущоб, а новые способы сокращения и размещения отходов остановят загрязнение окружающей среды. Мы можем указать на значительные достижения во всех этих областях, и неудивительно, что нам хотелось бы умножить их число. Но наши дела идут все хуже, а то обстоятельство, что и сама технология все чаще оказывается беспомощной, отнюдь не придает уверенности. Санитария и медицина заострили демографические проблемы, война приобрела чудовищный облик с изобретением ядерного оружия, а массовая погоня за благополучием в значительной степени ответственна за загрязнение среды. Как выразился Дарлингтон, «каждый новый источник преумножения своего могущества на земле был использован человеком так, что перспективы его потомства значительно сузились. Весь его прогресс был достигнут ценой ущерба его окружению, который он не может исправить и не мог предвидеть».

Мог человек предвидеть этот ущерб или нет, исправить его он должен, иначе все будет кончено. И он может сделать это, если осознает природу вставшего перед ним затруднения. Практическое приложение одних только физических и биологических наук не решит этих проблем, потому что решения лежат в совсем иной сфере. Лучшие контрацептивы лишь в том случае будут контролировать рождаемость, если люди будут их использовать. Новые виды оружия способны скомпенсировать новые виды обороны и наоборот, но ядерного уничтожения можно избежать лишь в том случае, если могут быть изменены те условия, в которых народы начинают войны. Новые методы в области сельского хозяйства и медицины не помогут, если они не будут применяться на практике, а жилье — это не только здания и города, но и то, как люди живут. С перенаселенностью можно справиться, лишь склонив людей не собираться в толпы, а окружающая среда будет разрушаться до тех пор, пока не будет остановлено ее загрязнение.

Короче говоря, мы нуждаемся в крупномасштабных изменениях человеческого поведения и осуществить их при помощи одних только физики и биологии мы не в состоянии, как бы усердно мы ни работали. (А ведь имеются и другие проблемы, такие, как развал нашей образовательной системы или недовольство и бунт молодежи, для разрешения которых физическая и биологическая технологии столь очевидно не годятся, что никогда и не использовались.) Недостаточно «использовать технологию с более глубоким пониманием человеческих забот», или «подчинить технологию духовным нуждам человека», или «заставить технологов обратиться к людским проблемам». Такие выражения предполагают, что там, где начинается человеческое поведение, кончается

технология; мы же должны продолжать действовать так, как действовали в прошлом, но добавить то, чему научили нас личный опыт или те сгустки личного опыта, которые зовутся историей, или выжимки опыта, заключенные в народной мудрости и немудреных практических правилах поведения. Уж эти последние были доступны на протяжении веков, и все, чем мы располагаем для доказательства их верности,— это лишь состояние современного мира.

Что нам необходимо, так это технология поведения. Мы бы достаточно быстро решили свои проблемы, если бы могли так же точно спланировать и рассчитать рост мирового народонаселения, как мы рассчитываем курс космического корабля, или усовершенствовать сельское хозяйство и промышленность с той же степенью надежности, с какой мы ускоряем высокоэнергетичные частицы, или приблизиться к миру во всем мире с той же неуклонностью, с какой физики приблизились к абсолютному нулю (пусть даже и тот и другой остаются за пределами досягаемости). Однако поведенческой технологии, сопоставимой по мощи и точности с физической и биологической, не существует, а те, кто не находит саму ее возможность смехотворной, будут ею скорее напуганы, чем утешены. Вот как мы далеки и от «понимания человеческих забот» в том же смысле, в каком физика или биология понимают проблемы своих областей, и от овладения средствами предотвращения катастрофы, к которой мир, кажется, неотвратимо приближается.

Двадцать пять веков назад можно было, наверное, сказать, что человек понимает себя самого так же хорошо, как и любую другую часть своего мира. Сегодня человек есть то, что он понимает менее всего. Физика и биология проделали большой путь, но сопоставимое развитие какого-то подобия науки о человеческом поведении заметить непросто. Греческие физика и биология сегодня представляют лишь исторический интерес (никакой современный физик или биолог не обратится за помощью к Аристотелю), но диалоги Платона все еще изучаются и цитируются так, как если бы они проливали какой-то свет на природу человеческого поведения. Аристотель не сумел бы понять и страницы из современного труда по физике или биологии, но Сократ со своими друзьями едва ли затруднился бы уловить смысл самых современных работ, посвященных делам человеческим. Что же касается технологии, то мы совершили гигантский скачок в сфере контроля над физическим и биологическим мирами, однако наши приемы в сферах управления, образования, в значительной мере и в сфере экономики не особенно-то усовершенствовались, хотя и применяются в совсем иных условиях.

Едва ли мы можем объяснить это, заявив, будто греки знали все, что можно было узнать о человеческом поведении. Ясно, что они знали о нем больше, чем о физическом мире, но этого все же было недостаточно. Более того, их способ понимания человеческого поведения должен был обладать неким роковым изъяном. Если греческие физика и биология, неважно, сколь примитивные, вели в конечном счете к современной науке, то греческие теории человеческого поведения вели в никуда. Если сегодня они еще с нами, то не потому, что они заключали в себе некую вечную истину, а потому, что они не содержали в себе зародышей чего-то лучшего.

Всегда можно сослаться на то, что человеческое поведение особенно трудная область. Это действительно так, и мы легко склоняемся к этой мысли, потому что столь неловки в обращении с поведением. Но современная физика и биология с успехом рассматривают предметы, которые в любом случае не проще, чем многие стороны человеческого поведения. Разница в том, что инструменты и методы, которыми они пользуются, обладают соизмеримой сложностью. То обстоятельство, что сопоставимые по силе действия инструменты и методы недоступны сфере человеческого поведения, не является объяснением; это, скорее, загадка. Был ли запуск человека на Луну действительно более простой задачей, чем усовершенствование обучения в наших народных школах, или разработка более совершенных форм жизненного пространства для каждого, или обеспечение всеобщей и выгодной для всех занятости и в результате — более высокого жизненного уровня для всех? Выбор здесь не был связан с насущностью задач, ибо никому и в голову не придет, что важнее было слетать на Луну. Осуществимость полета на Луну волновала и захватывала. Наука и технология достигли такой точки, в которой в результате последнего напряженного усилия это могло быть совершено. А проблемы, связанные с человеческим поведением, сопоставимых волнения и возбуждения не порождают. Их решение все еще далеко от нас.

Отсюда легко сделать вывод, что в человеческом поведении должно заключаться нечто такое, что делает научный анализ и, следовательно, действенную технологию невозможными, но мы отнюдь не исчерпали здесь всех возможностей. В определенном смысле можно сказать, что научные методы вообще едва ли когда-либо применялись к человеческому поведению. Мы воспользовались научным инструментарием, мы считали, измеряли и сопоставляли, однако нечто существенное для научной практики оказалось упущенным почти во всех современных исследованиях человеческого поведения. Это нечто связано с нашей трактовкой причин поведения. (В усложненных научных текстах термин «причина» больше не пользуется популярностью, но здесь он уместен.)

Первое знакомство с причинами человек приобрел, вероятно, в своем собственном поведении: вещи приходили в движение, потому что он их двигал. Если двигались другие вещи, значит, их двигал кто-то еще, и если этот двигатель невозможно было увидеть, то это объяснялось тем, что он невидим. Греческие боги служили, таким образом, причинами физических явлений. Обычно они помещались вне вещей, которые они двигали, но могли также входить внутрь и «содержать» их. Физика и биология вскоре отказались от объяснений такого рода и обратились к более подходящим видам причин, но в сфере человеческого поведения этот шаг так и не был решительно предпринят. Образованный человек больше не верит в одержимость бесами (хотя порой изгнание бесов еще практикуется, а демоническое вновь возникает на страницах сочинений психотерапевтов), но человеческое поведение все еще повсеместно связывается с какими-то внутренними агентами. О молодом преступнике говорят, например, что он страдает расстройством индивидуальности (personality). Это высказывание было бы бессмысленно, если бы душа каким-то образом не отличалась от тела, попавшего в передрягу. Различие это недвусмысленно подразумевается, когда говорят о нескольких индивидуальностях, заключенных в одном теле и контролирующих его различным образом в различные моменты. Психоаналитики насчитывают три такие индивидуальности — Эго, Супер-Эго и Ид,— взаимодействие которых считается ответственным за поведение человека, в котором они «обитают».

Хотя физика уже очень давно отказалась подобным образом олицетворять свои объекты, она еще долго продолжала говорить о них так, будто они обладают волей, побуждениями, чувствами, целями и другими фрагментарными атрибутами внутренних агентов. Согласно Беттерфилду, Аристотель утверждал, что падающее тело ускоряется потому, что становится веселее, чувствуя себя ближе к дому, а позднейшие авторитеты предполагали, что снаряд движим неким импульсом, порой называвшимся «импульсивностью». Все это в конце концов было забыто, и хорошо, что забыто, но наука о поведении тем не менее все еще апеллирует к подобным внутренним состояниям. Никто не удивляется, услышав, что человек, несущий добрые вести, движется быстрее, поскольку чувствует себя веселее, или поступает легкомысленно из-за своей импульсивности, или упрямо придерживается намеченного из-за одной только силы воли. Неосмотрительные ссылки на цель все еще встречаются и в физике и в биологии, но в добротной практике им нет места; и тем не менее почти всякий связывает человеческое поведение с намерениями, целями, целеустремленностью. Если все еще имеется возможность спросить, может ли машина проявить целеустремленность, такой вопрос, очевидно, предполагает, что она больше будет напоминать человека, если может проявить ее.

Физика и биология отошли от олицетворения причин, когда они стали связывать поведение вещей с сущностями, качествами или природами. Для средневекового алхимика, например, определенные свойства некоторой субстанции могли быть обусловлены меркуриевой сущностью, а субстанции сопоставлялись в рамках того, что можно назвать «химией индивидуальных различий». Ньютон сетовал на практику своих современников: «Сказать, что любой вид вещей наделен каким-то особым тайным качеством, благодаря которому он действует и производит доступные наблюдению эффекты, значит не сказать ничего». (Тайные качества были примерами гипотез, отвергнутых Ньютоном, сказавшим: «Hypotheses поп fingo», хотя он и не слишком твердо держал слово.) Биология долго еще продолжала апеллировать к *природе* живых существ, и она не отказалась полностью от витальных сил вплоть до двадцатого века. Поведение, однако, все еще связывается с человеческой природой, и существует обширная «психология индивидуальных различий», в рамках которой люди сопоставляются и описываются через их черты характера, способности и умения.

Почти всякий, затрагивающий в своих исследованиях гуманитарные вопросы: в качестве политолога, философа, литератора, экономиста, психолога, лингвиста, социолога, теолога, антрополога, педагога или психотерапевта,— продолжает рассуждать о человеческом поведении именно таким донаучным способом. Любая газетная статья, любой журнал, любой сборник научных публикаций, любая книга, так или иначе касающаяся человеческого поведения,— все они предоставляют достаточно примеров. Мы можем услышать, что для осуществления контроля над численностью мирового народонаселения необходимо изменить *установки* по отношению к детям, преодолеть чувство *гордости* численностью семьи или своими сексуальными возможностями, сформировать какое-то *чувство ответственности* по отношению к потомству и уменьшить значение той роли, которую большая семья играет в снижении *беспокойства* о преклонном возрасте. В деятельности, направленной на достижение мира, нам приходится иметь дело с *волей к власти* или *параноидальными заблуждениями* лидеров; мы должны помнить, что войны начинаются в людских *умах,* что в человеке есть нечто самоубийственное,— вероятно, *влечение к смерти,*— которое приводит к войнам, и что человек агрессивен по *природе.* Для решения проблем бедных мы должны пробуждать *самоуважение, инициативу* и снижать уровень *фрустрации.* Чтобы

унять недовольство молодежи, мы должны обеспечить ей *чувство цели* и ослабить ощущение *отчужденности* и *безнадежности.* А осознав, что она не располагает действенными средствами для того, чтобы осуществить все это хотя бы частично, мы сами имеем возможность испытать *кризис веры* или *утрату уверенности,* которые можно преодолеть лишь возвратом к *вере во внутренние возможности человека.* Это, как то, что дважды два, почти никто не подвергает сомнению. Однако ничего подобного нет в современных физике и биологии, и это обстоятельство может хорошо объяснить, почему так долго не появлялись наука о поведении и технология поведения.

Обычно считается, что «бихевиоризм», возражающий против идей, ощущений, черт характера, воли и т.д., рассматривает вместо этого тот материал, из которого они, как предполагается, состоят. Конечно, некоторые упрямые вопросы о природе разума рождали споры на протяжении более чем двадцати пяти сотен лет и все еще остадотся без ответов. Как, например, разум может двигать телом? Не далее как в 1965 году Карл Поппер мог поставить вопрос подобным образом: «Чего мы хотим, так это понимания того, кто такие нематериальные вещи, как *цели, помыслы, планы, решения, теории, напряжения* и *ценности,* могут играть какую-то роль в осуществлении материальных изменений в материальном мире. И конечно, мы также хотим знать, откуда появляются эти нематериальные вещи. На этот вопрос у греков был простой ответ: от Богов. Как указывал Доддс, греки верили, что если человек ведет себя неразумно, значит, некий враждебный бог вселил в его грудь ate (безрассудство). Какой-нибудь Дружественный бог мог уделить воину дополнительное количество menos, в результате чего тот начинал отличаться в бою. Аристотель считал, что в мышлении есть нечто божественное. Зенон полагал, что интеллект и *есть* Бог».

Мы не можем пойти по этому пути сегодня, и самая распространенная альтернатива — апелляция к предшествующим физическим событиям. Генофонд любого человека, продукт эволюции вида, считается объяснением одной части деятельности его сознания, его личная история — всего остального. Например, в результате (физического) соперничества в ходе эволюции люди теперь обладают (нефизическим) чувством агрессивности, которое приводит к (физическим) актам враждебности. Или же (физическое) наказание маленького ребенка за его сексуальную игру приводит к (нефизическому) чувству тревоги, которое вторгается в его (физическое) сексуальное поведение, когда он становится взрослым. Нефизическая стадия, очевидно, перекрывает значительные периоды времени: агрессия уходит корнями в миллионы лет эволюционной истории, а тревога, приобретенная в детстве, доживает до преклонного возраста.

Проблемы перехода от одной субстанции (stuff) к другой можно было бы избежать, если бы все здесь было либо психическим, либо физическим и рассматривались обе эти возможности. Некоторые философы пытались остаться в пределах мира сознания, утверждая, что реален лишь непосредственный опыт, и экспериментальная психология начиналась как попытка раскрыть психические законы, управляющие взаимодействием между психическими элементами. Современные «интрапсихические» теории психотерапии описывают, каким образом одно чувство приводит к другому (как, например, фрустрация вынашивает в себе агрессию), каким образом чувства взаимодействуют и каким образом чувства, вытесненные из сознания, пробиваются обратно. Комплементарная точка зрения, гласящая, что психическая ступень в действительности материальна, отстаивалась Фрейдом, который верил, что физиология в конечном счете сможет объяснить весь механизм работы психического аппарата. В схожем ключе многие психологи физиологического направления продолжают свободно рассуждать о состояниях сознания, чувствах и тому подобном, полагая, что понимание их физической природы есть лишь вопрос времени.

Измерения мира сознания и переход из одного мира в другой действительно поднимают серьезные проблемы, но обычно ими можно пренебречь, и это может оказаться хорошей стратегией, так как важнейшее возражение ментализму совсем иного рода. Мир сознания мешает нам видеть поведение в качестве самоценного предмета рассмотрения. В психотерапии, например, отклоняющиеся от нормы слова и поступки человека почти всегда рассматриваются просто как симптомы и сопоставляются с захватывающими драмами, помещаемыми в глубины сознания,— само поведение считается, конечно же, поверхностным явлением. В лингвистике и литературной критике то, что высказывает человек, почти всегда считается выражением каких-то идей или чувств. В политологии, теологии и экономике поведение обычно рассматривается в качестве материала, из которого выводятся установки, намерения, потребности и т.д. На протяжении более двадцати пяти столетий пристальное внимание было приковано именно к психической жизни, но лишь в последнее время была предпринята хоть какая-то попытка исследовать человеческое поведение как нечто большее, нежели простой побочный продукт.

Так же игнорируются и условия, функцией которых поведение является. Ментальное объяснение кладет конец любопытству. Мы можем наблюдать этот эффект в каком-нибудь случайном разговоре. Если мы кого-либо спрашиваем: «Почему вы пошли в

театр?» и этот человек отвечает: «Потому что я чувствовал желание сходить», мы склонны воспринимать его ответ как род объяснения. Гораздо ближе к существу дела было бы выяснение того, что происходило, когда он ходил в театр в прошлом, что он слышал или читал о пьесе, которую он пошел посмотреть, и что в его окружении в прошлом и настоящем могло побудить его пойти (а не сделать что-то другое), но мы принимаем «я чувствовал желание сходить» как род обобщения всего этого и не склонны расспрашивать о деталях.

Профессиональный психолог часто останавливается на этой же стадии. Прошло уже много времени с тех пор, как Уильям Джемс пытался исправить господствующую точку зрения на отношение между чувствами и поступком, утверждая, например, что убегаем мы не потому, что пугаемся, а пугаемся потому, что убегаем. Другими словами, то, что мы чувствуем, когда мы чувствуем страх, есть наше поведение — то самое поведение, которое, согласно традиционной точке зрения, выражает чувство и им объясняется. Но сколько было тех, кто, размышляя над аргументом Джемса, сумел заметить, что на деле здесь не было отмечено никакого предшествующего события? И никакое «потому что» не должно восприниматься всерьез. Никакого объяснения того, почему мы убегаем *и* чувствуем страх, предложено не было.

Независимо от того, считаем ли мы, что объясняем чувства или поведение, которое предполагается обусловленным чувствами, мы уделяем очень мало внимания предшествующим обстоятельствам. Психотерапевт узнает о предшествующей жизни пациента почти исключительно из воспоминаний самого пациента, на которые, как известно, нельзя полагаться, и он даже может утверждать, что значение имеет не то, что в действительности случилось, а то, что пациент вспоминает. В психоаналитической литературе насчитывается, наверное, не меньше ста упоминаний об ощущаемой тревоге на одно упоминание об эпизоде наказания, к которому должна восходить тревога. Мы даже как будто предпочитаем такие предшествующие истории, проверка которых нам недоступна. Сейчас, например, большой интерес проявляется к тому, что должно было произойти в ходе эволюции вида, чтобы объяснить человеческое поведение, и мы, кажется, рассуждаем с особой уверенностью именно потому, что о том, что произошло в действительности, можно лишь догадываться.

Не будучи в состоянии понять, каким образом или почему человек, которого мы видим, ведет себя так, а не иначе, мы приписываем его поведение какому-то человеку, которого мы не можем видеть, чье поведение мы также не можем объяснить, но о котором мы не склонны задавать никаких вопросов. Возможно, мы принимаем эту стратегию не столько из-за отсутствия интереса или способности, сколько из-за давнишнего убеждения в том, что большинство проявлений человеческого поведения не *имеет* никаких релевантных антецедентов. Функция этого внутреннего человека состоит в том, чтобы обеспечить какое-то объяснение, которое в свою очередь объяснения не получит. Дальше него никакие объяснения не идут. Он не является неким посредником между прошлыми событиями личной истории и настоящим поведением, он является *серединой,* из которой поведение эманирует. Он дает начало, порождает и созидает, и, делая все это, он остается божественным, каким его воспринимали и греки. Мы говорим, что он автономен с точки зрения науки о поведении, а это значит чудесен.

Эта позиция, конечно же, уязвима. Автономный человек служит для объяснения только тех вещей, которые мы еще не в состоянии объяснить иными путями. Его существование зависит от нашего невежества, и он естественным образом утрачивает свой статус, когда мы начинаем узнавать о поведении больше. Задача научного анализа состоит в том, чтобы объяснить, каким образом поведение человека как некой материальной системы соотнесено с теми условиями, в которых эволюционировал человеческий вид, а также с условиями, в которых существует данный индивид. Если здесь действительно нет никакого произвольного или творческого вмешательства, эти события должны быть соотнесены, но на деле предполагать какое-либо вмешательство нужды нет. Случайности (contingencies) борьбы за выживание, ответственные за генофонд человека, должны порождать наклонности к агрессивным *действиям,* а не к чувству агрессии. Наказание, которому подвергается сексуальное поведение, изменяет само это сексуальное *поведение,* и любые чувства, которые могут возникать при этом, являются в лучшем случае просто побочными продуктами. Наш век страдает не от тревоги, а от катастроф, преступлений, войн и других опасных и болезненных вещей, которым люди столь часто подвержены. Молодые люди бросают школу, отказываются идти работать и общаются лишь со своими сверстниками не потому, что чувствуют отчуждение, а потому, что порочным является социальное окружение в семьях, школах, на заводах и в прочих местах.

Мы можем, последовав примеру физики и биологии, обратиться непосредственно к отношению между поведением и окружением и пренебречь мнимыми опосредующими состояниями сознания. Физика не прогрессирует, присматриваясь к ликованию свободно падающего тела, а биология — к природе витальных духов; так же и нам, чтобы преуспеть в научном анализе поведения, нет необходимости пытаться раскрыть, чем же в

действительности являются индивидуальности, состояния сознания, чувства, черты характера, планы, замыслы, намерения или иные принадлежности автономного человека.

Почему нам потребовалось столько времени, чтобы прийти к этому? На это есть свои причины. Объекты изучения физики и биологии не ведут себя совсем как люди, и в конечном счете довольно смешно говорить о ликовании падающего тела или об импульсивности снаряда; но люди ведут себя именно как люди, и внешний человек, чье поведение должно быть объяснено, может очень походить на внутреннего человека, чье поведение, как утверждается, его объясняет. Внутренний человек был сотворен по образу и подобию внешнего.

Более важная причина состоит в том, что нам кажется, будто внутреннего человека порой можно непосредственно наблюдать. Мы должны выдумать ликование падающего тела, но разве мы не в состоянии *чувствовать* свое собственное ликование? Мы действительно чувствуем вещи внутри себя, но мы не чувствуем вещей, которые были изобретены для того, чтобы объяснить поведение. Одержимый человек не чувствует владеющего им *беса* и даже может вообще отрицать существование бесов. Малолетний преступник не чувствует свою расстроенную *индивидуальность.* Разумный человек не чувствует своей *разумности,* интроверт — своей *интровертности.* (На деле утверждается, что эти измерения сознания или характера могут наблюдаться лишь при помощи сложных статистических процедур.) Говорящий не чувствует *грамматических правил,* которые он, как утверждается, применяет при составлении предложений, и люди говорили грамматически за тысячи лет до того, как что-либо узнали о существовании каких-то правил. Респондент вопросника не чувствует *установок* или *мнений,* которые приводят его к особому выбору пунктов. Мы действительно чувствуем определенные состояния своих тел, связанные с поведением, но, как отметил Фрейд, мы ведем себя точно так же и тогда, когда мы не чувствуем их: они — побочные продукты и их не следует путать с причинами.

Есть и гораздо более важная причина того, что мы столь 1Медленно отвергаем менталистские объяснения: им трудно было найти какие-либо альтернативы Очевидно, мы должны искать их во внешнем окружении, но роль окружения никоим образом нельзя считать ясной. История теории эволюции иллюстрирует эту проблему. До XIX века окружение мыслилось просто пассивной обстановкой, в которой множество различных видов организмов рождаются, воспроизводят себя и умирают. Никто не замечал, что окружение ответственно за то обстоятельство, что *имеется* множество видов (и это обстоятельство достаточно знаменательным образом приписывалось некоему творческому Разуму). Трудность заключалась в том, что окружение действует незаметно: оно не выталкивает и не вытягивает, оно *отбирает.* На протяжении тысячелетий истории человеческого мышления процесс естественного отбора оставался незамеченным, несмотря на [er]о исключительную важность. Когда он в конце концов был открыт, он стал, конечно же, ключом к созданию эволюционной теории.

Воздействие окружения на поведение оставалось неясным на протяжении даже еще более длительного периода времени. Мы можем видеть, что организмы делают с окружающим их миром, когда они берут из него то, в чем нуждаются, или защищаются от его опасностей, но гораздо сложнее увидеть, что этот мир делает с ними. Первым, кто предположил, что окружение может играть активную роль в определении поведения, был Декарт, и он, очевидно, оказался способным на это предположение лишь потому, что получил одну явную подсказку. Ему было известно о неких автоматах в Королевских садах Франции, которые приводились в действие гидравлически, скрытыми от глаз клапанами. Как описывал это Декарт, люди, вступающие в сады, «обязательно наступают на некие плиты или камни, которые устроены таким образом, что если люди приближаются к купающейся Диане, эти автоматы заставляют ее скрыться в розовых кустах, а если же люди пытаются преследовать ее, они заставляют выступить вперед Нептуна, угрожающего трезубцем». Эти фигуры были знаменательны именно тем, что вели себя как люди, и поэтому создавалось впечатление, что нечто, очень похожее на человеческое поведение, может быть объяснено механически. Декарт знал по подсказке: живые организмы могут двигаться по схожим причинам. (Он исключал человеческий организм, очевидно, чтобы избежать религиозных споров.)

Взрывное (triggering) действие окружения стало называться «стимулом» —это латинское слово обозначает «стрекало», а действие на организм — «откликом», и вместе они, как считалось, составляли «рефлекс». Впервые рефлексы стали демонстрироваться на маленьких обезглавленных животных, например саламандрах, и весьма примечательно, что этот принцип подвергался нападкам на протяжении всего XIX века, потому что он, казалось, отрицал существование некоего автономного агента — «души спинного мозга»,— которому (прежде) приписывалось движение обезглавленного тела. Когда Павлов показал, как в результате дрессировки могут быть образованы новые рефлексы, родилась окончательно оформившаяся психология стимула — отклика, в рамках которой все поведение рассматривалось в качестве реакций на стимулы. Один из авторов выразил это таким образом: «Мы идем по жизни, подгоняемые тычками и

хлыстом». Однако модель стимула — отклика никогда не была особенно убедительной и она не решала основной проблемы, поскольку нечто вроде внутреннего человека все равно должно было быть изобретено для обращения стимула в отклик. Теория информации натолкнулась на ту же проблему, когда для обращения входа в выход потребовалось изобрести некий внутренний „процессор".

Воздействие провоцирующего (eliciting) стимула сравнительно легко наблюдать, и неудивительно, что декартова гипотеза длительное время занимала в теории поведения господствующие позиции; но то был ложный след, с которого только теперь сходит научный анализ. Окружение не только тычет и хлещет, оно *отбирает*. Его роль схожа с ролью естественного отбора, хотя и в совершенно ином временном масштабе, и по этой самой причине она и была упущена из виду. Теперь стало ясно: мы должны учитывать, что делает с организмом окружение не только прежде, но и после того, как он совершает отклик. Поведение оформляется и поддерживается своими последствиями. Как только этот факт осознается, мы получаем возможность сформулировать взаимодействие между организмом и окружением гораздо более всесторонним образом.

Налицо два важных результата. Один касается фундаментального анализа. Поведение, которое оперирует с окружением, чтобы произвести какие-то последствия («оперирующее» поведение), может быть изучено посредством моделирования окружений, в которых определенные последствия возможны по отношению к этому поведению. В ходе исследования возможности неуклонно становились все более сложными и одна за другой принимали те объяснительные функции, которые прежде отводились индивидуальностям, состояниям сознания, чертам характера, замыслам и намерениям. Второй результат — практического характера: окружением можно манипулировать. Верно, что человеческий генофонд может изменяться лишь очень медленно, но изменения в окружении индивида имеют быстрые и драматические результаты. Технология оперирующего поведения, как мы увидим, уже достаточно развита, и она может оказаться под стать нашим проблемам.

Эта возможность, однако, поднимает другую проблему, которую необходимо решить, если мы собираемся воспользоваться своими достижениями. Мы продвинулись вперед, экспроприировав внутреннего человека, но он не ушел со сцены просто так. Он проводит своего рода арьергардные бои, для которых, к несчастью, он в состоянии получить серьезные подкрепления. Он все еще важная фигура в политологии, праве, религии, экономике, антропологии, социологии, психотерапии, этике, истории, образовании, педагогике, лингвистике, архитектуре, городском планировании и семейной жизни. В каждой из этих областей есть свой специалист, и у каждого специалиста есть своя теория, и почти в каждой теории автономия индивида не подвергается никакому сомнению. Внутреннему человеку нет серьезной угрозы со стороны данных, полученных с помощью случайного наблюдения или из исследований по структуре поведения, и во многих из этих областей рассматриваются лишь группы людей, в которых статистические или актуарные данные накладывают мало ограничений на индивида. Результат — огромный перевес традиционного «знания», которое должно быть исправлено или заменено неким научным анализом.

Особенное беспокойство причиняют две черты автономного человека. Согласно традиционной точке зрения человек свободен. Он автономен в том смысле, что его поведение не вызывается никакой причиной (uncaused). Он поэтому может считаться ответственным за то, что делает, и справедливо наказываться, если совершает проступок. Эта точка зрения вместе со связанной с ней практикой должна быть пересмотрена, коль скоро научный анализ вскрывает такие контролирующие отношения между поведением и окружением, о которых прежде никто не подозревал. Определенная доля внешнего контроля могла допускаться и раньше. Теологи признали тот факт, что действия человека должны предопределяться всеведующим Богом, а излюбленной темой греческих драматургов была неумолимая судьба. Ясновидцы и астрологи часто заявляют о своей способности предсказывать человеческие поступки, и на них всегда был спрос. Биографы и историки всегда выявляли некие «влияния» в жизни индивидов и народов. Народная мудрость и прозрения таких эссеистов, как Монтень и Бэкон, предполагают какой-то род предсказуемости в человеческом поведении, а статистические и актуарные свидетельства социальных наук указывают в том же направлении.

Автономный человек выживает перед лицом всего этого потому, что он — счастливое исключение. Теологи примирили предопределение со свободной волей, а греческая публика, взволнованная изображением неумолимой судьбы на сцене, вне театра чувствовала себя свободной. Весь ход истории поворачивает смерть какого-нибудь вождя или буря на море, а жизнь индивида полностью изменяют какой-нибудь наставник или любовная история, но ведь эти вещи случаются нес каждым и они не воздействуют на каждого одинаковым образом. Некоторые историки даже обратили непредсказуемость истории в добродетель. Актуарное свидетельство легко игнорируется;

мы читаем, что сотни людей погибли в результате дорожных катастроф в праздничный уикенд, и беспечно пускаемся в путь, словно нас лично это совершенно не касается. Мало какая поведенческая наука воскрешает «призрак предсказуемого человека». Напротив, множество антропологов, социологов и психологов воспользовались своими экспертными знаниями как раз для того, чтобы доказать, что человек обладает свободой, целями и ответственностью. Если не очевидность, то хотя бы вера делала Фрейда детерминистом, но множество фрейдистов не испытывают никаких колебаний, заверяя своих пациентов в том, что они свободны выбирать между различными направлениями действия и в конечном счете являются архитекторами своих судеб.

Эта спасительная лазейка понемногу начинает закрываться — по мере того как открываются новые свидетельства предсказуемости человеческого поведения. Личное освобождение от полного детерминизма упраздняется по мере того, как прогрессирует научный анализ, особенно в том, что касается поведения индивида. Джозеф Вуд Крач (Krutch) признал актуарные факты, настаивая при этом на личной свободе: «Мы можем со значительной долей точности предсказать, что множество людей отправится к морю в день, когда температура достигнет определенной отметки, и даже сколько прыгнет с моста... хотя ни меня, ни вас ничто не вынуждает делать что-либо подобное». Но он едва ли может подразумевать под этим, что те, кто отправится к морю, не отправятся по основательным причинам, или что обстоятельства жизни самоубийцы не имеют никакого значения для объяснения факта его прыжка с моста. Различие здесь остается обоснованным лишь до тех пор, пока такое слово, как «вынуждать», предполагает какой-то особенно бросающийся в глаза и насильственный образ контроля. Научный анализ, естественно, движется в направлении прояснения всех видов контролирующих отношений.

Подвергая сомнению контроль, осуществляемый автономным человеком, и демонстрируя контроль, осуществляемый окружением, наука о поведении также, очевидно, подвергает сомнению и достоинство человека. Личность ответственна за свое поведение не только в том смысле, что она может быть осуждена или наказана в случае, если ведет себя дурно, но также и в том смысле, что ей можно доверять и восхищаться ее достижениями. Научный анализ переносит как доверие, так и осуждение на окружение, и после этого никакая традиционная практика уже не может быть оправдана. Это грандиозные изменения, и те, кто привержен традиционным теории и практике, естественно, сопротивляются им.

Имеется и третий вид затруднения. Когда на первый план начинает выдвигаться окружение, индивид, очевидно, оказывается подвержен новому виду опасности. Кто будет конструировать контролирующее поведение и с какой целью? Автономный человек предположительно контролирует себя сам, в соответствии с неким встроенным в него набором ценностей; он работает на то, что считает добрым. Но что сочтет добрым предположительный контролер и будет ли это добрым для тех, кого он контролирует? Утверждается, что ответы на вопросы такого рода отсылают, конечно же, к оценочным суждениям.

Свобода, достоинство и ценность — значительные вещи, и, к несчастью, они становятся все более решающими по мере того, как мощь технологии поведения становится более соразмеримой с теми проблемами, которые следует решать. Само изменение, которое принесло надежду на решение, ответственно за растущую оппозицию предложенному виду решения. Этот конфликт сам есть проблема человеческого поведения, и к нему следует подходить соответствующим образом. Наука о поведении далеко не так развита, как физика или биология, но ее преимущество в том, что она может пролить некоторый свет на свои собственные трудности. Наука *есть* человеческое поведение, и то же самое относится к оппозиции науке. Что произошло в человеческой борьбе за свободу и достоинство и какие проблемы возникают, когда научное знание оказывается способным принять участие в этой борьбе? Ответы на эти вопросы могут помочь расчистить путь для той технологии, в которой мы так остро нуждаемся.

Ниже эти предметы рассматриваются «с научной точки зрения», но это не означает, что читателю потребуется знать детали научного анализа поведения. Довольно будет одной лишь интерпретации. Природу такой интерпретации, однако, легко можно понять неверно. Мы часто говорим о вещах, которые не можем наблюдать или измерить с точностью, требуемой научным анализом, и в этом нам может серьезно помочь использование терминов и принципов, которые были разработаны в более точных условиях. Море в сумерки пылает ни на что не похожим светом, мороз рисует на оконном стекле диковинный узор, а суп не может загустеть в печи, и специалисты говорят нам, почему это так происходит. Мы можем, конечно, им возразить: у них нет «фактов» и то, что они говорят, не может быть «доказано», но тем не менее скорее оказываются правы они, нежели те, кому не достает экспериментальной основы, и они одни могут сказать нам, как двигаться дальше к более точному исследованию, если оно представляется того достойным.

Экспериментальный анализ поведения дает схожие преимущества. Когда мы

пронаблюдаем поведенческие процессы в контролируемых условиях, мы с большей легкостью можем отметить их в мире, простирающемся за стенами лабораторий. Мы можем идентифицировать значимые черты поведения и окружения и поэтому способны пренебречь незначительными, какими бы привлекательными они ни были. Мы можем отвергнуть традиционные объяснения, если они были опробованы и не доказаны в экспериментальном анализе, а затем с неослабевающим любопытством двинуться в нашем исследовании дальше. Приводимые ниже примеры поведения не предлагаются в качестве «доказательств» интерпретации. Доказательства следует искать в фундаментальном анализе. Принципы, использованные при интерпретации примеров, обладают такой вероятностью, которая отсутствовала бы в принципах, всецело выведенных из случайного наблюдения.

Текст часто будет казаться несостоятельным. Английский, подобно всем другим языкам, изобилует донаучными терминами, которых обычно хватает для целей случайного дискурса. Никто не косится на астронома, когда тот говорит, что солнце встает или что ночью звезды высыпают на небо, ибо было бы смешно настаивать, чтобы он всегда говорил, что солнце появляется над горизонтом по мере того, как земля обращается, или что звезды становятся видимыми, когда атмосфера прекращает преломлять солнечный свет. Все, что мы требуем,— это чтобы он дал какой-то более точный перевод, если в нем возникает надобность. Английский язык содержит значительно больше выражений, относящихся к человеческому поведению, чем к другим сторонам мира, и их технические альтернативы значительно менее известны. Поэтому использование случайных выражений с гораздо большей вероятностью вызовет нарекания. Может показаться непоследовательным просить читателя «держать нечто в уме», если его убеждали в том, что ум есть объяснительная фикция, или «рассмотреть идею свободы», если идея есть попросту своеобразный предшественник поведения, или говорить об «успокоении тех, кто страшится науки о поведении», если подразумевается лишь изменение их поведения в отношении подобной науки. Эта книга могла бы быть написана для какого-нибудь читателя-специалиста и без подобных выражений, но рассматриваемые нами вопросы важны для неспециалистов и должны обсуждаться нетехническим способом. Без сомнения, множество менталистских выражений, устоявшихся в английском языке, не могут быть переведены столь же строго, как «восход солнца», но приемлемые переводы все же достижимы.

Почти все важнейшие проблемы связаны с человеческим поведением, и они не могут быть разрешены при помощи лишь физической и биологической технологий. Что нам нужно — так это технология поведения, но мы задержались с развитием науки, которая могла бы дать подобную технологию. Одна из трудностей состоит в том, что почти все из того, что зовется поведенческой наукой, продолжает возводить поведение к неким состояниям сознания, чувствам, чертам характера, человеческой природе и тому подобному. Физика и биология когда-то следовали подобной же практике и смогли прогрессировать лишь после отказа от нее. Поведенческие науки задержались со своим изменением отчасти потому, что объяснительные сущности часто казались непосредственно наблюдаемыми, и отчасти потому, что трудно было найти какие-то иные виды объяснений. Важность окружения была очевидной, но его роль оставалась неясной. Оно не выталкивает и не вытягивает, оно *отбирает,* и эту функцию трудно раскрыть и проанализировать. Роль естественного отбора в эволюции была сформулирована лишь немногим более ста лет тому назад, а избирательная роль окружения в оформлении и поддержании поведения индивида только лишь начинает признаваться и изучаться. Когда же взаимодействие между окружением и индивидом становится понятным, то эффекты, которые прежде приписывались состояниям сознания, чувствам и чертам характера, начинают возводиться к таким условиям, которые можно смоделировать, и технология поведения может поэтому стать доступной. С ,'"

Но она не решит наши проблемы, пока не заменит собой традиционные донаучные воззрения, а эти последние имеют глубокие корни. Свобода и достоинство иллюстрируют эту трудность. Они являются собственностью автономного человека традиционной теории, и они существенны для практики, в рамках которой личность считается ответственной за свое поведение и получает поощрение за свои достижения. Научный анализ переносит как ответственность, так и достижения на окружение. Он поднимает также вопросы о «ценностях». Кто воспользуется этой технологией и с какими целями? Пока эти вопросы не разрешатся, технологию поведения будут продолжать отвергать, а вместе с ней и, возможно, единственный путь к решению наших проблем.

Дж. К- Хоманс ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ[1]

Теория какого-либо явления есть его объяснение, показывающее, каким образом оно вытекает из основных положений определенной дедуктивной системы. Несмотря на некоторые эмпирические достижения, функциональной школе не удалось создать

объясняющей теории, поскольку из основных посылок функционализма, касающихся условий социального равновесия, нельзя вывести никаких определенных заключений. Когда самими функционалистами предпринимаются серьезные попытки по созданию такой теории, то оказывается, что их основоположения превращаются в психологические: эти положения о поведении людей, а не о равновесии обществ.

Мне вновь хотелось бы затронуть тему, обсуждение которой у многих из нас, в том числе и у меня, отняло много времени и сил. Проблема достаточно стара, но новое обращение к ней не вызывает у меня чувства неловкости, ибо до сих пор она остается нерешенной. Я думаю, что это наиболее важная теоретическая проблема в социологии. Поскольку сегодня у меня единственный случай сказать ex cathedra, то я не могу не позволить себе сказать что-нибудь ядовитое. Я думаю, что сейчас именно такой момент, когда можно быть ядовитым.

В начале 30-х годов в социологии сложилась определенная школа. Ее предшественниками, хотя, безусловно, не единственными, были Дюркгейм и Рэдклифф-Браун. Я называю это школой, несмотря на то что далеко не все ее приверженцы следуют ее принципам; многие социологи добились крупных успехов на другом пути.

Обычно эту школу называют структурно-функциональной, или просто функционализмом. Данное направление господствовало на протяжении целого поколения. Теперь, мне кажется, возможности функционализма исчерпаны, и он стоит преградой на пути к пониманию социальных явлений. Почему это произошло?

Область интересов функционализма

Я начну с того, что напомню вам основные интересы и допущения функционализма, намеренно сопоставляя их с теми, которые им не изучались и были приняты без доказательства. Именно эти не поставленные в свое время вопросы ныне беспокоят функционализм. Если то, что я говорю, будет похоже на карикатуру, то вспомните, что карикатура всегда подчеркивает в личности наиболее характерные черты.

Во-первых, эта школа начала с исследования норм, т. е. утверждений членов группы относительно того, как им следует себя вести и как они ведут себя в действительности в различных обстоятельствах. Особенно большое внимание она проявляет к связке (cluster) норм, названных ролью, и к связке ролей, названных институтом. Функционалисты не уставали говорить о том, что ими рассматривается институционализированное поведение и что единицей социального анализа является не действующий индивид, а роль. При этом никогда не задавался вопрос, почему существуют роли вообще.

Во-вторых, можно определить эмпирический интерес к взаимоотношению ролей и взаимоотношению институтов как структурное направление работы функционалистов. Аналогичными вещами занималась социальная антропология, которая показывала, как в первобытном обществе сосуществуют различные институты; социология распространила эти принципы на современные общества. Например, ею установлено, что нуклеарная семья, больше чем какая-либо другая форма родства, соответствует индустриальному обществу. Но представители функционализма больше интересовались тем, каковы взаимоотношения институтов, нежели вопросом о причинах этих взаимоотношений. Вначале анализ имел тенденцию к статичности, поскольку это позволяло рассматривать социальную структуру общества как нечто стабильное. В последнее время функционалисты обратились к исследованию социальных изменений, что заставило их вернуться к проблемам, которые раньше игнорировались. Если институт изменяется, то едва ли кто-нибудь может удержаться от вопроса: почему он изменяется в том, а не в ином направлении?

В-третьих, вообще говоря, функционалисты больше интересовались последствиями, чем причинами институтов, в особенности последствиями институтов для социальной системы как некоторого целого. Эти последствия рассматривались как *функции* институтов. Функционалисты никогда не уставали указывать на функции и дисфункции системы статусов, никогда не задавая себе вопросов о том, почему существованию такой системы придается столь большое значение и почему она должна иметь функции. Они особенно старались показать, что социальные институты обеспечивают равновесное состояние в обществе, которое находится в постоянном движении. Исходной моделью при этом послужила попытка Дюркгейма (в работе «Элементарные формы религиозной

жизни») показать, как религия первобытного племени помогает сохранять его единство.

Таковы эмпирические интересы функционализма. Поскольку в этом плане я сам принадлежу к функционалистам, постольку я буду ссориться с ними в последнюю

очередь. Безусловно, одной из задач социолога является раскрытие норм, существующих в обществе. Хотя роль и не является действительным поведением, все же в некотором отношении это понятие оказывается полезным упрощением. Конечно, институты *взаимосвязаны,* и изучение этих взаимосвязей также является задачей социолога. Институты действительно имеют последствия в том смысле, что если дан один институт, то институты другого рода, по-видимому, не бесконечны в количественном отношении. Определенно, одной из задач социолога является установление влияний институтов и даже, хотя это и труднее сделать, выяснение, какие из них полезны, а какие вредны для общества как целого. Во всяком случае эмпирические интересы функционализма привели к большому числу хороших исследований. Вспомните о работах Мардока и других по проблемам межкультурных взаимосвязей институтов.

По мере своего оформления функциональная школа наряду с эмпирическими развивала и теоретические интересы. Теоретические и эмпирические интересы не обязательно связаны друг с другом — английская социальная антропология оставалась относительно эмпирической. Этого нельзя сказать об американских социологах, особенно о Т. Парсонсе, который претендовал на создание общей теории и всемерно подчеркивал ее важность.

Более того, у них имелась определенная теория. Американские социологи-функционалисты были последователями Дюркгейма и вполне серьезно воспринимали его знаменитое определение *социальных фактов:* «Поскольку их существенная характеристика заключается в том, что они обладают способностью оказывать влияние в качестве внешних факторов на сознание индивидов, постольку они не выводятся из индивидуального сознания, и, следовательно, социология не выводится из психологии». Дюркгейм был великим человеком, поэтому в его работах можно найти утверждения, имеющие совершенно иной смысл, но в данном случае мы имеем дело с карикатурным утверждением, которое рассматривается совершенно однозначно. Если не на словах, то на деле функционалисты полностью восприняли Дюркгейма. Их фундаментальная единица — роль — оказалась социальным фактом в дюркгеймовском смысле. А их теоретическая программа предполагала, что социология должна быть независимой наукой. Именно в этом смысле утверждалось, что положения социологии не выводятся из каких-то других социальных наук, в том числе и из психологии. Следовательно, это означало, что общие положения социологии не относились к поведению «индивидуальных сознаний», или, как я бы сказал, к людям, а относились к обществу или другим социальным группам как таковым.

Интересно, что функционализм потерпел поражение не в области эмпирических интересов, а там, где он больше всего собою гордился — в области общей теории. Но здесь я буду очень осторожным. В последнем президентском послании К. Девис утверждал, что все мы являемся функционалистами, и в некотором смысле он совершенно прав. Но в этой статье говорится о функциональном *анализе,* при помощи которого можно выяснить, чем один институт отличается от других аспектов социальной структуры. В этом состоит эмпирическая программ-а функционализма. Поскольку всех нас обучали пользоваться функциональным анализом, постольку мы функционалисты. Но функциональный анализ как метод не идентичен функционализму как теории. И если все мы функциональные аналитики, то, конечно, далеко не все мы функциональные теоретики. Лично я к ним не принадлежу.

Единственная обязанность теории — объяснять. Эволюционная теория объясняет, почему и как происходит эволюция. Для того чтобы зафиксировать влияние институтов и их взаимосвязь, не нужно объяснять, почему эти взаимосвязи являются такими, каковы они есть. Практически, а не в философском смысле вопрос заключается не в том, законно ли рассматривать роль как основную единицу анализа, и не в том, существуют ли институты реально, а в том, привела ли теоретическая программа функционализма к объяснению социальных явлений, включая результаты самого функционального анализа. Вопрос не в том, мог ли достичь этого функционализм, а в том, достиг ли он этого сегодня. Думаю, что на этот вопрос надо ответить отрицательно.

Природа теории

Несмотря на разговоры о теории, функционалистам никогда не удавалось ясно определить, что же такое теория. А это нужно было бы сделать. Но в их оправдание можно привести то соображение, что на этот вопрос философия науки прежде не давала столь ясного ответа, какой мы сейчас имеем. Но даже тогда функционалисты могли сделать больше, чем они сделали. Сегодня мы должны прекратить разговоры со студентами о социологической теории до тех пор, пока не объясним, что же такое теория.

Теория какого-либо явления состоит из ряда положений, каждое из которых устанавливает некоторое отношение между свойствами природы. Но далеко не каждое предложение может рассматриваться как такое положение. Положения не состоят из

определений этих свойств: построение концептуальной схемы является необходимой частью теоретической работы, но не самой теорией. Никакое положение не может просто говорить о том, что между этими свойствами существует некоторое отношение. Вместо этого если меняется одно из свойств, то следует по меньшей мере определить, что должно измениться в другом свойстве. Если отсутствует одно из свойств, то отсутствует и другое свойство; или если увеличивается значение одного из свойств, то то же самое происходит и с другим свойством. Эти свойства как переменные могут носить вероятностный характер.

Рассмотрим известный пример — утверждение Маркса о том, что экономическая организация общества определяет природу всех его других институтов. Это положение является исключительно полезным принципом исследования. Здесь говорится: «Ищите социальные последствия экономического изменения, и если вы будете искать их, то, конечно, найдете!» Но это не тот тип положения, который может войти в теорию. Ибо само по себе оно говорит только то, что если произойдут изменения в экономическом базисе, то обязательно произойдут некоторые изменения в социальной надстройке без всякого предположения относительно того, каковы будут эти изменения. Большинство положений социологии, претендующих на то, чтобы считаться теоретическими, напоминают это утверждение Маркса, хотя очень немногие теоретики это понимают. И в то время как мы постоянно спрашиваем, каким образом теория руководит исследованием, мы забываем, что многие утверждения, подобно вышеупомянутому, являются хорошими исследовательскими принципами, не являясь при этом хорошей теорией.

Для того чтобы построить теорию, положения должны принять форму дедуктивной системы. Некоторые из положений, обычно называемых положениями низшего уровня, должны быть объяснены. Примером этого служит утверждение о том, что чем более индустриальным является общество, тем более организация родства стремится принять форму нуклеарной семьи. Другие положения являются или общими положениями, или утверждениями о частных условиях. Общими эти положения называются потому, что они входят в другую, возможно не одну, дедуктивную систему, кроме той, о которой идет речь. Действительно, то, что мы часто называем теорией, представляет собой комплекс дедуктивных систем, исходящих из одних и тех же общих положений, но имеющих различные объяснения (explicanda). Кардинальное условие состоит в том, чтобы каждая система была дедуктивной. Это значит, что положения низшего порядка следуют в качестве логических выводов из основных положений при определенных условиях. Причина, в силу которой определенные положения, подобно марксову, не могут стать теоретическими, заключается в том, что из них логическим путем не могут быть получены определенные выводы. Когда положения низшего порядка следуют логически, то говорят, что они объяснены. Объяснение явления есть его теория. Теории нет или это не теория до тех пор, пока нет объяснения.

Можно определить свойства и категории, но еще не иметь теории. Можно установить *существование отношений* между свойствами — и это не будет теорией. Можно говорить о том, что изменение одного свойства ведет к определенному изменению другого. Однако и это еще не будет теорией. До тех пор, пока мы не имеем положений, устанавливающих отношения между свойствами и образующих некоторую дедуктивную систему, — до тех пор, пока мы не имеем этих условий, мы не имеем теории. Большинство из наших споров по поводу теории оказались бы бесполезными, если бы мы спросили себя, существует ли теория, о которой можно было бы спорить.

Функциональные теории

Теоретические усилия функционализма никогда не приближались к этим условиям. Даже если функционалисты всерьез попытались бы достигнуть их, чего они, впрочем, никогда не делали, то я думаю, что их все же должна была бы постигнуть неудача. Трудность состоит в наиболее характерных общих положениях функционализма. Положение еще не функционально потому, что в нем используется слово *функция*. Утверждение о том, что определенный институт функционален для отдельных индивидов в том смысле, что отвечает их потребностям, еще не является специфическим для функционализма. Оно принадлежит к классу психологических положений. Не является специфическим для функционалистов и положение о том, что один институт есть функция другого в квазиматематическом смысле этого понятия. Этими утверждениями пользуются не только функционалисты, но и другие теоретики подобно мне. Специфические общие положения функциональной теории в социологии имеют следующую форму: «Если социальная система — любая социальная система — должна сохраниться или остаться в равновесии, то она должна обладать институтами типа *X*». Например, для своего выживания или поддержания равновесия общество должно обладать институтами для разрешения конфликтов. Общими положениями такого типа функционалисты пытаются удовлетворить требование Дюркгейма относительно подлинной независимости социологической теории.

Проблема была и остается в том, чтобы на основе этих общих положений сконструировать дедуктивную систему. Возьмем термины *равновесие и выживание.* Если теоретик остановился на «равновесии», то у него не будет достаточно определенного критерия социального равновесия, особенно «динамического», или «движущегося», критерия, достаточно определенного для того, чтобы логически вывести что-либо специфическое из положения, содержащего этот термин. Ниже я приведу пример этого. Когда общество не находилось в состоянии равновесия? Если теоретик остановится на понятии «выживание», то он обнаружит с удивлением, что оно столь же трудно поддается определению. Например, сохраняется ли Шотландия как общество или нет? Несмотря на то что в течение долгого времени эта область была объединена с Англией, тем не менее здесь еще сохранилось некоторое своеобразие правовых и религиозных институтов. Если теоретик берет «выживание» в строгом смысле и говорит, что общество не сохраняется, когда все его члены умирают, не оставляя потомства, то он сталкивается с новыми трудностями. Насколько нам известно, только очень немногие общества такого типа обладали всеми теми институтами, о которых функционалисты говорят как о необходимых для выживания. Рассматриваемое доказательство является по меньшей мере эмпирически истинным для функциональных положений. Конечно, функционалисты имели право утверждать: «Если общество должно выжить, то его члены не могут умереть все сразу». Это была бы чистая правда, но она мало что давала бы для получения знаний о социальных характеристиках сохраняющихся обществ.

Фактически то же самое можно сказать и о других положениях функционализма. Даже если бы утверждение, подобное следующему: «Для того чтобы выжить, общество должно обладать институтами для решения конфликтов», было истинным и верифицируемым, оно мало бы что дало для объяснения. Из этого положения может быть выведен факт, что если данное общество сохранялось, то оно обладало определенными институтами для решения конфликтов. Этим объясняется сам факт, но не объясняется, почему общество обладает институтами для решения конфликтов именно данного рода, почему, например, в англосаксонском суде издавна существует институт присяжных. На этом примере мне хотелось бы показать, что социология должна объяснять действительно существующие черты реальных обществ, а не только обобщенные черты общества вообще.

Я не думаю, что представители функциональной школы могли бы построить теории, которые были бы одновременно и дедуктивными системами, отправляясь от своих общих положений. Более того, они сами так не думали. Некоторые из них, сознавая, вероятно, ограниченность своих позиций, стали разрабатывать теорию в другом направлении. Их утверждения ограничивались и исчерпывались рядом функциональных проблем, стоящих перед любым обществом, с тем чтобы выработать сложный набор категорий, с помощью которых могла бы анализироваться социальная структура. Другими словами, они создавали концептуальную схему. Но анализ — это не объяснение, а концептуальная схема — не теория. Им удалось избежать трудностей при установлении связей между категориями, но большинство из них напоминало вышеприведенное положение Маркса: подобный тип утверждений не может принадлежать к дедуктивной системе. Ни из положений низшего порядка, ни из положений более высокого порядка выводы не могут быть получены логическим путем. В этих условиях никак нельзя было говорить о том, в какой степени можно оспаривать выбор функциональных проблем и категорий. То, что действительно было сделано функционалистами, оказалось не теорией, а просто новым языком для описания социальной структуры, одним из множества возможных языков; и большинство работ, по их мнению теоретических, заключалось в том, чтобы показать, как слова других языков, в том числе и обыденного, могут быть переведены на язык функционализма. Например, то, что другие люди называют «обеспечением средств к жизни», функционалисты называют «достижением цели». Но именно дедукция, а не перевод составляет суть теории.

Я уже говорил, что вопрос заключается не в том, могут ли вообще функциональные теории быть настоящими теориями, так как есть науки, обладающие настоящими функциональными теориями. Вопрос состоит скорее в том, чтобы выяснить, насколько успешны эти частные усилия. Если теория есть объяснение чего-либо, то функционализм в социологии, очевидно, потерпел неудачу. Беда его не в том, что он обладает ошибочной теорией, а в том, что ее у него нет.

Альтернативная теория

На этом кончается разгромная часть обзора. Теперь я попытаюсь показать, что более успешная попытка объяснить социальные явления принадлежит теориям, отличающимся от функциональных своими общими положениями, как раз теми, от которых функционалисты пытались уйти. Я попытаюсь показать это по отношению к тем явлениям, которые функционалисты брали без доказательств, и к тем связям, которые они устанавливали эмпирическим путем. Я даже попробую показать, что когда

функционалисты подходили к задаче объяснения серьезно (иногда они занимались этим), то в их работе появлялся другой тип теории, не осознанный ими.

Снова и снова функционалисты настаивали на том, что минимальной единицей социального анализа является роль, состоящая из комплексов норм. Недавно Дж. Коулмен писал: «...для социологов характерно брать в качестве исходной точки социальную систему, в которой существуют нормы, а индивиды в значительной степени управляются этими нормами. В этом плане нормы выступают в качестве регуляторов социального поведения, и таким образом легко обходится трудная проблема, поставленная еще Гоббсом». Конечно, проблема Гоббса — почему нет войны всех против всех — существует до сих пор.

Короче говоря, почему же вообще нормы существуют? Ответ Коулмена сводится в том случае, который он рассматривает, к тому, что нормы возникают из действий людей, рационально рассчитывающих свой интерес в будущем в связи с другими людьми, действующими таким же образом. Он пишет: «Центральный постулат относительно поведения заключается в следующем: каждое действующее лицо будет пытаться распространить свою власть на те действия, в которых оно больше всего заинтересовано». Исходя из этого постулата, Коулмен констатирует де-Дуктивную систему, объясняющую, почему действующие лица усваивают определенный вид норм при данных обстоятельствах.

Я не хочу обсуждать здесь спорный вопрос о рациональности. Я не хочу выяснять, с какого типа общего положения начинает Коулмен. Как он сам признает, оно напоминает основное допущение экономистов, хотя личный интерес здесь не сводится к материальным интересам, которые обычно рассматриваются экономистами. Допущения Коулмена близки к психоанализу, хотя здесь они могут звучать в следующей форме: чем ценнее вознаграждение деятельности, тем более вероятно, что человек будет выполнять эту деятельность. Конечно, это не принадлежит к типично функциональным положениям в социологии: это утверждение не относительно условий равновесия в обществе, а относительно поведения индивидов.

И снова, если нормы существуют, то почему человек согласен с ними? Давайте пренебрежем тем фактом, что многие люди не соглашаются с нормами или недостаточно индифферентно относятся к ним, и предположим, что все следуют нормам. Но почему они поступают так? Ответ функционалистов состоит в том, что люди «интериоризуют» ценности, заключенные в норме? Но «интериоризация» — это всего лишь слово, а не объяснение. Насколько это касалось их теории, функционалисты брали факт следования нормам без специального доказательства. Таким образом, они совершили ошибку, на которую давно указал Малиновский в книге, теперь мало читаемой социологами. Она состояла в том, что первые исследователи первобытных обществ предположили, что согласие с нормами является предметом «...автоматического молчаливого согласия, инстинктивного подчинения каждого члена племени его законам...» Другой ответ, данный Малиновским, заключается в том, что подчинение нормам «обычно вознаграждается в соответствии со степенью его безупречности, в то время как неподчинение оборачивается против нерадивого члена». Короче, этот ответ очень похож на то, что говорят Коулмен и другие психологи. Позднее Малиновский добавил замечание, которое заставляет задуматься: «Истинная проблема заключается не в том, как человеческая жизнь подчиняется правилам — она просто им не подчиняется, реальная проблема состоит в том, как правила приспосабливаются к жизни...»

Остается вопрос, почему члены определенного общества находят одни, а не другие результаты своих действий достойными награды, особенно, когда некоторые из таких результатов кажутся далекими от «естественно» вознаграждаемых. В этом состоит реальная проблема «интериоризации» ценностей. Объяснение этого дано далеко не во всех явно социологических положениях, а только в положениях психологической теории обучения (усвоения).

Функционалисты проявляли большой интерес к взаимоотношениям институтов, и одно из достоинств этой школы состоит в анализе многих из этих отношений. Но задача науки не сводится к этому; наука призвана объяснить, почему эти взаимоотношения таковы, какими они являются. Возьмем утверждение о том, что родственная организация в индустриальных обществах стремится стать тем, что называется нуклеарной семьей. Я не могу дать сколько-нибудь полного объяснения, но я могу, так же как и вы, предложить начало этого объяснения. Некоторые создавали фабрики потому, что, поступая так, они рассчитывали на получение большого материального вознаграждения именно за этот, а не другой тип поведения. Другие люди по тем же соображениям шли работать на эти фабрики. Поступая таким образом, они вынуждены были отказываться (хотя бы только из-за недостатка времени) от поддержания широких родственных связей, которые были источниками поощрения, ибо во многих аграрных обществах помощь в работе зависела от количества родственников в семье. В связи с этим нуклеарная семья стремилась ассоциироваться с заводской организацией, и такое объяснение этой ассоциации обусловливается положениями о поведении человека как такового. Эти

отношения объясняются не потребностями общества, а потребностями людей.

Результатом постоянного интереса функционалистов к изучению институтов, в особенности для социальной системы как целого, явилось рассмотрение функций и дисфункций системы статусов. Изредка функционалисты спрашивали, почему системы статусов должны занимать столь видное место в анализе. Некоторые теоретики рассматривали возникновение явлений, подобных системам статусов, как доказательство утверждения Дюркгейма о несводимости социологии к психологии. Важным оказывается не сам факт возникновения, а то, как это возникновение должно быть объяснено. Одним из достижений социологии малых групп является объяснение того, как возникает система статусов, конечно, в малом масштабе, в процессе взаимодействия между членами группы. Оно основывается на психологических положениях. Никаких функциональных положений при этом не требуется. Действительно, теоретический вклад социологии малых групп заключается в обнаружении того, как виды микроскопических переменных, обычно игнорируемых социологами, могут объяснить некоторые ситуации, обычно игнорируемые психологами.

Какие же выводы можно извлечь из этого? Если функционалисты берут сами явления без доказательства, подобно нормам, если сами взаимоотношения, которые они эмпирически обнаруживают, могут быть объяснены с помощью дедуктивных систем, основанных на психологических допущениях, то получается, что общие объясняющие принципы даже в социологии являются не социологическими, как хотелось бы этого функционалистам, а психологическими, относящимися к поведению человека, а не к поведению общества. По аналогии с другими науками этот аргумент сам по себе не подрывает достоверности функциональной теории. Например, термодинамика формулирует положения об агрегатах, которые сами являются истинными и общими, хотя в свою очередь они могут быть объяснены в статической механике при помощи положений о составляющих этих агрегатов. Вопрос состоит в том, существует ли подобная ситуация в социологии. Что касается положений функционализма, относящихся к социальным агрегатам, то здесь такой ситуации не существует, ибо эти положения не представлены как истинные и всеобщие.

Объяснение социального изменения

Следующим моим утверждением будет то, что даже правоверные функционалисты при попытке объяснить некоторое типы социальных явлений пользуются, не отдавая при этом себе отчета, нефункциональными приемами. В частности, это становится ясным из их работ по социальному изменению.

Социальное изменение стало искомой проверкой теории с тех пор, как исторические документы стали предпосылкой для изучения этого предмета. Вне истории социолог может установить сравнительные взаимоотношения институтов, но едва ли он способен объяснить, почему данные отношения должны быть именно такими. Из исторических документов может быть получена информация, подтверждающая объяснение. Одно из простейших обвинений функциональной школы сводится к тому, что она не имеет дела с социальным изменением, что ее анализ ограничен социальной статикой. В последние годы некоторые функционалисты предприняли попытку показать несправедливость этого обвинения. Для доказательства они выбрали процесс дифференциации в обществе, например процесс роста профессиональной специализации. Как всегда, вопрос касается не самого факта дифференциации — несомненно, общая традиция истории лежала в этом направлении, а его объяснения.

В частности, хороший пример новой тенденции в развитии функционализма представляет собой книга Нейла Смелсера «Социальное изменение в промышленной революции: приложение теории к английской хлопчатобумажной промышленности 1770—1840 гг.» (1959). Книга интересна не только с точки зрения моих целей, но очень хороша и сама по себе. В ней дается огромная, хорошо организованная информация и предпринимается попытка объяснить те изменения, о которых идет речь. Самым забавным в этой книге является то, что объяснение, к которому в действительности прибегает Смелсер как хороший ученый, ничего общего не имеет с функциональной теорией, ибо она не является теорией вообще. Объяснение здесь строится на основе теории иного и лучшего типа.

Начинает Смелсер как подлинный функционалист. Социальная система, понимаемая им как одна из видов систем действия, характеризуется следующим образом: «Социальная система... состоит из сети взаимосвязанных ролей, коллективов и т. д. Важно помнить, что роли, коллективы и т. д., а не индивиды являются единицами анализа в этом последнем случае». Более того, «все системы действия управляются принципом равновесия. В соответствии с преобладающим типом равновесия процесс приспособлений протекает в определенном направлении: если равновесие устойчиво, то единицы стремятся вернуться к своей исходной позиции; если равновесие неполно, то только некоторые из единиц нуждаются в приспособлении; если равновесие неустойчиво, то появляется тенденция к

изменению через взаимное приспособление к новому равновесию или к всеобщей дезинтеграции». Наконец, «все социальные системы подвержены этим четырем функциональным требованиям, которые должны более или менее удовлетворяться, если система должна остаться в равновесии» (с. 10—11). Заметьте, что при помощи этого аргумента все социальные системы, даже те, которые находятся в состоянии дезинтеграции, оказываются равновесными. Несмотря на то что дезинтегрированные системы находятся в нестабильном равновесии, они все еще равновесны. В связи с этим такие системы более или менее удовлетворительно выполняют четыре функциональных требования. Вот насколько полезной может быть дедуктивная система в социальных науках. Если говорить более серьезно, то определения равновесия оказываются настолько широкими, что при их помощи можно протащить любой вывод, который только заблагорассудится сделать исследователю.

Несмотря на то что Смелсер пользуется этой теорией для объяснения, при последующих разработках она является просто вывеской. Когда дело доходит до объяснения нововведений в английской хлопчатобумажной промышленности, особенно введения прядильных и ткацких машин, то Смелсер забывает о своем функционализме. Суть его действительного объяснения лежит в семи пунктах, фиксирующих протекание процесса. «Процесс промышленной дифференциации проходит следующие этапы:

1) неудовлетворенность достигнутым уровнем производительности промышленности или ее отраслей и ощущение возможности достичь более высокого уровня производительности;

2) соответствующие симптомы нарушения (беспокойства) в форме «неприспособленных» негативных эмоциональных реакций и «нереалистических» стремлений некоторых элементов населения» (с. 29).

Я не буду приводить здесь остальные пять пунктов, поскольку все они могут быть рассмотрены аналогичным образом. Я думаю, что все они содержат в себе хорошее объяснение нововведений в промышленной революции хлопчатобумажного производства. Но к какому типу объяснения принадлежит все это? Это все что угодно, но только не функциональное объяснение. Где здесь место ролям как фундаментальным единицам социальной системы? Где четыре функциональных требования? Об этом не сказано ни одного слова. О чем же вместо этого идет речь? Речь идет о неудовлетворенности, о чувстве возможности, эмоциональных реакциях и стремлениях. Но кто или что является носителем этих чувств? Может ли роль быть неудовлетворенной или эмоциональной? Нет, Смелсер сам говорит, что чувствуют и ощущают «различные элементы населения». Если называть вещи своими именами, то придется признать, что различные «элементы населения» означают людей. Каких людей? Значительная часть их занята на производстве и в продаже хлопчатобумажной одежды. Чем они не удовлетворены? Отнюдь не тем, что называется «достижениями производительности в промышленности». Хотя некоторые государственные деятели определенно интересовались тем влиянием, которое оказывала данная отрасль промышленности на благосостояние Великобритании, мы опять-таки под безжалостным давлением фактов вынуждены признать, что люди, о которых идет речь, больше всего интересовались своей собственной выгодой. Так давайте же вернем человека и придадим ему немного жизненности. Самому Смелсеру принадлежит важнейшее заявление: «В Ланкашире в начале 60-х годов XVIII века активно обсуждался вопрос о возможностях разбогатеть благодаря полезному изобретению». Короче говоря, люди, о которых идет речь, действовали по мотивам личного интереса. И все же не всякий личный интерес является эгоистическим и, конечно, не все нововведения промышленной революции могут быть приписаны себялюбию.

Действительное объяснение Смелсером технических нововведений в хлопчатобумажном производстве может быть сведено к следующей дедуктивной системе. Я остановлюсь на наиболее очевидных пунктах:

1) чем более значимо поощрение деятельности, тем вероятнее выполнение этой деятельности;

2) чем больше возможность поощрения, тем вероятнее выполнение этой деятельности;

3) высокий спрос на хлопчатобумажные ткани и низкая производительность труда приводили к тому, что люди, занятые в хлопчатобумажной промышленности, воспринимали развитие и внедрение облегчающих труд машин как поощрение, выражающееся в увеличении прибыли;

4) существующее состояние технологии приводило к тому, что усилия, направленные на развитие техники, облегчающей ручной труд, рассматривались как условие, приводящее к успеху;

5) поэтому в высшей степени вероятно, что в силу обстоятельств, изложенных в пунктах 1 и 2, эти люди пытались развивать технику, облегчающую ручной труд;

6) поскольку они хорошо знали технологию, постольку вполне вероятно, что и их

усилия должны были увенчаться успехом, и некоторые из них действительно оказались успешными.

За этими первыми шагами последовали другие, такие как организация фабрик и увеличение разделения труда. Для этих дальнейших шагов не требуется никакого другого типа объяснения: положения, подобные пунктам 1 и 2, которые я называю *ценностными* положениями и положениями *успеха,* будут действовать и здесь. Дальнейшие положения понадобятся нам для описания эффекта фрустрации, который определенно последовал за некоторыми нововведениями, создавая «негативные эмоциональные реакции», указанные Смелсером в пункте 2.

Я должен снова вернуться к этому типу объяснения. Это объяснение является психологическим (пункты 1 и 2), потому что положения такого типа устанавливаются и проверяются психологами, поскольку это относится к поведению людей, а не к условиям равновесия в обществе или других социальных группах как таковых. Эти положения являются общими, так как они проявляются во многих — и, я думаю, во всех — дедуктивных системах, которые занимаются объяснением социального поведения. Этим не предполагается, что люди в своем конкретном поведении похожи друг на друга. Они могут быть вынуждены к различным способам поощрения. Но тот способ, который определяет этот выбор, сам по себе должен быть объяснен с помощью психологических положений. Дело не в том, что их ценности являются материальными, а в том, что стремление к нематериальным ценностям осуществляется по тем же законам, что и стремление к материальным. Дело не в том, что они являются изолированными или несоциальными, а в том, что законы человеческого поведения не изменяются только потому, что другое лицо, а не физическая среда, является источником поощрения. Не предполагается также, что при помощи психологических положений будет объяснено все социальное. Конечно, мы не объясним всего, но наши неудачи будут приписаны не самим положениям, а недостаточности фактической информации или того интеллектуального механизма, которым мы пользуемся, хотя электронно-вычислительная техника и поможет нам здесь. Не может быть и речи о психологическом редукционизме, хотя мне и казалось, что он здесь имел место. Ведь редукция предполагает наличие общих социологических положений, которые могут быть сведены к психологическим. Теперь я подозреваю, что не существует общих социологических положений, которые хорошо согласовались бы со всеми обществами или социальными группами как таковыми, и что общие положения социологии на самом деле являются психологическими.

Мое утверждение заключается в следующем: что бы мы ни говорили по поводу наших теорий, когда мы серьезно пытаемся объяснить социальные явления при помощи конструирования не самых четких дедуктивных систем, фактически мы обнаруживаем, признаем мы это или нет, факт использования того, что я назвал психологическими объяснениями. Едва ли нужно говорить о том, что наши действительные объяснения и являются нашими действительными теориями.

Я был бы несколько несправедлив к таким функционалистам, как Смелсер и Парсонс, если бы предположил, что они не поняли простого факта существования людей. Так называемая теория очень хорошо начинается с парадигмы, в которой рассматривается поведение двух личностей, когда они санкционируют друг друга, т.е. один вознаграждает или наказывает действия другого. Но как только начало было положено, авторы стали пренебрегать им. Как только теория действия была приложена к обществу, оказалось, что в нем совсем нет действующих лиц и едва ли есть какое-либо действие. Причина этого заключалась в том, что система личности была отделена от социальной системы и предполагалось иметь дело только с последней. Именно система личности обладает «потребностями, стремлениями, навыками и т. д.». Личностная система (личность) не является частью социальной системы, но лишь соответственно обменивается с ней, обеспечивая, например, духовную мотивацию. Это один из видов ячеек, в которую вы входите, если представить теорию как ряд таких ячеек. Любой автор портит свой стиль под влиянием функционализма. Лучшие из писателей будут писать тяжеловесно, если их проблемы не сформулированы достаточно отчетливо. Если теоретик будет рассматривать свою проблему со стороны, как одно из конструктивных объясняющих положений, а не как ряд категорий, то он начнет понимать, что личностное и социальное не должно быть разделяемо. Поступки человека, которые мы рассматриваем как проявления его личности, не отличаются от тех его поступков, которые вместе с действиями других индивидов создают специальную систему. Это два идентичных ряда действий. Теоретик осознает это, когда поймет, что один и тот же ряд положений, включая ценностные положения и положения успеха, необходим как в личностных, так и в социальных явлениях.

Заключение

Если социология — наука, то она должна серьезно отнестись к той задаче, которая

стоит перед любой наукой, а именно: объяснить полученные эмпирические данные. Любое объяснение есть теория, и как таковое оно существует в форме дедуктивной системы. Несмотря на все разговоры о теории, функционалисты не относятся к этой проблеме достаточно серьезно. Они не задаются вопросом, чем была их теория, и никогда не создавали функциональной теории, которая фактически могла быть объяснением. Я не уверен, что можно было бы достигнуть такого состояния, начав, как это делали функционалисты, с положения о социальном равновесии, положения, из которого не могут быть выведены определенные заключения в дедуктивной системе. Если и предпринимались попытки создания теорий, способных объяснить социальные явления, то оказывалось, что их общие положения касались не условий равновесия в обществе, а поведения людей. Это в значительной степени характерно для многих хороших функционалистов, хотя они вряд ли признаются в этом. Свои психологические объяснения они держат в столе и вытаскивают их подобно тому, как вытаскивают бутылку виски, когда в ней возникает потребность. Мое предложение заключается в том, чтобы привести в соответствие все то, что мы говорим о теории, с тем, что мы действительно делаем, и ¥ак#м образом положить конец нашему интеллектуальному лицемерию. Это объединило бы нас с другими социальными науками, чьи действительные теории весьма похожи на наши собственные, и, таким образом, это усилило бы наши ряды. Так сделаем же это и ради наших студентов. Иногда мне кажется, что в начале обучения они в большей степени понимают реальную природу социальных явлений, чем в конце его, и что наши двусмысленные разговоры убивают их природную мудрость. Наконец, я должен признать, что все сказанное здесь кажется мне довольно очевидным. Но почему мы не можем относиться всерьез к очевидному?

ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Ф. Знанецкий ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОЦИОЛОГИИ[1]

[1] Znaniecki F. V. The Data of Sociology. Публикуемый материал представляет собой сокращенную 3-ю главу кн.: Znaniecki F. V. The Method of Sociology. N. Y., 1934. P. 90—136.
Перевод С. Татарниковой.

Социология как теория «обществ» или «сообществ»

С тех пор как социология сознательно начала конституироваться как отдельная, отличная от политической теории дисциплина, она заняла особую позицию по отношению к выбору и детерминации предмета своего исследования, позицию, просуществовавшую вплоть до конца XIX столетия и отчасти сохранившуюся до сих пор у ученых натуралистического толка. Несмотря на то что отдельные явления, которыми она первоначально занималась, принадлежали к сфере культуры, она рассматривала их как компоненты естественных систем. Такой подход, наметившийся еще в XVII веке, был полностью развит к середине XIX столетия Контом, Спенсером и их последователями. Считалось, что социология изучает общество. Общество понималось в основном как закрытая естественная система биопсихологических человеческих индивидов. Более или менее сходные системы наблюдаются и в природе: скопления одноклеточных организмов, многоклеточные с дифференцированными органами и функциями, ассоциации многоклеточных организмов — гомогенные, вроде стад и стай животных, и гетерогенные, вроде растительных сообществ. Как известно любому социологу, аналогия, проведенная Контом между обществом и сложным многоклеточным организмом, широко использовалась Спенсером, Шеффле, Лилиенфельдом, Борисом, Новиковым и многими другими.

Три правила, в разных соотношениях и комбинациях, использовались для описания этой естественной системы. Во-первых, общество должно было по преимуществу занимать определенную географическую территорию; во-вторых, предполагалось, что оно обладает степенью расовой гомогенности. Эти два правила были чисто натуралистическими: географическая изоляция и расовый состав могли быть удостоверены теми же самыми методами внешнего наблюдения, что применяются для фиксирования изоляции и состава растения или колонии полипов.

Однако третье правило нарушает последовательность натуралистической позиции. Оно вводит в эту систему огромное количество культурных данных. Общность людей определенной, смешанной или чистой расовой принадлежности, населяющая определенную территорию, представляет собой общество лишь в том случае, если эти люди являются членами социальной группы — орды, семьи, племени, рода, деревни, города, государства — или по крайней мере конгломерата взаимосвязанных

групп. В самом деле, что бы ни говорилось о «животных обществах», человеческие группы есть продукт культуры: членство в группе и даже самое существование социальной группы, какой бы элементарной ни была ее организация, не может быть установлено без содействия гуманистического фактора. Род, племя, государство, даже семья и орда осуществляют свое бытие в опыте и деятельности своих членов, образовавших и ныне поддерживающих их существование.

Социология не отрицала этого. Наоборот, она намеревалась изучать не только социальные группы как культурные продукты объединенных в коллектив людей, но и все культурные системы, существующие в сфере опыта и деятельности этих людей, созданные и поддерживаемые ими. Общество в контовском понимании включало всю культурную жизнь людей, составляющих его: язык, искусство, религию, философию, науку, технику, экономические организации. Укорененные в природе своими телами, люди погружены в культуру своим сознанием. А культура общества едина для всех его членов; общество, простая общность индивидов с натуралистической точки зрения, представало в своем культурном срезе надличностной сущностью, сообществом, объединенным одной общей культурой. Все культурные системы, изучаемые раздельно специальными дисциплинами, были тесно сплетены в культурной жизни общества, образуя, по сути, статическое и динамическое единство.

Последователи Конта сохранили эти сущностные посылки без сколько-нибудь серьезных изменений. Одни приписывали большее, другие — меньшее значение психическим факторам в противовес материальным в возникновении и существовании обществ; некоторые примыкали к контовскои оценке личности как мыслящего существа, не имеющего никакой другой сознательной жизни, кроме той, в которой он участвует как член общества, причастный к его культуре; в то же время другие трактовали ее как психологическое бытие, лишь опосредованно связанное с обществом через коммуникацию и кооперацию. Отдельные типы явлений, составляющих культуру общества, мыслились как более, другие — как менее фундаментальные. Если Конт отдавал первенство интеллектуальным факторам, то другие социологи вслед за Сен-Симоном подчеркивали важность экономических или технических явлений; некоторые, вдохновленные частично старыми доктринами, частично — философией Гегеля, видели в государственной системе верховный и определяющий феномен общества.

Мы не намереваемся в настоящий момент подвергать эту социологическую концепцию систематической критике, так как она уже получила свою историческую оценку. Данной концепции не удалось выработать единой валидной и общеприемлемой научной теории обществ: не было создано ни закона, применительного для объяснения и прогнозирования изменений в обществах, ни последовательной классификации этих обществ, ни даже общего описания какого-нибудь отдельного их класса, способного гарантированно выделить все существенные отличия, присущие этому и только этому классу. Мы ни в коем случае не имеем в виду, что социологи, работавшие в русле этой теории, не достигли никаких истинных, точных и важных научных результатов. Напротив, мы уверены, что в их трудах, в огромной степени недооцененных нынешним поколением социологов, заключено много ценного знания. Но это знание относится не к главному предмету их изысканий — обществу, а к тому, что сами эти авторы считали второстепенными проблемами, такими, как проблемы структурных характеристик и изменений определенных групп и институтов или проблемы, связанные с социально-психологическими процессами.

Вся эта теория выстраивается вокруг одного поразительного заблуждения, отождествляя два в корне различных и несоизмеримых понятия: общество как естественную систему, элементами которой являются индивидуальные животные виды homo sapiens, и общество как комбинацию систем, чьи элементы есть культурные ценности, такие, как язык, религия, техника, экономические и политические организации и т.д. То, что это очевидное логическое противоречие не привлекало внимания тех в других отношениях глубоких мыслителей, которые создали великие социально-философские системы прошлого, должно быть, вероятно, объяснено влиянием главенствовавшего в научной философии прошлого века монистического направления, в рамках которого они находились.

Но хотя эта фундаментальная ошибка не была ни обнаружена немедленно, ни выявлена даже после того, как произведенный ею результат оказался обычной научной непродуктивностью, тем не менее сам прогресс точных индуктивных исследований в соседних сферах постепенно исправил ее путем лишения данного типа социологии практически всего, в чем она видела собственный предмет, и распределения всего этого — по крайней мере того, что могло трактоваться научно,— между другими дисциплинами.

С одной стороны, в самом деле, все позитивные и разрешимые проблемы, касающиеся природного аспекта человеческих сообществ, за последние 60 или 70 лет были освоены чисто естественными науками, такими, как, например, этногеография и антропология, оснащенными гораздо лучше социологии для работы с подобными проблемами. Их размежевание с социологией оказывается не совсем полным за счет того,

видимо, что некоторые географы и антропологи обнаруживают тенденцию к «объяснению» культурных феноменов, в то время как многие социологи интересуются расовыми и географическими вопросами. Впрочем, если мы сравним в этом отношении Гобино и Рипли, Демолина и Брюне, мы сможем с уверенностью ожидать наступления момента, когда линия раздела между антропологией и антропогеографией, с одной стороны, и социологией и другими науками о культуре, с другой, будет проведена четко и безошибочно.

Разумеется, существует неисчислимое количество насущных вопросов, касающихся отношений между естественными и культурными системами, и они должны рассматриваться, невзирая наразмежевание соответствующих наук. Но из этого вовсе не вытекает, как хотели бы заключить защитники старого воззрения на социологию как на посредницу между науками естественными и культурными, что эти проблемы должны или хотя бы могут стать особой привилегией одной научной дисциплины[2]. Отнюдь нет. Эти проблемы столь многочисленны и разнообразны, что абсолютно невозможно свести их к единому знаменателю. Каждая отдельная наука имеет дело с различными проблемами в ходе своих изысканий и должна разрешить их на собственных основаниях и с помощью собственных методов. <…>

[2] Я полагаю, что этот тезис является слабейшей частью работы П. Сорокина «Современные социологические теории» (Нью-Йорк, 1928), в других отношениях весьма ценной.

Таким образом, в то время как исследование природного аспекта человеческих сообществ понемногу, но зато окончательно переходило от социологов к более приспособленным для этого географам и антропологам, параллельный процесс недавно начал задевать и другую — культурную — грань обществ XIX века. Взятая на себя социологией задача исследования культурных сообществ оказалась выше ее сил, как, впрочем, и выше сил любой отдельной науки.<…> По мере того как росли богатство и точность знания о конкретных культурных сообществах, становилось все труднее организовать в рационально-синтетическую картину все известное о цивилизации какого-нибудь отдельного сообщества, сколь бы простой она ни казалась, и все более сомнительными представлялись те сходства, на которые обычно полагались социологи (главным образом представители эволюционной школы). Отсюда неизбежен вывод, что культурная жизнь любого человеческого сообщества, взятая во всей ее целостности, столь богата и хаотична, содержит столь много гетерогенных культурных систем, воздействующих друг на друга различными и неисчислимыми путями, и изменяется столь неожиданно и непрерывно, что вряд ли окажется возможным осуществить обоснованный научный синтез, что с очевидностью преграждает путь любой сравнительной науке о культурных сообществах.

В самом деле, в ходе недавних исторических, археологических и в особенности этнологических исследований были обнаружены некоторые относительно ограниченные и относительно стабильные комбинации различных культурных систем. Это так называемые культурные комплексы ныне главенствующей школы этнологии.

Каждый такой культурный комплекс содержит определенные технические, социальные, религиозные, эстетические, экономические системы, взаимосвязанные таким образом, что все они появляются обычно вместе в культурной жизни человеческих сообществ. Но такой культурный комплекс не есть нечто совпадающее с цивилизацией любого сообщества, так как каждая цивилизация, какую мы знаем, содержит различные пересекающиеся культурные комплексы, и способы из пересечения, смешения **и** взаимодействия опять-таки весьма различны и многочисленны. Более того, не существует никакой рациональной необходимости, никаких постоянных законов, связывающих воедино различные системы культурного комплекса. Например, какую-либо религиозную систему с определенной технической системой. Не существует и какого-либо динамического закона, какой-либо причинной обусловленности, определяющих возникновение и развитие комплексов, их распространение на определенные культурные области. Существование любого культурного комплекса и его полное или частичное принятие определенными культурными сообществами есть просто исторические факты, которые имеют место однажды и никогда более не повторяются. Это главная причина того, почему современная этнология является исторической в противовес более ранней эволюционной этнологии, полагавшей, что различные культурные системы, сосуществующие в человеческом сообществе, были необходимо взаимозависимы и что существовали универсальные законы, повсеместно управлявшие переходом от одного типа цивилизации к другому.<…>

Однако все еще продолжаются попытки возродить понимание социологии как науки о культурных сообществах. Главный аргумент в ее пользу выстраивается на том очевидном факте, что совокупная жизнь сообщества — племени, нации, деревни или города,— даже если она, вопреки вере старых социологов, и не образует высшую разновидность органического единства, все-таки есть нечто большее, чем простая сумма

гетерогенных явлений.

Хотя исходные посылки этого аргумента безупречно истинны, заключение ложно. Простого факта взаимного воздействия различных культурных систем еще недостаточно для оправдания существования отдельной науки для его изучения, так как эта задача уже осуществляется различными частными науками. Все технические, политические, религиозные, научные влияния этого воздействия, которым в культурном сообществе подвергаются, скажем, экономические системы, должны изучаться экономистом; религиовед должен учитывать модификации **религии** вследствие экономических, политических и научных процессов, ротекающих в культурной среде, и т.д. Кое-что может быть и обращено после того, как будут взяты в расчет различные культурные системы, составляющие цивилизацию человеческого сообщества. Люди, включенные в определенный набор взаимосвязанных систем (а среди этих систем обычно бывают и определенные социальные группы (территориальные, родственные или целевые), могут более или менее преисполниться сознанием этого факта и в той или иной степени проявить готовность к взаимодействию для пользы общей цивилизации и для направления этой цивилизации на общую пользу. Эти сознание и готовность, если они существуют, формируют социальную связь, объединяющую этих людей вне и над всякими формальными социальными связями, обязанными своим существованием регулируемым общественным отношениям и организованным социальным группам. Реальность такой связи проявляется в таких знакомых всем явлениях, как общественное мнение, коллективный контроль над лицами и группами со стороны социальной среды, развитие новых идеалов и попытки их реализации вне организованного группового действия. Если свести понятие «сообщество» к гуманистической реальности, охватывающей эти феномены, не остается никаких сомнений в том, что «сообщество» в таком понимании может быть исследовано наукой и что социология — это наука для его исследования как одного из специфически общественных явлений. <;...>

В одном мы можем быть уверены — в том, что будут прилагаться все новые и новые усилия с целью оживить старую синтетическую концепцию социологии, так как здесь задействованы мощные интеллектуальные и моральные интересы. Каждый думающий человек хочет достигнуть некоторого понимания тотальности цивилизации, к которой он принадлежит, сравнить ее с другими цивилизациями, истолковать их историю, найти, если возможно, путеводные нити в кажущемся хаосе исторической эволюции человечества. Такие интересы бессмертны и имеют то же оправдание, что и старый метафизический интерес к толкованию мира природы как некоего упорядоченного и рационального целого. И есть старая и установившаяся дисциплина, удовлетворяющая их: *философия истории.* Мы не собираемся ни отрицать ее права, ни приуменьшать ее значимость. Все, против чего мы возражаем, сводится к социологии, нацеленной на роль позитивной индуктивной науки, точной и объективной, не понимающей своих сил и слабостей до тех пор, пока ей не приходится на практике осуществлять эти притязания.<...>

Социология как общая теория культурных явлений

Стремление стать наукой о культуре в целом в противовес таким частным наукам, как экономика, лингвистика и теория религии, выразилось в еще одном социологическом течении более позднего происхождения. Это течение берет свое начало в школах Тарда и **Дюркгейма,** которые, несмотря на свое широко известное противостояние, все же имели много общего, и с тех пор оно распространялось очень широко, иногда двигаясь в старом русле, иногда давая важные новые вариации. Общей теоретической целью Тарда и Дюркгейма, их последователей и соратников стало построение не общей теории обществ (хотя концепция общества часто по-другому. Но дело не в наименовании. Суть в том, что эти исследования затрагивают некоторую часть материала, который старые социологические школы рассматривали как собственный; но это та часть, которая и для старых школ была объектом особого внимания, и — что еще важнее — этим материалом не занимаются вообще или занимаются безрезультатно устоявшиеся специальные науки о культуре, за одним или двумя исключениями, на которые мы укажем позже.

Уже были предприняты попытки эксплицитно сформулировать имплицитные стандарты отбора социологических данных исходя из тех же посылок, из которых исходили и мы: социология — это частная наука о культуре с собственным эмпирическим полем. И если мы попытаемся улучшить эти исходные посылки, дав наше собственное определение, то только потому, что большинство из них представляются все еще до некоторой степени подверженными влиянию старых социологических школ. Это в особенности относится к концепции Зиммеля, согласно которой все культурные явления имеют социальную «форму», хотя их «содержание» является не социальным, а религиозным, экономическим, лингвистическим. Эта концепция, хотя она и имела большое влияние на современную немецкую методологию.., ошибочна. Очевидно, что нет простой «формы», что это всегда особенный класс эмпирических данных, сопровождающих различные культурные системы

во многом так же, как теоретическая рефлексия сопровождает многие из них в высокоразвитых цивилизациях, религиозных верованиях и ритуалах на более ранних стадиях культуры...

Сравнивая специфические данные, которые уже фактически освоены социологией,— что привело к полному или частичному исключению других частных наук,— мы находим, что они легко распадаются на четыре главных подразделения.

Теория социальных действий

Первое из этих подразделений не только отчетливо отделено от остальных видов культурных данных — экономических, религиозных, эстетических и т.д. Более того, проводимые с ним исследования уже в значительной степени были систематизированы и составляют отдельную дисциплину. Мы имеем в виду так называемую «социальную психологию»... Данные, составившие материал этой науки, могут быть коротко и условно описаны как действия, производимые над человеком как над объектом и призванные вызвать определенные реакции с его стороны. Это *социальные действия,* вполне отличные от других действий, производимых не над людьми, а над материальными предметами, экономическими ценностями, сакральными объектами и мистическими силами, объектами эстетического восприятия, лингвистическими символами или научными теориями и призванные произвести не человеческие реакции, а технические, экономические, религиозные, художественные, литературные, научные результаты.

Это различие, разумеется, не предотвращает частого использования социальных действий в качестве просто вспомогательной функции, например, когда люди борются за экономические цели или побуждают других помочь в технической работе. Так же часто бывает и обратная связь, когда несоциальные действия являются вспомогательными по отношению к социальным; так, техническая продукция может служить целям реваншистской войны; человек может копить богатство не по экономическим мотивам, а ради признания близких, женщина — выходить на сцену не ради искусства, а ради славы.<...>

Но мы должны сказать, что в дополнение к упомянутой здесь под наименованием «социальная психология» появилось несколько других дисциплин, эмпирический материал которых — не социальные действия, а нечто совершенно иное. Так, изучение поведения толпы, проведенное в конце прошлого столетия Зигелем, Ле Боном и другими, породило идею, что все коллективные действия, каковы бы ни были их объект и намерения, существенно отличаются от индивидуальных действий; «социальная психология» как социология коллективного или группового поведения в целом стала противоположной «индивидуальной психологии» как психологии индивидуального поведения в целом.

Существует очевидный, хотя и не всегда четко осознаваемый, фундаментальный конфликт между этой и предыдущей концепциями. Взамен определения действий по их объективному аспекту, их объектам, результатам и методам, эта концепция определяет их только по субъективному источнику — по природе агента. Без сомнения, большая часть действий, производимых коллективно, в самом деле отличается от большей части действий, производимых индивидуально, но не столько из-за их внутренних особенностей, сколько в силу того, что они обычно сопровождаются социальными действиями, как это было определено нами раньше. Когда некоторое число индивидов публично творят совместную молитву, линчуют преступника или делают на фабрике гвозди, то все это факты социальной интеракции, происходящей и между ними индивидуально, и между некоторыми из них — лидерами и их оппонентами — и основной массой.<...>

Вместо того чтобы огульно относить эти коллективные действия к данным упомянутой науки, будь ее название «социальная психология», «коллективная психология», «групповая психология» или какое-нибудь иное, и таким образом относить их к категории, отличной от наиболее схожих с ними индивидуальных действий, намного плодотворнее изучить и коллективных и индивидуальных молящихся как данные теории религии, и коллективное и индивидуальное производство гвоздей как Данные теории техники.<...>

Третья концепция социальной психологии, радикально отличающаяся от двух обсужденных,— это концепция Оллпорта, Крюгера, Реклеса и других, по мнению которых должное поле этой науки есть, вообще говоря, биопсихический человеческий индивид в той мере, в какой он обусловлен влиянием социальной среды. Очевидно, однако, что изучение человеческих индивидов — задача, весьма отличающаяся от изучения социальных действий, как мы определили выше.

Наконец, есть четвертая концепция, распространяемая Кантором, , который советует социальной психологии исследовать индивидуальные реакции на все виды культурных стимулов как отличные от реакций на естественные стимулы, которыми главным образом и занималась до настоящего времени экспериментальная психология. Социальная психология в этом смысле становится натуралистической теорией культурного поведения,

частью общей психологической теории поведения человеческих индивидов как биопсихических существ. Эта множественность приобретенных термином «социальная психология» значений выступает для социолога аргументом в пользу полного отказа от них. Взамен этого следует говорить просто о «теории социальных действий» как отрасли социологии. И хотя она только недавно описана и систематизирована, это старейшая отрасль нашей науки и, действительно, одна из старейших частей человеческого знания. Даже оставляя без внимания многочисленные обобщения, рассыпанные повсюду и в эпосе, и в драматической литературе всех времен и народов, мы можем проследить ее начала от философов и эссеистов... вплоть до примитивной рефлексии, заключенной в народных пословицах.

Теория социальных отношений

Намного современнее истоки второй ветви социологии, суть которой состоит в компаративной теории нравственных правил, т.е. норм, регулирующих социальные действия. Несмотря на то что всякий мыслящий наблюдатель имеет множество различных действий, данных ему для сравнения в его собственной социальной среде, он должен обычно обращаться к другим обществам, чтобы найти правила, отличные от тех, что признаны в его собственном сообществе. И даже тогда трудно достичь чисто объективной точки зрения для теоретической рефлексии, поскольку он привык относиться к морали, в которой он был воспитан, как к единственно обоснованной морали, как к критерию оценки других моральных систем, а не как к тому, что подлежит сравнению с ними. Социологическим теориям морали должны были предшествовать этнографические описания, из которых только около XVII столетия... стали возникать сравнительные этнографические обобщения. Да и в них, вплоть до последней четверти XIX века, нравственные правила, преобладавшие среди различных народов, без разбора смешивались со всеми другими культурными данными, характеризующими цивилизации этих народов.<…>

Для того чтобы показать тщетность всех усилий рационально обосновать абсолютную и универсальную мораль, разнообразие и противоречия нравственных правил, фактически признаваемых в разные времена и в разных обществах, необходимо было систематически описать и, если возможно, объяснить их как продукты «естественной», т.е. эмпирической и причинно обусловленной, эволюции: этология стала противостоять этике.<…>

При отборе данных для этой отрасли социологии мы должны помнить отличительную особенность нравственных правил по сравнению со всеми другими — религиозными, экономическими, техническими, интеллектуальными, эстетическими — правилами. Нравственное правило в глазах субъекта — индивида или коллектива,— который признает его как валидное и пытается действовать в соответствии с ним, выступает как обязанность, связывающая его по отношению к некоторому другому индивиду или коллективу, ждущему от него ее выполнения. В то же время всегда существует некоторая другая обязанность (схожая или отличная), которую этот другой индивид или коллектив осознает (или по крайней мере предполагается, что осознает) по отношению к субъекту... Другими словами, социальные обязанности всегда находятся в соответствии с другими социальными обязанностями. Обязанности могут быть весьма различны, их действительное признание и выполнение — далеко не равными, но в принципе односторонних обязанностей нет. Каждая норма, признаваемая социальным агентом как его обязанность по отношению к кому-нибудь, есть компонент социальной системы, в которой агент и объект его обязанности связаны как партнеры. Мы называем такую систему *социальным отношением,* и целая отрасль социологии, занимающаяся нравственными данными, может быть названа *теорией общественных отношений.*<...>

Хотя эта область, бесспорно, является собственно социологической и ни одна наука не конкурирует с ней в этом, интерес этики оказывается не теоретическим, а нормативным. В последнее время ведется много дискуссий относительно большой сферы, граничащей с областью нравственных фактов,— сферы права. В более ранних обществах не было различия между моралью и правом, но в каждом цивилизованном обществе их различия весьма очевидны. В то же время очевидно, что в значительной мере они действительно совпадают: многие правовые нормы формулируют обязанности, реально признанные людьми в их взаимодействиях **с** другими людьми в их обществе, и таким образом составляют готовый материал для социологического исследования общественных отношений.<…>

Теория социальных персонажей

Третья ветвь специфически социологического исследования не описана еще так отчетливо, как две предыдущие, а ее систематизация едва началась. Вообще говоря, она

имеет дело с социальным аспектом человеческой индивидуальности как обусловленным и общественной средой, и собственной деятельностью человека. Каждый индивид играет некие «социальные роли», занимает некие позиции и осуществляет некие функции в своем социальном окружении, предполагающие определенные права и обязанности, которые в большинстве случаев связаны с подобными позициями и функциями и таким образом остаются независимыми от индивида, хотя способ, которым он фактически осуществляет их и выполняет свою социальную функцию в соответствии с каждой позицией, всецело зависит от него. (...)

Поскольку индивид готовится для своих социальных ролей в процессе образования, являющегося специфически социальным в строжайшем смысле этого слова, социология должна была предпринять изучение этого процесса. Однако существование старой и устоявшейся дисциплины—так называемой теории образования — или педагогики — с ее исключительно практическими устремлениями было серьезным препятствием для развития чисто теоретического и незаинтересованного сравнительно, исследования фактов образования как социальных данных. (...)

Социологическая проблема образования — это промежуточное звено между проблемой социальной позиции и функции и проблемой собственной индивидуальности личности. А при изучении личности отделение вопросов социологических от психологических и даже биологических представляется весьма трудным. Самые ранние исследования в этой сфере выросли главным образом на изучении супер- или субнормальных личностей, т. е. тех, кто либо завоевал необычайную известность, либо стал общественным изгоем; их социальное превосходство или неполноценность воспринимались как результат наследственного дарования. (...)

Ввиду того что социологи интересуются этой проблемой так же, как и кто-либо другой, я боюсь, что они не отнесутся с большой симпатией к моему убеждению, что зависимость социальной роли индивида от психобиологических особенностей есть вопрос, целиком и полностью относящийся к областям психологии и биологии человека... Социолог, на мой взгляд, должен брать человеческого индивида не как он «действительно есть» органически и психологически, а как он сделан другими и самим собой в их и его собственном опыте в ходе социальных отношений. С социологической точки зрения в индивиде первичны его социальная позиция и функция; не проявление своей природы, а культурную систему конструирует он с помощью своей среды, редко творя, а обычно копируя ее с готовых моделей. Органические и психологические особенности индивида с этой точки зрения есть просто материал, из которого чисто социальная личность, характеризующаяся позициями, которые она занимает, и тем, как она их занимает, формируется в процессе образования и самообразования. Принимая от Юнга, Парка и Берджеса представление, что существенным пунктом в личности является идея, которую она и другие имеют о ее социальной роли, и помня, что идея —» не просто ментальная картина, а практическая система прав и обязанностей, мы можем, таким образом, назвать всю эту отрасль социологии *теорией социальных личностей.*

Теория социальных групп

Четвертая и наиболее развитая ветвь социологии — это *теория социальных групп.* Группа, разумеется, не есть общество в старом смысле слова: это не целостность, полностью включающая ряд биопсихологических индивидов и объединяющая их в сообществе тотальной культурной жизни. Это просто одна из многих культурных систем, которые конструируют эти индивиды. Своими действиями каждый индивид принимает более или менее активное участие в поддержании дюжины или более различных социальных групп, членом которых он является, т. е. в которых он занимает определенные позиции, предполагающие определенные права, и выполняет некие функции, влекущие за собой определенные обязанности по отношению к другим членам, к группе в целом и ее функционерам. Но его социальная жизнь не совпадает с его групповой жизнью; напротив, последняя есть просто часть ее, хотя и очень важная. Существует огромное количество социальных действий, выполняемых им не как членом группы, а просто как индивидуальным агентом, множество социальных отношений, в которых он выступает как сторона и которые никак не относятся к любой из групп, к каким принадлежит он сам или другая сторона. Это такие отношения, как любовь, дружба, деловое партнерство, подчинение интеллектуальному лидеру. Есть социальные позиции, не вовлекающие с необходимостью в участие в какой-нибудь социальной группе, такие, как позиции врача, художника, лавочника, фермера. Не приходится и говорить, что вся социальная жизнь индивида есть только часть его тотальной культурной жизни: его технические, экономические, интеллектуальные, художественные, религиозные, гедонистические интересы обусловлены в некоторой степени, изменяющейся в зависимости от различных людей, социальными контактами с целью их удовлетворения, но не являются специфически социальными. (…)

Общая дефиниция социальных систем

Этот беглый обзор некоторых современных достижений социологических исследований делает совершенно очевидным существование отдельного класса эмпирических данных, составляющих специальную область социологии. (...)

Следовательно, сейчас социологам самое время оставить устаревшие претензии на создание «синтетической» или «фундаментальной» науки об обществах и культуре и понять, что какие бы то ни было позитивные научные результаты, которые могут быть продемонстрированы в качестве заслуг, были достигнуты исключительно путем концентрации внимания на тех видах специфических данных, которые мы охарактеризовали выше как социальные действия, социальные отношения, социальные личности и социальные группы.

Логическим основанием для объединения этих данных в сфере одной науки и для отделения этой сферы от сфер других наук является то, что все они как культурные системы имеют существенное *сходство композиции,* в то время как отличаются по композиции от всех других культурных систем: технических, экономических, религиозных, лингвистических.

Чтобы избежать непонимания по этому вопросу, мы повторяем, что социолог не имеет дела с человеческими существами как природными сущностями, как они действительно есть — индивидуально или коллективно — в их психобиологических характеристиках; он оставляет их изучение психологу, физиологу, антропологу, этногеографу. Но при наблюдении над культурным миром он находит, что люди играют в этом мире двойную роль. Во-первых, это *сознательные агенты* или *активные субъекты.* Активный субъект как таковой недоступен научному наблюдению; все, что мы знаем о нем объективно,— это то, что он центр опытов и действий. Соответственно не может быть позитивной науки об «активных субъектах» или «сознательных агентах», она возможна только относительно их опытов и действий. Во-вторых, люди являются эмпирическими *объектами активности,* так же как технические материалы и инструменты, экономические ценности, произведения искусства и литературы, религиозные мифы, слова языка и т. д. Мы установили, что они имеют дело с людьми как объектами; то же самое остается верным и относительно других, более сложных видов социальных систем. Нам бы хотелось сказать языком старой психологии, что человеческие индивидуальности, каковы бы они ни были «сами по себе», существуют в культурном мире как «идеи» в умах других людей или как «репрезентации» других людей. Но было бы опасно пользоваться подобными терминами ввиду их субъективистских коннотаций, поэтому мы предпочитаем говорить, что они существуют как *ценности,* которые переживаются и модифицируются активными субъектами. Мы называем их социальными ценностями в отличие от экономических, технических, религиозных, эстетических и других ценностей. Человек как социальная ценность — это только «аспект» его самого как он является кому-то еще, кто активно заинтересован в нем, или даже самому себе, когда он рефлексирует относительно собственной личности и пытается контролировать ее практически. Социолог, можно сказать, имеет дело только с такими «аспектами» людей. Но эти «аспекты» являются реальностями, поскольку они действительно обусловливают человеческое поведение, так же как естественные вещи и процессы и иногда даже больше последних. (...)

Какие бы иные (кроме означенных четырех.— *Прим. перев.)* ценности не входили в состав социальных систем, они обусловлены отношением к этим фундаментальным, или первичным, социальным ценностям и рассматриваются как отдельные свойства, формы поведения, отношения тех, которые являются главным объектом активного интереса, и потому носят характер *вторичных общественных ценностей.* (...)

Допуская, далее, что системы, называемые нами социальными, состоят из социальных ценностей..., мы будем называть социальными тенденциями те активные тенденции, которые проявляются в этих системах. Сразу же можно заметить: притом что социальные тенденции составляют только специфическую разновидность культурных тенденций, существуют бесчисленные и многообразные факты взаимодействия между ними и другими разновидностями культурных тенденций. Очевидно, что наука, занимающаяся культурными системами, хотя и специализируется в этой области, не может быть изолирована от других наук о культуре.

Еще один важный вопрос должен быть поднят по поводу отношения к предмету научной специализации. Мы утверждаем, что социология — особая наука, ввиду того что композиция социальных систем отлична от композиции любой другой культурной системы. В этом мы следуем примеру других наук о культуре. (...)

Но нет ли существенных подобий в их структуре, могущих перекрыть различия в их композиции? Так, социальные действия, хотя и имеют дело с иными материалами и инструментами, достигая иных результатов иными методами, чем технические, экономические, религиозные действия, все-таки — будучи действиями— представляются имеющими значительное структурное сходство с последними. (...)

Ясна причина того, почему подобия и различия в композиции, а не в структуре образуют основу деления отдельных наук о культуре. Первые эмпирически даны всякому внимательному наблюдателю в самом начале его исследования, в то время как последние могут быть открыты только постепенно в ходе исследования и многие из них остаются еще неизвестными. Так, не требуется сколько-нибудь глубокого анализа, чтобы заметить сходство между простейшими и наиболее сложными религиозными феноменами, с одной стороны, и простейшими и наиболее сложными экономическими явлениями — с другой, а также разницу между двумя этими классами. Но структурное сходство между религиозной нормой святости и экономической нормой полезности открыть намного труднее, если только оно не усматривается — как делают это школы Дюркгейма и Самнера — в чисто внешнем обстоятельстве, состоящем в том, что обе нормы обычно санкционированы социальными группами. Пока в научное наблюдение постепенно входят новые данные, первичное разделение наук о культуре должно основываться на характере ценностей, составляющих системы, с которыми они имеют дело. Исследование структурных подобий, перекрывающее это первичное деление, может стать задачей новой группы наук или, может быть, простых подразделений новой науки — общей теории культуры, о возможности создания которой мы говорили выше.

Р. Макайвер РЕАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ[1]

[1] Maclver R. The Reality of Social Evolution // R. Maclver. Society. Its structure and changes. N. Y., 1931. P. 423—449 *(Перевод А. Гараджи).*

Ложные следы. Скептицизм в отношении социальной эволюции

Правильно ли будет сказать об обществе или его формах, что они прошли определенные эволюционные стадии в том же смысле, в каком эволюционировали виды живого организма? На протяжении последних 10—20 лет среди американских антропологов и социологов вошло в моду отвергать концепцию социальной эволюции. Некоторые даже объявили преимуществом то, что социологи, как правило, говорят вместо этого о социальном изменении. Одна из школ антропологов выступает с постоянными нападками на учение об «однолинейной эволюции» и выказывает тенденцию к пренебрежению эволюционным методом вообще. Эта тенденция может означать реакцию на сверхупрощенные и расплывчатые формулировки этой элементарной гипотезы, на школу Спенсера, Уорда и Гиддингса. С ростом наших знаний мы узнаем о бесконечном многообразии социальных систем. Несметное число различных моделей демонстрируют в своих социальных системах как первобытные, так и цивилизованные народы. Но столь же истинно и то, что существует бесконечное многообразие видов живых организмов и это не препятствует биологу выявлять эволюционные ступени, к которым они относятся. Может существовать огромная разница между обществами, стоящими на одном и том же эволюционном уровне; и действительно, на каждом из высших уровней между ними должны наблюдаться — поскольку это само по себе входит в понятие эволюции — большие различия. Если двусмысленное выражение «однолинейная эволюция» означает некоторую последовательность, в которой какие-то специфические институты более простых обществ переходят в результате одинаковых процессов в какие-то специфические институты более развитых обществ, тогда его действительно следует отвергнуть. Но у нас нет никакой нужды истолковывать эволюцию именно таким образом. Дифференциация, возникновение все более специализированных (distinct) органов для выполнения все более специализированных функций могут принимать множество разных форм. Правовая система имеет свою специфику в Соединенных Штатах и, скажем, во Франции, но в обеих странах ей присущи какие-то определенные черты, которые дают нам право называть ее более развитой (evolved), чем соответствующая система в Меланезии.

Одна из причин пренебрежения изучением социальной эволюции состоит в том, что социальное изменение, как мы имели возможность наблюдать, часто смешивается с технологическим или культурным изменением и, таким образом охватывая все, что происходит с человеческими существами, рассматривается как событие слишком сложное и многостороннее для того, чтобы свидетельствовать о каком-то эволюционном процессе. Другая причина — в том, что сам эволюционный процесс зачастую понимается неверно. Кошки не эволюционируют из собак, но и кошки и собаки являются продуктом эволюции. Патриархальная семья могла и не эволюционировать из матриархальной, однако оба типа претерпели определенное эволюционное изменение. Что именно мы подразумеваем под социальной эволюцией, которая не имеет ничего общего с «однолинейной эволюцией», должно быть ясно из наших прежних исследований. Но есть

одно распространенное заблуждение, которого мы прежде не касались и которое заслуживает определенного внимания. Это ошибочный поиск *начал* (origins) вещей.

Проблема начал

Проблема начал всегда увлекала человеческий разум, и примитивные решения ее содержатся в мифологии всех народов. Но сама по себе эта проблема в большинстве своих форм относится к доэволюционному мышлению. Люди имели обыкновение задавать вопрос и отвечать на него: «Как и когда началось общество?» Этот конкретный вопрос вышел из употребления, а ответы на него вроде теории «общественного договора» были отвергнуты, Семена общества — у истоков жизни, но если и были такие истоки в каком-либо абсолютном смысле слова, мы ничего о них не знаем. Однако мы все еще поднимаем подобные вопросы й отношении семьи, государства, церкви, закона и других социальных образований, хотя поиск их начал может быть столь же тщетным, как и поиск сторонников теории «общественного договора». На первый взгляд он кажется достаточно резонным вопросом. Наверняка было такое время, когда не было государства или церкви, и поэтому, рассуждаем мы, у них должно быть какое-то начало в истории. И вот мы уже имеем самые разные теории начала, в которых говорится, например, что государство появилось в результате войны, завоевания, порабощения или утверждения некоего господствующего класса, или даже каких-то соглашений или конституции, о которых люди сразу и все вместе договорились. Но все эти теории уводят по ложному следу, поскольку в них неверно понимается природа эволюционного процесса. Действительно, было такое время, когда не было государства, однако государство не имеет начала ни во времени, ни в пространстве. Это парадокс, но отнюдь не противоречие, как это могло бы показаться доэволюционному мышлению. Мы теперь признаем, что даже самые выдающиеся или революционные социальные изменения не нуждаются ни в каком моменте абсолютного начинания. Когда, например, началась «промышленная революция»?

Когда и как началось государство?

Рассмотрим теперь одну из теорий начала государства, чтобы доказать, насколько подобные теории вводят нас в заблуждение. Франц Оппенгеймер в своей книге «Государство» приводит следующую версию хорошо известного марксистского учения о его начале. Теория эксплуатации не является отличительной чертой марксистских авторов, она выдвигается также авторами и совершенно иных направлений, такими, как, например, Л. Гумплович в его книге «Soziologische» (Innsbruck, 1902). Он указывает на наличие двух фундаментальных и фундаментально противоположных средств, при помощи которых человек добивается удовлетворения своих потребностей. Первое из них — труд, второе — грабеж или эксплуатация труда других. Первое — экономическое средство, второе — политическое, и государство возникло тогда, когда было организовано это политическое средство. Есть народы, у которых не найти и следа государства: первобытные собиратели и охотники. У них существует социальная структура, но отсутствует структура политическая. Последняя обязана своим возникновением скотоводам и викингам — первым группам, которые стали эксплуатировать других или отнимать у них плоды их труда. Среди них возникают классовые различия, основанные на богатстве и бедности, на привилегии и отказе в привилегии. Самое решающее из этих различий — это различие рабовладельца и раба. Рабство, зародыш государства, изобретено воином-кочевником. Ковыряющийся в земле крестьянин, в поте лица своего добывающий себе пропитание, никогда бы его не открыл. Когда он оказывается в подчинении у воина и начинает платить ему подать, начинается государство на суше. Схожим образом в береговых набегах и грабежах викинги создавали государство на море.

Если бы Оппенгеймер попытался доказать важность той роли, которую играли грабеж и эксплуатация в процессе образования раннего государства, это было бы обоснованной попыткой. Она должна была бы включать в себя изучение того, как данный фактор соотносится с другими, а также тщательное и сложное историческое исследование, которых он, однако, избегает, выдвинув попросту ряд догматических посылок.

Прежде всего произвольным является *определение* политического средства или грабежа, откуда слишком просто следует, что государство, являясь организацией этого политического средства, было основано именно так, как он это описывает. Согласно этому определению и пиратская шайка должна быть государством, причем не потому, что она организована, а потому, что она организована для грабежа. Поскольку организация государства, несомненно, служит и другим целям, поскольку она предназначена для установления неких принципов внутренней справедливости, чтобы распри между человеком и человеком улаживались каким-то трибуналом, а не насилием, поскольку экономический фактор является лишь одним из ее интересов, лишь одним из способов,

при помощи которых с древнейших времен государством поддерживалась сплоченность группы, постольку отождествление политического средства с эксплуатацией есть упрощение непоследовательного ума. Каким бы значительным ни был этот мотив, он не действует в одиночку. Авторитет старших над младшими родичами не был эксплуатацией, но ведь он играл какую-то роль в процессе образования государства. Племенное чувство справедливости приводило к появлению каких-то органов правосудия, и они также были условиями зарождающегося государства. Множество факторов участвовало в формировании определенной политической лояльности, без которой государство никогда не смогло бы достичь зрелости.

Таким образом, мы вновь сталкиваемся с вопросом: что означает государство, *когда оно уже совершенно отчетливо развилось?* Мы можем сказать, что оно предполагает определенную территорию, на которой какой-то унифицированный строй поддерживается средствами закона, подразумевая некий род насилия над теми, кто нарушает этот закон, и, следовательно, некий авторитет, к которому можно апеллировать. Это объективный факт, выражение множества сторон человеческой природы. Далее, нет, очевидно, народа, у которого не было бы никаких зачатков этого строя, никакого предвосхищения государства. Может отсутствовать четко оформленное правительство, но всегда присутствуют некие элементы организации, из которых такое правительство может развиться. Всегда найдутся старейшины, или индивидуальный предводитель, или врачеватель, которые располагают неким авторитетом. Этот авторитет в открытую будет основан на возрасте или рождении, доблести, религиозных знаниях или магической силе, но авторитет никогда не бывает начисто лишенным определенного политического аспекта. В какой-нибудь малой группе, скажем, андаманских островитян, нет государства в том смысле, какой мы вкладываем в этот термин, но уже присутствуют зародыши государственной организации, обычай, преобладающий — в силу социальной санкции — над местными интересами, а также искусные или умудренные возрастом люди, обладающие престижем и завоевывающие себе уважение и покорность.

Возникновение (emergence), а не начало

Итак, следует говорить скорее о возникновении государства, чем о его начале. Оно представляет собой некую структуру, которая в рамках определенного процесса становится более отчетливой, более совершенной, более устойчивой. Ее организация становится отличной от организации родства. Обычай переходит в закон. Патриарх становится политическим вождем, судья становится царем. Прослеживая этот процесс исторически, мы можем лучше понять утверждение: хотя и было такое время, когда не было государства, само государство не имеет никакого начала во времени. Его рождение есть логический факт, истории принадлежит лишь его эволюция. Идея исторических начал соотносится здесь с идеей особого творения в доэволюционном смысле. У индейцев-юрков или андаманцев нет никакого государства, и все-таки в определенной степени они являются политическими существами, так же как в определенной степени они являются религиозными существами, хотя и не имеют никакой церкви.

В другом контексте мы указали, что применение нами к более ранним социальным стадиям терминов, соответствующих более поздним и более развитым условиям, способно исказить наше понимание этого факта. Иногда какой-нибудь термин достаточно объемен, чтобы охватить и менее и более развитые типы какой-то подразумеваемой под ним социальной формы. Примером является термин «семья». Но в других случаях наши современные термины обозначают такие феномены, которые не существовали как таковые на более ранних стадиях. Примерами таких терминов являются термины «власть», «правительство» и «право» («закон»). Обозначаемые подобным образом специфические формы и функции отсутствуют не только у первобытных племен, таких как меланезийцы и эскимосы, но и в гораздо более развитых условиях. И даже тогда, когда сами политические институты высокоразвиты, как в классической Греции, часто представляется сомнительным, можем ли мы использовать применительно к ним терлин «государство». Как мы сейчас покажем, специфические институты развиваются раньше, чем специфические ассоциации. Сами афиняне или спартанцы не имели никакого специального термина для обозначения государства. Их слово «полис» не делает различия между государством и обществом (The community).

Каждое сообщество, сколь бы ни было оно примитивным, содержит зародышевые элементы государства. Мы полагаем, что первобытные сообщества, в отличие от современных, были основаны на родстве. Но это не значит, что всеобщие основания сообщества — общежитие и общее землепользование — отсутствовали в их сознании своей сплоченности. В некоторой степени они и присутствовали, и были определяющими. Р. Г. Лоуви хорошо показывает тот факт, что в сообществе, на первый взгляд основанном исключительно на родстве, и лояльность также служила в качестве

социальной связи (Lowie R. The Origin of the State Chap. IV. Ср. также: Goldenweiser A. Early Civilization, Chap. XII. N. Y., 1922). Если бы чувство смежности не функционировало, социальная связанность родовой группы разрушилась бы. И как раз в силу этого чувства смежности — по крайней мере частично — племя и осуществляет юрисдикции, возвышаясь над различиями между семьями в пределах своей области, принимает чужаков в число родичей и т. д. И другие узы, например, религиозные, также могли сливаться с узами родства. На деле под эгидой родства были наполовину сокрыты все основания социальной взаимосвязи, в том числе и зародыши государства.

То, что мы доказали применительно к государству, — что поиск каких-то специфических начал тщетен,— может быть доказано применительно и к другим значимым элементам социальной структуры. Мы уже видели, сколь неудовлетворительна попытка обнаружить некую специфическую изначальную форму семьи. А вскоре, исследуя возникновение церкви, мы увидим, что и этот процесс не допускает идеи, будто она имела какое-то историческое начало. В этом контексте о началах допустимо говорить лишь в том случае, если мы подразумеваем под этим некий процесс оформления, который сам по себе не имеет никакого отчетливого отправного пункта.

Какие виды социальных феноменов имеют определенные начала и окончания?

Но сказать, что некоторые социальные феномены имеют начала и окончания, разумеется, можно. Разве не исчезли многие институты, и другие разве не появились на свет? Разве история не изобилует рассказами об исчезновении организаций разного рода — от империй до устаревших сект? Отвечаем: мы затрагиваем социальные типы, а не индивидуальные воплощения типа, которые, разумеется, всегда возникают и исчезают. Но сам тип есть другая категория и проявляется он лишь как процесс. Здесь нам также могут возразить, что в определенные исторические моменты исчезают формы типа (type-forms). Разве не исчезло рабство или разве не осуществимо его полное уничтожение, даже если оно сохраняется в иных частях света? Раве не исчезли тотемизм и классификаторная система родства в более развитых обществах? Если у вещей есть конец, почему бы им не иметь также и начала?

Давайте сначала возьмем два последних случая. Для нашего тезиса, конечно, не обязательно, чтобы ни один из социальных типов не исчезал полностью. Таким же образом и на учение о непрерывности видов не влияет исчезновение некоторых форм жизни. Тезис, далее, не подразумевает, что нечто, оканчивающееся в некий исторический момент, также и начиналось бы в некий исторический момент. Ибо то, что оканчивается, есть некая специализированная форма, и она не начинается как таковая, но лишь вырастает в процессе специализации. Даже и в этом случае социальные формы типа, которые мы считаем мертвыми, выказывают замечательное постоянство. Тотемизм в своем полном значении, как основа идентификации и классификации, отсутствует в цивилизованном обществе, будучи характерной чертой множества первобытных народов. Но среди нас остаточно присутствует такая форма тотемизма (как определенного типа), на что указывает Гольденвейзер, которая проявляется в использовании животных-талисманов, эмблем политических партий, значков, кокард и других знаков, в таких символах, как флаг и цвета колледжа, в таких орденах, как «Лоси», «Львы» и т. д.

«Имена и вещи, которые подобным образом используются как классификаторы и символы, обычно основываются на эмоциональной почве. В случае полковых знамен эмоции могут достигать значительного накала, в то время как в случае животных и птиц-талисманов возникает комплекс установок и обрядов, который настолько удивительно экзотичен, что наталкивает на преувеличенную аналогию с первобытным тотемизмом. Остается фактом то, что и сверхъестественные, и социальные тенденции тотемистической поры продолжают жить в нашем обществе. Но в нашей цивилизации эти тенденции в отсутствие некой точки кристаллизации остаются (как бы) в растворе, тогда как в первобытных обществах те же тенденции... функционируют в качестве весьма эффективного двигателя культуры» (Goldenweiser A. Early Civilization, Chap. XIII. N. Y., 1922].

И наоборот, можно сказать, что многие тенденции, которые «остаются в растворе» в первобытном обществе, «кристаллизуются» в нашей собственной цивилизации. Классификаторная система, которая как будто столь чужда нам, имеет и в нашей среде свои бледные подобия. Мы применяем термины «брат» и «сестра» к членам различных социальных институтов, и, что также отмечает Гольденвейзер, мы даже употребляем в классификаторных целях некоторые термины родства, например «дядя» и «тетя», которые в первобытных группах подобным образом не использовались.

Наконец, давайте рассмотрим рабство, поскольку оно иллюстрирует еще одно отличие. Рабство покинуло нас в определенный момент истории. Это был древний институт

человечества. Нам нет нужды задерживаться на размышлениях о том, является ли выжившее употребление термина в таких выражениях, как «наемное рабство» и «белый раб», значимым или произвольным, ибо вполне ясно, что определенный тип экономического отношения, именуемый собственно «рабством», исчез. Здесь произошло вот что: социально принятая некогда система была законным или конституционным образом упразднена. Поскольку рабство предполагало некое насильственное по своей сути отношение, оно могло существовать в сложном обществе лишь в случае своей легитимизации. Способы социальной регуляции могут утверждаться и отвергаться. Все специфические институты, существование которых зависит от соглашения или предписывающего закона, имеют час своего рождения и могут иметь час кончины. Но более крупные социальные формы укоренены значительно глубже.

Регуляция может их видоизменять, но она не создает и не уничтожает их.

Социальные отношения подвержены бесконечному процессу преобразования, роста и упадка, слияния и вычленения. Поскольку все они являются выражением человеческой природы, социальные отношения настоящего встречаются, по крайней мере в зародыше, в прошлом, а отношения прошлого выживают, пусть как реликвии, в настоящем. Мы различаем социальные стадии не по простому присутствию или отсутствию неких социальных факторов, но по их заметному положению, их отношению к другим, их организующей функции. (Мы можем различать технологические, в отличие от социальных, стадии по присутствию или отсутствию отдельных устройств или изобретений, как это делает, напрмер, F. Mueller-Lyer в своей History of Social Development (London, 1923).) (Даже упраздненные институты, подобные рабству, могут присутствовать в «растворе», готовые вновь «кристаллизоваться», если возникнет такая возможность.) Наиболее значимые социальные изменения не те, которые вызывают к жизни какую-то совершенно новую вещь, но те, которые изменяют отношения вечных, вездесущих или универсальных факторов. Модель постоянно меняется, но составляющие ее элементы остаются прежними. Новым является, скорее, сам факт выделения, чем выделенный среди прочих фактор. Так, например, демократия не является родом правления или стилем жизни, полностью отличным от олигархии или диктатуры. Налицо элементы их всех — различие заключается в степени преобладания одного над другим.

И тогда непрерывность выступает существенной чертой эволюционного процесса. Непрерывность есть союз изменения и постоянства, и когда в этом союзе мы двигаемся по направлению к социальной дифференциации, мы следуем по пути эволюции. Общий характер этого пути будет нашим следующим вопросом.

Первобытное общество как функционально недифференцированное

Функциональная взаимозависимость групп и организаций развитой социальной системы почти совершенно отсутствует в первобытном обществе. Главные подразделения последнего — семьи, кланы, экзогамные группы, тотемные группы — являются сегментарными, или отсековыми. Первобытное общество может иметь достаточно совершенную систему церемониальных служб и более совершенную систему родственных различий, чем это характерно для развитого общества. Но здесь мало группирований или разрядов, в которые члены сообщества зачисляются исходя из практических целей кооперативной жизни. Группирование по признаку родства является преобладающим и всеобъемлющим (inclusive). Быть членом рода означает ipso facto разделять общие и всеобъемлющие права и обязанности, обычаи, ритуалы, стереотипы, верования всего общественного целого. Имеются, конечно, и определенные «естественные» группирования, в особенности возрастные и половые. Могут наличествовать какие-то престижные группы, возможно — какая-то примитивная система классов и каст, хотя эти последние и не встречаются в наиболее примитивных условиях. Могут иметься и некоторые зачаточные профессиональные различия, но разделение труда ограничено и следует «естественным» линиям раздела — между полами или между старшими и младшими. Крупных ассоциаций еще не существует. Нет никаких отдельных организаций религии и тем более религий; нет никаких школ, никаких отчетливых культурных ассоциаций; имеется лишь очень незначительная специализация производственной деятельности и обмена. Единственными явно общественными группами, не считая временных торговых или иных товариществ, являются обычно «тайные общества», не обладающие никакой специфической функциональностью, и самый факт, что они «тайные», означает, что группа еще не нашла пути к их эффективной инкорпорации в свою целостность.

О недифференцированном характере первобытного общества свидетельствует и факт преобладания некой примитивной формы коммунизма. Род является большой семьей и имеет нечто общее с коммунистической по характеру семьей. Племя разрабатывает систему участия в охотничьей добыче и продуктах земледелия. Частные или семейные

права допускаются, если это вообще происходит, в пользовании землей, а не владении ею. Даже те права, которые для нас являются наиболее личными или интимными, были в то время правами, принадлежащими кровному братству. Предоставление жен гостям племени, общее для американских индейцев и многих племен Африки, Полинезии и Азии, может рассматриваться как допуск к племенной «свободе». Возможно, как истолковывает это Юлиус Липперт, таким образом «гость вступает в обладание всеми правами членов племени, и особая святость этого отношения возрождает древние права последних» (Evolution of Culture (tr. Murdock). N. Y., 1931, P. 217).

Освященная традицией вседозволенность на первобытных свадебных торжествах, существование среди некоторых африканских племен института «невестиной хижины», где невеста была доступна для всех мужчин племени, добрачная проституция, ставшая вавилонским храмовым обрядом, могут истолковываться как пережитки сексуального коммунизма или по крайней мере как утверждение — перед их отчуждением браком — тех прав, которые считались исконной принадлежностью всего племени.

Такой коммунизм типичен для примитивной сплоченности недифференцированного общества. Существующие дифференциации основаны на естественных различиях молодости и зрелости, мужчины и женщины, на неравенстве способностей вроде способности к лидерству и на социально принятых отличиях вроде обладания какой-то церемониальной службой или магическим знанием. В латентном состоянии находятся мириады аспектов дифференциации, присущих цивилизованному обществу. Различные интересы, способности, качества, которые могут появляться в зачаточном состоянии, не могут развиться в ограниченных рамках общинной жизни. Социальное наследие слишком неразвито, чтобы предоставить людям какую-то избирательную стимуляцию. Нравы, соответствующие этому ограниченному наследию, имеют тенденцию к подавлению подобных различий, в которых видится угроза сплоченности единомыслия — единственной сплоченности, на которую пока способна группа как целое.

Цивилизации прошлого и настоящего прошли эту раннюю стадию. Как они возникли, благодаря каким слепым силам завоевания, покорения и экспансии, созидающим различия в богатстве и классовые различия, благодаря какому поощрению искусств, благодаря каким ниспровержениям обычаев и верований, ведущим к некоторому освобождению сознания, благодаря какому росту научного знания и роли его прикладных аспектов, — вот главная тема человеческой истории. Нам здесь достаточно просто указать на контраст. Для нашей стадии исторического развития характерно то, что мы обладаем огромным множеством организаций такого рода, что принадлежность к одной из них не предполагает принадлежности к другим, что всякий род интересов создал свою соответствующую ассоциацию, что почти каждая установка может встретить некое общественное подкрепление и что, таким образом, более крупное социальное образование, к которому мы принадлежим, постигается как много-, а не единообразное. От членов «великого общества» требуется совершить этот необходимый интеллектуальный подвиг (feat), и многие, кто все еще не в состоянии сделать это, принадлежат к нему по форме, но не по духу.

Роль диффузии в социальной эволюции

Каким бы долгим и трудным ни казался в исторической перспективе эволюционный процесс, он был удивительно быстрым, если учитывать более широкую перспективу органической эволюции. Мы уже отмечали сравнительную быстроту социального изменения; теперь мы можем добавить, что и социальная эволюция продвигалась значительно быстрее, чем биологическая. Ни одна примитивная форма живого не развивается в столь краткий период времени, какой охватывается человеческой историей, — сама идея подобного развития кажется абсурдной. Но именно в этот период одно первобытное общество за другим продвинулись к такой стадии, которая (по крайней мере в сравнении) демонстрирует определенную высокоразвитую структуру. Социальная эволюция высвобождается в каком-то смысле из органической эволюции потому, что человеческие существа способны использовать для достижения своих целей такие орудия, которые не являются частью их собственной физической структуры, и потому, что при их использовании ими руководит в какой-то мере разум, а не простой инстинкт. Оснащенные подобным образом, они могут быстро увеличивать свое социальное наследие и передавать его эволюционный потенциал своим потомкам, а также приобщать к нему другие народы на всем земном шаре.

Иногда при интерпретации социального изменения диффузия и эволюция рассматриваются в качестве противоположных принципов. Но в действительности нет никакой необходимости в этом противопоставлении. Диффузию следует рассматривать в качестве одного из наиболее важных факторов социальной эволюции. Все крупные общества прошлого свидетельствуют — насколько можно судить по сохранившимся документам — о формирующем и стимулирующем воздействии культурных контактов. Влияние возникшей на Ниле цивилизации достигло Индии.

Философские системы Индии достигли Китая и позднее внесли свой вклад в пробуждающиеся цивилизации Запада. Греки опирались на наследие Микен, Крита и Египта. Рим с самых первых дней своего существования чувствовал влияние культурных сил, достигших зрелости в Греции. И так вплоть до наших дней.

Антиэволюционные влияния

Нет нужды говорить, что становление современной стадии дифференциации было задачей многих столетий, давление же, исходившее от старой концепции сплоченности, было сильным противодействием этому процессу, и все еще остается в определенной степени действенным. В процессе формирования современного общества обычно именно государство — хотя иногда и церковь — пыталось предотвратить дальнейшую дифференциацию, превращая иные организации в часть своей собственной структуры и подчиняя их налагаемому им единообразию. В XVII веке Гоббс отверг свободные ассоциации, сравнив их с «червями во внутренностях естественного человека», а не далее как в конце XVIII века французская революция попыталась во имя свободы уничтожить все корпоративные объединения. Руссо, философ революции, не в меньшей степени, чем Берк, философ реакции, — столь медленно наш рассудок воспринимает оформляющийся социальный факт — все еще не мог допустить отдельную организацию государства и церкви, все еще верил в «универсальное товарищество» или «всеобщее подчинение», делавшее членство в обществе культурно инклюзивным. Даже сегодня предпринимаются отдельные попытки восстановить крупные общества на основе примитивного сплочения, о чем свидетельствуют проявления как фашистских, так и коммунистических принципов и в еще большей степени — политика национал-социалистов в Германии. Но каковы бы ни были притязания этих противостоящих принципов — опять-таки должно быть ясно, что мы говорим о социальной эволюции, а не о социальном прогрессе, — существенно то, что упомянутые попытки достигли успеха только в тех странах, которые в меньшем объеме или на протяжении более короткого периода времени испытали воздействие диверсифицирующих условий современного индустриализма, культурных вариаций, проявляющихся в различных исповеданиях, и конфликта по вопросу о свободной ассоциации. Существенно также, что они достигли успеха лишь благодаря утверждению насильственного контроля, подавляющего дифференциации, которые могли бы в противном случае возникнуть, и что они явились непредвиденным следствием ненормальных и катастрофических событий, а не более упорядоченного хода социального изменения.

Главное направление социальной эволюции

Мы не можем пытаться проследить исторический процесс, в ходе которого эти различные стадии дифференциации сменяли друг друга, но если мы обратимся к первобытным обществам, мы сможем увидеть общие направления этого процесса. Поскольку социальная структура существует лишь как порождение ментальности, за дифференцированной формой всегда скрывается дифференцирующее сознание. Прежде институтов возникают установки и интересы. По мере того как они вырастают и становятся заметны, они начинают отражаться в обычаях, которые принимают все более институциональный характер. Континуум социального мышления прерывается, как бы пришпоривается какими-то особыми интересами, которые опыт и обстоятельства выделяют из недифференцированного чувства сплоченности. Таким образом, всегда налицо некое постоянное отклонение социального существа от единообразного пути социального развития, которое стражи племенных обычаев игнорируют, на которое они пеняют или которое подавляют. Но если это отклонение повторяется и в том же самом направлении, подкрепленное меняющимися обстоятельствами или благоприятными возможностями, то оно может быть признано, создавая некоторую зону безразличия внутри старого института или утверждая рядом с ним какой-то новый. Таким образом, обычаи группы диверсифицируются без утраты единства. Кроме того, в результате медленного накопления увеличивается объем знаний и умений, и отдельные члены группы становятся их хранителями. Так развиваются специфические модусы, специфические табу, специфические подходы к таинственным силам природы или к (sacra) племени; другими словами, образуются новые институты.

Образование институтов обычно предшествует образованию ассоциаций — эти события разделяет значительный промежуток времени. На деле в относительно примитивных обществах шаг от институтов к ассоциациям вообще редко осуществляется. Ибо стадия ассоциаций предполагает гибкость социальной структуры, которую едва ли могут допустить примитивные условия и примитивная ментальность; она предполагает более сложное единство, при создании которого различие комбинируется с подобием. Прежде чем право свободной ассоциации становится действенным, социальная эволюция должна уже пройти значительный путь, диапазон общества

должен быть достаточно широк, давление общих нравов ослаблено, а диверсификация интересов увеличена благодаря прогрессу знаний и специализации экономической жизни. Лишь в этих условиях семья в достаточной степени выделяется из социальной матрицы, чтобы стать некой автономной единицей, чье создание и содержание зависят от воли соглашающихся сторон. Лишь в этих условиях единообразие общинного образования распадается на многообразие особых школ и других образовательных ассоциаций. И наконец, крупномасштабная политико-религиозная система, притязавшая на контроль над всем остальным, обнаруживает внутренние диссонансы своего насильственного единства и начинает формироваться — каждая по-своему — ассоциации государства и церкви.

Схематически этот процесс можно изобразить следующим образом:

1) общинные обычаи:

слитность политико-экономико-семейно-религиозно-культур-ных обычаев, которые переходят в

2) дифференцированные общинные институты:

особые (distinctive) формы политических, экономических, семейных, религиозных, культурных процедур, которые воплощаются в ,.

3) дифференцированные ассоциации:

государство, экономическую корпорацию, семью, церковь, школу и т. д.

Переход от второй к третьей стадии означает важное преобразование социальной структуры. Конечно, могут иметься какие-то менее значительные и случайные (incidental) ассоциации и в примитивных социальных условиях, но крупные, постоянные формы ассоциации, как мы определяем этот термин, пока еще немыслимы. Примитивная сплоченность предполагает, что если вы принадлежите к обществу, вы также принадлежите и к роду (или принимаетесь в него); если вы разделяете его жизнь, вы принимаете и его богов. Разнообразие институтов по мере их развертывания первоначально есть лишь разнообразие аспектов общинной жизни. В этом растущем разнообразии сокрыт зародыш нового строя, но для его развития необходимы века и века. Ибо новый строй означает новое, более вольное разнообразие. На второй стадии налицо один набор политических инструментов для всего общества. На третьей стадии государство все еще в единственном числе, но уже имеются политические организации, воплощающие разнообразные идеи относительно государства. На второй стадии налицо один набор религиозных институтов, признанных всем обществом, и они связаны в единый комплекс с его политическими институтами. На третьей стадии они не только отделились от государства, получив культурную автономию, но и как следствие создали многообразные религиозные ассоциации. Эта свобода ассоциаций допускает бесконечную множественность случайных (sontingent) форм, с бесчисленными возможностями взаимосвязи и взаимозависимости, опирающуюся на всеобщие основы общественной жизни, обязательные аспекты которой теперь обеспечиваются государством.

Дифференциация крупных ассоциаций друг от друга сопровождается крупномасштабной дифференциацией внутри их соответствующих структур, обусловленной теми же факторами, что и первая. Для детального рассмотрения всего этого процесса потребовалась бы большая самостоятельная книга. Все, что мы можем сделать в настоящей работе, в довольно кратком очерке,— это снабдить его иллюстрацией, чтобы отчетливей выделить основной принцип. Для этой цели мы рассмотрим процесс организации религии.

Каким образом эволюционный ключ помогает нам понимать общество

Прежде чем обратиться к иллюстрации, следует указать, каким образом эволюционный ключ помогает нам понимать общество. Хотя есть множество социальных изменений, которые кажутся столь же ненаправленными и непоследовательными, как морские волны, есть и другие, включенность которых в эволюционный процесс очевидна. Прослеживая эти последние, исследователь надежнее ухватывает социальную реальность и узнает о наличии великих непреходящих сил, лежащих в основе многих движений, которые он первоначально воспринимал как простые события в потоке истории. Конкретнее: там, где он может быть использован, эволюционный ключ имеет следующие преимущества.

Во-первых, мы лучше видим природу какой-либо системы, когда она «развертывает» себя. Эволюция есть принцип внутреннего роста. Он показывает нам не только то, что случается с какой-либо вещью, но и то, что случается внутри нее. Поскольку в этом процессе возникают (проявляются) латентные характеристики и атрибуты, мы можем сказать, что возникает сама природа этой системы, что, по выражению Аристотеля, она более полно становится самой собой. Предположим, например, что мы пытаемся понять природу обычая или нравственности — вещей, которые мы все еще очень склонны путать. Мы понимаем их лучше, если наблюдаем, как они, полностью слитые в

первобытном обществе, становятся различными по мере того, как суживается диапазон поведения, над которым господствует обычай. Так же обстоит дело и со многими другими отличиями, например между религией и магией, преступлением и прегрешением, правосудием и справедливостью, экономической и политической властью.

Далее эволюционный ключ позволяет нам расположить множество фактов в значимом порядке, придав им связность следующих друг за другом стадий, вместо того чтобы связывать их чисто внешней нитью хронологии. Ибо исторический архив являет нам путаное множество событий, настоящий хаос изменения, пока мы не обнаруживаем некий принцип отбора. Мы неизбежно пытаемся обнаружить тип или типовую ситуацию, на которые указывают эти события в конкретных временных и пространственных пределах, а затем соотнести этот тип с более ранними и более поздними. Последняя цель осознается, если мы раскрываем эволюционный характер какой-то серии перемен. Возьмите, к примеру, бесконечные изменения семьи. Изучая их, мы обнаруживаем, что в определенных временных пределах современной истории функции семьи стали более ограниченными, сводясь лишь к тем, которые, по существу, обусловлены ее сексуальным основанием; короче говоря, вскрывается некая значимая временная последовательность. Как биологическая наука добилась упорядоченности, придерживаясь эволюционного ключа, так же поступает (здесь, по крайней мере) и наука об обществе. И эволюционный принцип — там, где он различим, — имеет перспективное значение потому, что он соотносит целые ситуации, следующие друг за другом, независимо от их величины и в результате доказывает свою применимость в любой сфере науки. Столь универсальный ключ должен подвести нас к самой природе реальности ближе, нежели любой более частный ключ. Безусловно, именно некий фундаментальный строй изменения проявляется одинаково и в истории Рима, Японии и Америки, и в истории жизни змеи, птицы, лошади и человека, и в мимолетной истории любого органического существа, и в непостижимо огромной летописи самого космоса.

Эволюционный принцип, далее, снабжает нас простым средством классификации и характеристики самых различных социальных систем. Если бы мы попытались классифицировать все общества на основании того рода обычаев, которым они следуют, или верований, которые они принимают, или их различных способов изготовления керамики, изображений и т. п., то наши классификации были бы сложными, громоздкими и ограниченными. Когда же, с другой стороны, мы классифицируем их согласно степени и модусу дифференциации их обычаев, верований и технологий, мы принимаем за основание некую структурную характеристику, приложимую к обществу как таковому, и притом такую, с которой неразрывно связаны бесконечно разнообразные проявления обычаев и верований.

Наконец, эволюционный ключ подталкивает нас к поиску причин. Там, где мы открываем направленность изменения, мы знаем, что налицо какие-то постоянные, совокупно действующие силы. Некоторые из них, конечно же, достаточно очевидны. Мы можем проследить, например, дифференциацию профессий, и несложно увидеть, как принцип эффективности экономики (который есть одна из форм проявления разумности) приведет к этому результату, если будут налицо соответствующие условия для его осуществления (значительные экономические ресурсы, более обширный рынок и лучшее технологическое оснащение). Не далее как во времена Гесиода человека называли «умелым во многих делах, но мало умелым в каждом из них». В определенной степени это верно применительно к любому специалисту. Следующая цитата из работы одного американского историка иллюстрирует условия, в которых возникают дифференцированные профессии: «В бостонской «Газетт» от 6 февраля 1738 года Питер Пелэм рекламирует себя как «учителя танцев, правописания, чтения, рисования по стеклу и всех видов рукоделья»; он был рисовальщиком, гравером, а также давал уроки игры на клавесине и преподавал основы псалмопения... Действительно, общество 1738 года не могло предоставить ему достаточно поводов для реализации всех этих разнообразных умений, чтобы поддерживать его существование, и он вынужден был восполнять этот ущерб, работая табачным торговцем. В конце концов появятся граверы, учителя танцев, рисовальщики, музыканты, преподаватели всевозможных элементарных предметов, включая ручные работы, которые смогут проследить в обратном направлении сходящиеся линии своих эволюции до такого вот неразветвленного ствола их общей отрасли» (из статьи: Dixon Ryan Fox. A Synthetic Principle in American Social History // The American Historical Review. 1930. Vol. 35, P. 256—266). Это конкретное развитие легко объясняется, но более широкие течения социальной эволюции, подобно течениям эволюции органической, ставят перед нами весьма интересные и сложные проблемы причинности.

НЕОМАРКСИЗМ. РАДИКАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Н. Бирнбаум. Кризис в марксистской социологии[1]

[1] B i r n b a u m N. The Crisis in Marxist Sociology / Birnbaum N. Toward a Critical Sociology. N. Y., 1971. P. 95—129 *(Перевод Н. Лафицкой).*

Введение *

*В данном очерке я не стремился осветить все вопросы. В частности, я довольно свободно пользуюсь такими упрощенными выражениями, как «марксистская социология» и «буржуазная социология». Я прекрасно понимаю, что эти термины здесь условны, что обозначенные ими направления в развитии научной мысли сложны и разнообразны, что существует взаимопроникновение этих двух типов социологии и что внутри каждой из этих групп имеют место конфликты и противоречия, не менее серьезные, чем между ними. Довольно полную библиографию можно найти в моей работе «The Crisis of Industrial Society» (N. Y., 1969).

Сегодня мы сталкиваемся с парадоксом. Никогда прежде марксизм не оказывал такого сильного воздействия на буржуазную социологию (которую можно определить как социологию, практикуемую буржуазными профессорами, не считающими себя марксистами, в противоположность не менее буржуазным профессорам, считающим себя марксистами); никогда прежде он не подвергался столь широкому анализу, критике и обсуждению. Совершенно неоправданные запреты политического характера, тормозившие развитие марксистской социологии (как, впрочем, и всей критической марксистской мысли) в обществах государственного социализма, начинают терять свою силу. Набирает силу международная дискуссия по вопросам марксизма, охватившая уже пространство от Лондона, Парижа, Франкфурта и Милана до Загреба, Будапешта, Праги и Варшавы. Тем не менее марксизм и особенно марксистская социология переживают кризис: именно этот кризис привел к тому, что нынешняя дискуссия идет столь напряженно и столь плодотворно.

Понятие «кризис» требует в данном случае пояснений. Доктринальный, или теоретический, кризис философской системы возникает тогда, когда формируется один из двух рядов абстрактных условий. В одном случае исчерпывается внутренний потенциал развития системы; применяемые в ней категории теряют способность трансформироваться; возникающие в рамках такой системы дискуссии становятся схоластическими в худшем смысле слова. Во втором случае реалии, на основе которых строится система, претерпевают такие изменения, что ее исходные категории становятся неприменимы в новых условиях. Совершенно ясно, что эти два ряда условий часто проявляются одновременно; применительно к системам, связанным с историческим развитием общества, два ряда условий кризиса чаще всего проявляются в комплексе, а иногда они неразделимы. В случае с марксизмом положение осложняется тем, что он претендует на роль тотальной системы, включающей не только описание общества, но и предписания, как людям следует действовать в обществе. Я предлагаю ограничиться анализом кризиса марксистской социологии, но при этом необходимо будет затронуть политические и философские элементы марксизма.

В общих чертах кризис марксизма можно описать следующим образом. Развитие капиталистического общества пошло несколько иным путем, нежели тот, который предполагался в теоретических работах первого поколения марксистов. В частности, несомненно, цикличное развитие капиталистической экономики достигло такой производительности, что релятивизировало понятия обнищания трудящихся. Правда, различия между социальными классами в распределении богатств, доходов, в доступности других благ продолжают оставаться огромными. Тем не менее абсолютный прирост общественного продукта и политическая борьба рабочего класса привели к тому, что последнему обеспечен такой уровень жизни, который никак нельзя назвать абсолютным обнищанием. В то же время изменилась классовая структура капиталистического общества: возникла новая промежуточная прослойка работников административной, технической сфер и сферы обслуживания, часто обладающих высоким уровнем образования. Хотя объективно эта прослойка зависима от тех, в чьих руках в основном сконцентрирована собственность, в том числе и государственная, тем не менее эта прослойка не пожелала вступить в политический союз с рабочим классом.

Таким образом, растущая концентрация собственности сказывалась на усилении классовой борьбы совершенно неожиданным образом: она усилила раздробленность и усложнила структуру сил, участвующих в этой борьбе. Далее, буржуазное государство вплотную занялось экономикой, вплоть до того, что в некоторых обществах оно приняло на себя координационные и даже командные функции, так что сегодня следует говорить

о возникновении общества «неокапиталистического» типа, которое в значительной мере уже сменило старое капиталистическое общество, где четко разграничивались государственная и экономическая сферы. Упорство сторонников абсурдной идеологии свободного предпринимательства в Соединенных Штатах не должно ослеплять нас настолько, чтобы мы не смогли заметить столь очевидного в нашем обществе срастания государства и экономики. В этих условиях такие понятия, как «собственность» и даже «капитал», размываются: классические марксистские постулаты об отношениях между базисом и надстройкой нуждаются в корректировке.

Такая корректировка особенно необходима сегодня в связи с изменениями, происходящими в обществах государственного социализма. Только теперь мы начали получать первые результаты марксистского анализа этих обществ, проведенного их внутренними силами, в отличие от марксистского анализа, проведенного оппозиционными или внешними силами. Этим исследованиям придется разобраться с фактом возникновения новой классовой структуры, вызванным тем, что владельцем собственности является государство, а монополия контроля за нею принадлежит коммунистическим партиям. Кроме того, возникновение новых структур политического и культурного господства сопровождалось в социалистических странах ростом государственной собственности.

Вызовом общепринятым канонам марксизма стал еще один аспект исторического развития. Можно сказать, что третий мир представляет собой мировой пролетариат и что отношения господства и эксплуатации характеризуют связи между индустриальными и неиндустриальными обществами. Народы стран третьего мира представляют собой доиндустриальный пролетариат, соучастником в эксплуатации которого является рабочий класс передовых обществ. Более того, борьба народов этих стран за экономическую независимость приобретает националистические и крайне националистические формы (феномен, относящийся не только к странам третьего мира). Будучи немцами, по их собственному признанию, Маркс и Энгельс никогда не стремились в своих теоретических работах к интеграции проблем национальных отношений и других разделов своей теории. В действительности их собственные труды об империализме как социально-экономическом феномене носили фрагментарный характер; их последователи и даже наши современные марксисты были вынуждены развивать и расширять эту теорию. Истинная роль империалистических экономических отношений в экономически развитых странах продолжает оставаться предметом споров, еще больше спорят о более широких социально-политических последствиях империализма.

К этим значительным затруднениям марксистской теории, вызванным ходом исторического процесса, а в некоторых случаях самим распространением марксизма, мы должны прибавить проблемы, вызванные столкновением марксизма с буржуазной наукой. У своих истоков марксизм, конечно же, был частью критического направления буржуазной мысли, исторически сформировавшегося и выкристаллизовавшегося в работах философов; марксизм вместе с создавшим его основу левым гегельянством можно рассматривать как позднюю германскую аналогию французским энциклопедистам. Маркс и Энгельс особенно упорно настаивали на «научном» характере марксизма в одном очень существенном отношении: критическая социальная и историческая теория должна синтезировать в своих категориях достижения и, где это необходимо, методологию передовых кругов буржуазной мысли — даже в тех случаях, когда достижения относились к некритическим по своему исходному замыслу направлениям науки,, но приобретали свою критическую силу в применении на практике. Иными словами, в то время, когда марксизм появился, он был chef d'oeuvre [2] буржуазной мысли: последующее расхождение между ним и развитием мысли за пределами социалистического движения является одновременно причиной и следствием движения интеллектуального самоопределения, имевшего много негативных последствий. Психоанализ, структурный анализ языка, целые области в развитии естественных наук, важные философские течения, такие, как феноменология, к сожалению, в том или ином виде противопоставлялись марксизму. В одном варианте упрощенная трактовка или трансформация значения позволяли сделать вывод, что структура и открытия в других системах бесплодны, поскольку рассматриваемые этими системами феномены могут быть поняты наилучшим образом только с помощью целостного марксизма. Другой вариант рассуждений, предполагавший не менее упрощенную трансформацию значений, позволял показать, что немарксистский метод при глубоком анализе оказывается соответствующим духу марксизма больше, чем даже сам марксизм. Специфические черты марксизма часто игнорировались или же значение их искусственно принижалось ради того, чтобы не дать ему отстать от уровня развития современной научной мысли или ее суррогатов на Западе.

[2] Шедевром (франц.) — *Прим. перев.*

Эта общая проблема особенно ярко проявилась в социологии. Истоки марксистской и буржуазной социологии в значительной своей части идентичны. Гегель оказал влияние

как на Лоренса фон Штейна, так и на Маркса, работы Сен-Симона нашли продолжение у Конта, идеи английских политэкономистов отражены в трудах Джона Стюарта Милля (в его «Системе логики» можно найти методологические постулаты социологии, основанной на естественной модели познания). По мере того как социология развивалась в форме академической дисциплины, ее соответствие марксизму чаще всего игнорировалось учеными-марксистами. Самый глубокий и оригинальный из буржуазных социологов — М. Вебер — наиболее успешно спорил с марксистами там, где признавал в качестве предпосылки радикальный историзм социальных структур. Трудно представить себе работу Лукача или ее академизированное изложение Маннгеймом без веберовской критики позитивизма. Впервые интерес марксизма к социологии проявился в Веймарской республике в Германии и во Франции после 1915 года. Поразительно, что в обществах государственного социализма социологию сегодня больше связывают с разработкой и применением определенных технических средств изучения социальных феноменов, чем с теоретической работой. В этой связи полезно было бы вспомнить, что социологический эмпиризм в буржуазной социологии в своих истоках тесно связан с движениями социального реформаторства (протестантские истоки чикагской школы в Соединенных Штатах, фабианский социализм и разработки начала XX века в Англии, «Verein fur Sozialpolitik» и прочие подобные течения, в том числе проект Вебера, в Германии). Эмпирическая техника позднее была отторгнута от своей морально-политической основы и стала восприниматься как распространение естественнонаучных методов на социальную сферу. Недавнее возрождение некоторых видов эмпирических исследований в обществах государственного социализма отличалось тем, что все этапы развития методов были пройдены за одно десятилетие, а не за несколько, как у нас. Во всяком случае разработанные буржуазной социологией многочисленные теоретические традиции и методы проведения исследований ставят перед марксистской социологией сложные проблемы, которые еще далеко не решены, а зачастую с трудом признаются.

В ходе общего развития идей, приведшего к кризису в марксистской социологии, мы наблюдаем не прямое и примитивное проявление конфликта между социальными и политическими группировками, а скорее попытку понять долгосрочные тенденции общественного развития, конкретно выраженные в проблемах, непосредственно связанных с пониманием сути конфликта. Возникшие без определенного намерения, часто полуосознанные представления об историческом процессе не могут быть столь же эффективны, как четко сформулированные представления. В то же время наши интеллектуальные возможности позволяют нам «утилизировать» сформулированные представления лишь как desideratum [3], а недействительное. С фрагментарным же описанием исторического процесса мы справляемся вполне. Должно быть ясно, что кризис в марксистской социологии есть частное проявление интеллектуального кризиса, корни которого уходят в социальное положение и политическую направленность групп, к каким принадлежат (или сами относят себя) те или иные социологи, но который имеет определенную, хотя и ограниченную, независимость от этих факторов.

[3] Желаемое (лат.). *Прим. перев.*

Один значимый элемент этого кризиса обусловливает как интеллектуальную раздробленность, о которой я уже упоминал, так и приведшие к ней исторические условия. Мы сталкиваемся не с единым рядом марксистских идей, а с несколькими «марксистскими традициями», которые разнятся от страны к стране, и иногда даже у разных группировок внутри одной страны. Этот процесс дифференциации указывает на реальное наличие кризиса: те усилия, которые предпринимаются для его преодоления, в действительности являются реакцией на реальные исторические проблемы, переживаемые в конкретных формах. Упомянув об относительной автономии марксистской мысли, я хочу теперь привлечь ваше внимание к масштабам марксистской дискуссии (а также суждений, предварявших дискуссию и возникающих вокруг нее). Развитие, самоанализ, взаимодействие между этими зспектами марксизма, по моему мнению, раскрывают одну из ценнейших возможностей марксизма как системы. Она позволяет добиться качественно иной проверки идей по сравнению с методами анализа социальных явлений, привнесенными в социальную сферу из естественнонаучной. Она также признает существование антиномий и скачкообразности общественного развития, и, что особенно важно, она отрицает и полную независимость мышления, и взгляд на мышление как на прямое «отражение» окружающей действительности. Первое ведет к самодовольно-благодушной изоляции мышления от реальности и фактически делает мыслителей менее устойчивыми перед внешним давлением, второе же обесценивает интеллектуальную деятельность как таковую и в то же время отвергает способность мысли изменять мир. Правда, эти соображения могут служить прекрасным завершением обсуждения проблемы кризиса марксистских методов. Я же предлагаю перейти к последовательному рассмотрению ряда специфических

аспектов социологии, в которых кризисные явления проявляются наиболее контрастно.

Теория общественных классов

В оригинале марксистская теория общественных классов имеет компоненты, вводящие как генерализацию, так и спецификацию. Компонент генерализации относится к различиям между членами сообщества в зависимости от их роли в производственных отношениях, а компонент спецификации — к рассмотрению буржуазного и капиталистического обществ в условиях машинного производства. Изначально марксизм, без сомнения, уделял главное внимание последнему компоненту. Сам Маркс заявлял о своем намерении установить «законы развития» капиталистического общества, признавая при этом, что сама концепция классов как таковых была до него разработана буржуазными историками и философами. Здесь нас итересуют два вида проблем: вопрос о применимости понятия классов в их связи с собственностью к анализу индустриального общества, а также интерпретация классовой структуры в обществах других типов.

Понятно, что для Маркса наличие социального господства в капиталистическом обществе объяснялось тем, что собственность принадлежит четко очерченной социальной группе — буржуазии. Понятно также, что в течение довольно длительного исторического периода, охватывающего большую часть XIX и начало XX века, существование взаимосвязи между владением собственностью, контролем за государственным аппаратом, привилегиями в доступе к культурным ценностям, а также формированием главенствующей идеологии, оправдывающей и закрепляющей такое положение, не вызывало сомнений. Случаи, приводившиеся в качестве исключений из этого правила, при ближайшем рассмотрении таковыми не оказывались. Описанные Токвилем условия раннего периода развития Соединенных Штатов, когда равноправие на основе свободного предпринимательства и конкуренции в борьбе за обладание собственностью ставило людей в примерно равные условия на старте, с наступлением промышленного капитала очень скоро были ликвидированы. Следует также отметить, что многие «первоначальные» владельцы собственности в Америке лишились ее в ходе войны за независимость. Многие сложности, источником которых в Европе была борьба за выживание доиндустриальной элиты (групп аристократов и ранних буржуа), коснулись и Америки. Правда, эта элита в конце концов сумела завладеть и средствами промышленного производства, а в дальнейшем полностью слиться с капиталистами. И все же продолжительность этого исторического периода не может скрыть от нас его конечность. По мере того как средства промышленного производства и их владельцы устанавливали в обществе свое господство, происходили и другие социальные трансформации, мешавшие этому процессу.

Прежде всего по мере роста концентрации собственности она все более обезличивалась. Развитие позднейших структур производства и сбыта в условиях капиталистической эксплуатации потребовало разделения между владением собственностью и управлением производством. Возможно, очень сильно упрощая, можно сказать, что управлять собственностью стало важнее, чем владеть ею. Само по себе это явление не представляет собой серьезного вызова марксизму. Сконцентрированная собственность остается собственностью, да и сам Маркс предвидел процесс ее концентрации. Более того, целый ряд исследований, проведенных в различных обществах и в различное время, показывает существование процесса срастания между элитой собственников и элитой управленцев. Есть еще одно следствие концентрации производства и возникновения группы управленцев. Концентрированное производство легко стало поддаваться контролю со стороны правительства посредством политического давления на управленцев. Однако та же концентрация собственности позволила владельцам средств производства, а особенно тем, кто стоит у руля производства, в свою очередь более эффективно воздействовать на государство.

Коротко остановимся на некоторых проблемах, порожденных этим положением. Для начала отметим, что роль классовой борьбы и структура сил, принимающих в ней участие, стали очень изменчивы. В связи с этим в буржуазной социологии проявилась тенденция ошибочно принимать рассредоточение и дробление сил, участвующих в классовой борьбе, за признаки ее прекращения. Марксистская же социология в свою очередь уделяет новой сложной ситуации недостаточно внимания. Действительно, значительная возможность для применения марксистской мысли практически игнорируется. Концентрация средств производства в новых корпоративных формах, растущая роль государства в экономическом процессе привели к проникновению в целый спектр социальных институтов своего рода экономической рациональности. Размывание определенных отношений, в которых проявляется прямая эксплуатация, особенно частичная интеграция рабочего класса в систему, которую он, как предполагалось, должен был разрушить, — далеко не полный перечень следствий развития капитализма. Невыраженный и зачастую скрытый характер классовой борьбы, да еще и

раздробленность участвующих в ней сил одинаково мешают и марксистам и немарксистам увидеть новые формы классовой борьбы.

Новый подход к этим проблемам, похоже, появится тогда, когда они объединятся с проблемами нового среднего класса, или технической интеллигенции. Растущее усложнение производственных процессов, усиливающееся вторжение государства в жизнь общества, развитие мощных систем администрирования, распределения и обслуживания — все эти процессы привели к возникновению новой структуры рабочей силы, отличающейся высоким уровнем образования, организованной в бюрократическую иерархию и весьма лояльной с политической точки зрения. В целом эта техническая интеллигенция связывает себя с теми, кто стоит у руководства производством и государством; лишенная возможности участвовать в управлении, она ведет себя так, будто коренным образом заинтересована в сохранении существующей структуры власти. В действительности именно в этом и состоит ее интерес, поскольку ее материальное положение, психическое состояние зависят от успешного функционирования аппарата управления обществом.

Существование этого социального слоя открывает новые возможности для марксистского анализа. Лишенная возможности контролировать администрацию, техническая интеллигенция обладает навыками и умениями, без которых администрирование (в широком смысле слова) было бы неосуществимо. Нередки случаи, когда отдельные группы в среде технической интеллигенции ощущают противоречие между своими способностями, глубиной знания дела и командами, поступающими к ним сверху. Некоторые марксисты, исходя из этого, гипотетически экстраполировали наличие у технической интеллигенции значительного революционного потенциала. Возможно, эти предположения имеют под собой почву, но прежде чем этот потенциал мог бы быть реализован, необходимо решить некоторые проблемы сознания. Так, например, если сквозь призму проблем сознания рассматривать рабочий класс, то окажется, что вывод о его интегрированности в буржуазное общество не соответствует действительности. Легко заметить, что нынешние изменения в социальной атмосфере, которые можно наблюдать в некоторых обществах, произошли именно благодаря количественному росту технической интеллигенции. Образовательный бум, распространение определенной корпоративности в распределении приводят к тому, что у многих возникает ощущение уравниловки. В современных политических условиях высокий уровень жизни рабочего класса также способствует созданию такой ситуации. Кроме того, сейчас гораздо труднее понять социальный и идеологический механизм, через который техническая интеллигенция связана с современной элитой. Трудно предположить, что, рассматривая эту группу как современных потомков petite bourgeosie [4], можно добиться какого-то результата.

[4] Мелкой буржуазии. — *Прим. перев.*

В то же время анализ положения неквалифицированных рабочих также ставит довольно сложные проблемы. Если верхние слои рабочего класса постепенно срастаются с технической интеллигенцией, то нижние слои смыкаются с деклассированными элементами (что особенно очевидно в Соединенных Штатах), не имеющими ни квалификации, ни шансов получить постоянную работу. Довольно просто разграничить эти группы. Значительно сложнее сделать какие бы то ни было выводы об уровне их сознания. Уменьшение революционных перспектив идеологии рабочего класса не требует новых подтверждений, но необходимо сказать, что это уменьшение не является прямым продуктом развития с 1945 года по настоящее время; в действительности оно является продолжением исторических тенденций, наблюдаемых еще в середине XIX в.

Именно здесь марксистской социологии необходима помощь марксистской историографии, если, конечно, их можно отделить друг от друга. Процесс дифференциации внутри рабочего класса, формы его связей с национальными сообществами и государствами, разнообразные в распространенности и интенсивности его классового самосознания, особенности в использовании возможностей объединения в профсоюзы и партии дают нам огромное количество материала, на основе которого можно смоделировать традиции и темпы роста классового самосознания рабочих. Механическое применение как марксистской, так и немарксистской социологии в изучении классовой борьбы до недавних пор приводило к тому, что игнорировалось огромное значение этих факторов в традиционной, или спонтанной, реакции рабочих разных стран на специфические исторические события и ситуации. Например, политическая реакция рабочего класса на высокий уровень жизни в разных странах была довольно разнообразной и до сих пор продолжает проявляться в новых формах, что должно предостерегать нас от стереотипов в социологическом изучении этих процессов. Есть целый ряд фактов, которые, похоже, ускользнули от внимания некоторых наших коллег, в том числе то, что многие блага и преимущества, которыми обладают высшие классы, практически недоступны для рабочего класса; что рабочий класс, получивший доступ к массовой культуре, по-прежнему не имеет доступа к высокой культуре; что получение

некоторых экономических преимуществ не отменяет общего подчиненного положения рабочего класса в структуре общества, а также то, что участие в бюрократизированном профсоюзном движении, готовом и способном договариваться с теми, кто управляет средствами производства, не является осуществлением исторических целей тред-юнионизма, даже в Соединенных Штатах. В отдельных отраслях производства автоматизация может возродить (правда, в иных исторических условиях) резервную армию труда, т. е. армию безработных, которую скорее всего никогда уже не удастся мобилизовать.

Следует также отметить, что как буржуазная, так и марксистская социология рабочего класса обладают любопытным дефектом: первая приветствует признаки социальной интеграции, вторая не одобряет их, но ни та, ни другая не сумели отразить роль рабочего класса как неотъемлемой части и элемента развития всей социальной структуры. Новая оценка потенциальной социальной роли этого класса может действительно стать поворотным моментом для марксистской социологии, в настоящий же момент и научный анализ и его результаты имеют лишь фрагментарный характер.

Анализ социальной структуры обществ государственного социализма, особенно Советского Союза, ставит перед марксистской социологией весьма сложную проблему. Самым простым ее решением было заявление, что раз в этом обществе нет крупной капиталистической собственности, то (для некоторых) это означает, что классовый анализ неприменим. По большей части это бесплодная игра слов. Крупная собственность там существует, а управление ею осуществляет элита. Эта элита выступает от имени всего общества с учетом определенной концепции всеобщего социального обеспечения; тем не менее элита в условиях режимов государственного социализма, пользуясь своей властью, сумела приобрести для себя значительные преимущества. Господство, даже осуществляемое в интересах достижения высоких идеалов, остается господством. Нельзя сказать, что рабочий класс в этих обществах пользуется возможностью объединения в профсоюзы для достижения решительной независимости от политической элиты. Интересные возможности для анализа открывают конфликты между политической и технической элитными группами при выборе экономических приоритетов, институционализация механизмов социальной мобильности и последствия этого процесса, а также методы, с помощью которых при отсутствии системы прямого представительства в политических органах формируется и приводится в действие общественное мнение.

В связи с последним явлением можно отметить, что столь явное сращивание государства и экономики в обществах государственного социализма превращает производственную дисциплину в политический феномен. Наши коллеги в этих странах начали исследовать некоторые из этих проблем. Их работа, с одной стороны, разрушает мифы вокруг схематичного изображения «триумфа» социализма, а с другой — разоблачает упрощенческие взгляды тех, кто считает режимы всех индустриальных обществ одинаковыми. Даже случайного человека, попавшего в эти страны, поражает существующая в них социальная атмосфера, порожденная отсутствием институционализированной корпоративности, столь характерной для психологического климата в рыночных структурах.

Активизация и распространение исследований структур обществ государственного социализма неизбежно затронут хотя бы некоторые из важнейших проблем современной социологической теории. Одной из первоочередных должна стать проблема неизбежности той или иной формы отчуждения. Теоретические достижения на этом направлении возможны в марксистской социологии, верной критическому духу марксизма, — иными словами, в социологии, отвергающей функцию административной технологии. Но отрицание функции предполагает и отрицание определенной формы: мнение, что чисто эмпирические методы могут совершенно вытеснить критические элементы в марксистской социологии, несовместимо с задачей изучения обществ государственного социализма в их исторической специфичности.

Теперь рассмотрим другой спорный элемент марксовой теории общественных классов — проблему классового устройства неиндустриальных обществ. В наиболее острой форме она проявляется сегодня в связи с вопросами развития. Однако сама постановка вопроса развития сегодня неисторична (как в марксистской, так и в буржуазной социологии). Причем в своем антиисторизме каждый из этих двух подходов является как бы искаженным отражением другого. Буржуазная социология тяготеет к определенной материализации культурных традиций, подчеркивает необходимость выдвигать стимулы и антистимулы для «модернизации» (весьма сомнительная концепция), не нарушающей эти традиции, но чаще всего хранит молчание по поводу вторжения в рассматриваемые общества — в нарушение всякой историчности развития — колониалистских и империалистических сил извне. В марксистском же анализе основное внимание уделяется именно последнему фактору, а остальные элементы влияния истории игнорируются. Марксистская социология особенно безразлична к специфическим культурным

традициям и социальным институтам, которые во взаимодействии представляют собой особенную черту исторического развития общества, — адекватное понимание ее роли еще только предстоит выработать.

Вариантность классовых конфликтов в неиндустриальных обществах требует особого и постоянного внимания. Такие явления, как существование компрадоров, полностью зависимых от сил империализма, или «национальной буржуазии», ставшей союзницей настоящего пролетариата в этих обществах, достаточно хорошо известны. То, что требуется сегодня, — это способ разобраться в генезисе культурной традиции, радикально отличающейся от западной, в том числе и по классовой структуре, а также в особенностях путей, которыми происходило смешивание традиций с новыми историческими явлениями, что и привело к формированию обществ Азии, Африки и Латинской Америки
в их современной форме. Кое-что можно почерпнуть из теоретических обоснований политической практики таких неомарксистских режимов, как режим Кастро на Кубе.

Многое может дать и обращение к недавно возродившейся классической марксистской дискуссии вокруг «азиатского способа производства». Конечно, Виттфогель, разрабатывая эту идею, допустил огромные преувеличения, но само по себе напоминание о возможности превращения государства в собственника и эксплуататора полезно тем, что еще раз подчеркивает многообразие форм классовых конфликтов, возникающих в ходе исторического процесса. В этом, если я правильно понял, заключается суть сравнительной социологии Макса Вебера. Его целью было не доказательство ошибочности марксизма (марксизм, с которым спорил Вебер, часто на самом деле оказывался эволюционным позитивизмом немецких социал-демократов), не отрицание деления общества на классы в зависимости от их места в системе общественного производства и отношения к средствам производства, а стремление показать, что это лишь один из многих вариантов классовых конфликтов при капитализме.

Современная фаза мировой истории, появление освободившихся от гнета цивилизаций и народов особенно остро ставят вопрос о необходимости анализа с точки зрения марксизма особенностей возникающих в этих обществах социальных структур и разворачивающейся внутренней борьбы. Решение последней задачи, несомненно, потребует совершенствования политической социологии развитых обществ для того, чтобы охватить такие явления, как колониализм и империализм, ставшие, по всей видимости, важными элементами внутреннего функционирования развитых обществ. (В этой связи нельзя игнорировать периоды с 1945 по 1956 год в Восточной Европе и с 1948 по 1961 год в Азии, если мы хотим понять Советский "Союз.) Требуется также уделить значительное, внимание специфическим историческим традициям обществ, которые мы называем слаборазвитыми, и не в последнюю очередь их религиозным традициям. В дальнейшем мы увидим, что осознание исторической роли религии является важным элементом современной дискуссии в марксизме. Теперь следует обратить внимание на политическую социологию развитых обществ.

Теория государства

Среди недостатков потерявшего свою подвижность и гибкость марксизма следует назвать отступление от данного самими Марксом и Энгельсом совета держать государство в фокусе анализа. Неверно понятый марксизм сразу же попытался свести государственную власть к ее предполагаемому базису — действиям общественных классов, не принимая во внимание способность государства канализировать и трансформировать внешние воздействия. В то же самое время буржуазные социологи (хотя и здесь Макс Вебер и в какой-то степени итальянские постлибералы являются существенным исключением) настаивали на автономии государства и довольно часто отрицали роль грубой силы в новейшей истории. Ждать скорого и легкого разрешения этих противоречий не приходится, но вполне возможно обозначить некоторые спорные вопросы.

До настоящего времени роль государственной власти в обществах государственного социализма приводила в замешательство ученых-марксистов, сочувствующих режимам государственного социализма или их представляющих. В конце концов главной чертой сталинизма была высшая степень концентрации государственной власти. Более того, слияние государства с целым обществом означало, что критический анализ части общества неизбежно затронет и роль государства. Применение чисто умозрительных понятий о продолжении классовой борьбы при социализме, главной силой в которой становится государство (являющее собой олицетворение «исторического прогресса»), стало выходом из этого трудного положения. Другой выход нашли сравнительно недавно, переняв у буржуазной социологии политическую изворотливость. Теперь дискуссия ведется вокруг отдельных секторов общества, а интеграционная и командная функции социалистического государства просто не затрагиваются. Можно сказать, что некоторые круги в буржуазной «официальной» социологии, которые трудно отличить от

политической разведки или политической пропаганды, совершили противоположную ошибку: они систематически игнорировали роль общественных классов в социалистическом обществе, а государство изображали как непреодолимую силу, отделенную от общества. Объяснение этих взаимоотношений в социалистическом обществе ждет нового прорыва в марксистской социологии, свободной от политической опеки.

Не меньшее количество проблем ждет своего разрешения и в западном обществе. Одним из противопоставлений упрощенному марксизму стала доктрина полной автономии слоев общества: роль государства как интегрирующего фактора была преуменьшена, а концепция политического плюрализма скорее идеально, чем реально позволила оформить, вернее деформировать, результаты анализа. Здесь как раз следует отметить хоть и небольшой, но позитивный вклад западноевропейского марксизма. Интеграция капиталистических обществ, особенно в современной, или неокапиталистической, фазе их развития, стала для него объектом серьезной работы. Проведенный им анализ функционирования системы образования и средств массовой коммуникации; ограничения классовой борьбы рамками жесткой формализованной системы отношений между профсоюзами, работодателями и государством; развития институтов социального страхования; несомненного, хотя и частичного, контроля за рынком показал, каким образом современным западным государствам удается институционализировать и контролировать классовую борьбу. Недостатками страдает анализ роли сознания различных общественных классов и особенно роли осознания причастности к национальным или псевдонациональным сообществам. В этом направлении прогресса практически не было, поэтому обсуждения заслуживают две важные проблемы.

Нынешние изменения в природе капитализма как экономической системы привели к тому, что анализ рыночного механизма не может дать нам реального представления о структуре системы: государство стало неотъемлемым элементом функционирования экономики, и в определенном смысле все общество было превращено в экономический аппарат. Об этом я уже упоминал выше, когда утверждал, что самые разные элементы общества пронизаны экономической рациональностью. В таких условиях государству трудно соблюсти автономию в специфически политической сфере, а рынку ограничиться чисто экономической сферой практически невозможно. Действительно, на смену классической рыночной экономике пришел не просто монополистический и олигополистический рынок, но сложная структура управляемых и взаимозависимых процессов. Перед лицом этой тотальной структуры исходные понятия базиса и надстройки практически потеряли смысл. Правда, тут мы сталкиваемся с вопросом о том, не угрожает ли независимому социологическому анализу, переложившему на плечи других дисциплин анализ экономики, государства и культуры, опасность скатиться на позиции формализма или искусственной ограниченности, каждая из которых приведет к самоуничтожению. Марксистская социология традиционно концентрировала внимание на общественных классах. Пока они были в капиталистическом обществе сравнительно стабильны и легко различимы, это внимание было вполне оправдано. Опыт тотальной интеграции в условиях режимов государственного социализма и явление, которое можно было бы обозначить как «интеграция на основе консенсуса» в неокапиталистических обществах, делают границы между социальными классами все более условными.

Пример дебатов вокруг империализма несколько проясняет это положение. Возникновение мирового рынка и мировой структуры управления (polity) как результата мирового сообщества больше не относится к области мистики. Об этом можно говорить с полной определенностью. Понимание истории капиталистического и других обществ в XIX и начале XX века потребует серьезного пересмотра. Понимание внутренних процессов в каждом из обществ Запада должно расшириться и включить в себя признание империалистических отношений, их роли. Во второй половине XIX века Маркс указал на возможность того, что английский рабочий класс благодаря эксплуатации Англией ее колоний превратится в привилегированную группу. В войнах за гегемонию в Европе, бушевавших на континенте с 1866 года, европейский рабочий класс, как правило, поддерживал свою национальную элиту в войне против других национальных государств. Более того, одной из причин развития Бисмарком и Ллойд Джорджем национальных институтов социального страхования была необходимость поднять уровень национального согласия для более успешного ведения борьбы с империалистическими соперниками. Есть свидетельства и того, что рабочий класс современных Соединенных Штатов Америки вовсе не против карательных авантюр в отношении иностранного «коммунизма», особенно если они сопровождаются повышением уровня занятости. Эти факты, однако, требуют систематизации и интерпретации, которые до сих пор не осуществлены.

Здесь я говорю не о том, что, пользуясь чисто экономическим анализом, трудно выделить составляющую экономики каждой из стран Запада (а также Советского Союза), сформированную благодаря империалистическим отношениям. Я хочу показать,

как сложно определить тот слой элиты, который больше других повинен в проведении империалистической политико-экономической линии в отношениях с другими государствами. Исключением является лишь Великобритания на одном из отрезков ее истории, когда существовали классические империалистические магнаты, не имевшие ничего общего, скажем, с промышленным капиталом средней Англии. Если нам однажды удастся выделить интересующую нас прослойку, то можно будет изучить ее деятельность во внутренней экономике, выяснить механизм, с помощью которого она втягивает другие группы элиты в империалистические предприятия, а также идеологические ресурсы, позволяющие создать — реально или simulacrum[5] — «консенсус».

[5] Симулировать (лат.). -- *Прим. перев.*

Решая эти проблемы, марксистская социология должна обязательно подтвердить, что критичность и интерпретация — неотъемлемые ее черты. Это необходимо потому, что практически отсутствуют явные свидетельства взаимосвязи между империализмом за рубежом и внутренними социальными структурами, поскольку такие синтетические исследования не приветствуются как не отвечающие канонам «позитивного» направления в общественных науках. Возможно, это покажется достаточно убедительным объяснением причин, по которым такого рода марксизм очень фрагментарно проявляется в главной империалистической державе мира — Соединенных Штатах: традиция использовать результаты усилий ученых в этом направлении в общественных науках Америки практически отсутствует. То же самое можно сказать об Англии, где даже марксисты — «эмпирики». Но даже эмпирические исследования империализма Великобритании Mi' могут скрыть наследия прошлого. Похоже, что французская социология в этом анализе ушла дальше других. Это произошло не только благодаря политической традиции во Франции, но и потому, что французские общественные науки по своей структуре гораздо более синтетичны. Мы, однако, отклонились от обсуждения сущностных проблем и приблизились к методологическим. Прежде чем продолжить, нам необходимо рассмотреть два аспекта марксистского анализа, в которых осознание кризиса наиболее развито.

Анализ культуры

Я остановился на термине «анализ культуры», предпочтя его таким терминам, как «анализ сознания» или «анализ идеологии». По-моему, культуру нельзя полностью отнести к сознанию, поскольку человеческое сознание в области культуры реагирует на информацию, передаваемую с помощью символов, на уровне подсознательного, а сознательное размышление или анализ часто опираются на более глубокие пласты опыта, не всегда непосредственно доступные самому сознанию. Идеология в свою очередь представляет собой формализованную систему социальных суждений, которые складываются и на основе накопления культурного опыта, и непосредственно под давлением социальных проблем и интересов. В любом случае анализ культуры особенно интересен для марксизма, так как марксизм не есть вульгарно-материалистическая доктрина. Скорее, это учение о генезисе форм удовлетворения человеческих потребностей и их содержания в действительных и необходимых формах кристаллизации власти труда, а также в будущих и возможных институтах царства свободы.

Одно из крупнейших современных достижений марксизма приняло парадоксальную форму обращения к истокам самого марксизма. Вместо механического выведения надстройки из базиса, вместо упрощенной психологии интересов, лежащей в основании марксизма Бернштейна, Каутского (а в какой-то степени и Ленина), современная марксистская культурная практика вводит идею всеобщности человеческой культуры. В процессе развития марксизма в этом направлении были сделаны экстраполяции из ранних произведений Маркса и Энгельса. Это повлекло за собой трактовку материализма из ранних произведений как полемического акцента в критике гегелевской системы, хотя этот материализм был к тому же заново определен как экзистенциальный гуманизм. В любом случае марксистская теория культуры теперь рассматривает символическое или идеологическое выражение данной исторической ситуации как неотъемлемую и определяющую часть этой ситуации. Это выражение не просто «отражает» материальные условия, но может и предвосхищать, а кто-то скажет — создавать, в исторических ситуациях новые материальные возможности. Далее, понятие противоречия было использовано для опровержения представления о том, что культура (как надстройка) должна абсолютно «отражать» материальные зависимости: культура может до некоторой степени представлять собой духовное отрицание данных материальных зависимостей и опять же предвосхищать их исчезновение. Последнее положение дало повод для систематического пересмотра марксистской теории религии, а это заставило некоторых марксистов — и, кажется, среди них было несколько теологов — гораздо более внимательно и благожелательно, чем прежде, взглянуть на религию как

на человеческий феномен.

Не пытаюсь ли я здесь пересказать известное замечание, сделанное Энгельсом в конце жизни, когда он предостерегал от переоценки материальных факторов и подчеркивал взаимное влияние друг на друга базиса и надстройки? Думаю, что нет. Скорее, это проявление воздействия на марксизм или открытия в самом марксизме трех ярко выраженных, хотя и часто смешиваемых, компонентов.

1. Обращение к ранним текстам, и особенно к тем, где затронуты проблемы антропологии, позволило открыть марксистский экзистенциализм. Это относится к представлению о человеке как о творце истории, скорее, ее субъекте, нежели объекте.

Конечно, суть всей марксистской антропологии сводилась к тому, чтобы показать, что человек не может быть творцом истории в условиях капиталистического товарного производства и связанного с ним отчуждения от своей собственной потенциальной природы. Более поздние марксистские интерпретации культуры не отвергают этого положения, но несколько видоизменяют его, утверждая, что борьба против отчуждения носит универсальный характер и проявляется во всей истории культуры. Это является — в большей или меньшей степени — модификацией временной схемы марксизма, так как включает борьбу против отчуждения в различные, а не только лишь в революционный контексты.

2. Опять же благодаря обращению к ранним текстам (а также, как в случае с Лукачем, к трудам Гегеля) было вновь подчеркнуто значение диалектики как метода мышления. Но применение его к теории культуры вызывает специфические трудности. В отношении деятельности отдельных реальных людей его применение ведет, кроме всего прочего, к использованию амбивалентности, в то время как до сих пор марксистская психология не отличалась ни убедительностью, ни тонкостью. В отношении временной последовательности в развитии культурных структур диалектика наиболее успешно применялась тогда, когда не выходила за рамки внутреннего строения структуры, одного направления в развитии мысли или стиля, периода в истории данного общественного слоя, но менее успешно применительно к изменениям самих структур. Что касается значения культуры, то здесь использование диалектики ограничивалось лишь теми случаями, когда возможно двоякое толкование. На сегодняшний день диалектика наиболее явно выражена в еще одном понятии — понятии всеобщего.

3. Систематизированное объяснение всеобщего в культуре с помощью диалектического метода в современном марксизме в значительной мере связано с заимствованием идей из гештальтпсихологии и философской феноменологии. Один аспект ситуации стал рассматриваться как особым образом отражающий совокупность всех остальных аспектов — процедура, временами приводившая на грань отрицания определяющей роли производственных отношений. У марксиста Гольдмана анализ всеобщего в культуре следует только после установления базисных социально-экономических отношений. Иными словами, диалектика эффективна в пределах заранее определенного исторического всеобщего, а процессы изменения — перехода от одной всеобщей структуры к другой — в такого рода анализ не включаются.

Эти изменения марксистской мысли, несомненно, бросают вызов; их результатом явились некоторые наиболее интересные из современных исследований в этой области. Тем не менее можно сказать, что и они несут на себе печать кризиса в марксистской социологии. Эти инновации в марксистской теории культуры включают в себя довольно много представлений и методов, почерпнутых в других философских системах и методологиях. Открытый марксизм продемонстрировал свою растущую продуктивность в той области, где первоначальные тексты многое обещали, но мало дали. Сегодня вопрос стоит так: как долго еще марксизму удастся оставаться открытым, не подвергая себя радикальной трансформации? Настойчивые утверждения, что новая процедура согласуется с критическим духом раннего марксизма, несомненно, звучат обнадеживающе, однако изменения сущности учения на этом пути неизбежны.

Следует рассмотреть еще две группы проблем, оказывающих влияние на теорию культуры. Первая касается пресловутой идеи «рационализации» в обществах с развитой индустриальной культурой. Наиболее глубокий анализ процесса «рационализации» был осуществлен Максом Вебером. Его близость марксистскому анализу была отмечена сначала Левитом, а несколько позже Маркузе. Маркс начинал с понятия отчуждения человека в процессе товарного производства, затем переходил к анализу имманентной структуры самого капиталистического производства, а завершил предсказанием его конечного самоуничтожения под влиянием высшей исторической рациональности, которая преодолеет кратковременную и искусственную рациональность буржуазной культуры. Из ранних трудов Маркса, а также работ Вебера Лукач вывел понятие конкретности как необходимого компонента марксистской социологии. Маннгейм воспользовался анализом Вебера (решив не утруждать себя строгостью марксистского анализа) для выделения целесообразности «функциональной» и «сущностной». Этот процесс стал неизбежен: рациональность капитализма была трансформирована посредством распространения

принадлежавшей Веберу идеи бюрократизации на индустриальную рациональность. Поскольку мы говорим о марксизме, то следует признать, что результаты марксистского анализа (как и идея конкретности) оказались изолированными, отделенными от всеобщей оценки исторического процесса и исторической перспективы. Скрыто или явно, но современный марксизм признает неизбежность индустриальной рациональности, и пока не видно реальной перспективы преодоления этого положения. Он сам начинает проводить все более тонкий анализ индустриальной рациональности, все яснее понимая отсутствие рациональности в его собственном прежнем анализе, поэтому марксистская концепция высшей исторической рациональности отходит на второй план. Одним из последствий отказа от первоначальной марксистской концепции исторического прогресса в современном марксизме вполне резонно стал отказ и от представления о теории идеологии как об истине в последней инстанции. Отдельные идеологии могут подвергаться анализу в соответствующем историческом контексте, но сама история рассматривается как последовательная смена идеологий, а не как осуществляемое в борьбе движение от идеологии к истине.

Ответственность за такое положение несут в одинаковой степени как марксисты, связанные с коммунистическим движением, так и буржуазные социологи, придавшие относительность понятию идеологии. Для обеих групп идеология служила выражением интересов и перспектив абстрактных общественных слоев. Марксисты-коммунисты обычно откровенно ограничивали значение этого термина уровнем социально-политического использования. Буржуазные социологи оправдывали свой подход ссылками на богатство материала, представленного этнографией и социальной антропологией, а также историей идей (т. е. дисциплинами, несомненно возникшими под влиянием марксизма). В первом случае мы имеем дело с определенного рода политической вульгаризацией, а во втором — с философски бесплодным уходом в эмпиризм или, скорее, скрытым провозглашением крайне сомнительной философской позиции, заключающейся в том, что реальный мир абсолютно соответствует нашим представлениям о нем. Короче говоря, поразительная сторона кризиса в марксистской социологии заключается в неспособности по-новому разработать понятие идеологии, и это несмотря на реальное углубление нашего понимания структуры и функций многообразных конкретных исторических идеологий.

Марксистская антропология

Некоторые трудности, связанные с теорией культуры и отмеченные в посвященном ей разделе, можно обнаружить на несколько иной почве марксистской антропологии. В классических марксистских текстах эти проблемы поставлены четко, но слишком общо. Человек в них представлен как чувствующее и деятельное существо, способное выразить себя только в истинной практике. Эта практика в то же время представляется тем средством, с помощью которого человек может переделать себя. В условиях товарного производства истинная практика невозможна: сила, которую рабочие вкладывают в труд и которая должна была бы выражать цельность человека, служит лишь закреплению его бессилия. Продукты труда — товары — получили над человеком такую власть, что произошло отчуждение. Таким образом, только революционная практика может восстановить или создать человеческие условия.

Глубина этого исторического представления так поразила многих марксистов, что многие из них не решились расширить или хотя бы уточнить его. В трудах Маркса и Энгельса, начиная с ранних работ, наблюдается одна тенденция в трактовке отчуждения: внимание переносится на общественные институты и исторические процессы, способствующие отчуждению. В дальнейшем это постепенно привело к идее (скорее скрытой, чем явной) о безграничной психологической податливости человека. При отсутствии революционной практики, а также ввиду очевидности того, что прежняя революционная практика поражена коррупцией, марксистских социологов охватило отчаяние: человек оказался способным пережить любую рану, любое оскорбление. И чем глубже оказывался анализ, тем больше отчаяния было в выводах (см. замечательное эссе Адорно о массовой и высокой культуре).

В этой обстановке ассимиляция марксизмом фрейдистского психоанализа оказалась наиболее глубокой там, где были получены самые негативные выводы, где анализ репрессивного бессознательного самоунижения, следующего за интернализацией власти, дал возможность получить представление о психологических масштабах отчуждения. Этот анализ к тому же был проведен так, что вопросы возможности освобождения труда не затрагивались. Попытку провести полный анализ предпринял Маркузе в своей работе о Фрейде, но позже к этой теме он не возвращался, а занимался проблемами институционального подавления свобод.

Многие марксисты недооценили следующую возможность: всерьез принять идею психологической податливости. Тогда перед нами предстанет не одна историческая вселенная, а несколько, которые даны нам в разнообразии человеческих культур и истори-

ческих обществ, причем отдельная историческая конфигурация порождает определенный тип человека. Если принять такую точку зрения, то следует вывод, что не существует единого, общего для всех вида человеческого освобождения. Могут существовать различные возможности и типы освобождения. Современная марксистская трактовка религии, признающая наличие в религиозном опыте освободительного компонента, выражает также скептицизм по поводу упрощенного и одностороннего представления ученых XIX века о секуляризации и сомнение в необходимости и окончательной правильности прежнего марксистского представления об историческом развитии человеческой природы.

Поистине сосредоточение внимания на вариативности истории является необходимой предпосылкой для общего рассмотрения человеческих возможностей. Поэтому марксистский анализ вариативности истории не может ограничиваться лишь вариативностью институциональных форм, но вслед за этнографией и сравнительной психологией должен обратиться к изучению вариативности психических структур. Здесь марксистская социология определенно упускает возможность воспользоваться значительными результатами работы, уже проделанной другими. Возможно, правда, что часть ранних марксистских произведений содержит ошибки. Так, под влиянием романтиков утверждается, что труд является одной из высших форм самовыражения и самоутверждения человека. Но труд с использованием машин они рассматривали как деформирующий личность и предсказывали освобождение от этой деформации (насколько они вообще могли предвидеть конкретные ситуации) через принятие каждым человеком одной из всей совокупности передовых функций, определяемых разделением труда.

Развитие современных средств производства идет двумя практически противоположными путями. Некоторые формы труда требуют от работника все больших и больших знаний и повышают его роль в управлении этим процессом. Другие сводят труд к минимуму операций и лишают рабочего возможности видеть смысл в том, что он делает. Фактически в марксистской теории есть два четко разграниченных элемента, потенциально способных освободить человека от оков, налагаемых трудом в условиях капитализма. Первый элемент предполагает трансформацию условий труда, особенно всего, что касается структуры власти и контроля за распределением общественного продукта. Современное развитие в марксистской теории империализма понятия «класса-нации» для третьего мира является шагом в этом направлении. Крестьяне в слаборазвитых странах вряд ли испытывают прямое воздействие фрагментарности как последствия капиталистического разделения труда. Но они не имеют возможности влиять на свое историческое положение, поскольку оно определяется силами, далекими от них и в социальном и в географическом смысле. (То же самое, но, конечно, в несколько ином масштабе происходит с большей частью рабочего класса и интеллигенции развитых индустриальных общества.)

Для дальнейшего развития марксистской социологии необходим новый взгляд на проблему труда. Я имею в виду не только широчайшую дискуссию по поводу свободного времени (которую довольно часто ведут отдельно от вопросов труда). Я подразумеваю ту возможность, что развитие производительных сил в индустриальном обществе изменит характер и природу труда, в меньшей степени с точки зрения реального или приписываемого ему значения, в большей — с точки зрения изменения в прямом смысле его внутренней структуры. Маркс, по всей видимости, основывал свою антропологию на образе Homo faber; остается спросить, каких изменений в этом образе потребует от нас компьютер, а каких — возможность широкомасштабного социального контроля, заложенная в бюрократической организации общества. В какой-то степени эти проблемы возвращают нас к проблеме власти.

Может показаться, что из этого следует необходимость для марксистской антропологии снова поднять вопрос о власти. Макс Вебер однажды заметил, что, психоанализ может оказаться незаменимым инструментом в изучении отношений между субъектом и объектом власти. Некоторые марксисты, связанные с Франкфуртским институтом социальных исследований, работали над этими проблемами, но сегодня необходимо их новое изучение. В частности, нам придется задаться таким вопросом: в какой степени человек способен преодолевать универсальность структур власти, внутренне освобождать себя от воздействия власти и принимать аутентичные, но пока еще не реализованные условия равенства. В качестве альтернативы мы можем рассмотреть возможности разрабатываемой сегодня в основном молодыми учеными идеи, получившей в американской литературе название «демократии участия». Рассмотрев все вышеназванные проблемы, мы приходим к парадоксальному методологическому выводу: даже в отношении такой абстрактной области, как антропология, марксистская система должна искать ответы в практике. Теперь я перехожу к последней части данного очерка, в которой рассмотрю вопросы метода.

Методологические проблемы

Различия между методом и субстанцией в марксистском понимании установить трудно. В противоположность позитивистским доктринам марксизм в его классической форме предполагал, что исторический мир может быть понят таким, каков он есть, иными словами, наше теоретическое понимание его есть не простое согласие наблюдателей по поводу единого взгляда на предмет наблюдения и протоколов, содержащих данные о наблюдениях, а теоретическая конструкция, дающая представление о развитии самой истории. Многие из нерешенных сложных проблем марксизма проистекают из отрицания им абсолютного разделения между субъектом и объектом в процессе исторического познания: познающий погружен в субстанцию, которую он стремится объяснить.

Нынешнее расширение границ социологии как академической дисциплины и одной из разновидностей административных служб сопровождалось значительным увеличением количества исследований, которые принято называть эмпирическими. Ясно, что на повестку дня ставится вопрос об отношении марксизма к такого рода исследованиям. Предварительно следует сделать ряд важных замечаний.

1. Нет ничего принципиально или фактически нового в сборе социологических данных количественного характера, хотя, несомненно, развитие и совершенствование статистического метода увеличили точность результатов, получаемых с помощью некоторых из рассматриваемых вариантов техники опроса. Исследования количественного, статистического характера впервые появились еще в XVIII веке, а в XIX Маркс сам составлял опросник.
2. Нет ни эпистемологических, ни практических оснований для особого выделения исследований, основанных на интервью и прямом наблюдении, по сравнению с другими формами сбора и использования данных. В частности, исторические исследования столь же эмпиричны, как и все остальные. Настойчивое требование некоторых социологов ограничить использование термина «эмпирические» его применением только в отношении количественных исследований современного населения легко понять, но трудно оправдать.
3. Исследования современного населения, как, в частности, показал Миллс, обычно проводятся со значительной степенью абстрагированности от общего или даже частичного исторического контекста. Эта абстрагированность, или изолированность, заключает в себе возможность систематического искажения в интерпретации данных.

Теперь, когда сделаны эти замечания, остаются нерешенными еще несколько проблем. Какова бы ни была ограниченность их применения, типичные для современных социологических исследований разработки могут стать важными источниками получения знания. Социологи-марксисты долго занимались самоуспокоением, критикуя такие исследования в связи с возможностью деформации их результатов, и только недавно пришли к заключению о необходимости разработать новые способы интерпретации. Эти новые способы могут заключаться или в применении иного контекстуального анализа для интерпретации данных, или в пересмотре формулировки категорий, в соответствии с которыми оформляются данные. В этой точке проблемы метода сливаются с проблемами субстанции: интерпретация и переоформление данных требуют их осмысления с точки зрения субстанции. В любом случае намечается более серьезный и систематизированный подход к этим проблемам; возможно, наши коллеги из стран государственного социализма внесут свой вклад в повышение уровня наших общих знаний. Правда, трудно поверить, что исследования, проводимые в интересах административного клиента и служащие его определенным целям, будут в обществах государственного социализма более критичны в отношении этого клиента, чем во всех остальных.

Областью марксистской социологии, в которой метод и субстанция неразделимы, являются представления о базисе и надстройке, а также всеобщий детерминизм. В определенном смысле решение вопросов в этой области может носить лишь сугубо теоретический характер: в зависимости от концепции, на основе которой анализируется реальность, складываются и наши взгляды на структуру этой реальности. Но догматическая настойчивость в стремлении рассматривать природу этих вопросов как чисто теоретическую даже в условиях, когда содержание теоретической дискуссии позволяет по-новому взглянуть на имеющиеся между ними связи, будет фактически означать отрицание способности марксизма описать реальное развитие общества и, таким образом, приведет к ассимиляции марксизма конвенциональной эпистемологией. Новая, или, точнее, ревизованная, точка зрения на рассматриваемые отношения была найдена Альтюссером, но мне трудно по достоинству оценить его вклад. Он допускает значительную вариантность во взаимоотношениях между базисом и надстройкой, отрицает неизбежный механический и универсальный характер причинных связей, но все его выводы носят слишком общий характер. Его работа представляет собой академизацию

марксизма, энергичный, временами вдохновенный разбор концепций, но редко выходящий за рамки концептуального уровня — в отличие от того, как сам Маркс изучал исторические структуры. В свете сказанного настойчивые утверждения Альтюссера о важном значении «эпистемологического разделения» (coupure epistemologique) у Маркса кажутся особенно курьезными. Если Маркс от философии перешел к эмпирическому изучению общества, то толкование этого развития Альтюссером остается чисто философским и весьма далеким от каких бы то ни было соображений, связанных с эмпирическим изучением общества. Если ревизии марксизма, подобные альтюссеровской, и способны стать плодотворными, то лишь в том случае, если они будут дополнены систематическим изучением содержания обобщенного исторического опыта.

Нужно сказать несколько слов по поводу дискуссии о значении структурализма. Делаю это без особой охоты. Этот предмет уже разбирался до изнеможения подробно другими авторами; существует уже несколько конкурирующих между собой и запутанных версий структурализма; заявления авторов этой доктрины (или метода) кажутся значительно преувеличивающими их конкретные достижения. Стоит лишь очень кратко остановиться на работах Леви-Стросса, идеи которого, по его собственным словам, созвучны некоторым аспектам марксизма. Достаточно легко перечислить противоречия между его теорией общества и марксизмом. С точки зрения метода экстраполяция конкретных исторических связей на гипотетическую систему кодов уничтожает историческую специфику социальных структур. Будучи «декодированными», отношения обмена и производственные отношения метафорически истолковываются как коммуникации, короче говоря, история редуцируется к одному или нескольким сигналам. Неизменными остаются как все элементы, так и фундаментальный исторический процесс; мир структурализма — это мир бесконечного многообразия на поверхности и чудовищного однообразия в глубине. Более того, это мир, в котором историческая транс-ценденция невозможна, в котором люди конструируют свои общества из ограниченного набора элементов с ограниченным количеством возможных вариантов соединения. Таким образом, детерминизм, которого придерживается структурализм, качественно отличается от марксистского: первый — неподвижен, второй — способен к трансформации. С точки зрения философии марксизм и структурализм примирить невозможно.

Негативный гуманизм структурализма, стремящегося вытеснить из истории человека и заменить его системами знаков и символов, разрушителен именно тогда, когда мы рассматриваем структурализм не как один из методов, а как привилегированный метод, имеющий всеобщее значение. Если же мы используем структурализм как один из методов анализа коммуникаций, невозможно отрицать его огромную пользу для марксизма. Накал страстей в нынешней дискуссии в значительной мере связан именно с неясностью этих положений. Способность структурализма в формах, разработанных Леви-Строссом, раскрывать скрытое соответствие между символическими системами и другими компонентами общества, обнаруживать взаимопроникновение символических и других видов поведения, короче говоря аналитическая идея всеобщего, делает работу Леви-Стросса весьма важной. Но не менее важно и понимать ее ограниченность: она особенно остро проявляется в связи с проблемой практики.

Первоначальная марксистская идея практики, имеющая глубокие корни в западной философской традиции, находится под угрозой дегенерации и превращения в такой же затертый лозунг, каким стал термин «эмпирический» в буржуазной социологии. Практика — понятие, имеющее несколько значений, которые следует рассмотреть. Прежде всего, эта идея подразумевает, что совершенно отстраненная или объективная наука об обществе невозможна. Истина для человека состоит не из простого набора представлений об окружающей действительности; поскольку человек — политическое (и моральное) животное, для него истина об обществе заключается в его реальном положении, в способе организации, соответствующем человеческим потенциям. Это не значит, что всякая наука об обществе должна быть «ангажированной» в прямом смысле; такого рода представления внесли значительный вклад в учение о «партийности» (верности партийному духу), вульгаризирующее марксизм, низводящее его до положения пропагандистского инструмента, придатка рабочего движения или, точнее, тех, кто выступает от имени этого движения. Идея практики тем не менее требует того, чтобы моральные и политические стороны представлений об организации общества и его развитии подвергались исследованию и чтобы при изучении возможных последствий и путем развития данной исторической ситуации учитывался фактор человеческой деятельности.

Другими словами, научная практика является формой человеческой деятельности, которая оказывает влияние и все больше формирует будущее. Это подводит нас ко второму значению практики — ее директивному содержанию. Марксистская антропология — при всех своих дефектах и провалах — утверждает, что историчность человека предусматривает не в последнюю очередь его способность творить и преобразовывать свою историю. Таким образом, социология и общественная наука в качестве практики должны предвидеть и предвосхищать будущее. Наконец,

понятие практики содержит в себе программное намерение (по-моему, утопическое): избавиться от разделения труда через деятельность, достичь реализации человеческой родовой сущности. Это значение и понимание практики вместе со всеми остальными представляет собой серьезную и пока непреодолимую трудность для марксистской социологии. Пока ясно, что даже в самих социологических исследованиях используется разделение труда и все достижения современной науки, включая и науку об обществе, были бы невозможны без разделения труда.

Понятие практики ставит в затруднительное положение не только социологов-марксистов, но и их буржуазных коллег. Действительные взаимоотношения между представлениями об окружающей действительности и философской концепцией человечества еще только предстоит выяснить. В равной мере и марксистская критика «объективистских» претензий «позитивной», или «эмпирической», социологии не позволяет разрешить проблемы интеграции эмпирических, или позитивных, элементов марксистской социологии и других аспектов марксизма. Точно так же понимание направленности исторического процесса ничего не дает для облегчения решения проблемы исторической экстраполяции. Наконец, взгляд на марксистскую социологию как на одну из сторон практики не дает гарантий ее использования в интересах ложной практики. У меня нет ответа на все эти многочисленные сложные вопросы, но есть наметка пути развития, который может оказаться весьма многообещающим.

Выше уже были отмечены относительная автономность марксистской социологической мысли, ее относительная отстраненность от сиюминутной политической конъюнктуры. Бывают, конечно, случаи, когда общественная наука, особенно социология, непосредственно подчиняется достижению политической цели — обычно в качестве придатка в механизме власти, а не способа облегчения процесса освобождения. В целом, по-моему, будет правильно понимать социологию как часть более широкой научной практики, как усилие, часто подсознательное, порожденное крайней степенью разделения труда в интеллектуальной деятельности, предпринятое в целях управления историческим процессом. Тогда предварительной методологической задачей марксистской социологии становится выявление сложностей и противоречий в ее собственной версии этой широкой практики. Это может заставить нас критически взглянуть на историческую ситуацию в целом, но не путем подгонки истории под заранее заготовленную схему, а через исследование сложных проблем постижения истории. Марксистская или любая другая социология способна обрести реальный взгляд на историю с помощью не полной отстраненности, а критического осмысления своего собственного места в истории. Это требует в необозримом будущем сохранения и принятия тех аспектов разделения труда, которые обеспечивают существование современной науки. Но одновременно требует и систематических размышлений о возможных способах преодоления этого разделения. Иными словами, необходимо сознательно принять положение социологии, признающей, что она не является вершиной духовного совершенства человека, а всего лишь далеко не последним шагом на пути к совершенству.

Таким образом, кризис марксистской социологии в ее методологических аспектах проистекает из общего кризиса общественных наук. Первоначально предназначенные для постижения человеческой истории с целью осуществления исторической роли человечества, общественные науки, и в особенности социология, раскололись на два направления. В одном случае отказываются от намерения понять историю в пользу полной капитуляции перед научным разделением труда: абстрактно признаваемая историчность человечества отрицается в научной практике. Последняя занята фрагментарным описанием фрагментарной действительности. Во втором случае общественные науки превратились в еще один инструмент власти, а не в средство освобождения. Не в последнюю очередь благодаря тем, кто считает себя продолжателями марксистской традиции, первоначальная, исходная гуманистическая направленность социологии была включена в современную социологическую практику; немало иронии в том факте, что социологи-марксисты часто оказываются так же неспособны реализовать эту направленность, как и все остальные.

Похоже, что нет легкого способа распутать клубок противоречий, дилемм и трудностей, которые я назвал в качестве составляющих кризиса марксистской социологии. Первоначально задуманная как целостное описание человеческой истории, марксистская теория именно своей плодотворностью способствовала тому, что мы осознали ее ограниченность. Теперь мы рассматриваем индустриальное общество в его капиталистической форме как один из нескольких вариантов развития. Другими словами, оказалось возможным понять историю не как имеющую единую структуру, а как последовательность структур. Представление о том, что смысл может быть, если нужно, найден в истории с помощью изобретательности и новаций, марксизм передает в наследство социологии, и обойтись без него можно только в том случае, если принять псевдорациональность социологии, столь крепко привязанной к настоящему, что она игнорирует и прошлое и будущее. Возможно, что социологи, особенно сильно

чувствующие себя в долгу перед марксистской традицией, вынуждены будут трансформировать ее и выйти за ее границы. Если это так, то кризис в марксистской социологии может означать начало конца марксизма. Тем же марксистам, которых пугает такое развитие событий, следует перечитать классические тексты: революция в практике, которая не может начать с пересмотра своих собственных теоретических положений, на самом деле вовсе не является революцией.

Г. Маркузе. Одномерный человек[1]

[1] Публикуемый "текст представляет собой предисловие, часть первой главы и заключение кн. Mareuse H. Der eindimensionale Mensch. Berlin. 1967. P. 11—38, 258—268. Перевод А. Букова.

Паралич критики: общество без оппозиции

Не служит ли угроза атомной катастрофы, которая может уничтожить человеческий род, в той же мере защите именно тех сил, которые увековечивают опасность катастрофы? Стремление предотвратить ее отодвигает на второй план поиск в современном индустриальном обществе возможных причин катастрофы. Эти причины не выявляются, не раскрываются и не критикуются общественностью, поскольку сводятся лишь к очевидной угрозе извне — для Запада с Востока, для Востока — с Запада. Столь же очевидна необходимость быть готовыми двигаться по краю пропасти, глядя этой угрозе в глаза. Мы подчиняемся производству средств деструкции, доведенному до совершенства расточительству и тому обстоятельству, что мы созданы для защиты того, что в одинаковой степени уродует как самих защитников, так и то, что они защищают.

Если мы попытаемся связать причины опасности с тем, как организовано общество и его члены, то сразу окажемся перед фактом, что развитое индустриальное общество становится богаче, больше и лучше благодаря увековечению этой опасности. Защитная структура облегчает жизнь все большему количеству людей и расширяет власть человека над природой. В этих условиях нашим средствам массовой информации нетрудно выдать частные интересы за интересы всех людей. Политические потребности общества становятся индустриальными потребностями и желаниями, их удовлетворение способствует выгоде и общему благополучию, а все в целом выступает как чистое воплощение разума.

И все-таки в целом это общество иррационально. Его производительность разрушает свободное развитие человеческих потребностей и способностей, его покой достигнут благодаря постоянной военной угрозе, его рост зависит от подавления реальных возможностей борьбы за существование — индивидуально, национально, интернационально. Это угнетение, крайне отличное от того, которое было характерно для предыдущих, менее развитых ступеней нашего общества, связано сегодня не с естественной или технической незрелостью, а с позицией силы. Возможности (духовные и материальные) современного общества стали неизмеримо больше, чем были прежде, а это означает, что и размах общественного господства над индивидом также неизмеримо возрос. Для нашего общества характерно то, что оно побеждает центробежные силы больше техническими путями, чем террором, на двойном основании гигантской производительности и возросшего уровня жизни.

В задачи критической теории современного общества входит исследование корней этого развития и его исторических альтернатив — теории, которая анализирует общество в свете использованных и неиспользованных возможностей улучшения положения его членов. Но каковы масштабы такой критики?

Безусловно, здесь играют роль ценностные суждения. Сложившийся способ организации общества сравнивается с другими возможными способами, о которых предполагается, что они дают лучшие шансы для облегчения человеческой борьбы за существование; определенная историческая практика сравнивается с ее собственными историческими альтернативами. С самого начала каждая критическая теория общества оказывается перед проблемой исторической объективности, проблемой, которая возникает в обоих случаях, включающих анализ ценностных суждений:

1) суждений, что человеческая жизнь стоит того, чтобы жить, или, скорее, может или должна стать таковой (это суждение лежит в основе всех духовных устремлений; это есть априори теории общества, и его отклонение от этой теории, которое является вполне логичным, отвергает ее самое);

2) суждений, что в данном обществе существуют специфические возможности для улучшения человеческого существования, а также специфические средства и пути

реализации этих возможностей.

Критический анализ должен доказать объективную значимость этих суждений, и доказательство это должно быть осуществлено на эмпирической основе. Данное общество имеет в своем распоряжении определенное количество и качество духовных и материальных ресурсов. Как можно использовать эти ресурсы для оптимального развития и удовлетворения индивидуальных способностей и потребностей при минимуме тяжелого труда и бедности?

Теория общества — это историческая теория, а история есть царство необходимости. Поэтому нужно определить: какие из возможных и реальных способов организации и использовании имеющихся в наличии ресурсов дают наилучшие шансы для оптимального развития?

Попытка ответить на эти вопросы требует прежде всего ряда абстракций. Чтобы указать и определить возможности оптимального развития, критическая теория должна абстрагироваться от фактической организации и применения социальных ресурсов, а также от результатов этой организации и применения. Такая абстракция, которая отказывается от принятия данного универсума фактов как окончательной взаимосвязи, в которой нечто обретает принудительную силу, такой «трансцендирующий»[2] анализ фактов в свете их нереализованных возможностей и составляют существенную часть структуры теории общества. Он противоположен всякой метафизике в силу строгого исторического характера трансценденции. Возможности должны присутствовать в рамках соответствующего общества; они должны определяться целями практики. Соответственно абстракция существующих институтов должна выражать фактическую тенденцию, т.е. их изменение должно быть реальной потребностью населения. Теория общества имеет дело с историческими альтернативами, которые заключены в обществе как субверзивные тенденции и силы. Теоретические понятия теряют свою силу в процессе общественных изменений.

[2] Термины «трансцендировать» и «трансценденция» используются исключительно в эмпирическом, критическом смысле: они обозначают тенденции в теории и практике, которые выходят за рамки устоявшегося универсума языка и действия в направлении его исторических альтернатив (реальных возможностей).

Но здесь развитое индустриальное общество ставит критику перед таким положением дел, которое грозит уничтожить ее основу. Расширенный до целой системы господства и унификации, технический прогресс порождает формы жизни (и власти), которые усмиряют силы, борющиеся с системой, подавляют всякий протест якобы во имя исторической надежды на освобождение от тяжелого труда и принуждения. Современное общество, кажется, в состоянии пресечь социальные изменения, которые привели бы к возникновению других институтов, дали бы новое направление производственному процессу, новому способу человеческого бытия. Пресечение таких изменений является, может быть, выдающимся достижением развитого индустриального общества: всеобщее принятие «национальных задач», двухпартийная система, упадок плюрализма, предательское соглашательство капитала и организованной части трудящихся в сильном государстве свидетельствуют об интеграции противоречий, которые являются как результатом, так и предварительным условием этого результата.

Краткое сравнение стадий возникновения теории индустриального общества и ее современного состояния может показать, как изменилась основа критики. Возникнув в первой половине XIX столетия и разработав первые понятия альтернатив, критическая теория индустриального общества использовала конкретизацию в качестве звена между теорией и практикой, ценностями и фактами, потребностями и целями. Эта историческая связь отразилась в сознании и политических действиях обоих больших классов, противостоящих друг другу в обществе,— буржуазии и пролетариата. В капиталистическом мире они все еще являются основными классами. Однако капиталистическое развитие до такой степени изменило структуру и функции этих классов, что они, похоже, больше не являются носителями исторических преобразований. Ни с чем не считающаяся потребность в сохранении и улучшении институционального status quo объединяет бывших антагонистов в наиболее развитых сферах современного общества. И в той же мере, в какой технический прогресс гарантирует рост и сплоченность коммунистического общества, идея качественных изменений явно уступает реалистическим понятиям «невзрывной эволюции». Так как отсутствуют явные носители и движущие силы общественных изменений, критика перемещается на высокий уровень абстракции. Нет почвы, на которой сошлись бы теория и практика, мышление и действие. Даже эмпирический анализ исторических альтернатив выступает не как реалистическая спекуляция, а ратование за него — как дело личного (или специфически группового) произвола.

И все же опровергают ли теорию эти изъяны связующего звена? Ввиду противоречивости фактов в дальнейшем критический анализ основывается на том, что

потребность в качественном изменении необходима, как никогда ранее. Кто его требует? Ответ тот же: все общество для каждого своего члена. Соединение растущей производительности с растущим разрушением, азартная игра с уничтожением, ситуация, когда мышление, надежды и страхи отданы на откуп произволу властей, сохранение бедности перед лицом беспрецедентного изобилия содержит в себе беспристрастное обвинение, даже если все это не является raison d'etre этого общества, а только его побочным продуктом,— все это способствует всепроникающей рациональности, которая порождает рост производительности, оставаясь при этом иррациональной.

Тот факт, что огромное большинство населения принимает и побуждается к принятию этого общества, делает его не менее иррациональным и предосудительным. Различие между истинным и ложным сознанием, действительным и непосредственным интересом все еще имеет смысл. Но само это различие должно быть подтверждено. Люди должны достичь понимания этого различия, должны обрести вместо ложного сознания истинное, вместо непосредственного интереса — настоящий. Они смогут сделать это, только почувствовав потребность изменить свой образ жизни, отказаться от того, что имеют от общества. Только эта потребность может сдерживать данное общество по мере того, как оно производит товары в увеличивающихся масштабах и использует научное покорение природы для научного покорения человека. При тотальном характере достижений развитого индустриального общества недостает рационального основания для трансцендирования этого общества. Этот вакуум опустошает саму теоретическую структуру, так как категории критической теории общества развивались в период, когда потребность в сопротивлении и отказе воплотилась в деятельности соответствующих социальных сил. Эти категории были, по существу, отрицательными понятиями, которые обозначали реальные противоречия европейского общества XIX столетия. Сама категория «общество» выражала острый конфликт между социальной и политической сферами (общество как антагонистическое по отношению к государству). Соответственно такие понятия, как «индивид», «класс», «частный», «семья», обозначали области и силы, которые еще не были интегрированы в данных отношениях— отношениях напряженности и противоречия. С возрастающей интеграцией в индустриальном обществе эти категории потеряли свое критическое содержание и стали, скорее, описательными, приблизительными или операциональными терминами.

Попытка вновь придать критическую интенцию этим категориям и понять, как эта интенция была обесценена общественной деятельностью, выступает с самого начала как возврат от связанной с исторической практикой теории в абстрактное, спекулятивное мышление: от критики политической экономии к философии. Этот идеологический характер критики вытекает из того факта, что анализ вынужден исходить из позиции «вне» как позитивных, так и негативных, как продуктивных, так и деструктивных тенденций в обществе. Современное индустриальное общество тождественно этим противоречиям — речь идет о целом. В то же время позиция теории не может быть простой спекуляцией. Она должна быть в этом отношении исторической позицией, если она основана на возможностях данного общества.

Эта двусмысленная ситуация включает в себя еще одну — основополагающую — двусмысленность. Одномерный человек всегда будет колебаться между двумя противоречащими друг другу гипотезами:

1) что развитое индустриальное общество в состоянии пресечь качественные изменения в будущем;

2, что существуют силы и тенденции, которые могут нарушить эти ограничения и взорвать общество.

Я не уверен, что в данной ситуации может быть дан ясный ответ. Обе тенденции существуют рядом и даже одна в другой. Господствует первая тенденция, и все имеющиеся предпосылки переворота используются для того, чтобы его предотвратить. Может быть, положение в состоянии изменить какое-либо потрясение, но до тех пор, пока признание того, что делать и что устранять, не произведет переворота в сознании и поведении людей, еще не раз изменение будет влечь за собой катастрофу.

В центре анализа находится развитое индустриальное общество, в котором технологический аппарат производства и распределения (при возрастающем автоматизированном секторе) не функционирует как сумма простых инструментов, которые можно изолировать от их общественных и политических последствий, а скорее определяется как система, в которой и продукт технологического аппарата, и операции действуют в направлении ее обслуживания и расширения. В этом обществе производственный аппарат развивается таким образом, чтобы не становиться более тоталитарным по мере того, как он определяет не только общественно необходимые деятельность, навыки и поведение, но и индивидуальные потребности и желания. Так, он выравнивает противоречие между частным и общественным существованием, между индивидуальными и общественными

потребностями. Техника служит для того, чтобы ввести новые, эффективные и удобные формы социального контроля и социальной сплоченности. Тоталитарная тенденция такого контроля может развиваться еще и в другом аспекте — распространяясь на менее развитые, даже доиндустриальные районы мира и порождая сходные черты в развитии капитализма и коммунизма.

Ввиду тоталитарных черт этого общества традиционное понятие нейтральности техники не может больше приниматься за истину.

Техника как таковая не может быть заменена перед употреблением той, которая изготовлена ею; технологическое общество является системой господства, которая уже действует при выборе и создании техники.

Способ, которым общество организует жизнь своих членов, включает в себя первоначальный выбор между историческими альтернативами, определяющимися достигнутым уровнем материальной и духовной культуры. Сам выбор вытекает из игры господствующих интересов. Он содержит особые способы воздействия на человека и природу с целью сделать их полезными и отвергает другие. Он является лишь одним из «проектов»[3]. Но если проект однажды стал действующим в основных институтах и отношениях, то он имеет тенденцию к тому, чтобы стать замкнутым и определять развитие общества как целого. Как технологический универсум развитое общество является политическим универсумом (позднейшая степень воплощения специфического исторического проекта), т.е. опытом, преобразованием и организацией природы в виде простого материала господства.

[3] Термин «проект» подчеркивает элемент свободы и ответственности в исторической детерминации: он связывает автономию и контингент. В этом смысле он употребляется в произведениях Ж.-П. Сартра.

Развиваясь, проект формирует общий универсум языка и действия, духовной и материальной культуры. В сфере техники культура, политика и хозяйство объединяются в наисовременнейшую систему, которая включает в себя или отбрасывает все альтернативы. Производительность и потенциал роста этой системы стабилизируют общество и превращают технический прогресс в средство господства.

Технологическая рациональность становится политической. <;...>

В центре моего анализа находятся тенденции в высокоразвитых современных обществах. Имеется широкая область внутри и вне этих обществ, где описанные тенденции не господствуют — я бы сказал: еще не господствуют. Я лишь наметил эти тенденции и выдвигаю некоторые гипотезы, ничего более.

Одномерное общество Новые формы контроля

Комфортабельная, свободная от ограничений, разумная, демократическая зависимость господствует в развитой индустриальной цивилизации—символе технического прогресса. Что могло бы быть на деле рациональнее, чем подавление индивидуальности при механизации общественно необходимых, но требующих для своего осуществления больших затрат мероприятий; чем концентрация индивидуальных усилий в более действенные и продуктивные их объединения; чем регулирование свободной конкуренции между различными хорошо развитыми экономическими субъектами; чем уменьшение прерогатив и национальных суверенных прав, которые мешают международной организации использования ресурсов? То, что этот технический порядок принес с собой политическую и духовную унификацию, является печальным и все же многообещающим достижением.

Права и свободы, которые были на ранних ступенях индустриального общества жизненно важными факторами, утратили свое значение на более высокой ступени; при этом они потеряли свой традиционный разумный базис и содержание.

Свобода мысли, выступлений и совести были — подобно свободному хозяйству, чьей поддержкой и защитой они являлись,— по существу, критическими идеями, призванными заменить устаревшую материальную и духовную культуру более продуктивной и рациональной. Однажды институционализированные, эти права и свободы разделили судьбу общества, чьей интегрирующей составной частью они были. Успех ликвидирует свои предпосылки.

В той мере, в какой свобода бедности, конкретная субстанция любой свободы, становится реальной возможностью, свободы, которые принадлежали низшей ступени производительности, теряют свое былое содержание. Независимость мышления, автономия, право на политическую оппозицию в настоящее время лишены своей основной критической функции в обществе, которое, кажется, все более может удовлетворить потребности индивидов при помощи способа, которым оно организовано. Такое общество вправе требовать, чтобы его принципы и институты были восприняты, и может ограничивать оппозицию в дискуссии требованием альтернативной политической практики внутри status quo. В этом случае недостаточно выяснить, достигается ли

растущее удовлетворение потребностей посредством авторитарной или неавторитарной системы. В условиях растущего уровня жизни несогласие с системой как таковой является общественно бессмысленным, тем более когда оно влечет за собой ощутимые хозяйственные и политические убытки и угрожает спокойному развитию целого. По меньшей мере в общих чертах речь здесь идет о жизненных потребностях, и, кажется, нет никаких причин для того, чтобы производство и распределение товаров и услуг принимало форму соревнования между индивидуальными свободами.

С самого начала свобода предпринимательства была отнюдь не благом. В качестве свободы работать или умирать с голоду она означала для подавляющего большинства населения мучения, незащищенность и страх. Если бы индивид не был больше вынужден выступать на рынке свободным экономическим субъектом, то исчезновение этого вида свободы было бы одним из величайших достижений цивилизации. Процесс механизации и стандартизации мог бы высвободить индивидуальную энергию для еще неизведанного царства свободы по ту сторону царства необходимости. Внутренняя структура человеческого бытия была бы изменена; индивид был бы освобожден от чужих потребностей и возможностей, которые навязывает ему мир труда. Индивид был бы свободен стать независимым от жизни, которая сделалась бы его собственной. Если бы производственный аппарат был организован и направлен на удовлетворение жизненных потребностей, то он мог бы быть чрезвычайно централизованным; такого рода контроль не мешал бы индивидуальной автономии, а содействовал ей.

Такое положение является целью в рамках того, на что способна развитая индустриальная цивилизация, «целью» технологической рациональности. Однако фактически действует противоположная тенденция: аппарат предъявляет к рабочему и свободному времени, к материальной и духовной культуре как экономические, так и политические требования своей защиты и экспансии. Вследствие способа, каким оно организовало свой технологический базис, современное индустриальное общество движется к тоталитарности. Ибо тоталитарность является не только террористической политической унификацией, но и террористической технико-экономической унификацией, которая действует, манипулируя потребностями при помощи насущных интересов. Так оно предотвращает возникновение действенной оппозиции целому. Тоталитаризму способствуют не только особая форма правления или партийное господство, но и особая система производства и распределения, которая вполне уживается с «плюрализмом» партий, газет, «управляющих сил» и т.п.

Политическая власть сегодня устанавливается при помощи власти над механизированным процессом и технической организацией производства. Правительства развитых и развивающихся индустриальных обществ могут держаться у власти и защищать ее только тогда, когда им удается организовать, мобилизовать и эксплуатировать предоставленную в распоряжение индустриальной цивилизации техническую, научную и механическую производительность. И эта производительность заставляет общество возвыситься над всеми частными или групповыми интересами. Жестокий факт, что физическая (только физическая?) сила машины превосходят силу индивида или любой группы индивидов, делает машину в любом обществе, чья организация основана на организации машинного процесса, действеннейшим политическим инструментом. Но политическая тенденция может повернуть вспять: по существу, сила машины является только накопленной и спроецированной силой человека. В той мере, в какой мир труда начинает рассматриваться как одна машина и соответственно этому механизируется, он становится потенциальной основой новой свободы людей.

Современная индустриальная цивилизация доказывает, что она достигла ступени, на которой «свободное общество» не может более определяться в традиционных понятиях экономических, политических и духовных свобод; не потому, что эти свободы перестали быть значимыми, а потому, что они должны оставаться значимыми, даже будучи ограниченными в традиционных формах. Новым возможностям общества должны соответствовать новые способы их осуществления.

Такие новые способы можно обрисовать только в негативных понятиях, так как они сводятся к отрицанию господствующих. Так, экономическая свобода означала бы свободу от экономики — от контроля экономических сил и отношений, от ежедневной борьбы за существование, от того, что нужно зарабатывать себе на пропитание. Политическая свобода означала бы освобождение индивидов от политики, над которой они не осуществляют действенного контроля. Соответственно духовная свобода означала бы обновление сознания, которое сейчас сформировано средствами массовой информации и воспитанием, ликвидацию «общественного мнения» вместе с его создателями. Нереалистичное звучание этих утверждений указывает не на их утопичный характер, а на мощь сил, которые стоят на пути их воплощения в жизнь. Самая действенная форма борьбы против освобождения заключается в формировании таких материальных и духовных потребностей людей, которые увековечивают устаревшие формы

борьбы за существование.

Интенсивность, удовлетворение и сам характер человеческих потребностей, которые превышают биологический уровень, постоянно определяются заранее. Будет ли возможность что-либо сделать, или разрешить чем-либо пользоваться, или овладеть, или что-либо разрушить, или запретить определена как потребность или нет, зависит от того, может ли она рассматриваться как желательная и необходимая для господствующих общественных институтов и интересов или нет. В этом смысле человеческие потребности историчны, и в той мере, в какой общество требует репрессивного развития индивида, его потребности и желания их удовлетворить уступают масштабам критики, которая не считается с этими потребностями.

Мы в состоянии различать истинные и ложные потребности. Ложными являются те, которые навязаны индивиду частными общественными силами, заинтересованными в его подавлении: это те потребности, которые увековечивают тяжелый труд, агрессивность, нищету и несправедливость. Их удовлетворение может быть для индивида чрезвычайно отрадным, но эта радость не должна поддерживаться и охраняться, если она служит препятствием развитию способности осознать болезнь целого и шансам вылечить эту болезнь. Результат удовлетворения таких потребностей является эйфорией в несчастье. Большинство из господствующих потребностей — отдыхать, развлекаться, вести себя и потреблять в соответствии с рекламой, ненавидеть и любить то, что ненавидят и любят другие,— принадлежат к этому набору ложных потребностей.

У таких потребностей есть общественное содержание и общественная функция, которые детерминируются внешними силами и не контролируются индивидом; развитие и удовлетворение этих потребностей гетерономны самому индивиду. Все равно, сколько таких потребностей стало потребностями самого индивида и сколько их репродуцируется и укрепляется условиями его существования; все равно, насколько он индентифицирует себя с ними и воспроизводит себя вновь при их удовлетворении,— они остаются тем, чем были с самого начала,— продуктами общества, чьи господствующие интересы требуют подавления индивида.

Преобладание репрессивных потребностей является свершившимся фактом, который покорно принимается в незнании и подавленности, но который должен быть устранен в интересах удовлетворенного индивида, а также всех тех, чья нищета является ценой его удовлетворения. Единственными потребностями, которые имеют неограниченное право на удовлетворение, являются витальные потребности — питание, одежда и жилье на доступном культурном уровне. Удовлетворение этих потребностей есть предварительное условие для удовлетворения всех потребностей: как несублимированных, так и сублимированных.

Для любого сознания и совести, для любого опыта, который во взглядах на правду и ложь воспринимает господствующий общественный интерес не как высший закон мышления и поведения, универсум обыденных потребностей и их удовлетворения является сомнительным фактом. Эти понятия целиком историчны, исторична и их объективность. Суждение о потребностях и их удовлетворении включает в себя при данных условиях оценки, которые относятся к оптимальному развитию индивида, всех индивидов при оптимальном использовании материальных и духовных ресурсов, которыми располагает человек. Эти ресурсы измеримы. «Истинность» и «ложность» потребностей обозначают объективные условия в той мере, в какой всеобщее удовлетворение жизненных потребностей и, кроме того, все большее преодоление тяжелого труда и бедности являются общепринятыми масштабами. Но в качестве исторических масштабов они меняются не только в сфере развития, они могут определяться при противопоставлении их господствующим масштабам. Какой суд может требовать для себя право решения этого вопроса?

В конце концов индивиды должны сами ответить на вопрос: что является истинными, а что — ложными потребностями, т. е. дать, поскольку и если они свободны, свой собственный ответ. Пока им мешают быть автономными, пока ими (вплоть до их побуждений) манипулируют, пока их обучают, ответ на этот вопрос не может рассматриваться как их собственный. Поэтому никакой суд не может законным образом присвоить себе право определять, какие потребности должны развиваться и удовлетворяться. Любое решение такого суда должно быть отвергнуто, несмотря на то что тем самым ликвидируется вопрос: как могут люди, которые становятся объектом все более действенного и результативного контроля, произвести «из самих себя» условия своей свободы.

Чем рациональнее, производительнее, техничнее и тотальнее становится управление обществом, тем невообразимее те средства, которыми управляемые индивиды могли бы сломать свое рабство и взять в свои руки собственное освобождение. Однако возникает парадоксальная и вызывающая недоумение мысль спроецировать разум на все общество, несмотря на то что его порядочность может оспариваться и что оно делает эту мысль посмешищем, в то время как своих собственных членов оно низводит до объектов тотального управления. Освобождение целиком зависит от осознания рабства, и процесс

этого осознания постоянно затрудняется господством потребностей и их удовлетворения, которые в большой степени стали потребностями и удовлетворением самого индивида. Процесс все время заменяет одну систему другой; оптимальная цель — это замена ложных потребностей истинными, отказ от репрессивного удовлетворения.

Характерной чертой развитого индустриального общества является то, что оно оставляет действующими и те потребности, которые требуют освобождения — освобождения и от того, что терпимо, выгодно и удобно; в то же время оно «щедро» поддерживает и оправдывает разрушительную силу и функцию подавления общества. При этом социальный контроль навязывает господствующую потребность в производстве и потреблении ненужных вещей; потребность в отупляющей работе, где она в действительности больше не нужна, потребность в разнообразных видах разрядки, которые смягчают и продлевают это отупление; потребность сохранять такие обманчивые свободы, как свободная конкуренция при фиксированных ценах, свободная пресса, которая сама для себя является цензурой, свободный выбор товаров и мелких принадлежностей к ним при принципиальном потребительском принуждении.

Под пятой репрессивного целого свобода способна превращаться в мощный инструмент господства. Пространство, в котором индивид может сделать свой выбор, не является решающим фактором для определения степени свободы такого выбора и того, что выбирается индивидом. Критерий свободного выбора никогда не может быть абсолютным, он полностью относителен. Свободные выборы господ не ликвидируют господ или рабов. Свободны выбор среди широкого разнообразия товаров и услуг не означает свободы, если эти товары и услуги поддерживают социальный контроль над жизнью, трудом и страхом, т. е. отчуждением. И спонтанное воспроизводство навязанных индивидам потребностей не создает автономии, оно только подтверждает действенность контроля.

Когда мы говорим о его глубине и действенности, мы наталкиваемся на возражение, что слишком переоцениваем штампующую силу средств массовой коммуникации и что люди полностью осознают и удовлетворяют потребности, которые им сейчас навязывают. Это возражение неуместно. Предформирование начинается не с массового производства теле- и радиоприемников, а с централизации контроля над ними. Люди вступают в эту стадию в качестве досконально изученных потребителей; решающее отличие состоит в изменении противоположности (или конфликта) между данным и возможным, между удовлетворенными и неудовлетворенными потребностями. Здесь так называемое выравнивание классовых различий проявляет свою идеологическую функцию. Когда рабочий и его шеф смотрят одну и ту же телепередачу и посещают одни и те же места отдыха, когда машинистку судят так же строго, как и дочь ее работодателя, когда негр имеет «кадиллак», когда они читают одну и ту же газету, то ассимиляция указывает не на исчезновение классов, а на масштабы, в которых порабощенное население участвует в удовлетворении потребностей, служащих сохранению существующего положения вещей.

Конечно, в наиболее развитых сферах современного общества превращение общественных потребностей в индивидуальные настолько эффективно, что различие между ними лишь чисто теоретическое. Можно ли, действительно, увидеть различие между средствами массовой информации как инструментом информации и развлечения и как средством манипуляции и обучения? Между автомобилем как чем-то обременительным и как удобной вещью? Между серостью и уютом функциональной архитектуры? Между трудом на национальную оборону и трудом на пользу концерна? Между личным удовольствием и коммерческой и политической выгодой повышения рождаемости?

Мы вновь оказываемся перед тревожнейшим аспектом развитой индустриальной цивилизации: рациональным характером ее иррациональности. Ее производительность и мощность, ее способность повышать комфорт, превращать расточительство в потребность, а разрушение в строительство; масштаб, в котором эта цивилизация превращает предметный мир в продолжение духа человеческого, делают сомнительным само понятие отчуждения. Люди узнают себя в своих товарах: в своем автомобиле, своем приемнике «Hi-Fi», своем кухонном комбайне. Механизм, привязывающий индивида к его обществу, изменился, и социальный контроль закрепился в новых потребностях, которые он сам породил.

Господствующие формы социального контроля являются технологическими в новом смысле. Правда, техническая структура и действенность производственного и деструктивного аппарата в течение всего Нового времени были главными средствами порабощения населения в рамках данного общественного разделения труда. Далее такая интеграция постоянно сопровождалась очевидными формами принуждения: лишение возможности поддерживать свою жизнь, судебные санкции, полиция, вооруженные силы. Но это лишь частности. На современном этапе технологический контроль выступает в качестве воплощения разума даже на пользу всем социальным группам и интересам в том смысле, что любое противоречие кажется иррациональным, а любое сопротивление — невозможным.

Следовательно, неудивительно, что социальный контроль в прогрессивнейших сферах этой цивилизации настолько интроецирован, что индивидуальный протест задыхается уже в зародыше. Духовное и эмоциональное сопротивление тому, чтобы «участвовать», кажется невротическим и бессильным. Это социально-психологический аспект политического явления, которым характеризуется современный период: исчезновения исторических сил, которые могли бы представлять на предшествующих ступенях развития индустриального общества возможность новых форм существования.

Вероятно, что термин «интроекция» больше не описывает тот способ, которым индивид порождает себя и увековечивает организованный его обществом внешний контроль. Интроекция представляет собой ряд относительно спонтанных процессов, посредством которых самость (Я) переносит «внешнее» во «внутреннее». Таким образом, интроекция предполагает существование внутреннего измерения, которое отличается от внешних и даже является им антагонистичным — индивидуальным, независимым от общественного мнения и общественного поведения[4]. Идея внутренней свободы обретает здесь свою реальность: она обозначает личностное пространство, где человек может стать и оставаться «самим собой».

[4] Изменение функций семьи играет здесь решающую роль; ее социализирующие функции все больше переходят к внешним группам и средствам массовой информации.

Сегодня это личностное пространство захвачено технологической реальностью. Массовое производство и распределение требуют всего индивида, и индустриальная психология давно уже не ограничивается фабрикой. Многообразные процессы интроекции уже отработаны до почти механических реакций... Результатом их является не приспособление, а мимезис: непосредственная идентификация индивида со своим обществом как целым.

Эта непосредственная, автоматическая идентификация, характерная для примитивных форм сообщества, по-новому выступает в высокоиндустриальной цивилизации; ее новая «непосредственность», правда, является продуктом организации научного управления предприятием. В этом процессе отсекается «внутреннее» измерение, в котором может победить оппозиция против основ status quo. Процесс утраты измерения, в котором сосредоточена сила негативного мышления — критическая сила разума, является идеологическим подобием материального процесса, когда развитое индустриальное общество заставляет оппозицию молчать и изменяет ее в приемлемом для себя направлении. Сила прогресса подчиняет разум реальным фактам и превращает его в инструмент порождения все больших и больших фактов, соответствующих данному образу жизни. Мощь системы делает индивида неспособным осознать то, что не существует фактов, которые не выражали бы репрессивной власти целого. Когда индивиды обретают себя в вещах, их окружающих, то не индивиды предписывают законы вещам, они сами начинают подчиняться законам, диктуемым этими вещами, законам не физическим, а социальным.

Я уже указал на то, что использование понятия отчуждения сомнительно, когда индивиды идентифицируют себя со своим существованием, обеспечивающим им развитие и удовлетворение. Эта идентификация не простая видимость, а действительность. Но эта действительность подготавливает и более высокую ступень отчуждения. Она является абсолютно объективной; отчужденный субъект соединяется со своим отчужденным существованием. Существует лишь одно измерение, оно распространено повсеместно и выступает в разных формах. Достижения прогресса, даже идеологические обвинения представляют как свое оправдание: перед их судом «ложное сознание» рациональности этих достижений становится истинным сознанием.

Такой результат развития идеологии не является, однако, ее концом. Наоборот, в определенном смысле развития индустриальная культура идеологичнее, чем ее предшественница, поскольку сегодня идеология внедряется в сам процесс производства. [5] Сформулированное в более резкой форме, это предложение обнаруживает политические аспекты господствующей техологической рациональности.

[5] A d o r n o T. Prismen, Kulturkritik und Gesellschaft. Frankfurt, 1955. S. 24 f. 134

Производственная сфера, товары и услуги, которые она производит, «предлагают» (или внедряют) социальную систему как целое. Средствам общественного транспорта и массовой коммуникации, предметам ширпотреба — жилью, питанию, одежде, достижениям индустрии развлечений и информации, перед которыми невозможно устоять, сопутствует целый арсенал предписываемых отношений и привычек, духовных и эмоциональных реакций, которые более или менее приемлемо связывают потребителей с производителями и таким образом с целым. Товары поглощают людей и манипулируют ими; они производят ложное сознание, которое невосприимчиво к

собственной лжи. Товары становятся доступными все большему числу членов общественных классов, и идущая с ними рука об руку индоктринация перестает быть рекламой, она становится стилем жизни, причем он намного лучше, чем был раньше, и поэтому она препятствует качественному изменению. Так возникает образец одномерного мышления и поведения, в котором идеи, стремления и цели, трансцендирующие согласно своему содержанию существующий универсум языка и действия, либо отбрасываются, либо редуцируются до понятий этого универсума. Они по-новому определяются рациональностью данной системы и ее количественными показателями.

Эту тенденцию можно сравнить с развитием научного метода: с операционализмом в естественных науках и бихевиоризмом — в социальных. Его основной чертой является всеобъемлющий эмпиризм в области разработки частных понятий; его смысл ограничивается исполнением частных операций и частично поведением. Операциональная точка зрения хорошо видна при анализе понятия «длина» П. Бриджмэном: «Мы четко сознаем, что понимаем под «длиной», когда хотим сказать, какой длины первый встречный объект, и физикам помимо этого ничего не нужно. Чтобы определить длину объекта, мы должны провести определенные физические операции. Понятие длины установлено, когда установлены операции, которыми она измеряется, т. е. понятие длины содержит лишь ряд операций, которыми определяется длина. Вообще мы подразумеваем под каким-либо понятием лишь ряд операций; понятие равнозначно соответствующему ряду операций»[6].

Бриджмэн в общих чертах рассмотрел далеко идущие последствия этого образа мышления для общества: «Принятие операциональной точки зрения включает в себя гораздо больше, чем простое ограничение смысла, в котором мы разумеем «понятие»; оно предполагает скорее далеко идущее изменение всех наших мыслительных привычек в том смысле, что мы впредь отказываемся использовать в качестве инструментов нашего мышления понятия, о которых не можем дать себе достаточного отчета, как об операциях»[7].

[6] B r i d g m a n P. Logic of Modern Physics. N. Y., 1928. P. 25.

С той поры операциональное учение было уточнено и изменено. Бриджмэн сам расширил понятие «операция» таким образом, что оно теперь включает и операции ученого с «бумагой и карандашом». Главным импульсом остается «желательность» того, чтобы операции с карандашом и бумагой осуществляли контакт — пусть даже непрямой — с инструментальными операциями.

[7] Ibid. P. 3.

Прогнозы Бриджмэна оправдались. Новый образ мышления является сегодня господствующей тенденцией в философии, психологии, социологии и других областях. Многие из самых «неудобных» для всех понятий отброшены при помощи доказательства невозможности дать о них отчет как об операции или поведении. Радикальный эмпирический подход предоставляет таким способом методологическое оправдание ограничения сферы духа интеллектуалами — позитивизм, отрицая трансцендирующие элементы разума, придает академическое подобие требуемому общественному поведению.

Более серьезным «далеко идущее изменение всех наших мыслительных привычек» представляется вне академической сферы. Оно служит уравниванию наших помыслов и целей с помыслами и целями, предписываемыми системой, и элиминации тех из них, которые ей не подходят. Власть такой одномерной реальности не означает, что господствует материализм и приходит конец духовной, метафизической и художественной сферам деятельности. Напротив, предлагается разное: и подобное «Всеобщему богослужению этой недели», и «Почему бы Вам не попробовать обратиться к богу?», и дзен, и экзистенциализм и т. п. Но такие формы протеста и трансценденции больше не противоречат status quo и не являются негативными. Они скорее суть тождественные части практического бихевиоризма, его безвредное отрицание, и быстро превращаются в здоровую часть status quo.

Одномерное мышление систематически поддерживается политиками и поставщиками массовой информации. Их языковой универсум полон гипотез, которые сами себя подтверждают и которые, непрестанно и монополистически повторяемые, становятся гипнотическими дефинициями и стереотипами. Например, «свобода» — это институт, функционирующий в странах свободного мира; другие трансцендируемые виды свободы — ex definitione — или анархизм, или коммунизм, или пропаганда. «Социалистическими» являются все виды вмешательства в частное предпринимательство, которые идут не со стороны свободного хозяйства (или через правительственные соглашения), а как всеобщее страхование на случай болезни, или охрана природы от слишком решительной коммерциализации, или создание общественных служб, контролирующих частный бизнес. Эта тоталитарная логика свершившихся фактов имеет своего восточного близнеца. Там есть свобода введенного коммунистическим режимом образа жизни, и все другие трансцендируемые виды свободы являются или капиталистическими, или ревизионистскими, или левосектантскими. В обоих лагерях неоперациональные помыслы не устраняются из поведения и не разрушаются. Движение мысли задерживается барьерами, которые

выступают в качестве границ своего разума.

Такое ограничение мышления, собственно, не является чем-то новым. Растущий современный рационализм как в своей спекулятивной, так и в эмпирической форме обнажает противоречие между экзистенциальным, критическим радикализмом в научном и философском методе, с одной стороны, и некритическим радикализмом в действиях против существующих функционирующих общественных институтов — с другой. Так, декартовское ego cogitans должно было оставить нетронутыми «большие общественные тела», а Гоббс высказывал мысль, что «настоящее постоянно должно предпочитаться, сохраняться и считаться самым лучшим». Кант был согласен с Локком в том, что революция оправдана лишь тогда, когда ей удается организовать целое и предотвратить упадок.

Таким представлениям, однако, постоянно противоречили явная нищета и несправедливость «больших общественных тел» и действенный, более или менее осознанный мятеж против них. Возникли общественные отношения, которые вызвали и допустили действительный отказ от такого положения; имелось как частное, так и политическое измерение, в котором этот отказ мог развиваться в активную оппозицию, сознающую свою силу и действительность своих целей.

При постоянном отсечении обществом этого измерения самоограничение мышления принимает все более обширный характер. Взаимосвязь между научно-философскими и общественными процессами, между теоретическим и практическим разумом осуществляется за спиной ученых и философов. Общество препятствует целому ряду видов оппозиционного поведения; при этом присущие им понятия становятся иллюзорными или бессмысленными. Историческая трансценденция выступает в качестве метафизической трансценденции, неприемлемой для науки и научного мышления. Практикуемая в основном как «мыслительная привычка», операционная и бихевиористская точка зрения становится точкой зрения данного универсума языка и действия, потребностей и стремлений. «Хитрость разума» работает в интересах существующей власти. Необходимость употребления рациональных и бихевиористских понятий направляется против усилий освободить мышление и поведение, для подавления альтернатив данной действительности. Теоретический и практический разум, академический и социальный бихевиоризм соединяются на общей основе — на основе развитого общества, которое превращает научный и технический прогресс в инструмент господства.

Прогресс — не нейтральное понятие, он движется к определенным целям, и эти цели обусловлены возможностями улучшить человеческое положение. Развитое индустриальное общество приближается к стадии, где дальнейший прогресс потребует радикального ниспровержения господствующего направления и организации соответствующего развития. Эта стадия достижима, если материальное производство (включая и необходимые услуги) будет автоматизировано до такой степени, что удовлетворялись бы все жизненные потребности, а необходимое рабочее время уменьшилось бы до ничтожной доли. С этого момента технический прогресс трансцендировал бы царство необходимости, в котором он служил инструментом господства и эксплуатации, что ограничивало его рациональность; техника была бы подчинена свободной игре способностей в борьбе за примирение природы и общества.

Такое положение рассматривается в марксовом понятии «перемена труда». Выражение «умиротворение бытия» кажется более подходящим для обозначения исторической альтернативы миру, который вследствие международного конфликта, трансформирующего и тормозящего развитие противоречий внутри данного общества,— развивается на грани войны, угрожающей человечеству. «Умиротворение бытия» означает, что борьба людей с людьми и природой развертывается в условиях, где соревнующиеся друг с другом потребности, желания и стремления больше не организуются описанными выше силами, заинтересованными в господстве и ограниченности — в организации, увековечивающей разрушительные формы этой борьбы.

Современная борьба против этой исторической альтернативы находит надежный массовый фундамент в угнетенном населении и свою идеологию в узкой ориентации мышления и поведения на данный универсум фактов. Усиленный достижениями науки и техники, оправданный своей растущей производительностью, status quo пренебрегает любой трансценденциеи. Противопоставленное возможности умиротворения на основе своих технических и духовных достижений, зрелое индустриальное общество противится этой альтернативе. Операционализм в теории и практике становится теорией и практикой ограничения. Благодаря его очевидной динамике это общество полностью является статической системой жизни: оно постоянно воспроизводится в своей подавляющей производительности и удобной унификации.

Ограничение технического прогресса идет рука об руку с его ростом в данном направлении. Несмотря на политические путы, накладываемые на людей существующим положением вещей, оно всеми силами против любой альтернативы, и тем сильнее, чем выше развитие техники, способной создать условия для примирения.

Самые развитые сферы индустриального общества обнаруживают обе эти черты: тенденцию к совершенствованию технологической рациональности и активные усилия удержать эту тенденцию в рамках существующих институтов. В этом заключается внутреннее противоречие этой цивилизации; иррациональный элемент ее рациональности. Это доказательство ее достижения. Индустриальное общество, присваивающее себе науку и технику, перестраивается для более действенного господства над человеком и природой, для становящегося все более эффективным использования своих ресурсов. Оно делается иррациональным к тому моменту, когда результаты усилий открывают новые измерения для человеческой самореализации. Организация для мира отличается от организации для войны; институты, которые служили борьбе за существование, не могут служить умиротворению существования. Жизнь как цель качественно отличается от жизни как средства.

Такой качественно новый способ существования не может рассматриваться как простой побочный продукт экономических и политических изменений, более или менее спонтанного влияния новых институтов, которые создают необходимые предпосылки. Качественное изменение включает также изменение технического базиса, на котором покоится это общество,— базиса, позволяющего существовать экономическим и политическим институтам, при помощи которых «вторая природа человека» закрепляется, превращаясь в агрессивный административный орган. Средства индустриализации являются политическими средствами, и как таковые они заранее решают вопрос о возможностях и границах разума и свободы.

Разумеется, труд должен предшествовать сокращению труда, а индустриализация — развитию человеческих потребностей и их удовлетворению. Но так как свобода зависит от преодоления чуждой необходимости, осуществление этой свободы зависит от средств преодоления. Самая высокая производительность труда может применяться для увековечения труда, и самая мощная индустриализация может служить ограничению потребностей и манипуляции ими.

Когда достигнут такой уровень, господство распространяется — под маской изобилия и свободы — на все сферы частного и общественного бытия, интегрирует всю действующую оппозицию и поглощает все альтернативы. Технологическая рациональность обнаруживает свой политический характер, при этом она становится «большой телегой» господства и порождает поистине тоталитарный универсум, в котором общество и природа, дух и тело находятся в состоянии постоянной мобилизации на защиту этого универсума.

Заключение

Развитое индустриальное общество изменяет соотношение между рациональным и иррациональным. На фоне фантастических и безрассудных аспектов его рациональности сфера иррационального становится на место действительно рационального — идей, которые могли бы «возвысить жизнь до искусства». Если существующее общество управляет каждой своей коммуникацией и усиливает или ослабляет свое воздействие в соответствии с общественными требованиями, то, вероятно, ценности, которые чужды этим требованиям, не имеют другой среды, в которой они могли бы существовать и развиваться, кроме «ненормальной» среды поэзии. Эстетическое измерение еще сохраняет свою свободу выражения, которая делает писателей и художников способными называть людей и вещи своими именами — давать имя по-иному невыразимому.

Истинное лицо нашего времени проглядывает в романах Сэмюэла Беккета, его действительная история описана в пьесе Рольфа Хохута «Заместитель». В действительности, оправдывающей все, кроме преступления против ее духа, больше здравого рассудка, нежели силы воображения. Сила воображения отрекается от этой действительности, превосходящей ее. Аушвиц все еще продолжает жить, но не в воспоминании, а скорее в разнообразных поступках людей — космических полетах, управляемых ракетах,<...>уютных электронных фабриках — чистых, гигиеничных и с клумбами цветов, ядовитом газе, который в действительности совсем не вреден людям, тайне, в которую мы все посвящены. Так выглядит структура, в которой нашли свое место великие достижения человека в науке, медицине и технике; обещания спасти и улучшить жизнь являются единственной надеждой. Сознательная игра с наличными возможностями, способность действовать с чистой совестью, contra naturam экспериментировать над вещами и людьми, превращать иллюзии в действительность и выдумку в правду свидетельствуют о масштабе, в каком сила воображения стала инструментом прогресса. Инструментом, которым, разумеется, как и другими инструментами, в существующих обществах методично злоупотребляют. Становясь лидером политики и определяя ее стиль, сила воображения, присутствующая в речах, превосходит Алису в Стране чудес и превращает смысл в бессмыслицу, а бессмыслицу в смысл.

Прежде антагонистические сферы объединяются на технической и политической почве — магия и наука, жизнь и смерть, радость и беда. Красота обнаруживает свой террор на атомных фабриках, стоящих на видных местах, а лаборатории становятся «парками индустрии» с симпатичными окрестностями. Civil Defence Headquarters рекламирует бункер против ядерных осадков, весь выстланный коврами, с креслами, телевизором и настольными играми, «спроектированный как комбинированное помещение для семьи в мирное время и как семейный бункер против ядерных осадков во время войны». Если ужас таких представлений не проникает в сознание, если все это воспринимается как само собой разумеющееся, то это происходит потому, что эти достижения являются, во-первых, в контексте существующего порядка полностью рациональными и, во-вторых, символами человеческой предприимчивости и власти, выходящих за традиционные границы фантазии.

Уродливое слияние эстетики и действительности опровергает философские системы, противопоставляющие «поэтическое» воображение научному и эмпирическому разуму. Технический прогресс сопровождается как растущей рационализацией, так и воплощением в действительность воображаемого. Архетипы страха и радости, войны и мира теряют свой катастрофический характер. Их проявление в повседневной жизни индивидов не есть больше проявление иррациональных сил: их современные эрзац-боги — это элементы их технического господства и подчинения.

Суживая и таким образом преодолевая романтическое пространство фантазии, общество заставило ее оправдывать свои надежды на новой почве, где ее картины преобразовываются в исторически реальные возможности и проекты. Преобразование это может быть таким же плохим и искаженным, как общество, которое его проводит. Отделенная от сферы материального производства и материальных потребностей, фантазия была простой игрой, непригодной в царстве необходимости и обязанной своим существованием только фантастической логике и фантастической правде. Когда технический прогресс устраняет образы фантазии своей собственной логикой и правдой, он уменьшает способности духа. Но он также уменьшает и пропасть между фантазией и наукой. Обе эти антагонистические способности начинают зависеть друг от друга на общей почве, созданной техническим прогрессом. Не является ли вся эта игра фантазии перед лицом производительности развитой индустриальной цивилизации игрой с техническими возможностями, которые можно проверить на предмет того, насколько широко они могут реализовываться? Романтическая идея «науки воображения», кажется, приобретает постоянно возникающий эмпирический аспект.

Научный, рациональный характер фантазии давно признан в математике, в гипотезах и экспериментах естественных наук. Он равным образом признается в психоанализе, который теоретически основывается на принятии идеи специфической рациональности иррационального; понятая фантазия становится терапевтической силой. Но можно идти гораздо дальше лечения неврозов. Не поэт, а ученый обрисовал эту перспективу: «Широкий материалистический психоанализ... может помочь нам вылечиться от наших представлений или по меньшей мере ограничить их власть. Поэтому можно надеяться... сделать фантазию приятной, другими словами, наделить воображение чистой совестью, чтобы придать ей полностью все средства выражения, все материальные образы, возникающие в естественных снах, в нормальной «сонной» деятельности. Сделать фантазию приятной, дать ей полное воплощение — значит лишь помочь ей в ее действительной функции психического импульса и побуждения»[8].

[8] B a c h e l a r d G. Le materialisme rationnel. Paris, 1953. P. 18.

Фантазия не остается невосприимчивой к процессу овеществления. Мы находимся во власти наших образов и страдаем под ней. Это понимал Фрейд и его последователи. Однако «наделение фантазии всеми средствами выражения» было бы движением вспять. Изуродованные в своем воображении индивиды были бы заорганизованы и ущемлены еще больше, чем сейчас. Такое освобождение было бы неослабевающим страхом — не катастрофой культуры, а свободной игрой ее регрессивных тенденций. Рациональной является та фантазия, которая может стать a priori, она стремится перестроить производственный аппарат и реорганизовать его адекватно умиротворенному существованию, жизни без страха. И это никогда не может быть фантазией тех, кто одержим образами господства и смерти.

Освобождение фантазии, дающее ей все средства выражения, предполагает подавление многого, что сейчас является свободным, и увековечивает репрессивное общество. И такая перемена — дело не психологии и этики,, а политики в том смысле, в каком это понятие уже использовалось. Это практика, внутри которой развиваются, формируются, поддерживаются и изменяются основные общественные институты. Это практика индивидов, независимо от того, как они организованы. Тогда нужно еще раз пристально рассмотреть вопрос: как могут управляемые индивиды, сделавшие свое искажение своей собственной свободой и удовлетворением и таким образом продуцирующие их в увеличивающихся масштабах, освободиться от самих себя, как от

господ? Как возможен разрыв порочного круга?

Парадоксальным кажется не то, что представление о новых общественных институтах становится наибольшей трудностью при попытке ответить на этот вопрос.

Существующие общества сами собираются изменить основные институты в аспекте возросшего планирования или уже сделали это. Так как рост и использование всех наших ресурсов для всестороннего удовлетворения жизненных потребностей является предварительным условием умиротворения, то оно несовместимо с господством партийных интересов, стоящих на пути достижения этих целей. Качественное изменение зависит от того, что предполагается предпринять ради блага целого против этих интересов, и свободное и разумное общество может возникнуть только на этом базисе.

Институты, на примере которых можно рассмотреть этот вопрос, сопротивляются традиционному включению в авторитарные и демократические, централизованные и либеральные формы правления. Сегодня оппозиция борется против центрального планирования от имени либеральной демократии, отказывающей в идеологической поддержке репрессивным интересам. Цель истинного самоопределения индивидов зависит от действенного социального контроля над производством и распределением жизненно необходимых товаров (определяемых достигнутым уровнем материальной и духовной культуры).

При этом технологическая рациональность, освобожденная от своих эксплуататорских черт, является для всех единственным масштабом и ориентиром в планировании и развитии наличных ресурсов. Самоопределение при производстве и распределении жизненно важных товаров и услуг было бы расточительным. Работа, с которой надо справиться, является технической работой, и как подлинно техническая, она ведет к уменьшению тяжелого физического и умственного труда. В этой сфере централизованный контроль будет рациональным, если он начнет создавать предварительные условия для осмысленного самоопределения. Тогда оно воплотится в действительность в своей собственной сфере — решениях, затрагивающих вопросы производства и распределения экономических излишков, и в индивидуальном существовании.

В каждом случае сочетание централизованного авторитета и прямой демократии уступает место бесконечным преобразованиям в зависимости от степени их развития. Самоопределение будет реальным в той мере, в какой масса растворится в индивидах, освобожденных от всякой пропаганды, муштры и манипуляции, способных распознать и понимать факты и оценивать альтернативы. Другими словами, общество было бы разумно и свободно в той мере, в какой оно организовано, поддерживается и воспроизводится существенно новым историческим субъектом.

На современном этапе развития индустриального общества и материальная и культурная системы отрицают эти требования. Власть и производительность этой системы, прочная сублимация духа в факте, мышления в требуемом поведении, желания в реальности противодействуют возникновению нового субъекта. Они также противодействуют пониманию того, что замена господствующего контроля над процессом производства «контролем снизу» предвещает качественное изменение. Это представление было и остается там, где рабочие были и остаются живым отрицанием и обвинением существующего общества. Однако там, где этот класс встал на защиту господствующего образа жизни, его путь к контролю над ним только удлинился бы.

И все-таки налицо все факты, подтверждающие правильность критической теории данного общества и его развития: растущая иррациональность целого, расточительство и ограничение производительности, потребность в агрессивной экспансии, постоянная угроза войны, обострившаяся эксплуатация, бесчеловечность. Все это указывает на историческую альтернативу: плановое использование ресурсов для удовлетворения жизненных потребностей при минимуме затрат на тяжелый труд, превращение свободного времени в действительно свободное, умиротворение борьбы за существование.

Но факты и альтернативы лежат как обломки, которые не могут соединиться, как мир немых объектов без субъекта, без практики, которая двинула бы эти объекты в новом направлении. Диалектическая теория не опровергается этим, но она не может предложить никакого лекарства. Она не может быть позитивной. Правда, диалектическое представление трансцендирует данные факты, осмысливая их. Только в этом заключается признак его истины. Оно определяет историческую возможность, а равно и необходимость, но путь их осуществления лежит в области практики, соответствующей теории, а на сегодняшний день такого соответствия нет.

Безнадежность сквозит в теоретических и эмпирических основаниях диалектического представления. Человеческая действительность — это история, в которой противоречия не разрешаются сами собой. Конфликт между ультрасовременным, наемным господством, с одной стороны, и его достижениями, направленными на самоопределение и умиротворение, с другой, становится столь вопиющим, что невозможно его отрицать. Но в дальнейшее он может стать легко управляемым и продуктивным, ибо с ростом технического порабощения природы растет и порабощение человека человеком. А такое порабощение уменьшает свободу, являющуюся необходимой предпосылкой

умиротворения. Здесь заключена свобода мышления в том смысле, что оно может быть свободным в контролируемом мире — в виде осознания его репрессивной продуктивности и в качестве абсолютной потребности вырваться из этого целого. Но эта потребность не господствует там, где она могла бы стать движущей силой общественной практики, причиной качественного изменения. Без такой материальной основы это обостренное осознание остается бессильным.

Безразлично, как может заявить о себе иррациональный характер целого и вместе с ним необходимость изменения,— познанной необходимости никогда не хватало, чтобы осмыслить возможные альтернативы. В сравнении с производительностью современной организации жизни все ее альтернативы кажутся утопией. И познанная необходимость, и осознание отвратительного положения недостаточны на той ступени, где достижения науки и уровень производства устранили утопические черты альтернатив, где скорее утопична существующая действительность, чем ее противоположность.

Значит ли это, что критическая теория общества несостоятельна и уступает свое место эмпирической социологии, которая, будучи лишена теоретической основы и руководствуясь одной лишь методологией, становится жертвой неверных выводов, сделанных на основе имеющейся конкретики, и которая, таким образом, выполняет свое идеологическое предназначение, одновременно провозглашая исключение каких бы то ни было оценочных суждений? Или диалектическое понимание вновь подтверждает свою истинность, осознавая это положение, как положение общества, которое оно изучает? Ответ напрашивается сам, если рассматривать критическую теорию в самом слабом ее пункте — с точки зрения ее неспособности указать освободительные тенденции внутри существующего общества.

Когда возникает критическая теория общества, она начинает конфронтацию с реально существующими (объективными и субъективными) силами в обществе, которое развивается в направлении образования более разумных и свободных институтов (или может быть направлено по этому пути) за счет упразднения уже имеющихся, но препятствующих прогрессу. Они и были эмпирической почвой, на которой возникли теория и идея освобождения имманентных возможностей — заблокированных и искаженных производительности, способностей и потребностей. Не открыв эти силы, критика общества еще могла бы быть действенной и рациональной, но она уже не в состоянии превратить свою рациональность в понятия общественной практики. Что из этого следует? Что «освобождение имманентных возможностей» не является более выражением исторической альтернативы.

Сдерживаемыми возможностями развитого индустриального общества являются: развитие производительных сил в увеличивающемся масштабе, расширение овладения природой, растущее удовлетворение потребностей все большего числа людей, создание новых потребностей и способностей. Но эти возможности постепенно осуществляются при помощи средств и институтов с растущим освободительным потенциалом, и этот процесс наносит ущерб и средствам и целям. Средства производительности и прогресса, организованные в тоталитарную систему, определяют не только свое сегодняшнее, но и завтрашнее положение.

На своей самой высокой ступени господство функционирует в качестве управления, и в сверхразвитых областях массового потребления управляемая жизнь становится хорошей жизнью целого, для защиты которого объединяются даже противоречия. Это чистая форма господства. И наоборот, его отрицание выступает как чистая форма отрицания. Содержание его сводится к абстрактному требованию отмены господства — единственному действительно революционному требованию и результату, который подтвердил бы достижения индустриальной цивилизации. Перед лицом окончательного ответа на вопрос о существовании данной системы это отрицание выступает в политически бессильной форме «абсолютного отказа» — отказа, кажущегося тем неразумнее, чем более существующая система развивает свою производительность и облегчает бремя жизни. По словам Мориса Бланше: «То, от чего мы отказываемся, не лишено ни цены, ни значения. Именно поэтому необходим отказ. Существует разум, который нас больше не устраивает; существует проявление мудрости, которое приводит нас в ужас; существует требование согласиться и примириться. Прорыв произошел. Мы ведем себя искренне, и эта искренность больше не переносит соучастия»[9].

[9] e Refus. 14 juillet. Oktober. N. 2. Paris, 1958.

Но если абстрактный характер отказа является результатом тотального овеществления, то должна еще быть и конкретная основа для такого отказа, ибо овеществление есть лишь кажимость. Происходящее именно на этой основе слияние противоположностей при всей его относительности должно быть поэтому иллюзорным и не способным ни устранить противоречия между растущей производительностью и ее репрессивным применением, ни удовлетворить насущной потребности разрешить это противоречие.

Но борьба за разрешение противоречия переросла традиционные формы.

Тоталитарные тенденции одномерного общества делают бесполезными обычные средства и пути протеста, а порой и довольно опасными, так как они основываются на иллюзии народного суверенитета. Эта иллюзия содержит долю истины: народ, ранее бывший ферментом общественного изменения, «призван» стать ферментом общественной сплоченности. Более всего этому идеалу отвечает, наряду с перераспределением богатства и равноправием классов, характерное для развитого индустриального общества расслоение.

Под консервативным основным слоем народа находится, однако, субстрат опальных и изгоев: это эксплуатируемые и преследуемые других рас и цветов кожи, безработные и калеки. Они существуют вне демократических процессов; их жизнь реальнее и непосредственнее всего нуждается в уничтожении невыносимых отношений и институтов. Но при этом революционна их оппозиция, но не их сознание. Их оппозиция проникает в систему извне и потому не отклоняется этой системой; она является элементарной силой, не соблюдающей правил игры и начинающей свою игру. Когда они собираются в толпы и выходят на улицу без оружия и охраны с требованием элементарнейших гражданских прав, знайте, что они противостоят собакам, камням, бомбам, тюрьмам, концлагерям, самой смерти. Их сила питает любую политическую демонстрацию в защиту жертв закона и порядка. Тот факт, что они начинают отказываться играть в нашу игру, является признаком начала конца этого периода.

Ничто не свидетельствует о том, что это будет хороший конец. Экономические и технические мощности нашего общества достаточно велики, чтобы пойти на уступки и переговоры с обделенными, его вооруженные силы достаточно обучены и оснащены, чтобы справиться с кризисной ситуацией. Но призрак вновь здесь — внутри и снаружи развитого общества. Легко напрашивается историческая параллель с варварами, угрожающими империи цивилизации, она предвосхищает положение вещей; второй период варварства мог сам быть продолжающей существование империей цивилизации. Но есть надежда, что исторические крайности — самое развитое сознание человечества и его самая эксплуатируемая сила — снова совпадут в этот период. Но это не более чем надежда. Критическая теория общества не обладает понятиями, которые могли бы перебросить мост между сегодняшим днем и будущим; поэтому она ничего не обещает, а тем более успеха, оставаясь негативной теорией. Но она хочет сохранить верность тем, кто без всякой надежды посвятил и посвящает свою жизнь Великому Отказу.

В начале фашистской эры Вальтер Беньямин писал: «Только ради лишенных надежды дана она нам».

*Ч. Миллс. Высокая теория**

* Текст представляет собой вторую главу кн.: M il I s C. W. The Sociological Imagination. N. Y., 1959 *(Перевод М. Кисселя.)* Впервые опубликован в кн.: Структурно-функциональный анализ в современной социологии. Вып. 1. М., 1968. С. 395—424.

Рассмотрим пример высокой теории[1] взятый из «Социальной системы» Толкотта Парсонса — по распространенному убеждению, чрезвычайно важной книги, написанной наиболее выдающимся представителем этого стиля.

«Элемент общепризнанной символической системы, который служит в качестве критерия или стандарта для выбора из альтернатив ориентации, внутренне присущих определенной ситуации, может быть назван ценностью... Но от этого аспекта мотивационной ориентации, принадлежащего целостности действия, необходимо, учитывая роль символических систем, отличать аспект ценностной ориентации. Этот аспект касается не значения ожидаемого деятелем положения вещей в смысле этого баланса удовлетворенности — неудовлетворенности, но содержания самих селективных стандартов. Понятие ценностных ориентации есть, таким образом, логический термин для выражения одного из центральных аспектов расчленения культурных традиций в системе действия.

Из выведения нормативной ориентации и роли ценностей в действии, как это сделано выше, следует, что все ценности включают то, что можно назвать социальной отнесенностью. Системе действия внутренне присуще то, что действие «нормативно ориентировано». Это вытекает, как было показано, из понятия ожиданий в теории действия, особенно в «активной» фазе, в которой деятель преследует цели. Ожидания в сочетании с «двойной случайностью» процесса взаимодействия, как это было названо, создают кардинальную проблему порядка. В то же время можно различать два аспекта этой проблемы: порядок в символических системах, который делает возможной

коммуникацию, и порядок во взаимном отношении мотивационной ориентации и нормативного аспекта ожиданий — «гоббсову проблему» порядка.

Проблема порядка и тем самым природы интеграции стабильных систем социального взаимодействия, т. е. социальной структуры, сосредоточивается на интеграции мотиваций деятелей и нормативных стандартов культуры, которые в нашем контексте межличностным образом интегрируют систему действия между личностями. Эти стандарты... являются формами стандартной ценностной ориентации и как таковые составляют особенно важную часть культурной традиции социальной системы»[2].

Возможно, некоторые читатели теперь возымеют желание обратиться к следующей главе. Высокая теория — соединение и разложение понятий — вполне достойна рассмотрения. Правда, она не содержит столь важного результата, как «методологическое запрещение», которое должно быть подвергнуто исследованию в следующей главе, так как ее влияние как особого стиля работы имеет ограниченное распространение. Дело в том, что понять ее нелегко, и я подозреваю, что она, возможно, вообще не будет вполне понятна. Это, конечно, охраняющее преимущество, но это недостаток, поскольку ее торжественное провозглашение имело цель воздействовать на рабочие приемы социологов. Не ради шутки, но оставаясь в пределах фактов, мы должны допустить, что ее результаты влияют на социологов в одном или нескольких из следующий направлений.

По крайней мере для некоторых из тех, кто утверждает, что понимает ее идеи, и кому она нравится,— это одно из важнейших достижений во всей истории общественной науки.

Для многих из тех, кто претендует на ее понимание, но кому она не нравится,— это образец не относящейся к делу неуклюжей тяжеловесности (такие люди редки, потому что неприязнь и нетерпение мешают разобраться в этой головоломке).

Для тех, кто не претендует на понимание, но кому эта теория очень нравится, а таких много,— это чудесный лабиринт, привлекательный именно благодаря часто встречающемуся великолепному отсутствию смысла.

Те же, кто не претендует на понимание этой доктрины, и кому она не нравится,— если они сохранят мужество придерживаться своих убеждений — поймут, что на самом деле король-то голый.

Конечно, есть много и таких, которые изменяют свои взгляды, и еще больше тех, кто остается терпеливо нейтральным, ожидая увидеть профессиональные результаты, если они будут. И хотя это, возможно, ужасная мысль, многие социологи даже не знают о ней, разве что понаслышке.

Все это поднимает мучительный вопрос об интеллигибельности. Этот вопрос, конечно, выходит за рамки высокой теории, но ее приверженцы так глубоко заняты этим, что, я боюсь, мы действительно должны спросить: не является ли высокая теория просто путаным набором слов или же в конце концов в ней что-то есть? Ответ, я думаю, таков: кое-что там есть, спрятанное столь глубоко, что его нельзя достать, но кое-что все же высказано. Итак, вопрос приобретает следующий вид: после того как все препятствия, мешающие уяснению смысла, устранены из высокой теории и все понятное становится доступным, то о чем там, собственно, говорится?

1

Есть только один путь ответить на этот вопрос: мы должны «перевести» один из характерных образцов этого стиля мышления и затем рассмотреть этот «перевод». Я уже наметил выбор примера. Хочу только пояснить, что не собираюсь здесь оценивать работу Парсонса в целом. Если я буду ссылаться на другие его сочинения, то только для того, чтобы разъяснить наиболее экономным образом некоторые моменты, содержащиеся в этом одном томе. Переводя содержание «Социальной системы» на английский, я не претендую на то, что мой перевод превосходен, но лишь на то, что ни один явный оттенок смысла не утрачен. Перевод, я утверждаю, содержит все, что можно понять в этой книге. Прежде всего я попытаюсь отделить высказывания о чем-либо от определений слов и отношений между словами. И то и другое важно; смешать эти аспекты означало бы нанести роковой ущерб ясности. Чтобы сделать очевидным то, что необходимо, я сначала «переведу» несколько отрывков, а затем предложу два сокращенных «перевода» всей книги в целом.

«Переведем» образец, цитированный в начале этой главы: «Люди часто признают некоторые стандарты и ожидают этого друг от друга. В той мере, в какой они это делают, их общество может быть упорядоченным» (конец «перевода»).

Парсонс пишет: «Существует двойная структура этого «связывания». Во-первых,

посредством интериоризации стандарта, причем соответствие с ним имеет тенденцию приобрести личностное, экспрессивное и (или) инструментальное значение для «Я». Во-вторых, структурирование реакций другого на действия «Я» в качестве санкций есть функция его соответствия данному стандарту. Поэтому соответствие как прямой способ удовлетворения его собственных потребностей-установок имеет тенденцию совпадать с соответствием как условием выбора благоприятных и избегания неблагоприятных реакций других. Поскольку в отношении к действиям множества деятелей соответствие стандарту ценностной ориентации отвечает *обоим* этим критериям, т. е. с точки зрения любого данного деятеля внутри системы это одновременно и способ удовлетворения его собственных потребностей-установок и условие «оптимизации» реакций других значимых деятелей, постольку этот стандарт, можно сказать, «институционализирован».

Ценностный стандарт в этом смысле всегда институционализирован к отношениям между действиями. Поэтому всегда есть два аспекта системы ожиданий, которая складывается по отношению к системе ценностей. С одной стороны, есть ожидания, которые затрагивают и частично устанавливают стандарты поведения деятеля, «Я», который берется как точка отсчета; это его ролевые ожидания. С другой стороны, с его точки зрения, имеется ряд ожиданий, относящихся к случайно вероятным реакциям других,— это можно назвать санкциями, которые в свою очередь можно подразделить на позитивные и негативные в зависимости от того, переживаются ли они субъектом как способствующие удовлетворению или мешающие удовлетворению его ролевых ожиданий. Отношение между ролевыми ожиданиями и санкциями явным образом взаимно: то, что для «Я» санкции, для другого — ролевые ожидания и наоборот.

Роль, таким образом,— это один из секторов системы ценностной ориентации деятеля, организуемый вокруг ожиданий в их отношении к специфическому контексту взаимодействия, т. е. связанный с особым рядом ценностных стандартов, которые управляют взаимодействием с одним (или более) «другим» деятелем, играющим соответствующие дополнительные роли. Эти «другие» не обязательно должны быть определенной группой индивидов, но могут включать любого «другого», если он вступает в особенное дополнительное отношение взаимодействия с «Я», которое предполагает взаимность ожиданий, относящихся к общим стандартам ценностной ориентации.

Институционализация ряда ролевых ожиданий и соответствующих санкций есть, конечно, вопрос степени. Эта степень — функция двух рядов переменных: с одной стороны, тех, которые воздействуют на действительное принятие стандартов ценностных ориентации, с другой — тех, которые определяют мотивационную ориентацию или приверженность к удовлетворению соответствующих ожиданий. Как мы увидели, разнообразные факторы могут оказать влияние на степень институционализации через каждый из этих каналов. Полярной противоположностью полной институционализации является, однако, «аномия», отсутствие структурной дополнительности в процессе взаимодействия, или, что то же самое, полная ломка нормативного порядка в обоих смыслах. Но это крайнее понятие, которое никогда не описывает какую-либо конкретную социальную систему. Точно так же как имеются степени институционализации, имеются и степени «аномии». Одна из них есть оборотная сторона другой.

Институтом будет называться комплекс институционализированных ролевых интеграторов, который имеет стратегическое структурное значение в данной социальной системе. Институт следует рассматривать как единицу более высокого порядка в социальной структуре, чем роль, и действительно, он составлен из множества взаимозависимых ролевых форм или их компонентов»[3].

Или, другими словами, люди действуют вместе и против друг друга. Каждый принимает во внимание то, что ожидают другие. Когда такие взаимные ожидания достаточно определены и устойчивы, мы называем их стандартами. Каждый человек ожидает также, что другие намерены реагировать на его поведение. Мы называем эти ожидаемые реакции санкциями, некоторые из них кажутся весьма удовлетворительными, некоторые нет. Когда люди руководствуются стандартами и санкциями, можно сказать, что они вместе играют роли. Это удобная метафора. И фактически то, что мы называем институтом, вероятно, лучше всего определить как более или менее устойчивый ряд ролей. Когда внутри некоего института или всего общества, составленного из таких институтов, стандарты и санкции больше уже не удерживают людей, мы можем говорить вместе с Дюркгеймом об *«аномии».* На одном полюсе имеются институты с всецело упорядоченными и отшлифованными стандартами и санкциями. На другом полюсе — «аномия», или, как говорил Итс, центр не устойчив, или, как я говорю, нормативный порядок сломан (конец «перевода»).

Должен признаться, что в этом «переводе» я не был полностью верен подлиннику. Я облегчил себе задачу, обратив внимание на наиболее интересные идеи приверженцев высокой теории. Если эти идеи «перевести», то они окажутся более или менее стандартными, изложенными в многочисленных учебниках по социологии. Но что касается институтов, то определение, приведенное выше, не совсем полно. К тому, что переведено, нужно добавить, что роли, создающие институт, обычно как раз и не составляют

одной «большой дополнительности» «признанных ожиданий». Были ли Вы когда-нибудь в армии, на фабрике или, скажем, в семье? Да, это институты. Внутри них ожидания одних кажутся немного более настойчивыми, чем ожидания других. Это происходит потому, как скажем мы, что у них больше власти. Или, выражаясь более социологично, хотя и не совсем: институт — это ряд ролей, различающихся по своему авторитету.

Парсонс пишет: «Приверженность общим ценностям означает со стороны мотивации то, что деятели имеют общие «чувства» в поддержке ценностных стандартов, смысл чего можно определить так, что соответствие с надлежащими ожиданиями рассматривается как «хорошее дело», относительно независимое от какого-либо инструментального преимущества, которое можно получить от такого соответствия, например при отсутствии негативных санкций. Кроме того, приверженность к общим ценностям хотя и удовлетворяет непосредственные потребности деятеля, всегда имеет также и некоторый «моральный» аспект потому, что до некоторой степени это соответствие определяет «обязанности» деятеля в более широких системах социального действия, в которых он участвует. Очевидно, что специфический фокус ответственности — это коллективность, которая конструируется особенной, общей для нее ценностной ориентацией.

Наконец, совсем ясно, что «чувства», которые поддерживают такие общие ценности, обычно не являются выражениями конституционально данных свойств организма. Они воспитаны или приобретены. Кроме того, роль, которую они играют в ориентации действия,— это по преимуществу не роль культурных объектов, которые «познаются» или к которым «приспосабливаются», а стандарты культуры, которые подлежат интериоризации; они образуют часть структуры личностной системы деятеля. Такие чувства, или «ценностные установки», как их можно назвать, являются поэтому подлинными потребностями-установками личности. Только посредством интериоризации институционализированных ценностей имеет место подлинная мотивационная интеграция поведения в социальной структуре, так что более глубокие пласты мотивации начинают использоваться для выполнения ролевых ожиданий. Только тогда, когда это имеет место в высокой степени, можно сказать, что социальная система находится в состоянии высокой интеграции и что интересы коллективности и частные интересы составляющих ее членов достигли совпадения. (Примечание Парсонса: точное совпадение должно рассматриваться как предельный случай, подобно знаменитой машине без трения. Хотя полная интеграция социальной системы мотивации с всецело последовательным рядом культурных стандартов (образцов) эмпирически неизвестна, концепция такой интегрированной социальной системы имеет высокую теоретическую ценность.)

Эта интеграция ряда общих ценностных стандартов с интерио-ризированной структурой потребностей-установок, составляющих структуру личностей, является основой динамики социальных систем. То, что устойчивость всякой социальной системы, исключая наиболее эфемерный процесс взаимодействия, зависит от степени такой интеграции, является, можно сказать, фундаментальной динамической теоремой социологии. Это главная точка начала координат всякого анализа, претендующего быть динамическим анализом социального процесса»[4].

Или, другими словами, когда люди признают одни и те же ценности, они склонны вести себя так, как, по их ожиданиям, будут вести себя другие. Более того, они часто считают такое соответствие чем-то очень хорошим — даже тогда, когда оно кажется направленным против их непосредственных интересов. То обстоятельство, что эти общепризнанные ценности воспитываются, а не наследуются, ничуть не делает их менее важными в человеческой мотивации. Напротив, они становятся частью самой личности. В качестве таковых они связывают общество воедино, ибо социально ожидаемое становится индивидуальной потребностью. Это настолько важно для устойчивости всякой социальной системы, что я собираюсь использовать это как главный отправной пункт, если когда-либо буду анализировать какое-либо общество как работающую систему (конец «перевода»).

Подобным образом, я полагаю, можно было бы превратить 555 страниц «Социальной системы» примерно в 150 страниц простого английского текста. Это не привело бы к существенным изменениям. Текст содержал бы те термины, в которых ключевая проблема книги и решение проблемы, предложенное в ней, были бы изложены наиболее ясно. Всякая идея, всякая книга, конечно, может быть выражена в одном предложении или развернута в 20 томах. Вопрос о том, насколько полным должно быть высказывание, чтобы нечто сделать ясным, и насколько оно представляется важным: сколько опытных данных оно объясняет, насколько важен круг проблем, которые оно позволяет нам решить или по крайней мере поставить.

Изложим книгу Парсонса, например, в двух или трех фразах: «Нас спрашивают: как возможен социальный порядок? Ответ, который нам дают, видимо, таков: посредством общепринятых ценностей». Все ли это относится к данному вопросу? Конечно, нет, но это главный пункт. Но не является ли такой метод нечестным? Нельзя ли любую книгу трактовать таким образом? Вот моя собственная книга («Правящая элита»),

рассмотренная так: «Кто в конце концов правит Америкой? Никто в полной мере, но, поскольку речь идет о группе,— «властвующая элита». А вот книга, которая в ваших руках: «О чем трактует социология? Ей следует изучать человека и общество, и иногда она так и делает. Она пытается помочь нам понять биографию и историю, а также их связь в разнообразных социальных структурах».

Вот «перевод» книги Парсонса в четырех параграфах:

«Давайте представим себе нечто, что можно назвать «социальной системой», в которой индивиды действуют в соотношении друг с другом. Эти действия чаще всего упорядочены, ибо индивиды в системе признают определенные стандарты ценности, а также подходящие и практичные способы поведения. Некоторые из этих стандартов мы можем назвать нормами; те, кто действует в соответствии с ними, склонны действовать одинаково в одинаковых обстоятельствах. Поскольку это так, постольку существуют «социальные регулярности», которые можно наблюдать и которые часто весьма устойчивы. Такие длительные и устойчивые регулярности я назову структурными. Можно рассматривать эти регулярности внутри социальной системы как большой и сложный баланс. То, что это метафора, я теперь намерен забыть, потому что мне хочется, чтобы вы считали реальным мое понятие социального равновесия.

Имеются два главных средства, при помощи которых поддерживается социальное равновесие, и в результате отказа от одного или обоих возникает нарушение равновесия. Первое средство — это «социализация», посредством которой новорожденный индивид делается социальной личностью. Часть этого социального становления личностей состоит в приобретении ими мотивов для совершения действий, требуемых или ожидаемых другими. Второе средство — «социальный контроль», под которым я понимаю все способы поддержания порядка среди людей. Под «порядком» я, конечно, подразумеваю такое типичное действие, которое ожидается и одобряется в социальной системе.

Первая проблема в поддержании социального равновесия состоит в том, чтобы заставить людей делать то, что требуется или ожидается от них. Если этот путь не приводит к цели, возникает проблема применения других способов упорядочения. Лучшие классификации и определения способов социального контроля были даны Максом Вебером, и я мало что могу добавить к тому, что он и немногие другие писатели после него сказали так хорошо.

Один момент несколько затрудняет меня: каким образом возможно — при условии существования социального равновесия со всей социализацией и контролем,— чтобы кто-нибудь выбился из ряда? Этого я не могу объяснить достаточно хорошо в терминах моей Систематической и Общей Теории социальной системы. Есть и другой пункт, который не так ясен, как я хотел бы: как следует объяснить социальное изменение, т.е. историю? Относительно этих двух проблем я рекомендую всякий раз, как только вы столкнетесь с ними, предпринимать эмпирические исследования» (конец перевода).

Пожалуй, этого достаточно. Конечно, мы могли бы перевести полнее, но «полное» отнюдь не означает с необходимостью «более адекватное», и я предлагаю читателю просмотреть «Социальную систему» и найти больше. Между тем у нас три задачи: во-первых, дать характеристику логического стиля мышления, представленного высокой теорией; во-вторых, выяснить некоторое общераспространенное заблуждение на этом конкретном примере; в-третьих, показать, как большинство социологов теперь ставит и решает парсоновскую проблему порядка. Моя цель во всем этом — помочь приверженцам высокой теории спуститься с их бесплодных высот.

Серьезные различия возникают не между теми, кто наблюдает, не пользуясь мышлением, и теми, кто мыслит, не наблюдая: различия скорее касаются того, каковы типы мышления, типы наблюдения и типы связей между ними.

Главное основание высокой теории составляет исходный выбор настолько общего уровня мышления, что его представители не могут логически спуститься к наблюдениям. Они никогда не спускаются в рамках высокой теории с уровня обобщений высокого порядка к проблемам в их историческом и структурном контекстах. Это отсутствие ясного ощущения подлинных проблем в свою очередь объясняет отсутствие реальности, столь заметное на страницах их книг. Их общая характерная черта — кажущаяся произвольной — ... разработка различий, которые не расширяют нашего понимания и не делают наш опыт более понятным. Это в свою очередь проявляется как частично организованное отречение от усилия ясно описать и объяснить человеческое поведение и общество в целом.

Когда мы рассматриваем, что означает какое-либо слово, мы имеем дело с его *семантическими* аспектами; когда мы рассматриваем его в отношении к другим словам, мы имеем дело с его *синтаксическими* чертами[5]. Я ввожу упрощающие термины, поскольку они дают экономичный и точный способ отметить следующее обстоятельство: высокая теория, опьяненная синтаксисом, слепа к семантике. Ее приверженцы действительно не понимают, что когда мы определяем слово, мы просто предлагаем другим пользоваться этим словом так, как мы хотели бы, что цель определения — сконцентрировать рассуждение на факте и что надлежащий результат хорошего определения в том и

состоит, чтобы превратить рассуждения о терминах в разногласия относительно факта и тем самым подвергнуть рассуждения дальнейшему исследованию.

Последователи высокой теории так заняты синтаксическими значениями и настолько невнимательны к семантическим соотнесениям, они настолько строго ограничивают себя высокими уровнями абстракции, что «типологии», которые они создают, и работа, которую они проделывают для этого, гораздо чаще представляются скучной игрой в понятия, чем попыткой определить систематически, т. е. в ясной и упорядоченной форме, насущные проблемы и направить наши усилия на их решение.

Один из больших уроков, который мы можем извлечь из систематического его забвения теоретиками большого стиля, заключается в том, что каждый обладающий самосознанием мыслитель должен во всякое время отдавать себе отчет и быть в состоянии контролировать уровни абстракции, на которых он работает. Способность легко и с ясным осознанием переходить с одного уровня абстракции на другой — отличительная черта проницательного и систематического мыслителя.

Вокруг таких терминов, как «капитализм» или «средний класс», «бюрократия», «властвующая элита» или «тоталитарная демократия», часто возникают запутанные и неясные созвучия, и, пользуясь этими терминами, надо тщательно учитывать и принимать во внимание такие созвучия. Вокруг таких терминов часто обнаруживаются и «составные» ряды фактов и отношений, так же как и просто гипотетические факторы и наблюдения. Все они также должны быть тщательно упорядочены и прояснены в нашем определении и в нашей работе.

Чтобы разъяснить синтаксические и семантические измерения таких концепций, мы должны знать иерархию видов каждой из них и должны быть в состоянии рассмотреть все уровни этой иерархии. Мы должны спросить: понимаем ли мы под «капитализмом» просто тот факт, что все средства производства находятся в частной собственности, или мы хотим включить в этот термин дальнейшую идею свободного рынка как механизма, определяющего цену, заработную плату, прибыль? И до какой степени мы вправе предполагать, что, по определению, этот термин ведет к определенным утверждениям о политическом порядке в такой же мере, как и об экономических институтах?

Такие интеллектуальные привычки, я полагаю, должно быть, являются ключами к систематическому мышлению, а их отсутствие — ключами к фетишизму Понятия. Пожалуй, один из результатов отсутствия этой привычки станет яснее, когда мы рассмотрим более подробно главное заблуждение книги Парсонса.

Претендуя на «общую социологическую теорию», высокий теоретик фактически создает царство понятий, из которого исключены структурные черты человеческого общества, черты, давно и определенно признававшиеся фундаментальными для понимания общества. По-видимому, это делается сознательно, чтобы превратить рассуждения социолога в нечто специализированное, отличное от экономических и политических исследований. Социология, согласно Парсонсу, должна иметь дело с «тем аспектом теории социальных систем, который касается феноменов институционализации стандартов ценностных ориентации в социальной системе, условий этой институционализации, изменений этих стандартов, условий соответствия с ними и отклонения от ряда таких стандартов и мотивационных процессов, поскольку они включены во все это»[6]. Определение, переведенное и освобожденное от скрытой предпосылки, каким и должно быть всякое определение, означает: социологи моего направления хотели бы изучать то, что люди желают и на что надеются. Мы хотели бы также открыть, почему существует разнообразие таких ценностей, мы хотели бы определить, почему некоторые люди соответствуют, а другие не соответствуют им (конец «перевода»).

Как отметил Дэвид Локвуд[7], такое высказывание освобождает социолога от всякого соприкосновения с «властью», с экономическими и политическими институтами. Я пошел бы несколько дальше этого. Это высказывание и фактически вся книга Парсонса имеют дело гораздо больше с тем, что по традиции называлось «узаконениями», чем с институтами какого-либо рода. В результате, я думаю, все институциональные структуры превращаются в своего рода моральную сферу или, точнее, в то, что называлось «символической сферой». Чтобы сделать этот пункт ясным, я бы хотел, во-первых, кое-что объяснить в самой этой сфере; во-вторых, обсудить ее предполагаемую автономию и, в-третьих, показать, как концепции Парсонса делают чрезвычайно трудной даже постановку некоторых наиболее важных проблем анализа социальной структуры.

Стоящие у власти пытаются оправдать свое управление институтами, связывая его с широко распространенными верованиями в моральные символы, священные проблемы, юридические формулы, как будто их власть является необходимым следствием этого. Эти центральные концепции могут относиться к богу или богам, к «голосу большинства», «воле народа», «аристократии таланта или богатства», «божественному праву королей» или к предполагаемой экстраординарной одаренности самого правителя. Социологи, следуя Веберу, называют такие концепции «узаконениями» или иногда «символами оправдания».

Различные мыслители пользовались разнообразными терминами для обозначения этого явления: «политическая формула» или «великие предрассудки» у Г. Моска; «принцип суверенитета» Локка; «правящий миф» у Сореля; «фольклор» у Турмана Арнольда; «узаконения» у Вебера; «коллективные представления» у Дюркгейма; «господствующие идеи» у Маркса; «общая воля» у Руссо; «символы власти» у Лассуэла; «идеологии» у Маннгейма; «общественные чувства» у Г. Спенсера — все эти и подобные им понятия подтверждают центральное место символов господства в социальном анализе. Подобным образом в психологическом анализе такие символы господства, истолкованные применительно к отдельному индивиду, становятся основаниями и часто мотивами, которые влекут личностей к определенным ролям и санкционируют их исполнение. Если, например, экономические институты получают публичное оправдание в этих терминах, то ссылки на частный интерес могут быть приемлемым оправданием для индивидуального поведения. Но если чувствуется общественная необходимость оправдать такие институты в терминах «общественного служения и доверия», старые мотивы частного интереса могут повлечь за собой чувство вины или по крайней мере беспокойство среди капиталистов. Общественно эффективные узаконения часто становятся через определенное время эффективными в качестве личных мотивов.

Итак, то, что Парсонс и другие высокие теоретики называют «ценностными ориентирами» и «нормативной структурой», относится главным образом к символам узаконения власти. Это в самом деле полезный и важный предмет. Однако такие символы не составляют автономной сферы в обществе; их социальная пригодность определяется их способностью оправдывать или отвергать определенную структуру власти и определенные позиции в этой структуре. Их психологическая пригодность определяется тем, что они становятся основой для приверженности данной структуре власти или для противодействия ей.

Мы не можем просто предположить, что некий ряд ценностей или узаконений *должен* преобладать, чтобы социальная структура не распалась, и мы не можем признать, что социальная структура должна связываться или объединяться такой «нормативной структурой». Конечно, мы не можем просто предположить, что такая «нормативная структура», которая может преобладать, является в каком-либо смысле автономной. На самом деле для современных западных обществ и в особенности для Соединенных Штатов есть много свидетельств того, что гораздо точнее прямо противоположное утверждение. Часто, хотя и не в Соединенных Штатах, со времен второй мировой войны существуют довольно хорошо организованные символы оппозиции, которые служат для оправдания восстаний и подрыва правящей власти. Непрерывность американской политической системы совершенно уникальна и лишь однажды на протяжении всей истории подвергалась угрозе внутреннего насилия; этот факт наряду с другими, возможно, ввел в заблуждение Парсонса, когда перед ним возник образ Нормативной Структуры Ценностной Ориентации.

Правительства отнюдь не с необходимостью, как думал Эмерсон, «имеют источник в моральном тождестве людей». Верить этому — значит смешивать узаконение правительства с причинами его возникновения. Часто, даже гораздо чаще, моральное тождество людей в обществе может основываться на том факте, что правители успешно монополизируют или даже навязывают символы своего господства.

Около ста лет тому назад эта проблема плодотворно обсуждалась теми, кто считал, что символические сферы способны на самоопределение и что такие «ценности» могут на самом деле управлять историей. Символы, которые оправдывают определенную власть, отрываются от реальных личностей или слоев, которые распоряжаются этой властью. «Идеи», а не слои или личности, использующие идеи, считают правящими. Чтобы придать непрерывность последовательности этих символов, их каким-то образом изображают взаимосвязанными. Символы, таким образом, рассматриваются как «самоопределяющиеся». Чтобы сделать более правдоподобным это курьезное представление, символы часто «персонализируются» или им придается «самосознание». Их можно потом считать «Понятиями Истории» или последовательностью философов, мышление которых определяет динамику институтов, или же, можем мы добавить, понятие «нормативного порядка» можно превратить в фетиш. Я, конечно, только перефразировал Маркса и Энгельса, говоривших о Гегеле[8].

Если ценности не оправдывают институтов и не побуждают личностей исполнять институциональные роли, то какими бы важными они ни были в различных частных областях, исторически и социологически они не имеют значения. Существует, конечно, взаимодействие между оправдывающимися символами, институциональными властями и подчиняющимися личностями. Временами мы не могли бы без колебаний приписать каузальное значение символам власти, но нельзя принимать эту идею за обретенную *теорию* социального порядка или единства общества. Есть лучшие способы постулировать «единство», как мы теперь увидим, способы, которые полезнее при формулировании значительных проблем социальной структуры и ближе к наблюдаемому материалу. Поскольку нас интересуют «общие ценности», лучше

построить нашу концепцию ценностей, исследуя узаконения каждого институционального порядка в данной социальной структуре, чем *начинать* с попыток сначала понять ценности, а затем в их свете «объяснить» строение и единство общества. Мы можем, я полагаю, говорить об «общих ценностях», когда большая часть членов институционального порядка принимает узаконения этого порядка, когда такие узаконения успешно выражают или по крайней мере благодушно охраняют подчинение. Такими символами затем пользуются, чтобы «определить ситуации» при исполнении различных ролей, а также в качестве масштаба для оценки вождей и приверженцев. Социальные структуры, обнаружившие такие универсальные и центральные символы, представляют собой, естественно, предельные и «чистые» типы.

На другом конце шкалы находятся общества, в которых господствующий ряд институтов контролирует все общество и навязывает свои ценности посредством насилия и угрозы насилия. Это обстоятельство не предполагает ломки социальной структуры, так как людьми можно эффективно руководить при помощи формальной дисциплины; а иногда, если люди не принимают институциональных требований дисциплины, у них может не быть шансов выжить. «Искусный писатель, нанятый реакционной газетой, может ради поддержания жизни и сохранения работы приспосабливаться к требованиям хозяйской дисциплины. В своем сердце и за пределами редакции он может быть радикальным агитатором. Многие немецкие социалисты сделались великолепными солдатами под флагом кайзера, несмотря на то что по своим субъективным ценностям они тяготели к революционному марксизму. От символов к поведению и обратно длинный путь, и не всякая интеграция основана на символах»[9].

Подчеркивать такой конфликт не значит отрицать «силу разумного убеждения». Разрыв между словами и делами часто является характерным, но характерно и стремление к убеждению. Что именно преобладает в данном обществе, нельзя решать a priori на основе «человеческой природы», или «принципов социологии», или декрета высокой теории. Можно легко представить себе один «чистый тип» общества как всецело дисциплинированную социальную структуру, в которой подданные по разным причинам не могут порвать с предписанными им ролями, но тем не менее не разделяют ни одной ценности власть имущих и, таким образом, отнюдь не верят в законность этого порядка. Такое общество было бы похоже на галеру, приводимую в движение рабами, когда механическое движение весел низводит гребцов до положения шестеренок в машине и вмешательство надсмотрщика требуется только в редких случаях. Галерникам не нужно даже знать о направлении движения корабля, хотя всякое отклонение от курса вызывает ярость надсмотрщика, единственного человека на борту, способного смотреть вперед. Но, пожалуй, я уже больше описываю, чем воображаю.

Между этими двумя типами — «общей системой ценностей» и навязанной сверху дисциплиной — существуют разнообразные формы «социальной интеграции». Большинство западных обществ имеют много расходящихся между собой «ценностных ориентации»; их единство обеспечивается различными сочетаниями узаконения и принуждения. И это может быть правильным относительно всякого институционального порядка, не только политического и экономического. Отец может навязывать требования своей семье под угрозой лишить ее наследства или пользуется теми средствами насилия, которые может предоставить политический порядок. Даже в таких священных малых группах, как семья, единство «общих ценностей» отнюдь не является необходимым; недоверие и ненависть могут составлять ту субстанцию, которая соединяет семью. Общество также может, конечно, процветать без такой «нормативной структуры», которую теоретики высокого стиля считают универсальной.

Я не стремлюсь здесь дать решение проблемы порядка, но только поставить вопросы, ибо если мы не сделаем этого, мы должны будем, как того требует принцип совершенно произвольного определения, *принять* ту «нормативную структуру», которую Парсонс считает сердцем «социальной системы».

Власть, согласно общепринятому теперь значению этого термина в социологии, обозначает всякого рода решения, которые принимают люди относительно жизненных условий и относительно событий, создающих историю их жизни. Случаются события, совершающиеся помимо человеческого решения; социальные структуры изменяются не по явному решению. Но в той мере, в какой такие решения принимаются (или могли бы быть, но не были приняты), проблема того, кто участвует в их принятии (или непринятии), есть основная проблема власти.

Мы не можем сегодня допустить, что людьми в конечном счете нужно управлять на основе их собственного согласия. Среди средств власти, которые преобладают теперь, имеется средство управлять и манипулировать согласием людей. То, что мы не знаем пределов этой власти и что мы надеемся, что она все-таки имеет пределы, не может заслонить того факта, что огромная власть теперь успешно функционирует без санкции разума или самосознания подчиняющегося.

Конечно, в наше время нет необходимости говорить, что в конечном счете принуждение есть «основная» форма власти. Но в этом случае мы отнюдь не всегда

охватываем суть дела. Авторитет (власть, обоснованная убеждениями сознательно подчиняющегося) и манипулирование (власть, осуществляющаяся незаметно для подчиненного) должны рассматриваться наряду с принуждением. В действительности все эти три вида мы должны постоянно различать, когда думаем о природе власти.

В современном мире, я думаю, мы это должны постоянно иметь в виду, власть зачастую не столь авторитетна, как она казалась в период средневековья. Оправдания решений правителей больше не кажутся столь необходимыми для употребления их властью. По крайней мере для многих великих решений нашего времени, особенно в области международных отношений, «убеждение» масс не было «необходимым»; решения просто принимались как свершившийся факт. Кроме того, идеологии, доступные власть имущим, часто не принимаются и не используются ими. Идеологии обычно возникают в ответ на эффективное развенчание власти; в Соединенных Штатах такая оппозиция в недавнее время была недостаточно эффективной, чтобы создать ощутимую потребность для новых правящих идеологий.

Сегодня, конечно, многие, освободившись от верности преобладающим идеям, не приобрели новых и, таким образом, оказались невосприимчивы к политической деятельности вообще. Они не радикалы и не реакционеры. Они неактивны. Если принимать греческое определение идиота как абсолютно частного человека, тогда надо сделать вывод, что многие граждане во многих обществах действительно идиоты. Это, выражаясь осторожно, духовное состояние кажется мне ключом к пониманию многих современных болезней политической интеллигенции, а также ко многим политическим затруднениям современного общества. Интеллектуальное «убеждение» и моральная «вера» вовсе не являются необходимыми ни для правителей, ни для управляемых, чтобы политическая структура продолжала существовать или даже процветать. Поскольку речь заходит о роли идеологий, частое отсутствие убедительных обоснований и преобладание массовой апатии являются двумя центральными политическими фактами западного общества сегодня.

В ходе любого серьезного исследования тот, кто примет только что изложенную точку зрения на природу власти, столкнется со многими вопросами. Но нам вовсе не помогут отвлекающиеся от сути дела допущения Парсонса, который просто предполагает в каждом обществе такую иерархию ценностей, которую мы вообразили. Кроме того, применение этой теории систематически препятствует ясной формулировке важных проблем.

Чтобы принять эту схему, мы должны выбросить из головы реальные факты власти практически всех институциональных структур, в особенности экономической, политической, военной. В этой курьезной «общей теории» такие структуры господства не имеют места. В терминах «общей теории» мы не можем должным образом поставить эмпирический вопрос относительно степени, в которой институты в каждом данном случае узакониваются. Идея нормативного порядка и тот способ, которым высокие теоретики оперируют с ней, заставляет нас принять, что всякая власть, в сущности, узаконена. На самом деле в социальной системе «поддержание дополнительных ролевых ожиданий, однажды установленных, не является проблематичным... Не требуется никаких социальных механизмов для объяснения поддержания дополнительной ориентации взаимодействия»[10].

В этих терминах не может быть эффективно сформулирована идея конфликта. Структурные антагонизмы, восстания большого масштаба, революции — их нельзя и представить. Фактически принимается, что «система», однажды установленная, не только устойчива, но и внутреннее гармонична: нарушения должны быть, по словам Парсонса, «введены в систему». Идея нормативного порядка влечет нас к тому, чтобы признать своего рода гармонию интересов как естественную черту общества; по-видимому, эта идея представляет собой такой же метафизический якорь спасения, каким была подобная же идея среди философов естественного порядка в XVII веке.

Магическое устранение конфликта и чудесное достижение гармонии не дают возможности этой «систематической» и «общей» теории понять социальное изменение, историю. Не только «коллективное поведение» терроризированных масс и возбужденных толп, стихийных движений, которыми наполнена наша эпоха, не находят места в нормативно созданных социальных структурах высоких теоретиков. Но никакие систематические идеи о том, как протекает сама история, каковы ее механизмы и процессы, недоступны большой теории и, следовательно, считает Парсонс, недоступны общественной науке. «Когда такая теория будет разработана, наступит золотой век общественной науки. Это не произойдет в наше время и, вероятнеее всего, не произойдет никогда»[11]. Конечно, это крайне неопределенное утверждение.

Фактически никакая существенная проблема не может быть ясно поставлена в терминах большой теории. Хуже того, ее постановка часто отягощена оценками и затемнена словами-паразитами. Трудно, например, вообразить более бесплодную процедуру, чем анализ американского общества в терминах «ценностной структуры» (универсализм — достижение) без упоминаний об изменяющейся природе, значении и

формах характеристики успеха в современном капитализме или об изменяющейся структуре самого капитализма или же анализ стратификации в Соединенных Штатах в терминах «господствующей системы ценностей», не принимающей во внимание известную статистику жизненных шансов, основанную на уровнях собственности и дохода.

Не думаю, что будет преувеличением сказать, что в той мере, в какой высокие теоретики рассматривают проблемы реалистически, они имеют дело с понятиями, которые не находят места в этой теории и часто противоречат ей. «Поистине удивительно,— отмечает Алвин Гоулднер,— как попытки Парсонса при теоретическом и эмпирическом анализе изменения неожиданно заставляют его усвоить определенные марксистские понятия и предпосылки... Это выглядит почти так, как если бы одновременно пользовались двумя категориями книг: одной — для анализа равновесия и другой—для исследования изменения»[12]. Гоулднер отмечает, что при анализе поражения Германии Парсонс рекомендует направить огонь критики на социальную основу юнкерства как «явления исключительной классовой привилегии» и анализирует состав государственного аппарата в понятиях «классовой базы рекрутирования». Короче говоря, внезапно возникает вся экономическая и профессиональная структура, понимаемая в чисто марксистских понятиях, а не в понятиях нормативной структуры, проектируемой высокой теорией. Это вызывает надежду, что высокие теоретики не полностью потеряли контакты с исторической реальностью.

Теперь я вернусь к проблеме порядка, которая, будучи поставлена до некоторой степени в гоббсовском плане, представляется главной проблемой книги Парсонса. Здесь можно быть кратким, так как в ходе развития социологии эту проблему многократно определяли заново и в наиболее плодотворной постановке ее можно было бы теперь назвать проблемой социальной интеграции; она, конечно, требует рабочей концепции социальной структуры и исторического изменения. В отличие от высоких теоретиков большинство социологов решало бы ее примерно так.

Прежде всего, нет *одного* ответа на вопрос о том, что объединяет социальную структуру, потому что социальные структуры глубоко различаются по степеням и видам их единства. Действительно, типы социальной структуры весьма удачно понимаются как различные способы интеграции. Когда мы нисходим с уровня высокой теории к исторической реальности, мы непосредственно осознаем непригодность ее монолитных Понятий. С их помощью мы не можем осмыслить ни человеческое многообразие, ни нацистскую Германию в 1936 году, ни Спарту в VII веке до н.э., ни Соединенные Штаты в 1936 году, ни Японию в 1866 году, ни Великобританию в 1950 году, ни Рим во времена Диоклетиана. Простое перечисление этого разнообразия убеждает в том, что какие бы общие черты между этими обществами ни были, они во всяком случае должны быть исследованы эмпирически. Приписывать что-либо, кроме самых пустых формальных определений, историческим различиям социальной структуры — значит ошибочно принимать свою способность говорить за весь процесс социального исследования.

Можно успешно анализировать типы социальной структуры в понятиях таких институционализированных порядков, как политический и родственный, военный и экономический, а также религиозный. Определяя каждый из них таким образом, чтобы различать их границы в данном историческом обществе, можно задать вопрос, как каждый из них относится к другим, короче говоря, как они складываются в социальную структуру. Ответы удобно выразить в ряде «рабочих моделей», которые обычно дают возможность лучше понять при анализе конкретных обществ в специфические периоды те связи, которые их определяют.

Такую модель можно представить при помощи одного и того же структурного принципа, действующего в каждом институциональном порядке. Возьмем для примера Америку, как она описана Токвилем. В этом классическом либеральном обществе каждый порядок институтов считается автономным и его свобода обеспечивается координацией с другими порядками. В экономике принцип свободной конкуренции; в религиозной сфере — разнообразие сект и церквей, свободно конкурирующих между собой на рынке спасения души человеческой; в институтах родства — брачный рынок, где индивиды выбирают друг друга. Не благодаря наследству, но благодаря собственным усилиям человек поднимается по социальной лестнице. В политическом порядке партии конкурируют за голоса индивидов, даже в военной области Довольно много свободы в пополнении милиции Штатов и — в широком и очень важном смысле — каждый человек означает общих форм анализа. Вероятно, поэтому один «Бегемот» Ф. Нау-мана стоит двадцати «Социальных систем» Т. Парсонса.

Делая эти замечания, я не претендую на определенное решение проблем порядка и изменения, т.е. социальной структуры и истории. Я делаю это просто, чтобы очертить эти проблемы и наметить некоторые пути исследований в этой области. Возможно, эти замечания окажутся полезными для того, чтобы с большей определенностью понять один из аспектов перспектив социологии. И конечно, я сделал эти

замечания для того, чтобы показать, как неадекватно трактуют высокие теоретики одну из важных проблем социологии. В «Социальной системе» Парсонс оказался не в состоянии включиться в работу социологии потому, что им овладела мысль, будто та модель социального порядка, которую он сконструировал, является универсальной, хотя в действительности он фетишизировал свои Понятия. Что есть «систематического» в этой высокой теории — так это тот способ, посредством которого она избавляется от всяких специфических и эмпирических проблем. Она не используется для того, чтобы точнее или более адекватно поставить какую-либо новую значимую проблему. Она не возникла из потребности подняться выше, чтобы увидеть что-то в социальном мире яснее, чтобы решить проблемы, связанные с той исторической реальностью, в которой люди и институты имеют свое конкретное бытие. Ее проблемы, ее движение и ее решения высокомерно теоретичны.

Уход в систематическую разработку понятий должен быть только формальным моментом в развитии социологии. Полезно вспомнить, что в Германии плоды этой формальной работы скоро нашли применение в энциклопедическом и историческом исследованиях. Это применение, вдохновляемое примером Макса Вебера, было апогеем классической немецкой традиции. В значительной мере оно было подготовлено большой социологической работой, в которой общие концепции тесно соединились с историческим изложением. Классический марксизм сыграл центральную роль в развитии современной социологии; Макс Вебер, подобно многим другим социологам, проделал большую часть своей работы в диалоге с Карлом Марксом. Но недостаток памяти американского ученого мужа всегда нужно иметь в виду.

В высокой теории мы теперь встречаемся еще с одним уходом в формализм, и опять-таки то, что должно быть наукой, кажется, становится постоянством. Как говорят в Испании: «Кто не может играть, тот может тасовать карты»[14].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Grand theory* часто переводится на русский язык как «большая теория», однако прилагательное *«высокая»* гораздо точнее передает смысл эпитета.— *Прим. перев.*

[2] P a r s o n s T. The Social System. Glencoe, 1951. P. 12, 36—37.

[3] Ibid. P. 38—39.

Ibid. P. 41—42. 166

[5] Мы можем также рассматривать его в отношении к его употреблению — к прагматическому аспекту, согласно Ч. Морису.

[6] P a r s o n s T. Op. cit. P. 552.

[7] См. его великолепные замечания к «Социальной системе» (The British Jorn. of Sociology. Vol. VII. N 2. June. 1960).

[8] См. «Немецкую идеологию» К. Маркса и Ф. Энгельса

[9] G e r th H. H., Mi 11 s C. W. Character and Social Structure. N. Y., 1953. P. 300.

[D] P a r s o n s T. Op. cit. P. 205.

[" Цит. по.: Gouldner A, Some Observations on the Systematic Theory. 1945—1955 // Sociology in the USA. Paris, 1956. P. 40.

[D] Ibid. P. 41.

[B] N e u m a n F. Behemoth. N. Y., 1942.

[4] Должно быть очевидным, что тот особый взгляд на общество, который можно обнаружить в текстах Парсонса, имеет прямое идеологическое применение: по традиции такие взгляды ассоциировались с консервативными стилями мышления. Высокие теоретики не часто сходят на политическую арену; конечно, они не часто признают, что их проблемы предполагают политический контекст современного общества, но это, конечно, не лишает их труды идеологического значения. Я не буду анализировать Парсонса в этой связи, так как политический смысл «Социальной системы» лежит так близко к ее поверхности, когда она надлежащим образом переведена, что нет необходимости это пояснять. Высокая теория не играет прямой бюрократической роли и, как я отмечал, ее недостатки ограничивают то общественное влияние, какое она могла бы иметь. Но это могло бы стать, конечно и преимущестзом: ее темнота может сделать ее большей идеологической силой.

Идеологическое значение высокой теории тяготеет к обоснованию устойчивых форм господства. И все же только в том случае, если бы возникла гораздо большая нужда в идеологическом обосновании позиции консервативных групп, высокая теория получила бы шанс стать политически пригодной. JJ начал эту главу с вопроса: является ли высокая теория «Социальной системы» простым набором слов или она имеет глубокое содержание? Мой ответ на этот вопрос таков: около 50% ее содержания — набор слов, 40% хорошо известны по учебникам социологии. Остальные 10%, как мог бы сказать Парсонс, я готов оставить в качестве нерешенных проблем для ваших собственных эмпирических исследований. Мои собственные исследования дают основания полагать, что остальные 10% могут получить — хотя и несколько туманное — идеологическое применение.

ТЕОРИИ СИМВОЛИЧЕСКОГО ИНТЕРАКЦИОНИЗМА

Г. Блумер. КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ[1]

[1] B l u m e r H. Collective Behavior. Chapt. XIX —XXII / New Outline of the Principles of Sociology. N. Y., 1951. P. 167—221 *(Перевод Д. Водотынского).*

Сфера коллективного поведения

Термин «коллективное поведение». Природа коллективного поведения предполагает рассмотрение таких явлений, как толпы, сборища, панические настроения, мании, танцевальные помешательства, стихийные массовые движения, массовое поведение, общественное мнение, пропаганда, мода, увлечения, социальные движения, революции и реформы. Социологи всегда интересовались этими явлениями, но только в последние годы были предприняты попытки сгруппировать их в единый раздел социологии и рассмотреть в качестве различных выражений одних и тех же основополагающих факторов. Термин «коллективное поведение» употребляется для обозначения этой сферы интересов социологии.

Групповая активность как коллективное поведение. С определенной точки зрения практически всякая групповая активность может мыслиться как коллективное поведение. Групповая активность означает, что индивиды действуют *вместе* определенным образом, что между ними существует некое разделение труда и что налицо определенное взаимное приспособление различных линий индивидуального поведения. В этом смысле групповая активность является коллективным делом. В аудитории, например, имеется* определенное разделение труда между преподавателем и учащимися. Учащиеся действуют, придерживаясь каких-то ожидаемых от них линий поведения, и равным образом для преподавателя характерен какой-то особый, ожидаемый от него вид деятельности. Действия учащихся и преподавателя приспосабливаются друг к другу, чтобы сформировать упорядоченное и согласованное групповое поведение. Это поведение коллективно по своему характеру.

Основа коллективного поведения. В только что приведенном примере коллективное поведение появляется потому, что учащиеся и преподаватели обладают общим пониманием или традициями в отношении того, каким образом они должны вести себя в аудитории. От учащихся ожидаются определенные линии поведения, и они сознают подобные ожидания; точно так же и от преподавателя ожидаются вполне определенные действия, и он отдает себе отчет в подобном ожидании. Это направление поведения определенными экспектациями всегда отмечает групповую активность, которая находится под влиянием обычая, традиции, условностей, правил или институционных регулятивов. Таким образом, могут быть высказаны два положения: во-первых, подавляющее большинство случаев коллективного поведения людей объясняется их общими экспектациями и пониманием; во-вторых, значительная доля социологической сферы исследования посвящена изучению подобного коллективного поведения. Когда социолог изучает обычаи, предания, игровые традиции, нравы, институты и социальную организацию, он имеет дело с социальными правилами и социальными детерминантами, посредством которых организуется коллективное поведение.

Коллективное поведение как раздел социологии. Из предыдущего утверждения вытекает один вопрос: если практически вся социология связана с рассмотрением коллективного поведения, то в каком смысле можно говорить об исследовании *коллективного поведения* как об отдельном разделе социологии? Ответ на этот вопрос позволит нам с большей ясностью определить, на что именно направлено исследование коллективного поведения.

Элементарные формы коллективного поведения. В то время как основной объем человеческого коллективного поведения существует в форме регулируемой групповой деятельности, достаточно часто наблюдается и такое коллективное поведение, которое не находится под влиянием каких-то правил или экспектаций. Возбужденная толпа, биржевая паника, состояние военной истерии, обстановка социальной напряженности представляют собой примеры такого рода коллективного поведения. В этих случаях коллективное поведение возникает спонтанно и не подчиняется предустановленным соглашениям (understandings) или традициям. Изучение именно таких элементарных и спонтанных форм и составляет один из наиболее интересных моментов в сфере исследования коллективного поведения.

Организованные формы коллективного поведения. Не менее интересно в исследовании коллективного поведения прослеживание того пути, по которому элементарные и спонтанные формы развиваются в организованные. Обычаи, условности, институты и социальная организация . претерпевают определенное развитие, представленное переходом от расплывчатого и неорганизованного состояния к устоявшемуся и организованному статусу. Определение путей и характера подобного развития

становится в изучении коллективного поведения весьма важным аспектом.

Определение коллективного поведения. Приведенные в самой общей форме, эти замечания предполагают, что исследователь коллективного поведения стремится к пониманию условий возникновения нового социального строя, так как его появление равнозначно возникновению новых форм коллективного поведения. Эта формулировка позволяет отделить область изучения коллективного поведения от прочих социологических исследований. Можно сказать, что социология в целом занимается изучением социального строя и его составляющих (обычаев, правил, институтов и т. д.) как таковых; исследование же коллективного поведения занимается изучением путей становления этого социального строя в смысле возникновения и закрепления новых форм коллективного поведения.

Элементарное коллективное поведение. Круговая реакция и социальное беспокойство. Природа круговой реакции

Ключ к пониманию природы коллективного поведения дает осознание той формы социального взаимодействия, которая была названа *круговой реакцией.* Она относится к такому типу взаимного возбуждения (interstimulation), в рамках которого реакция одного индивида воспроизводит возбуждение. Так взаимное возбуждение приобретает круговую форму, при которой индивиды отражают настроения (states of feeling) и таким образом интенсифицируют их. Это хорошо видно на примере передачи эмоций и настроений между людьми, находящимися в состоянии возбуждения. Еще более очевиден этот процесс в охваченном страхом стаде животных. Выражение страха мычанием, тяжелым дыханием и телодвижениями вызывает то же самое настроение и у других животных стада, которые, по мере того как они в свою очередь выражают свой страх, интенсифицируют это эмоциональное состояние друг у друга. Именно в таком процессе круговой реакции и возникает в стаде общее состояние интенсивного страха и возбуждения, как, например, в случае панического бегства.

Природа круговой реакции может быть понята глубже, если сопоставить ее с истолковательным взаимодействием — формой, встречающейся главным образом среди ассоциированных человеческих существ. Обычно люди откликаются друг на друга, например при поддержании общения, истолковывая действия или замечания друг друга и затем реагируя на основании этого истолкования. Отклики, следовательно, не производятся непосредственно на стимул, но, скорее, следуют за истолкованием; они, очевидно, отличаются по своей природе от стимулирующих действий, являясь, по существу, приспособлениями к этим действиям. Таким образом, истолковательное взаимодействие можно сравнить с игрой в теннис; оно имеет характер скорее челночного, а не кругового процесса. Оно стремится в известной степени сделать людей разными; круговая же реакция стремится сделать людей одинаковыми.

Круговая реакция в коллективном поведении. Круговая реакция весьма распространена среди людей. Это основная форма взаимного возбуждения, присутствующая в спонтанном и элементарном коллективном поведении. Ее роль в этом отношении будет видна в анализе социального беспокойства, коллективного возбуждения, социальной инфекции и на примере действий толпы. Здесь же можно отметить, что из нее вырастает коллективное или разделенное (shared) поведение, которое не основано на присоединении к общим соглашениям или правилам. По этой причине круговая реакция и является естественным механизмом элементарного коллективного поведения.

Происхождение элементарного коллективного поведения. В каких условиях возникает спонтанное и элементарное коллективное поведение? Похоже, в условиях неустойчивости или нарушения привычных форм существования или заведенного распорядка жизни. Там, где групповая жизнь удовлетворительно поддерживается в согласии с правилами или культурными установлениями, очевидно, нет никакого повода для возникновения каких-либо новых форм коллективного поведения. Желания, потребности и предрасположения людей удовлетворяются посредством обычной культурной деятельности их групп. В случае же какого-либо нарушения этих установленных образцов действия или появления каких-то новых предрасположений, которые не могут быть удовлетворены существующими культурными установлениями, возникновение элементарного коллективного поведения вполне вероятно.

Фактор беспокойства. Когда у людей есть побуждения, желания или предрасположения, которые не могут быть удовлетворены наличными формами существования, они оказываются в состоянии беспокойства. Они ощущают побуждение к действию, но одновременно и препятствие, мешающее его исполнению; в результате они испытывают дискомфорт, фрустрацию, неуверенность и, как правило, отчуждение или одиночество. Это внутреннее напряжение, в отсутствие способов его снятия, обычно выражается в беспорядочной и некоординированной деятельности. Это признак беспокойства. Внешне эта деятельность, вероятнее всего, имеет лихорадочный

характер, лишена последовательности и напоминает какое-то блуждание в потемках; внутренне она, вероятнее всего, принимает форму расстроенного воображения и беспорядочных эмоций. В своих наиболее острых формах она характерна для невротического поведения.

Развитие социального беспокойства. Присутствие чувства беспокойства среди множества индивидов, однако, не обязательно означает наличие какого-то состояния социального беспокойства. Лишь когда чувство беспокойства вовлекается в круговую реакцию или становится инфекционным, налицо социальное беспокойство. Социальное беспокойство можно рассматривать как социализацию чувства беспокойства. Если индивидуальное чувство беспокойства не имеет эффекта взаимного возбуждения и подкрепления, оно не является ни разделенным, ни коллективным. Это состояние, как кажется, верно описывает современное невротическое чувство беспокойства. Невротического индивида можно рассматривать как изолированного и социально вычлененного— это тот, кому трудно быть раскованным, простым и непосредственным в общении с другими людьми. Его расстроенные чувства возникают в качестве, скорее, реакции против других индивидов, чем солидаризующегося разделения их чувств. Проявление невротического чувства беспокойства способно раздражать и отталкивать других. И наоборот, в случае социального беспокойства оно имеет взаимообразный характер, т. е. его проявление пробуждает некое схожее состояние беспокойства у других, по мере того как индивиды взаимодействуют друг с другом, возникает взаимное подкрепление этого состояния. Отсюда следует, что социальное беспокойство, вероятнее всего, присутствует там, где люди обладают повышенной чувствительностью друг к другу или охотно вступают в контакт, а также там, где они вместе переносят разрушение своего заведенного жизненного уклада. Эти условия встречаются в таких случаях социального беспокойства, как революционные волнения, аграрные волнения, женский протест, религиозные и моральные волнения, трудовые конфликты, если упомянуть лишь некоторые из множества форм. Эти случаи обнаруживают фундаментальное расстройство эмоций, сознания и поведения людей, вызванное значительными изменениями в их жизненных укладах.

Протяженность и интенсивность социального беспокойства. Социальное беспокойство может различаться как по протяженности, так и по интенсивности. Оно может быть ограничено небольшой общиной, например небольшим шахтерским поселком в период стачки, но может также распространяться и на более многочисленное, разбросанное на большом пространстве население, как, например, в случае современных волнений в исламском мире. Оно может быть мягким и иметь общий характер, как в большинстве случаев современного морального беспокойства, или же быть конкретным и острым, как в революционных волнениях, непосредственно предшествовавших русской революции 1917 года. Ограниченное или протяженное, подавленное или острое, социальное беспокойство имеет определенные общие черты, которые должны быть обозначены.

Черты социального беспокойства. Одной из наиболее интересных черт социального беспокойства является беспорядочный характер поведения. Люди суматошно и бесцельно суетятся, словно бы стремясь найти что-то или избежать чего-то, но не имея при этом никакого представления о том, что же именно они стараются найти или чего избежать. Действительно, как раз это отсутствие понимаемых целей и объясняет беспокойное поведение. Люди находятся в состоянии напряжения и неловкости и чувствуют сильный позыв к действию. Этот позыв к действию в отсутствие целей с необходимостью ведет к бесцельному и беспорядочному поведению.

Другой важный признак социального беспокойства — возбужденные чувства, обычно в форме смутных предчувствий, тревоги, страхов, неуверенности, рвения или повышенной агрессивности. Такие возбужденные чувства способствуют распространению слухов и преувеличений. Подобные черты поведения обычно обнаруживаются во всех обстоятельствах социального беспокойства.

Третью важную черту социального беспокойства составляют раздражительность и повышенная внушаемость людей. В состоянии социального беспокойства люди психологически неустойчивы, подвержены действию беспорядочных побуждений и эмоций. Их внимание становится изменчивым и непостоянным, лишается обычной последовательности. Их состояние делает их гораздо более восприимчивыми по отношению к другим, но также и менее постоянными и твердыми в своем настроении и образе действий. Осознать эту возросшую неустойчивость и чувство беспокойства — значит понять, почему люди в состоянии социального беспокойства так внушаемы, так легко откликаются на различные новые стимулы и идеи, а также более податливы.

Роль социального беспокойства. Эти замечания указывают на важную роль социального беспокойства. С одной стороны, это симптом распада или крушения жизненного устройства. С другой стороны, оно означает начальную подготовку к новым формам коллективного поведения. Этот последний пункт особенно важен. В метафорическом смысле социальное беспокойство может восприниматься как

неорганизованное, неконтролируемое, изменчивое и активное состояния. Привычные формы деятельности разрушены, и индивиды стали податливыми, готовыми воспринять новые воздействия. Социальное беспокойство можно рассматривать как суровое испытание, в котором выплавляются новые формы организованной деятельности, такие, как социальные движения, реформы, революции, религиозные культы, духовное пробуждение и новые моральные установления. В себе самом оно может мыслиться как обладающее большим потенциалом различных выражений; это значит, что существует множество альтернативных форм заново организованной деятельности, в которые может вылиться само социальное беспокойство. Нам будет интересно проследить, каким образом социальное беспокойство развивается и выражает себя в новых формах поведения.

Механизмы элементарного коллективного поведения

Характеристики элементарных механизмов. Поведение людей, находящихся в состоянии социального беспокойства, выказывает ряд типичных форм взаимодействия, которые мы можем обозначить как элементарные механизмы коллективного поведения. Они элементарны потому, что возникают спонтанно и естественно, они являются простейшими и древнейшими способами взаимодействия людей с целью осуществления совместной деятельности и обычно ведут к более развитым и сложным формам.

Толчея (milling). Основным типом таких элементарных форм является толчея. Толчея может пониматься как круговая реакция в чистом виде. В толчее люди бесцельно и беспорядочно кружатся друг возле друга, подобно переплетающимся движениям овец, которые находятся в состоянии возбуждения. Первейшая цель толчеи состоит в том, чтобы сделать индивидов более восприимчивыми и отзывчивыми друг к другу, чтобы они становились все больше заняты лишь друг другом и все меньше отзывались на обычные объекты возбуждения. Это именно то состояние, к которому относится термин *контакт (rapport).* В преувеличенной форме мы наблюдаем это состояние в случае гипноза. Гипнотизируемый все больше становится занят одним лишь гипнотизером таким образом, что его внимание оказывается прикованным к гипнотизеру, и он соответственно развивает иммунитет к большинству других типов возбуждения, на которые он откликнулся бы в обычных условиях. Толчея имеет тенденцию вызывать это состояние в людской среде. Внимание людей становится все больше сфокусировано друг на друге и все меньше — на объектах и событиях, которые привлекли бы его в обычных условиях. Оказавшись занятыми исключительно друг другом, они склонны откликаться друг на друга быстро, непосредственно и бессознательно. Поскольку толчея привносит эту поглощенность друг другом и эту готовность к быстрому отклику, она явственно способствует коллективному поведению. Люди в этом состоянии гораздо более расположены действовать сообща, под влиянием общего побуждения или настроения, чем действовать порознь, под влиянием эмоций, не являющихся для них общими. С этой точки зрения толчея может рассматриваться в качестве элементарного и естественного средства, с помощью которого люди спонтанно подготавливаются к совместному действию.

Коллективное возбуждение (excitement). Мы можем выделить коллективное возбуждение в качестве наиболее интенсивной формы толчеи и рассматривать его как отдельный элементарный механизм, приводящий к коллективному поведению. Хотя оно может рассматриваться в качестве интенсификации толчеи и, следовательно, как обладающее общими характеристиками круговой реакции, оно отличается также и определенными специфическими признаками, заслуживающими нашего внимания. Во-первых, невозможно не дать высокой оценки той силе, с которой возбужденное поведение захватывает и приковывает внимание наблюдателей. Во всех сообществах — как животном, так и человеческом — все индивиды особенно восприимчивы к проявлению возбуждения по отношению друг к другу. Такое возбужденное поведение трудно игнорировать; чтобы сделать это, индивид должен покинуть сцену действия или сконцентрировать свое внимание на каком-то другом объекте при помощи каких-то вербальных формул. Его естественная тенденция — уделить внимание возбужденному поведению и проявить к нему интерес. Эта сила возбужденного поведения, полностью подчиняющая внимание, представляет особый интерес, поскольку именно в той степени, в какой индивид оказывается поглощенным каким-либо объектом, он попадает под его контроль. Человек контролирует самого себя перед лицом какого-либо объекта внимания в той степени, в какой он способен пробуждать в своем сознании образы, которые он может противопоставить этому объекту. И все же возбужденное поведение как объект внимания препятствует этому процессу направленного воображения. Там, где люди в результате воздействия какой-либо формы толчеи оказываются в состоянии коллективного возбуждения, эта потеря нормального контроля приобретает ярко выраженный характер, подготавливая почву для инфекционного поведения.

Другая интересная черта коллективного возбуждения состоит в том, что под его

влиянием люди становятся более «заведенными» в эмоциональном отношении и больше обычного склонны отдаваться всевозможным побуждениям и чувствам, а следовательно, делаются менее устойчивыми и более безответственными. При коллективном возбуждении личный характер индивидов ломается с большей легкостью и, таким образом, создаются условия для реорганизации и образования новых форм поведения. При коллективном возбуждении индивиды могут начать придерживаться таких линий поведения, о которых прежде они, вероятно, и не помышляли и, еще менее вероятно, что осмелились бы придерживаться. Точно так же, находясь под его нажимом и располагая возможностями для снятия напряжения, индивиды могут испытать значительную реорганизацию своих чувств, привычек и личностных характеристик. Эти замечания показывают, сколь влиятельно может быть коллективное возбуждение в деле сплачивания людей в новые формы коллективной ассоциации и в создании фундамента для новых форм коллективного поведения.

Социальная инфекция. Там, где коллективное возбуждение интенсивно и широко распространено, есть большая вероятность возникновения социальной инфекции того или иного рода. Социальная инфекция относится к сравнительно быстрому, бессознательному и нерациональному распространению каких-либо настроений, порывов или форм поведения; это хорошо видно на примере распространения помешательств, маний и увлечений. В своих наиболее крайних формах она принимает характер социальной эпидемии, как, например, в случае тюльпанной лихорадки в Голландии в XVII веке или же танцевальной мании в средние века. В современную эпоху мы видим ее отчетливые проявления в эволюции военной истерии или в процессе развития биржевой паники.

Социальная инфекция может рассматриваться в качестве интенсивной формы толчеи и коллективного возбуждения; в ней ярко выражено углубление контакта и безумной отзывчивости индивидов по отношению друг к другу. Наиболее интересным и захватывающим в социальной инфекции является то, что она привлекает и заражает и тех индивидов, которые первоначально были просто отрешенными от происходящего и безразличными зрителями или наблюдателями.

Вначале люди могут просто проявлять любопытство по поводу данного поведения или слабо интересоваться им. По мере того как они ухватывают дух возбуждения и становятся более внимательными к этому поведению, они все более склоняются к тому, чтобы самим в него вовлечься. Это можно рассматривать как некое снижение социального сопротивления, вызванное тем, что они претерпевают определенную утрату самосознания и соответственно способности истолковывают действия других. Самосознание есть средство оградить себя от влияния других, так как с его помощью индивид сдерживает свои непосредственные, естественные отклики и побуждения и составляет свое собственное суждение, прежде чем действовать. Следовательно, когда люди находятся под гнетом коллективного возбуждения, становясь все более и более поглощенными данным типом поведения, они легче подвержены влиянию возникающих у них побуждений. Там, где люди уже имеют общее предрасположение действовать каким-то определенным образом, например стремиться к наживе, бежать от опасности или выражать ненависть, проявление этого поведения в условиях коллективного возбуждения легко высвобождает их соответствующие побуждения. В таких условиях данный тип поведения будет распространяться подобно греческому огню, как это можно наблюдать на примере разгула биржевой спекуляции (a speculative orgy), финансовой паники или волны патриотической истерии.

Стадии спонтанного поведения. Толчея, коллективное возбуждение и социальная инфекция присутствуют в различной степени во всех проявлениях спонтанного группового поведения. Особенно часто их можно встретить на более ранних стадиях развития этого поведения, но они могут присутствовать в определенном смысле на любом этапе развития этого поведения. Так, в случае какого-нибудь социального движения мы обнаруживаем, что они наиболее ярко выражены в ранний период, но продолжают функционировать еще долгое время, хотя и менее явственно. Этот процесс может быть понят с учетом их социальной функции, как это было обозначено выше. Их действие, как мы увидели, нацелено на объединение людей на самом примитивном уровне и тем самым на создание фундамента более прочных форм объединения.

До сих пор мы пытались вкратце очертить природу коллективного поведения в его наиболее элементарной и спонтанной форме, а также объяснить природу механизмов, посредством которых оно действует. Наша непосредственная задача — проанализировать различные типы элементарных коллективных групп; далее рассмотрим, каким образом коллективное поведение организуется и сплачивается в новые формы группового и институционального поведения. Можно выделить четыре типа элементарных коллективных групп: действующая толпа, экспрессивная толпа, масса и общественность. Эти социальные группировки можно рассматривать в качестве элементарных постольку, поскольку они возникают спонтанно и их действие не направляется и не определяется существующими культурными моделями. Каждая имеет

свой особый характер, и каждая возникает при особом наборе условий.

Элементарные коллективные группирования

Действующая толпа. Большая часть первоначальных интересов социологов в сфере коллективного поведения была сосредоточена на изучении толпы. Этот интерес был особенно живым в конце прошлого века и прежде всего среди французских исследователей. Наиболее яркое выражение он получил в классической работе «Толпа» Гюстава Ле Бона (1897). Этот и другие труды дали нам значительную долю понимания природы и поведения толпы, хотя многое все еще остается непознанным.

Типы толпы. Следует выделить четыре типа толпы. Первый может быть назван случайной толпой, как, например, в случае уличкой толпы, наблюдающей за манекеном в витрине магазина. Случайная толпа обычно существует лишь мгновения, и, что более важно, она имеет очень рыхлую организацию и едва ли какое-либо единство. Ее члены приходят и уходят, уделяя лишь временно внимание объекту, который возбудил интерес толпы, и вступая лишь в слабую связь (association) друг с другом. Хотя главные механизмы формирования толпы присутствуют в случайной толпе, они настолько незначительны в объеме и слабы в действии, что далее мы не станем заниматься этим типом толпы. Второй тип может быть определен как *обусловленная* (conventionalized) толпа, как, например, зрители захватывающего бейсбольного матча. Их поведение, по существу, схоже с поведением случайных толп, за исключением того, что оно выражается в установленных и упорядоченных формах. Именно эта упорядоченная деятельность и является отличительным признаком обусловленной толпы как особого типа. Третьим типом толпы является *действующая,* агрессивная толпа, наилучшим образом представленная революционной толпой или линчующим сбродом. Заметным признаком этого типа толпы является наличие цели, на которую направлена деятельность толпы. Этот тип толпы является объектом изучения практически во всех исследованиях толпы. Последний тип — *экспрессивная,* или так называемая танцующая, толпа, это такая, которая столь часто встречается в религиозных сектах при их возникновении. Ее отличительной чертой является то, что возбуждение выражается физическим движением просто как некой формой снятия напряжения, а не направленным на какую-либо цель. В этой главе мы рассмотрим действующую толпу, а в следующей — танцующую.

Формирование толпы. Существенные ступени формирования толпы представляются достаточно ясными. Сначала происходит какое-либо волнующее событие, которое приковывает внимание и пробуждает интерес людей. Становясь все более поглощенным этим событием и подстрекаемым его возбуждающим характером, индивид склоняется к утрате части своего обычного самоконтроля и подчинению возбуждающему объекту. Далее этот вид переживания, пробуждая различные порывы и эмоции, создает определенную ситуацию напряжения, которая в свою очередь принуждает индивида к действию. Таким образом определенное число людей, стимулируемых одним и тем же возбуждающим событием, предрасположено самим этим фактом вести себя подобно толпе.

Это становится ясным на втором этапе — зарождение толчеи. Напряжение индивидов, взбудораженных каким-либо возбуждающим событием, заставляет их суетиться и болтать друг с другом; в этой толчее первоначальное возбуждение возрастает. Возбуждение каждого передается другим и, как мы отметили выше, отражаясь, возвращается обратно к каждому и усиливает его собственное возбужденное состояние. Наиболее очевидным результатом этой толчеи является распространение некоего общего настроения, ощущения или эмоционального порыва, а также рост их интенсивности. Это действительно ведет к состоянию подчеркнутого контакта, в котором индивиды становятся очень восприимчивыми и отзывчивыми по отношению друг к другу и в котором вследствие этого все более расположены действовать сообща как некая коллективная единица. И другой важный результат может проистекать из процесса толчеи, который можно рассматривать как третий важный этап в процессе формирования действующей толпы. На этом этапе возникает некий общий объект внимания, на котором фокусируются порывы, эмоции и воображение людей. Обычно общим объектом является возбуждающее событие, взбудоражившее людей, но гораздо чаще им является некий образ, выстроенный и зафиксированный в пересудах и действиях людей, пока они толкутся. Этот образ или объект, так же как и возбуждение, является общим и разделяется всеми. Его важность в том, что он дает людям некую общую ориентацию и, таким образом, сообщает их деятельности некоторую общую цель. С этой общей целью толпа готова действовать согласованно, целенаправленно и последовательно.

Последний этап можно представить себе как стимулирование и поощрение порывов, соответствующих цели толпы, вплоть до того момента, когда ее члены готовы действовать под их влиянием. Одобрение и кристаллизация порывов являются результатом взаимного возбуждения, которое имеет место в толчее в качестве отклика на лидерство (leadership). Оно имеет место главным образом как результат образов, пробужденных в процессе внушения и подражания и подкрепленных взаимным одобрением. Когда члены толпы

имеют некий общий порыв, направленный на фиксированный образ и поддержанный какой-либо интенсивной коллективной эмоцией, они готовы действовать, и действовать агрессивно, что типично для действующей толпы.

Характеристики действующей толпы. Теперь мы можем охарактеризовать природу, действующей толпы, или, как также называют ее некоторые авторы, психологической толпы. Следует отметить, во-первых, что подобная группа спонтанна и живет сиюминутным настоящим. Как таковая, она не является обществом или культурной группой. У нее нет наследия или традиций, которые направляли бы ее деятельность, нет никаких условностей, установленных традицией экспектаций или правил. Ей недостает и других важных признаков общества, таких, как установленная социальная организация, установленное разделение труда, структура установленных ролей, признанное лидерство, набор норм и нравственных предписаний, сознание своей собственной идентичности или признанное «мы — сознание». Поэтому вместо того чтобы действовать на основании установленного правила, она действует на основании пробужденного порыва. Так же как она выступает в этом смысле некультурной группой, она равным образом выступает и неморальной группой. В свете этого факта нетрудно понять, что действия толпы могут быть странными, отталкивающими и порой зверскими. Не имея никакой совокупности определений или правил для направления своего поведения и действуя на основании порыва, толпа непостоянна, подвержена внушению и безответственна.

Этот характер толпы может быть лучше оценен, если мы поймем состояние ее типичного члена. Такой индивид теряет обычное критическое восприятие и самоконтроль, как только он вступает в контакт с другими членами толпы и проникается тем коллективным возбуждением, которое господствует над ними. Он прямо и непосредственно откликается на замечания и действия других, вместо того чтобы истолковывать их, как он сделал бы в обычных условиях. Его неспособность анализировать действия других прежде, чем откликаться на них, порождает его собственное стремление действовать. Следовательно, порывы, пробужденные в нем его сочувствием коллективному возбуждению, скорее получат немедленное выражение, чем покорятся его собственному суждению. Именно это состояние и является признаком внушаемости; оно объясняет, почему в толпе роль внушения так ярко выражена. Следует отметить, однако, что эта внушаемость ни на йоту не отклоняется от того направления, в котором действуют пробужденные порывы; внушения, которые противоречат им, игнорируются. Это ограничение сферы внушаемости, но вкупе с интенсификацией внушаемости внутри этих границ является тем пунктом, который часто упускался из виду исследователями толпы.

Недостаток обычного критического отношения и пробуждение порывов и эмоций объясняют эксцентричное неистовое и неожиданное поведение, которое столь часто можно наблюдать у членов настоящей толпы. Порывы, которые в обычных условиях подверглись бы суровому подавлению благодаря способности индивида к суждению и самоконтролю, теперь находят выход для своего выражения свободным. То, что многие из этих порывов должны иметь атавистический характер, неудивительно, и, следовательно, не является неожиданностью и то, что в реальности это поведение, как правило, бывает насильственным, жестоким и разрушительным. Далее, высвобождение порывов и эмоций, которое не встречает никакого ограничения, которое овладевает индивидом и которое получает квазиодобрение благодаря поддержке других людей, дает индивиду ощущение своей силы, возрастания значимости своего «Я», своей праведности и прямоты. Таким образом, он должен приобретать чувство неуязвимости и убежденности в правоте своих действий.

Поведение толпы может быть понято лучше с учетом следующих характеристик ее индивидуального члена: потеря им самоконтроля и способности к критическому суждению; наплыв порывов и эмоций, многие из которых обычно подавлены; ощущение возрастания его значимости; подверженность внушению со стороны окружения. Следует помнить о том, что это состояние членов толпы обусловлено их исключительно плотным контактом и взаимным возбуждением, а также о том, что этот контакт в действующей толпе в свою очередь был организован вокруг определенной общей цели деятельности. Общее сосредоточение внимания, контакт и растворение индивидов в толпе, составляющие единый процесс, являются просто различными фазами друг друга, и этим объясняются единство толпы и всеобщий характер ее поведения.

Чтобы предотвратить образование сборища или рассеять его, необходимо переориентировать внимание таким образом, чтобы оно не было коллективно сосредоточено на каком-то одном объекте. Таков теоретический принцип, лежащий в основе контроля над толпами. Когда внимание членов толпы направлено на различные объекты, они образуют некий агрегат индивидов, а не толпу, объединенную тесным контактом. Так, способами, с помощью которых можно рассеять толпу, являются: обращение людей в состояние паники, возбуждение в них интереса к другим объектам, привлечение их к дискуссии или аргументированному спору.

Наше исследование толпы представило те психологические узы толпы, или тот ее дух, который можно назвать стадностью (crowd-mindedness), если воспользоваться удачным выражением Э. А. Росса[2]. Если мы мыслим в терминах стадности, становится ясным, что многие группы могут приобретать характер толпы, даже не будучи столь малочисленными, как, например, сборище линчующих. В определенных условиях и целая нация может оказаться подобной толпе. Если люди становятся поглощенными одним и тем же волнующим событием или объектом, если они достигают высокой степени взаимного возбуждения, отмеченного отсутствием разногласий, и если они обладают мощными порывами к действию в направлении того объекта, которым они поглощены, их действие будет подобно действию толпы. Нам известно такое поведение, принимающее значительный размах, на примере социальной инфекции, такой, как инфекция патриотической истерии.

[2] Ross E. A. Social Psychology. N. Y. 1908. 180

Экспрессивная толпа

Доминантный признак экспрессивной толпы. Отличительной чертой действующей толпы, как мы увидели, является направленность внимания на какую-либо общую цель; действия толпы — это поведение, предпринятое для достижения этой цели. В противоположность этой характеристике доминантным признаком экспрессивной толпы является ее обращенность на самое себя, интровертность. Она не имеет никакой цели — ее порывы и эмоции растрачиваются не более чем в экспрессивных действиях, обычно в ничем не сдерживаемых физических движениях, дающих снятие напряжения и не имеющих никакой другой цели.

Мы наблюдаем подобное поведение в его ярко выраженной форме на примере вакханалий, карнавалов и пляшущих толп примитивных сект.

Сравнения с действующей толпой. Объясняя природу экспрессивной толпы, мы должны отметить, что и по своему образованию и по фундаментальному характеру она очень напоминает действующую толпу. Она состоит из возбужденных людей, которые толкутся и тем самым распространяют и интенсифицируют возбуждение. В их среде возникает то же состояние контакта, отмеченное быстродействующей и неосмысленной взаимной отзывчивостью. Индивиды утрачивают самосознание. Пробуждаются порывы и эмоции, и они больше не подвержены ограничению и контролю, которые обычно осуществляет над ними индивид. В этих отношениях экспрессивная толпа в основе своей подобна действующей толпе.

Фундаментальное различие состоит в том, что экспрессивная толпа не вырабатывает образа какой-то цели и, следовательно, внушение не ведет к действию, не участвует в построении какого-то плана действий. Не имея никакой цели, в направлении которой она могла бы действовать, толпа оказывается в состоянии разрядить возникшее в ней напряжение и возбуждение только в физическом движении. Если сформулировать это сжато, то следует сказать: толпа *должна* действовать, но она не обладает ничем, в направлении чего она *может* действовать, и поэтому она попросту предается возбужденным движениям. Возбуждение толпы стимулирует дальнейшее возбуждение, не организующееся, однако, вокруг некоторого целенаправленного действия, которое могла бы стремиться выполнить эта толпа. В такой ситуации внешнее выражение возбужденных чувств становится самоцелью, поэтому поведение может принимать формы смеха, плача, крика, скачков и танцев. В своем более резком выражении она может принимать такие формы, которые сопровождаются невнятным бормотанием всякого вздора или же сильнейшими физическими судорогами.

Ритмическое выражение. Вероятно, наиболее интересной чертой этого экспрессивного поведения, поскольку оно осуществляется коллективно, является его тенденция становиться ритмическим; при повторении и достаточном контакте оно принимает форму согласованного действия людей. Легко заметить, что оно может стать схожим с коллективным танцем; именно этот аспект подталкивает к определению экспрессивной толпы как танцующей.

Можно сказать, что, подобно тому как действующая толпа усиливает свое единство посредством формирования какой-то общей цели, экспрессивная толпа формирует свое единство посредством ритмического выражения своего напряжения.

Эта черта имеет исключительную важность, так как проливает некоторый свет на интереснейшую связь между «танцующим» поведением и первобытным религиозным чувством. Для иллюстрации этого пункта рассмотрим переживания индивида в танцующей толпе.

Индивид в экспрессивной толпе. Возбуждение, которое индивид воспринимает от тех, кто находится с ним в контакте, уменьшает его обычный самоконтроль, а также

пробуждает импульсивные эмоции, постепенно завладевающие им. Он чувствует, будто он увлечен неким духом, происхождение которого неведомо, но воздействие которого воспринимается весьма остро. Вероятно, два условия делают это переживание переживанием экстаза и экзальтации и придают ему священный, или божественный, оттенок. Первое состоит в том, что это переживание по природе своей является катарсическим. Индивид, который находился в состоянии напряжения, дискомфорта и, возможно, тревоги, внезапно получает полную разрядку и испытывает радость и полноту жизни, приходящие с подобным облегчением. Это естественное удовлетворение, безусловно, доставляет наслаждение и радость, которые делают это переживание весьма значимым. Тот факт, что подобное настроение завоевывает столь полный и беспрепятственный контроль над индивидом, легко приводит его к ощущению, будто он одержим или исполнен неким запредельным духом. Другое условие, которое придает этому переживанию религиозный характер, состоит в поощрении и одобрении, заключающихся в той поддержке, которая исходит от тех, с кем он находится в контакте. Тот факт, что и другие разделяют это же переживание, избавляет последнее от подозрений и делает возможным его безоговорочное принятие. Когда какое-либо переживание доставляет полное и совершенное удовлетворение, когда оно социально стимулируется, поощряется и поддерживается, когда оно выступает в форме таинственной одержимости потусторонними силами, оно легко приобретает религиозный характер. *Развитие коллективного экстаза.* Когда экспрессивная толпа достигает высшей точки подобного коллективного экстаза, это чувство приобретает тенденцию проецироваться на те объекты, которые ощущаются как находящиеся с ним в некой тайной и тесной связи. В результате эти объекты становятся священными для членов толпы. Эти объекты могут быть всем чем угодно; в их число, могут включаться люди (например, какой-нибудь религиозный пророк), танец, песня или же физические объекты, которые воспринимаются как связанные с этим экстатическим опытом. Появление таких священных объектов закладывает основу для формирования какого-нибудь культа, секты или примитивной религии.

Не все экспрессивные толпы достигают этой ступени развития. Большинство и них не заходят дальше ранней стадии толчеи, или возбуждения. Но имплицитно они обладают возможностью такого развития и большинством из этих характерных черт, пусть даже и в подавленной форме.

Как и действующая толпа, экспрессивная толпа не обязательно ограничивается какой-либо небольшой компактной группой, члены которой находятся в непосредственной физической близости друг к другу. Характерное для нее поведение можно порой встретить и в какой-нибудь крупной группе, такой, например, как общественность (public) в масштабах целой нации.

Оценка. Здесь можно привести краткую оценку действующей толпы и экспрессивной толпы. Обе они являются спонтанными группированиями. Обе они представляют собой элементарные коллективы. Их форму и структуру невозможно возвести ни к какой культурной модели или же набору правил; структуры, которыми они обладают, совершенно самобытно развиваются из толчеи возбужденных индивидов. Действующая толпа фокусирует свое напряжение на некой цели и таким образом организуется вокруг некоего плана действий; экспрессивная толпа попросту разряжает свое напряжение в экспрессивном движении, которое имеет тенденцию становиться ритмическим, и именно таким образом устанавливает определенное единство. В обеих толпах индивид лишается большей части репертуара своего обычного сознательного поведения и становится уступчивым, податливым в тигле коллективного возбуждения. С разрушением его прежней личностной организации индивид должен развивать новые формы поведения и выкристаллизовать какую-то новую личностную организацию, двигаясь в новых и отличающихся от прежних направлениях. В этом смысле стадное поведение является средством, с помощью которого осуществляется разрушение социальной организации и личностной структуры, и в то же время потенциальным проектом возникновения ноых форм поведения и личности. Действующая толпа представляет собой одну из альтернативных линий для такой реорганизации — развитие агрессивного поведения в направлении целенаправленного социального изменения. Мы увидим, что эта линия реорганизации приводит к возникновению политического строя. Экспрессивная толпа представляет собой другую альтернативу — разрядку внутреннего напряжения в поведении, которое имеет тенденцию становиться священным и отмеченным глубоким внутренним чувством.

Ее можно рассматривать как приводящую к возникновению религиозного строя поведения.

Масса

Мы выбираем термин *масса* для обозначения другого элементарного и спонтанного

коллективного группирования, которое во многих отношениях схоже с толпой, однако коренным образом отличается от нее в других отношениях. Масса представлена людьми, участвующими в массовом поведении, такими, например, которые возбуждены каким-либо событием национального масштаба, или участвуют в земельном буме, или интересуются каким-либо судебным разбирательством по делу об убийстве, отчеты о котором публикуются в прессе, или участвуют в какой-то крупномасштабной миграции.

Отличительные черты массы. Понимаемая подобным образом, масса имеет ряд отличительных черт. Во-первых, ее члены могут занимать самое различное общественное положение, происходить из всех возможных слоев общества; она может включать людей, занимающих самые различные классовые позиции, отличающихся друг от друга по профессиональному признаку, культурному уровню и материальному состоянию. Это можно наблюдать на примере массы людей, следящей за судебным разбирательством по делу об убийстве. Во-вторых, масса является анонимной группой, или, точнее, состоит из анонимных индивидов. В-третьих, между членами массы почти нет взаимодействия и обмена переживанием. Обычно они физически отделены друг от друга и, будучи анонимными, не имеют возможности толочься, как это делают люди в толпе. В-четвертых, масса имеет очень рыхлую организацию и неспособна действовать с теми согласованностью и единством, которые отличают толпу.

Роль индивидов в массе. Тот факт, что масса состоит из индивидов, принадлежащих к самым разным локальным группам и культурам, имеет большое значение. Ибо это означает, что объект интереса, который привлекает внимание тех, кто составляет массу, находится за пределами локальных культур и групп и, следовательно, что этот объект интереса не определяется и не объясняется в терминах представлений или правил этих локальных групп. Объект массового интереса может мыслиться как отвлекающий внимание людей от их локальных культур и сфер жизни и обращающий его на более широкое пространство, на такие области, на которые распространяются правила, регулятивы или экспектации. В этом смысле масса может рассматриваться как нечто, состоящее из обособленных и отчужденных индивидов, обращенных лицом к тем объектам или областям жизни, которые интересны, но сбивают с толку и которые нелегко понять и упорядочить. Перед подобными объектами члены массы, как правило, испытывают замешательство и неуверенность в своих действиях. Далее, не имея возможности общаться друг с другом, разве что ограниченно и несовершенно, члены массы вынуждены действовать обособленно, как индивиды.

Общество и масса. Из этой краткой характеристики явствует, что масса лишена черт общества или общины (community). У нее нет никакой социальной организации, никакого корпуса обычаев и традиций, никакого устоявшегося набора правил или ритуалов, никакой организованной группы установок, никакой структуры статусных ролей и никакого упрочившегося умения. Она просто состоит из некоего конгломерата индивидов, которые обособлены, изолированы, анонимны и, таким образом, однородны в той мере, в какой имеется в виду массовое поведение. Можно заметить далее, что поведение массы, именно потому что оно не определяется никаким предустановленным правилом или экспектацией, является спонтанным, самобытным и элементарным. В этих отношениях масса в значительной степени схожа с толпой. В других отношениях налицо одно важное различие. Уже отмечалось, что масса не толчется и не взаимодействует так, как это делает толпа. Наоборот, индивиды отделены друг от друга и неизвестны друг другу. Этот факт означает, что индивид в массе, вместо того чтобы лишаться своего самосознания, наоборот, способен довольно сильно обострить его. Вместо того чтобы действовать, откликаясь на внушения и взволнованное возбуждение со стороны тех, с кем он состоит в контакте, он действует, откликаясь на тот объект, который привлек его внимание, и на основании пробужденных им порывов.

Природа массового поведения. Это поднимает вопрос о том, каким образом ведет себя масса. Ответ обусловлен стремлением каждого индивида ответить на собственные нужды. Форма массового поведения парадоксальным образом выстраивается из индивидуальных линий деятельности, а не из согласованного действия. Эти индивидуальные деятельности в первую очередь выступают в форме выборов — таких, например, как выбор новой зубной пасты, книги, пьесы, партийной платформы, новой моды, философии или религиозных убеждений,— выборов, которые являются откликом на неясные порывы и эмоции, пробуждаемые объектом массового интереса. Массовое поведение даже в качестве некой совокупности индивидуальных линий поведения может приобрести важное значение. Если эти линии сходятся, влияние массы может быть огромным, как это показывают далеко идущие воздействия на общественные институты, вытекающие из сдвигов в избирательных интересах массы. Из-за подобных сдвигов в интересах или вкусах может потерпеть крах какая-нибудь политическая партия или же коммерческое предприятие.

Когда массовое поведение организуется, например, в какое-нибудь движение, оно перестает быть массовым поведением, но становится по природе своей общественным (societal). Вся его природа меняется, приобретая некую структуру, некую программу, некие

определяющие традиции, предписанные правила, культуру, определенную внутригрупповую установку и определенное «мы — сознание». Именно по этой причине мы подобающим образом ограничили его теми формами поведения, которые и были описаны выше.

Возрастающее значение массового поведения. В современных — городских и промышленных — условиях жизни массовое поведение вышло на первый план по росту своего масштаба и значения. Это в первую очередь обусловлено действием тех факторов, которые обособили людей от их локальных культур и локального группового окружения. Миграции, перемены местожительства, газеты, кино, радио, образование — все это способствовало тому, чтобы индивиды срывались с якорей своих традиций и бросались в новый, более широкий мир. Сталкиваясь с этим миром, они были вынуждены каким-то образом приспосабливаться, исходя из совершенно самостоятельных выборов. Совпадение их выборов сделало массу могучей силой. Временами ее поведение приближается к поведению толпы, особенно в условиях возбуждения. В таких случаях оно подвержено влиянию тех или иных возбужденных призывов, появляющихся в прессе или по радио,— призывов, которые играют на примитивных порывах, антипатиях и традиционных фобиях. Это не должно заслонять тот факт, что масса может вести себя и без такого стадного неистовства. Гораздо большее влияние на нее может оказывать художник или писатель, которым удается прочувствовать смутные эмоции массы, выразить и артикулировать их.

Примеры массового поведения. Чтобы прояснить природу массы и массового поведения, можно вкратце рассмотреть ряд примеров. Золотая или земельная лихорадка иллюстрирует многие черты массового поведения. Люди, участвующие в них, обычно самого разного происхождения; вместе они составляют некий разнородный конгломерат. Так, участники Клондайкской лихорадки или Оклахомского земельного бума происходили из самых разных мест и областей. В период лихорадки каждый индивид (или в лучшем случае семья) имел собственную цель, поэтому между участниками наблюдались минимум кооперации и очень мало чувства преданности или лояльности. Каждый старался опередить другого, и каждый должен был заботиться только о себе. Как только лихорадка получает ход. налицо минимум
дисциплины и никакой организации для того, чтобы установить порядок. В этих условиях легко наблюдать, как лихорадка превращается в повальное бегство или панику.

Массовая реклама. Несколько дополнить наше понимание природы массового поведения позволяет краткое рассмотрение массовой рекламы. В такой рекламе призыв должен быть адресован анонимному индивиду. Отношение между рекламой и предполагаемым покупателем прямое — нет никакой организации или руководства, которые могли бы, так сказать, выдать корпус покупателей продавцу. Вместо этого каждый индивид действует на основании своего собственного выбора. Покупатели представляют собой некую разнородную группу, происходящую из многих общин и слоев общества; в качестве членов массы, однако, по причине своей анонимности они являются однородными или, по существу, одинаковыми.

Пролетарские массы. То, что иногда называют пролетарскими массами, иллюстрирует другие черты массы. Они представляют собой некую крупную популяцию, обладающую малой степенью организации и малоэффективным сообщением. Такие люди были обычно вырваны с корнями из какой-то устоявшейся групповой жизни. Они обычно сбиты с толку, обеспокоены, пусть даже это выражается в форме смутных надежд или перемены вкусов и интересов. Как следствие, в их поведении много поиска наощупь — неопределенного процесса выбора между объектами и идеями, привлекающими их внимание.

Общественность

Природа общественности. Мы рассмотрим общественность как последнее из элементарных коллективных группирований. Термин *общественность* используется по отношению к группе людей, которые: а) сталкиваются с какой-то проблемой; б) разделяются во мнениях относительно подхода к решению этой проблемы; в) вступают в дискуссию, посвященную этой проблеме. Как таковую ее следует отличать от общественности в смысле составляющих нацию людей, в каком, например, можно говорить об общественности Соединенных Штатов, а также от приверженцев, например, какой-нибудь кинозвезды, которых также называют общественностью (public). Наличие проблемы, дискуссии и коллективного мнения являются отличительным признаком общественности.

Общественность как группа. Мы относим общественность к элементарным и спонтанным коллективным группированиям потому, что она возникает не в результате замысла, а в качестве естественного отклика на определенную ситуацию. На то, что общественность не существует в качестве устоявшейся группы и что ее поведение не предписывается никакими традициями или культурными моделями, указывает тот факт,

что ее существование основано на наличии определенной проблемы. Поскольку эти вопросы разнообразны, разнообразными являются и соответствующие общественности. А факт существования определенной проблемы означает наличие такой ситуации, которая не может быть разрешена на основе какого-то культурного правила, но только на основе коллективного решения, достигнутого в процессе дискуссии. В этом смысле общественность есть спонтанное и непредустановленное группирование.

Характерные черты общественности. Этот элементарный и спонтанный характер общественности может быть лучше понят, если обратить внимание на то, что общественности, подобно толпе и массе, недостает характерных черт общества. Существование какой-то проблемы означает, что группа должна действовать; отсутствуют, однако, представления, определения и правила, предписывающие, чем должно быть это действие. Если бы они были, то и не было бы, конечно же, никакой проблемы. Именно в этом смысле мы можем говорить, что у общественности нет никакой культуры — никаких традиций, которые диктовали бы, каким быть ее действию.

Далее, поскольку общественность возникает только вместе с какой-то проблемой, она не имеет формы или организации общества. В ее рамках люди не имеют никаких фиксированных статусных ролей. Нет у общественности также и никакого сопереживания (we-feeling) или сознания своей идентичности. Вместо этого общественность выступает как разновидность некой аморфной группы, размер и состав членов которой меняются вместе с проблемой; вместо того чтобы заниматься заранее обусловленной и предписанной деятельностью, она предпринимает попытку прорваться к действию и, таким образом, вынуждена сама творить свое действие.

Общественность отличают разногласия и, как следствие, *дискуссия* относительно того, что следует делать. Это факт подразумевает ряд обстоятельств.

С одной стороны, он указывает на то, что взаимодействие, имеющее место среди общественности, заметно отличается от взаимодействия в толпе. Толпа толчется, устанавливает контакт и достигает единодушия, не ограниченного никакими разногласиями. Общественность взаимодействует на основе истолкования, вступает в спор и, следовательно, характеризуется конфликтными отношениями. Соответственно индивиды внутри общественности скорее интенсифицируют свое самосознание и обостряют свои способности к критическим суждениям, чем теряют их, как это имеет место внутри толпы. На уровне общественности происходят выдвижение каких-то аргументов, их критика и столкновение с контраргументами. Взаимодействие, таким образом, способствует противопоставлению, а не взаимной поддержке и единодушию, характеризующим толпу.

С другой стороны, интересно, что эта дискуссия, основанная на различии, показывает определенное предпочтение фактов и способствует рациональному обсуждению. И если даже, как мы увидим, взаимодействие отстоит достаточно далеко от реализации этих характеристик, все же основная тенденция действует в их направлении. В толпе преобладают толки и театральные эффекты внушения; присутствие же оппозиции и разногласий в общественности означает, что предметам споров брошен вызов и они стали объектом критики. В связи с нападками, которые грозят их подорвать, подобные предметы должны обосновываться или, пересматриваться в свете критики, которую нельзя игнорировать. Поскольку факты могут подтвердить их обоснованность, постольку они должным образом оцениваются; постольку дискуссия содержит аргументацию, постольку значительную роль приобретает рациональное обсуждение.

Поведенческие модели общественности. Теперь мы можем рассмотреть вопрос о том, каким образом общественность действует. Этот вопрос особенно интересен потому, что общественность не действует так, как толпа, масса или общество. Общество умеет действовать, следуя какому-то предписанному правилу или консенсусу, толпа — устанавливая контакт, а масса — путем совпадения индивидуальных выборов. Общественность же сталкивается в некотором смысле с дилеммой: как стать неким единством, если на деле она разделена; как действовать согласованно, если налицо разногласия относительно того, каким должно быть действие. Общественность приобретает свой особый тип единства и возможность действовать, благодаря достижению какого-то коллективного решения или выработке какого-то коллективного мнения. Поэтому становится необходимым рассмотреть природу общественного мнения и способы его формирования.

Общественное мнение

Общественное мнение следует рассматривать как некий коллективный продукт, но в качестве такового оно не является каким-то единодушным мнением, с которым согласен каждый составляющий общественность индивид, и не обязательно — мнением большинства. Будучи коллективным мнением, оно может быть (и обычно бывает) отличным от мнения некоторых групп общественности. Вероятно, оно может пониматься как некое мнение, составленное из нескольких мнений, имеющих место в общественности, а лучше — как центральная тенденция, установленная в борьбе между

этими отдельными мнениями и, следовательно, оформленная соответствующей силой противодействия, которая между ними существует. В этом процессе мнение какого-либо меньшинства может оказывать гораздо большее влияние на формирование коллективного мнения, чем взгляды большинства. Будучи коллективным продуктом, общественное мнение представляет всю общественность в ее готовности к действию по решению проблемы и как таковое делает возможным согласованное действие, которое не обязательно основано на консенсусе, контакте или случайном совпадении индивидуальных выборов. Общественное мнение всегда движется по направлению к какому-то решению, пусть даже оно и не бывает иногда единодушным.

Универсальность речи. Формирование общественного мнения происходит через открытие и принятие дискуссии. Аргументы и контраргументы становятся средством, при помощи которого оно оформляется. Чтобы этот процесс дискуссии развивался, для общественности существенно иметь то, что было названо универсальностью речи, т. е. владеть каким-то общим языком или способностью соглашаться относительно значения каких-то основных терминов. Если люди неспособны понимать друг друга, дискуссия и аргументация не только бесплодны, но и невозможны. Сегодня общественной дискуссии, особенно по определенным проблемам национального масштаба, очевидно, препятствует отсутствие какой-либо универсальности речи. Далее, если входящие в общественность группы или партии занимают какие-то догматические и сектантские позиции, публичная дискуссия погружается в застой, ибо такие сектантские установки равносильны отказу принимать точки зрения друг друга и изменять свою собственную позицию перед лицом нападок или критики. Формирование общественного мнения предполагает, что люди разделяют переживания своих ближних и готовы идти на компромиссы и уступки. Только следуя по этому пути, общественность, сама по себе разделенная, может начать действовать в качестве какого-то единства.

Заинтересованные группы. Общественность обычно состоит из заинтересованных групп и какого-то более отрешенного и незаинтересованного корпуса схожих со зрителями индивидов. Проблема, которая созидает общественность, обычно ставится состязающимися заинтересованными группами. Эти заинтересованные группы обладают некой непосредственной частной озабоченностью относительно способа решения этой проблемы, и поэтому они стараются завоевать поддержку и лояльность со стороны внешней незаинтересованной группы. Это ставит незаинтересованную группу, как отметил Липман, в позицию судьи или арбитра. Именно ее расположение (alignment) и определяет обычно, какой из соревнующихся планов скорее всего и наиболее широко будет учтен в результирующем действии. Это стратегическое и решающее место, занимаемое теми, кто не входит непосредственно в заинтересованные группы, означает, что общественная дискуссия в первую очередь ведется именно среди них. Заинтересованные группы стремятся оформить и установить мнения этих относительно незаинтересованных людей.

С этой точки зрения понятна переменчивость общественного мнения, а также использование средств воздействия на него, как, например, пропаганды, которая разрушает рациональную общественную дискуссию. Какое-то определенное общественное мнение скорее всего размещается где-то между в высшей степени эмоциональной и предвзятой точкой зрения и в высшей степени разумным и обдуманным мнением. Другими словами, публичная дискуссия может вестись на различных уровнях, с различной степенью основательности и ограниченности. Усилия, предпринимаемые заинтересованными группами с целью оформления общественного мнения, могут в первую очередь быть попытками возбудить или установить некие эмоциональные установки или же снабдить дезинформацией. Именно эта черта заставила многих исследователей общественного мнения отрицать его рациональный характер и подчеркивать его эмоциональную и иррациональную природу. Однако необходимо осознать, что уже сам процесс полемической дискуссии навязывает обсуждению определенную долю рациональности и что вследствие этого результирующее коллективное мнение характеризуется определенной рациональностью. Тот факт, что предметы спора необходимо защищать и оправдывать, а противостоящие позиции — критиковать, доказывая их несостоятельность, предполагает такие операции, как оценка, сравнение и суждение. Вероятно, правильно будет сказать, что общественное мнение рационально, но не нуждается в том, чтобы быть разумным.

Роль публичной дискуссии. Ясно, что качество общественного мнения в большой степени зависит от эффективности общественной дискуссии. В свою очередь эта эффективность зависит от доступности и гибкости механизмов массовой коммуникации, таких, как пресса, радио, общественные собрания. Основой их эффективного использования является возможность свободной дискуссии. Если некоторые из противоборствующих взглядов находятся под запретом и не могут быть представлены незаинтересованной общественности или подвергаются какой-либо дискриминации в возможности свободно обсуждаться и обосновываться, то соответственно наблюдается вмешательство, препятствующее эффективной общественной дискуссии.

Как отмечалось выше, озабоченность заинтересованных групп легко приводит их к попыткам манипулировать общественным мнением. Это особенно верно сегодня, когда общественные проблемы так многочисленны, а возможности для обстоятельной дискуссии так ограничены. Это обстоятельство привело к использованию во все возрастающей степени пропаганды; сегодня большинство исследователей общественного мнения считают, что их главной задачей является изучение пропаганды.

Пропаганда

Пропаганда может пониматься как умышленно спровоцированная и направляемая кампания с целью заставить людей принять данную точку зрения, настроение или ценность. Ее особенность состоит в том, что, стремясь достичь эту цель, она не предоставляет беспристрастного обсуждения противоположных взглядов. Цель доминирует, а средства подчинены этой цели.

Таким образом, мы видим, что первичной характеристикой пропаганды является попытка добиться принятия какой-то точки зрения не на основе ее достоинств, а апелляцией к каким-то иным мотивам. Именно эта черта делает пропаганду подозрительной. В сфере общественной дискуссии и общественного обсуждения пропаганда функционирует с целью формирования мнений и суждений не на основе достоинств данного предмета, а главным образом играя на эмоциональных установках и чувствах. Ее цель — навязать некую установку или ценность, которая начинает восприниматься людьми как нечто естественное, истинное и подлинное и, таким образом, как нечто такое, что выражается спонтанно и без принуждения.

Коллективное действие через пропаганду. Важно осознать, что пропаганда стремится вызвать скорее коллективное, чем только лишь индивидуальное действие. В этом смысле ее следует отличать от рекламы, так как реклама старается влиять на индивидуальное действие. В пропаганде, напротив, налицо попытка создать некое убеждение и добиться действия в соответствии с этим убеждением. Те, кто разделяет какое-либо убеждение, более расположены действовать сообща и оказывать друг другу поддержку. С этой точки зрения всякий, кто проповедует какое-либо учение или стремится распространить какую-либо веру, является пропагандистом, так как его главной целью является не обсуждение достоинств какого-либо предмета, а насаждение данного убеждения. Ясно, что пропаганда, обладая таким характером, действует для того, чтобы положить конец дискуссии и рассуждению.

Практические правила пропаганды. Имеется ряд правил, которые, по общему признанию, обычно применяются в пропаганде. Во-первых, конечно же, чтобы привить желаемую точку зрения или установку, необходимо привлечь к ним внимание людей. Во-вторых, объект, на который желательно обратить интерес, должен быть преподнесен в благоприятном и привлекательном свете, как, например, в рекламе. В-третьих, образы, используемые для влияния на людей, должны быть простыми и отточенными. В-четвертых, необходимо постоянное повторение лозунгов, призывов или представляемых образов. В-пятых, лучше всего вовсе не спорить, а просто твердить одно и то же вновь и вновь.

Такая простая техника считается особенно эффективной применительно к большой массе людей, чье внимание обычно легко отвлекается, а интерес легко угасает.

Основные процедуры пропаганды. Основные направления, на которых может функционировать пропаганда, однако, этим не ограничиваются и заслуживают более внимательного рассмотрения. Мы можем выделить тр-и основных способа, которыми пропаганда, как правило, достигает своей цели. Первый состоит в простой подтасовке фактов и предоставлении ложной информации. Суждения и мнения людей, очевидно, формируются теми данными, которые им доступны. Манипулируя фактами, скрывая одни и искажая другие, пропагандист может максимально способствовать формированию какой-то определенной установки.

Другое излюбленное средство пропаганды — использование внутригрупповых-внегрупповых установок. Социологам хорошо известно, что когда две какие-то группы развивают острое чувство противостояния друг другу, происходит высвобождение сильных и иррациональных эмоций. Каждая из групп стремится воспитать установки преданности и альтруизма у своих членов и вселить в них резкие чувства ненависти и вражды к чужакам. Умение использовать эту модель «внутри группы/вне группы» является первейшим требованием, предъявляемым к пропагандисту. Он должен стремиться заставить людей отождествить его взгляды с их внутригрупповыми настроениями, а противоположные взгляды — с их внегрупповыми установками. Именно наличие этого внутригруппового/внегруппового антуража и объясняет исключительную эффективность пропаганды во время войны.

Возможно, самым замечательным методом пропагандиста является использование эмоциональных установок и предрассудков, которыми люди уже обладают. Его задача в

этом случае — выстроить ассоциацию между ними и его пропагандистской миссией. Таким образом, если он сумеет связать свои взгляды с определенными благоприятными установками, которыми люди уже обладают, эти взгляды завоюют признание. И точно так же, если противоположные взгляды смогут быть связаны с неблагоприятными установками, они скорее всего будут отвергнуты. Мы часто наблюдаем использование этого приема в современных дискуссиях. Делаются попытки отождествить предметы спора с такими благозвучными стереотипами, как демократия, спасение конституции и индивидуальная свобода, а противоположные утверждения с такими стереотипами, как коммунизм и антиамериканизм. Функционирование пропаганды в первую очередь выражается в игре на эмоциях и предрассудках, которыми люди уже обладают.

Изобретательность пропагандиста. Если и возможно указать простые правила, которым следует пропаганда, а также психологические механизмы, используемые ею, важно все-таки осознать, что в первую очередь она зависит от изобретательности. В каждой конкретной ситуации необходимо учитывать ее особенность; прием, приводящий к успеху в одной ситуации, может не представлять совершенно никакой ценности в другой. В этом смысле пропаганда подобна убеждению при непосредственных, лицом к лицу, контактах; многое зависит от интуиции и искусной изобретательности.

Конфликтующие пропаганды. Без сомнения, в настоящее время наблюдается возрастающее использование пропаганды в общественной жизни, и этот фактор, несомненно, повлиял как на природу общественного мнения, так и на способ его формирования. Это влияние привело многих к разочарованию в пригодности демократического механизма. Однако важно осознать, что наличие пропаганды и контрпропаганды опять-таки поднимает какую-то проблему и приводит к тому дискуссионному процессу, о котором мы говорили выше. Ибо когда действуют конфликтующие и противостоящие пропаганды, сцена отдается их логической дуэли, в которой предпочтение отдается фактам, и рациональное обсуждение вступает в свои права. С этой точки зрения можно понять замечание, что пропаганда вредна и опасна только тогда, когда налицо лишь *одна* пропаганда.

Общественность, толпа и масса

Прежде чем завершить обсуждение общественности, следует отметить, что в определенных условиях общественность может превратиться в толпу. Почти любая пропаганда стремится каким-либо образом осуществить это. Когда люди, составляющие общественность, возбуждены апелляцией к какому-либо общему для них настроению, они начинают толочься и устанавливать контакт. Тогда они выражают себя в форме общественного настроения, а не общественного мнения. В современной жизни, однако, как кажется, тенденция к превращению общественности в толпу слабее тенденции к ее подмене массой. Растущий отрыв людей от своих корней, умножение общественных проблем, распространение механизмов массовой коммуникации вместе с другими факторами привели к тому, что люди все чаще стали действовать скорее по индивидуальному выбору, нежели участвуя в каких-то общественных дискуссиях. Это настолько реально, что во многих случаях общественность и масса перемешиваются друг с другом. Этот факт вносит путаницу в сферу современного коллективного поведения и затрудняет его анализ.

Коллективные группирования и социальное изменение. Обсуждая элементарные коллективные группирования, мы рассмотрели действующую толпу, экспрессивную толпу, массу и общественность. Существуют и другие примитивные группирования, которые мы можем здесь упомянуть лишь вкратце: паника, повальное бегство, забастовка, бунт, комитет «бдительности народного правосудия», шествие, культ, мятежи и восстания. Большинство из этих группирований представляет собой разновидности толпы; каждое из них действует при помощи примитивных механизмов коллективного поведения, которые мы описали. Подобно четырем рассмотренным большим типам, они не являются обществами, а действуют вне регулирующих рамок правил и культуры. Они элементарны, естественны, спонтанны и возникают в определенных подходящих обстоятельствах.

Появление элементарных коллективных группирований указывает на какой-то процесс социального изменения. Они обладают двойственным характером, предполагая интеграцию старого и появление нового. Они играют важную роль в развитии нового коллективного поведения и новых форм социальной жизни.

Точнее, типичные механизмы примитивной ассоциации, которые они демонстрируют, играют важную роль в формировании нового социального порядка.

Теперь мы обратимся именно к этой проблеме формирования нового социального порядка. В нашу задачу войдет рассмотрение в первую очередь социальных движений, благодаря которым выстраиваются и кристаллизуются в фиксированные социальные

формы новые типы коллективного поведения.

Социальные движения

Социальные движения можно рассматривать как коллективные предприятия, нацеленные на установление нового строя жизни. Их начало коренится в состоянии беспокойства, а движущая сила проистекает, с одной стороны, из неудовлетворенности настоящей формой жизни, а с другой — из желаний и надежд на какое-то новое устройство существования. Путь развития социального движения показывает возникновение нового строя жизни. В своем начале социальное движение аморфно, плохо организовано и не имеет формы; коллективное поведение находится на примитивном уровне, который мы уже рассмотрели, а механизмы взаимодействия, о которых мы также уже говорили, элементарны и спонтанны. По мере того как социальное движение развивается, оно принимает характер общества. Оно приобретает организацию и форму, корпус обычаев и традиций, упрочившееся руководство, постоянное разделение труда, социальные правила и социальные ценности — короче, культуру, социальную организацию и новое устройство жизни.

Наше исследование социальных движений коснется трех их видов — общих, специфических и экспрессивных социальных движений [3].

[3] Мимоходом внимание привлекают пространственные движения: движения кочевников, варварские вторжения, крестовые походы, паломничества, колонизация и миграции. Такие движения могут совершаться обществами, как в случае племенных миграций; различными народами, обладающими какой-то общей целью, как в случае носивших религиозный характер крестовых походов в средние века; или индивидами со схожими целями, как в большинстве случаев иммиграции в США. С механизмами их коллективного действия мы будем иметь дело при дальнейшем обсуждении социальных движений. Сами же по себе подобные движения слишком сложны и разнообразны, чтобы можно было адекватно рассмотреть их здесь.

Общие социальные движения

Новые культурные направления. Под общими социальными движениями мы подразумеваем такие движения, как рабочее, молодежное, женское и движение за мир. Их основу составляют последовательные и всеобъемлющие изменения человеческих ценностей — изменения, которые могут быть названы культурными течениями. Эти культурные течения символизируют какие-то общие сдвиги в мышлении людей, и особенно по линии тех представлений, которые они имеют о самих себе, а также о своих правах и привилегиях. За какой-то период времени множество людей может развить какую-то новую точку зрения на свои права — точку зрения, главным образом основанную на желаниях и надеждах. Это означает возникновение некоторого нового набора ценностей, которые влияют на тот способ, каким люди представляют себе свою собственную жизнь. Примерами таких культурных течений в нашей собственной недавней истории являются возросшая ценность здоровья, вера в свободное образование, расширение права голоса, эмансипация женщин, растущее внимание к детям и растущий престиж науки.

Неопределенные образы и поведение. Развитие новых ценностей, порождаемых подобными культурными течениями, заключает в себе некоторые психологические изменения, которые обеспечивают общие социальные движения мотивацией. В общих чертах они означают, что люди пришли к формированию новых представлений о самих себе, которые не согласуются с их реальным положением в жизни. Они приобретают новые предрасположения и интересы и соответственно становятся восприимчивы к движению в новых направлениях; и наоборот, они начинают испытывать неудовлетворение там, где прежде его не было. Эти новые образы самих себя, которые люди начинают развивать, откликаясь на культурные течения, расплывчаты и неопределенны. Соответственно и поведение, выступающее в качестве отклика на подобные образы, также неопределенно и не имеет никакой ясной цели. Именно эта черта дает ключ к пониманию общих социальных движений.

Характеристики общих социальных движений. Общие социальные движения приобретают форму нащупывания (groping) и некоординированных попыток. У них есть только какое-то общее направление, в котором они продвигаются медленно, спотыкаясь, но настойчиво. Эти движения неорганизованны, не имеют ни устоявшегося руководства, ни признанного членского состава; им свойственна низкая степень управления и контроля. Такие черты общих социальных движений характерны, например, для женского движения, имеющего общую и расплывчатую цель эмансипации женщин. Женское движение, как и все общие социальные движения, направляет свою деятельность на самые разные области — дом, брак, образование, промышленность, политику, путешествия — ив каждой сфере представляет собой поиск такого переустройства, которое отвечало бы новой концепции статуса женщины. Такое движение является эпизодическим в своем развитии и состоит из весьма разрозненных проявлений

активности. Оно может выказать значительный энтузиазм в одном пункте, неохоту и инерцию — в другом; оно может преуспеть в одной сфере и никак не проявить себя в другой. Вообще, можно сказать, что его развитие очень неровно, сопровождается задержками, отступлениями и частыми возвращениями к пройденным этапам. В одно время толчок к движению может исходить от людей из одного места, в другое — из другого. В целом движение, как правило, осуществляется множеством известных и неизвестных людей, которые борются в самых различных сферах, причем их борьба и достижения не становятся повсеместно известными.

Общее социальное движение обычно характеризуется соответствующей литературой, но она так же разнообразна и неопределенна, как и само движение. Она, как правило, представляет собой выражение протеста с неким общим описанием какого-либо утопического существования. Будучи таковой, она неясно набрасывает очертания философии, основанной на новых ценностях и самопредставлениях. Подобная литература имеет большое значение, распространяя какой-то призыв или взгляд, каким бы неопределенным он ни был, и, таким образом, внушая какие-то идеи, пробуждая надежды и возбуждая недовольство. Схожим образом лидеры общего социального движения играют важную роль не в смысле осуществления руководящего контроля над движением, а в смысле задающих темп. Эти лидеры являются «вопиющими в пустыне», пионерами без какой-либо прочной группы последователей, часто не очень ясно отдающими себе отчет в собственных целях. Однако их пример помогает развить восприимчивость, возбудить надежды и сломить сопротивление.

По этим чертам легко можно понять, что общие социальные движения развиваются главным образом неформально, неприметно и в значительной степени неофициально. Их средствами взаимодействия являются прежде всего чтение, беседы, разговоры, дискуссии и следование примерам. Их достижения и действия сосредоточены скорее в сфере индивидуального опыта, чем в заметной со стороны и согласованной деятельности групп. Представляется очевидным, что общее социальное движение в значительной степени подчинено механизмам массового поведения, которые мы описали в своем исследовании массы. Особенно на своих ранних стадиях общие социальные движения скорее всего оказываются просто некими конгломератами индивидуальных линий поведения, основанных на индивидуальных решениях и выборах. Как это характерно для массы и массового поведения, общие социальные движения достаточно бесформенны по организации и нечленораздельны по выражению.

Основа специфических социальных движений. Подобно тому как культурные течения обеспечивают основу, на которой возникают общие социальные движения, общее социальное движение составляет фундамент, на котором развиваются специфические социальные движения. Действительно, специфическое социальное движение можно рассматривать как кристаллизацию значительной доли мотивации неудовлетворенности, надежды и желания, пробужденных общим социальным движением, и сосредоточение этой мотивации на какой-либо специфической цели. Подходящей иллюстрацией может служить движение за отмену рабства, которое было в значительной степени индивидуальным выражением широко распространенного гуманистического движения XIX века. Осознав взаимоотношения между общим и специфическим социальным движением, мы можем обратиться к анализу последнего.

Специфические социальные движения

Характеристики. Выделяющимися примерами этого типа движений являются реформистские и революционные движения. Специфическое социальное движение — это движение, обладающее четко определенной целью, которую оно стремится достичь. В этом усилии оно развивает свою организацию и структуру, что делает его, по существу, обществом. Оно развивает признанное и принятое руководство и определенный членский состав, характеризующийся «мы — сознанием». Оно формирует некий корпус традиций, некий преобладающий набор ценностей, какую-то философию, определенные наборы правил и совокупность общих экспектаций. Его члены преданны и верны друг другу. Внутри него развивается определенное разделение труда, особенно в форме какой-то социальной структуры, в которой индивиды занимают определенные статусные позиции. Таким образом, индивиды развивают индивидуальности и представления о самих себе, образуя индивидуальный диалог социальной структуры.

Социальное движение специфического типа не возникает с такими структурой и организацией в уже готовом виде. Наоборот, его организация и его культура развиваются в процессе его становления. Необходимо рассматривать социальные движения в этой временной и эволюционной перспективе. В своем начале социальное движение слабо организовано и характеризуется импульсивным поведением. У него нет никакой ясной цели; поведение и мышление его приверженцев в значительной степени находятся под влиянием чувства беспокойства и коллективного возбуждения. Однако по мере того как социальное движение развивается, его функционирование,

поначалу бывшее распыленным, стремится стать организованным, собранным и постоянным. Можно в общих чертах выделить определенные стадии в процессе развития социального движения, которые представляют собой ступени роста его организации. Схема из четырех стадий была предложена Доусоном и Геттисом[4]. Это стадии социального беспокойства, всеобщего (popular) возбуждения, формализации и институционализации.

[4] Daws on C. A., Gettys W. E. Introduction to Sociology. N. Y. 1935.

Стадии развития. На первой из этих четырех стадий люди испытывают чувства беспокойства, тревоги и действуют тем непредсказуемым образом, который мы уже описали. Они восприимчивы к призывам и внушениям, которые апеллируют к недовольству, и поэтому агитатор на этой стадии, вероятно, будет играть важную роль. Значение суматошного и беспорядочного поведения состоит в том, что оно делает людей чувствительными друг к другу и тем самым дает возможность сфокусировать их чувство беспокойства на каких-то определенных объектах. Стадия всеобщего возбуждения еще в большей степени отмечена толчеей, но она уже не столь беспорядочна и бесцельна. Возникают более определенные представления о причинах своего состояния и о том, что должно быть сделано на пути к социальному изменению. Так происходит уточнение целей. На этой стадии лидер скорее всего выступает в качестве пророка или реформатора. На стадии формализации движение становится более четко организованным различными правилами, политикой, тактикой и дисциплиной. Здесь лидер приобретает, очевидно, черты государственного деятеля. На институциональной стадии наблюдается кристаллизация движения в фиксированную организацию с определенным составом и структурой, предназначенную для осуществления целей этого движения. Здесь лидер становится, очевидно, администратором. При рассмотрении развития специфического социального движения нас меньше интересует анализ тех стадий, через которые оно проходит, нежели механизмы и способы, посредством которых подобное движение может вырастать и организовываться.

Эти механизмы удобно сгруппировать в 5 пунктов: 1) агитация; 2) развитие esprit de corps [5]; 3) развитие морали; 4) формирование идеологии*; 5) развитие рабочей тактики.

[5] Корпоративный дух. — *Прим. перев.*

Роль агитации. Агитация имеет важнейшее значение в социальном движении. Она играет наиболее значительную роль в начале и на ранних стадиях движения, хотя может присутствовать и на позднейших этапах жизненного цикла движения. Как явствует из самого этого термина, агитация возбуждает людей и таким образом делает из них возможных сторонников движения. В основе своей это способ возбуждения людей и пробуждения в них новых порывов и идей, которые делают их беспокойными и неудовлетворенными. Следовательно, она направлена на ослабление их прежних привязанностей и на подрыв их прежних образов мышления и действия. Чтобы какое-то движение началось и получило импульс развития, необходимо, чтобы люди отошли от своих обычных способов мышления и чтобы в них пробудились новые порывы и желания. Именно на это и направлена агитация. Чтобы быть успешной, она должна, во-первых, завоевать внимание людей; во-вторых, взволновать их и пробудить некие эмоции и порывы; в-третьих, дать этим порывам и эмоциям какое-то направление — посредством идей, внушения, критики и обещаний. Агитация действует в ситуациях двух видов.

Первый вид ситуаций отмечен злоупотреблениями, неправомерной дискриминацией и несправедливостью, но это те ситуации, где люди принимают такой способ жизни как некую данность и не ставят его существование под вопрос. Эта ситуация потенциально чревата страданием и протестом, но людям свойственна инерция; их взгляды на ситуацию, в которой они находятся, склоняют их к ее принятию. Отсюда функция агитации — заставить их бросить вызов своему образу существования и поставить его под вопрос. Именно в такой ситуации агитация может создать социальное беспокойство там, где прежде ничего подобного не было. Другой тип ситуаций характеризуется тем, что люди уже возбуждены, охвачены чувством беспокойства и недовольства, но либо слишком робки, чтобы действовать, либо не знают, что делать. В этой ситуации функция агитации — не столько посеять семена беспокойства, сколько усилить, высвободить и направить то напряжение, которое уже имеется у людей.

Агитаторы, очевидно, делятся на два типа, примерно соответствующие этим двум типам ситуаций.

Одним типом агитатора является возбужденный, беспокойный и агрессивный человек. Его динамичное и энергичное поведение привлекает к нему внимание людей; им передаются его возбуждение и беспокойство. Он склонен действовать, прибегая к драматическим жестам, и выражать свои мысли, используя театральные эффекты. Его появление и поведение питают инфекцию беспокойства и возбуждения. Этот тип агитатора

пользуется, очевидно, наибольшим успехом в ситуации, где люди уже взволнованны и выбиты из колеи; в этих условиях его собственная возбужденная и энергичная деятельность легко может передаться другим людям, которые восприимчивы к такому поведению и уже расположены к возбудимости.

Второй тип агитатора более холоден, спокоен и величав. Он волнует людей не тем, что делает, а тем, что говорит. Он может быть скупым на слова, но способным говорить острые, едкие и язвительные вещи, которые «проникают под кожу» людей и заставляют их взглянуть на обсуждаемое в новом свете. Этот тип агитатора больше соответствует первой из описанных социальных ситуаций — ситуации, в которой люди терпят лишения или дискриминацию, не вырабатывая при этом никаких установок возмущения. В этой ситуации его функция — заставить людей задуматься над своим положением, над неравенством, недостатками и несправедливостями, которыми, очевидно, отмечен их удел. Он заставляет их поставить под вопрос то, что они раньше принимали как должное, и сформировать новые желания, склонности и надежды.

Функция агитации, как отмечено выше, частично состоит в том, чтобы взволновать и выбить людей из колеи и таким образом освободить их для движения в новых направлениях. Если говорить конкретнее, она направлена на изменение представлений людей о самих себе, о своих правах и обязанностях. Подобные новые представления, предполагающие уверенность человека в том, что он имеет законные права на те привилегии, которых он лишен, обеспечивают социальному движению основную мотивационную силу. Агитация как способ насаждения этих новых представлений среди людей приобретает, таким образом, коренное значение для любого социального движения.

Здесь можно сделать короткое замечание относительно тактики агитации. Достаточно сказать, что тактика агитации меняется в соответствии с ситуацией, людьми и культурой. Какая-либо процедура, которая может быть в высшей степени успешной в одной ситуации, в другой может оказаться просто смехотворной. Это обстоятельство ставит проблему отождествления различных типов ситуаций и соответствия каждой из них подходящей формы агитации. Практически ни одного исследования не было посвящено этой проблеме. Здесь мы можем лишь ограничиться трюизмом: агитатор, чтобы действовать успешно, должен чувствовать мысли, интересы и ценности своих слушателей.

Развитие esprit de corps. Агитация есть просто способ возбуждения интереса людей и привлечения их, таким образом, к участию в каком-то движении. Хотя она служит для вербовки членов, дает начальный толчок и определяет некое направление, сама по себе она никогда не смогла бы организовать и поддерживать движение. Коллективные деятельности, основанные просто на агитации, будут спорадическими, бессвязными и недолговечными. Чтобы придать социальному движению прочность и постоянство, должны вступить в действие другие механизмы. Один из них — развитие esprit de corps.

Esprit de corps может пониматься как процесс организации эмоций в интересах движения. Сам по себе он есть чувство сопринадлежности и солидарности людей друг с другом в каком-то общем предприятии. Его основу составляет состояние контакта. Развивая чувства близости и сопричастности, люди должны чувствовать, что разделяют какое-то общее переживание и образуют какую-то избранную группу. В присутствии друг друга они ведут себя непринужденно и чувствуют себя товарищами. Ломается личная настороженность, исчезают чувства чуждости, обособленности и отчуждения. В таких условиях отношения приближаются к кооперации, сменяя межличностную конкуренцию. Поведение одного стремится облегчить выражение (release) поведения других, сменяя стремление сдержать это поведение или воспрепятствовать ему; в этом смысле каждый человек стремится вдохновить других. Такие условия взаимной симпатии и отзывчивости со всей очевидностью способствуют согласованному поведению.

Esprit de corps важен для социального движения и по другим причинам. Весьма знаменателен тот факт, что он служит для подкрепления нового представления о себе самом, которое индивид сформировал в результате своего участия в движении. Его чувство сопричастности с другими, а их — с ним дарует ему ощущение коллективной поддержки. Таким путем поддерживаются и укрепляются его взгляды на самого себя и на цели движения. Отсюда следует, что развитие esprit de corps помогает воспитать привязанность людей к движению. Чувства каждого индивида направлены на цели движения и переплетены с ними. Результирующее чувство возрастания своей значимости, которое он испытывает, действует в направлении еще большей преданности движению. Должно быть ясно, что esprit de corps является важным способом развития чувства сплоченности и тем самым придания сплоченности движению.

Как развивается esprit de corps в социальном движении? Главным образом, очевидно, тремя путями: развитием внутри-группового / внегруппового отношения, формированием неформальной товарищеской ассоциации и участием в формальном церемониальном поведении.

Внутригрупповые / внегрупповые отношения. Природа внут-ригруппового /

внегруппового отношения должна быть знакома исследователю. Оно имеет место, когда две группы начинают считать друг друга врагами. В такой ситуации каждая группа полагает себя носительницей добродетели и развивает среди своих членов чувства альтруизма, лояльности и верности. Другая группа рассматривается в качестве беспринципной и злонамеренной, подвергающей нападкам те ценности, которые дороги внутренней группе. Перед лицом внешней группы члены внутренней группы не только чувствуют, что они правы и справедливы, но и верят, что несут общую ответственность за защиту и сохранность своих ценностей.

Ценность этих внутригрупповых / внегрупповых установок для развития сплоченности в социальном движении достаточно ясна. Вера их членов в то, что движению несправедливо и не по праву противостоят злонамеренные и беспринципные группы, служит сплочению этих членов вокруг своих целей и ценностей. Наличие врага в этом смысле очень важно для придания движению сплоченности. Кроме того, враг играет важную роль «козла отпущения». Движению выгодно развить образ врага; это развитие обычно происходит спонтанно. Однажды созданный, он содействует установлению esprit de corps.

Неформальное товарищество. Esprit de corps формируется также в весьма значительной степени путем развития неформальной ассоциации на основе товарищества. Там, где люди могут неформально сходиться подобным образом, они имеют возможность узнать друг друга как человеческие существа, а не институциональные символы. Так они оказываются в гораздо лучшем положении, чтобы принимать роли друг друга и незаметно для себя разделять переживания друг друга. Представляется, что при таких взаимоотношениях люди бессознательно перенимают и усваивают жесты, установки, ценности и жизненную философию друг друга. Непосредственным результатом этого является развитие взаимной симпатии и чувства близости, что очень способствует сплоченности. Итак, мы встречаем в социальных движениях возникновение и использование множества видов неформальной и общинной (communal) ассоциации. Пение, пляски, пикники, шутки, веселье и неформальная дружеская беседа являются в социальном движении важными механизмами такого рода. Благодаря им индивид получает чувство собственного статуса и чувство социального признания и поддержки взамен прежнего одиночества и личностного отчуждения.

Церемониальное поведение. Третьим важным путем развития социальными движениями esprit de corps является использование формального церемониального поведения и ритуала. Ценность массовых митингов, собраний, парадов, массовых демонстраций и юбилейных церемоний всегда была очевидна для тех, на кого возложена задача развития какого-либо социального движения; эта ценность имеет форму чувства широкой поддержки, которую испытывает участник крупных собраний. Психология, представленная здесь, — это психология парада. У индивидуального участника возрастает самооценка, и в результате он ощущает себя исключительно важной персоной. Поскольку это чувство личной значительности оказывается отождествленным с движением как таковым, оно содействует развитию esprit de corps. Схожим образом и ритуальная атрибутика, имеющаяся у каждого движения, служит воспитанию чувства всеобщего тождества и симпатии. Эта атрибутика состоит из набора эмоциональных символов, таких, как лозунги, песни, здравицы, гимны, стихи, выразительные жесты и униформа. У каждого движения есть что-либо подобное. Поскольку они приобретают эмоциональное значение, символизируя общие чувства по отношению к движению, их использование служит постоянному воспроизводству и усилению этих общих чувств.

Таким образом, esprit de corps можно рассматривать в качестве определенной организации группового чувства и, по существу, в качестве определенной формы группового энтузиазма. Это не то, что сообщает движению жизнь. Но точно так же как одной агитации недостаточно для развития какого-либо движения, недостаточно и опоры на один только esprit de corps. Движение, всецело зависящее от esprit de corps, обычно похоже на какой-нибудь бум и, как правило, разваливается, столкнувшись с серьезным кризисом. Поскольку преданность, которую внушает такое движение, основана исключительно на повышенном энтузиазме, она, как правило, исчезает вместе с упадком подобного энтузиазма. Таким образом, чтобы преуспеть, особенно в неблагоприятной обстановке, движение должно более постоянно и устойчиво внушать лояльность. Этому способствует развитие морали.

Развитие морали. Как мы увидели, esprit de corps является коллективным чувством, которое сообщает движению жизнь, энтузиазм и энергию. Мораль может пониматься как нечто, дающее движению постоянство и определенность; она показывает, сможет ли сплоченность устоять в неблагоприятных условиях.

В этом смысле мораль может пониматься как групповая воля или устойчивая коллективная цель.

Представляется, что мораль основывается и взращивается на определенном наборе убеждений. В случае какого-либо социального движения в последних можно выделить три вида.

Первый вид — убеждение в правильности и праведности цели движения. Оно сопровождается верой в то, что достижение целей движения возвестит наступление чего-то подобного тысячелетнему царству. Когда движение достигнет своих целей, все злое, несправедливое, неподлинное и неправильное будет искоренено. В этом смысле цель всегда переоценивается. Однако эти представления придают членам движения ярко выраженную уверенность в самих себе.

Второй вид убеждений, тесно связанный с этими представлениями, — вера в конечное достижение движением своей цели. Считается, что в этом есть определенная неизбежность. Поскольку движение воспринимается как некий необходимый для возрождения мира фактор, оно считается соответствующим высочайшим моральным ценностям вселенной и в этом смысле — находящимся под божественным покровительством. Как следствие, возникает вера в неизбежность успеха, пусть даже это будет лишь после длительной и тяжелой борьбы.

Наконец, третьей частью этого комплекса убеждений является вера в то, что на движение возложена некая священная миссия.

Вместе эти убеждения придают устойчивый и неизменный характер цели движения и твердость — его усилиям. Препятствия, задержки, отступления являются поводами для новых усилий, а не для разочарования или отчаяния, поскольку они не наносят серьезного ущерба вере в праведность и неизбежность его успеха.

Из этого объяснения ясно, что развитие морали в каком-либо движении является, по существу, развитием сектантской установки и религиозной веры. Это дает ключ к пониманию наиболее известных способов построения морали в каком-то определенном движении. Один из них состоит в возникновении какого-либо культа, который ясно различим в каждом устойчивом и прочном социальном движении. Обычно имеются некий главный святой и ряд менее важных святых, выбранных среди народных вожаков движения. Гитлер, Ленин, Маркс, Мэри Бэйкер Эдди и Сунь Ятсен могут послужить подходящими примерами главных святых. Такие лидеры, по существу, обожествляются и наделяются чудесной силой. Они считаются высшими, умнейшими и непогрешимыми. Люди вырабатывают по отношению к ним установку благоговения и трепета, возмущаясь попытками описать их как обыкновенных людей. Картины и другие изображения таких людей приобретают характер религиозных идолов. Вслед за святыми движениями идут его герои и его мученики. Они также начинают рассматриваться в качестве священных фигур. Развитие этого культа святых является важным способом распространения религиозной, по существу, веры в движение, способствующим также построению того типа убеждений, о котором говорилось выше.

Схожей функцией обладает и возникновение в движении какого-либо вероучения и священного писания. Их также можно обнаружить во всех устойчивых социальных движениях. Так, — и об этом часто говорилось,— Das Kapital и Mein Kampf стали библиями соответственно коммунистического и национал-социалистического движений. Роль вероучения и литературы этого сорта в сообщении движению религиозных убеждений должна быть ясна.

Наконец, большое значение в процессе развития морали в социальном движении принадлежит мифам. Такие мифы могут быть самого разного рода: мифы о принадлежности к какой-то избранной группе или избранному народу; о бесчеловечности своих оппонентов; о судьбе движения; описывающие тысячелетнее царство, которое явится результатом движения. Такие мифы обычно вырастают как отклики на желания и надежды людей, участвующих в движении, и приобретают в силу своего коллективного характера устойчивость, постоянство и безоговорочное признание. Главным образом именно с их помощью члены движения достигают догматической стойкости своих убеждений и стремятся оправдать свои действия перед остальным миром.

Развитие групповой идеологии. Без идеологии социальное движение будет двигаться вслепую и едва ли сможет удержаться перед лицом ожесточенной оппозиции со стороны внешних групп. Следовательно, идеология играет значительную роль в жизни движения; этот механизм является существенным для устойчивости и развития движения. Идеология движения состоит из определенного свода учения, верований и мифов. Точнее, она, очевидно, имеет следующие компоненты: во-первых, формулировка назначения, цели и предпосылок движения; во-вторых, свод суждений, содержащих критику существующей системы и приговор этой системе, которую движение подвергает нападкам и стремится изменить; в-третьих, оборонительное учение, которое служит в качестве оправдания движения и его целей; в-четвертых, свод убеждений, касающихся политики, тактики и практической деятельности движения; в-пятых, мифы движения.

Можно быть почти уверенным в том, что идеология обладает двойственным характером. С одной стороны, многое в ней имеет научный и наукообразный характер. Это та форма, которая развивается интеллектуалами движения. Как правило, она состоит из тщательно разработанных научных трудов абстрактного и в высшей степени логического

характера. Она вырастает обычно в ответ на критику со стороны интеллектуалов, стоящих вне движения, и стремится завоевать своим догмам респектабельную и удобную позицию для обороны в этом мире высшей учености и высших интеллектуальных ценностей. Идеология, однако, имеет и другой — популярный — характер. В этом облике она стремится взывать к необразованным и к массам. В своем популярном обличье идеология принимает формы эмоциональных символов, примет, (shibboleths), стереотипов, гладких и наглядных фраз и простонародных аргументов. Она также ведает догмами движения, но представляет их в такой форме, которая способствует их быстрому пониманию и усвоению.

Идеология движения может пониматься как то, что обеспечивает движению свою собственную философию и психологию. Она дает наборы ценностей, убеждений, критических суждений, аргументов и оборонительных приемов. Как таковая она снабжает движение направлением, оправданием, оружием нападения, оружием защиты, воодушевлением и надеждой. Чтобы быть эффективной в этих отношениях, идеология должна обладать респектабельностью и престижем — чертами, сообщаемыми ей в первую очередь интеллигенцией движения. Однако важнее этого — необходимость для идеологии отвечать на страдания, желания и надежды людей. Если идеология не соответствует этому требованию, она не будет представлять для движения никакой ценности.

Роль тактики. Мы упомянули тактику в качестве пятого основного механизма, существенного для развития социального движения. Тактика, очевидно, развивается по трем направлениям, имея целью: завоевать приверженцев, удержать их и достичь своих целей. Мало что можно добавить к этому, если только мы не имеем дела со специфическими видами движения в специфических ситуациях. Ибо тактика всегда зависит от сущности ситуации, в которой функционирует движение, и всегда соотносится с культурным фоном движения. Эта функциональная зависимость тактики от особенностей ситуации помогает объяснить нелепые провалы, которые часто сопровождают применение определенной тактики в какой-то ситуации, даже если она оказалась успешной в других ситуациях. Применять революционную тактику в наши дни в формах тактики двухсотлетней давности было бы очевидной глупостью. Подобным образом попытка развития какого-то движения в стране с обращением к тактике, использованной в каком-то схожем движении в какой-то другой культурной среде, может привести к весьма обескураживающим результатам. Вообще, можно сказать, что тактика по определению должна быть гибкой и изменчивой, принимая форму в зависимости от природы ситуации, требований обстоятельств и изобретательности людей.

Мы можем заключить обсуждение этих пяти механизмов простым повторением того, что успешное развитие движения зависит именно от них. Именно эти механизмы устанавливают программу, вырабатывают политику, развивают и поддерживают дисциплину и пробуждают преданность.

Реформа и революция. Было отмечено, что специфические социальные движения бывают главным образом двух видов: реформистские и революционные. Оба стремятся внести изменения в социальный строй и существующие институты. Их жизненные циклы в чем-то похожи, и развитие обоих зависит от механизмов, которые мы только что обсудили. Однако между ними существует ряд достойных внимания различий; некоторые из этих различий сейчас будут рассмотрены.

Эти два движения различаются *по размаху своих целей.* Реформистское движение стремится изменить какую-либо специфическую фазу или ограниченную область существующего социального строя; оно может стремиться, например, к упразднению детского труда или запрещению потребления алкоголя. У революционного движения более емкая цель: оно стремится перестроить весь социальный строй в целом.

Это различие в целях связано *с различными исходными точками нападения.* Стремясь изменить лишь часть господствующего социального строя, реформистское движение принимает основные принципы этого строя. Точнее, реформистское движение принимает существующие нравы; оно даже использует их для критики социальных пороков, на которые оно нападает. Реформистское движение отправляется от господствующего этического кодекса и завоевывает себе поддержку в немалой степени именно потому, что оно так хорошо обосновано с этической стороны. Это делает его позицию достаточно неуязвимой. Непросто атаковать какое-либо реформистское движение или реформаторов, исходя из их моральных целей; нападки обычно делаются скорее в форме карикатуры и насмешки или характеристики реформаторов как фантазеров и людей непрактичных. В противоположность этому революционное движение всегда бросает вызов существующим нравам и предлагает какую-то новую систему моральных ценностей. Таким образом оно навлекает на себя решительную атаку, ведущуюся с позиций существующих нравов.

Третье различие между двумя движениями вытекает из двух вышеупомянутых. Реформистскому движению присуща *респектабельность.* В силу признания

существующего социального строя и ориентации на идеальный моральный кодекс, оно предъявляет права на существующие институты. Как следствие, оно использует эти институты — школу, церковь, прессу, клубы и правительство. И здесь революционное движение демонстрирует ярко выраженный контраст. Атакуя социальный строй и отвергая его нравы, революционное движение блокируется существующими институтами, а их использование им исключается. Таким образом, революционное движение обычно в конечном счете оттесняется в подполье; любое использование существующих институтов должно тщательно маскироваться. Вообще, какая бы агитация, вербовка и маневры ни велись революционным движением, они должны находиться вне рамок существующих институтов. В случае слишком серьезного вызова какому-то могущественному классу или облеченным властью группам, реформистское движение, скорее всего, лишается доступа к использованию существующих институтов. Это ведет к превращению реформистского движения в революционное; его цели расширяются, включая реорганизацию институтов, блокирующих его продвижение.

Различия в позиции реформистского и революционного движений привносят одно важное отличие в их общую *стратегию* (procedure) и тактику. Реформистское движение пытается развивать благоприятное для своих целей общественное мнение; следовательно, оно стремится поставить какую-либо общественную проблему и использовать процесс дискуссии, который мы уже рассмотрели. Реформистскую партию можно рассматривать в качестве некой конфликтной группы, противопоставленной заинтересованным группам и окруженной массой инертного населения. Реформистское движение обращается именно к этой безразличной или незаинтересованной общественности в попытке завоевать ее поддержку. В противоположность этому революционное движение не стремится повлиять на общественное мнение, но вместо этого пытается обратить в свою веру. В этом смысле оно действует скорее как какая-нибудь религия. Это предполагает некоторое различие групп, среди которых эти движения ведут свою агитацию и стремятся завоевать приверженцев. Реформистское движение, хотя и действует обычно от имени каких-либо страдающих или эксплуатируемых групп, немного делает для утверждения своего влияния среди них. Зато оно стремится заручиться поддержкой общественности среднего класса, стоящей в стороне от движения, и пробудить вместо этого у нее некое сочувствие к угнетенной группе. Поэтому, как правило, руководство или членский состав реформистского движения нечасто происходят из той группы, чьи интересы они представляют. Революционное движение в этом смысле отличается тем, что его агитация ведется среди тех, кто считается страдающим и эксплуатируемым. Оно старается упрочиться, включая этих людей в свои ряды. Следовательно, революционное движение обычно является движением низших классов, действующим среди неимущих.

Наконец, в силу этих характерных различий два движения расходятся и по своим функциям. Главная функция реформистского движения состоит, вероятно, не столько в осуществлении социального изменения, сколько в подтверждении идеальных ценностей данного общества. В случае революционного движения стремление расколоть мир на тех, кто имеет, и тех, кто не имеет, а затем образовать какую-то сильную, сплоченную и бескомпромиссную группу из последних делает его функцией введение некой новой системы религиозных, по существу, ценностей. .

И еще одно, завершающее, замечание можно сделать по поводу специфических социальных движений. Их можно рассматривать в качестве обществ в миниатюре, и как таковые они могут представлять собой построение организованного и формализованного коллективного поведения из того, что первоначально было аморфным и неопределенным. С их ростом развивается некая социальная организация, формируются новые ценности, организуются новые индивидуальности. Они, конечно же, составляют квинтэссенцию движения. Они оставляют за собой некую институциональную структуру и корпус функционеров, новые объекты и взгляды, а также новый набор самопредставлений.

Экспрессивные движения

Отличительная черта экспрессивных движений. Характерной чертой экспрессивных движений является то, что они не стремятся изменить институты социального строя или их реальный характер. Напряжение и беспокойство, из которых они вырастают, не сфокусированы на какой-либо цели социального изменения, какую это движение стремилось бы достичь. Вместо этого они разряжаются в каком-либо виде экспрессивного поведения, которое, однако по мере того как оно выкристаллизовывается, может оказывать глубокое воздействие на индивидуальности людей и на характер социального строя. Мы рассмотрим два вида экспрессивных движений: религиозные движения и моду.

Религиозные движения. Религиозные движения начинаются, по существу, как культы; они берут начало в ситуации, которая психологически схожа с ситуацией танцующей толпы. Они представляют собой обращение внутрь беспокойства и напряже-

ния в форме расстроенных чувств, которые в конечном счете выражаются в движении, предназначенном для того, чтобы разрядить это напряжение. Напряжение в этом случае находит выход не в целенаправленном действии, а в своем выражении. Эта характеристика свидетельствует о природе той ситуации, в которой возникают религиозные движения. Это такая ситуация, в которой люди расстроены и выведены из равновесия, но не в состоянии действовать; другими словами, это ситуация фрустрации. Неспособность разрядить напряжение в направлении какого-то реального изменения социального строя оставляет единственную альтернативу — экспрессивное поведение.

Нелишне напомнить здесь наиболее заметные черты танцующей толпы. Одной из них является интенсивное *чувство близости* и esprit de corps; другой — усиленное *чувство экзальтации и экстаза,* которое дает индивиду переживание возрастания самооценки и ощущение одержимости каким-то запредельным духом. Индивиды чувствуют воодушевление и могут разразиться какими-то прорицаниями. Третьей чертой является проекция коллективных эмоций на внешние объекты — личности, формы поведения, песни, слова, фразы и материальные объекты, — которые при этом приобретают священный характер. С воспроизводством и повторением этого стадного поведения esprit de corps усиливается, танцующее поведение формализуется и ритуализуется, а святость объектов подкрепляется. Именно на этой стадии и возникают секта и культ. Так как моделью развития религиозного движения является развитие секты, рассмотрим некоторые из важнейших черт секты.

Во-первых, следует отметить, что члены секты могут рекрутироваться из самых разнородных источников, различаясь по состоянию, званию, образованию и социальному происхождению. Эти различия и отличия в секте не имеют никакого значения. В толчее и процессе выработки контакта каждый низводится на некий общий уровень братства. Об этом факте свидетельствуют не только эмоции и установки членов секты по отношению друг к другу, но также и тот способ, которым они соотносятся друг с другом, и их манера обращения друг к другу.

Вокруг чувства экзальтации и священных символов, в которых выкристаллизовывается это чувство, вырастает ряд верований и обрядов, которые становятся вероучением и ритуалом секты. Вся жизнь секты оказывается сосредоточенной вокруг этого вероучения и ритуала, которые и сами по себе начинают приобретать некий священный характер. Поскольку они символизируют эти интенсивные эмоции группы, они становятся абсолютными и императивными. Здесь важную роль играет пророк. Он является священным персонажем и стремится собственной персоной символизировать вероучение и ритуал группы. Он также является главным хранителем этого вероучения и ритуала. По мере того как секта начинает осознавать исходящую извне критику и предпринимать попытки оправдать свои воззрения, вероучение группы начинает перерабатываться в некий объемный корпус доктрины. Именно таким путем возникает *теология;* значительная ее часть имеет форму апологии. Это сопровождается некоторыми изменениями в ритуале, главным образом в форме дополнений. К тем чертам практики и образа жизни секты, которые превращают ее в объект критики и даже преследований извне, эта секта вполне может испытывать нежную привязанность, воспринимая их как признаки ее собственной идентичности; эти черты, таким образом, приобретают особое значение.

Другой важной чертой секты, обусловленной ее особого типа переживаниями и священным характером, является вера в то, что ей сопутствует божественное благоволение и что она состоит из избранной группы святых душ. Преображение, испытываемое членами секты, и новые моральные и общественные (communal) перспективы, которые она открывает, легко приводят их к этому убеждению. Люди вне секты считаются пропащими душами — ведь их не осенила благодать этого преображающего переживания.

Самоощущение секты в качестве общины спасенных душ легко располагает ее к агрессивному обращению в свою веру тех, кто стоит вне ее. Часто она чувствует, что на нее возложена некая божественная миссия спасти других и «показать им свет». Поэтому она ищет новообращенных. Чтобы стать членом секты, аутсайдер должен испытать некое обращающее переживание — моральное преображение, схожее по характеру с тем, которое испытали члены секты. Публичное признание является свидетельством такого переживания и признаком того, что индивид вошел в число избранных. Эти замечания указывают на особенно значимую характеристику секты — интенсивное конфликтное отношение, в котором секта находится с внешним миром.

Можно сказать, что секта находится в состоянии войны с внешним миром, и все же это какой-то особенный вид конфликтного отношения, поскольку секта стремится не к изменению институтов или реального социального строя, а к его моральному перерождению. Она ставит своею целью, по крайней мере первоначально, не изменение внешнего существования, а изменение внутренней жизни. В этом смысле секту можно понимать как глубоко революционную, поскольку она пытается

внедрить какое-то новое представление о Вселенной вместо простого стремления переделать институты или реальную структуру социального строя.

Религиозное движение имеет тенденцию разделять с сектой эти ее черты. Его программа представляет некий новый способ жизни, и оно нацелено на моральное перерождение мира. Развиваясь из аморфного состояния, которое, очевидно, характерно для него в ситуации танцующей толпы, оно стремится приобрести структуру, схожую со структурой секты, и в результате развивается в некое общество. Таким образом, религиозное движение становится аналогом специфических социальных движений, за исключением того, что его цели — совершенно иной природы [6].

[6] Существуют как религиозные, так и политические секты. Разница в том, что политические секты стремятся осуществить как политическую революцию, так и коренное изменение жизненной философии.

Модные движения. Хотя мода обычно соотносится лишь с одеждой, важно осознать, что она охватывает гораздо более широкую область. Ее можно обнаружить в манерах, искусствах, литературе и философии, она может даже проникать в определенные сферы науки. На деле она может действовать в любой сфере групповой жизни, не считая технологической и утилитарной областей, а также сферы священного. Для ее функционирования необходимо классовое общество, так как в своих существенных проявлениях она не наблюдается ни в однородном обществе, подобном какой-либо первобытной группе, ни в обществе кастовом.

Мода существует как некое движение и по этому основанию отличается от обычая, который по сравнению с ней статичен. Это обусловлено тем фактом, что мода основана главным образом на дифференциации и соперничестве. В классовом обществе высшие классы, или так называемая социальная элита, не могут дифференцироваться с помощью каких-то фиксированных символов или знаков (badges). Следовательно, чисто внешние особенности их жизни и поведения могут имитироваться непосредственно нижестоящими по отношению к ним классами, которым в свою очередь подражают группы, расположенные в социальной структуре непосредственно под ними. Этот процесс придает моде некую вертикальную структуру. Как бы то ни было, класс элиты обнаруживает, что он больше не выделяется вследствие осуществляемой другими имитации, и как следствие он вынужден принимать какие-то новые отличительные критерии — только для того, чтобы вновь их заменить, когда они в свою очередь станут объектом подражания. Главным образом именно эта черта и превращает моду в движение, и именно она заставила одного автора заметить, что мода, однажды разразившись, движется вплоть до своей погибели.

В качестве движения мода имеет мало сходства с любым из тех движений, которые мы рассмотрели. Хотя она возникает спонтанно и проходит характерный цикл развития, она мало несет в себе стадного поведения и не зависит ни от процесса дискуссии, ни от результирующего общественного мнения. Она не зависит и от тех механизмов, о которых мы говорили. Участники этого движения не вербуются агитацией или обращением в свою веру. Среди них не развиваются ни esprit de corps, ни мораль. Модное движение также не имеет и не требует никакой идеологии. Далее, поскольку оно не имеет никакого руководства, дающего сознательное направление движению, оно не изобретает никакого набора тактических приемов. Люди участвуют в модном движении по собственной воле и откликаясь на тот интересный и могущественный род контроля, который накладывает на них мода.

Модное движение не только уникально по своему характеру, но отличается от других движений также и тем, что не развивается в общество. Оно не выстраивает никакой социальной организации; у него нет никакого персонала или корпуса функционеров; оно не развивает никакого разделения труда среди своих участников, когда каждому отводится какой-то определенный статус; оно не создает никакого набора символов, мифов, ценностей, никакой философии или практики и в этом смысле не образует никакой культуры; и наконец, оно не развивает никакого набора взаимных обязательств (loyalties) и не формирует никакого «мы — сознания».

Тем не менее модное движение является важной формой коллективного поведения, обладающей чрезвычайно значительными результатами для социального строя. Во-первых, следует заметить, что модное движение есть подлинно экспрессивное движение. У него нет никакой сознательной цели, которую люди стремились бы достичь посредством коллективного действия, как в специфических социальных движениях. Оно не представляет собой также и разрядки возбуждения и напряжения, как в танцующей толпе. Оно выражает, однако, определенные фундаментальные порывы и тенденции, такие как склонность к новым переживаниям, желание выделиться и побуждение соответствовать. Мода важна в особенности тем, что обеспечивает средство для выражения развивающихся вкусов и предрасположений; эта черта подтверждает, что она есть форма экспрессивного поведения.

Последнее замечание дает ключ к пониманию роли моды и способа ее участия в формировании нового социального порядка. В изменяющемся обществе, которое

необходимо для функционирования моды, субъективная жизнь отдельных людей постоянно утрачивает равновесие; они приобретают какие-то новые предрасположения и вкусы, которые, однако, неясны и неопределенны. Представляется совершенно ясным, что мода, предоставляя возможность для выражения предрасположений и вкусов, служит для их определения и канализации и, следовательно, их фиксации и упрочения.

Чтобы уяснить это, необходимо должным образом оценить тот факт, что движение и успех моды зависят от принятия какого-то данного стиля или образца. В свою очередь это принятие основано не просто на престиже, связанном с этим стилем, но также и на том, удовлетворяет и отвечает ли этот стиль предрасположениям и развивающимся вкусам людей. Известные провалы, которые терпят усилия сделать тот или иной стиль модным исключительно на основе престижа, могут послужить опорой для этой точки зрения. С этой позиции мы можем рассматривать моду как нечто такое, что возникает и расцветает в ответ на какие-то новые субъективные требования. Обеспечивая средства для выражения этих предрасположений и вкусов, мода способствует, в соответствии с высказанным выше предположением, оформлению и кристаллизации этих вкусов. В конце концов мода помогает, таким образом, создать некий Zeitgeist [7], или некую общую субъективную жизнь, и тем самым помогает заложить основы нового социального порядка.

[7] Д\х времени. — *Прим. перев.*

Возрожденческие и националистические движения

Слияние специфических движений. До сих пор мы рассматривали отдельно специфические социальные движения, религиозные движения и модные движения. Однако должно быть ясно, что они могут сливаться, хотя и в весьма различной степени. Так, революционное движение может иметь множество черт религиозного движения, а его успех может зависеть в известной мере от того, станет ли оно модным.

Возрожденческие движения. Возрожденческие и националистические движения особенно часто обладают таким смешанным характером. Мы посвятим им несколько замечаний. Люди, участвующие в возрожденческих движениях, идеализируют прошлое, почитают некую сложившуюся у них идеальную картину этого прошлого, стремятся подогнать современную жизнь под эту идеальную картину. Такие движения объясняются, очевидно, как отклики на ситуацию фрустрации. В этой ситуации люди испытывают утрату самоуважения. Поскольку будущее не обещает им какого-то нового достойного представления о самих себе, они обращаются к прошлому в попытке сформировать его. Вспоминая прошлую славу и достижения, они могут отвоевать немного самоуважения и удовлетворения. Следует ожидать, что такие движения будут иметь сильный религиозный характер.

В этих отношениях националистические движения очень схожи с ними.

Националистические движения. Большинство националистических движений имеет сильный возрожденческий характер, предполагающий прославление прошлого народа. Этот аспект тесно связан с той мотивацией, которая столь характерна для этого типа движения, а именно с комплексом неполноценности. Те, кто начинают движение, обычно обладают какими-то огорчительными личными воспоминаниями о том, как им дали почувствовать себя неполноценными и недостаточно привилегированными для того, чтобы получить какой-то респектабельный статус. Их уязвленное самоощущение и желание восстановить самоуважение ведут их к попыткам улучшить статус группы, с которой они себя отождествляют. В таком движении наблюдается не только постановка какой-то цели, например, завоевания национальной автономии, но обычно также и идеализация какой-то минувшей эпохи в жизни этого народа.

Выводы относительно коллективного поведения

Социальный строй может рассматриваться как состоящий из следующих, наряду с прочими, элементов. Во-первых, набора каких-то общих экспектаций, на основании которых люди способны кооперировать и регулировать свою деятельность по отношению друг к другу. Эта процедура дает им обычаи, традиции, правила и нормы. Во-вторых, набора каких-то ценностей, которые связаны с этими экспектациями и которые определяют, насколько они важны и с какой готовностью люди примкнут к ним. В-третьих, каких-то представлений, которые люди имеют о самих себе в отношении друг к другу и к своим группам. И в-четвертых, какой-то общей субъективной ориентации в форме предрасположений и настроений.

Эта концепция социального строя облегчает понимание положения, высказанного в начале данного обсуждения, что при изучении коллективного поведения мы касаемся процесса построения того или иного социального строя. На ранних стадиях этого процесса коллективное поведение неопределенно по своему характеру и относительно неорганизованно. Появляются элементарные и спонтанные типы поведения. На их

примере яснее видны основные механизмы ассоциации. По мере продолжения взаимодействия между людьми коллективное поведение получает форму и организацию. Возникают новые экспектаций, ценности, представления о правах и обязанностях и новые вкусы и настроения. Мы постарались доказать ту роль, которую в этом процессе играют механизмы коллективного поведения, а также функцию социальных движений. В общем, мы можем сказать, что движения, концентрирующиеся вокруг механизмов общественности, дают начало политической фазе социального строя; те, что используют главным образом механизмы функционирования толпы и контакта, порождают какой-то моральный или священный строй; те же, что, подобно моде, подчеркивают механизмы массовых движений, производят определенные субъективные ориентации в форме общих вкусов и склонностей.

Дж. Мид. От жеста к символу[1]

[1] Mead G. From Gesture to Symbol // Mead G. Mind, Self and Society. Chicago, 1934. P. 65. 66-76, 78. *(Перевод А. Гараджи).*

В случае голосового жеста биологическая форма слышит свой собственный стимул как раз тогда, когда он используется другими формами; таким образом, она стремится откликаться и на свой собственный стимул, когда откликается на стимул других форм. Это значит, что птицы стремятся петь для самих себя, дети — говорить для самих себя. Производимые ими звуки являются стимулами к произведению других звуков. Там, где имеется какой-то особенной звук, вызывающий какой-то особенный отклик, этот звук в случае его использования другими формами вызывает этот отклик в той (биологической) форме, о которой идет речь. Если воробей (подражающий канарейке) использует этот особенный звук, откликом на этот звук явится тот, который будет слышен чаще, чем какой-либо другой отклик. Таким образом, из репертуара воробья будут отобраны те элементы, которые встречаются в пении канарейки, и постепенно такой отбор накопит в пении воробья те элементы, которые являются общими для обеих птиц, не предполагая здесь никакого особого стремления к подражанию. Здесь налицо некий избирательный процесс, который избирает то, что является общим. «Подражание» зависит от индивида, воздействующего на себя самого так, как другие воздействуют на него, так что он находится под воздействием не только другого, но и самого себя постольку, поскольку он использует тот же самый голосовой жест.

Итак, голосовой жест обладает таким значением, каким не обладает никакой другой жест. Мы не можем видеть себя тогда, когда наши лица принимают определенное выражение. Нам гораздо проще задержать свое внимание в том случае, когда мы слышим свой голос. Слышат себя тогда, когда бывают раздражены вследствие использования какой-то раздражающей интонации, и, таким образом, неожиданно спохватываются, начиная воспринимать самих себя. В случае же лицевого (facial) выражения раздражения имеет место такой стимул, который не обладает свойством вызывать то же выражение у данного индивида, какое он вызывает в другом. Гораздо проще спохватиться и контролировать себя в голосовом жесте, нежели в выражении лица.

Если есть правда в старой аксиоме, гласящей, что задира всегда трус, обосновать ее можно тем, что индивид пробуждает в себе ту же установку страха, которую пробуждает его задирающая установка в другом, так что в конкретной ситуации, провоцирующей его блеф, его собственная установка оказывается установкой других. Если установка индивида уступить задирающей установке других есть установка, пробуждающая задирающую установку, тогда в этой же мере он оказывается пробудившим установку задирания в самом себе. Мы увидим, что в этом определенно есть доля истины, если вернемся к тому эффекту, который оказывает на индивида используемый им жест. Поскольку индивид вызывает в себе ту установку, которую он вызывает в других, постольку отклик отбирается и усиливается. Это единственная основа для того, что мы называем подражанием. Это подражание не в том смысле, что индивид делает то же, что, как он видит, делает другой механизм подражания состоит в том, что индивид вызывает в- себе тот отклик, который он вызывает в другом, и вследствие этого придает таким откликам больший вес, чем другим откликам, постепенно выстраивая эти наборы откликов в некое преобладающее целое. Это может происходить, как мы говорим, бессознательно. Воробей не знает, что он подражает канарейке. Это просто постепенный отбор звуков, общих для обеих птиц. И это верно для всех случаев, где бы мы ни встречали подражание.

Я противопоставил две ситуации для того, чтобы показать, какой долгий путь[2] должны проделать речь или коммуникация от ситуации, в которой нет ничего, кроме голосовых сигналов, к ситуации, в которой используются значимые символы. Для последней характерно как раз то, что индивид откликается на свой собственный стимул

точно так же, как откликаются другие люди. Когда это имеет место, тогда символ становится значимым, тогда начинают высказывать нечто. «Речь» попугая ничего не означает, но там, где нечто значимо высказывают при помощи своего голоса, высказывают это и для самих себя, и для любого другого в пределах досягаемости голоса. 'Лишь голосовой жест годится для этого типа коммуникации, потому что лишь на свой голосовой жест откликаются или стремятся откликнуться так, как откликается на него другой. Язык рук, правда, имеет тот же характер. Здесь можно наблюдать использование тех жестов, которыми пользуются глухие. Они воздействуют на того, кто их использует, точно так же, как они воздействуют на других. Разумеется, то же самое верно и применительно к любой форме письменности. Но все подобные символы развились из специфического голосового жеста, ибо это — фундаментальный жест, воздействующий на индивида так, как он воздействует на других. Он не становится значимым в перекличке двух птиц. Тем не менее здесь налицо тот же тип процесса: стимул одной птицы стремится вызвать такой же отклик в другой птице, какой он стремится вызывать, как бы слабо ни прослеживалась эта тенденция, в первой птице.

[2] На предыдущих страницах Г. Мид обсуждал, что происходит, когда воробья сажают в клетку вместе с канарейкой.— Прим. *ред.*

Мышление

Более или менее бессознательно мы видим себя так, как видят нас другие. Мы бессознательно обращаемся к себе так, как обращаются к нам другие: таким же образом, как воробей подхватывает напев канарейки, мы производим отбор окружающих нас диалектов. Разумеется, эти особые отклики должны иметься в нашем собственном (психическом) аппарате. Мы вызываем в другом нечто такое, что мы вызываем в себе самих, так что бессознательно мы переносим эти установки. Мы бессознательно ставим себя на место других и действуем так, как действуют другие.]Я хочу просто выделить здесь некий всеобщий механизм, потому что он обладает фундаментальным значением для развития того, что мы называем самосознанием и возникновением самости. Мы постоянно, особенно благодаря использованию голосовых жестов, пробуждаем в себе те отклики, которые мы вызываем в других, так что мы перенимаем установки других, включая их в свое собственное поведение. Решающее значение языка для развития человеческого сознания заключается в том, что этот стимул обладает способностью воздействовать на говорящего индивида так, как он воздействует на другого.

Бихевиорист вроде Уотсона склонен считать все наше мышление вокализацией. В мышлении мы попросту принимаемся использовать определенные слова. Это в некотором смысле верно. Однако Уотсон не учитывает всех импликаций данного положения, а именно—что эти стимулы суть существенные элементы сложных социальных процессов и что они несут на себе отпечаток (value) этих процессов. Голосовой процесс как таковой имеет это первостепенное значение, и справедливо допустить, что голосовой процесс вместе с пониманием и мышлением, которые его сопровождают, не просто произвольное столкновение неких голосовых элементов друг с другом. Такая точка зрения упускает из виду социальный контекст языка[3].

[3] Жесты, если проследить их вспять до той матрицы, из которой они исходят, всегда оказываются вовлеченными или включенными в более широкое социальное действие, фазами которого они являются. Рассматривая коммуникацию, мы должны прежде всего распознать ее глубинные корни в бессознательном общении жестами. Сознательная коммуникация — сознательное общение жестами — возникает тогда, когда жесты становятся знаками, т.е. когда они начинают нести для индивидов, производящих их, и индивидов, откликающихся на них, определенные смыслы или значения, касающиеся последующего поведения производящих их индивидов. Тем самым, служа предупреждениями откликающимся на них индивидам относительно поведения производящих их индивидов, они делают возможным взаимное приспособление различных индивидуальных компонентов социального действия друг к другу, а также, имплицитно вызывая в производящих их индивидах те же отклики, которые они эксплицитно вызывают в индивидах, к которым они обращены, они делают возможным рост самосознания в единстве со взаимным приспособлением.

Итак, значение голосового жеста состоит в том факте, что индивид может слышать то, что он говорит, и, слыша это, стремится откликнуться так же, как откликается другой.

В поисках объяснения этого обстоятельства мы обычно предполагаем наличие некоторой группы центров в нервной системе, которые связаны друг с другом и выражают себя в действии. Если мы попытаемся отыскать в центральной нервной системе нечто, соответствующее нашему слову «кресло», то обнаруженное нами будет, очевидно, просто какой-то организацией целой группы возможных реакций, связанных между собой таким образом, что, начав действовать в одном направлении, они осуществляют один процесс, а начав действовать в другом — осуществляют другой процесс. Кресло есть прежде всего то, на что садятся. Это физический объект,

расположенный на некотором расстоянии (от наблюдателя). Можно двигаться к этому объекту, находящемуся на некотором расстоянии, а затем, приблизившись к нему, включиться в процесс усаживания. Налицо некий стимул, возбуждающий определенные связи, которые заставляют индивида приближаться к этому объекту и усаживаться в него. Эти центры в некоторой степени материальны. Налицо, и это следует отметить, определенное влияние последующего действия на предшествующее. Последующий процесс, который должен продолжаться, был уже начат, и этот последующий процесс оказывает свое влияние на предыдущий процесс (тот, что имеет место прежде, чем этот процесс, уже начатый, может быть завершен).

Итак, подобная организация большой группы нервных элементов, которая приводит к определенному поведению в отношении окружающих нас объектов, и есть то, что можно обнаружить в центральной нервной системе в качестве соответствия тому, что мы зовем объектом. Усложнения могут быть очень значительными, но центральная нервная система содержит в себе практически бесконечное число элементов, и они могут быть организованы не только в пространственной связи друг с другом, но также и с временной точки зрения. В силу этого последнего факта наше поведение составляется из серии шагов, которые следуют друг за другом, и последующие шаги могут быть уже начаты и воздействовать на предыдущие. Вещь, которую мы собираемся сделать, отбрасывает свою тень на то, что мы делаем в настоящий момент. Эта организация нервных элементов в отношении того, что мы называем физическим объектом, должна быть как раз тем, что мы называем концептуальным объектом, сформулированным в терминах центральной нервной системы.

Грубо говоря, именно инициация подобного набора организованных наборов (sic) откликов и соответствует тому, что мы называем идеей или понятием какой-либо вещи. Если кто-то задался бы вопросом, что представляет собой идея собаки, и попытался обнаружить эту идею в центральной нервной системе, он обнаружил бы целую группу откликов, в большей или меньшей степени соединенных друг с другом определенными связями таким образом, что если кто-то употребляет слово «собака», он стремится вызвать именно эту группу откликов. Собака — это возможный товарищ в игре, возможный враг, собственность того или иного лица. Здесь имеется целая серия возможных откликов. Есть определенные типы этих откликов, которые присутствуют во всех нас, и есть другие, различающиеся в разных индивидах, но всегда налицо некая организация откликов, которая может быть вызвана словом «собака». Таким образом, если кто-то говорит о собаке другому, он пробуждает в себе этот набор откликов, который он пробуждает в другом индивиде.

Разумеется, именно взаимосвязь этого символа, этого голосового жеста с подобным набором откликов как в самом индивиде, так и в другом и превращает этот голосовой жест в то, что я называю значимым символом. Символ имеет тенденцию вызывать в индивиде некую группу реакций, подобных тем, которые он вызывает в другом. Но и еще кое-что заключается в том факте, что он является значимым символом: этот отклик какого-либо индивида на такое слово, как «кресло» или «собака», есть такой отклик, который является для этого индивида настолько же откликом, насколько и стимулом. Вот что, конечно же, предполагается в том. что мы называем смыслом какой-либо вещи или ее значением [4]

[4] Включение матрицы или комплекса установок и откликов, составляющих любую данную социальную ситуацию или действие, в сознание любого из индивидов, вовлеченных в эту ситуацию или действие (включение в его сознание установок по отношению к другим индивидам, их откликов на его установки по отношению к ним, их установок по отношению к нему и его откликов на эти установки), является всем тем, что подразумевает *идея,* или во всяком случае — единственной основой для ее появления или существования «в сознании» данного индивида.

В случае бессознательного общения жестами или поддерживаемого с его помощью процесса коммуникации ни один из участвующих в нем индивидов не сознает смысла общения — этот смысл не появляется в сознании ни одного из отдельных индивидов, вовлеченных в общение или поддерживающих его; тогда как в случае сознательного общения жестами или в случае поддерживаемого с его помощью процесса коммуникации каждый из участвующих в нем индивидов сознает смысл общения как раз потому, что этот смысл появляется в его сознании, и потому, что такое появление есть то, что предполагает осознание этого смысла.

Мы часто действуем в отношении объектов разумным, как мы говорим, образом, хотя наши действия не обязательно предполагают, что смысл объекта присутствует в нашем сознании. Можно начать одеваться, чтобы выйти к обеду, как в анекдоте об одном рассеянном профессоре, и в результате оказаться одетым в пижаму и лежащим в постели. Здесь был начат и механически осуществлен определенный процесс раздевания: профессор не осознал смысл того, что он делал. Он собирался выйти к обеду и в результате отошел ко сну. Смысл, заключенный в его действии, отсутствовал. Все предпринятые им шаги были разумными шагами, которые контролировали его поведение с учетом последующего действия, но сам он не думал, что делает.

Последующее действие не было стимулом для *его* отклика, но, просто начавшись, осуществилось.

Когда мы говорим о смысле того, что мы делаем, мы производим сам отклик, заключающийся в том, что мы собираемся осуществить некий стимул к нашему действию. / Он становится стимулом для последующий стадии действия, которое должно осуществляться с точки зрения этого конкретного отклика. Удар, который боксер намеревается нанести своему противнику, должен вызвать определенный отклик, который раскроет защиту его противника, чтобы он мог поразить его. Смысл есть стимул для подготовки реального удара, который он собирается нанести. Отклик, который он вызывает в себе (защитная реакция), является для него стимулом бить в то место, где открывается брешь. Это действие, которое он уже начал в самом себе, становится, таким образом, стимулом для его последующего отклика. Он знает, что собирается делать его соперник, поскольку защитное движение есть движение, которое он уже пробудил (в себе) и которое становится стимулом для нанесения удара в то место, где раскрывается защита. Смысл в его поведении отсутствовал бы, если бы он не становился стимулом для нанесения удара там, где появляется удобная брешь.

Таково различие между разумным поведением животных и поведением так называемого рефлектирующего индивида. Мы говорим, что животное не думает. Оно не ставит себя на позицию, за которую оно было бы ответственным; оно не ставит себя на позицию другого индивида и не говорит в результате: «Он будет действовать так-то, а я буду действовать так-то». Если индивид может действовать подобным образом и установка, которую он вызывает в самом себе, становится стимулом для него к совершению другого действия, мы имеем дело с осмысленным поведением. Где отклик другого человека вызывается индивидом (в себе самом) и становится стимулом для контроля над его действием, там смысл действия другого присутствует в его собственном сознании. Это всеобщий механизм того, что мы называем мышлением, ибо для того, чтобы мышление существовало, необходимы символы, голосовые жесты вообще, пробуждающие в самом индивиде отклик, который он вызывает в другом, причем такой, что с точки зрения этого отклика он может направлять свое последующее поведение. Это предполагает не только коммуникацию в том смысле, в каком птицы общаются (communicate) друг с другом, но также и пробуждение в самом индивиде отклика, который он вызывает в другом индивиде, принятие роли другого, стремление действовать так, как действует другой. Индивид участвует в том же процессе, который осуществляет другой, и контролирует свое действие с учетом этого участия. Как раз это и составляет смысл объекта: общий для данного индивида и для другого индивида отклик, который в свою очередь становится стимулом для первого индивида.

Если вы представляете себе разум просто как некую сознательную субстанцию, в которой имеются какие-то определенные впечатления и состояния, и полагаете, что одно из этих состояний есть некая универсалия, тогда слово становится чисто произвольным — оно только символ[5].

[5] Мюллер пытается расположить ценности мышления в языке, но эта попытка ошибочна, поскольку язык обладает этими ценностями лишь как наиболее действенный механизм мышления — уже потому только, что приводит сознательное или значимое общение жестами к высшей и наиболее совершенной точке своего развития. Организм, производящий жест, должен обладать какой-то имплицитной установкой (т.е. каким-то откликом, который был начат и не осуществлен до конца) — установкой, которая отвечает явному отклику на жест со стороны другого индивида и соответствует установке, вызываемой или пробуждаемой в этом другом организме этим жестом,— если в организме, производящем жест, суждено развиться мышлению. И как раз центральная нервная система и предоставляет механизм для функционирования подобных имплицитных установок и откликов.

Отождествление языка с мышлением в каком-то смысле абсурдно, но в другом — вполне обоснованно. А именно, оно обоснованно в том смысле, что языковой процесс привносит совокупное социальное действие в сознание данного индивида в качестве участника этого действия и, таким образом, делает возможным мыслительный процесс. Но хотя мыслительный процесс осуществляется и должен осуществляться в терминах языкового процесса, т.е. посредством слов, нельзя говорить, что он попросту конституируется последним.

Тогда вы можете брать слова и произносить их задом наперед, как поступают дети; создается впечатление абсолютной свободы их расположения, и язык кажется чисто механической вещью, которая лежит вне сферы разумности.

Если же вы признаете, что язык есть просто часть некоего кооперативного процесса — та часть, которая обеспечивает взаимное приспособление индивидов друг к другу, чтобы вся деятельность в целом могла продолжаться, то тогда язык обладает лишь ограниченным диапазоном произвольности. Если вы разговариваете с другим человеком, вы, вероятно, способны почувствовать изменение его установки, подметив нечто такое, что совершенно не привлечет внимание третьего лица. Вы можете знать его манеру выражаться, и для вас она становится определенным жестом, частью отклика индивида. В пространстве жеста может вычленяться определенная область, заключающая в себе то, что может служить в качестве символа. Мы можем признать

приемлемым целый набор отдельных символов с одним и тем же смыслом; но они всегда являются жестами, т.е. всегда являются частями действия индивида, открывающими другому, что он собирается делать, так что, когда человек использует этот ключ, он вызывает в себе установку другого.

Язык никогда не бывает произвольным в смысле простого обозначения какого-то чистого состояния сознания каким-то словом. То, какая именно конкретная часть чьего-либо действия послужит для направления кооперативной деятельности, более или менее произвольно. Это могут осуществлять различные фазы действия. То, что само по себе кажется незначительным, может оказаться в высшей степени значительным, раскрывая сущность данной установки. В этом смысле сам жест можно назвать незначительным, однако он в высшей степени значителен для выяснения того, что им собираются раскрыть.

Это хорошо видно на примере различия между чисто интеллектуальным характером символа и его эмоциональным характером. Поэт зависит от последнего; для него язык богат и полон такими ценностями, которые мы, возможно, полностью игнорируем. Пытаясь выразить десятком, а то, и меньше, слов какое-то сообщение, мы стремимся просто передать определенный смысл, в то время как поэт имеет дело с подлинно живой тканью, эмоциональным пульсом самого выражения.

Таким образом, наше использование языка охватывает значительный диапазон; но какая бы фаза этого диапазона ни была задействована, мы всегда имеем дело с какой-то частью социального процесса, и это всегда та часть, посредством которой мы воздействуем на себя так, как воздействуем на других, и опосредуем социальную ситуацию этим пониманием того, что мы говорим. Это обстоятельство является фундаментальным для всякого языка если это действительно язык, индивид должен понимать то, что говорит, должен воздействовать на себя так, как воздействует на других.

Смысл

Мы особенно интересуемся пониманием (intelligence) на человеческом уровне, т.е. приспособлением друг к другу действий различных человеческих индивидов в рамках человеческого социального процесса. Это приспособление происходит посредством коммуникации: посредством жестов на более низких уровнях человеческой эволюции и посредством значимых символов (жестов, обладающих смыслом и являющихся, следовательно, чем-то большим, нежели простые заместительные стимулы) на более высоких уровнях человеческой эволюции.

Основным фактором этого приспособления является смысл. Смысл возникает и располагается в пространстве отношения между жестом данного человеческого организма и последующим поведением этого организма, возвещенным другому человеческому организму посредством этого жеста. Если этот жест возвещает, таким образом, другому организму последующее (или результирующее) поведение данного организма, то он обладает смыслом. Другими словами, взаимоотношение между данным стимулом — как жестом — и последующими фазами социального действия, ранней (если не начальной) фазой которого он является, составляет пространство, в котором зарождается и существует смысл. Смысл, таким образом, является развитием чего-то, объективно существующего в качестве отношения между определенными фазами социального действия; перед нами не физическое дополнение этого действия и не «идея» в ее традиционном понимании. Жест одного организма, результирующее социального действия, ранней фазой которого этот жест является, и отклик другого организма на этот жест суть relata в тройственном соотношении жеста с первым организмом, со вторым организмом и последующими фазами данного социального действия. Это тройственное соотношение составляет матрицу, в которой возникает смысл или которая развивается в пространство смысла. Жест выражает некое результирующее социального действия, результирующее, на которое имеется определенный отклик со стороны вовлеченных в это действие индивидов: таким образом, смысл дается или формулируется в терминах отклика. Смысл имплицитно, если только не всегда эксплицитно, предполагается в соотношении между различными фазами социального действия, к которому он отсылает и из которого он развивается. И его развитие происходит на человеческом эволюционном уровне в терминах символизации.

Символизация конституирует объекты, которые не были конституированы прежде и не существовали бы, если бы не контекст социальных отношений, в котором происходит символизация. Язык не просто символизирует какую-то ситуацию или какой-то объект, которые бы заранее уже имелись налицо; он делает возможным существование или появление этой ситуации или этого объекта. Ибо он есть часть того механизма, в котором эта ситуация или этот объект только и созидаются. Социальный процесс соотносит отклики одного индивида с жестами другого в качестве смыслов последнего и, таким образом, является условием возникновения и существования новых объектов в данной социальной ситуации — объектов, зависящих от этих смыслов

или ими конституируемых. Смысл, по существу, не должен пониматься в качестве какого-то состояния сознания или какого-то набора организованных отношений, существующих или поддерживающих свое существование лишь ментально, за пределами сферы опыта, в которую они затем уже только проникают. Напротив, его следует понимать объективно, размещая его целиком и полностью внутри самой этой сферы. Отклик одного организма на жест другого в любом данном социальном действии есть смысл этого жеста, а также — в определенном смысле — условие появления или возникновения нового объекта или нового содержания старого объекта, на который этот жест указывает через результат данного социального действия (ранней фазой которого он является). Ибо, повторим, в подлинном смысле объекты конституируются в рамках социального процесса, в который вовлечен человеческий опыт, посредством коммуникации и взаимного приспособления поведения индивидуальных организмов, участвующих в этом процессе и поддерживающих его. Подобно тому как в оборонительной позиции парирования удара есть его истолкование, точно так же и в социальном действии приспособительный отклик одного организма на жест другого есть истолкование этого жеста этим организмом — он есть смысл этого жеста.

Дж. Мид. Интернализованные другие и самость[1]

1 Mead G. Internalized Others and the Self //Mead G. Mind, Self and Society. Chicago, 1934. P. 144 — 145, 149—152. (Перевод А. Гараджи).

Предпосылки генезиса самости

Теперь рассмотрим детально, каким образом возникает самость. Мы должны отметить некоторые предпосылки ее генезиса.

Прежде всего наблюдается общение жестами между животными, предполагающее некую кооперативную деятельность. Здесь начало действия одного есть стимул для другого откликнуться определенным образом, и начало этого отклика становится опять-таки стимулом для первого — приспособить свое действие к последующему отклику. Такова подготовка к завершенному действию, и в конечном счете она приводит к такому поведению, которое есть результат этой подготовки. Общение жестами тем не менее не сопровождается соотнесением индивида, животного, организма с самим собой. Оно не действует таким образом, чтобы добиваться отклика от самой (производящей жест) формы, хотя перед нами здесь такое поведение, которое соотносится с поведением других. Мы видели, однако, что есть определенные жесты, которые воздействуют на данный организм так же, как они воздействуют на другие организмы, и могут, следовательно, пробуждать в организме отклики того же самого свойства, что и отклики, пробужденные в другом. Итак, мы имеем здесь ситуацию, в которой индивид может по крайней мере пробуждать отклики в самом себе и отвечать на эти отклики при условии, что социальные стимулы оказывают на индивида воздействие, подобное тому, какое они оказывают на другого. Именно это и предполагается, например, в языке; в противном случае язык как значимый символ исчез бы, поскольку для индивида смысл того, что он говорит, оставался бы недоступным.

Другой набор предпосылочных факторов генезиса самости представлен в таких деятельностях, как игра в соревнование.

У первобытных народов, как я сказал, признание необходимости различать самость и организм явствует из представлений о так называемом двойнике: индивид обладает некоторой самостью, подобной вещи (thing-like), которая испытывает воздействие со стороны индивида, когда он оказывает воздействие на других людей, и которая отличается от организма как такового тем, что может покидать тело и возвращаться в него. Это основа представления о душе как некоторой обособленной сущности. /В детях мы встречаем нечто такое, что соответствует этому двойнику, а именно незримых, воображаемых товарищей, которых множество детей производит в своем собственном сознании. Онц организуют, таким образом, те отклики, которые они вызывают в других людях и также вызывают в самих себе. Разумеется, это играние с каким-нибудь воображаемым товарищем есть лишь особенно любопытная фаза обычной игры. Игра в этом смысле, особенно та стадия, которая предшествует организованным соревнованиям, есть игра во что-то. Ребенок играет в то, что он — мать, учитель, полицейский, т.е., как мы говорим, здесь имеет место принятие различных ролей. Мы встречаем нечто подобное в игре животных, когда кошка играет со своими котятами или собаки — друг с другом. Две собаки, играющие друг с другом, станут нападать и защищаться в процессе, который, если он будет до конца реализован, примет форму настоящей драки. Здесь налицо некая комбинация откликов, регулирующая глубину укуса. Но в этой ситуации мы не видим, чтобы собаки принимали определенную роль — в том смысле, в каком дети сознательно принимают роль другого.

Эта тенденция, присущая детям, есть то, с чем мы работаем в детском саду, где

принимаемые ребенком роли становятся основой обучения. Когда ребенок принимает какую-то роль, он имеет в себе самом те стимулы, которые вызывают этот особый отклик или группу откликов. Он может, разумеется, убегать, когда его гонят, как поступает собака, или же повернуться и дать сдачи, точно так же, как поступает в своей игре собака. Но это не то же самое, что играние во что-нибудь. Дети собираются, чтобы «поиграть в индейцев». Это значит, что ребенок обладает определенным набором стимулов, которые вызывают в нем те отклики, которые они должны вызывать в других и которые соответствуют «индейцу». В.игровой период ребенок пользуется своими собственными откликами на эти стимулы, которые он использует для построения самости. Отклик, который он склонен производить в ответ на эти стимулы, организует их. Он играет в то, например, что предлагает себе какую-нибудь вещь и покупает ее; он дает себе письмо и забирает его обратно; он обращается к себе как родитель, как учитель; он задерживает себя как полицейский. Он обладает некоторым набором стимулов, которые вызывают в нем самом отклики того же свойства, что и отклики других. Он принимает эту игру откликов и организует их в некое целое.

Такова простейшая форма инобытия (being another) самости. Она предполагает некую временную конфигурацию (situation). Ребенок говорит нечто в каком-то одном лице, отвечает в другом, затем его отклик в другом лице становится стимулом для него же в первом лице, и, таким образом, общение продолжается. В нем и в его alter ego, которое отвечает ему, возникает некая организованная структура, и они продолжают начатое между ними общение жестами.

Если мы сопоставим игру с ситуацией, имеющей место в организованном соревновании, мы заметим, что существенным различием между ними является тот факт, что ребенок, который участвует в каком-либо соревновании, должен быть готов принять установку любого другого участника этого соревнования и что эти различные роли должны находиться в определенной взаимосвязи друг с другом. В случае простейшего соревнования, вроде пряток, все, за исключением одного прячущегося, выступают в роли ищущего. Если ребенок играет в первом смысле, он просто продолжает играть и в этом случае не приходит ни к какой элементарной организации. На этой ранней стадии он переходит от одной роли к другой так, как ему заблагорассудится. Но в соревновании, в которое вовлечено определенное число индивидов, ребенок, принимающий какую-нибудь роль, должен быть готов принять роль любого другого игрока. В бейсболе он встречает 9 (ролей), и в его собственной позиции должны заключаться все остальные. Он должен знать, что собирается делать каждый другой игрок, чтобы исполнять свою собственную роль. Он должен принять все эти роли. Все они не должны присутствовать в сознании в одно и то же время, но в определенные моменты в его собственной установке должны быть налицо установки 3 или 4 других индивидов, таких, как тот, кто собирается бросать мяч, кто собирается ловить его, и т.д. Эти установки должны в некоторой степени присутствовать в его собственной организации. Итак, в соревновании налицо некий набор откликов, подобных другим, организованным так, чтобы установки одного (индивида), вызывали соответствующие установки другого.

Этой организации придается форма правил соревнования. Дети проявляют большой интерес к правилам. Не сходя с места, они изобретают правила для того, чтобы выпутаться из затруднений. Часть удовольствия, доставленного соревнованием, состоит именно в изобретении таких правил. Правила, далее, являются неким набором откликов, которые вызывает какая-то особая установка. Вы можете требовать от других какого-то определенного отклика, если вы принимаете какую-то определенную установку. Эти отклики равным образом присутствуют и в вас самих. Здесь вы получаете некий организованный набор откликов, подобный тому, что я описал, который несколько более усложнен, чем роли, встречающиеся в игре. В игре налицо просто некий набор откликов, которые следуют друг за другом в неопределенном порядке. О ребенке на этой стадии мы говорим, что у него еще нет полностью развитой самости. Ребенок откликается достаточно разумным образом на непосредственные стимулы, достигающие его, но они не организованы. Он не организует свою жизнь,— чего мы от него хотели бы,— как некое целое. Здесь имеется просто набор откликов игрового типа. Ребенок реагирует на определенный стимул, и его реакция есть та, которая вызывается и в других, но он еще не является какой-то целостной самостью. В своем соревновании он должен иметь некую организацию этих ролей; в противном случае он не сможет участвовать в этом соревновании. Соревнование представляет собой переход в жизни ребенка от стадии принятия роли других в игре к стадии организованной роли, которая существенна для самосознания в полном смысле слова.

Дж. Мид. Азия[1]

[1] M e a d Q. The I and the Me // Mead Q. Mind, Seii and Society Chicago, 1934. P. 152—164. *(Перевод А. Гараджи).*

Мы говорили о социальных условиях возникновения самости как объекта. В дополнение к языку мы встретили еще две иллюстрации, одну в игре (play), другую — в соревновании (game), и я хочу подытожить и расширить свои взгляды на эти проблемы.

Я высказался о них применительно к детям. Конечно, мы можем обратиться и к установке более примитивных народов, из которых выросла наша цивилизация. Яркую иллюстрацию игры в ее отличии от соревнования можно встретить в мифах и разнообразных играх, устраиваемых примитивными народами, особенно на религиозных празднествах-маскарадах. Чистую игровую установку, которую мы обнаруживаем у маленьких детей, здесь не встретить, поскольку участники — взрослые, и взаимосвязь этих игровых шествий с тем, что они обозначают и истолковывают, несомненно, в большей или меньшей степени осознается даже наиболее примитивными народами. В процессе истолкования подобных ритуалов налицо такая организация игры, которую, вероятно, можно сопоставить с той, что имеет место в детском саду в играх маленьких детей, где они выстраиваются в определенный набор с определенной структурой или внутренней взаимосвязью. По крайней мере нечто подобное можно найти в игре примитивных народов.

Этот тип деятельности можно встретить, конечно, не в повседневной жизни людей в их отношении к окружающим их объектам — там мы имеем более или менее определенно развитое самосознание,— но в их установках по отношению к окружающим их силам, природе, от которой они зависят, которая неясна и ненадежна,— вот там мы имеем куда более примитивный отклик. Этот отклик находит свое выражение в принятии роли другого, игровом представлении своих богов и своих героев, совершении определенных обрядов, которые являются репрезентацией предполагаемых деяний этих индивидов.

Разумеется, такой процесс развивается в более или менее определенную технику и оказывается под контролем; и все же мы можем сказать, что он вырос из ситуаций, схожих с теми, в которых маленькие дети играют в родителей, учителей — индивидуальностей с неясными очертаниями, которые их окружают, воздействуют на них и от которых они зависят. Это именно те индивидуальности, которые они принимают, роли, которые они играют, и в этой мере контролируют развитие своей собственной индивидуальности. Этот результат — как раз то, на что нацелена работа детского сада. Он берет характеры этих разнообразных неясных существ и ставит их в такое организованное социальное отношение друг к другу, которое позволяет им формировать характер маленького ребенка. Само введение организации извне предполагает отсутствие организации в детском сознании этого периода. С таким положением маленького ребенка и примитивных народов контрастирует соревнование как таковое.

Коренное различие между соревнованием и игрой состоит в том, что в первом ребенку необходимо иметь установку всех других вовлеченных в это соревнование индивидов. Установки других игроков, усваиваемые участником соревнования, организуются в своего рода единство, и эта организация как раз и контролирует отклик данного индивида. В качестве иллюстрации приводился игрок в бейсбол. Каждое из его собственных действий (acts) определяется усвоением им действий (actions) других участников этого соревнования. Все, что он делает, контролируется тем обстоятельством, что он представляет собой одновременно любого из игроков этой команды постольку по крайней мере, поскольку эти установки воздействуют на его собственный конкретный отклик. Мы получаем тогда такого «другого», который есть организация установок всех тех, кто вовлечен в один и тот же процесс.

Организованное сообщество (социальную группу), которое обеспечивает индивиду единство его самости, можно назвать обобщенным другим. Установка обобщенного другого есть установка всего сообщества[1].

[1] И неодушевленные объекты не в меньшей степени, чем человеческие организмы, обладают возможностью образовывать части обобщенного и организованного — полностью социализированного — другого для любого данного челове ческого индивида постольку, поскольку он откликается на эти объекты социальным образом (посредством механизма мышления, интернализованного общения жестами). Любая вещь — любой объект или набор объектов, одушевленных или неодушевленных, человеческих или животных, или просто материальных, в направлении которых он действует или на которые он (социально) откликается,— есть некий элемент, в котором для него (раскрывается) обобщенный другой. Принимая установки последнего по отношению к себе, индивид начинает осознавать себя в качестве объекта, или индивида, и, таким образом, развивает самость или **индивидуальность.** Так, например, культ в своей примитивной форме есть просто социальное воплощение взаимоотношения между данной социальной группой (сообществом) и ее физическим окружением — организованное социальное средство, принятое индивидуальными членами этой группы (сообщества) для вступления в социальные отношения с этим окружением или (в некотором смысле) для поддержания общения с ним. Это окружение, таким образом, становится частью всеобъемлющего обобщенного другого для каждого из индивидуальных членов данной социальной группы (сообщества).

Так, например, такая социальная группа, как бейсбольная команда, выступает в

качестве обобщенного другого постольку, поскольку она проникает как организованный процесс или социальная деятельность — в сознание (experience) любого из своих индивидуальных членов.

Для развития данным человеческим индивидом самости в наиболее полном смысле слова ему недостаточно просто принять установки других человеческих индивидов по отношению к нему и друг к другу внутри человеческого социального процесса, вводя этот социальный процесс как целое в свое индивидуальное сознание лишь в этой форме. Он должен также, таким же точно образом, каким принимает установки других индивидов по отношению к себе и друг к другу, принять их установки по отношению к разным фазам или аспектам общей социальной деятельности или набору социальных предприятий, куда в качестве членов организованного сообщества или социальной группы все они вовлечены. Затем он должен, обобщая эти индивидуальные установки самого этого организованного сообщества (социальной группы) в целом, действовать в направлении разнообразных социальных проектов, которые оно осуществляет в любой данный момент, или же в направлении различных более широких фаз всеобщего социального процесса, который составляет его жизнь и специфическими проявлениями которого эти проекты являются. Это введение крупномасштабных деятельностей любого данного социального целого или организованного сообщества в эмпирическую (experiential) сферу любого из индивидов, вовлеченных или включенных в это целое, является, иными словами, существенным основанием и предпосылкой наиболее полного развития самости этого индивида: лишь поскольку он принимает установки организованной социальной группы, к которой он принадлежит, по отношению к организованной кооперативной социальной деятельности или набору таких деятельностей, в которые эта группа как таковая вовлечена, постольку он развивает завершенную самость или обладает самостью такого уровня развития, какого ему удалось достичь.

Но, с другой стороны, сложные кооперативные процессы деятельности и институциональное функционирование организованного человеческого общества также возможны лишь постольку, поскольку каждый вовлеченный в них или принадлежащий к этому обществу индивид может принять всеобщие установки всех других подобных индивидов по отношению к этим процессам, деятельностям и институциональному функционированию, а также и к организованному социальному целому устанавливающихся при этом эмпирических отношений и взаимодействий (experiential relations and interactions) и может соответствующим образом направлять свое собственное поведение.

Именно в форме обобщенного другого социальный процесс влияет на поведение вовлеченных в него и поддерживающих его индивидов, т. е. сообщество осуществляет контроль над поведением своих индивидуальных членов, ибо как раз в этой форме социальный процесс (сообщество) проникает в качестве определяющего фактора в мышление индивида. В абстрактном мышлении индивид принимает установку обобщенного другого[2] по отношению к себе безотносительно к ее выражению в любых других конкретных индивидах; в конкретном же мышлении он принимает эту установку постольку, поскольку она выражается в установках по отношению к его поведению тех других индивидов, вместе с которыми он вовлечен в данную социальную ситуацию или данное социальное действие. Но лишь принимая установку обобщенного другого по отношению к себе тем или иным из этих способов, он только и может мыслить вообще; ибо только так мышление — или интернализованное общение жестами, составляющее мышление,— может иметь место. И лишь благодаря принятию индивидами установки или установок обобщенного другого по отношению к ним становится возможным существование универсума дискурса как той системы общепринятых или социальных смыслов, которую в качестве своего контекста предполагает мышление.

[2] Мы сказали, что внутреннее общение индивида с самим собой посредством слов или значимых жестов — общение, составляющее процесс или деятельность мышления,— поддерживается индивидом с точки зрения обобщенного другого И чем абстрактнее это общение, тем абстрактнее становится мышление, тем дальше отодвигается обобщенный другой от всякой взаимосвязи с конкретными индивидами. Как раз применительно к абстрактному мышлению в особенности следует сказать, что упомянутое общение поддерживается индивидом скорее с обобщенным другим, чем с какими-либо конкретными индивидами. Так, например, абстрактные понятия суть такие понятия, которые формулируются в терминах установок всей социальной группы (сообщества) в целом. Они формулируются на основе осознания индивидом установок обобщенного другого по отношению к ним как результат принятия им этих установок обобщенного другого и последующего отклика на них. И, таким образом, абстрактные высказывания формулируются в таком виде, который может воспринять любой другой — любой другой разумный индивид.

Самосознательный человеческий индивид, далее, принимает или допускает организованные социальные установки данной социальной группы (или сообщества, или какой-то их части), к которой он принадлежит, по отношению к социальным проблемам разного рода, с которыми сталкивается эта группа или сообщество в любой

данный момент и которые возникают в связи с различными социальными проектами или организованным кооперативными предприятиями, в которые вовлечена эта группа (сообщество) как таковая. И в качестве индивидуального участника этих социальных проектов или кооперативных предприятий он соответствующим образом управляет своим поведением.

В политике, например, индивид отождествляет себя с целой политической партией и принимает организованные установки всей этой партии по отношению к остальной части социального сообщества и по отношению к проблемам, с которыми сталкивается партия в данной социальной ситуации; он, следовательно, реагирует или откликается в терминах организованных установок партии как некоего целого. Так он вступает в особую конфигурацию социальных отношений со всеми другими индивидами, которые принадлежат к этой партии; и таким же образом он вступает в различные иные специфические конфигурации социальных отношений с различными классами индивидов, и индивиды каждого из этих классов являются другими членами какой-то из особых организованных подгрупп (определяемых в социально-функциональных терминах), членом которых он сам является в рамках всего данного общества или социального сообщества.

В наиболее высокоразвитых, организованных и сложных человеческих социальных сообществах — тех, которые развиты цивилизованным человеком.— эти различные социально-функциональные классы или подгруппы индивидов, к которым принадлежит каждый данный индивид (и другие индивидуальные члены, с которыми он, таким образом, вступает в некую особую конфигурацию социальных отношений), распадаются на два вида.

Некоторые из них представляют собой конкретные социальные классы или подгруппы, как, например, политические партии, клубы, корпорации, которые все действительно являются функциональными социальными единицами, в рамках которых их индивидуальные члены непосредственно соотнесены друг с другом.

Другие представляют собой абстрактные социальные классы или подгруппы, такие, как класс должников и класс кредиторов, в рамках которых их индивидуальные члены соотнесены друг с другом лишь более или менее опосредованно и которые лишь более или менее опосредованно функционируют в качестве социальных единиц, но которые предоставляют неограниченные возможности для расширения, разветвлений и обобщения социальных отношений между всеми индивидуальными членами данного сообщества как организованного и объединенного целого.

Членство данного индивида в нескольких из этих социальных классов или подгрупп делает возможным его вступление в определенные социальные отношения (какими бы опосредованными они ни были) с почти бесконечным числом других индивидов, которые также принадлежат к тем или иным из этих социальных классов или подгрупп (или включаются в них), пересекающих функциональные демаркационные линии, которые отделяют различные человеческие социальные сообщества одно от другого, и включающих индивидуальных членов из нескольких (в иных случаях — из всех) таких сообществ. Из этих абстрактных социальных классов или подгрупп человеческих индивидов наиболее обширным является, конечно же, тот, который определяется логическим универсумом дискурса (или системой универсально значимых символов), обусловленным участием (participation) и коммуникативным взаимодействием индивидов. Ибо из всех подобных классов или подгрупп это именно тот (класс), который претендует на наибольшее число индивидуальных членов и позволяет наибольшему вообразимому числу индивидов вступить в некий род социального отношения (каким бы ни было оно опосредованным и абстрактным) друг с другом — отношения, вырастающего из универсального функционирования жестов как значимых символов во всеобщем человеческом социальном процессе коммуникации.

Я указал далее, что процесс полного развития самости проходит две большие стадии.

На первой из этих стадий самость индивида конституируется просто организацией отдельных установок других индивидов по отношению к нему самому и друг к другу в рамках специфических социальных действий, в которых он вместе с ними участвует.

Лишь на второй стадии процесса полного развития самости она конституируется организацией не только этих отдельных установок, но также и социальных установок обобщенного другого или социальной группы, к которой он принадлежит, как некоего целого. Эти социальные или групповые установки привносятся в сферу непосредственного опыта (experience) индивида и в качестве элементов включаются в структуру или конституцию его самости — таким же образом, как и установки отдельных других индивидов. И индивид достигает их, ему удается принять их посредством дальнейшей организации, а затем обобщения установок отдельных других индивидов в терминах их организованных социальных значений или импликаций.

Таким образом, самость достигает своего полного развития посредством организации этих индивидуальных установок других в организованные социальные или групповые

установки, становясь тем самым индивидуальным отражением всеобщей систематической модели социального или группового поведения, в которое она вовлечена наряду со всеми другими,— модели, которая как некое целое проникает в опыт (experience) индивида в терминах этих организованных групповых установок, которые посредством механизма своей центральной нервной системы он принимает в себя, точно так же, как принимает он индивидуальные установки других.

Соревнование обладает определенной логикой, так что становится возможной подобная организация самости: налицо четко определенная цель, которая должна быть достигнута; все действия различных индивидов соотнесены друг с другом с учетом этой цели таким образом, что они не вступают в конфликт; человек не вступает в конфликт с самим собой, придерживаясь установки другого игрока команды. Если кто-то придерживается установки индивида, бросающего мяч, то у него может возникнуть отклик, выражающийся в ловле мяча. Они соотнесены таким образом, что преследуют цель самой игры. Они соотнесены между собою унитарным, органическим образом. Итак, мы имеем определенное единство, вводимое в организацию других самостей, когда достигаем такой стадии, как стадия соревнования в ее отличии от ситуации игры, где имеется простое следование одной роли аа другой,— ситуации, которая, конечно же, является характерной чертой собственной индивидуальности ребенка. Ребенок — это нечто одно в один момент времени и нечто совершенно иное в другой, и то, чем он является в один момент, не определяет того, чем он является в другой момент. В этом и очарование и непоследовательность детства. Вы не можете рассчитывать на ребенка; вы не можете исходить из того, будто то, что он делает теперь, должно определять то, что он будет делать в любой последующий момент времени. Он не организован в некое целое. У ребенка нет никакого определенного характера, никакой определенной индивидуальности.

Итак, соревнование есть иллюстрация ситуации, в которой вырастает организованная индивидуальность. Поскольку ребенок принимает установку другого и позволяет этой установке другого определять, что он совершит в следующий момент, с учетом какой-то общей цели, постольку он становится органическим членом общества. Он принимает мораль этого общества и становится значимым его членом. Он принадлежит к нему постольку, поскольку позволяет установке другого, которую он принимает, контролировать свое собственное непосредственное выражение (отклик). Здесь предполагается какой-то организованный процесс. Конечно, то, что выражается в соревновании, продолжает непрерывно выражаться в социальной жизни ребенка, но этот более масштабный процесс выходит за пределы непосредственного опыта самого ребенка. Значение соревнования в том, что оно полностью заключено в рамки собственного опыта ребенка, а значение современного нашего типа образования — в том, что оно проникает так далеко, как это только возможно, внутрь этой области. Различные установки, которые принимает ребенок, организованы таким образом, что осуществляют совершенно определенный контроль над его откликом. В соревновании мы получаем организованного другого, обобщенного другого, который обнаруживается в самой природе ребенка и находит свое выражение в его непосредственном опыте. И как раз эта организованная деятельность в рамках собственной природы ребенка, контролирующая конкретный отклик, объединяет и выстраивает его самость.

То, что происходит в соревновании, постоянно происходит и в жизни ребенка. Он принимает установки окружающих его людей, особенно роли тех, которые в определенном смысле контролируют его и от которых он зависит. Первоначально он постигает функцию этого процесса абстрактным образом. Он в буквальном (real) смысле переходит из игры в соревнование. Он должен играть в соревнование (to play the game). Мораль соревнования завладевает им крепче, чем более объемлющая мораль общества в целом. Ребенок переходит в соревнование, и это соревнование выражает некую социальную ситуацию, в которую он может погрузиться всецело; ее мораль завладевает им крепче, чем мораль семьи, к которой он принадлежит, или сообщества, в котором он живет. Здесь встречаются социальные организации самого разного типа; некоторые из них достаточно устойчивы, другие мимолетны, и в них ребенок играет в какую-то разновидность социального соревнования. Это тот период, когда он любит «принадлежать», и он постоянно попадает в разнообразные организации, которые возникают и исчезают. Он становится чем-то (a something), что может функционировать внутри организованного целого и, таким образом, нацеливается на самоопределение своего взаимоотношения с группой, к которой он принадлежит. Этот процесс — поразительная стадия в развитии морали ребенка. Он превращает его в самостоятельного члена сообщества, к которому он принадлежит.

Таков вопрос, в котором возникает индивидуальность. Я говорил о нем как о процессе, в котором ребенок принимает роль другого: существенным фактором здесь является использование языка. Язык основывается главным образом на голосовом жесте, с помощью которого в любом сообществе осуществляются различные кооперативные деятельности. Язык в своем значимом смысле есть такой голосовой жест, который имеет тенденцию пробуждать в (говорящем) индивиде ту установку, которую он пробуждает в

других; именно это совершенствование (perfecting) самости таким жестом, опосредующим социальные деятельности, и дает начало процессу принятия роли другого.

Возможно, последняя формулировка несколько неудачна, поскольку заставляет думать о какой-то актерской установке, которая в действительности сложнее той, что заключается в нашем личном опыте. В этом смысле она не описывает то, что я имею в виду, адекватно. Наиболее определенно мы наблюдаем этот процесс—в его примитивной форме — в таких ситуациях, когда играющий ребенок принимает различные роли. Здесь уже сам факт того, что он собирается, к примеру, заплатить (понарошку) , вызывает в нем установку лица, которое получает деньги; сам процесс стимулирует в нем отклики, соответствующие деятельности другого вовлеченного (в данную операцию) лица. Индивид дает самому себе стимул к такому отклику, который он вызывает в другом лице, затем действует, откликаясь — в некоторой степени — на эту ситуацию. В игре ребенок определенно разыгрывает ту роль, которую он сам пробудил в себе. Именно это и обеспечивает наличие какого-то совершенно определенного (смыслового) содержания (content) в индивиде, который отвечает на стимул, воздействующий на него так же, как он воздействует на любого другого. Это содержание другого, которое проникает в чью-либо индивидуальность, является в данном индивиде тем откликом, который его жест вызывает в этом другом.

Мы **можем** проиллюстрировать нашу основную концепцию ссылкой на понятие собственности. Если мы говорим: «Это моя собственность, и я буду ею распоряжаться», подобное утверждение вызывает некий набор откликов,' который должен быть одинаковым в любом сообществе, в котором существует собственность. Это предполагает какую-то организованную установку в отношении собственности, которая является общей для всех членов сообщества. Индивид должен иметь вполне определенную установку контроля над своей собственностью и уважения к собственности других. Эти установки (как организованные наборы откликов) должны иметься у всех, чтобы, когда кто-либо произносит нечто подобное, он вызывал бы в себе отклик других. Он вызывает отклик того, кого я назвал обобщенным другим. Общество делает возможным именно такие общие отклики, такие организованные установки в отношении того, что мы зовем собственностью, религиозными культами, процессом образования и семейными отношениями.

Конечно, чем шире сообщество, тем более определенно универсальными должны быть эти вещи. В любом случае должен присутствовать некий определенный набор откликов, которые можно назвать абстрактными и которые могут принадлежать весьма значительной по численности группе. Сама по себе собственность является чрезвычайно абстрактным понятием. Она есть то, чем сам индивид может распоряжаться и чем не может распоряжаться, никто другой. Эта установка отличается от установки собаки по отношению к своей кости. Собака не принимает установки другой собаки. Человек, говорящий: «Это моя собственность», принимает установку другого лица. Человек заявляет о своих правах потому, что способен принять установку, которой обладает в отношении собственности любой другой член группы, пробуждая, таким образом, в себе самом установку других.

Организованную самость выстраивает организация установок, которые являются общими для всех членов группы. Индивид (person) является индивидуальностью (personality) постольку, поскольку принадлежит к какому-то сообществу, поскольку перенимает в своем собственном поведении установления этого сообщества. Он принимает его язык как средство, благодаря которому обретает свою индивидуальность, а затем — в процессе принятия различных ролей, которыми снабжают его все другие,— он в конце концов обретает установку членов этого сообщества. Такова — в определенном смысле — структура человеческой индивидуальности. Налицо определенные общие отклики, которыми каждый индивид обладает по отношению к определенным общим объектам, и поскольку эти общие отклики пробуждаются в индивиде, когда он воздействует на других индивидов, постольку он пробуждает свою собственную самость. Таким образом, структура, на которой зиждется самость, есть этот общий для всех отклик, ибо индивид, чтобы обладать самостью, должен быть членом какого-то сообщества. Такие отклики являются абстрактными установками, но они составляют как раз то, что мы зовем характером человека. Они снабжают его тем, что мы называем его принципами — установки всех членов общества по отношению к тому, что является ценностями этого общества. Он ставит себя на место обобщенного другого, который представляет собой организованные отклики всех членов группы. Именно это и направляет поведение, контролируемое принципами, и индивид, который обладает подобной организованной группой откликов, есть человек, о котором мы говорим, что у него есть характер — в моральном смысле слова.

Таким образом, именно определенная структура установок и выстраивает самость как нечто, отличное от какой-то группы привычек. Все мы обладаем определенными набором привычек, таких, например, как какие-то особенные интонации, которые человек может

использовать в своей речи. Перед нами здесь набор привычек голосового выражения, которыми индивид обладает, но о которых он ничего не знает. Наборы привычек такого рода, которыми мы обладаем, не имеют для нас никакого значения; мы не слышим интонаций своей речи, которые слышат другие, если, конечно, не уделяем им особого внимания. Привычки эмоционального выражения, относящиеся к нашей речи, имеют тот же характер. Мы можем знать, например, что выразились забавно, но детали процесса не доходят до наших сознательных самостей. Имеются целые пучки подобных привычек, которые не проникают в сознательную самость, но способствуют формированию того, что зовется самостью бессознательной.

В конечном счете то, что мы подразумеваем под самосознанием, есть пробуждение в нас той группы установок, которую мы пробуждаем в других, особенно когда это какой-то важный набор откликов, которые являются определяющими для членов сообщества. Не следует путать или смешивать сознание в обычном смысле с самосознанием. Сознание в распространенном смысле есть просто нечто, имеющее отношение к сфере опыта; самосознание же относится к способности вызывать в нас самих какой-то набор определенных откликов, которыми обладают другие члены группы. Сознание и самосознание находятся на разных уровнях. Человек один, к счастью или несчастью, имеет доступ к своей зубной боли, но не это мы подразумеваем под самосознанием.

Итак, я выделил то, что назвал структурами, на которых строится самость, так сказать, остов самости. Конечно, мы состоим не только из того, что является общим для всех: каждая самость отличается от каждой другой; но чтобы мы вообще могли быть членами какого-либо сообщества, должна существовать именно такая общая структура, какую я обрисовал. Но мы не можем быть самими собой, если не являемся также членами, в которых присутствует совокупность установок, контролирующих установки всех. Мы не можем обладать никакими правами, если не обладаем общими установками. Именно то, что мы приобрели в качестве самосознательных лиц, и делает нас такими членами общества, а также дарит нам самости. Самости могут существовать лишь в определенных отношениях к другим самостям. Нельзя провести никакой четкой грани между нашими собственными самостями и самостями других, потому что наши собственные самости существуют и вступают как таковые в наше сознание лишь постольку, поскольку также существуют и вступают в наше сознание самости других. Индивид обладает самостью лишь в отношении к самостям других членов своей социальной группы. И структура его самости выражает или отражает всеобщую повседневную модель его социальной группы, к которой он принадлежит, точно так же, как это делает структура самости любого другого индивида, принадлежащего к этой социальной группе.

Дж. Мид. Психология лунитивного правосудия[1]

[1] M e a d G. The Psychology of Punitive Justice // The Amer. Journ. of Sociology. 1918. XX11I. P. 517. 602 *{Перевод Т. Новиковой).*

Изучение, с одной стороны, инстинктов, а с другой — моторного характера человеческого поведения дало нам картину человеческой природы, отличающуюся от той, что давалась предшествующему поколению догматическим учением о душе и интеллектуалистской психологией.

Инстинкты даже низших животных форм утратили в наших представлениях свою жесткость. Выяснилось, что они способны видоизменяться под воздействием опыта, что природа животного — не пучок инстинктов, но некая организация, внутри которой эти врожденные привычки функционируют с целью исполнения определенных сложных действий — действий, которые во многих случаях являются результатом работы видоизменивших друг друга инстинктов. Поразительную иллюстрацию этого можно найти в игре, особенно среди молодых животных форм, в которой враждебный инстинкт видоизменяется и сдерживается другими, преобладающими в социальной жизни животных инстинктами. Кроме того, и забота, которой родители окружают детеныша, допускает черты враждебности, не достигающие, однако, своего полного выражения в нападении и уничтожении, обычно предполагающихся в инстинкте, из которого они вырастают. Но это слияние и взаимодействие столь расходящихся инстинктивных действий не есть процесс попеременного господства то одного, то другого инстинкта. Игра и родительская забота могут быть и, как правило, бывают таким комплексом, в рамках которого подавление одной тенденции другими проникло в саму структуру природы животного и даже, по-видимому, его врожденной нервной организации. Другую иллюстрацию подобного слияния расходящихся инстинктов можно найти в утонченном ритуале ухаживания за самкой у птиц.

В основе этого типа организации инстинктивного поведения лежит социальная жизнь, в рамках которой необходима кооперация различных индивидов и, следовательно,

непрерывное приспособление откликов к меняющимся установкам животных, участвующих в корпоративных действиях. Именно этот корпус организованных инстинктивных реакций друг на друга и составляет социальную природу этих форм, и именно из социальной природы такого рода, представленной в поведении низших форм, и развивается наша человеческая природа. Тщательный анализ этого [процесса] все еще находится на стадии разработки, но ряд его наиболее приметных признаков выделяется с достаточной ясностью для того, чтобы они были прокомментированы. Мы обнаруживаем две противостоящие группы инстинктов: те, которые мы назвали враждебными, и те, которые могут быть названы дружественными, а это большей частью — сочетания родительских и половых инстинктов. Значение стадного (herding) инстинкта, лежащего в основе их всех, все еще весьма неясно, если не сказать сомнительно. Мы обнаруживаем, что индивиды приспосабливаются друг к другу в общих социальных процессах, но часто при этом вступают друг с другом в конфликт; что выражение этой индивидуальной враждебности внутри социального действия как целого относится в первую очередь к деструктивному враждебному типу, видоизмененному и оформленному организованной социальной реакцией; что там, где это видоизменение и контроль прерываются, как, например, в соперничестве между самцами в стаде или стае, враждебный инстинкт может проявиться в своей исконной неистовости.

Если мы обратимся к человеческой природе, развившейся из социальной природы низших животных, мы найдем — в дополнение к организации социального поведения, на которую я указал,— значительное усовершенствование процесса приспособления индивидов друг к другу. Это усовершенствование жеста, если воспользоваться вундтовским обобщенным термином, достигает точки своего наибольшего развития в языке. Язык же изначально был определенной установкой — взглядом, движением тела и его частей,— указывающей на наступающее социальное действие, к которому другие индивиды должны приспособить свое поведение. Он становится языком в более узком смысле, когда начинает выступать как общепринятая речь в любой ее форме, т. е. когда своим жестом индивид обращается настолько же к *себе,* насколько и к другим вовлеченным в действие индивидам. Его речь является их речью. Он может обращаться к себе при помощи их жестов и, таким образом, представлять себе всю социальную ситуацию, в которую он вовлечен, в целом, так что социальным оказывается не только его поведение, но и сознание.

Именно из этого поведения и этого сознания и вырастает человеческое общество. Человеческий характер придает ему тот факт, что индивид при помощи языка обращается к себе в роли других членов группы и, таким образом, осознает и учитывает их в своем собственном поведении. Но хотя эта стадия эволюции и является, возможно, наиболее критической в развитии человека, она в конце концов есть только усовершенствование социального поведения низших форм. Самосознательное поведение есть только экспонента, возводящая потенциальные усложнения групповой деятельности в более высокую степень. Она не меняет характера социальной природы, которая лишь совершенствуется и усложняется; не меняет она и принципов ее организации. Человеческое поведение все еще остается организацией инстинктов, которые оказали друг на друга взаимное воздействие. Из таких фундаментальных инстинктов, как инстинкты пола, родительства и враждебности, возник некий организованный тип социального поведения — поведение индивида внутри группы. Нападение на других индивидов группы видоизменилось и смягчилось таким образом, что индивид начал самоутверждаться, противопоставляя себя другим, в игре, в ухаживании, в заботе о потомстве, в определенных общих установках нападения и защиты, без попыток уничтожения индивида, подвергающегося нападению.

Если воспользоваться общепринятой терминологией, мы можем объяснить эти видоизменения процессом проб и ошибок в рамках эволюции, продуктом которой является социальная форма. Из враждебного инстинкта выросло поведение, видоизмененное социальными инстинктами, которые служили для ограничения поведения, порождаемого инстинктами пола, родительства и взаимных защиты и нападения. Функцией враждебного инстинкта было обеспечение такой реакции, при помощи которой индивид самоутверждался внутри социального процесса, видоизменяя таким образом этот процесс, в то время как и сам враждебный инстинкт видоизменяется pro tanto[2].

[2] Тем самым (лат.). — *Прим. перев.*

Результат — появление новых индивидов, определенных типов половых и игровых партнеров, родительских и детских форм, партнеров в защите и борьбе. Если это утверждение индивида внутри социального процесса ограничивает и сдерживает социальное действие в различных аспектах, оно ведет также и к некоему видоизмененному социальному отклику с новым оперативным пространством, не существовавшим для невидоизмененных инстинктов. Источник этих высших комплексов социального поведения внезапно предстает перед нашими глазами, когда в результате какого-то нарушения организации социального действия, под действием вспышки страстей,

совершается преступление как прямой результат самоутверждения в половых отношениях, семье или других комплексах групповых откликов. Невидоизмененное самоутверждение в этих условиях означает уничтожение подвергшегося нападению индивида.

Когда же благодаря экспоненте самосознания усложнения социального поведения возводятся в *n-ую* степень, когда индивид своими жестами настолько же обращается к себе, насколько и к другим, когда в роли другого он может откликаться на свой собственный стимул, весь диапазон возможных деятельностей включается в сферу социального поведения. Un subut оказывается в группах с различными свойствами. Размер группы, к которой он может принадлежать, ограничен лишь его способностями сотрудничать с ее членами. Теперь общий контроль над процессом добычи пищи поднимает древние инстинкты с уровня механического отклика на биологически детерминированные стимулы и включает их в сферу самосознательной регуляции в рамках более широкой групповой деятельности. И эти различные группировки умножают случаи индивидуальных противостояний. Здесь инстинкт враждебности вновь становится методом самоутверждения, но пока противостояния самосознательны, процесс обратного приспособления и оформления враждебных установок более широким социальным процессом остается в принципе тем же, хотя иногда долгого пути проб и ошибок можно избежать, сократив расстояние при помощи символизма языка.

В то же время осознание себя через осознание других ответственно и за более глубокое чувство враждебности — враждебности членов группы к тем, кто ей противопоставлен или даже просто находится за ее пределами. Эта враждебность опирается на всю внутреннюю организацию группы. Она обеспечивает наиболее благоприятные условия чувству групповой сплоченности потому, что в общем нападении на общего врага стираются индивидуальные различия. Но в развитии этой групповой враждебности мы обнаруживаем тот факт, что это самоутверждение с попыткой уничтожения врага отступает перед более широким социальным целым, внутри которого располагаются конфликтующие группы. Враждебное самоутверждение переходит в функциональные деятельности в рамках нового типа поведения, как это имело место в игре даже среди низших животных. Индивид осознает себя не через покорение другого, а через различение функции. Дело не в том, что существующие враждебные реакции сами преобразуются, а в том, что индивид, осознающий себя благодаря противопоставлению врагу, находит другие возможные линии поведения, устраняющие непосредственные стимулы к уничтожению врага. Так, завоеватель, осознававший свою власть над жизнью и смертью пленника, обнаруживал его экономическую ценность и, следовательно, некую новую установку для себя, которая устраняла чувство враждебности и открывала путь к такому экономическому развитию, которое в конечном счете ставило обоих на почву общего гражданства.

Именно в той степени, в какой противостояние раскрывает более широкое и глубокое взаимоотношение, в рамках которого враждебные индивиды пробуждают в себе невраждебные реакции, и сами враждебные реакции оказываются видоизмененными в некий тип самоутверждения, пропорционального самоутверждению тех, кто был врагами, пока в конце концов эти противостояния не становятся компенсирующими друг друга деятельностями различных индивидов в рамках нового социального поведения. Другими словами, враждебный инстинкт обладает функцией *утверждения* социальной самости, когда эта самость возникает в эволюции человеческого поведения. Человек, достигший экономического, правового или любого иного социального триумфа, не ощущает побуждения к физическому уничтожению своего противника, и в конечном счете уже одно только чувство надежности своего социального положения может отнять у стимула к нападению всю его силу.

Отсюда мораль (подчеркивание этого в пору широкого демократического движения в разгар мировой войны совершенно оправдано): прогресс состоит в осознании более широкого социального целого, внутри которого враждебные установки переходят в самоутверждение, которое уже не деструктивно, но функционально.

Нижеследующие страницы посвящены обсуждению враждебной установки, особенно ее проявления в пунитивном правосудии.

Цель разбирательства в уголовном суде состоит в доказательстве того, что ответчик совершил или не совершил определенное действие; что (если ответчик совершил это действие) оно попадает в такой-то разряд преступлений или проступков, как это определяется сводом законов, и что как следствие он должен подвергнуться такому-то наказанию. Эта процедура предполагает, что осуждение и наказание являются исполнением правосудия, а также что это идет на благо обществу, т. е. является как справедливым, так и целесообразным, хотя здесь и не предполагается, что в каждом конкретном случае определение законного (legal) возмездия преступнику за его преступление приводит к какому-то непосредственному социальному благу, которое перевесит непосредственное социальное зло, могущее быть результатом его осуждения и заключения для него, его семьи и самого общества.

Явное несоответствие законного правосудия и социального блага в одном конкретном

случае рассматривает в своей пьесе «Правосудие» Голсуорси. В то же время широко распространена вера в то, что без этого законного правосудия со всеми его ошибками и разрушительными последствиями само общество было бы невозможно. В основании общественного мнения лежат оба этих стандарта уголовного правосудия: воздаяние и предупреждение. Справедливо, что преступник должен страдать пропорционально совершенному им злу. Но справедливо и то, что преступник должен страдать столько и таким образом, чтобы его наказание удержало бы его и других от совершения подобного проступка в будущем. В истории наблюдается явное смещение акцента с одного из этих стандартов на другой. В средние века, когда залы суда были преддвериями камер пыток, акцент приходился на тщательное выравнивание меры страдания в соответствии с характером проступка. В своем великом эпосе Данте спроецировал эту камеру пыток как исполнение правосудия на небесные сферы и создал произведение, исполненное теми величественными искажениями и возвеличиванием первобытной человеческой мести, которые средневековые сердце и воображение воспринимали как бессмертие.

Но даже тогда не существовало никакой соразмерности между страданиями в виде возмездия и злом, за которое преступник считался ответственным. В конечном счете он страдал до тех пор, пока не будут удовлетворены возмущенные чувства потерпевшего, или его родственников и друзей, или общества, или рассерженного Бога. Чтобы удовлетворить последнего, не хватило бы и вечности, тогда как милосердная смерть в конечном счете уносила от взыскательного общества жертву, платившую за свое прегрешение — зуб за зуб — своей агонией. Не существует соразмерности между прегрешением и страданием, но она существует в общих чертах между прегрешением и количеством и качеством страдания, которые удовлетворят тех, кто чувствует себя обиженным; однако в нашем общем нравственном сознании утвердилось суждение, что удовлетворение от страдания преступника не имеет законного (legitimate) места в процессе определения его наказания. Даже в его сублимированной форме, в качестве какого-то аспекта праведного негодования, мы признаем его законность только в пределах возмущения преступлением и его осуждения, но никак не при воздаянии за совершенное зло.

Естественно поэтому, что при измерении наказания акцент должен был сместиться с возмездия на предотвращение преступления, ибо между тяжестью наказания и страхом, который оно внушает, существует примерное количественное соотношение. Это смещение акцента на стандарт целесообразности при определении тяжести наказания не означает, что возмездие не является больше оправданием наказания в общественном сознании или правовой теории, поскольку, как бы ни было целесообразно карать преступления заслуженными наказаниями на благо обществу, оправдание причинения страдания вообще содержится в допущении, что преступник должен обществу страдание в виде возмездия; этот долг общество может взыскать в той форме и мере, которые представляются ему наиболее целесообразными.

Это любопытное сочетание понятий возмещающего страдания, которое есть оправдание наказания, но не может быть стандартом количества и степени наказания, и социальной целесообразности, которая не может быть оправданием самого наказания, но является стандартом количества и характера причиняемого наказания,— это сочетание, очевидно, еще не вся история. Если бы возмездие было единственным оправданием наказания, тогда трудно поверить, что наказание само собой не исчезло бы, когда общество пришло бы к пониманию того, что любая возможная теория наказания не может возводиться на фундаменте возмездия или на него опираться (особенно если мы признаем, что система наказаний, присуждаемых с учетом их устрашающего воздействия, не только весьма неадекватно работает в плане сдерживания преступлений, но и сохраняет нетронутым целый преступный класс). Эта другая часть истории, в которой не фигурируют ни возмездие, ни социальная целесообразность, проявляется в напускной торжественности уголовного судопроизводства, в величии закона, в предполагаемых непредвзятости и беспристрастии правосудия. Эти характеристики не включаются ни в понятие возмездия, ни в понятие устрашения. Закон Линча есть сама сущность возмездия, и он вдохновляется мрачной уверенностью в том, что подобное безотлагательное правосудие поразит ужасом сердца предполагаемых преступников; и закон «Линча лишен торжественности и величия, он является каким угодно, но только не беспристрастным и непредвзятым.

Эти характеристики присущи не первобытным импульсам, из которых выросло пунитивное правосудие, и не осторожному благоразумию, с которым общество обдумывает, как защитить свои блага, но судебному институту, который теоретически основывается в своих действиях на правилах, а не импульсах, и правосудие которого непременно должно исполняться, пусть даже небеса падут на землю.

Каковы тогда те ценности, которые обосновываются и поддерживаются законами пунитивного правосудия? Наиболее очевидная ценность — теоретически беспристрастное навязывание общей воли. Эта процедура обеспечивает признание и защиту индивида в интересах общего блага и общей же волей. Признавая закон и свою зависимость от него, индивид оказывается заодно с обществом, и уже сама эта

установка предполагает признание им своей обязанности подчиняться закону и поддерживать исходящее от него принуждение. Понятый подобным образом общий закон (общее право) есть утверждение гражданства.

Однако допускать, что сам закон и установки людей по отношению к нему могут существовать in abstracto, было бы серьезной ошибкой. Серьезной ошибкой потому, что слишком часто именно уважения к закону как закону мы требуем от членов общества, в то время как способны сравнительно индифферентно наблюдать изъяны как в конкретных законах, так и в их применении. И не только ошибкой, но и фундаментальным заблуждением, поскольку все эмоциональные установки,— а эмоциональными установками являются даже уважение к закону и чувство ответственности,— возникают в качестве откликов на конкретные импульсы. Мы уважаем не законы вообще, но конкретные ценности, которые охраняют законы общества. У нас нет никакого чувства ответственности как такового, у нас есть эмоциональное признание обязанностей, которые приносит с собой наше положение в обществе. И этим импульсы и эмоциональные реакции не являются менее конкретными из-за того, что они организованы в определенные сложные обычаи таким образом, что какой-нибудь легкий, но подходящий стимул приводит весь комплекс импульсов в действие. Человек, отстаивающий какое-то в принципе внешне незначительное право, отстаивает целый корпус аналогичных прав, сохраняемых в целости огромным комплексом социальных обычаев. Его эмоциональная установка, казалось бы, несоразмерная с непосредственным поводом, соответствует всем тем социальным благам, на которые в организованном корпусе обычаев направлены различные импульсы. Но мы не можем также допустить, что наши эмоции, раз они отвечают на конкретные импульсы, являются поэтому обязательно эгоистичными или эгоцентричными. Немалая доля импульсов, присущих человеческому индивиду, имеет непосредственное отношение к благу других. От эгоизма уводит не кантовский путь эмоционального отклика на абстрактное всеобщее, но признание подлинно социального характера человеческой природы. Важный момент этого иллюзорного уважения к абстрактному закону явлен в нашей установке зависимости от закона и его принуждения защищать наши блага и блага других, интересы которых мы отождествляем со своими собственными.

Угроза атаки на эти ценности ставит нас в защитную позицию, и, поскольку эта защита в значительной степени доверяется действию законов данной страны, мы обретаем уважение к законам, пропорциональное тем благам, которые они защищают.

Но существует и другая установка, более легко пробуждаемая в этих условиях, которая, я думаю, в значительной степени ответственна за наше уважение к закону как закону. Я имею в виду установку враждебности по отношению к нарушителю закона как врагу того общества, к которому мы принадлежим. В этой позиции мы защищаем эту социальную структуру против врага со всем воодушевлением, которое может вызвать угроза нашим собственным интересам. Средоточием наших интересов является не детальное функционирование закона по определению посягательств на права и их должной охраны, но задержание и наказание личного врага, который есть также враг общественный. Закон — оплот наших интересов, и враждебная процедура, направленная против врага, пробуждает чувство преданности, обязанное тем средствам, которые предоставляются в наше распоряжение для удовлетворения враждебного импульса. Закон стал оружием для сокрушения того, кто посягнул на наши кошельки, наши добрые имена, а то и на наши жизни. Мы ощущаем по отношению к нему то же, что ощущаем по отношению
к полицейскому, спасшему нас от злодейского покушения. Уважение к закону есть оборотная сторона нашей ненависти к преступнику-агрессору.

Далее, судебная процедура, после того как обвиняемый в преступлении человек задерживается и привлекается к суду, подчеркивает эту эмоциональную установку. Государственный обвинитель добивается осуждения. В этом правительственном служащем пострадавшее лицо и общество признает своего героя. Юридическое сражение сменяет физическую борьбу, которая привела к аресту. Пробуждаемые эмоции — это эмоции сражения. Беспристрастие суда, восседающего в качестве верховного арбитра,— это беспристрастие посредника между двумя соперничающими партиями. Мы исходим из того, что каждая из соперничающих партий сделает все, что в ее силах, для достижения победы, и это налагает на них, точнее, на государственного обвинителя обязанность добиваться скорее вердикта в пользу своей стороны, чем такого исхода, который отвечал бы интересам всех заинтересованных сторон.

Учение, утверждающее, что жестокое принуждение закона в этой форме служит интересам всех заинтересованных сторон, не имеет никакого отношения к тому, что я стараюсь выделить: эмоциональная установка пострадавшего индивида и еще одной стороны судебного разбирательства — общества — по отношению к закону есть установка, порожденная неким враждебным предприятием, в котором закон стал весомым оружием защиты и нападения[3].

[3] Я ссылаюсь здесь на уголовный закон и его принуждение не только потому, что уважение к закону и

величие закона относятся почти всецело к уголовному правосудию, но также и потому, что весьма значительная часть, возможно наиболее значительная, судопроизводства гражданского закона принимается и осуществляется с намерением определить и выправить, отладить социальные ситуации, оставив в стороне враждебные установки, которые характеризуют уголовную процедуру. Стороны гражданского судопроизводства принадлежат к одной и той же группе и продолжают принадлежать к этой группе независимо от вынесенного решения. Проигравшая сторона не отмечается никаким клеймом. Наша эмоциональная установка по отношению к этому корпусу закона есть установка заинтересованности, осуждения или одобрения в зависимости от неудачи или успеха в выполнении им своей социальной функции. Это не тот институт, который должно уважать даже при самых сокрушительных его неудачах. Напротив, в этих случаях его должно изменить. В наших чувствах его не ограждает никакой ореол величия. Он может быть действительным или нет и как таковой вызывает удовлетворение или неудовлетворение и заинтересованность в его реформе, пропорционально затронутым социальным ценностям.

Имеется и другое эмоциональное содержание, заключенное в этом уважении к закону как закону, которое, возможно, обладает значением, сопоставимым со значением первого. Я имею в виду неизбежное клеймо, запечатляемое на преступнике. Отвращение к преступности проявляется в чувстве сплоченности с группой, чувстве гражданственности, которое, с одной стороны, исключает тех, кто нарушил законы группы, и с другой — подавляет стремление к совершению преступных действий в самом гражданине. Именно эта эмоциональная реакция на поведение, исключающее из общества, и придает моральным табу группы такую выразительность. Величие закона есть величие ангела-привратника с огненным мечом, который может отсечь человека от его мира.

Величие закона есть господство группы над индивидом, и атрибутика уголовного закона служит не только для того, чтобы изгонять из группы мятежного индивида, но также и для того, чтобы пробудить в законопослушных членах общества сдерживающие тенденции, которые делают для них мятеж просто невозможным. Формулировка этих сдерживающих тенденций есть основание уголовного закона. Эмоциональное содержание, которое их сопровождает, составляет изрядную долю уважения к закону как закону. В обоих этих элементах нашего уважения к закону как закону — в уважении к общему орудию защиты от врага нас самих и общества и нападения на этого врага, а также в уважении к этому корпусу устоявшегося обычая, который отождествляет нас с обществом в целом и одновременно исключает тех, кто нарушает его предписания, мы признаем конкретные импульсы — импульсы нападения на врага нас самих и в то же время общества и импульсы сдерживания и подавления, благодаря которым мы ощущаем общую волю в тождестве запрета и исключения. Они суть конкретные импульсы, которые одновременно отождествляют нас с преобладающим социальным целым и в то же время ставят нас на уровень любого другого члена группы и таким образом, основывают те теоретические беспристрастность и непредвзятость пунитивного правосудия, которые в немалой степени ответственны за наше чувство преданности и уважения (к закону). Именно из всеобщности, присущей чувству общего действия, вытекающего из этих импульсов, и вырастают институты закона, а также регулятивного и репрессивного правосудия.

Хотя эти импульсы конкретны по отношению к своему непосредственному объекту, т.е. преступнику, ценности, которые враждебная установка по отношению к преступнику защищает либо в обществе, либо в нас самих, постигаются негативно и абстрактно. Мы определяем цену благ, которые защищаются процедурой, направленной против преступника, инстинктивно и в терминах этой враждебной процедуры. Эти блага — не только какие-то материальные предметы, они включают и более высокие ценности самоуважения, появляющегося тогда, когда не допускают безнаказанного попрания прав индивида, повергают врага группы, отстаивают заповеди группы и ее институтов от посягательств. И во всем этом наши спины обращены к тому, что мы защищаем, а наши лица — к реальному или потенциальному врагу. Эти блага считаются ценными потому, что мы готовы сражаться и даже в определенных ситуациях умереть за них; но их внутренняя ценность не утверждается и не рассматривается в юридическом судопроизводстве.

Приобретаемые таким образом ценности — не потребительные, но жертвенные ценности. Для множества людей их страна становится бесконечно дорогой, потому что они чувствуют себя готовыми сражаться и умереть за нее, когда пробуждается общий импульс нападения на общего врага, и все-таки в своей повседневной жизни они могут быть предателями тех социальных ценностей, ради защиты которых они кладут свои головы, потому что отсутствовала такая социальная ситуация, в которой эти ценности проникли бы в их сознание. Трудно соразмерить готовность человека обмануть свою страну в уплате законных налогов и его готовность сражаться и умереть за ту же самую страну. Эти реакции вытекают из различных наборов импульсов и приводят к оценкам, которые, как кажется, не имеют друг с другом ничего общего.

Тип оценки социальных благ, вырастающий из враждебной установки по отношению к

преступнику, негативен, потому что он не представляет никакой позитивной социальной функции благ, которые защищает враждебная процедура. С точки зрения защиты любая вещь внутри стен равноценна любой другой, прикрытой тем же оплотом. Тогда оказывается, что уважение к закону как закону есть уважение к социальной организации защиты против врага группы и к правовой и юридической процедурам, направленным против преступника. Попытка использовать эти социальные установки и процедуры для устранения причин преступления, определения характера и тяжести наказания преступника в интересах общества или же для обращения преступника в законопослушного гражданина полностью провалилась. Ибо, хотя институты, внушающие нам уважение, являются конкретными институтами с определенной функцией, они ответственны за совершенно абстрактную и неадекватную оценку общества и его благ. Эти юридические и политические институты, организация которых определяется наличием врага или по крайней мере аутсайдера, дают такую формулировку социальных благ, которая основана на защите, а не на функции. Цель уголовного разбирательства состоит в том, чтобы определить, является ли обвиняемый невиновным, т.е. принадлежит ли он все еще к группе или же он виновен, т.е. находится вне закона, что влечет за собой уголовное наказание. Техническая формулировка состояния вне закона проявляется в утрате привилегий гражданина, в приговорах различной степени суровости, но гораздо серьезнее такая ответственность, которая проявляется в фиксированной установке враждебности со стороны общества по отношению к преступнику.

Одно из вытекающих отсюда следствий — определение благ и привилегий членов общества как чего-то такого, что принадлежит им в силу их законопослушания, а также их обязанностей как чего-то такого, что полностью исчерпывается сводами законов, определяющими природу преступного поведения. Это следствие обязано не только логическому стремлению утвердить одинаковое определение института собственности, отправляясь от поведения вора и поведения законопослушного гражданина. Оно в гораздо большей степени обязано ощущению, что мы все вместе стоим на защите собственности. В позитивном определении собственности, т.е. в терминах социальной пользы и социальных функций, нам встречается широкий спектр разнообразных мнений, особенно там, где теоретически широкая свобода распоряжения частной собственностью, самоопределившейся и тем самым определявшей воровское поведение, ограничивается в интересах проблематичных общественных благ.

В этой установке по отношению к благам, защищаемым уголовным законом, и коренится та фундаментальная сложность социальной реформы, которая обязана не простому различию мнений и не сознательному эгоизму, но тому факту, что так называемые мнения являются глубинными социальными установками, которые, раз принятые, сливают воедино все конфликтующие тенденции, противопоставляя им врага народа. Уважение к закону в своем позитивном употреблении в защите социальных благ неожиданно оказывается уважением к концепциям этих благ, которые сформировала сама эта установка защиты. Собственность становится священной не из-за своей социальной пользы, а из-за того, что все общество объединяется на ее защите. Эта концепция собственности, включенная в социальную борьбу за то, чтобы заставить собственность выполнять свои функции в обществе, становится оплотом собственников.

Помимо собственности, возникли и другие институты со своими собственными правами: личность, семья, правительство. Где бы ни встречались права, посягательство на них может быть наказано, и определение этих институтов формулируется исходя из защиты права от правонарушения; определение здесь вновь является гласом общества как целого, провозглашающего и карающего того, кто своим представлением поставил себя вне закона. Здесь все то же неудачное стечение обстоятельств: высказывающийся против преступника закон суверенным авторитетом общества санкционирует негативное определение права. Оно определяется в терминах ожидаемого посягательства. Индивид, защищающий собственные права от правонарушителя, вынужден формулировать даже свои семейные, как и более общие социальные интересы, в абстрактных индивидуалистических терминах. Абстрактный индивидуализм и негативная концепция свободы как свободы от ограничений становятся в обществе рабочими идеями. Они все еще являются паролями для потомков тех, кто сбросил оковы политических и социальных ограничений в их защите и утверждении прав, завоеванных их предками. Где бы уголовное правосудие, это современное усовершенствование и развитие табу, практики объявления вне закона и всего с ними связанного в первобытном обществе, ни организовывало или формулировало общественное настроение исходя из защиты социальных благ и институтов от действительных или потенциальных врагов, там мы обнаруживаем, что определение врагов, другими словами, преступников, несет с собой и определение благ и институтов. Это месть преступника обществу, которое его сокрушает. Сосредоточение общественного настроения на преступнике, которое мобилизует институт правосудия, парализует попытку постичь наши общие блага с точки зрения их полезности. Величие закона есть величие меча, обнаженного против общего врага. Непредвзятость правосудия есть непредвзятость всеобщей повинности в войне против

общего врага и непредвзятость абстрактного определения права, ставящего вне закона любого, кто выпадает из его жестких рамок.

Таким образом, мы видим, что общество почти беспомощно в железной хватке враждебной установки, которую оно приняло по отношению к тем, кто нарушает его законы или идет наперекор его институтам. Враждебность по отношению к нарушителю закона неизбежно предполагает установки на возмездие, подавление и исключение. Последние не обеспечивают нас никакими принципами для искоренения преступности, для возвращения нарушителя к нормальным социальным отношениям или для формулировки нарушенных прав и установлений с точки зрения их позитивных социальных функций.

В то же время необходимо учитывать и тот факт, что установка враждебности по отношению к нарушителю закона имеет уникальное преимущество объединения всех членов общества в эмоциональной сплоченности агрессии. В то время как наиболее замечательные гуманитарные усилия, несомненно, идут наперекор индивидуальным интересам очень многих членов общества или оказываются не в силах затронуть интерес и воображение множества и оставляют общество раздробленным или безразличным, вопль вора или убийцы звучит в унисон с глубинными комплексами, лежащими под поверхностью соперничающих индивидуальных усилий, и граждане, разделенные расходящимися интересами, все вместе поднимаются против общего врага. Кроме того, эта установка вскрывает общие, универсальные ценности, которые, подобно коренной породе, лежат в основе расходящихся структур индивидуальных устремлений, взаимно замкнутых и враждебных друг другу. Кажется, что без преступника внутренняя связность общества исчезнет и универсальные блага общества раздробятся на взаимно отталкивающиеся индивидуальные частицы. Преступник своими разрушительными действиями не угрожает структуре общества серьезно, и тем не менее благодаря ему возникает это чувство сплоченности, которое пробуждается в тех, кто в противном случае сосредоточил бы свое внимание на интересах, весьма отличающихся от интересов любого другого.

Таким образом, уголовное правосудие может оказаться существенным фактором сохранности общества, даже если учесть бессилие преступника против общества и неуклюжую беспомощность уголовного закона в сдерживании и пресечении преступлений. Я готов допустить, что эта формулировка несколько искажает действительность, но это касается не ее оценки действенности процедуры, направленной против преступника, а ее неспособности учесть растущее осознание людьми множества общих интересов, которое постепенно изменяет нашу институциональную концепцию общества, а также вытекающей из этой неспособности завышенной оценки значения преступника. Важно, чтобы мы поняли, каковы импликации установки враждебности в нашем обществе. Мы в первую очередь должны осознать неизбежные ограничения, которые несет с собой эта установка. Социальная организация, вырастающая из враждебности, одновременно выделяет некую черту, являющуюся основанием противопоставления, и стремится подавить все другие черты в членах группы. Крик «держи вора!» объединяет всех нас как владельцев собственности против грабителя. Как американцы, мы все встаем плечом к плечу против потенциального агрессора. И точно пропорционально нашей самоорганизации враждебностью мы подавляем индивидуальность.

В политической кампании, ведущейся между партиями, их члены подчиняются своей партии. Они становятся просто членами партии, чья сознательная цель заключается в разгроме соперничающей организации. Для достижение этой цели член партии становится республиканцем или демократом, и только. Партийный символ выражает все на свете. Там, где примитивная социальная агрессия или защита с целью уничтожения или изоляции врага является целью общества, организация общей установкой враждебности нормальна и действенна. Но до тех пор, пока социальная организация управляется установкой враждебности, индивиды или группы, являющиеся объектами атаки со стороны организации, будут оставаться врагами. Психологически совершенно невозможно ненавидеть грех и любить грешника. Мы весьма склонны обманываться в этом отношении. Мы предполагаем, что можем обнаруживать, настигать, обвинять, преследовать и наказывать преступника и при этом сохранять по отношению к нему установку, имеющую в виду его возвращение в общество, как только он сам выкажет перемену в своей социальной установке, что мы можем в одно и то же время подстерегать очевидное нарушение законодательства с целью поймать ч одолеть нарушителя и постигать ситуацию, из которой преступление вырастает. Но эти две установки — установка контроля за преступлением посредством враждебной процедуры закона и установка контроля посредством постижения социальных и психологических условий — сочетать невозможно. Понять — значит простить, а социальная процедура, как кажется, отрицает саму ответственность, которую утверждает закон, и, с другой стороны, преследование уголовным правосудием неизбежно пробуждает враждебную установку в правонарушителе и делает установку взаимного понимания практически невозможной. Социальный служащий в зале суда — сентименталист, а законник в социальном

учреждении, несмотря на всю свою ученость,— невежда.

Далее, хотя установка враждебности против нарушителя закона или внешнего врага и дает группе чувство сплоченности, без труда вспыхивающее, словно пламя, и поглощающее различия индивидуальных интересов, цена, которая платится за это сплочение чувства, велика и порой губительна. Хотя человеческие установки значительно древнее любого из человеческих институтов и как будто проносят через века тождество структуры, которое позволяет нам быть как дома в сердце любого человека, чья история дошла до нас из прошлого независимо от того, остались об этом прошлом письменные свидетельства или нет, эти установки все же принимают какие-то новые формы по мере того как вбирают в себя новое социальное содержание.

Враждебность, пылавшая между человеком и человеком, между семьей и семьей и закреплявшая формы старых обществ, изменилась, когда люди пришли к осознанию данного общего целого, внутри которого разыгрывались эти смертельные схватки. Через соперничество, конкуренцию и кооперацию люди пришли к концепции социального государства (State), в котором они самоутверждались, утверждая одновременно статус других, на основе не только общих прав и привилегий, но также и различий интересов и функций в рамках организации индивидов, более отличающихся друг от друга, чем прежде. В современном экономическом мире человек в состоянии самоутверждаться в противопоставлении себя другим гораздо более эффективно, исходя из признания общих прав на собственность, лежащих в основе всей экономической деятельности; сочетая требование признания собственного индивидуального конкурентною усилия с одобрением и использованием разнообразных деятельностей и экономических функций других в рамках делового комплекс в целом.

Эта эволюция выходит на еще более содержательный уровень тогда, когда самоутверждение начинает зависеть от сознания индивидом своего социального вклада, которым он завоевывает уважение со стороны других, деятельности которых он дополняет и делает возможными. В мире научных изысканий соперничество не препятствует проявлению горячей признательности за ту службу, которую работа одного ученого может сослужить для всего monde savant[4] в целом. Очевидно, что подобной социальной организации невозможно достичь произвольно, здесь недостаточно одного желания, она зависит от медленного роста очень разнообразных и сложных социальных механизмов. И если невозможно представить никакого четко определяемого набора условий, ответственных за этот рост, можно допустить, я думаю, что крайне необходимым условием, возможно, самым значительным, является преодоление временной и пространственной разобщенности людей, чтобы они могли вступить в более тесные взаимоотношения друг с другом.

[4] Ученого мира.— *Прим. перев*

Средства коммуникации стали величайшими цивилизующими факторами. Множественная социальная стимуляция бесчисленного количества разнообразных контактов огромного числа индивидов друг с другом — плодородная почва, на которой взрастают социальные организации, ибо они расширяют диапазон социальной жизни, в которой теперь может раствориться враждебность различных групп. Когда это условие обеспечивается, внутренне присущей социальным группам тенденцией представляется движение от враждебных установок индивидов и групп по отношению друг к другу — через соперничество, конкуренцию и кооперацию — к некоему функциональному самоутверждению, признающему и использующему другие самости и группы самостей в таких деятельностях, в которых выражает себя человеческая социальная природа. И все же установка враждебности общества к тем, кто преступил его законы или обычаи, т.е. к своим преступникам, а также к внешним врагам осталась величайшей сплачивающей силой. Пылкая приверженность нашим религиозным, политическим, собственническим и семейным институтам созрела в сражении с теми, кто нападал или покушался на них индивидуально или коллективно, а враждебность по отношению к реальным или гипотетическим врагам нашей страны оказалась неиссякающим источником патриотизма.

Если мы попытаемся теперь рассмотреть причины преступления фундаментальным образом и столь же беспристрастно, как мы рассматриваем причины болезни, и если мы желаем заменить войну переговорами и международным арбитражем в деле улаживания конфликтов между народами, определенную важность представляет собой поиск такой эмоциональной сплоченности, которую мы можем обеспечить взамен той, что создавалась традиционными процедурами.

Мы встречаемся с попыткой докопаться до причин социального и индивидуального проступка и понять их, исправить, если возможно, ущербную ситуацию и реабилитировать оступившегося индивида в суде по делам несовершеннолетних. Здесь нет никакого ослабления чувства поставленных на карту ценностей, но значительная часть атрибутики враждебной процедуры отсутствует. Судья заседает вместе с ребенком, доставленным в зал суда, с членами семьи, поручителями и другими,

которые могут помочь понять ситуацию, и указывает, какие шаги следует предпринять для того, чтобы привести дела в нормальное состояние. Мы встречаемся с начатками научной техники в этом расследовании в лице присутствующих психолога и медицинского эксперта, которые могут дать заключение о духовном и физическом состоянии ребенка, а также социальных служащих, которые могут сообщить о ситуации в семье и по месту проживания ребенка. Далее, помимо тюрем имеются и другие учреждения, куда ребенок может быть направлен для продолжения наблюдения над ним и смены обстановки. Благодаря сосредоточению интереса на реабилитации чувство дальновидной моральной ответственности не только не ослабляется, но даже усиливается, ибо суд пытается определить, что должен ребенок делать и чем он должен быть для того, чтобы вновь вернуться к нормальным социальным отношениям. Там, где ответственность лежит на других, это может быть осуществлено с гораздо большим тщанием и большим эффектом, поскольку она не определяется в абстрактных категориях законодательства и цель при определении ответственности — не установление наказания, а получение результатов в будущем. Налицо поэтому гораздо более полное изложение фактов, существенных для разбора данного случая, чем это в принципе может случиться в ходе разбирательства в уголовном суде, процедура которого нацелена попросту на установление ответственности за некое юридически определенное правонарушение, чтобы в итоге наложить определенное наказание. Гораздо большим значением обладает выход на первый план ценностей семейных отношений, школы, разного рода обучения, возможности трудиться и всех иных факторов, составляющих все то, что имеет смысл в жизни ребенка или взрослого. Перед судом по делам несовершеннолетних можно представить все эти факторы, и все они могут быть учтены в решении суда. Все это вещи, которые имеют смысл. Они — цели, которые должны определять поведение. Их реальное значение невозможно обнаружить, если не поставить их всех во взаимосвязь друг с другом.

Невозможно разобраться в вопросе о том, какими должны быть установка и поведение общества по отношению к индивиду, нарушившему его законы, или как выразить его ответственность в терминах предстоящего процесса, если все факты и все ценности, в соответствии с которыми должны интерпретироваться факты, не будут собраны воедино для беспристрастного рассмотрения, точно так же как невозможно научно разобраться в каком-либо вопросе без учета всех фактов и ценностей, имеющих к нему отношение. Установка враждебности, ставящая преступника вне закона и, таким образом, исключающая его из общества, предписывающая враждебную процедуру, включающую арест, разбирательство и наказание, может учитывать лишь те черты его поведения, которые составляют непосредственное нарушение закона, и может формулировать отношение между преступником и обществом лишь в терминах разбирательства с целью установления вины и наказания. Все остальное не имеет значения. Взрослый уголовный суд пытается не отладить разладившуюся социальную ситуацию, но определить, применяя установленные правила, является ли еще человек членом общества с добропорядочной репутацией или же он изгой. В согласии с этими установленными правилами то, что не подпадает под юридическое определение, не только вполне естественным образом не появляется в деле, но и вообще отметается. Таким образом, существует некая область фактов, имеющих отношение к социальным проблемам, с которыми сталкиваются наши суды и правительственные административные учреждения,— фактов, которые не могут быть непосредственно использованы в решении этих проблем. Именно с этим материалом работают социолог и добровольный социальный служащий и его организации. В суде по делам несовершеннолетних мы встречаем поразительную ситуацию, когда этот материал пробивает себе путь в институт самого суда и принуждает его к таким изменениям своих методов, что этот материал становится возможным использовать на деле. Недавние изменения установки по отношению к семье позволяют учитывать факты, имеющие отношение к заботе о детях, которые прежде лежали вне поля зрения суда.

Можно привести и другие иллюстрации этого изменения структуры и функции институтов, вызванного давлением данных, которые более ранняя форма института исключала из своего рассмотрения. Можно привести пример старой теории благотворительности, согласно которой она полагалась на добродетель людей, находившихся в благоприятных обстоятельствах, выказываемую по отношению к бедным, которые всегда имеются среди нас. Эта теория контрастирует с концепцией организованной благотворительности, цель которой — не проявление индивидуальной добродетели, но такая перемена в условиях жизни как индивидов, так и всего общества, внутри которого индивиды действуют, чтобы бедность, требующая благотворительности, совсем исчезла. Автор одного средневекового трактата о благотворительности, рассматривая прокаженных как некий полигон для совершения благих деяний и размышляя о возможности их исчезновения, восклицал: «Чего да не допустит Господь!»

Суд но делам несовершеннолетних есть лишь один из примеров института, в котором

рассмотрение фактов, полагавшихся прежде иррелевантными или исключительными, принесло с собой радикальное изменение этого института. Но он представляет собой особый интерес потому, что суд есть объективная форма установки враждебности со стороны общества по отношению к тому, кто преступает его законы и обычаи. Он имеет и дополнительный интерес, поскольку явственно очерчивает два типа эмоциональных установок, которые соответствуют двум типам социальной организации.

Наряду с эмоциональной сплоченностью группы, противостоящей врагу, возникают интересы, группирующиеся вокруг попытки встретиться лицом к лицу с какой-нибудь социальной проблемой и разрешить ее. Первоначально эти интересы противостоят друг другу. Интересу к индивидуальному нарушителю противостоит интерес к собственности и зависящему от нее социальному порядку. Интерес к изменению условий, которые воспитывают нарушителя, противопоставлен интересу, отождествленному с нашим положением в обществе, как оно устроено в данный момент, и сожалению по поводу дополнительных обязанностей, которые прежде не признавались или не принимались.

Но подлинная попытка разобраться в реальной проблеме приносит некие пробные реконструкции, которые пробуждают новые интересы и эмоциональные ценности. Таковыми являются интересы к лучшим жилищным условиям, к более адекватному школьному обучению, к устройству игровых площадок и небольших парков, к контролю за детским трудом и к профессиональному обучению, к улучшению санитарии и гигиены, а также к устройству общественных и социальных центров. Вместо эмоциональной сплоченности, объединяющей нас всех против преступника, появляется скопление разнообразных интересов, не связанных между собой в прошлом, которое не только придает нарушителю новое значение, но и приносит чувство развития и достижения. Эта реконструктивная установка предлагает совокупный интерес, приходящий вместе с переплетающимися разносторонними ценностями. Открытие, что туберкулез, алкоголизм, безработица, школьное отставание, подростковая преступность среди других социальных зол достигают своего наивысшего уровня в одних и тех же зонах, не только пробуждает присущий нам интерес к одолению каждого из этих зол в отдельности, но и конституирует какой-то определенный объект, объект человеческого несчастья, фокусирующий наши усилия, а также выстраивает какой-то конкретный объект человеческого благополучия, которое есть некий комплекс ценностей. Такая организация усилий взращивает индивида или самость с новым содержанием характера,— самость, которая действенна постольку, поскольку импульсы, побуждающие к поведению, организованы вокруг некоторого четко определенного объекта.

Интересно сравнить эту самость с той, которая откликается на призыв общества к защите его и его институтов. Господствующая эмоциональная окраска последней проявляется в общегрупповом противостоянии общему врагу. Осознание других в этом случае лишено тех инстинктивных противопоставлений, которые — в самых разнообразных формах — пробуждает в нас уже одно только присутствие других. Это могут быть лишь легкое соперничество и различия во мнениях, в социальной установке и в положении или просто осторожность, которую все мы сохраняем в отношении тех, кто нас окружает. В общем процессе они могут исчезнуть. Их исчезновение означает устранение сопротивления и трений и добавляет выражению одного из наиболее мощных человеческих импульсов радостное возбуждение и энтузиазм. Результатом является определенное возрастание самости, в ходе которого человек чувствует свое единение с любым другим членом группы. Это не самосознание, которое исходит из противопоставления одной самости другим. В некотором смысле человек теряет себя в недрах группы и может получить такую установку, с которой он претерпит страдание и смерть за общее дело. Действительно, война устраняет из установки враждебности сдерживающие тенденции, но одновременно оживляет и мобилизует установку самоутверждения самости, которая слита со всеми другими самостями в обществе. Запрет на самоутверждение, несущий с собой осознание интересов других индивидов группы, к которой человек принадлежит, исчезает, когда это утверждение направляется против какого-то объекта общей враждебности или неприязни. Даже в мирное время мы ощущаем в себе, как правило, совсем слабое, если вообще хоть какое-нибудь, неодобрение надменности по отношению к людям другой национальности, и национальный самообман и принижение достижений других народов могут оказаться прямо-таки добродетелями.

Та же тенденция в разной степени проявляется и среди тех, кто объединяется против преступника или против партийного врага. Установки различия и противостояния между членами общества или группы временно отменяются или предоставляется большая свобода для самоутверждения, направленного против врага. Эти переживания пронизывают мощные эмоции, которые могут послужить для временной оценки того, что стоит за обществом в целом, по сравнению с интересами индивида, который ему противопоставлен. Эти переживания, однако, служат лишь тому, чтобы именно противопоставить значительность того, что стоит за группой, и жалкое первородство индивида, который отсекает себя от нее.

То, за что мы сражаемся, что мы все защищаем, что мы все утверждаем против клеветника, в определенной мере присуждает каждому наследие всех, тогда как находиться вне общества — значит быть обездоленным Исавом, вызывающим всеобщую ненависть. Самоутверждение, направленное против общего врага, подавляя противостояния индивидов внутри группы и, таким образом, отождествляя их всех в некоем общем усилии, есть в конечном счете самоутверждение сражения, в котором каждая из противостоящих самостей стремится к уничтожению другой и, поступая подобным образом, ставит своей целью собственное выживание и уничтожение других. Я знаю, что целями войн часто были какие-то идеалы, по крайней мере в сознании множества их участников; что сражения поэтому велись ради уничтожения не столько сражающихся, сколько какого-либо вредного института, например рабства; что многие вели кровавые войны за свободу и волю.

Однако все поборники вещей такого рода никогда не отождествляли собственные интересы с декларируемыми идеалами. Сражение необходимо для выживания правой партии и погибели неправой. Перед лицом врага мы достигаем конечной формы самоутверждения, будь то патриотическая национальная самость, партийная или схизматическая самость, институциональная самость или просто самость рукопашной схватки. Это такая самость, существование которой призывает к поражению, покорению и уничтожению врага. Это самость, которая находит свое выражение в живой сосредоточенной деятельности, протекающей в соответствующих условиях самого насильственного характера. Инстинкт враждебности, обеспечивающий эту самость структурой, когда он полностью пробуждается и вступает в соперничество с другими мощными человеческими комплексами поведения, связанными с инстинктами пола, голода, родительства и обладания, оказывается сильнее всех. Он также приносит с собой стимул к более легкой и — до поры до времени — более полной социализации, чем это в силах осуществить любая другая инстинктивная организация. Никакой иной мотив не объединяет людей с такой же легкостью, как наличие общего врага, в то время как общая цель инстинктов пола, обладания или голода приводит к мгновенному противостоянию; и даже общая цель родительского инстинкта может быть источником ревности.

Социализирующий механизм общей враждебности отмечен, как я указал выше, определенными изъянами. Поскольку он является господствующим инстинктом, он не организует другие инстинкты вокруг своей цели. Он подавляет их или временно приостанавливает их действие. Если сама враждебность может быть составляющей любого инстинкта, поскольку все они предполагают противостояния, нет никакого другого инстинктивного действия человеческой самости, которое являлось бы составляющей непосредственно инстинктивного процесса сражения, в то время как борьба с каким-либо противником играет важную роль в осуществлении любой другой инстинктивной деятельности. В результате те, кто вместе сражается против общих врагов, инстинктивно склонны игнорировать другие социальные деятельности, в рамках которых естественно возникают противостояния между вовлеченными в них индивидами.

Именно это временное освобождение от социальных трений, которые присущи всем другим кооперативным деятельностям, и ответственно в значительной мере за эмоциональные всплески патриотизма, плебейского сознания и крайности партийной борьбы, так же как и за удовольствие от злобного раздувания сплетен и скандалов. Кроме того, в осуществлении этого инстинкта успех предполагает торжество самости над врагом. Высшая точка процесса — поражение определенных лиц и победа других. Цель принимает форму этого чувства возрастания самости и уверенности, которое приходит с сознанием этой самостью своего превосходства над другими. Внимание направляется на положение, которое эта самость занимает относительно других.

Затронутые здесь ценности — это ценности, которые могут быть выражены только в терминах интересов и отношений самости в ее отличии от других. С точки зрения одной группы антагонистов их победа есть победа эффективной цивилизации, в то время как другая рассматривает свою победу как победу либеральных идей. От Тамерланов, которые оставляют после себя пустыню и называют ее миром, до воителей-идеалистов, сражающихся и умирающих за идеи, победа означает выживание одной группы лиц и уничтожение других, а идеи и идеалы, за которые идет спор, неизбежно должны олицетворяться, чтобы появиться на полях сражений, возникающих из враждебного инстинкта. Война, какой бы она ни была — физической, экономической или политической,— предполагает уничтожение физического, экономического или политического противника. Можно ограничить действие этого инстинкта определенными пределами и областями. В боксерских поединках, как и в старинных турнирах, уничтожение врага церемониально приостанавливается на определенной стадии боя. В футбольной встрече потерпевшая поражение команда оставляет поле победителю. Успешная конкуренция в наиболее острой своей форме устраняет конкурента. Победитель по результатам голосования вытесняет противника из сферы политического управления. Если борьба может быть a'outrance [5] внутри любой сферы и предполагает

устранение врага из этой сферы, инстинкт враждебности имеет эту силу объединения и слияния соперничающих групп, но так как победа есть цель сражения и это победа одной партии над другой, предметы спора должны постигаться в терминах победителя и побежденного.

[5] Беспощадной.— *Прим. перев.*

Другие типы социальной организации, вырастающие из других инстинктов — обладания, голода или родительства,— предполагают цели, которые не отождествляются как таковые с самостями, противостоящими другим самостям, хотя объекты, на которые направлены эти инстинктивные деятельности, могут быть поводом для проявления враждебного инстинкта. Социальные организации, которые вырастают вокруг этих объектов, в значительной степени обязаны своим существованием механизмам сдерживания враждебного импульса, приводимым в действие другими группами импульсов, которые пробуждаются в тех же ситуациях. Обладание каким-то желанным объектом одним индивидом в семье или родовой группе есть повод для других членов группы напасть на него, но то, что он является членом группы, есть стимул для таких семейных и родовых откликов, которые препятствуют нападению. Это может быть подавление, которое просто приглушает продолжающие тлеть антагонизмы, но можно встретить и такую социальную реорганизацию, при которой враждебности предоставляется некая функция, находящаяся под социальным контролем, как это имеет место в партийных, политических и экономических спорах, в которых определенные — партийная политическая и экономическая — самости вытесняются из данной области, оставляя ее другим, которые и осуществляют социальную деятельность. Здесь соперничество ограничивается, и в результате наиболее серьезное из зол — войны — предотвращается, тогда как соперничество сохраняет значение по крайней мере фактора приблизительного отбора. Соперничество рассматривается в некоторой степени с точки зрения его социальной функции, а не просто как средство устранения врага.

По мере того как сфера конструктивной социальной деятельности расширяется, сфера действия враждебного импульса в его инстинктивной форме сужается. Но это не означает, что реакции, образующие этот импульс, или инстинкт, прекратили функционировать. Это означает, что импульс прекращает быть попыткой избавиться от раздражающего объекта, нанося ему ущерб или разрушая его, т. е. попыткой, направленной против другого социального существа, способного страдать и умереть — физически, экономически или политически,— подобного ему самому. Он становится попыткой справиться в сотрудничестве с другими импульсами с конкретной ситуацией путем устранения существующих препятствий. Можно сказать, что он сражается против своих трудностей. Сила изначального импульса не утрачена, но его целью теперь является не уничтожение какого-то лица, а такая социальная реконструкция, при которой могут найти свое полное и ничем не нарушаемое выражение более глубокие виды социальной деятельности. Энергия, выражавшаяся прежде в сожжении ведьм, которых считали причиной чумы и напастей, расходуется теперь на медицинские исследования и совершенствование санитарии, и ее все еще можно назвать борьбой с болезнью.

Во всех этих переменах наблюдается смещение интереса с врага на реконструкцию социальных условий. Самоутверждение солдата и завоевателя становится самоутверждением конкурента в промышленной, деловой или политической сферах, самоутверждением реформатора, администратора, врача или другого социального функционера. Показатель успеха подобной самости зависит от изменения и построения социальных условий, которые и делают эту самость возможной, а не от завоевания и уничтожения других самостей. Ее эмоции — это не эмоции массового сознания, основанного на подавлении индивидуальностей; они вырастают из совокупного интереса самых разнообразных предприятий, нацеленных на общую задачу социальной реконструкции. Реализовать подобного индивида и его социальную организацию сложнее; они подвержены значительно большим трениям, чем те, что вырастают из войн. Их эмоциональное содержание может и не быть столь же живым, но они являются единственным лекарством от войн и принимают тот вызов, который продолжающееся существование войн в человеческом обществе бросило человеческому разуму.

Дж. Морено. Социометрия [1]

[1] Публикуемый материал представляет собой три статьи из сборника. Moreno J. L. Sociometry, Experimental Method and the Science of Society. An Approach to a New Political Orientation. N. Y., 1951.

Русск. перев.: Морено Дж. Л. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе. Подход к новой политической ориентации / Пер. с англ.

В. М. Корзинкина. Редакция перевода и предисловие М. Ш. Бахитова. М., 1958. С. 48—63, 178—188, 215—229.

Социометрия и другие социальные науки (1937)

Изучение структуры человеческого общества

Религиозные, экономические, технологические и политические системы до сих пор строились при молчаливом признании того факта, что они могут быть адекватными и прилагаться к человеческому обществу без точного и детального знания его структуры. Повторные неудачи целого ряда убедительных и гуманных мер и доктрин привели к убеждению,что тщательное изучение социальной структуры является единственным средством, которое может излечить болезни общества. Социометрия — относительно новая наука, постепенно развивающаяся со времен мировой войны 1914—1918 годов, ставит себе целью объективное определение основных структур человеческих обществ.

С точки зрения *медицинской* социологии важно знать действительную структуру человеческого общества в данный момент. Трудности на пути к такому знанию огромны и нелегко преодолеваются. Эти трудности в основном могут быть распределены по трем категориям: огромное количество людей, необходимость добиться полноценного участия испытуемых, необходимость длительных **и** повторных исследований. Эти трудности будут рассмотрены более детально, так же как и шаги, предпринятые до сих пор в развитии социометрической техники для их преодоления.

Во-первых, человеческое общество состоит приблизительно из двух миллиардов индивидуумов. Количество взаимоотношений между этими индивидуумами, причем каждое отношение в той или иной, хотя и незначительной, степени влияет на всю мировую ситуацию, должно достичь астрономической цифры. Учитывая это, социометрия начинает свои полевые исследования с малых участков человеческого общества, спонтанных группировок людей, групп лиц различного возраста, групп одного пола, разных полов, учрежденческих и промышленных коллективов. До настоящего времени различные группы и коллективы с общим числом членов свыше десяти тысяч человек подверглись социометрическим тестам. Накопилось значительное количество социометрических данных. Мы, однако, не должны забывать о том, что, как бы ни увеличились наши знания с течением времени и как бы точны ни были наши социометрические данные о некоторых участках человеческого общества, нет никаких выводов, которые могут «автоматически» переноситься с одного участка на другой, и никакие заключения не могут быть «автоматически» сделаны относительно той же самой группы в разное время. Каждая часть человеческого общества должна всегда рассматриваться в ее конкретности.

Во-вторых, так как нам приходится рассматривать каждого индивидуума конкретно, а не в качестве символа, и каждое из его отношений к другому лицу или лицам конкретно, а не символично, мы не можем достичь полного знания, если только каждый индивидуум не будет спонтанно участвовать в раскрытии этих отношений в полную меру своих сил. Задача состоит в том, как добиться от каждого человека максимального спонтанного участия. Это участие даст в результате психологическую географию человеческого общества, соответствующую физической географии мира. Социометрия пыталась добиться такого участия, включив в качестве неотъемлемой части процедуры какой-нибудь важный аспект реальной социальной ситуации, стоящей перед членами коллектива в данный момент. Это стало возможным благодаря тому, что изменился и расширился статус участника-наблюдателя и исследователя, превративший его во вспомогательное е^о данного индивидуума и всех других индивидуумов коллектива. Иначе говоря, он, насколько возможно, отождествляет себя с целями, к которым стремится каждый индивидуум, и пытается помочь ему в их достижении. Этот шаг был предпринят после тщательного рассмотрения фактора спонтанности в социальных ситуациях. Общее определение телесных и духовных нужд недостаточно. Каждое моментальное реальное положение индивидуума в коллективе так неповторимо, что, прежде чем делать выводы, нужно знать структуру, окружающую его и давящую на него в этот момент.

В-третьих, поскольку нам нужно знать действительную структуру человеческого общества не только в данный момент, но также в его будущем развитии, мы должны рассчитывать на максимальное спонтанное участие каждого индивидуума и в будущем. Задача состоит в том, как заставить людей участвовать в процедуре с максимальной спонтанностью неоднократно и регулярно, а не от случая к случаю. Эту трудность можно преодолеть, приспособив процедуру к управлению коллективом. Если спонтанное влечение в отношении объединения с другими людьми или влечение к предметам и ценностям официально и постоянно поощряются соответствующими учреждениями коллектива, процедуру можно повторить в любое время. И проникновение в структуру коллектива, по мере того как она развивается во времени и пространстве, становится более доступным.

При изучении структуры человеческого общества первым шагом было определить

и разработать социометрические процедуры, которые помогли бы преодолеть трудности, описанные выше. Социометрические процедуры пытаются обнажить основные структуры в обществе, выявляя симпатии, влечения и отвращения, существующие в отношениях лиц к лицам и лиц к предметам.

Типы социометрических процедур

Каждый тип процедур, перечисленных ниже, может применяться к любой группе независимо от уровня развития ее членов. Если применяемая процедура по форме ниже того уровня, который требуется для данной социальной структуры, результаты отразят неполную «инфраструктуру» данного коллектива. Адекватная социометрическая процедура должна точно соответствовать по сложности предполагаемой социальной структуре измеряемого коллектива.

Один тип процедуры имеет целью вскрыть социальную структуру между индивидуумами путем простой записи их движения и положения в пространстве по отношению друг к другу. Эта процедура записи примитивных движений была применена в группе младенцев. При их уровне развития нельзя было применить успешно более сложную технику. Эта процедура вскрыла структуру, развивающуюся у ряда младенцев, между младенцами и ухаживающим персоналом и между младенцами и предметами, их окружающими в определенном пространстве, комнате. На ранней стадии развития физическая и социальная структуры пространства перекрещиваются друг с другом и соответствуют друг другу. На определенной точке развития структура взаимоотношений начинает все больше и больше отличаться от физической структуры групп, и с этого момента социальное пространство в своей зачаточной форме отличается от физического пространства. В этом случае социограмма представляет собой диаграмму положений и движений. Когда ребенок начинает ходить, возникает более развитая структура. Дети теперь могут направляться к лицу, которое им нравится, или удаляться от лица, которое им не нравится; направляться к предмету, который они хотят, или от предмета, которого они желают избежать. Фактор невербального спонтанного участия начинает оказывать более определенное влияние на структуру.

Другой вид процедуры применяется в группах маленьких детей, которые до и после того, как они научились ходить, могут разумно пользоваться простыми словесными символами. Фактор простого «участия» субъекта становится более сложным. Субъект может выбрать или отвергнуть предмет или лицо, не делая никаких физических движений. Процедуры все больше усложняются, когда при установлении контакта дети подвергаются влиянию физических или социальных свойств других людей: пола, расы, социального положения и т. д. Фактор дифференцированного объединения означает новую тенденцию в развитии структуры.

До этого момента в ней выделялись и занимали определенную позицию только индивидуумы. Теперь же выделяются объединения индивидуумов и эти объединения занимают позицию группы. По мере того как развивается общество индивидуумов, количество критериев, на основе которых образованы или могут быть образованы объединения, значительно увеличивается. Чем более многочисленны и сложны критерии, тем сложнее становится социальная структура коллектива.

Это небольшое количество примеров ясно показывает, что социометрическая процедура не является застывшим рядом правил, что она изменяется и приспосабливается к любой групповой ситуации по мере того, как таковая возникает. Социометрическая процедура должна соответствовать потенциальным возможностям субъектов в данный момент так, чтобы побудить их на максимальное спонтанное участие и максимум экспрессивности. Если социометрическая процедура не соответствует структуре коллектива в данный момент, мы можем получить только ограниченное или искаженное представление о ней.

Участник-наблюдатель в социальной лаборатории, соответствующий научному наблюдателю в физической или биологической лаборатории, претерпевает глубокие изменения. Наблюдение движений и свободного объединения индивидуумов является ценным добавочным материалом, если известна основная структура. Но как может наблюдатель узнать что-нибудь об основной структуре коллектива, насчитывающего тысячу человек, если он пытается стать интимным товарищем каждого индивидуума в одно и то же время, участником каждой роли, которую тот играет в коллективе? Он не может наблюдать их, как наблюдают небесные тела, а затем составлять диаграммы их движений и реакций. Он упустит сущность ситуаций, если будет играть роль ученого-разведчика. Процедура должна носить открытый и явный характер. Члены коллектива должны стать в какой-то мере участниками проекта. Степень участия является минимальной, когда члены группы согласны только отвечать на вопросы относительно друг друга. Любое исследование, которое пытается с менее возможным максимальным участием членов группы вскрыть чувства, которые они питают по отношению друг к другу, является только приблизительно социометрическим.

Приблизительно социометрические или диагностические процедуры весьма ценны на данном этапе развития социометрии. Они могут применяться в широких масштабах и, не выходя за определенные пределы, не причиняют неудобства участникам. Однако данные, полученные в приблизительно социометрических исследованиях, основаны на недостаточном стимулировании участников, которые не полностью выражают свои чувства. В приблизительно социометрических ситуациях участники редко действуют спонтанно. Разминка затягивается. Если спросить индивидуума, кто ваши друзья в городе, он может не назвать одно или два, наиболее важных в его социальном атоме лица, к которым он питает нечто вроде тайной дружбы и о которых он не хочет, чтобы знали.

Социометрист не отказывается от метода наблюдения группы, от изучения групповой формации извне. Однако это становится лишь частью более общей техники социометрической процедуры. Фактически социометрическая процедура является и действенной и наблюдательной в одно и то же время. Опытный социометрист будет постоянно собирать дополнительные данные экспериментов и наблюдений,— данные, которые могут быть существенным дополнением к его знанию *изнутри* социальной структуры группы в данный момент. Наблюдательные и статистические исследования, дополняющие и углубляющие анализ структуры, могут вытекать из социометрической процедуры.

Переход от приблизительно социометрических к основным социометрическим процедурам зависит от методов создания стимула для более адекватного участия наблюдаемых. Если участнику-наблюдателю удается стать все меньше и меньше наблюдателем и все больше помощником и советчиком каждого индивидуума в группе в отношении его нужд и интересов, наблюдатель претерпевает изменения: из наблюдателя он превращается во вспомогательное лицо. Наблюдаемые лица, вместо того чтобы более или менее неохотно отвечать на вопросы относительно себя и других, становятся явными участниками проекта. *Проект становится коллективным делом.* Наблюдаемые становятся участниками и наблюдателями как своих, так и чужих проблем. Они становятся основными участниками в социометрическом исследовании. Они знают, что чем яснее и точнее они выражают свои желания, будь то в отношении партнеров по игре, соседей за обеденным столом, соседей по дому или коллег по фабрике, тем больше у них шансов занять положение в группе, которое больше всего соответствует их вожделениям и желаниям.

Первым решающим шагом в развитии социометрии было вскрытие действительной организации группы. Вторым решающим шагом было применение субъективных приемов при определении этой организации. Третьим решающим шагом был метод, который придавал наивысшую степень объективности субъективным терминам благодаря функции вспомогательного ego. Четвертым решающим шагом было рассмотрение критерия (нужды, ценности, цели и т. д.), на основе которого складывается данная структура. Истинная организация группы может быть выявлена, если тест построен так, что он соответствует критерию, вокруг которого сложилась группа. Например, если мы хотим определить структуру рабочей группы, критерием будет являться отношение ее членов в качестве рабочих на фабрике, а не ответ на вопрос, с кем бы им хотелось пойти завтракать. Мы, следовательно, различаем существенный и вспомогательный критерии. Сложные группы часто формируются на основе нескольких существенных критериев. Если тест является приблизительно социометрическим или неадекватным, тогда он дает вместо действительной организации группы ее искаженную, менее дифференцированную форму, *инфра-уровень* ее структуры.

В работе социометриста можно различать несколько подходов:

1) исследовательская процедура, изучающая организацию группы;

2) диагностирующая процедура, классифицирующая положение в группе и положение групп в коллективе;

3) терапевтическая и политическая процедура, ставящая целью помочь индивидууму или группам лучше приспособиться к коллективу, и наконец,

4) полная социометрическая процедура, являющаяся синтезом всех этих стадий и превращающая их в одну - единую операцию, в которой одна процедура зависит от другой. Последняя процедура является также наиболее *научной.* Она не является более научной из-за того, что она более практична, скорее, она более практична из-за того, что она более точна научно.

Оформление и изучение социометрических данных

Результаты, полученные при применении социометрической процедуры от каждого индивидуума, как бы спонтанны и важны они ни оказались, являются только предварительным материалом, а не социометрическими фактами. Нам надо сперва представить себе, как эти результаты связаны друг с другом. У астронома имеется вселенная звезд и других небесных тел, которая обозримо раскинулась в пространстве. География этих тел дана заранее. Социометрист находится в парадоксальной ситуации.

Ему приходится строить и составлять план своей вселенной, прежде чем он может приступить к ее изучению. Был разработан способ составления плана — социограмма, которая, как это и должно быть, является большим, чем просто методом оформления материала. Прежде всего это метод изучения. Он делает возможным изучение социометрических фактов. Соответствующее положение каждого индивидуума и все взаимоотношения между индивидуумами могут быть отражены на социограмме. В настоящее время это единственно доступная схема, которая обеспечивает структуральный анализ коллектива.

Схема социальной вселенной необозрима для нас. Она становится обозримой путем нанесения на карту. Следовательно, социометрическая карта бывает тем полезнее, чем тщательнее и достовернее она отображает открываемые отношения. Так как важна каждая деталь, необходимо самое тщательное отображение. Проблема заключается не только в том, чтобы отобразить данные самым простым и кратким способом, но чтобы отобразить отношения так, чтобы их можно было изучать.

Были разработаны многочисленные типы социограмм. Общим для них является то, что они отображают систему социальной структуры, а также положение каждого индивидуума внутри этой структуры.

Один тип социограммы показывает развитие социальных конфигураций во времени и пространстве. Другие типы соци-ограмм дают моментальную и преходящую картину группы. Поскольку техника нанесения на карту является методом исследования, социограммы разработаны таким образом, чтобы дать возможноть выбрать из первичного плана коллектива мелкие части, перерисовать их и изучать их, так сказать, под микроскопом. Другой тип деривативной, или вторичной, социограммы получается, если мы выделим из плана коллектива большие структуры по их функциональному значению, например психологические сети. Карты сетей показывают, что на основе первичных социограмм мы можем разработать карты, которые позволят нам исследовать обширные географические области.

Концепции и открытия

Социометрия фактически возникла, как только мы оказались в состоянии изучать одновременно и социальную структуру в целом, и ее составные части. Это было невозможно, пока проблема индивидуума, а также связи индивидуума и его приспособления к группе оставались все еще нерешенными. Как только социальная структура возникла во всей своей целостности, стало возможно изучать ее малейшие детали. Таким образом, мы смогли описывать социометрические факты (описательная социометрия) и рассматривать функции специфических структур, влияние одних частей на другие (динамическая социометрия).

Рассматривая социальную структуру какого-нибудь коллектива как целое, связанное с определенной местностью, с определенным географическим положением, например город, наполненный домами, школами, мастерскими, а также взаимоотношения между жителями в этой ситуации, мы пришли к концепции психологической географии коллектива. Рассматривая в деталях структуру коллектива, мы **видим** конкретное положение каждого индивидуума в ней, а также то, что ядро отношений вокруг каждого индивидуума является более плотным вокруг некоторых индивидуумов и более «тонким» вокруг других. Это ядро отношений является наименьшей социальной структурой в коллективе, социальным атомом. С точки зрения описательной социометрии социальный атом — факт, а не концепция, так же как в анатомии система кровообращения, например, является в первую очередь описательным фактом. Это стало концепцией, как только изучение развития социальных атомов подсказало, что они выполняют важную функцию в образовании человеческого общества.

В то время как некоторые части этих социальных атомов, по-видимому, остаются невскрытыми между участвующими индивидуумами, некоторые другие части объединяются с частями иных социальных атомов, образуя сложные цепи взаимоотношений, которые согласно терминологии описательной социометрии называются психологическими сетями. Чем старше и шире сеть, тем менее значительным, по-видимому, является индивидуальный вклад в нее. С точки зрения динамической социометрии эти сети обладают функцией создания социальной традиции и общественного мнения.

Иначе следует описывать и в действительности труднее описать процесс, который привлекает индивидуумов друг к другу или который отталкивает их друг от друга. Это поток чувств, из которого, по-видимому, состоят социальный атом и сети. Этот процесс можно рассматривать как теле. Мы привыкли к мысли, что чувства возникают внутри организма индивидуума и что они в большей или меньшей степени связаны с людьми или вещами из непосредственного окружения. Мы привыкли думать, что эти конгломераты чувств возникают исключительно в организме индивидуума, в одной из его частей или в организме как целом, а также что физические и психические состояния после возникновения остаются навсегда внутри этого организма. Эмоциональное отношение к лицу или

предмету называется привязанностью, или фиксацией. Но эти привязанности, или фиксации, рассматривались как чисто индивидуальные свойства. Это соответствовало материалистической концепции индивидуального организма как целого и — мы можем, пожалуй, сказать — соответствовало независимости его микрокосма.

Гипотеза, что чувства, эмоции или идеи могут «составлять» организм или «возникать» в нем, по-видимому, несовместима с этой концепцией, а утверждения парапсихологии были легко опровергнуты, так как не подтверждались научными данными. Утверждение о коллективном единстве народа выглядит романтичным и мистическим. Сопротивление всякой попытке нарушить священное единство индивидуума коренится, с одной стороны, в идее, что чувства, эмоции, идеи должны покоиться в какой-то структуре, внутри которой они могут возникать или исчезать и внутри которой они могут функционировать или должны заглохнуть. Эти чувства, эмоции и идеи «оставляют» организм. Куда же они тогда исчезают?

Когда мы обнаружили, что социальные атомы и сети имеют постоянную структуру и что они развиваются в определенном порядке, мы получили внеиндивидуальные структуры, и, вероятно, будет открыто еще много подобных структур. В данных структурах заключен этот эмоциональный поток. Но тут возникают новые трудности. Пока мы (в качестве вспомогательного едо) получали от каждого индивидуума результаты и материал, который нам был нужен, мы были склонны благодаря нашей близости к индивидууму рассматривать теле как исходящее от него по направлению к другим индивидуумам и предметам. Это, конечно, правильно в индивидуально-психологическом плане на предварительной стадии социометрического исследования. Но как только мы перенесли эти реакции в социометрический план и изучали их не в отдельности, а в их взаимоотношении, важные методологические основания заставили нас рассматривать это текущее чувство — теле — как межличную, или, более точно, *социометрическую,* структуру. Проецированные чувства бессмысленны с социометрической точки зрения, они требуют дополнения в виде «ретроецированных» чувств, по крайней мере в потенции. Одна часть не существует без другой — это континуум. В настоящее время нам нужно предположить, пока дальнейшие данные не заставят нас изменить и уточнить эту концепцию, что какой-то реальный процесс в жизненной ситуации одного лица чувствителен и соответствует какому-то реальному процессу жизненной ситуации другого лица и что имеется большое количество положительных и отрицательных степеней в этой межличной чувствительности. Теле между любыми двумя индивидуумами может быть потенциальным. Оно может стать активным,только когда эти индивидуумы приблизятся друг к другу или если произойдет соприкосновение их чувств и идей на расстоянии через какие-то каналы, например сети. Эти действия на расстоянии, или теле-эффекты, оказались сложными социометрическими структурами, порождаемыми длинным рядом индивидуумов — каждый с различной степенью чувствительности к тому же самому теле: от полного безразличия до максимальной реакции.

Таким образом, социальный атом состоит из многочисленных телеструктур. В свою очередь социальные атомы являются частями более обширной системы психологических сетей, которые связывают или разделяют большие группы индивидуумов в зависимости от их телеотношений. Психологические сети являются частями еще более крупной единицы психологической географии — коллектива. Коллектив в свою очередь является частью наиболее крупной конфигурации, психологической тотальности самого человеческого общества.

Стратегическая роль социометрии среди других социальных наук

Нельзя получить полное представление о значении социометрии для других социальных наук, если мы не проанализируем некоторые наиболее характерные черты ее развития за последние годы. Одна линия развития является марксистской и была в особенности разработана Дьёрдем Лукачем и Карлом Маннгеймом. Социальная философия этих ученых изобилует догадками, близкими к социометрии. Они подчеркивают существование социальных классов, а также зависимость идеологии от социальной структуры. Они упоминают о позиции индивидуумов в их группе и о социальной динамике, возникающей в результате изменения положения групп в коллективе. Но дискуссия ведется в диалектическом и символическом планах, оставляя читателя под впечатлением, что авторы хорошо и глубоко знают социальные и психологические структуры, которые они описывают. Они описывают социальные и психологические процессы, которые, как предполагают, происходят в крупных группах населения. Широкие обобщения, заимствованные из чтения социальных и психологических трудов, пронизывают их собственные труды. Эти широкие обобщения способствуют *псевдототалистическим* взглядам на социальную вселенную. Основная социальная и психологическая структура группы остается мифологическим продуктом их собственных

умов, мифом, который является таким же препятствием для перехода от старого к новому социальному порядку, каким являлся товарный фетиш до того, как Маркс подверг его анализу. Диалектические и политические тоталитаристы зашли в тупик. Истинный прогресс политической теории не может кристаллизоваться, пока не получено более конкретное социометрическое знание основной структуры групп.

Нельзя полностью понять экономическую ситуацию в группе и то динамическое влияние, которое она оказывает на социальную и психологическую структуру группы, если мы не знаем социальную и психологическую ситуацию в данной группе и если мы не изучим то динамическое влияние, которое эти ситуации оказывают на экономическую ситуацию. На самом деле с точки зрения социометрии экономический критерий является только *одним из* критериев, вокруг которого образуется социальная структура. Социометрический метод является *синтетической* процедурой, которая при ее применении выявляет все фактические отношения независимо от того, будут ли они экономического, социологического, психологического или биологического происхождения. Эта процедура проводится как единая операция, но результаты ее многообразны. Она обеспечивает знание действительной и социальной структуры в отношении каждого критерия, динамически связанного с ней, она дает возможность классифицировать психологический, социальный и экономический статус населения, произведший эту структуру, и своевременно выявить психологические, социальные и экономические изменения в статусе данной группы населения. Знание социальной структуры обеспечивает конкретную базу для рационального социального действия. Это не должно удивлять даже самых ярых приверженцев старых диалектических методов. Пока ясно, что единственно важным является знание структуры экономики, все другие структуральные формации внутри общества могут рассматриваться лишь в общем, и мы лишь приблизительно можем установить, насколько экономические причины определяют их. Единственное, что кажется необходимым, — это экономический анализ каждой реально существующей группы. С тех пор как была разработана более широкая социометрическая техника социального анализа, направленного на самую основу социальной структуры, появилась возможность для новой линии развития. С социометрической точки зрения тотализм неомарксистов выглядит таким же реальным, как тотализм Гегеля для Маркса. По сравнению с elan (порывом) тоталистических школ мышления усилия социометрии могут показаться узкими. Вместо анализа социальных классов, состоящих из миллионов людей, мы занимаемся тщательным анализом небольших групп. Это отход от социальной вселенной к ее атомарной структуре. С течением времени путем совместных усилий многих исследователей будет снова получена тотальная картина человеческого общества, но она будет лучше обоснована. Это может показаться глубоким падением после подобного диалектического зазнайства. Но это стратегический отход к большей объективности.

Другой вид символизма возникает из других линий развития, которые занимаются главным образом психологической теорией. Иллюстрацией данной тенденции может служить недавняя фаза развития школы гештальтистов. Ж. Ф. Браун и Курт Левин дали схемы социальных структур и социальных барьеров, которые никто еще не изучил эмпирически. Умозрительная схема может быть так же вредной для развития молодой и ищущей путей экспериментальной науки, как и политическая схема. Имеется много звеньев в цепи межличностных отношений, которые нельзя отгадать. Они требуют конкретного исследования в самой группе. Нас интересуют здесь не результаты исследования, например, соответствует ли исследование возможным фактическим отношениям или нет, нас интересует контраст между эмпирическим и символическим методами процедуры. Мы поняли во время социометрической работы, как недостоверны наши самые удачные догадки в отношении социальной структуры, поэтому мы предпочитаем, чтобы наши концепции возникали и развивались с развитием эксперимента, и мы не берем их готовыми из любого *априорного* или несоциометрического источника.

Степень социометрического сознания

Лучшим доказательством вреда, причиняемого любым видом символической концепции социальной структуры, служит непосредственное занятие решающим экспериментом, состоящим в том, что исследователь вступает в группу, как бы велика или мала она ни была, с целью применить к ней социометрические процедуры. Применение социометрической процедуры даже к очень маленькому коллективу — это весьма деликатная психологическая проблема. Психологическая проблема тем труднее, чем сложнее и дифференцированнее коллектив. При первом взгляде исследователь будет склонен преуменьшить трудности. Нужно приветствовать социометрические процедуры, поскольку они помогают нам обнаружить и понять основную структуру группы. Но не всегда так бывает. Они встречают сопротивление со стороны одних и даже враждебность со стороны других. Следовательно, нужно тщательно подготовить группу, прежде чем подвергнуть ее тестированию.

Социометрическая техника должна быть построена в соответствии с подготовленностью данного населения к социометрической группировке и соответствовать его зрелости и отношению к тесту, которое может изменяться в различные моменты. Психологический статус индивидуумов может быть назван уровнем их *социометрического сознания.* Их сопротивление социометрическим процедурам часто вызывается ограниченностью их психологии и образования. Для исследователя важно рассмотреть эти трудности по очереди и преодолеть их. Первая трудность, с которой обычно встречаешься, — это невежество в отношении того, чем является социометрическая процедура. Подробное и ясное объяснение, вначале, может быть, в малых и интимных группах, а затем на городском собрании, если это необходимо, весьма полезно. Это выявит все недоразумения по отношению к социометрической процедуре в открытой дискуссии. Обычная реакция — это понимание того, что в группе существуют многочисленные социальные и психологические процессы, которые избежали демократической интеграции. Другой реакцией являются сопротивление и страх не столько перед самой процедурой, как перед ее последствиями для членов группы. Эти и другие реакции определяют уровень социометрического сознания группы. Они также определяют нужный объем и характер подготовки членов группы до применения процедуры.

Во время процедуры мы можем узнать из спонтанных ответов участников кое-что относительно причин, вызвавших их опасения и сопротивление. В одном из коллективов, подвергнутых тестированию, некоторые индивидуумы производили выбор и обосновали его без всякого колебания; другие долго колебались, прежде чем совершить выбор, а один или два индивидуума полностью отказались принять участие. После того как данные теста были применены к группе, один часто выбираемый индивидуум был очень недоволен. Он не получил в качестве соседа того человека, с которым они оба взаимно выбрали друг друга в первом туре. Прошли недели, прежде чем его недовольство исчезло. Однажды он сказал с улыбкой, что ему нравится сосед, которого он сейчас имеет, и он ни за что не переменил бы его на свой первоначальный выбор в первом туре, даже если бы это и было возможно. Другое лицо вообще не хотело выбирать. Когда была составлена карта коллектива, обнаружилось, что в свою очередь никто из других индивидуумов не хотел выбрать его. Он оказался изолированным. Казалось, что он догадался, что его положение в группе было положением изолированного, и поэтому предпочитал не знать об этом. Он не занимал того положения в группе, которое ему хотелось бы занимать и, может быть, поэтому предпочитал не вносить ясности.

Другие индивидуумы также выказывали страх перед разоблачениями, которые может дать социометрическая процедура. Этот страх сильнее у некоторых лиц и слабее у других. Одно лицо может страстно желать установить связи согласно своим желаниям, другое может бояться последствий. Например, один человек заметил, что он чувствует неловкость, когда ему приходится назвать того, кого он хотел бы иметь в качестве коллеги по работе.

«Нельзя выбрать всех, а я не хочу никого обидеть». Другой сказал: «Если я не получу в качестве соседа того, кто мне нравится, т. е. если он будет жить на некотором расстоянии, мы сможем больше дружить — лучше не слишком часто видеть друзей». Эти и подобные замечания вскрывают основное явление — вид межличностного сопротивления, сопротивления выражению предпочтения, испытываемого по отношению к другим. С первого взгляда это сопротивление кажется парадоксальным, так как оно возникает при наличии возможности удовлетворить важную потребность. Можно найти объяснение такому сопротивлению индивидуума по отношению к группе. С одной стороны, индивидуум боится узнать, какое положение он занимает в группе: полное осознание своего положения в группе может оказаться болезненным и неприятным. Другим источником сопротивления является страх, что для других может стать явным, кто нравится и кто не нравится, и то, какого положения в группе желаешь и добиваешься. Сопротивление вызвано внеличной ситуацией индивидуума, той позицией, которую он занимает в группе. Он чувствует, что его позиция в группе не является результатом его собственных усилий, но главным образом результатом того, что чувствуют по отношению к нему лица, с которыми он соприкасается. Он может даже смутно ощущать, что за пределами его социального атома имеются телеструктуры, которые влияют на его положение. Страх выразить чувство предпочтения, которое он питает к другим, фактически является страхом перед чувствами, которые другие питают к нему. Объективный процесс, лежащий в основе этого страха, был открыт нами во время количественного анализа групповой организации. Индивидуум боится тех мощных эмоциональных течений, которые «общество» может направить против него. Это боязнь психологических сетей. Это боязнь тех мощных структур, влияние которых неограниченно и не поддается контролю. Это страх, что они могут погубить его, если он не будет вести себя смирно.

Задачей социометриста является постепенное устранение существующих или развивающихся в группе недоразумений и страхов, с которыми он встречается.

Члены группы охотно оценят преимущества, которые им сможет дать социометрическая процедура: более уравновешенную организацию коллектива и более уравновешенное положение каждого индивидуума внутри него. Социометрист должен применить все свое искусство, чтобы добиться полного сотрудничества со стороны членов группы по крайней мере по двум причинам: чем более спонтанно будет их сотрудничество, тем ценнее плоды его исследования и тем больше смогут помочь им его результаты.

Три измерения общества: внешнее общество, социометрическая матрица и социальная реальность (1949)

С эвристической точки зрения имеет значение деление социальной вселенной на три тенденции, или измерения: *внешнее общество, социометрическая матрица и социальная реальность.* Под внешним обществом я имею в виду все ощутимые и видимые группировки, из которых состоит человеческое общество: большие' или малые, официальные или неофициальные. Под социометрической матрицей я подразумеваю все социометрические структуры, не видимые макроскопическим глазо.м, но становящиеся видимыми после социометрического анализа. Под социальной реальностью я имею в виду динамический синтез и интерпретацию первых двух. Очевидно, что ни матрица, ни внешнее общество не являются реальными и не могут существовать сами по себе — одно есть функция другого. Как диалектические противоположности, они должны каким-то образом слиться, для того чтобы получился действительный процесс социальной жизни.

Динамической причиной данного расхождения являются скрытое существование бесчисленных социальных созвездий, которые постоянно воздействуют на внешнее общество, частично пытаясь его разложить, частично пытаясь реализоваться, и сопротивление, которое внешнее общество оказывает любой замене при перемене. Так как глубокий и хронический конфликт между этими двумя тенденциями никогда полностью не находит своего разрешения, в результате создается компромисс в виде того, что может быть названо «социальной реальностью».

Положение, которое является аксиомой для социометриста, пока не будет доказано обратное, состоит в том, что официальное (внешнее) общество и социометрическая (внутренняя) матрица нетождественны. Одно доступно чувствам, оно макроскопично; другое невидимо, оно микроскопично. В духе этого деления все группировки, как строго формализованные и коллективизированные, подобные армии или церкви, так и случайные и преходящие, подобные встрече людей на углу улицы, принадлежат, по крайней мере пока они видимы невооруженному макроскопическому глазу, к обществу с внешней структурой. Нельзя предполагать заранее, что официальная структура армейского взвода,'строго предписанная солдатам, или социограммы случайного скопления людей равны или почти равны действительно видимой формации. Весьма возможно, что в некоторых культурах, сильно отличающихся от нашей, социограмма застывшего социального института идентична с его действительной социальной структурой на уровне реальности [2]. Поэтому крайне важно с позиций методологии не смешивать социометрическую точку зрения, которая нейтральна или, скажем, по возможности нейтральна, с существующим или уходящим социальным строем. Социометрия в равной степени применима к любому типу общества, которое возникло в прошлом или может возникнуть в будущем.

[2] Danielsson B. Some Attraction and Repulsion Patterns among Jibaro Indians // Sociometrv. N. Y. Vol. XII. N. 1—3.

Сравнительно легко описать структуру внешнего общества. Она состоит из видимых, открытых и доступных наблюдению групп. Она состоит из всех групп, которые признаются законными, из всех групп, отвергаемых законом как незаконные, а также из всех нейтральных групп, дозволенных, хотя неклассифицированных и неорганизованных. Кратчайший путь получить картину законных групп, — использовать в качестве руководства системы законов, управляющих данным обществом. Для того чтобы получить картину незаконных группировок, эффективным средством являются вылазки в преступный мир. Примером законных групп являются: семья, рабочая мастерская, школа, армия или церковь. Примерами неофициальных и незаконных групп являются: случайная встреча двух людей, толпа, масса, уличные шайки, чернь или преступные организации. Труднее увидеть структуру социометрической матрицы. Чтобы открыть ее, необходимы специальные приемы, называемые социометрическими; поскольку матрица — это постоянное динамическое изменение, приемы приходится применять через регулярные интервалы, чтобы определить вновь возникающие социальные созвездия. Социометрическая матрица состоит из различных созвездий, теле, атома, сверхатома или молекулы (нескольких атомов, объединенных вместе), социоида, который можно определить как пучок атомов, связанных с другим пучком атомов через межличные цепи или сети; социоид — это социометрическое соответствие внешней структуры

социальной группы; он редко тождествен тому, что видно снаружи в социальной группе, потому что части его социальных атомов и цепей могут простираться в другой социоид. С другой стороны, часть внешней структуры данной социальной группы по своей форме может быть бессмысленной в качестве части данного социоида, но она может принадлежать социоиду, скрытому внутри другой социальной группы. Другие созвездия, которые могут быть прослежены внутри социометрической матрицы, являются психосоциальными сетями. Кроме того, имеются большие социодинамические категории, которые часто мобилизуются, например, при политической и революционной деятельности; они состоят из взаимопроникновения многочисленных социоидов и представляют собой социометрическое соответствие социальному классу, как, например, буржуазии или пролетариату; они могут быть определены как социометрическая структура социальных классов или как классоиды. Сама социальная реальность — это динамическое переплетение и взаимодействие социометрической матрицы с внешним, наружным обществом. Социометрическая матрица не существует сама по себе, так же как и внешнее общество никогда не существует само по себе. Последнее постоянно испытывает на себе влияние лежащей в его основе структуры. Мы поэтому различаем три процесса внутри социометрической системы: внешняя реальность общества, внутренняя реальность социометрической матрицы и сама социальная реальность, исторически растущие динамические социальные группировки, из которых состоит реальная социальная вселенная. Если знаешь структуру официального общества и социометрической матрицы, легко обнаружить кусочки и частицы, которые поступают из этих измерений в компромиссные формы социальной реальности. Чем больше контраст между официальным обществом и социометрической матрицей, тем интенсивнее социальный конфликт и напряжение между ними. Можно сформулировать следующую гипотезу: *социальный конфликт и напряжение увеличиваются прямо пропорционально социодинамическому различию между официальным обществом и социометрической матрицей.*

Я обратил внимание на изучение социометрической матрицы, потому что это, кажется, ключ к решению многих загадок. Вначале я думал, что каждая законная группа имеет соответствующую социометрическую структуру. Но вскоре я признал, что незаконные или неофициальные группы имеют соответствующую социометрическую структуру. Я привожу здесь цитату из «Who Shall Survive?» (с. 111): «Очевидно, имеется тенденция различать выборы, производимые девочками в отношении коллектива и его функции, т. е. между теми, с кем индивидуум предпочитает жить, и теми, с кем он предпочитает работать». Но если экономнее будет описать официальное общество как единый социальный континуум, образованный взаимозависящими группами, то я предпочитаю рассматривать социометрическую матрицу как единый социометрический континуум с варьирующим расхождением между обоими континуумами, которые редко бывают совершенно отдельными и совершенно тождественными. Социометрическая матрица данной рабочей группы может по временам дать большее расхождение, чем матрица семейной группы, и еще большее, чем матрица игровой группы.

Следовательно, надо ожидать контрастов в коррелятах выборов между критериями работы и жизни, между работой и игрой. Мой совет — определить точно и конкретно тот критерий, вокруг которого образуется группа, — был вызван желанием получить специфические ответы. Моим предположением было, что нечетко определенные критерии неизбежно вызовут неопределенные ответы субъектов. Именно по этой причине в первых социометрических работах я советовал не пользоваться «дружбой» в качестве критерия, как, например, «кто ваши друзья в городе?» Дружба в действительности — это пучок критериев. Социометрическое изучение дружбы возможно, но потребует теоретической подготовки и анализа многочисленных критериев, которые образуют социальное явление дружбы. Что правильно в отношении дружбы, так же правильно в отношении отдыха, понятием которого Дженингс пользуется весьма нечетко и которое может охватывать бесчисленный ряд вещей. Не вся деятельность во время отдыха сопровождается максимальной спонтанностью и минимальным ограничением. Какой бы неофициальной ни была группировка, ее следует отличать от ее социометрической структуры. Мы не можем, следовательно, в общем и целом сравнивать «межиндивидуальное выражение выбора для отдыха» с межиндивидуальным выбором для совместной жизни и работы. Поскольку отдых является пучком критериев, нужно индивидуально отличать среди сотни критериев отдыха один от другого и сравнивать каждый отдельно и конкретно с одинаково специфическими критериями совместной работы и жизни. Вот некоторые из них: назначение свидания незнакомому или незнакомой, совместная рыбная ловля, походы, хождение в гости, танцы, обращение к незнакомым в поезде, посещение ночного ресторана, встреча незнакомых в гостинице, посещение публичных домов. Ясно, что отдых, подобно дружбе, может включать различные вещи. Какое представление возникает у субъекта, когда вы говорите ему: «Выбери товарищей для совместного отдыха?» Что включить в отдых и что исключить из него? Имеется много весьма неофициальных ситуаций деятельности во

время отдыха: группа людей, совместно купающихся на морском берегу, или полный приключений поход нескольких мальчиков и девочек по стране.

Некоторые лица полагают, что, когда группа образуется случайно и неофициально, социометрический тест является излишним, потому что можно видеть собственными глазами, какова структура данной неофициальной группы. Смешение неофициальной группы с социометрической структурой группы модно в последнее время. Пример этой тенденции можно найти в работе Ротлисбергера и Диксона «Дирекция и рабочий». Остается впечатление, что авторы достигли сердцевины интимной структуры рабочей группы, если они сравнивают ее формацию в обмоточной или в цехе с их интимными и спонтанными группировками в перерыве или после рабочего дня, во время игры в карты, разговора, обеда или совместного возвращения домой. Нет сомнения, что ценно наблюдать взаимодействие тех же самых индивидуумов в различных ситуациях, наблюдать, как они взаимодействуют в ситуациях объективной ответственности, при выполнении определенной работы за определенный срок и как они поступают, когда свободны от таких ограничений в обеденный перерыв. Но с социометрической точки зрения неофициальные группировки должны быть так же строго подвергнуты социометрическому тесту и анализу, как и группировки с более строгой структурой. Тот факт, что Ротлисбергер и Диксон оформляют свои данные социометрическим образом, используя форму социограмм, не приближает их к истине. На самом деле авторы имеют дело не с более глубокой динамикой социальных групп, но с их внешними проявлениями. Все истинно динамические конфликты между нанимателем и рабочим, профессиональными союзами и промышленниками, между инженерами и мастерами, мастерами и рабочими замалчиваются. Их не только не касаются идеологически или политически, но, еще хуже с социометрической точки зрения, не используются инструменты, которые могут вызвать на поверхность социодинамические,силы, действующие в промышленных условиях, социометрические инструменты исследований действием в сотрудничестве с участниками [3].

[3] Поскольку исследования действием и методы действия возникли из социометрического исследования, мы должны внимательно следить за каждым, кто превозносит их устно и печатно, но избегает применять действие на практике.

Все это приводит к тому, что сами рабочие остаются за пределами предпринятого исследования. Их наблюдают, интервьюируют, анализируют. Но им не предоставляется свобода думать, выбирать, решать и действовать. Поскольку исследование действием не было начато ими, оно не проводится и не завершается ими. Это исследовательское предприятие без ясной цели может быть сделано как ради платоническо-утопической науки, так и для пользы нанимателей, и это исследование, конечно, не является сознательно построенным так, чтобы предоставить самим рабочим полное участие в жизненно важных для них вопросах. Оба автора, вероятно, боялись, что предоставление рабочим престижа и власти в исследовании, вместо того чтобы держать.их в подчиненном положении, так, чтобы все дело выглядело милым, обыденным и приятным и всякий рабочий знал бы свое место, могло кончиться сумасшедшим домом и фабрика попала бы в руки психиатра, или же боялись, что социометрическое исследование действием закончится социальной революцией. Они не понимают, что половинчатое социальное исследование, которое не идет до конца в действии анализа, но позволяет динамическим силам беспрепятственно действовать в подполье, скорее поощряет, чем предупреждает, социальную революцию. С другой стороны, только социометрический процесс, упорно проводимый на все 100% обеими сторонами, нанимателями и рабочими, может создать истинную меру против революции и дать людям в руки *технику предупреждения социальных революций* в будущем. Такой технике и навыкам можно научиться только в ходе тщательно подготовленных опытов. Социометрия — единственная видимая на горизонте возможность заменить революции диктатуры *революциями сотрудничества.*

Примером подобного же рода является изучение Уайтом сцен на углу улицы. Как бы тонки ни были его наблюдения и как бы ни близки социометрии его результаты, они неточны, так же как и неэффективны, потому что они не ведут к разминке бродяг, нищих и так далее перед их собственным действием. Его социограммы, будучи собранными эмпатическими участниками-наблюдателями, но не самими участниками-актерами, импрессионистичны.

Это основное положение не изменяется доказательством того, что в каждой групповой формации, помимо официального критерия, например совместной жизни в данном доме или совместной работы, действуют многие «скрытые» критерии, как, например, попытка назначить свидание товарищам по работе, желание найти людей определенной политической ориентации в рабочей группе, может быть, для того, чтобы образовать социалистический или фашистский клуб, вербовка членов для Рыцарей Колумба или коммунистической партии, дружба с теми, кто заинтересован в рыбной ловле или собирании марок. С другой стороны, мы знаем из социометрического

исследования, что в высокоспонтанных группах, не определяемых принудительным социальным давлением, как, например, рабочие группы, действуют многочисленные скрытые критерии, сильно ограничивающие по характеру, коллективистские и принудительные. Человек может выбрать в качестве товарищей по рыбной ловле людей с более высоким экономическим и социальным статусом, чем он сам; рыбная ловля может быть официальным критерием для данной неофициальной группы, но установление деловых контактов или увеличение влияния в правящей политической партии могут быть скрытыми коллективными критериями, которые могут действовать здесь так же сурово и искажать непосредственность неофициальных отношений, как неофициальные критерии часто искажают характер более застывших групп.

Третий пример трудностей, которые возникают, если пренебрегают разницей между внешним обществом и социометрической матрицей, проводит недавняя статья Элен Дженингс [4].

[4] Jennings H. H. Sociometric Differentiation of Psychogrour and the **Sociogroup** // Sociometry. Vol. X. N. Y. 1947. P. 71.

Она имеет дело с явлением деятельности во время отдыха. Но она не разъясняет, к какому измерению относятся группы, образованные для деятельности во время отдыха — к внешнему обществу или к социометрической матрице. К этой неясности прибавляется новая: с социометрической точки зрения отдых, так же как и дружба, является пучком критериев, а не единым критерием. Поскольку Дженингс в своих инструкциях к тестам дает неясное определение отдыха, данные, которые она получает от своих субъектов, являются малоценными, такими же малоценными, как в том случае, если кого-нибудь спрашивают: «Кто ваши друзья?» По существу, она совершает ту же самую ошибку, за которую мы критиковали других: неиспользование критерия или использование неопределенных критериев, подобно дружбе, что мы тогда классифицировали как околосоциометрические исследования. Это является не более социометрическим, чем если бы вы спросили: «Кого выбираете партнером для отпуска?» — без уточнения рода деятельности, которым вы или, еще лучше, субъект занимается в момент теста. Отдыхом могут быть игра в шахматы, бейсбол, вождение машины или бокс. Эти виды деятельности, хотя они и могут быть отдыхом, определяются строгими правилами, которые приходится так же строго соблюдать, как некоторые кодексы в мастерской или семейном окружении. Как бы велика ни была спонтанность при выборе партнера, как бы, по-видимому, ни свободен был выбор от внешнего принуждения, он часто ограничивается умением и компетентностью субъекта и партнера. Половые сношения со случайными партнерами можно также подвести под класс «деятельность отдыха», однако это такой единственный специфический критерий, что его нельзя валить в одну кучу со всеми другими критериями отдыха только потому, что в них, по-видимому, предполагается свобода от коллективного принуждения. На самом деле даже при выборе партнера в половых сношениях или в поисках такового играют большую роль строго коллективные критерии. Мужчина может гулять с девушкой, потому что он хочет отнять ее у своего приятеля, а не потому, что он ее особенно любит. Он не ищет удовольствия — это отместка. Девушка может выбрать в качестве партнера в половых сношениях мужчину, она выбирает его не потому, что он ей нравится больше других, но потому, что он нравится ее матери, или потому, что он богат, или потому, что он является героем в городе и все думают, что он замечательный. Здесь мы видим, как коллективные факторы обусловливают частное решение.

Отсутствие чувствительности к социальным критериям, обнаруживаемое столь многими социометристами в их писаниях, вероятно, может быть вызвано тем обстоятельством, что большинство исследований проводится только на диагностическом уровне. Следовательно, для них выборы, сделанные субъектами под влиянием специфической ситуации, не являются решениями, которые должны быть немедленно претворены в действие. Это просто желания, которые остаются на уровне желаний, фантазии и социальные проекты, которые, может быть, соблазнили некоторых комментаторов социометрического теста рассматривать его как технику проекта. Я далек от того, чтобы недооценивать те многочисленные вклады, которые внесло диагностическое социометрическое исследование, но следует помнить, что классическая социометрия возникла как исследование действием в большом масштабе (прочтите «Кто выживет?»). Это было героическое время, когда выборы были выборами, а действие — действием. На социометрию тогда смотрели глазами участников. Она пробудила у социологов новое сознание и проложила путь к пересмотру экспериментального метода в социальной науке.

Дополнительные замечания о разнице между критериями диагностическим и действия

С самых первых дней разница между диагностической процедурой и процедурой действия лежала в самой основе социометрической теории. Однако исследователи постоянно предпочитают диагностическую процедуру процедуре действия. Это предпочтение коренится в настоящем сопротивлении отказу от некоторых крепко укоренившихся убеждений и привычек обычной научной процедуры. Представление об ученом как наблюдателе субъектов и объектов и экспериментаторе в спокойной обстановке лаборатории, по-видимому, противоречит представлению об ученом как актере, *«действующем агенте»,* о субъектах как совместно играющих актерах и ученых, причем экспериментальная ситуация переносится из лаборатории в жизнь. В действительности от старого представления не отказываются, оно глубоко входит в более новое представление *действующего ученого.* Сопротивление исходит из другого источника: смешение методов действия и исследования действием, старый спор между чистой и прикладной наукой; считается, что занятие прикладной наукой вместо установления основных принципов принижает ученого. Тем не менее социометрическая теория действия является не результатом переоценки прагматического и эмпирического мышления, но результатом *критики всей методологии социальной науки.* Отсюда вывод, что теория человеческих отношений не может быть обоснована без того, чтобы не побудить человеческие группы к действию. Даже среди социометристов пренебрежение к экспериментальному исследованию процесса разминки, происходящего при выборе, решение выполнять и действовать привело к большому недоразумению. Было бы полезным различать среди социометрических критериев критерии диагностические и действия. Примером диагностического критерия является: «Кого вы пригласите обедать к себе в дом?»[5]

[5] Loomis C. P., Davidson D. Sociometry and the Study of New Rural Communities // Sociometry. Vol. II. N. Y., 1939. P. 56—76. Другим примером диагностического критерия является: «Кто кого цитирует». Большое количество спонтанности участвует при выборе какого-нибудь автора для цитирования или при исключении других из «справочных таблиц». Среди всего прочего исследователь также интересуется, цитирует ли субъект самого себя и как часто, цитируется ли он другими и цитирует ли других, положительно или отрицательно, цитирует ли живых или умерших авторов или же никого не цитирует. Цитирующие и цитируемые могут быть занесены в таблицу при помощи социограммы тех научных обществ, к которым они принадлежат (MorenoJ. L. Sociometry and the Cultural Order // Sociometry. Vol. VI. N. Y., 1943. P. 329).

Это конкретно, но это не дает возможности субъектам немедленно действовать и не дает оснований социометрическому режиссеру побудить субъектов к действию; другими словами, тест обеспечивает только информацию, но не действие. Критерий действия требует другой ситуации. Он пробуждает субъектов к процессу разминки. Тут требуются другие инструкции, чем в диагностическом тесте. Пример критерия действия можно найти в главе «Перегруппировка коллективов и исследование действием *m* зйи»... Переселенцы приходят на городское собрание, и социометрический советник обращается к ним как к группе: «Вы собираетесь переселиться в новое поселение Центрвиль. Кого бы вы хотели иметь в качестве соседа?» Здесь явно ситуация, которая отличается от диагностического случая. У людей имеется непосредственная цель, по отношению к которой они производят разминку. Выборы, которые они делают, весьма реальны. Это не просто только желание. Их побуждают действовать в данный момент и в присутствии группы. В диагностическом случае производится ссылка на прошлое, правда весьма важное; диагностический подход может легко превратиться в действенный подход. Тогда выборы становятся решениями к действию, а не отношением к чему-либо.

Социометрия и марксизм (1947)[6]

[6] Presidential Address American Association. Christmas Meeting. Commodore Hotel, December 26, 1947, частично публиковались в «Cahiers international^ de sociologies», 1949, «Methode Experimentaie».

Прошло уже столетие со времени провозглашения коммунистического манифеста Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Прошло три десятилетия со времени русской революции и установления диктатуры пролетариата под руководством Ленина. Взоры всего человечества были тогда и все еще устремлены к этим событиям с надеждой, невиданной со времени возникновения христианства, и с вопросом: «Каков общий эффект и перемены, произведенные этой Великой хартией революционной социальной науки? Каковы ее положительные и отрицательные стороны?»

Маркс провел различие между частной собственностью на средства производства и частной собственностью на предметы потребления. Прибавочный доход был им назван прибавочной стоимостью, потому что средства производства принадлежат особому классу — классу капиталистов, доход достается немногим владельцам, вместо того чтобы идти многим — рабочим. Он поднял вопрос относительно того, кто должен распоряжаться средствами производства для того, чтобы оградить общество от неравного

и несправедливого распределения дохода. В этом Маркс был прав. Но выводы, которые он сделал из этого, не выдержали решающего испытания действительностью.

Его первым выводом было то, что невозможно немедленно установить «бесклассовое» общество. В переходный период средства производства должны быть захвачены пролетариатом и ими должно распоряжаться большинство — пролетариат, который должен установить правительство рабочих, «диктатуру пролетариата». Он ожидал, что это «вторичное» состояние постепенно исчезнет и в результате возникнет истинно социалистическое общество. Маркс был не прав, делая этот вывод.

Несколько месяцев спустя после русской революции 1917 года я предсказывал, что «революция не сможет иметь успеха без специальной социометрической теории. Замена господства одного класса другим, как, например, замена господства буржуазии господством пролетариата, является вторичным явлением. Существенная задача состоит в том, чтобы второе, вновь созданное, государство — диктатура пролетариата, установленная угнетенным народом как орган революции, воистину и действительно исчезла. Это государство не может устранить само себя, пока не произойдет полная внутренняя перестройка всех частей общества».

Пятнадцать лет спустя я дополнил свою оценку русской революции следующим образом: ошибкой Маркса было утверждение, что «к экономическим и психологическим проблемам человека нельзя подходить одновременно как к единой проблеме, что психологическая проблема должна подождать, что необходимы, так сказать, две разные революции, что экономическая революция должна предшествовать психологической и творческой революции человеческого общества. Это было теоретическим и практическим увлечением стратегической процедурой, расщеплением единого на две различные проблемы». «Изменение экономической структуры в России после революции 1917 года, по-видимому, не сопровождалось ожидаемыми изменениями в психологии человеческих взаимоотношений. Психологические изменения отстают от экономических изменений, коммунистическое общество находится все еще в своей первой фазе, государство еще не отмерло. Коммунистическое общество в своей высшей фазе может быть мифом или, применяя одно из .собственных выражений Маркса, «опиумом народа», которое нужно позднее отставить как непостижимое и утопическое, как только будет достигнута экономическая программа первой фазы — диктатура пролетариата». Итак, пролетарское государство не исчезло, оно не намеревается исчезнуть, оно настолько укрепилось, что нет орудия, при помощи которого его можно было бы устранить. Диктатура пролетариата превратилась просто в диктатуру. Чтобы устранить ее, потребовалась бы новая пролетарская революция, революция такая же разрушительная, если не больше, как революция, которая смела царское правительство 30 лет назад.

Я выдвинул положение, что расщепление первоначальной матрицы революционной социалистической теории явилось основной причиной для конечной неудачи революции. Это дает нам ключ к пониманию странного развития и резких перемен политики в Советской России за 30 лет ее существования. Совершенно ясно, что основателю социализма *не хватало знания, а не предвидения,* чтобы сформулировать законченную теорию революции, или по крайней мере полную теорию, такую, которая охватила бы все измерения общества. Он подготовил «частичный» проект и оставил остальное невыясненным, на долю случайности. Может быть, будет справедливо сказать, что Маркс включил в проект только то, что он *знал,* и оставил вне его все, чего он *не знал.* Он знал, что он открыл важное влияние — то, что может быть названо *капиталистическим синдромом,* и он начал революцию с той части, которую он знал. Он не знал остальной социальной структуры и не знал инструментов, при помощи которых мог исследовать ее. Вот почему он разбил модель революции на несколько ступеней и отложил воздействие на них на неопределенный срок, пока не будет в большей степени известно, как их достичь.

Вторым выводом Маркса было то, что «прибавочная» стоимость свойственна исключительно капиталистическим обществам. Это было правильно в определенных границах: это правильно, только если капиталистические экономические явления изучаются изолированно, в отрыве от остального и без учета их зависимости от всей социальной структуры. Социометрические исследования показали, что прибавочная стоимость — это частный случай универсально действующей тенденции социодинамического эффекта. «Искаженная картина прибыли в экономических отношениях является отражением искаженной картины теле на межличном и межгрупповом уровнях. Социальная революция классовой борьбы является, следовательно, перемещением с микроскопическиго к макроскопическому уровню. Маркс действовал на грубом макроскопическом уровне событий. Будучи незнаком с социальной микроскопией современной социометрии, он допустил важную ошибку в предвидении. Социодинамический эффект не перестает действовать в социометрическом обществе:он только принимает другие формы. Было бы интересно представить себе, какое влияние это знание оказало бы на его теорию и метод социальной революции. Кажется,

что по крайней мере революционное действие — для того чтобы стать истинно и постоянно эффективным — должно быть направлено на мельчайшие единицы человеческих отношений, социальные атомы, которые первыми получают «предпочтение». Там революция могла бы спонтанно принять более реалистическую форму. Она была бы не только экономической, но также и психологической, социологической, аксиологической и творческой. Другими словами, она смогла бы принять форму социометрической процедуры.

Маркс был наполовину прав в своем втором выводе. Диктатура пролетариата излечила общество от капиталистического синдрома, уменьшила риск массовой безработицы, затормозила цикл процветание — депрессия, типичный для капиталистического общества. Но вопрос, была ли революция неизбежной или не слишком ли это высокая цена за сравнительно скудный результат. Революция была операцией большого порядка и отразилась многими непредвиденными и неудачными следствиями на всей политике. Менее насильственные меры, подобные государственному капитализму, договорам между рабочими и капиталистами, и другие формы патерналистических правлений, по-видимому, могли бы обеспечить временные меры против массовой безработицы и повторяющегося цикла инфляции и дифляций. Может быть, и Маркс и Ленин не решились бы поднять массы на революционные действия, если бы они знали заранее, что это закончится застоем, препятствием вместо продвижения к тому, что в конце концов было их целью — истинно человечной, бесклассовой и негосударственной, социалистической мировой демократии. Вопрос заключается, следовательно, в том, как избегнуть ошибок, которые совершил Маркс на теоретическом и практическом уровнях революционного действия?

Мы можем избежать теоретической ошибки, заменив теорию социализма теорией социометрии, а практической ошибки мы избежим, заменив мировую социоэкономическую, пролетарскую революцию «малыми» социометрическими революциями. Эта новая точка зрения может быть применена:

а) к теории социальной революции;

б) к средствам революции.

Теория социальной революции. Маркс предполагал, что посредством тщательного материалистического анализа человеческих отношений он пришел к полному пониманию зол человеческого общества, что оно должно быть изменено экономически и что изменения нельзя добиться убеждением, а только социальной революцией. Его теория практического действия была построена ради чего-то, что нужно было подготовить, чего-то, что нужно было сделать, и заканчивалась одним или несколькими актами массового насилия. Его внимание было направлено на динамическое изменение, которое, как он ожидал, обязательно произойдет во время восстания масс, а не только на столь важный аспект динамической *неудачи.* Он не был заинтересован в ценности *неуспеха* социореволюционного эксперимента; не был заинтересован в выяснении того, что сам инструмент — социореволюционная программа — был неправилен. Единственное, что он старался понять перед лицом поражения (см.: «Классовая борьба во Франции»), — так это то, что было плохого в ситуации, к которой прилагалась революционная идея. *Он не позволял себе сомневаться в значении и истинности самой социальной революции.* Социометрист же, как он ни жаждал бы изменить мир, держится другой точки зрения. То, что может быть незначительным для марксистского революционера — практика, весьма важно для него; социометрист интересуется социальной революцией как «социальным экспериментом». В известной степени для него не существенно, будет ли социальная революция успешной или закончится поражением. Ввиду нашего плохого знания социальных явлений он интересуется ею в первую очередь как исследовательским экспериментом, а не как социальным крестовым походом; он интересуется тем, чему можно из нее научиться, а не тем, улучшится ли общество благодаря ей. Что же мы выиграем, если благодаря чистой случайности, слепому случаю насильственная революция завершится таким же преступным и полным успехом, что человеческое общество будет или навеки искалечено, или навеки возвысится? Нет никакой гарантии, что слепой случай может все повергнуть в обратную сторону и эффект будет противоположным. Вероятно, лучше знать истину, хотя она, может быть, никогда и не будет достигнута. Может быть, достойнее для человечества погибнуть с открытыми глазами, вместо того чтобы вечно жить в невежестве, двигаясь к упадку.

Между социометрическим и социалистическим типами изменения имеются и сходные, и различные черты. Некоторые из сходных черт следующие:

1) оба склонны к непосредственному действию;

2) оба революционны, т. е. требуют радикального изменения существующего социального строя;

3) оба выступают против симптоматических и временных мер;

4) оба утверждают, что научное знание динамики социальных отношений совершенно необходимо для теории социальной революции;

5) оба утверждают, что все виды социальных зол: экономические,

психологические, аксиологические и культурные — взаимосвязаны;

6) оба настаивают, что народ должен действовать от своего имени и что его надо призвать к всеобщему социальному действию.

Разница следующая:

1) научное знание экономики важно, но недостаточно для подлинного изменения социального строя, а помимо экономики необходимо знать и учитывать при создании теории социальной революции динамическую структуру социума, межличных и меж-индивидуальных отношений;

2) социализм — это революция одного класса, экономического пролетариата; социометрическая революция — это революция всех классов, всего человечества, всех людей, всех индивидуумов и всех групп без исключения, законных или незаконных,
официальных или неофициальных, больших или малых, всех наций и государств, суверенных и непризнанных. У социометрического пролетариата есть жертвы во всех классах — среди богатых или бедных, черных или белых, людей с высоким или низким интеллектом, высокой или низкой спонтанностью;

3) марксизм пытается укрепить классовое сознание пролетариата, привести массы к пониманию их мощи, а также существующих экономических условий; политическая же социометрия, напротив, пытается развить в массах высокую степень «социометрического сознания», т. е. знания структуры социальных групп во всех частях земного шара, особенно тех групп, членами которых они непосредственно являются, и в отношении всех критериев, вокруг которых могут образовываться группы (экономический фактор — это только один ив важнейших критериев); она пытается побудить массы настаивать на изменении юридического, социального, политического и культурного строя согласно
лежащей в его основе динамической структуре.

Она настаивает на том, что экономические революции близоруки, невежественны в отношении динамики действительной структуры человеческого общества и что рано или поздно новый социальный порядок, который они создают, или возвратится к предыдущему состоянию, который они пытались изменить, или скатится к социальной анархии.

У многих имеется навязчивая идея, что, прежде чем может быть произведен следующий шаг в социальной революции, каждая страна должна пройти через фазу диктатуры пролетариата; что русский советский тип революции должен быть установлен повсюду, прежде чем можно будет сделать следующий шаг. Это обычно связывается с идеей, что ход социальных революций от феодального к капиталистическому обществу и от капиталистического к советскому обществу является необходимым необратимым развитием, которое нельзя остановить или направить по другому пути. Но социометрически нет такой вещи, как «класс», класс капиталистов, промежуточный класс и класс рабочих. Концепция класса — это досоциометрическая мифология. То, что социометрическое изучение таких больших масс народа, как класс, может обнаружить, является частью истины, комплексом микроскопических островков межличных и межгрупповых структур то тут, то там в огромной, полной предрассудков политической организации, которая связывает все это вместе.

Величайшими преимуществами социометрии по сравнению с марксизмом являются:

а) ее методы, путем которых она может исследовать причины социальных зол; ее методы *социальной микроскопии,* что было независимо от нас подчеркнуто французским социологом Георгом Гурвичем;

б) ее связь с людьми в действии. Первый прогресс был сделан в духе прогресса соматической медицины в XIX столетии. В соматической медицине причина многих таинственных заболеваний была в конце концов обнаружена в микробах, невидимых существах, микроорганизмах. Удалось излечить многие макроскопические проявления и эндемические заболевания, такие, как дифтерия, холера, сифилис и т. д. благодаря этому новому знанию. Социологическая медицина будущего, социатрия, извлечет ту же самую пользу из микроскопически направленного социометрического исследования, которое пытается изолировать «социальные» микроорганизмы социальной структуры при помощи социограмм, социоматриц и диаграмм взаимодействия и движения. Лекарства против социальных синдромов, таких, как капиталистический синдром, будут найдены в направлении, о котором Маркс никогда и не мечтал, они будут менее насильственны и более стойки по результатам. Микросоциология, однако, все еще переживает младенческий возраст. Я не могу согласиться со многими из моих друзей, что социометрия «стала совершенней».

Отнюдь нет. Столь же легкий оптимизм порождается частой практикой разжижения и сведения социометрических тестов к анкетам и сведения положения участников к чему-то среднему между людьми, которые сами выбирают и решают свою судьбу, и кроликами. Здесь у марксизма также имеются недостатки. Хотя он и является

защитником интересов масс, ему не удалось защитить маленьких, изолированных индивидуумов, маленькие неофициальные группы и, наконец, хотя это отнюдь не малозначимо, ему не удалось мобилизовать широкую сеть скрытых связей между одной группой и другой. Имеются многочисленные формы связи между различными пунктами в социальном пространстве. Они будут постепенно открыты, но не в лаборатории, а путем экспериментов в самой жизни и по мере того, как маленькие социометрические революции распространяются по всему миру. Социометрическое сознание и зрелость людей будут расти соответственно размерам экспериментов, количеству и значению использованных критериев и видимому результату, который они дадут.

Вопль о несправедливой эксплуатации — особенно экономической эксплуатации большинства людей, массы промышленных и сельскохозяйственных рабочих — небольшим кругом капиталистов лежал в основе всех социалистических революций,— вопль, перед которым было почти невозможно устоять. Мало или вообще никакого внимания не уделялось наижесточайшей эксплуатации всех времен, практикуемой не только в капиталистическом и коммунистическом обществе, но и всеми известными формами правления. Это эксплуатация творцов идей и изобретателей инструментов. В эксплуатации этого меньшинства коммунистическое и капиталистическое общества молчаливо объединяются в единый фронт. Это органически продуктивное, но бессильное меньшинство, чья продуктивность стала поговоркой. В программах всех социалистических партий помещики и промышленные магнаты часто назывались ворами и грабителями, эксплуататорами и потребителями труда рабочего класса. На самом деле оба, как потребители, так и рабочий класс, эксплуатируют и пользуются идеями, процессами и инструментами, созданными беспомощными гениями всех времен. Творцы, если таковые вообще имеются, являются поистине наиболее эксплуатируемым меньшинством в мире. У них никогда не было политической партии, они не начинают свою собственную революцию, чтобы изменить мировой порядок, они его меняют независимо от существующей формы правления. Они сравнительно немногочисленны, не образуют класса, не принадлежат ни к капиталистам, ни к пролетариату и не могут принадлежать ни к одному из них. Они не принадлежат исключительно к той или иной этнической группе или полу.

Повсеместность их появления, по-видимому, противоречит известным законам наследственности. Они поистине наибольшие интернационалисты, истинный авангард мирового сообщества. Из этого ясно следует, что не может быть построен ни один мировой порядок, из которого исключаются эти забытые парии всех мировых революций. На самом деле мировая революция должна начаться с ними в качестве основы. Мировое сообщество должно быть подобно широкому, открытому пространству, в котором все люди могут обосноваться и все идеи могут быть продуктивно развиты. Оно должно быть исключительно гибким для наиболее свободного распределения людей и наиболее свободного развития ценностей. Оно должно быть так спроектировано, что ни один индивидуум, ни одна группа, ни одна разновидность не оставались бы вне его, чтобы все люди имели возможность создать социальный строй, который можно было бы назвать «креакратия» («творцекратия»).

Техника революции. Термин «революция» употреблен здесь по отношению к методам и инструментам, которыми пытаются произвести изменения радикального характера в данном социальном строе. Неспособность академических социальных наук разработать свои собственные инструменты для изменения общества, элементарные методы действия, которые можно применить «на месте», привели к катастрофическим последствиям на политической арене нашего времени. Общеизвестно, что массовые митинги, политические организации рабочих, рабочие союзы, захват власти и контроль над вооруженными силами и правовыми учреждениями, прессой и радио и другие явления, ведущие к свержению правительственного авторитета, являются инструментами революции. Не владея техникой действия, братство социальных ученых было захвачено врасплох. Живя среди войн и революций в течение почти полстолетия, они были вынуждены пассивно взирать на происходящее и позволять генералам и политикам изменять мир. Они пытались спорить, когда требовались радикальные меры. Разумные размышления и этикет политических конференций оказались беспомощными против партийных лозунгов, ругани, смеха, вульгарных шуток и проклятий, лжи и искажения фактов. Они пытались бороться против действия и неожиданных методов лирикой и передовицами газет. Когда они уже получили урок, было слишком поздно. Когда они очнулись от состояния паники и парализующего страха, игра ускользнула из их рук и первоначальная фаза битвы была проиграна. Другими словами, *авангард* академической и социальной науки не обладал социальными инструментами наступления и контрнаступления, когда в этом была крайняя необходимость. Наконец, выступили мы, социометристы, и разработали «психологические методы и метод социального шока», которые, вероятно, могут стать научными инструментами социального действия, профилактикой или противоядием против массового гипноза и убедительности чисто политических систем.

Социометрия среди всего прочего разработала два инструмента изменения: а) тест населения и б) социодраму. Тест населения является инструментом, действующим in situ; он приводит население к коллективному самовыражению планов в отношении всех основных видов деятельности, в которых оно участвует или собирается участвовать. Это гибкая процедура, которая призывает к немедленному действию и немедленному применению всех выборов и осуществлению решений. Население может состоять из жителей, дирекции, рабочих фабрики и т. д. Социодрама является инструментом, посредством которого можно исследовать социальную истину о социальной структуре и
конфликтах, а также производить социальные изменения путем драматических методов.

Она может иметь форму городского собрания, с той только разницей, что присутствуют лишь те индивидуумы, которые вовлечены в социальную проблему, и что принимаются решения и выполняются действия, которые имеют первостепенное значение для коллектива. Постановка и решения в социодраме были созданы в группе. Выбор социальной проблемы и решение в отношении ее выносятся группой, а не отдельным лидером.

Социодраматические работники ставят себе задачу организовать профилактические, дидактические и терапевтические собрания коллектива, в котором они живут и работают; организовывать, созывать такие собрания повсюду в проблемных областях; вступать в коллективы, непосредственно встречаясь с возникающими или хроническими социальными проблемами; участвовать в массовых собраниях забастовщиков, вызванных расовой враждой, собраниях политических партий и т. д. и пытаться разрешить и разъяснить ситуацию на месте. Социодраматический агент включается в группу, сопровождаемый штатом вспомогательных ego, — если это необходимо, с той же самой решительностью, отвагой или свирепостью, как фюрер или руководитель союза. Собрание может вступить в действие таким же энергичным и полным энтузиазма, как и в деятельность политического характера, с той только разницей, что в политике пытаются подчинить массы своим политическим планам, в то время как социодраматург пытается довести массы до максимума группового воплощения, группового выражения и группового анализа. Эти методы преследуют противоположные цели, следовательно, ход собрания принимает различную форму. Политическая драма возникает у политика и внутри его клики, она заранее подготовлена и рассчитана на то, чтобы возбудить враждебность или предрассудок против врага. Социодрама же зарождается в присутствующей аудитории, она рассчитана на то, чтобы быть образовательной, разъясняющей и вдохновляющей для всех участников.

Социометрические революции не обещают быстрых и значительных результатов. Они проникают глубоко, и их успех зависит от нового процесса обучения, применяемого в малых группах. Подобно ребенку, человечество будет зреть только шаг за шагом и в той степени, в какой социометрическое сознание перестроит наши социальные учреждения и созреет структурная подготовленность человечества к мировому сообществу. Много войн и социальных потрясений будет терзать его больное тело. В этот переходный период доктор, может быть, более важен, чем инженер.

В 1848 году массы пролетариата в промышленности и армии были первостепенной необходимостью для производства товаров и ведения войн. В 1948 году ситуация изменилась, по крайней мере потенциально. Еще несколько десятилетий — и, может быть, фабрики будут заполнены роботами и управляться одним инженером или одним атомным физиком.

Поскольку человеческое общество больно, мы можем ожидать, что постепенно возникнет и распространится по всему земному шару психиатрическая империя. Политики и дипломаты займут второстепенное положение. Социальные ученые, психиатры, соци-атры и социометрически ориентированные специалисты займут первое место. Пройдет еще одно столетие, и ментор в Белом доме, будущий президент Соединенных Штатов, может быть психиатром. Не начинает ли весь космос все больше походить на огромный сумасшедший дом, с богом в качестве главного врача?

Социометрические тезисы

1. Человеческое общество имеет свою собственную структуру, не тождественную социальному строю или форме правления, существующим в данный момент. Его структура подвергается влиянию инструмента, ведущего его дела, например государства,
но никогда полностью им не определяется. Государство может «отмереть», но лежавшая в его основе социодинамическая структура общества сохраняется в той или иной форме. Следовательно, именно в эту структуру социума должно проникнуть революционное усилие, чтобы добиться длительного и настоящего излечения от социальных зол.

2. Социометрия разработала два типа инструментов: инструмент для диагностирования социальных структур и инструменты для их изменения. Социометрический тест, психодрама, социодрама и аксиодрама могут быть использованы среди всего прочего
как для диагноза, так и для социальной революции.

3. Старейшим и наиболее многочисленным пролетариатом человеческого общества является социометрический пролетариат. Он состоит из тех людей, которые страдают от той или иной формы нищеты, психологической нищеты, социальной нищеты, экономической нищеты, политической нищеты, расовой нищеты, религиозной нищеты. Имеются многочисленные индивидуумы или группы, объем притяжений которых или экспансия роли, спонтанности и продуктивности гораздо ниже их нужд и способности потребления. Мир полон изолированных, отверженных, отвергающих, лишенных взаимности и остающихся в пренебрежении индивидуумов и групп.

4. Социометрический пролетариат не может быть «опасен» экономическими революциями. Он существовал в примитивном и докапиталистическом обществе, он существует в демократических обществах и в социалистической России.

5. Социометрия — это народная социология, осуществляемая народом и для народа. Она учит, что человеческое общество нельзя изменить косвенными, механическими манипуляциями или применением силы. Каков бы ни был тип правления и социальных институтов, навязываемых народу, будь то кооперативные коллективы, коммунистический, демократический, автократический или анархический тип правления, рано или поздно они теряют свою власть над народом! Народ отбрасывает их, если они не коренятся в продуктивной воле народа и если они не созданы с полным участием каждого индивидуального члена.

6. Для того чтобы изменить социальный мир, нужно так проектировать социальные эксперименты, чтобы люди сами были включены в действие. Нельзя изменить мир ex post facto, это нужно сделать теперь и здесь с помощью и посредством народа. У Маркса не было ни малейшего намерения разработать экспериментальный метод в социальных науках, но он был единственным досоциометрическим социологом, который приблизился к разрешению проблемы. Правда, социальные революции, к которым он подстрекал, закончились поражением в своих основных целях, но это не противоречит тому факту, что его революционная теория была ближе всего к экспериментальному методу в социальных науках до появления социометрического метода в наше время. Как могут правительства и ответственные деятели принимать всерьез работу социальных ученых, учитывая незначительность их данных и бесцельность их экспериментальных проектов? Маркса, Энгельса и Ленина принимали всерьез, потому что они пытались изменить мир.

7. Дилемма марксизма может быть суммирована в одной фразе: незнание динамической социальной структуры человеческого общества. Глубокое сопротивление изменению и революции марксизм приписывает собственникам, классу капиталистов. Он
не осознает того, что это глубокое сопротивление исходит непосредственно из социальной структуры, и если истинная причина и мелькает в сознании некоторых последователей Маркса, они не делают соответствующего усилия, чтобы принять это во внимание.

8. Социометрические исследования подсказывают существование остаточных социальных структур, происхождение которых можно проследить до следующих явлений:

а) эмбриональная социальная структура, которую уже можно заметить в нечеловеческих обществах;

б) каждый социальный строй после того, как окончилось его царство, не исчезает полностью, но оставляет свой след на тех социальных структурах, которые он сформировал. Общий эффект этих «остаточных явлений» плюс вышеописанное эмбриональное развитие производят общую коллизию, которой объясняется сопротивление изменению.

9. Социальный экспериментатор не может знать ни всех факторов, участвующих в ситуации, ни всех тех изменений в этих факторах, которые могут произойти с того времени, когда он обдумывал эксперимент, до времени его проведения, и он не может
знать новых факторов, которые могут возникнуть в ситуации в течение самого эксперимента. Социальные экспериментаторы избегают этой дилеммы, они являются экспериментаторами и субъектами эксперимента в одном лице. Даже если они не знают всех факторов, входящих в ситуацию, это свойственно их чувствам, их действиям и взаимодействиям и даже должно выявиться в их экспериментальных проектах и в революционных действиях. Иногда это может быть несовершенно и неточно, но это эксперимент in vivo, сознательно и систематически проводимый всей группой.

10. *Социальная природа имеет социометрический характер — вот почему социометрия действенна.* Решением проблемы является замена экспериментального метода Бэкона и Милля, который был создан для удовлетворения требований физики, экспериментальным методом, который может подвергнуть перекрестному допросу реальность социальных изменений. Идея создания контрольной группы в области социального действия чревата искусственностью и ненормальностью и обязательно исказит результаты или сделает их незначительными. Спонтанные контрольные группы возможны, но отнюдь не вне, а внутри социальной атмосферы. Замена достигается благодаря процессу обратимости. Само человечество в прямом и конкретном значении этого слова становится экспериментатором, а бывший автократический экспериментатор становится одним из двух миллиардов совместно думающих участников.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Ф. Гиддингс. Основания социологии.

ИДЕЯ СОЦИОЛОГИИ[1]

[1] Публикуемый материал представляет собой 1-ю главу 1-й книги, 3-ю и 4-ю главы 4-й книги в кн.: G J__d *d* i njr s F. H. The Principles of Sociology. An Analysis ot the Phenomena of Association and of Social Organization. N. Y., 1896. Русск. пер.: Г и д д и н г с Ф. Н. Основания социологии / Пер. с англ. Н. Н. Спиридонова. М., 1898. С. 3—22, 400—418.

В пределах той широкой группировки живых существ, которая известна под названием географического распределения, существует более узкая группировка, соединяющая животных в стада, стаи или рои, а людей — в орды, кланы, племена и нации. Эта естественная группировка сознательных особей является физическим основанием социальных явлений. Общество,___в первоначальном смысле слова, означает сотоварищество, общую жизнь, ассоциацию,"все истинные социальные факты по природе своей психические. Но_ психическая жизнь в индивидах столько же зависит от физического строения мозга и нервных клеток, сколько социальное взаимодействие и взаимные стремления зависят от физической группировки населения! Поэтому вполне сообразно с природой вещей слово «общество» означает также собрание живущих в общении и сотрудничестве индивидов, соединившихся или организовавшихся для какой-либо общей цели. Наконец, из этих конкретных идей мы выводим абстрактное понятие об общности как о союзе, организации, сумме внешних отношений, связывающих вместе соединившихся индивидов.

Комбинируя эти идеи, мы находим, что наше понятие общества уже довольно сложно. Однако оно осталось бы неполным, если бы мы не приняли в соображение различия между временными и постоянными формами ассоциации; между кратковременным союзом и прочной организацией; между свободным соглашением и обязательным повиновением власти; между искусственно образовавшимися союзами и естественно сложившимися общинами, племенами и нациями, внутри которых происходят вторичные явления ассоциации.

Различие между «естественным» и «политическим» обществом имеет важное значение для политической науки. Те определения этих форм, какие мы находим у Бентама в его "Fragment on Government", в своем роде совершенны. «Когда некоторое число лиц (которых мы можем назвать подданными),— говорит он,— повинуются одному лицу или собранию лиц известного и определенного рода (которых мы можем назвать правителем или правителями), то о таких лицах, вместе взятых (подданных и правителях), можно сказать, что они находятся в состоянии политического общества». «Когда некоторое число лиц находится в общении, не обнаруживая вышеупомянутого повиновения, то о них можно сказать, что они находятся в состоянии естественного общества»[2]. Однако различие это только в степени, как это показывает сам Бентам. «Оба этих общества можно сравнить со светом и тьмой: как бы ни были различны идеи, вызываемые этими именами, сами предметы не имеют никакой определенной границы, которая их разделяла бы». Рано или поздно простое общение само развивает из себя формы правления и повиновения. Ассоциация постепенно и незаметно переходит в определенные и прочные отношения. Организация в свою очередь придает еще больше прочности и определенности социальной группе; психическая жизнь и ее физическое основание развиваются вместе.

[2] Гл. I. Разд. X, XI.

Таким образом, наша идея общества становится идеей обширного и сложного естественного явления, понятием космического факта, чудесного и изумительного. Теперь мы видим, что только в узком смысле слово «общество» можно считать простым агрегатом или простым собранием индивидов, соединившихся ради какой-либо цели. В более широком и научном отношении и наиболее важном смысле под обществом надо разуметь естественно развивающуюся группу сознательных существ, в которой агрегат переходит в определенные отношения, преобразующиеся с течением времени в сложную и прочную организацию.

Точное знание общества, понимаемого таким образом, принадлежит к числу наших самых недавних приобретений. Кроме общества, ничто в природе, исключая только тайны самой жизни, так глубоко не заинтересовывало человеческое воображение, и ни с чем, кроме самой жизни, воображение не обращалось так вольно. Никакой образ не был настолько фантастичен, никакое умозрение—настолько мистично, никакая мысль — настолько нелепа, чтобы они не могли войти в описание и философию общества.

Первые попытки научного наблюдения и классификации социальных фактов и истинного обобщения их сохранились для нас в «Республике» и в «Законах» Платона и в «Политике» Аристотеля, но все это были лишь первые попытки. В этих сочинениях, однако, общество рассматривается в своем целом как организованное в гражданскую общину или в государство, тогда как во времена Римской империи, в средние века и в века Просвещения все научные исследования социальных явлений были крайне отрывочны. Некоторые из этих исследований носили характер экономический, другие — юридический, третьи — церковный, четвертые — политический. Никто не пытался описать ассоциацию и социальную организацию во всей их полноте; никто не постарался понять конкретное жизненное целое. Только в. текущем столетии научные методы были систематически приложены к решению этой обширной задачи, и раз они были приложены, то в изучении общества, как и в других областях исследования, они богато вознаградили себя ценными вкладами в общую сумму знания. В настоящее время мы уже обладаем быстро увеличивающимся запасом проверенного и продуманного знания социальных отношений. Не слишком рискованно утверждать, что теперь мы уже имеем социологию, которая может быть определена как систематическое описание и объяснение общества, рассматриваемого в его целом. Она есть общая наука о социальных явлениях.

Слово «социология» было впервые употреблено Огюстом Контом" в его «Курсе позитивной философии» в качестве названия обширной социальной науки, составляющей часть позитивной философии. Конт первый ясно увидел необходимость очищения элементов этой науки от всяких посторонних материалов, идей и методов и первый соединил в одно понятие все действительно необходимые элементы. Платон и Аристотель никогда не отделяли политику от этики или науку политики от искусства политики. В XVIII веке политическая наука была безнадежно смешана с революционным духом. Ни Гоббс, ни Монтескье, ни экономисты не изучали общество во всех его видах, и, несмотря на влияние Юма, которому Конт обязан всем, что есть истинного в его понятии причинности, социальные объяснения оставались еще в значительной степени теологическими и метафизическими.

Итак, Конт первый пролил рационалистический свет на эти недостатки, утверждая, что общество должно рассматриваться как целостный организм, и пытаясь основать науку о социальных явлениях в их связной полноте - науку позитивную по его методам, основанную на широком наблюдении фактов и отделенную раз и навсегда от политического искусства и от революционных целей. Социология, как ее представлял себе Конт, должна вполне соответствовать социальной физике, так как задача социологии должна состоять в открытии естественных причин и естественных законов общества и в удалении из истории, политики и экономии метафизических и сверхъестественных следов, подобно тому как они были изгнаны из астрономии и химии. Конт полагал, что, следуя позитивному методу, социология могла бы сделаться в достаточной степени наукой предвидения, указующей ход прогресса.

После Конта социология развивалась главным образом благодаря трудам тех лиц, которые вполне почувствовали всю силу учения, навсегда переменившего ход научного мышления. Эволюционное объяснение естественного мира проникло во все области знания- Закон естественного отбора и понятие жизни как процесса приспособления организма к окружающей его среде сделались душою современной биологии и психологии. Эволюционная философия должна была неизбежно расшириться и включить в себя и социальные явления человеческой жизни. Наука, проследившая жизнь от протоплазмы до человека, не могла остановиться на объяснении его внутренней организации. Она должна была ознакомиться и с его многоразличными внешними отношениями, с этническими группами, с естественными человеческими обществами и со всеми теми явлениями, какие в них обнаруживаются, а также исследовать, не является ли все это продуктом всемирной эволюции. Поэтому мы находим не только в ранних произведениях Герберта Спенсера, но также и в произведениях Дарвина и Геккеля намеки на эволюционное объяснение социальных отношений. Эти намеки сами не составляли еще социологию, так как для этого

требовались иные факторы, выведенные путем индукции непосредственно из социальных явлений. Но такие намеки, достаточно показывали, где должны лежать некоторые основания новой науки; вместе с тем о.ни достаточно. Выясняли некоторые из ее основных понятий и доказывали, что социолог должен Выть не только историком, экономистом и статистиком, но также биологом и психологом. Таким образом, на эволюционной почве и благодаря трудам эволюционных мыслителей создавалась современная социология. Она является истолкованием человеческого общества посредством естественной причинности. Она отказывается считать человечество стоящим вне космического процесса и имеющим для себя свой особый закон. Социология является попыткой объяснить возникновение, рост, строение и деятельность общества действием физических, жизненных и психических причин, действующих совместно в процессе эволюции.

Едва ли нужно напоминать, что наиболее важная попытка в этом отношении была сделана Спенсером в его «Синтетической философии». В этом великом произведении принципы социологии выведены из принципов психологии и биологии. Социальное развитие рассматривается как надорганическая эволюция. Оно состоит... из процесса, в котором все органические и психические явления человеческой жизни соединены в самых широких формах запутанной, но правильной сложности. Понятие общества как организма у Спенсера более определенно, чем у Конта. По мнению Спенсера, общество есть организм не только в виде" простой фантастической аналогии, как в «Левиафане» Гоббса, но и в действительности, не только нравственно, но также и физиологически, потому что в строении общества наблюдается разделение труда, переходящее от отдельных личностей на группы и организации этих личностей. В нем имеется: питающая система состоящая из промышленных групп: распределительная система, состоящая из торговых операций; регулирующая система, состоящая из политической и религиозной деятельности. Спенсер прилагает немало стараний, чтобы показать, что этический прогресс и счастье человеческого рода зависят от этой функциональной организации общества, но он не развивает настолько полно, насколько мы могли бы желать, мысль Платона, который находил в социальном разделении труда основание и истинный тип этической жизни и таким образом прокладывал дорогу для понятия общества как средства усовершенствования человеческой личности.

Если Спенсер не совсем удовлетворителен в этом отношении, то он оставляет желать очень немногого относительно той полной определенности, с какой он объединяет социальную организацию с всемирным физическим процессом. Большинство писателей, произносивших свои приговоры социологическим доктринам Спенсера, не обратили внимания на те принципы, из которых были выведены его заключения. Они искали его социологическую систему в тех его книгах, которые носят социологические заглавия, тогда как в действительности основные теоремы его социологической мысли рассыпаны по всей второй половине его сочинения, озаглавленного «First Principles», и требуют некоторого труда от читателя, который захотел бы собрать их вместе. Эти теоремы, взятые вместе, служат истолкованием социальных изменений посредством тех законов постоянства силы, направления и ритма движения, интеграции материи и дифференциации формы, которые все вместе составляют хорошо знакомую спенсеровскую формулу всемирной эволюции. Общество, подобно материальному миру и живому организму, также подвержено интеграции и дифференциации. Оно переходит от однородности и неопределенности неорганизованного состояния к разнородности и определенности состояния организованного. Конечной причиной всех этих изменений является всемирное равновесие энергии. Конт употреблял термин «социальная статика» в чисто риторическом значении, как название для социального порядка, а термин «социальная динамика» — как название прогресса. Спенсер, оставаясь на более научной почве, придерживается более точных физических понятий. Социальная статика, по его мнению, есть исследование социальных сил в равновесии. Совершенное равновесие никогда не было достигнуто в действительности вследствие изменений, являющихся следствием равновесия энергии между обществом и его средой. В действительности, однако, статические и кинетические стремления уравновешиваются сами по себе, и результатом этого в обществе, как и в Солнечной системе или в живом теле, является неустойчивое равновесие.

Все это, очевидно, есть лишь физическое объяснение социальных форм и метаморфоз, и спенсеровская социология в целом — все равно, сформулированная ли самим Спенсером или другими писателями под влиянием его мысли,— является до известной степени физической философией общества, несмотря на широкое пользование биологическими и психологическими данными.

Тем не менее такое физическое истолкование не составляет еще всей эволюционной социологии. Действительно, социология не только настаивает на признании единства, лежащего в основании всех различных видов общества, изучаемых специальными социальными науками, но она утверждает также, что одна основная логика должна лежать в основании объективных, физических, и субъективных, или волевых, объяснений социальных явлений. Оба этих объяснения в течение ряда столетий боролись друг с другом в

области экономической и политической философии. Начиная с «Политики» Аристотеля Боден, Монтескье и физиократы развили объективное истолкование расы, почвы, климата, наследственности и исторических условий. Гроций, Гоббс, Локк, Юм, Бентам, Беркли, Кант и Гегель выработали субъективное истолкование человеческой природы, полезности, этических императивов и идеалов. Но оба этих истолкования никогда еще не сталкивались вполне лицом к лицу. Пределы мысли никогда не были нарушены ни попытками исследовать единство самого общества, ни какой-либо действительно научной попыткой достичь единства истолкования. Борк в своих политических сочинениях более всего приблизился в действительности, хотя и бессознательно, *к.* этому единству. Только в систематической социологии найдем мы определенное признание как социальной воли, так и физической эволюции вместе с сознательным стремлением к их объединению на почве научного примирения.

Подобно тому как объективное истолкование, крайне несовершенное в философии Конта, быстро развилось у последующих мыслителей, точно так же развилось и субъективное истолкование, хотя, к несчастью, не в такой степени. Конт полагал, что научно образованные государственные мужи могли бы реорганизовать общество и руководить его прогрессом. В философии Спенсера мысль эта стала отчасти отрицательной. Государственный деятель не может улучшить общество своим искусством, но он может его бесконечно ухудшить. В сочинениях Лестера Уорда[3] мысль эта снова становится вполне положительной. Общество может обратить естественный процесс эволюции в процесс искусственный. Оно может произвольно изменить свою судьбу. Оно может сделаться теологически прогрессивным. В выдающихся трудах Лилиенфельда[4], д-ра А. Шеффле[5] и профессора Гильома де Грифа[6], которые держатся натуралистического образа мысли, но в своих сочинениях представили кропотливое исследование требований социализма, мы находим полное признание социальной воли. Наконец, в критическом труде Альфреда Фулье[7] мы находим подробное обозрение исторических отношений идеализма и натурализма в области социальной философии и блестящую попытку доказать тождество физических и волевых явлений, которые Фулье рассматривает как фазы в процессе эволюции «идей сил». [8]

[3] Dynamic Sociology; Psychic Factors of Civilization.
[4] Qedanken iiber eine Sozialwissenschaft der Zukunft.
[5] Ban und Leben des sozialen Korpers.
[6] Introduction a la sociologie.
[7] La science sociale contemporaine.
[8] La Psychologie des idees forces; L'Evolutionnisme des idees forces.

Более внимательное исследование этих обширных трудов показывает нам, однако, что их объяснение общества посредством волевого процесса не разработано с той научной точностью, которая характеризует их объяснение посредством физического закона. Действительно, в том методе, которого придерживаются некоторые из наиболее выдающихся истолкователей социологии, кроется важное заблуждение, навлекшее незаслуженное нарекание на их науку. Объективное объяснение обыкновенно систематически устранялось, после того как оно сводилось к своему простейшему выражению в формуле физической эволюции, но субъективное объяснение не проводилось подобным же образом по всему ряду социальных явлений. Гораздо менее сводилось оно к значению единственного мотива или принципа, характеризующего сознательную личность как социальное существо и определяющего все его социальные отношения, поскольку они вытекают из его воли. Вместо того чтобы попытаться найти такой принцип, вывести из него все его следствия и сгруппировать вокруг него мотивы или обстоятельства, которые должны бы быть приняты во внимание, делалась утомительная попытка перечислить все мотивы, воздействующие на человека в его разнообразных отношениях и в удовлетворении всех его потребностей, как будто все мотивы имеют значение для социологии. В результате получилось не то разумное знание, какое составляет науки.

Метод этот замечателен в двух отношениях. Он оказывается обратным тому методу, который обыкновенно очень успешно применялся при физическом истолковании общества. Он является обратным и тому методу, который с успехом применялся для субъективного истолкования в политике и особенно в экономике. Политическая экономия создает свое учение о поведении не путем открытия, но путем абстракции. Принимая форму чистой теории полезности, экономическая наука в недавнее время получила замечательное развитие. Чисто абстрактный анализ, начатый Курно, Джевонсом и профессором Леоном Уольрасом (Walras) и продолженный австрийскими и американскими экономистами, показал, что явления экономического мотива и выбора, а следовательно, и экономического действия и отношения, обусловленные выбором, могут быть сформулированы не только научно в качественном смысле, но даже математически. Если социология хочет достичь научной точности, она должна следовать этому примеру,

доказывающему пригодность связного метода.

Надо признать, однако, что наиболее важные сочинения в социологии вполне открыты научной критике, которую выдвигают против нее те, кто не верит в возможность общей науки об обществе. Социология, если судить по таким сочинениям, выступила с тем, чтобы объяснить общество как целое, а сама не сумела достичь единства метода. Она внушила то впечатление, что социальная наука есть наука общая, но не связная, что она может описать общество в его целом только путем перечисления его частей и что она должна неизбежно потерпеть неудачу при объяснении лежащего в его основании единства.

Можно было бы предполагать, что социология, приняв во внимание эти критические замечания, передаст все субъективные объяснения другим наукам, а сама ограничится выработкой объективного объяснения. Но это значило бы вполне отказаться от всякой претензии свести к единству социальные явления. Волевой процесс, безусловно, существен. Если единства нет здесь, то его нет нигде в обществе; видимое единство есть лишь обстоятельство физического основания. Очевидно, что истинная социология должна соединить в себе как субъективное, так и объективное объяснения. Она должна свести каждое из этих объяснений к его простейшей форме и последовательно проследить основные принципы каждого из них через все социальные отношения. Кроме того, она должна объединить их не просто искусственным путем, но логическим путем, в качестве дополнительных доктрин, и показать, каким образом они обусловливают друг друга на каждом шагу.

То обстоятельство, что лучшим социологам не удалось еще выполнить эту трудную задачу, не может привести к обвинению самой социологии. Социология может быть оставлена как ненастоящая наука только в том случае, если критика сумела бы доказать, что она может быть построена согласно строго научным требованиям или что она не обнаруживает никакого стремления развиваться по строго научному плану. Но для людей с научным мышлением доказательство от невозможного — само невозможно и должно быть отброшено без всякого сомнения. Что же касается действительного стремления социологии найти единство субъективного объяснения, то массу примеров этого можно найти в сочинениях ее молодых ученых. Везде они пытаются определить ту особенность, которая делает данное явление явлением социальным и которая обособляет его от явлений любого другого рода. Когда этот вопрос будет решен, социологический постулат будет найден, так как установление отличительного признака всегда является и открытием процесса. Если мы найдем общий отличительный признак социальных явлений и основной процесс, мы найдем также и принцип истолкования.

В значительной степени благодаря экономической мысли установилось общее мнение, будто взаимопомощь и разделение труда являются отличительными признаками общества. В действительности, однако, взаимопомощь и разделение труда наблюдаются и среди клеток и органов живого организма так же, как и среди членов общества, тогда как социальные сношения часто не носят никакого следа кооперации. Пока ошибочное мнение, будто социальные различия могли быть открыты в органических или экономических фактах, не потеряло своего значения среди ученых, до тех пор не могло быть действительного прогресса. Мнение это потеряло всю свою силу благодаря попыткам некоторых даровитых ученых коснуться поглубже этой проблемы. Профессор Людвиг Гумплович[9] сделал попытку доказать, что истинные элементарные социальные явления суть конфликты, смешения и ассимиляции разнородных этнических групп. Новиков[10], продолжая обобщение еще дальше, утверждает, что социальная эволюция есть, в сущности, прогрессивное видоизменение конфликта союзом, вследствие чего сам конфликт преобразовывается из борьбы физической в борьбу интеллектуальную. Профессор де Гри[11], глядя на вопрос совсем иначе, находит отличительный признак социального явления в договоре и измеряет социальный прогресс сообразно замещению принудительной власти сознательным соглашением. Габриэль Тард[12] в своих оригинальных и интересных исследованиях, оставивших заметный след в области психологических и социологических идей, доказывает, что первичный социальный факт состоит в подражании — явлении, предшествующем всякой взаимопомощи, разделению труда и договору. Профессор Эмиль Дюркгейм[13], не соглашаясь с заключениями Тарда, пытается доказать, что существенный социальный прогресс, а потому и первоначальное социальное явление состоят в подчинении каждого индивидуального ума внешним по отношению к нему видам действия, мысли и чувства.

Из всех этих ученых Тард и Дюркгейм, несомненно, ближе всех подошли к решению вопроса о сущностной природе социальных явлений и к установлению первого принципа социологии. Они разошлись в понимании друг друга, но для беспристрастного читателя этих авторов вполне ясно, что они оба смотрят с различных точек зрения на явления, тесно между собой связанные; профессор Дюркгейм рассматривает впечатление, .оказываемое многими умами на ум единичный, Тард — подражательный ответ многих на заразительную изобретательность одного. Если в социальных отношениях явления эти не безусловно первичные или основные, то все же они близки к этому. Быть может, однако,

что по отношению к подражанию утверждение это является более верным. Явления всякого рода, как на это указывает Тард[14], могут быть познаваемы только потому, что они повторяются. В физике мы изучаем повторения в формах разнообразного движения или вибрации, в биологии — в форме наследственности или передачи жизни и отличительных свойств от клетки к клетке; в социологии — в форме подражания или передачи побуждения, чувства и идеи от индивида к индивиду, от группы к группе, от поколения к поколению.

[9] Der Rassenkampf; Grundriss der Soziologie.
[10] Les luttes entre societes humaines.
[11] Op. **cit.**
[12] Les lois de 1'imitation; La logique sociale.
[13] De la division du travail social; Les regies de la methode sociologique.
[14] Op. cit.

Тем не менее есть основательная причина, почему конечные обобщения как Тарда, так и Дюркгейма, быть приняты. Ни тот ни другой не уяснили себе вполне сущность социального факта, хотя и подошли весьма близко к этой задаче. Их формулы слишком всеобъемлющи. Ведь может существовать также и такое впечатление, оказываемое на одно сознание другим сознанием или многими другими, которое никогда не развивалось и не может развиться в ассоциацию. Также может существовать и подражание, которое не заключает в себе никакого зародыша общества. Змея производит впечатление на испуганную птицу, остающуюся от страха без движения, а затем быстро убивает ее. Дрозд часто подражает пению других птиц, но без всякого социального намерения или следствия. Поэтому элементарный социальный факт, хотя и находится, несомненно, в тесной связи как с впечатлением, так и с подражанием, но, однако, сам по себе не есть ни подражание, ни впечатление. Мы должны искать его в таком явлении, которое было бы свойственно только действительному обществу и ничему другому.

Теперь мы достаточно выяснили цель и научный характер социологии как при ее начале, так и в настоящее время. Социология есть наука, которая стремится понять общество в его целом и пытается объяснить его посредством космических законов и причин. Чтобы достичь такого объяснения, надо выработать субъективное толкование общества посредством некоторого факта сознания или мотива и его объективное истолкование посредством некоторого физического процесса. Эти оба истолкования должны быть совместимы друг с другом и находиться в тесном соотношении. Субъективный и объективный процессы должны быть нераздельными, будучи всегда зависимы один от другого.

Каков бы ни был будущий прогресс физических наук, так удивительно быстро происходивший в течение оканчивающегося столетия, очевидно, что в социальных науках то, что достигнуто, является лишь залогом будущих достижений. Социология (надо сознаться) скорее стремилась быть, чем была, содержанием научных фактов, но осуществление ее логической возможности по крайней мере несколько ближе теперь, чем оно было в то время, когда Спенсер впервые писал о необходимости социологии[15].

[15] The Study of Sociology, Chapt. I. 302

Никакого нового принципа объективного истолкования отыскивать нет необходимости. Физический процесс в обществе, так же как и в мире звезд, является процессом эволюции формы через равновесие энергии. Однако придется еще много поработать, прежде чем будут вполне понятны разветвления этого процесса среди всех человеческих отношений. Что капается субъективного истолкования, то оно нуждается в новой исходной, точке, которая до сих пор безуспешно отыскивалась, но теперь не может долее оставаться незамеченной при внимательном исследовании. Социология отныне должна пойти по верному пути по той же причине, которая, по мнению Спенсера, удерживает и человечество на его надлежащем пути, а именно потому, что она испробовала все иные ошибочные пути. Так как договор и союз суть явления, очевидно, более специальные, чем ассоциация или общество, а подражание и впечатление— явления более общие, то мы _должны искать_ психическое основание, мотив или принцип общества "в таком явлении, которое занимало бы между ними среднее место. Следовательно, социологический постулат может быть только таким: первичный и элементарный субъективный факт в обществе есть *сознание рода* (the consciousness oi Kind) Под этим подразумеваю такое состояние сознания, в котором всякое существо, какое бы место оно ни занимало в природе, признает другое сознательное существо принадлежащим к одному роду с собой. Такое сознание может быть следствием впечатления и подражания, но оно не есть единственное следствие, какое они производят. Оно может произвести договор и союз, но оно может произвести и многое другое. Поэтому оно менее общо, чем впечатление и подражание, которые более общи, чем ассоциация. Оно более общо, чем договор и

союз, которые менее общи, чем ассоциация. Оно влияет на поведение многими путями, и всякое поведение, которое мы можем действительно назвать социальным, определяется им. Коротко говоря, оно удовлетворяет социологическому требованию; оно свойственно действительному обществу и ничему другому.

В самом широком своем применении сознание рода обнаруживается в различении одушевленного от неодушевленного. Внутри обширного класса одушевленных существ оно устанавливает виды и расы. В пределах расы сознание рода приводит к более определенной этнической и политической группировке, являясь основанием классовых различий, бесчисленных форм союза, правил общения и особенностей политики. Наше поведение по отношению к тем, кого мы чувствуем более на нас похожими, инстинктивно и основательно отличается от нашего поведения по отношению к тем, кого мы считаем менее подобными себе.

Кроме того, только лишь сознание рода и ничто другое отличает социальное поведение как таковое от чисто экономического, чисто политического или чисто религиозного поведения; это же сознание рода в действительной жизни постоянно вмешивается в действия — в теории вполне совершенные — экономических, политических или религиозных мотивов. Рабочий, который, преследуя свой экономический интерес, хочет получить самую высокую плату, какую только можно, присоединится скорее к стачке, которую он не понимает или не одобряет, чем отстанет от своих товарищей. По такой же причине и фабрикант, сомневающийся в полезности покровительственной системы для своей собственной отрасли промышленности, вносит, однако, свою долю в фонд ведения кампании в пользу протекционизма. Точно так же богатый собственник Юга, убежденный в победе Севера, тем не менее жертвовал своим достоянием в пользу конфедерации, если только он чувствовал себя гражданином Юга и чужим населению Севера. Свобода верования достигнута благодаря усилиям людей, которые не могли более принимать традиционные истолкования, но которые сильно хотели сохранения ассоциаций, распад которых повел бы к тяжелым последствиям.

Одним словом, в эволюции социального выбора, социальной воли или социальной политики все мотивы группируются вокруг сознания рода как определяющего принципа. Поэтому проследить появление сознания рода во всех социальных явлениях — значит выработать полное субъективное истолкование общества.

Таковы объективный и субъективный постулаты социологии. Они соответствуют конечным видам внешней силы и внутреннего мотива, которые бесконечно воздействуют друг на друга в социальной эволюции. Теория их противодействий, в формулировании и доказательстве которой и состоит предмет социологии, должна по необходимости оставаться несовершенной во многих подробностях еще долгое время. Однако в общих чертах, я смею думать, она должна принять, вероятно, следующий вид.

Социальные агрегаты образовались сначала под влиянием внешних условий: запасов пищи, температуры, соприкосновения или столкновения с индивидами или племенами, а благодаря устранению всех случайных сил агрегаты вообще составились главным образом из сложных единиц. До сих пор это чисто физический процесс.

Но вскоре внутри агрегации у подобных друг другу индивидов появляется сознание рода, и агрегация развивается в ассоциацию. Ассоциация в свою очередь начинает положительно реагировать на удовольствия и жизненные условия индивидов. Индивиды узнают этот факт, и начинается волевой процесс. С этого времени объединенные в ассоциацию индивиды стараются расширить и улучшить свои социальные отношения. Соответственно этому индивидуальные и социальные выборы становятся важными факторами в ряду социальных причин. Среди множества социальных отношений и действий, случайно установленных, испытанных или придуманных, некоторые доходили до сознания как приятные или желательные, тогда как другие вызывали антагонизм. Соединившиеся в ассоциацию индивиды делали выбор между этими отношениями, стараясь усилить и сохранить одни и устранить другие. Во всем этом процессе ассоциация, социальный выбор и социальная воля определяются сознанием рода.

С этого момента вновь появляется физический процесс. По отношению к силе, развитию и благополучию общества выборы могут быть невежественные, неразумные и вредные или просвещенные, разумные и благодетельные. Естественный отбор находит здесь новое и почти безграничное поле действия. В борьбе за существование выборы, как и индивиды, могут выжить или нет.

Выборы, а также вытекающие из них действия и отношения, которые в целом оказываются вредными, исчезают отчасти вследствие разрушения целых обществ.

Таким образом, цикл социальных причин начинается и заканчивается физическим процессом. Между началом и окончанием помещается волевой процесс искусственного отбора или сознательного выбора, определяемого сознанием рода. Но это никоим образом не есть замена естественного процесса искусственным, как это утверждает Уорд. Это просто огромное усложнение изменений, на которые в конце концов действует тот же естественный отбор.

Сообразно всему этому перед социологом возникают три_ главные задачи. Во-первых, он должен попытаться открыть условия, определяющие простую агрегацию и соединение. Во-вторых, он должен попытаться открыть закон, управляющий; социальным выбором, т.е. закон субъективного процесса. В-третьих, он также должен попытаться открыть закон, управляющий естественным отбором и осуществлением выборов, т.е. закон объективного процесса.

Социальные законы и причины

Какими законами управляется социальный процесс и какова конечная природа социальной причинности?

Так как общество суть, в сущности, явление психическое, обусловленное физическим процессом, то строго социологические законы суть, во-первых, законы психического процесса и, во-вторых, законы ограничения психического закона физическим. Воля воздействует на социальный процесс посредством внушения и подражания и сознательно посредством свободного выбора. Поэтому законы волевого процесса суть законы подражания и социального выбора. Законы ограничения, вносимые физическим процессом, суть законы отбора и переживания.

Тард сформулировал два главных закона подражания. При отсутствии интерференции подражание распространяется в геометрической прогрессии. Если новый пример скопирован одним-единственным индивидом, то получается непосредственно 2 центра подражания. Если каждый из них будет в свою очередь скопирован одним индивидом, то будет 4 центра подражания, а если каждый из этих последних также найдет себе по одному подражателю, тогда этих центров станет 8. Это и есть геометрическая прогрессия, объясняющая чрезвычайную быстроту, с которой распространяются иногда новые слова, моды, привычки и мнения. Второй закон подражания был уже нами рассмотрен при объяснении форм ассоциации. Подражания преломляются средой. Слова, законы, обычаи, верования и учреждения изменяются, переходя от расы к расе, из века в век.

Законы разумного социального выбора суть неизменно отношения между распределением социальных ценностей и формами социального поведения. Распределение социальных ценностей является предшествующим условием, а форма социального поведения условием последующим. При данной определенной комбинации социальных ценностей должен иметь место особый род социального поведения, если только оно обусловлено разумным выбором.

Чтобы понять группировку социальных ценностей, необходимо обратиться к процессу, посредством которого субъективные ценности всякого рода возникают в индивидуальном сознании, а особенно обратить внимание на некоторые обстоятельства, малоисследованные при изучении экономических ценностей, но имеющие большое значение для теории этических и социальных ценностей.

Во всяком выборе разум созерцает 2 или более из своих собственных состояний или 2 или более метода, опыта, плана, условия или предмета и находит, что он смотрит на них с неравной степенью желания или одобрения. Желание есть чувство; одобрение есть суждение, оно есть признание, что рассматриваемый опыт, предмет или действие обладают некоторым элементом или качеством, которое считается важным или же соответствует требованию или вкусу. Выбор оканчивается, когда один из многих сталкивающихся предметов или порядков принимается или допускается, причем все прочие исключаются.

Сравнивая наши выборы, мы находим, что мы не всегда одобряем то, чего желаем, и не всегда допускаем или принимаем то, что одобряем. Истинный выбор определяется одобрением, или по крайней мере он происходит после того, как одобрение было рассмотрено, хотя бы суждение в конце концов и было побеждено противоположным желанием. Законы разумного социального выбора имеют отношение только к тем явлениям, в которых одобрение является фактором. Воля, в которой желание является единственным мотивом, импульсивна и подражательна.

Обобщая наши опыты выбора, мы называем хорошими те состояния, опыты, вещи и поступки, которые мы одобряем, а те состояния, опыты, вещи и поступки, которые мы не одобряем, мы называем дурными. Выражаясь иначе, мы можем сказать, что добро есть абстракция для различных состояний духа и качеств поступков и вещей, которые мы одобряем, когда судим о них.

Так как многие состояния духа, многие предметы и поступки оказываются лишенными некоторого важного элемента или качества, или же оказываются ниже наших требований, так как часто сами требования повышаются вследствие открытия того, что мы можем достичь еще более высоких степеней превосходства, чем известные нам доселе, то наше понятие блага превращается в идеал, который мы пытаемся осуществить. Идеал этот изменяется, и различные одобряемые состояния почитаются более или менее, смотря по развитию характера и образования. Осуществление идеального блага подразумевает приспособление средства к цели. Сообразно своему развитию люди

правильно или неправильно оценивают действительность средств, а сообразно своим убеждениям о важности или действительности какого-либо средства они дают ему более или менее высокую оценку.

В анализе экономической ценности я показал, что субъективная ценность в экономическом смысле есть степень оценки. Подобное же рассуждение должно подтвердить также то утверждение, что субъективная ценность как в этическом, так и социологическом смысле, также является степенью оценки. Так как все субъективные ценности заключаются в этих трех категориях, то мы можем вывести из наших определений следующее обобщение: степень оценки какого-либо состояния души или какого-либо качества, заслуживающего одобрения и считающегося хорошим, или какого-либо качества, рассматриваемого в виде необходимого элемента или идеального блага, или какой-либо вещи, поступка или отношения, являющихся средством достижения идеального блага, и является субъективною ценностью. Это экономическая ценность, если одобряемое состояние души есть состояние удовлетворенности, достигнутое через удовлетворение потребности посредством материальных предметов или физической деятельности, или если оцениваемый предмет есть физическое средство удовлетворения потребностей. Это этическая ценность, если одобряемое состояние духа есть состояние внутренней гармонии или если средство является делом поведения. Это социальная ценность, если оцениваемая вещь есть социальный род, тип, свойство или условие или если средством, ведущим к социальному благу, являются социальный элемент, отношение или деятельность.

Этика исследует критические элементы, входящие в понятие блага, и те критерии, посредством которых можно достичь истинного познания идеального блага. Социология же должна исследовать их исторически и индуктивно — сообразно ходу их эволюции — в качестве составной части своего изучения процесса социального выбора.

Элементы и критерии социального блага бывают двух различных родов. Одни из них субъективны; они суть состояния духа или же качества поведения или характера, считаемые достойными сами по себе. Другие из них объективны; они суть отношения, приспособления к внешнему миру. Удовольствие, например, есть субъективный элемент идеального блага, переживание же есть объективный критерий. Системы этики потерпели неудачу вследствие недостаточного разделения субъективной и объективной сторон. Социология не должна повторять этой ошибки.

Первоначальным элементом какой-либо субъективной ценности является или некоторое состояние духа, считаемое хорошим, или некоторый субъективный критерий блага. Если, например, удовольствие считается благом, то первоначальным состоянием этой оценки являются или приятность душевного состояния, или способность данной вещи доставлять удовольствие. Впоследствии может быть приложен также и объективный критерий, и суждение ценности может быть изменено, как это и бывает, когда некоторый род приятного поведения оказывается неблагоприятным для переживания. Приложение объективного критерия зависит, однако, от более высокого развития сознания, чем приложение субъективного критерия. Следовательно, в развитии социальных ценностей и в определении социального выбора субъективные основания более действительны, чем объективные критерии. Таким образом, для того чтобы открыть законы социального выбора, необходимо прежде всего исследовать, какие субъективные элементы входят в социальные ценности.

Когда люди начинают видеть различие между своими суждениями и своими желаниями, субъективным элементом и критерием блага, первый, заслуживающий одобрения, становится силой. Это происходит от того, что сама жизнь есть деятельность и вид конфликта.

Чтобы иметь успех в борьбе за существование, индивид, как и общество, должен быть силен и энергичен. Эти условия действуют на все душевные процессы. Умственная и нравственная сила, равно как и физическая, вызывали удивление; смелость и самообладание заслуживали одобрения как мужество. Из этих качеств развилось понятие добродетели. Добродетель в первоначальном смысле этого слова является первым субъективным элементом блага и первым субъективным критерием поведения и характера. В развитии этической философии эта фаза мысли находит свое выражение в стоицизме.

Далее, однако, обнаруживается, что добродетель не всегда сопровождается приятной реакцией. Полное силы действие может быть приятно некоторое время, но оно может истощить. Мужество может быть опрометчиво, самообладание может быть чрезмерно и нелепо. Эти размышления не могут иметь никакого практического последствия, пока жизненная борьба тяжела и гибельна. Постепенно, однако, жизненные условия улучшаются. Образование племен и государств сопровождается долгими периодами мира и безопасности. Тогда люди начинают себя спрашивать: есть ли добродетель единственное благо, единственный критерий? Не надо ли принять во внимание последствия повеления? Разумно ли предполагать, что страдания есть нормальный результат усилий? Не вернее ли допустить, что нормальный результат есть удовольствие? Не становясь менее

добродетельным, не должен ли добродетельный человек стараться по возможности вести себя так, чтобы обеспечить себе счастье, а не нужду? Ответ был утвердительным. Счастье является вторым субъективным элементом блага, и полезность становится, как и добродетель, критерием поведения. В развитии этической философии эта фаза мысли нашла свое выражение в эпикурействе.

Вскоре оказалось, что в своей попытке сделать счастье элементом идеального блага, а полезность — критерием поведения люди стали преувеличивать удовольствие данной минуты. Они жертвуют будущим удовольствием ради сиюминутного удовольствия, они допускают излишества. Вследствие таких практических ошибок они разрушают добродетель и портят характер. Добродетель, как и удовольствие, должна также приниматься во внимание. Характер также должен нравиться. А так как человек — существо социальное и зависит от своих товарищей в большей части своих удовольствий, то удовольствие каждого индивида должно быть сообразно с удовольствием большинства, идеально — с удовлетворением всех. Поэтому чистота является третьим субъективным элементом идеального блага и третьим критерием характера. В развитии этической философии эта фаза мысли нашла свое выражение в пуританизме. Но даже чистота поведения может оказаться слишком жестким условием. Организация полезности и добродетели в поведении и характере может быть сочтена окончательной. Против такой окончательности возмущаются чувство и разум. Они ищут расширения жизни. Разум не может быть удовлетворен в своих поисках истины, прежде чем не поймет весь мир. Чувство не может перестать расширять свои симпатии, пока симпатия не объединит всех людей в добровольное товарищество. Самоосуществление поэтому является четвертым и последним субъективным элементом идеального блага и последним критерием жизненного поведения. В развитии этической философии эта фаза мысли находит свое выражение в гуманистическом идеализме.

Таким образом, идеальное благо является сложным феноменом. Оно не есть одна добродетель, или одно удовольствие, или одна чистота, или одно самоосуществление. Оно есть синтез всех этих явлений. Идеальное благо есть разумное счастье, состоящее из "добродетели и удовольствия, из чистоты и продолжающегося расширения жизни.

Из этих принципов выводится первый закон социального выбора.

Общество постоянно стремится усовершенствовать свой тип сообразно преобладающему понятию идеального блага. Это понятие изменяется время от времени в соответствии с эволюцией или дезинтеграцией общества и с изменениями в составе населения. Во всех обществах, существовавших до сих пор на этом свете, большинство состоит из недостаточно умственно развитых людей; люди с высокоразвитым умом составляют незначительное меньшинство. Поэтому большинство людей имеют еще очень низкие идеалы. Тем не менее чем дальше идет социальная эволюция, тем больше становится развитых людей, имеющих более высокие идеалы. Следовательно, первый закон социального выбора можно определить следующим образом.

Во всех социальных выборах самым главным идеалом является идеал личной силы, или добродетели, в первоначальном смысле; вторым является гедонистический, или утилитарный, , идеал; третьим — чистота и последним — идеал самоосуществления; но если умственная и нравственная эволюция продолжается, то более высокие идеалы могут приобретать все большее и большее влияние.

Этот первый закон социального выбора является законом предпочтения какой-либо одной из достижимых целей. Остающиеся законы суть законы комбинации и выбора средств. Этот закон социального выбора комбинаций и средств может быть сформулирован так: населеннее немногочисленными, но, однако, находящимися в гармоничном сочетании интересами будет консервативно в своих выборах. Население с разнообразными, но не находящимися в гармоничном сочетании интересами будет радикально в своих выборах. Только население, имеющее многочисленные, разнообразные и гармонично переплетающиеся интересы, будет постоянно прогрессивным в своих выборах.

Многочисленные подтверждения этого закона встречаются в политике, законодательстве, религии и обычаях, но самым лучшим из всех примеров этого закона может служить распределение политического большинства во Франции. Твердынями консерватизма являются Бретань и южные департаменты. Центры радикализма находятся в середине, где горное дело и фабричная промышленность оказались в резком контрасте с прежними земледельческими занятиями и привнесли в население новые элементы и конфликты. Умеренное республиканство находится главным образом в прирейнских и юго-восточных департаментах, где в течение многих столетий социальная и интеллектуальная жизнь была очень разнообразна вследствие скрещивания национальностей и обмена идеями между ними.

Если законы социального выбора таковы, то что же обусловливает постоянство выбора? Настоящие социальные порядки являются пережитками. Тысячи различных порядков исчезли, потому что их полезность для человека была временной и

незначительной. Они не были достаточно полезны для практиковавших их племен и народов, чтобы предохранить народы или учреждения от вымирания. Социальные порядки, являющиеся как бы частью жизни сильных обществ, суть именно те порядки, которые дают силу этим обществам. Прямо или косвенно они способствуют улучшению социального человека, изощряя его разум и делая его более искусным в кооперации. Но какие именно выборы приводят к этим результатам из возможных социальных выборов в создании законов и учреждений? Ответ, даваемый социологией, очень точен. Закон этот не подлежит сомнению: выживут те субъективные ценности, которые являются составными частями всей совокупности субъективных ценностей, все более и более усложняющейся вследствие включения новых интересов и в то же время делающейся все более и более согласованной и связной.

Этот закон не выражает физического процесса, подобно закону социальных выборов. Он формулирует объективные физические условия, с которыми должен сообразовываться выбор. Как только эти условия ясно подмечены, закон становится всецело понятным. Общество, как и индивид, должно приспосабливаться к физической и органической среде. Его удовольствия, законы и учреждения должны составлять часть этого приспособления и сообразовываться с ним как с целым. Среда, однако, не есть постоянная или неизменная группа отношений. Она претерпевает постоянную эволюцию, хотя изменения часто слишком медленны, чтобы их можно было заметить в данный момент. Она становится все более и более разнообразной благодаря дифференциации. Общество может увеличивать это разнообразие, но не может воспрепятствовать ему. Оно не может упростить те явления, к которым жизнь должна приспособиться. Напротив, сама жизнь должна становиться все более сложной вследствие приспособления к более сложным условиям, или она должна прекратиться. Вот почему вкусы должны становиться все более разнообразными. Вот почему удовольствия должны увеличиваться и способствовать друг другу, повышая, смягчая и развивая друг друга, пока не сольются в гармонии. Вот почему, наконец, наши главные и наиболее частые наслаждения не должны быть настолько сильны индивидуально, чтобы могли исключить те более слабые, более редкие и утонченные удовольствия, которые необходимо входят в полноту максимального удовлетворения. Общество, обладающее разнообразными вкусами, получит больше пищи и более высокого качества и будет иметь более опытности, чем общество с немногочисленными вкусами. Общество или класс, наслаждающиеся многими согласованными удовольствиями, в общем более жизнеспособны, чем общество, удовлетворяющееся только немногими сильными удовольствиями. И наконец, сохраняются только те привычки, обычаи и учреждения, которые вообще приноравливаются к разнообразию природы. Поэтому в самой физической природе вещей скрывается то обстоятельство, что ультраконсервативные или ультрарадикальные социальные выборы должны с течением времени исчезнуть, и только умеренные, но постоянно прогрессивные выборы должны сохраниться.

Одним словом, тогда как искусственный отбор или социальный выбор управляется субъективной ценностью, переживание управляется органической и субъективной полезностью. Эта очень важная истина является основанием для установления различия между субъективной полезностью и субъективной ценностью.

В качестве примера и подтверждения этого закона переживания я укажу на новейшие ступени в эволюции семьи. Они показывают, насколько неумолимо зависит форма семьи от необходимости приспосабливаться к усложняющимся условиям, а также показывает, почему должна сохраниться этическая семья.

Религиозная семья была, между прочим, социальным органом культа и собственности. Новые формы религии, новые формы накопления капитала и страсть к личной свободе сделали необходимым изменение семейной системы. Религиозная семья как таковая перестала существовать.

Две возможности могли занять освободившееся место. Одной из этих возможностей был неправильный союз полов. Если этот беспорядочный союз был бездетен, то генеалогическая линия мужчин и женщин, предпочитавших такие отношения законному браку, приходила к концу. Если же были дети, то они или совсем не получали ухода и погибали, или получали общественный уход, который был настолько недостаточен, что многие из них также погибали. Вследствие этого беспорядочный союз стремился к исчезновению и оставил продолжение расы главным образом тем, кто придерживался законного брака и передавал свою привязанность к этой форме своим детям. Так возникла романтическая семья**.** Хотя эта семья и основана на предпочтении и договоре, но она была относительно прочна, пока женщины находились в экономической зависимости, а развод был труден. Но с изменением промышленных условий и с усложнением социальной жизни произошло экономическое освобождение женщин, и развод стал легче. Романтическая семья стала непрочной.

Тогда оказались возможными 3 исхода, и все они были испробованы. Снова возникли беспорядочные союзы, но, как и прежде, неизбежно пришли к исчезновению. Законный союз, оканчивающийся разводом, также был испытан, но и эта форма клонится к

исчезновению. Третьей возможностью является прочный брак на основе привязанности и долга. Если такая семья устанавливается с целью и в ожидании передать детям и отдаленному потомству здоровую физическую наследственность и умственные и нравственные достижения цивилизации, то она должна сохраниться. Дети в семьях этого типа будут иметь качества, дающие им возможность сохранить себя в борьбе за существование и продолжить унаследованные социальные формы.

Должны ли мы заключить, что в последнем анализе социальная причинность является объективным или физическим процессом, несмотря на то важное значение, какое имеет в нем воля? Если этот вопрос сводится к метафизическому вопросу о том, не есть ли разум простое проявление материи, то социология не может дать на это определенного ответа. Социология не имеет никакого дела с этим неразрешимым вопросом. Если, напротив, речь идет о том, не обусловлен ли в обществе волевой процесс физическим или же он является независимым и непроизводным, то в этом случае социология может дать ответ.

Роль, которую играют волевые факторы в социальной эволюции, настолько значительна, что человек, коснувшийся этой проблемы только с одной стороны, легко может увидеть в этих факторах непроизводные, независимые причины, а из этого ненаучного представления вытекают многие другие ошибочные представления. Социология имеет дело с явлениями воли на каждом шагу. Действительно, как мы видели, они являются •центральными пунктами, около которых группируются все другие виды социальных перемен. Мало того: социологу приходится иметь дело не только с причинами, которые оказываются не просто физическими, но также и с такими причинами, которые оказываются не просто психическими. Они настолько же сложнее просто психических, насколько психические сложнее просто физических. Это причины социологические — продукты самой социальной эволюции, и настоящий социолог не будет тратить понапрасну время, пытаясь объяснить все человеческое посредством среды и помимо истории.

Поэтому суть вопроса не касается существования или важного значения волевых и чисто социологических причин. Речь идет о том, чтобы узнать, не происходят ли они от более простых явлений, чем сами, и не обусловливаются ли процессами физического и органического мира. На этот вопрос социология и дает свой ответ. Социология есть продукт тех новых понятий природы — естественной причинности и естественного закона,— которые сформировались в сознании ученых в связи с доктринами эволюции и сохранения энергии. Эти понятия как разработанные гипотезы физической и органической науки совсем не похожи на те старые метаэмпирические понятия, которые делали из естественного закона сущность, наделяя ее всемогуществом и помещая ее в мире управляемых ею людей и вещей. Естественные законы суть просто неизменные отношения между силами вне зависимости от того, будут ли это силы физические, психические или социальные. Естественная причина есть просто такая причина, которая в то же время есть и следствие. Во вселенной, известной науке, нет независимых, несвязанных, беспричинных причин. Поэтому под естественной причинностью человек науки подразумевает процесс, в котором каждая причина является также следствием предшествующих причин, в котором каждое действие является в то же время противодействием. Природа есть лишь совокупность соотносящихся друг с другом вещей, в которой каждое изменение причиняется предшествующим изменением и само причиняет последующее изменение и в которой среди всех изменений имеются отношения сосуществования и последовательности, являющиеся неизменными.

В этой системе человек является изменяемым, но независимо изменяемым. Он является функцией бесчисленных изменений. В мире бесконечных изменений он воздействует на этот мир, но только потому, что он часть этого мира. Его воля есть истинная причина, но только потому, что она есть истинное следствие. Вот почему социолог, утверждая реальность социологических сил, совершенно отличных от чисто биологических и чисто физических сил, должен подчеркивать, что они различны лишь настолько, насколько продукты отличны от факторов; насколько протоплазма отлична от некоторых количеств кислорода, водорода, азота и углерода, ее составляющих; насколько организм и его комбинированные действия отличны от группы не связанных тесно клеток. Замечая, что общество есть организация, воздействующая определенным образом на своих членов, социолог смотрит глубже и находит, что всякое социальное действие является в действительности реакцией и как таковое имеет определенные ограничения и условия. Он нигде не находит социальной силы, которая не была бы облечена в физическо-органический процесс или "такой силы, которая не была бы обусловлена в каждый данный момент физическими факторами.

Именно в этой истине социолог видит существенное, значение доктрины "естественных прав". Естественные права, как они некогда понимались, отошли в область отживших верований; социология начинает различать не эти естественные нормы положительного права. Законные права суть права, санкционированные законодательной силой; нравственные права суть правила, санкционированные сознанием общества; естественные

права суть социально необходимые правовые нормы, укрепленные естественным отбором в сфере социальных отношений; и не может быть ни юридических, ни нравственных прав, которые не основывались бы на естественных правах, определяемых таким образом.

Я не пытаюсь этим восстановить старую идею в новой физиологии. Я отбрасываю старую идею, а вместе с ней то употребление слова «естественный», которое отождествляло естественное исключительно с первобытным. Это употребление в настоящее время изгнано из биологии, но оно непростительно удерживается в политических науках многими экономистами и юристами, как если бы естественное значило не более как природное. На научном языке «естественное» стало приближаться к значению «нормальное». В своем безусловно научном смысле естественное есть то, что существует в силу своего участия в космической системе взаимно определяющихся деятельностей; затем в более узком смысле оно есть то, что находится в гармонии с условиями своего существования. Неестественное находится на пути к разложению и исчезновению.

Таким образом, определение социологии как объяснения социальных явлений посредством естественных причин становится несколько яснее. Следовательно, социология является истолкованием социальных явлений посредством психической деятельности, органического приспособления, естественного отбора и сохранения энергии. Как таковая она может быть менее доказуемой наукой по сравнению с науками опытными, но мы не можем допустить, что она есть лишь описательная наука, как это утверждают французские социологи, близко стоящие к философии Конта. Социология есть наука истолковывающая, подтверждающая индукцию дедукцией и относящая следствия к их истинным причинам.

Природа и цель общества

Остается последний вопрос. Какова природа конкретной группы явлений, которую мы изучали? К какому классу естественных предметов она принадлежит? Не есть ли она, как это утверждали Спенсер и другие, организм?

Конечно, она не есть физический организм. Ее части, если она таковые имеет, суть психические отношения. Он сдержатся вместе не материальными связями, но пониманием, симпатией и интересом. Если общество есть организм, оно должно описываться как психофизическое явление — психический организм на физическом основании. Читатель, следовавший за нами до этих страниц включительно, должен будет, я думаю, согласиться, что общество есть нечто большее, чем организм, подобно тому как организм выше и сложнее, чем неорганическая материя. Общество есть организация, отчасти создание бессознательной эволюций, отчасти результат сознательного плана. Организация есть комплекс из психических отношений. Однако подобно организму она может проходить через все фазы эволюции.

Как организм организация может иметь также функции. Функция общества состоит в развитии сознательной жизни и в создании человеческой личности, для этой цели оно в действительности и существует.. Оно есть сознательная ассоциация подобных друг другу существ, развивающая нравственную природу человека. Вся литература и философия, религиозное сознание и общественная политика — все это обязано обмену идей и чувств; под воздействием литературы и философии, культа и политики на умы каждого нового поколения и развивается его тип личности. Следовательно, мы можем сказать, что функция социальной организации, которую социолог всегда должен иметь в виду, состоит "в эволюции личности через все более и более высокие стадии, пока оно не достигнет идеала, называемого нами человечеством.

Следовательно, на каждом шагу социологическая задача является двоякой — узнать/каким образом развились социальные отношения и как они действуют на развитие личности. Другими словами, одна цель социологии состоит в изучении всего, что может быть изучено относительно создания социального человека. Влияние такого изучения на изучение экономики и политики будет понятно для всех, следивших за новейшим прогрессом политической философии. «Экономический человек» Рикардо продолжает еще существовать и выполнять полезную работу; несмотря на наших ученых Яго, утверждающих, что они наблюдали мир в течение этих четырежды семи лет и ни разу «не нашли такого человека, который знал бы, как надо любить себя». Иное дело «естественный человек» Гоббса, единственным состоянием которого, как оно описано в «Левиафане», «была война против всех», но который тем не менее договаривался со своим соседом. Весь этот класс идей и все построенные на них теории, в которых человек отделялся от его социальных отношений, в которых индивид рассматривался как безусловный эгоист, существовавший прежде общества и неохотно вступивший в социальное соединение, уступают дорогу более здравому знанию. Вместо этих понятий отправным пунктом политических теорий будет понятие человека как существа преимущественно и естественно социального, как созданного его социальными отношениями и существующего в качестве человека только благодаря им.

Социальное существо, нормально организованный человек, вознаграждает с лихвой общество за те способности, которыми оно его наделило, и эта истина должна быть исходным пунктом для этического учения предстоящего будущего. Личность не может жить в себе самой, чтобы погибнуть вместе с индивидуальной жизнью. Она распространяется и на бесконечную жизнь человека. Мало-помалу, из века в век общество, создавшее человека, преобразовывается человеком. Особенно важно в этом процессе влияние тех немногих умов, гений которых проникает в неизвестное, тех пионеров мысли и поведения, которые дерзают в одиночестве идти по непроложенным путям, тех самоотверженных, горячо любящих человечество людей, которые часто, несмотря на страдания, муки и оскорбления, указывают возможность новой жизни. Главным образом благодаря всем этим людям масса человечества могла подняться до некоторой степени над физической необходимостью в сферу большего простора, свободы и света.

Ч. Кули. СОЦИАЛЬНАЯ САМОСТЬ[1]

[1]. C oo l e y Ch. The Social Self // The Two Major Works of Charles H. Cooley; Human Nature and the Social Order & Social Organization. Glencoe, 1956. Part II. P. 168—170, 171, 179—185, 187—194, 196—200, 202—207. *(Перевод Т. Новиковой).*

С самого начала следует заметить, что под словом «самость» (self) в данном контексте подразумевается попросту то, что в обыденном языке обозначается местоимениями первого лица единственного числа «я», «меня» (I, me), «мое» (ту), «я сам» (myself). «Самость» и «эго» используются метафизиками и моралистами и во многих других значениях, более или менее отдаленных от «я» обыденного языка и мышления, и с ними я не хотел бы, по возможности, иметь дело. Здесь обсуждается то, что психологи называют эмпирической самостью, т.е., самость, которую можно воспринять и удостоверить с помощью обычного наблюдения. Я определяю ее словом «социальная» не потому, что подразумеваю существование самости, которая не является социальной,— я думаю, что «я» обыденного языка всегда более или менее отчетливо соотносится с другими людьми, как и сам говорящий. Я называю ее социальной потому, что хочу подчеркнуть этот ее социальный аспект и подробно на нем остановиться.

Отличительной чертой идеи, именами которой являются местоимения первого лица, выступает, очевидно, некий характерный тип чувства, которое можно назвать «чувством моего (my-feeleng)» или «чувством присвоения (sence of appropriation)». Почти все виды идей могут быть связаны с этим чувством и быть поэтому названы «я» или «мое», но это чувство и, казалось бы, только оно является определяющим фактором в данном вопросе. Как говорит профессор Джемс в своем замечательном анализе самости, слова «я» (те), и «самость» означают «все вещи, которые способны производить в потоке сознания возбуждение некого особого рода». Эта точка зрения очень полно изложена профессором Хайремом М. Стэнли, работа которого «Эволюционная психология чувства» содержит в себе исключительно плодотворную главу о самоощущении (self-feeling).

Я имею в виду не то, что чувственный аспект самости обязательно важнее любых других, но что он есть непосредственный и решающий признак и доказательство того, чем является «я»; это последняя инстанция, если мы следуем ему и идем дальше него, что, очевидно, делается с целью изучения обстоятельств, а не для того, чтобы подвергнуть сомнению его полномочия. Но конечно же, это изучение истории и ее обстоятельств может оказаться столь же полезным, как и непосредственное рассмотрение самоощущения. Что я хотел бы сделать — так это представить каждый из аспектов в его истинном свете.

Чувство, или ощущение, самости можно рассматривать как инстинктивное, оно, несомненно, развивалось в связи с его важной функцией по стимулированию и объединению всевозможных особых деятельностей индивидов[2]. Оно, таким образом, очень глубоко укоренено в истории человеческого рода и, очевидно, необходимо для любой системы жизни вообще, которая схожа с нашей. По-видимому, оно присутствует в смутной, хотя и действенной, форме с момента рождения каждого индивида и, как и другие инстинктивные идеи или зачатки идей, должно определяться и развиваться опытом, начиная соединяться или, скорее, объединяться с мышечными, зрительными и другими ощущениями, с перцепциями, апперцепциями и концепциями любой степени сложности и бесконечно разнообразными по содержанию и особенно с личными идеями. Между тем само чувство не остается неизменным, но дифференцируется и рафинируется точно так же, как и любое другое необработанное врожденное чувство. Таким образом, сохраняя на каждом этапе свой характерный оттенок или привкус, оно разбивается на бесчисленное множество самоощущений.

Конкретное самоощущение зрелых личностей представляет собой некое целое, составленное из этих разнообразных ощущений, наряду с изрядной дозой первичного чувства, которое не было расколото подобным образом. Оно в полной мере принимает участие в общем развитии сознания, но никогда не теряет того особого привкуса присвоения, который заставляет нас обозначать любую мысль местоимением первого лица.

[2] Вероятно, его следует рассматривать скорее в качестве какого-либо общего инстинкта, дифференцированными формами которого являются гнев и т.д., нежели стоящим особняком.

Социальная самость — это просто какая-то идея или система идей, извлеченная из коммуникационной жизни и взлелеянная разумом как своя собственная. Главным образом самоощущение располагается *внутри* общей жизни, а не вне ее; то особое стремление или тенденция, эмоциональным аспектом которого оно является, находится в основном в мире личностных сил, отраженном в сознании миром личностных впечатлений.

Будучи связанной с мыслью о других людях, идея самости всегда есть сознание человеком особого дифференцированного аспекта своей собственной жизни, потому что это тот аспект, который должен поддерживаться целенаправленностью и стремлением; и его более агрессивные формы имеют тенденцию присоединяться ко всему тому, что человек находит одновременно благоприятствующим его собственным намерениям и расходящимся с намерениями других людей, с которыми он находится в состоянии ментального контакта. Именно здесь они нужны более всего, чтобы выполнять свою функцию стимулирования своеобычной деятельности, поощрения тех личностных вариаций, которых, как представляется, требует общий план жизни. И небо, говорит Шекспир, разделяет

> Людское состоянье в назначеньях разных,
> Стремлению давая ход в движенье беспрерывном.

Самоощущение есть одно из средств, с помощью которого достигается это разнообразие.

В соответствии с этой точкой зрения мы полагаем, что агрессивная самость проявляется наиболее заметным образом в присваиваемости (appropriativeness) объектов общего желания, соответствующей индивидуальной потребности во власти над такими объектами, чтобы обеспечить свое собственное развитие, а также угрозе противодействия со стороны других людей, которые также испытывают потребность в них. Это относится не только к материальным объектам, но предполагает и стремление точно так же завладеть вниманием и привязанностью других людей, всякого рода планами и амбициями, включая сюда и наиболее благородные и оригинальные намеречия, которые только могут вынашиваться в чьей-либо душе, да и вообще любой мыслимой идеей, которая может показаться кому-то частью его жизни и нуждающейся в том, чтобы ее отстаивали перед лицом чьих-либо еще притязаний. Попытка ограничить значение слова «самость» и его производных более низкими целями личности совершенно произвольна, расходится с общепринятым смыслом, выражающимся в эмфатическом употреблении слова «я» в связи с чувством долга и другими высокими мотивами, и нефилософична, поскольку игнорирует функцию самости как органа некого специфического стремления, которое может проявляться как на более высоком, так и на более низком уровне.

То, что «я» обыденного языка имеет значение, содержащее в себе определенного рода отношение к другим людям, предполагается в самом том факте, что это слово и те идеи, которые оно представляет, суть феномены языка и коммуникационной жизни. Сомнительно, что вообще можно пользоваться языком, не думая при этом более или менее отчетливо о ком-либо еще, и, несомненно, те вещи, которым мы дадим имена и которые занимают большее место в рефлексирующем мышлении, почти всегда запечатлеваются в нашем сознании в результате общения с другими людьми. Там, где нет коммуникации, не может быть никакой его номенклатуры и никакого развитого мышления. То, что мы называем «я» (те), «мое», или «я сам», является в таком случае какой-то обособленной от общей жизни, но наиболее интересной ее частью, интерес к которой вырастает из самого того факта, что она является одновременно и общей и индивидуальной. Иначе говоря, нас она занимает как раз потому, что именно эта сторона сознания живет и борется в общественной жизни, пытаясь запечатлеть себя в сознании других людей. «Я» — это воинственное социальное стремление, старающееся удержать и расширить свое место в общем потоке стремлений. Настолько, насколько оно может, оно возрастает, как и вся жизнь. Мыслить его отдельно от общества — явная нелепость, в которой невозможно обвинить того, кто действительно *видел* его, как некий факт жизни.

> Der mensch erkennt sich nur in Menschen, nur

Das Leben lehret jedem was er sei[3].

[3] Лишь в людях можно познавать себя,
Лишь жизнь нас учит, что мы в самом деле (Гёте, Тассо, акт 2, сцена 3)

Если какая-то вещь не имеет никакого отношения к другим вещам, которые присутствуют в сознании человека, он едва ли будет думать о ней вообще, а если он о ней подумает, он не сможет, мне кажется, рассматривать ее отчетливо, как свою вещь. [Чувство присвоения всегда есть, так сказать, тень общественной жизни, и когда мы испытываем его, мы ощущаем в связи с ним и эту последнюю. Так, если мы думаем о каком-нибудь укромном уголке леса как о «своем», это происходит потому, что мы также думаем, что другие туда не заходят. Что касается тела, я сомневаюсь, имеем ли мы какое-либо чувство собственности (my-feeling) в отношении любой его части, которое не полагалось бы, пусть даже очень смутно, имеющим какое-то действительное или возможное отношение к кому-то еще. Интенсивное самосознание в отношении него вырастает вместе с инстинктами или переживаниями, связывающими его с мыслями о других людях. Внутренние органы, как, например, печень, не полагаются отчетливо нашими, если мы не пытаемся сообщить нечто, их касающееся, как, скажем, когда они причиняют нам страдания и мы пытаемся вызвать сочувствие.

«Я» в таком случае — это не все сознание целиком, но какая-то особенно сосредоточенная, энергичная и сплоченная его часть, обособленная от остального, но постепенно сливающаяся с ним и все же обладающая некоторой фактической вычлененностью, так что человек в общем достаточно ясно показывает в своем языке и поведении, что есть его «я» в отличие от тех мыслей, которые он не присваивает. Его можно представлять, как это уже предлагалось, по аналогии с каким-либо цветным пятном в центре светлой стены. Его можно также, и, вероятно, это более оправданно, сравнить с ядром живой клетки, не обособленным полностью от окружающего его вещества, из которого оно и образовано, но более активным и более определенно организованным.

Отношение к другим людям, предполагающееся в чувстве самости, может быть отчетливым и детально определенным, как, например, когда какой-нибудь мальчик испытывает стыд, застигнутый матерью за занятием, которое та запретила, либо оно может быть смутным и расплывчатым, как, например, когда человек испытывает стыд, совершив нечто такое, что одна только его совесть, выражающая чувство социальной ответственности, может обнаружить и осудить, но оно всегда присутствует. Нет никакого чувства самости в гордости или стыде помимо его коррелята -чувства тебя, его, их. Даже скупец, втайне любующийся своим спрятанным золотом, может почувствовать «мое» только в том случае, если он вспоминает о мире людей, над которым он имеет тайную власть; и нечто подобное происходит со всеми видами спрятанных сокровищ. Многие художники, скульпторы и писатели любили утаивать свои работы от мира, наслаждаясь ими в уединении до тех пор, пока полностью не удовлетворялись ими; но удовольствие здесь, как и во всех тайнах, зависит от ощущения ценности сокрытого.

В весьма обширном и интересном разряде случаев социальное отношение принимает форму довольно определенного мысленного образа того, как самость человека, т.е. любая присваиваемая им идея, проявляется в каком-то отдельном сознании, и самоощущение человека определяется отношением к ощущению его самости, приписываемому этому другому сознанию. Социальную самость такого рода можно назвать отраженной, или зеркальной, самостью:

Наша общая судьба —
Другим быть словно зеркала.

Мы видим наше лицо, фигуру и одежду в зеркале, интересуемся ими, поскольку все это наше, бываем довольны ими или нет в соответствии с тем, какими мы хотели бы их видеть, точно так же в воображении воспринимаем в сознании другого некоторую мысль о нашем облике, манерах, намерениях, делах, характере, друзьях и т.д., и это самым различным образом на нас воздействует.

Самопредставление такого рода, очевидно, имеет три основных элемента: образ нашего облика в представлении другого человека, образ его суждения о нашем облике и какое-то самоощущение, например гордость или унижение. Сравнение с зеркалом едва ли предполагает второй элемент — воображаемое суждение,— который является весьма существенным. К гордости или стыду нас толкает не просто наше механическое отражение, но некое вымышленное мнение, воображаемое воздействие этого отражения на сознание другого человека. Это явствует из того факта, что характер и влияние этого другого, в чьем сознании мы видим себя, существенным образом определяют различия нашего самоощущения. Мы стыдимся показаться уклончивыми в присутствии прямодушного человека, трусливыми — в присутствии храброго, грубыми — в глазах человека с утонченными манерами и т.д. Мы всегда воображаем и, воображая, разделяем

суждения другого сознания. Перед одним человек станет хвалиться таким своим поступком — скажем, ловкой торговой сделкой,— о котором ему будет стыдно рассказать другому.

Как мы предположили ранее, самоощущение можно рассматривать как в известном смысле антитезу, или, скорее, как дополнение той бескорыстной и созерцательной любви, которая имеет тенденцию стирать ощущение какой-то отличающейся индивидуальности. Любовь такого рода не предполагает никаких границ, она есть то, что мы ощущаем, когда наше сознание расширяется и усваивает новый неопределенный опыт, тогда как самоощущение сопровождает присвоение, ограничение и отстаивание какой-то определенной части опыта; первая побуждает нас принимать жизнь, а второе — индивидуализировать ее. Самость с этой точки зрения можно рассматривать как своего рода цитадель сознания, укрепленную снаружи и хранящую отборные сокровища внутри, в то время как любовь является безраздельным участием в жизни остальной вселенной. В здоровом сознании одно способствует росту другого: то, что мы любим сильно и в течение долгого времени, мы скорее всего вносим внутрь цитадели и утверждаем в качестве части нас самих. С другой стороны, только базируясь на прочной самости, личность способна проявлять постепенно возрастающие сочувствие и любовь.

Идея, что самость и местоимения первого лица суть имена, которые род человеческий научился применять к некой инстинктивной установке сознания и которые каждый ребенок в свою очередь учится применять подобным же образом, пришла ко мне при наблюдении за моей дочерью М. в то время, когда она училась использовать эти местоимения. Когда ей было два года и две недели, я с удивлением обнаружил, что у нее сложилось ясное понятие о первом и втором лице притяжательных местоимений. На вопрос: «Где твой нос?» она накрывала его ладошкой и говорила «мой». Она понимала также, что когда кто-то другой говорил «мой» и дотрагивался до какого-то предмета, это означало нечто противоположное тому, что она имела в виду, когда трогала тот же самый предмет и употребляла то же самое слово. И всякий, кто захочет поупражнять свою фантазию в отношении того, каким образом все это появляется в сознании, не имеющем никакого средства узнать что-либо о «я» или «мой» за исключением того, что можно почерпнуть, слыша их в разговорах, обнаружит, что это должно быть крайне затруднительно. В отличие от других слов личные местоимения не имеют, по всей видимости, никакого постоянного значения, но выражают различные и даже противоположные идеи, когда используются различными лицами.

Замечательно то, что дети справляются с этой проблемой прежде, чем их абстрактное мышление приобретает сколько-нибудь значительную силу. Как могла двухлетняя девочка, не особо размышляющая, обнаружить, что «мой» не есть признак какого-то определенного предмета, как другие слова, но обозначает для каждого употребляющего это слово человека нечто различное? И еще более удивительно то, каким образом она могла прийти к правильному его употреблению в отношении себя самой, которое, казалось бы, *не могло быть скопировано с кого-то еще* просто потому, что больше никто не употреблял его для описания того, что принадлежит ей. Значение слов узнается, когда они связываются с другими явлениями. Но как можно узнать значение слова, которое при использовании другими никогда не связывается с тем же явлением, что и при правильном использовании применительно к чьей-либо самости? Наблюдая за употреблением ею местоимения первого лица, я был одновременно поражен тем, что она применяла его почти исключительно в притяжательном смысле, а также тем, что происходило это, когда ее настроение характеризовали агрессивность и стремление к самоутверждению. Было обычным делом увидеть Р., тянущего за один конец игрушки, а М.— за другой и вопящую «мое, мое». Иногда слово «я» (те) оказывалось приблизительно эквивалентным слову «мое» и использовалось также, чтобы привлечь к себе внимание, когда М. хотела, чтобы для нее что-нибудь сделали. Другое распространенное употребление слова «мое» имело целью потребовать нечто такое, чего у нее совсем не было. Так, если у Р. было такое, чего и ей бы хотелось, например тележка, она восклицала: «Где *моя* тележка?».

Мне кажется, она могла научиться использовать эти местоимения приблизительно следующим образом. Самоощущение всегда при этом было налицо. С первой же недели она желала определенные вещи, кричала и боролась за них. Она также узнала путем наблюдения и противостояния о схожих присвоительных тенденциях Р. Таким образом, она не только сама имела это ощущение, но, связывая его с его видимым выражением, вероятно, угадывала его, сопереживала ему и возмущалась им у других. Хватание, дерганье и крик должны были ассоциироваться с ее собственным ощущением и напоминать об этом ощущении, когда наблюдались у других. Они должны были составить некий язык, предшествующий использованию местоимений первого лица, для выражения идеи самости. Теперь все было готово для появления слова, дающего имя этому переживанию. Она наблюдала, как Р., оспаривая и присваивая что-либо, часто восклицал «мое», «мой», «дай это мне», «я это хочу» и т.п. Нет ничего естественнее в таком

случае, что она должна была принять эти слова в качестве имен для частого и острого переживания, с которым она уже была знакома по собственному опыту и которое она научилась узнавать в других. Таким образом мне показалось, как я это отметил в своих тогдашних записях, что «мое» и «мой» суть просто названия конкретных образов присваиваемости, охватывающие как чувство присвоения, так и его проявления.

Если это верно, то ребенок не вырабатывает первоначально идею «я» и «ты» в какой-то абстрактной форме. Местоимение первого лица есть в конечном счете знак какой-то конкретной вещи, но эта вещь является прежде всего не телом ребенка или его мышечными ощущениями как таковыми, но феноменом агрессивного присвоения, осуществляемого им самим, наблюдаемого у других, возбуждаемого и истолковываемого наследственным инстинктом. Очевидно, это преодолевает вышеуказанную трудность, а именно отсутствие какого-то общего содержания выражения «мое» в устах другого и при его употреблении данной самостью. Это общее содержание обнаруживается в чувстве присвоения, а также в видимых и слышимых признаках этого чувства. Конечно, некий элемент различия и борьбы входит в противоположные действия и намерения, которые, очевидно, выражают «мое» другого и собственное «мое». Когда другое лицо говорит «мое», глядя на нечто такое, на что и я претендую, я сопереживаю ему достаточно, чтобы понять, что он имеет в виду, но это — враждебное сопереживание, подавляемое другим, более ярко выраженным «мое», связанным с идеей присвоить этот объект себе.

Другими словами, значение «я» и «мое» познается так же, как познается значение надежды, сожаления, досады, отвращения и тысяч других слов, выражающих эмоции и чувства, т.е. испытывая это чувство, учитывая его в других, связав с тем же самым способом его выражения и, наконец, слыша сопровождающее его слово. Что касается ее сообщения и роста, идея самости, как представляется, не выказывает никаких особенностей, но, по существу, подобна другим идеям. В своих более сложных формах, подобных тем, которые выражаются словом «я» в разговоре или литературе, она представляет собой социальное чувство или тип чувства, определяемый и развиваемый общением — способом, о котором говорилось в предыдущей главе.

Таким образом, я полагаю, что, как правило, первоначально ребенок связывает «я» (I, me) только с теми идеями, по отношению к которым пробуждается и определяется чувство присвоения. Он присваивает свой нос, глаз или ноги почти точно так же, как и игрушку — в противоположность другим носам, глазам и ногам, которыми он не может распоряжаться. Маленьких детей нередко дразнят, грозя отнять один из этих органов, и они ведут себя именно так, как если бы это находящееся под угрозой «мое» действительно было каким-то отделимым объектом, подобно всем известным им объектам. И как я предположил, даже во взрослой жизни «я» (I, me) и «мое» применяются в строгом смысле только к тем вещам, которые выделены среди прочих как свойственные лишь нам одним, через определенное противопоставление. Они всегда подразумевают социальную жизнь и отношение к другим людям. То, что наиболее отчетливо представляется моим, является очень личным (private), это верно, но это та часть личного, которую я храню в противовес остальному миру, не отдельная, но особая часть. Агрессивная самость есть, по сути, некая воинственная сторона сознания, очевидной функцией которой является стимулирование специфических деятельностей, и хотя эта воинственность может и не проявляться в явной, внешней форме, она всегда присутствует в качестве некой психической установки.

Процесс, в ходе которого у детей развивается самоощущение зеркального типа, можно проследить без особых затруднений. Изучая движения других столь пристально, как они это делают, они вскоре замечают связь между своими собственными действиями и изменениями этих движений, т.е. они замечают свое влияние на других людей или власть над ними. Ребенок присваивает видимые действия своего родителя или няни, свое влияние на которых он обнаруживает, совершенно таким же образом, каким он присваивает одну из частей своего тела или какую-нибудь игрушку, и он пытается сделать что-нибудь с этой своей новой собственностью. Шестимесячная девочка пытается самым явным и преднамеренным образом привлечь к себе внимание, вызвать своими действиями некоторые из тех движений других людей, которые она присвоила. Она вкусила радость быть причиной, располагать социальной властью и жаждет этого еще больше. Она будет тянуть за юбку мать, изгибаться, лепетать, протягивать свои ручонки, все время ожидая того эффекта, на который она надеется. Эти представления придают ребенку даже в этом возрасте некую видимость того, что называют аффектацией, т.е. она кажется чрезмерно озабоченной тем, что другие люди думают о ней. Аффектация существует в любом возрасте, когда страсть влиять на других перевешивает устоявшийся характер и отмечает его какой-нибудь бросающейся в глаза позой или вывертом. Поучительно обнаружить, что даже Дарвин в детстве был способен отступиться от правды ради того, чтобы произвести впечатление. «Например,— пишет он в своей автобиографии,— однажды я собрал много ценных фруктов с деревьев

отца, спрятал их в кустах и затем побежал, задыхаясь от спешки, сообщить всем новость, что я обнаружил склад краденых фруктов»[4].

[4] Life and Letters of Ch. Darwin. P. 27.

Юный актер вскоре выучивается разыгрывать разные роли для разных людей, тем самым показывая, что он начинает понимать индивидуальность и предвосхищать механизм ее действия. Если мать или няня более нежна, чем справедлива, она почти наверняка будет «обрабатываться» систематическим плачем. Повсеместно замечено, что дети часто ведут себя со своей матерью хуже, чем с другими, менее симпатичными, людьми. Очевидно, что некоторые из новых людей, которых видит ребенок, производят на него сильное впечатление и пробуждают желание заинтересовать их и понравиться им, в то время как другие ему безразличны или отталкивают его. Причину этого иногда можно узнать или отгадать, иногда — нет, но сам факт избирательного интереса, восхищения, престижа становится очевидным к концу второго года жизни. К этому времени ребенок уже заботится о своем отражении в одной личности больше, в другой — меньше. Более того, он вскоре объявляет близких и сговорчивых людей «моими», классифицирует их среди прочего своего имущества и защищает эту свою собственность от новых посягательств. М. в 3 года сильно возмущалась притязаниями Р. на их мать. Последняя была *«моей* мамой», когда бы ни возник этот вопрос.

Сильная радость или печаль зависят от обращения с этой рудиментарной социальной самостью. В случае М. еще на четвертом месяце жизни я заметил некий «обиженный» крик, который, кажется, указывал на чувство пренебрежения ею. Он совершенно отличался от крика боли или злости, но казался почти идентичным крику страха. Его вызывал малейший оттенок упрека в голосе. В то же время, если люди обращали на нее внимание, смеялись, подбадривали ее, она веселилась. Примерно в 15 месяцев она превратилась в «совершенную маленькую актрису», которая, казалось, жила по большей части впечатлениями от эффекта, производимого ею на других людей. Она постоянно и совершенно очевидно расставляла ловушки для привлечения к себе внимания и выглядела смущенной или плакала при любых проявлениях неодобрения или безразличия. Временами казалось, что она не может пережить этого отпора, она плакала долго и горько, отказывалась от утешения. Если ей случалось совершить какую-нибудь маленькую шалость, которая смешила окружающих, она непременно повторяла ее, громко .и напоказ смеясь в подражание другим. Она располагала целым репертуаром этих маленьких спектаклей, которые охотно разыгрывала перед отзывчивой публикой и даже испытывала на чужих. Я видел, как в 16 месяцев, когда Р. отказался дать ей ножницы, она села и притворно заплакала, оттопыривая нижнюю губу, всхлипывая и между делом, время от времени поднимая глаза посмотреть, какой эффект это производит.

В подобных явлениях мы довольно очевидно, мне кажется, имели дело с зародышем личного честолюбия (ambition) любого рода. Воображение, сотрудничающее с инстинктивным самоощущением, уже создало некое социальное «я», и оно стало основным объектом интереса и стремления.

Прогресс с этого момента направляется главным образом по пути все большей определенности, полноты и углубленности воображения состояния сознания других. Маленький ребенок обдумывает некие видимые или слышимые явления, пытается их вызвать и не отступается от их видимости; взрослый же желает вызвать в других некое внутреннее, невидимое состояние, вообразить которое ему позволяет его собственный, более богатый опыт^ и выражение которого является лишь знаком. Даже взрослые, однако, не делают различий между мыслями других людей и их видимым выражением. Они воображают всю вещь сразу, и их идея отличается от идеи ребенка главным образом сравнительным богатством и сложностью элементов, которые сопровождают и истолковывают видимый или слышимый знак. Налицо также и продвижение от наивного к утонченному в социально самоутверждающем действии. Вначале ребенок просто и очевидно делает что-либо ради эффекта. Позднее возникает стремление подавить видимость подобного поведения, аффектация, безразличие, презрение и т.д. становятся притворными, чтобы скрыть реальное желание аффинировать образ самости (self-image). Замечено, что открытая погоня за хорошим мнением малоэффективна и неприемлема.

Я сомневаюсь, что существуют какие-либо регулярные стадии развития социального самоощущения и самовыражения, общие для большинства людей. Самоощущения развиваются, поднимаясь по незаметным переходным ступеням от грубого инстинкта присвоения новорожденных, и их проявления могут быть самыми разными в различных конкретных случаях. Многие дети с первого же полугодия жизни очевидным образом выказывают самосознание; у других же его проявления очень незначительны в любом возрасте. Третьи проходят периоды аффектации, длительность и время наступления которых, очевидно, могут быть самыми разными. В детстве, как и во все периоды жизни, поглощение некоторой идеей, отличной от идеи социальной самости, имеет тенденцию

вытеснять самосознание.

Половое различие в развитии социальной самости очевидно с самого начала. Девочки обладают, как правило, более впечатлительной социальной восприимчивостью; они более откровенно заботятся о социальном образе, изучают его, больше размышляют о нем и, таким образом, даже на первом году жизни выказывают больше утонченности (finisse) аффектации, которых мальчикам по сравнению с ними часто недостает. Мальчики больше заняты мышечной активностью ради нее самой и созиданием, их воображение несколько меньше занято личностями, больше вещами. В девочке das ewig Weibiiche[5], трудноописуемое, но совершенно безошибочное, проявляется, как только она начинает замечать людей, и одной из сторон его, конечно, является менее простое и устойчивое эго, более сильное побуждение перейти на точку зрения другого и поставить радость и печаль в зависимость от образа в его сознании. Можно не сомневаться, что женщины, как правило, зависят от непосредственной личной поддержки и поощрения больше, чем мужчины.

[6] Вечно таинственное.— *Прим. перев.*

Мышление женщины нуждается в фиксации на каком-либо человеке, в сознании которого она может найти устойчивый и неотразимый образ самой себя, которым она может жить. Если такой образ — в реальном или идеальном лице — найден, преданность этому образу становится источником силы. Но подобная сила зависит от этого личностного дополнения, без которого женский характер способен некоторым образом превратиться в брошенный командой и плывущий по течению корабль. Мужчины, более предрасположенные к агрессии, обладают большей по сравнению с женщиной самостоятельностью. Но в действительности никто не может выстоять в одиночку, и видимость самостоятельности обязана просто большей инерции и континуальности характера, который накапливает в себе (свое) прошлое и сопротивляется непосредственным воздействиям. Воображение того, какими мы представляемся другим, является прямо или косвенно той силой, которая контролирует любое нормальное сознание.

Смутные, но сильнодействующие стороны самости, связанные с инстинктом пола, можно рассматривать подобно другим сторонам в качестве выражения потребности осуществлять власть, соотнесенного с личностной функцией. Юноша, я полагаю, застенчив именно потому, что осознает неясные импульсы агрессивного инстинкта, не зная ни как осуществить его, ни как подавить. С противоположным полом, наверное, дело по большей части обстоит так же: робкие всегда агрессивны в сердце, они сознают заинтересованность в другом лице, в потребности быть чем-то для него. А более развитая сексуальная страсть у обоих полов есть в значительной степени переживание власти, господства, присвоения. Нет такого состояния, которое говорило бы «мой, мой» более неистово. Потребность быть объектом присвоения или господства, которая, по крайней мере у женщин, равным образом сильна, имеет, по сути, ту же самую природу, поскольку цель ее — привлечение к себе некой деспотической страсти. «Желание мужчины — женщина, а желание женщины — желание мужчины»[6].

[6] Приписывается мадам де Сталь.

Хотя у мальчиков в общем менее впечатлительная социальная самость, чем у девочек, среди них в этом отношении существуют значительные различия. У некоторых из них наблюдается ярко выраженная наклонность к finesse и позерству, тогда как другие почти вовсе ее не имеют. У последних менее живое личное воображение; они лишены аффектации, главным образом потому, вероятно, что не имеют никакой яркой идеи о том, какими они кажутся другим, и, таким образом, ими не движет желание скорее казаться, чем быть. Они не обижаются на пренебрежение потому, что не чувствуют его, не стыдятся, не ревнуют, не испытывают тщеславия, гордости или угрызений совести, ибо все это подразумевает воображение человеком сознания другого. Я знаю детей, которые никогда не проявляли никакой наклонности ко лжи, которые вообще не могли понять цель или природу обмана или утаивания любого рода, например в таких играх, как прятки. Этот исключительно упрощенный взгляд на вещи может происходить из необычной поглощенности наблюдением и анализом безличного, как это очевидно в случае с Р., чей интерес к другим фактам и их отношениям настолько преобладал над его интересом к личным взаимоотношениям, что никакого искушения принести первый в жертву последнего не возникало. Создается впечатление, что ребенок такого типа стоит вне морали; он не грешит и не раскаивается, не обладает знанием о добре и зле. Мы вкушаем от древа этого познания, когда начинаем воображать сознания других людей и, таким образом, осознаем тот конфликт личных побуждений, который совесть стремится смягчить.

Простота — приятная черта у детей, да и вообще в любом возрасте, но она не обязательно должна вызывать восхищение, равно как и аффектация не является целиком и полностью злом. Чтобы быть нормальным, жить в мире, как дома, с видами на власть, полезность или успех, человек должен обладать способностью к той проницательности воображения, проникающего в чужие сознания, которая лежит в основе такта

savoir-faire, морали и благотворительности. Эта проницательность предполагает усложнение, некоторое понимание и разделение тайных импульсов человеческой природы. Простота, которая есть просто отсутствие подобной проницательности, указывает на определенный недостаток.

Существует, однако, и другая разновидность простоты, которая является принадлежностью утонченного и чувствительного характера, который в то же время имеет достаточно силы и ясности ума, чтобы содержать в строгом порядке множество импульсов, которым он открыт, и таким образом сохранять свою непосредственность и единство. Можно обладать простотой простофили, а можно быть простым в том смысле, который имел в. виду Эмерсон, когда говорил: «Быть простым — значит, быть великим». Аффектация, тщеславие и подобное указывают на отсутствие подлинного усвоения воздействий, исходящих от нашего ощущения того, что другие думают о нас. Вместо того чтобы формировать индивида постепенно и не нарушая его равновесия, эти воздействия подавляют его до такой степени, что он кажется уже не самим собой, позируя безо всякой надобности, и, следовательно, глупым слабым и достойным презрения. Показная улыбка, «дурацкий восхваления лик» — это типичная для всякой аффектации внешняя, надеваемая на себя маска, слабая и глупая мольба об одобрении. Когда человек быстро растет, с рвением учится, поглощенный чужими идеалами, ему грозит опасность этой потери равновесия; мы действительно замечаем ее у чувствительных детей, особенно девочек, у молодых людей между 15 и 20 годами и в любом возрасте — у лиц с неустойчивой индивидуальностью.

Это нарушение нашего равновесия в результате того, что воображение ставит нас на позицию другого лица, означает, что мы подвергаемся его влиянию. В присутствии того, кто для нас важен, мы склонны разделять и — путем сопереживания — принимать его суждения о нас, придавать новое значение идеям и целям, пересматривать жизнь в свете этих суждений. У очень чувствительной натуры эту наклонность зачастую легко заметить в обычном разговоре и в каких-то тривиальных случаях. Благодаря импульсу, исходящему непосредственно из утонченности и его восприятия, такой человек беспрерывно воображает, каким он представляется своему собеседнику, и отождествляет на данный момент этот образ с самим собой. Если другой показывает, что считает его хорошо информированным в каком-либо темном предмете, он охотно напускает на себя ученый вид; если его принимают за рассудительного, он выглядит так, как будто он таким и является; если упрекают в нечестности, он кажется виноватым, и т.д. Короче говоря, чувствительный человек в присутствии какой-то впечатляющей его личности имеет склонность становиться на это время своей интерпретацией того, чем он представляется другому. Только тугодум не почувствует, что это в некоторой степени верно для всех нас. Конечно, явление это обычно временное и в чем-то поверхностное; но оно типично для всякого влияния (ascendancy) и помогает нам понять, как люди приобретают над нами власть, каким-либо образом захватывая наше воображение, и как растет и оформляется, угадывая облик нашей наличной самости для других сознаний, наша индивидуальность.

До тех пор пока характер открыт и способен к росту, он сохраняет соответствующую впечатлительность, которая не является слабостью, если только она не растворяет в себе способность усвоения и организации. Я знаю людей, чья карьера является доказательством характера устойчивого и агрессивного, которые обладают почти женской чувствительностью в отношении того, какими они кажутся другим. В характере, как и во всякой стороне жизни, для здоровья требуется равноправный союз устойчивости и гибкости.

Ч. Кули. ПЕРВИЧНЫЕ ГРУППЫ[1]

[1] Cooley Ch. Primary Groups // Cooley Ch. Social Organization. Cilencoe, 1956. P. 23-31 *(Перевод Т. Новиковой).*

Значение первичных групп.— Семья, игровая площадка и соседи.— Как велико влияние более широкого общества.— Значение и устойчивость «человеческой природы».— Первичные группы, воспитатели человеческой природы.

Под первичными группами я подразумеваю *группы, характеризующиеся тесными, непосредственными связями* (associations) *и сотрудничеством.* Они первичны в нескольких смыслах, но главным образом из-за того, что являются фундаментом для формирования социальной природы и идеалов индивида. Результатом тесной связи в психологическом плане является определенное слияние индивидов в некое общее

целое, так что даже самость индивида, по крайней мере во многих отношениях, оказывается общей жизнью и целью группы. Возможно, наиболее простой способ описания этой целостности — сказать, что они есть некое «мы»; *она заключает в себе тот тип сопереживания и взаимного отождествления, для которого «мы» является естественным выражением.* Человек живет, погружаясь в эту целостность ощущения, и обнаруживает главные цели своей воли именно в этом ощущении.

Не следует предполагать, что единство первичной группы есть единство сплошной гармонии и любви. Это всегда дифференцированное и, как правило, состязательное единство, допускающее самоутверждение и различные присвоительные страсти; но страсти эти социализированы сопереживанием и подчиняются или имеют тенденцию подчиняться упорядочению со стороны некого общего настроения. *Индивид будет предъявлять какие-то претензии, но главный объект, на который они направлены, будет желанным местом в мыслях других, и он почувствует приверженность общим стандартам служения и честной игры.* Так, мальчик будет оспаривать у своих товарищей место в команде, но превыше таких споров будет ставить общую славу своего класса и школы.

Наиболее важные, хотя никоим образом не единственные, сферы этой тесной связи и сотрудничества — семья, игровая группа детей, соседи и общинная группа старших. Они практически универсальны, присущи всем временем и всем стадиям развития; соответственно они составляют основу всего универсального в человеческой природе и в человеческих идеалах.

Лучшие сравнительные исследования семьи, такие, как работы Вестермарка[2] и Говарда[3], представляют ее нам не только как некий универсальный институт, но и как в большей степени одинаковую во всем мире, чем это можно было вывести из преувеличения роли различных специфических обычаев ранней школой исследователей. Нельзя сомневаться и во всеобщем преобладании игровых групп среди детей и неформальных объединений среди старших. Такая связь, очевидно, воспитывает человеческую природу в окружающем нас мире, и нет никакой явной причины предполагать, что это положение дел где-то или в какое-то время чем-то существенно отличалось.

Что касается игры, я мог бы, если бы это не было предметом обычных наблюдений, привести многочисленные иллюстрации всеобщности и спонтанности группового обсуждения и сотрудничества, которым она дает начало. Главное заключается в том, что жизнь детей, особенно мальчиков приблизительно старше 12 лет, протекает в различных компаниях (fellowships), в которые их симпатии, амбиции и честь часто вовлекаются даже в большей степени, чем это имеет место в семье. Большинство из нас может вспомнить примеры того, как мальчики стойко выносят несправедливость и даже жестокость, но не жалуются на товарищей родителям или учителям, например при издевательствах над новичками, столь распространенных в школах, с которыми по этой самой причине так тяжело бороться. А как развита дискуссия, как убедительно общественное мнение, как горячи амбиции в этих компаниях!

И эта легкость юношеских связей не является, как это иногда предполагается, чертой, свойственной только английским и американским мальчикам; опыт нашего иммигрантского населения очевидно показывает, что потомство даже рестриктивных цивилизаций на Европейском континенте образует самоуправляющиеся игровые группы с почти такой же легкостью. Так, мисс Джейн Аддамс, отметив почти полную универсальность «банды», говорит о непрекращающейся дискуссии по поводу каждой детали деятельности банды, замечая, что «в этих социальных песчинках, если можно так выразиться, молодой гражданин учится действовать на основе своих собственных решений»[4].

[2] The History of Human Marriage.

[3] A History of Matrimonial Institutions.

[4] Newer Ideals of Peace. P. 177.

О соседской группе можно сказать в общем, что, начиная с того времени, когда люди стали образовывать постоянные поселения на земле, и по крайней мере вплоть до появления современных индустриальных городов, она играла главную роль в первозданном, сердечном общежитии людей. У наших тевтонских предков сельская община была, по-видимому, основной сферой сопереживания и взаимопомощи для простых людей на протяжении всех «темных» и средних веков и во многих отношениях она остается таковой и в настоящее время. В некоторых странах мы все еще застаем ее былую жизненность, особенно в России, где *миръ,* или самоуправляющаяся сельская группа, является главной сценой жизни наряду с семьей для примерно 50 миллионов крестьян.

В нашей собственной жизни близость с соседями была нарушена в результате роста запутанной сети более широких контактов, которая оставляет нас чужаками для

людей, живущих в том же доме, что и мы. Этот принцип работает, хотя и менее очевидно, даже в деревне, ослабляя нашу экономическую и духовную общность с нашими соседями. Насколько этот процесс характеризует здоровье развития и насколько — болезнь, до сих пор, наверное, все еще не ясно.

Наряду с этими практически универсальными типами первичной связи существует множество других, формы которых зависят от особенного состояния цивилизации; единственно существенная вещь, как я уже сказал,— это некая близость и слияние личностей. В нашем собственном обществе, будучи слабо связаны местом проживания, люди легко образуют клубы, братства и тому подобное, основанные на сходстве, которое может привести к реальной близости. Многие такие отношения складываются в школе и колледже, а также среди мужчин и женщин, объединенных в первую очередь своим занятием, как, например, рабочие одной профессии и т. п. Там, где налицо хоть небольшой общий интерес и общая деятельность, доброжелательность растет, как сорняк на обочине.

Но тот факт, что семья и соседские группы являются наиболее влиятельными в открытую будущему и пластичную пору детства, делает их даже в наше время несравненно более значительными, чем остальные группы.

Первичные группы первичны в том смысле, что они дают индивиду самый ранний и наиболее полный опыт социального единства, а также в том смысле, что они не изменяются в такой же степени, как более сложные отношения, но образуют сравнительно неизменный источник, из которого постоянно зарождаются эти последние. Конечно, они не являются независимыми от более широкого общества, но до некоторой степени отражают его дух, как, например, немецкая семья и немецкая школа довольно отчетливо несут на себе печать немецкого милитаризма. Но он в конечном счете подобен приливу, проникающему в устья рек, но, как правило, не поднимающемуся по ним достаточно далеко. У немцев и еще в большей степени у русских крестьянство создало традиции свободного сотрудничества, почти независимые от характера государства; и существует известная и хорошо обоснованная точка зрения, что сельская коммуна, самоуправляющаяся в том, что касается ее местных дел, и привыкшая к дискуссии, является очень широко распространенным институтом в устоявшихся сообществах и наследницей автономии, схожей с той, которая ранее существовала в семейной общине. «Создает царства и устанавливает республики человек, но община кажется прямо вышедшей из рук Всевышнего»[5].

В наших городах переполненные дома, общая экономическая и социальная неразбериха нанесла семье и соседству глубокую рану, но, учитывая подобные условия, тем более замечательна та живучесть, которую они выказывают; и нет ничего, на что совесть эпохи была бы настроена более решительно, чем их оздоровление.

Итак, эти группы являются источниками жизни — не только для индивида, но и для социальных институтов. Они лишь частично оформляются особыми традициями и в большей степени выражают некую всеобщую природу.

Религия или правительство других цивилизаций могут показаться нам чужими, но детская и семейная группы повсеместно имеют общий жизненный облик, и в них мы всегда можем чувствовать себя как дома.

Я полагаю, что только через человеческую природу мы можем понять те чувства и импульсы, которые являются человеческими постольку, поскольку возвышаются над чувствами и импульсами животных, а также и в том смысле, что они свойственны человечеству в целом, а не какой-то отдельной расе или эпохе. Сюда включаются, в частности, сопереживание и бесчисленные чувства, частью которых они являются: любовь, негодование, честолюбие, тщеславие, почитание героев и чувство социальной правды и неправды[6].

[5] De Tocqueville. Democracy in America. Vol. I. Chap. V.

[6] Эти аспекты более подробно рассмотрены в книге автора «Human Nature and the Social Order».

Человеческая природа в этом смысле справедливо рассматривается как некий сравнительно неизменный элемент общества. Всегда и везде люди жаждут чести и страшатся осмеяния, считаются с общественным мнением, заботятся о своем имуществе и своих детях, восхищаются мужеством, великодушием и успехом. Утверждение, что люди есть и были людьми (human), всегда можно принять безоговорочно.

Несомненно верно, что существуют различия в расовых способностях, причем настолько громадные, что значительная часть человечества, возможно, неспособна создать какой-то высший тип социальной организации. Но эти различия, как и различия между индивидами одной и той же расы, едва уловимы, зависят от какой-то неясной умственной неполноценности, какой-то нехватки энергии или дряблости моральной жилки и не предполагают несходство родовых импульсов человеческой природы. В этом все расы очень похожи. Чем глубже проникаешь в жизнь дикарей, даже тех, которых считают низшими, тем больше находишь у них человеческого, тем более похожими на нас они кажутся. Возьмем, к примеру, аборигенов Центральной

Австралии, как их описывают Спенсер и Гиллен[7]: племена, не имеющие никакого определенного правительства и культа и едва умеющие считать до 5. Они щедры по отношению друг к другу, стремятся к добродетели, как они ее понимают, добры к своим детям и старикам и никоим образом не грубы с женщинами. Их лица, как это видно на фотографиях, совершенно человеческие и многие из них привлекательны.

[7] **The Native** Tribes of Central Australia. Сравните также со взглядами Дарвина и примерами, приводимыми им в седьмой главе его «Descent of Man».

А когда мы подходим к сравнению между различными ступенями в развитии одной и той же расы, например между нами и тевтонскими племенами времен Цезаря, различие заключается не в человеческой природе и не в способностях, а в организации, диапазоне и сложности отношений, разнообразном выражении душевных сил и страстей, по существу, таких же, как у нас.

Нет лучшего доказательства этого родового сходства человеческой природы, чем та легкость и радость, с которыми современный человек чувствует себя как дома в литературных произведениях, описывающих самые разнообразные и отдаленные времена,— в поэмах Гомера, сказаниях о Нибелунгах, еврейских Писаниях, легендах американских индейцев, историях о... солдатах и моряках, о преступниках и бродягах и т. д. Чем более проницательно изучается какой-либо период человеческой истории, тем больше обнаруживается существенное сходство с ним.

Вернемся к первичным группам: идея, которая здесь отстаивается, состоит в том, что человеческая природа не есть нечто такое, что существует отдельно в индивиде, но есть *групповая природа или первичная фаза общества,* относительно простое и всеобщее условие социального сознания. С одной стороны, это нечто большее, чем простейший, врожденный инстинкт, хотя он и включается сюда. С другой стороны это нечто меньшее, чем более совершенное развитие идей и чувств, которое обусловливает возникновение институтов. Именно эта природа развивается и выражается в подобных простых, непосредственных группах, которые достаточно схожи во всех обществах: семье, соседских группах и игровых площадках. В их существенном сходстве можно обнаружить эмпирическую основу схожих идей и ощущений в человеческом сознании. В них, где бы это ни было, и зарождается человеческая природа. Человек не имеет ее от рождения; он может обрести ее лишь благодаря товариществу; в изоляции она приходит в упадок.

Если эта точка зрения и импонирует здравому смыслу, не знаю, много ли пользы принесет ее разработка. Она просто означает применение к данному вопросу той идеи, что общество и индивиды — неотделимые аспекты какого-то одного общего целого, так что где бы мы ни обнаруживали индивидуальный факт, мы можем отыскать и сопутствующий ему социальный факт. Если в природе личностей есть что-то универсальное, то ему должно соответствовать универсальное и в ассоциации личностей.

Чем еще может быть человеческая природа, если не определенной чертой первичных групп? Конечно, не атрибутом отдельного индивида,— предп&Гюжим, что таковые когда-либо имелись,— так как типичные ее характеристики, такие, как аффектация, честолюбие, тщеславие и негодование, непостижимы вне общества. Далее, если ее обладатель — человек, включенный в какую-то ассоциацию, то какой род или уровень ассоциации требуется для ее развития? Очевидно, это не какая-то развитая стадия, поскольку стадии развития общества преходящи и разнообразны, тогда как человеческая натура устойчива и универсальна. Короче говоря, для ее генезиса существенна семейная и соседская жизнь, и ничего более.

Здесь, как и повсюду при изучении общества, мы должны научиться видеть человечество через призму скорее неких психических целостностей, нежели искусственного обособления. Мы должны видеть и чувствовать общинную жизнь семьи и локальных групп как непосредственные факты, а не комбинации чего-то еще. И возможно, мы сделаем это наилучшим образом, вызвав в памяти свой собственный опыт и распространив его на сочувственное наблюдение других. Что значат в нашей жизни семья и товарищество, что нам известно о чувстве «мы» (we-feeling)? Мысли такого рода могут помочь нам обрести конкретное представление об этой первичной групповой природе, отпрыском которой является все социальное.

У. Томас, Ф. Знанецкий

Методологические заметки[1]

[1] Thomas W., Znaniecki F. Methodological Note. Публикуемый материал представляет собой сокращенное введение к кн.: Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. Boston, 1918—1920. Vol. 1. Primary-Group Organization. P. 1—86. *(Перевод С. Татарниковой).*

Одной из наиболее существенных особенностей социальной эволюции является растущая значимость, которую приобретает в общественной жизни рациональная и сознательная техника. У нас остается все меньше и меньше склонности позволять социальным процессам протекать без нашего активного вмешательства. Мы чувствуем все больше и больше недовольства, когда любое активное вмешательство основано на простой прихоти человека или социального организма, или на предвзятых философских, религиозных или нравственных обобщениях.

Поразительные результаты, достигнутые рациональной техникой в сфере материальной действительности, побуждают нас применить некоторые аналогичные процедуры к социальной действительности. Наш успех в контроле над природой убеждает что со временем мы будем способны в такой же мере контролировать мир социума. Наше нынешнее бессилие в этом деле проистекает не из какой-либо существенной ограниченности разума, а из того простого исторического факта, что объективное отношение к социальной действительности есть недавнее приобретение. (…)

Такое требование рационального контроля порождено возрастающей скоростью социальной эволюции. Старые формы контроля основывались на допущении сущностной стабильности всей социальной конструкции и были действенны в той мере, в какой эта стабильность была реальна. В стабильной социальной организации существует достаточно времени, чтобы развиваться чисто эмпирическим путем, путем бесчисленных проб и ошибок. (…)

Но когда благодаря разрушению групповой изоляции, благодаря контактам группы с более сложным и изменчивым миром социальная эволюция убыстряется, а кризисы учащаются и разнообразятся, тогда не остается времени для подобной постепенной, эмпирической, систематической выработки приблизительно адекватных средств контроля... Замена полуосознанной рутины сознательной техникой стала, таким образом, общественной необходимостью, хотя и очевидно, что развитие этой техники может быть только постепенным. (…)

Старейшей, но самой устойчивой формой социальной техники является «предписание и запрещение», т. е. противопоставление кризису произвольного акта воли, предписывающего исчезновение нежелательных или появление желаемых явлений, и использование произвольного физического действия для реализации предписания. Этот метод в точности соответствует магической фазе натуральной техники[2]. В обоих случаях существенные средства достижения обусловленного следствия более или менее сознательно мыслятся присущими акту воли, посредством которого следствие объявляется желательным, при этом действие оказывается всего лишь необходимым средством или инструментом; в обоих случаях процесс, посредством которого причина (акт воли или физическое действие), как полагают, приводит свое следствие к реализации, остается за рамками исследования; наконец, в обоих случаях, если результат не достигнут, взамен попытки найти и устранить помехи предпринимается новый акт воли с новыми материальными добавлениями. Хорошим примером этого в социальной сфере является типичная законодательная процедура наших дней.

[2] В отличие от социальной.— *Прим. перев.*

И в магической и в предписывающе-запрещающей технике часто случается так, что средства, способствующие осуществлению акта воли, действительно эффективны, в силу чего и достигается результат. Но так как процесс каузации, будучи неизвестен, не может контролироваться, то успех всегда более или менее случаен и зависим от стабильности общих условий; если они изменяются, предполагаемый эффект не достигается, а субъект оказывается не в состоянии объяснить причины неудачи и может лишь попытаться наугад использовать какие-то другие средства. Поэтому еще чаще случайного успеха бывает так, что действие приносит некий результат, но отнюдь не тот, что хотели.

На самом деле существует одно различие между магией и предписывающе-запрещающей техникой. В социальной жизни выраженный акт воли может быть иногда реальной причиной, в том случае, когда человек или социальный организм, от которого он исходит, имеет определенный авторитет в глазах тех, к кому применяется запрещение или предписание. Это обстоятельство не изменяет природу техники как таковой. Престиж правителей, духовников и законников был при старых режимах условием, делающим акт воли действенной причиной, но он теряет свою ценность в современных частично или полностью республиканских организациях.

Более эффективная техника, основанная на «здравом смысле» и представленная «практической» социологией, естественным образом возникла на тех направлениях социального действия, в которых либо не было места для законодательных мер, либо

принцип «Hoc volo, sic jubeo»[3] показал себя слишком неэффективным в бизнесе, благотворительности и филантропии, дипломатии, частном объединении. Здесь он в самом деле был признан неэффективным в управлении каузальным процессом, и ищутся действительные причины каждого явления; при этом предпринимается попытка контролировать следствия, воздействуя на причины. Несмотря на нередкие частичные успехи в этой технике, неявно присутствует множество ошибок; в ней все еще слишком много моментов бесплановой эмпиризма...

[3] Так я хочу, так я велю.— *Прим. перев.*

Первая из этих ошибок демонстрировалась достаточно часто. Она состоит в скрытом или явном предположении, что мы знаем социальную действительность потому, что живем в ней и что мы можем предполагать очевидность вещей и отношений на основании нашего эмпирического знакомства с ними. Этот подход весьма близок предположению древних о том, что мы знаем физический мир потому, что живем и действуем в нем и, следовательно, имеем право обобщения без специального и тщательного исследования, просто на основе «здравого смысла». История физической науки дает нам много хороших примеров тех результатов, к которым может привести здравый смысл, таких, как геоцентрическая система в астрономии или средневековые идеи относительно движения. Легко показать, что даже широчайшее индивидуальное знакомство с социальной реальностью, даже наиболее очевидные успехи индивидуальной адаптации к этой реальности не могут дать никакой серьезной гарантии обоснованности обобщений здравого смысла.

В самом деле, сфера индивидуального практического знакомства с социальной действительностью, сколь обширна ни была бы она в сравнении с такой же сферой других людей, всегда ограничена и составляет только малую часть всей совокупности социальных фактов[4]. Она обычно распространяется на одно общество, часто только на один класс этого общества; мы можем назвать это внешним ограничением. Но существует еще и ограничение внутреннее, еще более важное, связанное с тем фактом, что среди всех случаев, которые индивид встречает в сфере своей социальной жизни, большая — возможно, большая,— часть остается незамеченной, никогда не выступая основой для обобщений здравого смысла. Такой отбор случаев есть результат индивидуального темперамента, с одной стороны, и индивидуального интереса — с другой. В любом случае — действуют ли склонности темперамента либо практические соображения — отбор оказывается субъективным, т. е. обоснованным только для этого определенного индивида в этой определенной социальной позиции и тем самым совершенно несоизмеримым с отбором, который относительно той же информации осуществляет ученый с объективной, безличной точки зрения.

[4] Здесь и далее «социальный факт» — **синоним** «социального явления».— *Прим. перев.*

Практический успех индивида в сфере его деятельности тоже не является гарантией того, что ему действительно известны взаимосвязи между социальными феноменами, которые он способен контролировать. Разумеется, в его схемах социальных фактов должна быть некая объективная валидность — в противном случае он не смог бы жить в обществе,— но правильность этих схем есть всегда лишь грубое приближение, смешанное с огромным количеством ошибок. Когда мы допускаем, что успешная адаптация индивида к его окружению есть доказательство того, что он досконально знает свое окружение, мы забываем, что существуют степени успешности, что стандарт успеха в значительной степени субъективен... В любой адаптации обнаруживаются различные пропорции двух элементов — действительного контроля над окружением и требований, для удовлетворения которых служит этот контроль. Адаптация может быть совершенной либо из-за чрезвычайно успешного и широкого контроля, либо из-за чрезвычайно ограниченных требований.

Так, знание индивидом своего окружения может рассматриваться как действительное только в тех отдельных случаях, когда он действительно контролирует это окружение. Его схемы могут быть верны в той степени, в какой они абсолютно успешны. А если мы вспомним, сколь многие практические успехи обязаны простому случаю или удаче, тогда даже это ограниченное количество истин становится сомнительным. (...)

Таким образом, знакомство с социальными фактами и знание социальных отношений, которое мы приобретаем на практике, всегда более или менее субъективно ограничены как в количественном отношении, так и в степени общности. Поэтому все обобщения, составляющие социальную теорию здравого смысла и основывающиеся на индивидуальном опыте, несущественны и подвержены неисчислимым исключениям. Приемлющая их социология с необходимостью обрекает себя на пребывание на одной методологической стадии; практика, основывающаяся на них, должна быть столь же незащищенной и полной ошибок, как и деятельность любого индивида.

Всякий раз, когда такая «практическая» социология вместо того, чтобы полагаться на индивидуальный опыт, делает усилие подняться над уровнем расхожих обобщений путем исследования социальной действительности, она по-прежнему пользуется тем же

методом, что и индивид в своем размышлении: исследование всегда протекает в непосредственной соотнесенности с практическими целями, а стандарты желательного и нежелательного есть та основа, на которой зиждется подход к теоретическим проблемам... Пример физической науки и материальной техники давно должен был показать нам, что только научное исследование, исключительно свободное от всякой зависимости от практики, может стать практически полезным в своих положениях. Конечно, это не означает, что ученый не должен отбирать для исследования проблемы, решение которых имеет практическую важность... Однако из метода изучения как такового необходимо исключить все практические соображения, если мы хотим иметь валидные результаты. Это еще не было осознано практической социологией... Нет сомнения в том, что применение норм к действительности имело историческую важность, таким образом инициировав исследование, и «анормальное» стало объектом эмпирического изучения... Однако, отделяя анормальное от нормального, мы лишаем себя возможности изучать их в их взаимосвязи, в то время как только в такой взаимосвязи их изучение может быть в полной мере плодотворным. В конкретной жизни не существует разрыва в движении от нормального к анормальному, который позволил бы какое-то четкое разделение соответствующих массивов материала, а природа нормального и анормального, как она определена теоретической абстракцией, может быть полностью понята лишь с помощью сравнения.

Но есть и другие последствия этой ошибки. Когда норма есть не результат, а исходная точка исследования, как в рассматриваемом случае, то любой практический обычай, любой нравственный, политический, религиозный взгляд провозглашает себя *нормой* и рассматривает как анормальное все, что не согласуется с ним. Результат пагубен как для практики, так и для теории.<...>

Третья ошибка социологии здравого смысла есть имплицитное допущение, что любая группа социальных фактов может рассматриваться как теоретически, так и практически в произвольной изоляции от остальной жизни данного общества. Это допущение, вероятно, невольно выведено из общей формы социальной организации, в которой действительная изоляция определенных групп фактов есть результат требований практической жизни... Фабрика и армейский корпус — типичные примеры таких организаций. Здесь действительно и практически осуществлена изоляция группы фактов от остальной социальной жизни. Задача социальной теории и социальной техники лежит вне этих систем, она начинается, скажем, всякий раз, когда в систему вводятся внешние тенденции, не гармонирующие с организованными действиями, когда рабочие на фабрике начинают забастовку или солдаты поднимают мятеж. Тогда изоляция исчезает, система вступает посредством своих членов в отношения со всей социальной жизнью в целом.

Это отсутствие реальной изоляции, которое характеризует систему организованной деятельности только в моменты кризиса, является постоянной чертой всех искусственных, абстрактно сформированных групп фактов, таких, как «проституция», «преступность», «образование», «война» и т.д. Каждый единичный факт, включенный в эти обобщения, неисчислимыми нитями связан с неопределенным числом других фактов, принадлежащих к различным группам, и эти отношения придают каждому факту иной характер... Это означает не то, что такие группы фактов невозможно изолировать для теоретического исследования или практической деятельности, а просто то, что такая изоляция должна стать не априорной, а апостериорной, так же как и различение нормального и анормального.

Есть еще две ошибки в социальной практике, хотя практически социология уже от них отреклась. Причина их постоянного присутствия в практике заключается в том, что хотя ошибочность старых предположений и была признана, на их место не были выдвинуты никакие работающие идеи. Эти предположения заключаются в следующем: 1) что люди реагируют одним и тем же образом на одни и те же воздействия вне зависимости от своего индивидуального или социального прошлого, и, следовательно, возможно вызвать у разных индивидов идентичное поведение идентичными средствами; 2) что люди развивают спонтанно, без внешнего воздействия тенденции, позволяющие им извлекать выгоду однообразным способом в имеющихся условиях, и поэтому достаточно создать благоприятные или устранить неблагоприятные условия для того, чтобы породить или подавить данные тенденции.

Предположение об идентичности реакций на идентичные воздействия обнаруживается в самых различных рядах традиционной социальной деятельности. Для примера достаточно привести судебную практику и образование.<..>Предположение о самопроизвольном развитии тенденций на основе данных материальных условий происходит из преувеличенного значения, придаваемого социальными реформаторами изменению материальной среды, и непосредственных выводов о ментальности и характере индивидов и групп... Без сомнения, материальные условия в значительной мере развивают или тормозят соответствующие линии поведения, но только в том случае, если тенденция уже существует, так как то, каким образом они будут использоваться, зависит

от людей, их использующих...

Эти ошибки социологии здравого смысла не всегда обязаны своим существованием недостатку теоретических способностей или серьезного научного отношения у людей, занимающихся исследованиями. Они являются неизбежным следствием необходимости сразу и непосредственно сталкиваться с действительными ситуациями. Общественная жизнь протекает непрерывно и должна контролироваться в каждый момент времени. Бизнесмен или политик, педагог или благотворитель постоянно сталкиваются с новыми социальными проблемами, которые они должны разрешать, как бы несовершенны и временны ни были его решения,— поток развития не будет их дожидаться. Они должны иметь немедленные результаты, и это их заслуга, если они стремятся примирить требования актуальности и научной объективности настолько, насколько они вообще могут быть совмещены, и пытаются понять социальную действительность столь же хорошо, как они могли это сделать до начала своих действий.

Конечно, социальная жизнь улучшается даже под таким контролем, как тот, что способна дать социология здравого смысла; конечно, никакие усилия не должны отвергаться, так как конечный результат обычно оказывается благоприятным. Но в общественной деятельности, даже более чем в деятельности материальной, метод здравого смысла оказывается наиболее расточительным, и постепенная замена его более эффективным методом окажется хорошим приложением усилий. Это значит, что нам необходима точная эмпирическая социальная наука, готовая для возможного применения. Такая наука может быть построена только в том случае, если мы видим цель в ней самой, а не представляем ее средством для чего-либо иного, если мы дадим ей время и возможность развиться во всех возможных направлениях исследования, даже тогда, когда мы не видим возможных применений для тех или иных ее результатов.<;...>

Разумеется, это не означает, что существующая социальная техника должна ждать до тех пор, пока не конституируется наука; какая бы она ни была, она несравнимо лучше, чем ничего. Но так же как и в материальной технике, сразу после достижения научного открытия необходимо искать сферу его практического применения, и если эта сфера найдена, новая техника должна заменить в ней старую.

Даже если никакие практические цели не были изначально заложены в научное исследование, социальная практика имеет тем не менее право требовать от социальной теории по крайней мере того, чтобы хоть некоторые из ее результатов могли быть применены и чтобы число и значимость этих результатов постоянно возрастали. По выражению одного из прагматиков, практическая жизнь может и должна будет давать кредит науке, но рано или поздно наука должна будет отдать долг, причем чем дольше отсрочка, тем больше процент. Это требование конечной практической применимости равно важно и для науки и для практики; это проверка не только практической, но и теоретической ценности науки.<…>

Если мы попытаемся сейчас определить, что может быть предметом и методом социальной теории, которая была бы способна удовлетворить требованиям современной социальной практики, станет очевидно, что главным объектом исследования должно оказаться существующее цивилизованное общество в полном своем развитии и со всей сложностью ситуаций, так как именно контроль за существующим цивилизованным обществом есть то, что пытается обрести в своих попытках рациональная практика. Но здесь, как и во всякой другой науке, определенная масса материала приобретает свое полное значение только в том случае, если мы можем свободно пользоваться сравнением с целью отделения существенного от случайного, простого от сложного, первичного от вторичного. К счастью, социальная жизнь создает нам благоприятные условия для сравнительных исследований, в особенности на нынешней стадии эволюции, когда существует определенное количество цивилизованных обществ, достаточно схожих в своих фундаментальных культурных проблемах, чтобы сделать сравнение возможным, и достаточно отличающихся друг от друга в традициях, обычаях и общем национальном духе, чтобы сделать сравнение плодотворным. Из числа этих обществ никоим образом не должны исключаться такие неевропеоидные общества, как, например, китайское, чьи организации и установки глубоко отличны от наших, но которые интересуют нас и как социальные эксперименты и как ситуации, с которыми мы должны согласовывать наше собственное будущее.

По контрасту с таким изучением различных современных цивилизованных обществ направления, по которым велась до настоящего времени большая часть чисто социологических исследований, т.е. этнография примитивных обществ и социальная история, имеют вторичное, хотя и отнюдь не пренебрежимо малое, значение.<…>Во всех попытках понять и истолковать прошлое и первобытное мы должны пользоваться, сознательно или нет, нашим знанием нашей теперешней цивилизованной жизни, которая всегда остается основой для сравнения, рассматриваются ли прошлое и первобытное как нечто схожее или как нечто отличающееся от настоящего и цивилизованного. Чем менее объективно и критично наше знание настоящего, тем

более субъективно и неметодично наше толкование прошлого и первобытного; не будучи способны увидеть относительный и ограниченный характер той культуры, в которой мы живем, мы неосознанно сводим всякое незнакомое явление к ограниченностям нашей собственной социальной личности. Следовательно, действительно объективное понимание истории и этнографии можно ожидать только как результат систематического знания существующих культурных обществ.

Рассматривая вопрос о предмете социальной теории, надо подчеркнуть необходимость брать в расчет всю полноту жизни данного общества, а не произвольный отбор и предварительную изоляцию неких отдельных групп фактов. Мы уже видели, что противоположная процедура составляет одну из ошибок социологии здравого смысла. ... Все мы более или менее повинны в этой ошибке, но мы предпочитаем относить ее главным образом к Г. Спенсеру.

Открыто только два возможных пути для того, чтобы избежать произвольных ограничений и субъективных толкований. Мы можем монографически изучать все конкретные общества со всей сложностью проблем и ситуаций, составляющих их культурную жизнь; или же мы можем работать над специальными социальными проблемами, исследуя проблемы в определенном ограниченном количестве социальных групп и изучая ее в каждой группе, принимая во внимание те конкретные формы, которые она приобретает под влиянием преобладающих в этом обществе условий, беря в расчет сложное содержание, которое конкретный культурный феномен имеет в определенном культурном окружении.

Мы имеем две фундаментальные практические проблемы, составлявшие ядро рефлексирующей социальной практики во все времена. Это: 1) проблема зависимости индивида от социальной организации и культуры и 2) проблема зависимости социальной организации и культуры от индивида.<…>

Если социальная теория должна стать основой социальной техники и действительно разрешить эти проблемы, то очевидно, что она должна включить оба задействованных в них вида данных, а именно объективные культурные элементы социальной жизни и субъективные характеристики членов социальной группы и что эти два вида данных должны быть взяты как коррелирующие. Для этих данных сейчас и далее мы будем использовать термины «социальные ценности» (или просто «ценности») и «личностные установки».

Под социальной ценностью мы понимаем любой факт, имеющий доступные членам некой социальной группы эмпирическое содержание и значение, исходя из которых он есть или может стать объектом деятельности. ...Каждая из них имеет содержание либо чувственное (как в случае с продуктами питания, углем, инструментом); либо частично чувственное, частично воображаемое (как в случае со стихотворением, содержание которого не конституируется не только написанными или произносимыми словами, но также и образами, которые они вызывают, или в случае с университетом, содержание которого есть целый комплекс людей, зданий, материальных принадлежностей и образов, представляющих их деятельность); либо, наконец, только воображаемое (как в случае с мифологической личностью или с научной теорией). Значение этих ценностей становится эксплицитным, когда мы берем их в связи с другими человеческими действиями Социальная ценность, таким образом, противоположна естественной вещи, которая имеет содержание, но как часть природы не имеет значения для человеческой деятельности и считается "бесценностной", но когда естественная вещь приобретает значение, она становится за счет того социальной ценностью. Естественно, общественная ценность может иметь много значений, соотносясь с разными видами деятельности.

Под установкой мы понимаем процесс индивидуального сознания, определяющий реальную или возможную активность индивида в социальном мире... Установка, таким образом, является индивидуальным, двойником общественной ценности: деятельность в любой своей форме является связующим звеном между ними. Через свое отношение к деятельности и тем самым к индивидуальному сознанию ценность отлична от природной вещи. Через свое отношение к деятельности и тем самым к социальному миру установка отлична от физического состояния. ...Психологический процесс есть установка, трактуемая как объект в себе, изолированный рефлексирующим актом внимания и взятый прежде всего в связи с другими состояниями этого же индивида. Установка есть психологический процесс, трактуемый как изначально проявляющийся в соотнесенности G социальным миром и взятый прежде всего в связи с некоторой общественной ценностью. Индивидуальная психология может впоследствии восстановить связь между психологическим процессом и объективным миром, разорванную этой рефлексией; она может исследовать психологические процессы как обусловленные фактами внешнего мира. Таким же образом социальная теория может впоследствии связать воедино различные установки индивида и определить его социальный характер. Но именно оригинальные (и обычно неосознанно занимаемые) позиции определяют последующие методы этих двух наук. Психологический процесс остается всегда главным

образом состоянием кого-то; установка остается всегда главным образом установкой на что-то.<…>

Но когда мы говорим, что данные социальной теории есть ценности и установки, здесь еще нет достаточного определения объекта этой науки; сфера, таким образом очерченная, охватывала бы всю человеческую культуру и включала бы предметы философии и экономики, теории искусства, теории науки и т. д. Необходимо, следовательно, более точное определение с целью отграничения социальной теории от других наук, давно сформировавшихся и имеющих собственные методы и собственные цели. (...)

Но когда мы изучаем жизнь конкретной социальной группы, мы находим некую весьма важную сторону этой жизни, которую социальная психология не в состоянии соответствующим образом принять во внимание, которую ни одна из специальных наук о культуре не считает собственным предметом, которая в течение последних 50 лет составила главную область интереса для различных изысканий и которая именуется *социологией.* Некоторые из преобладающих в группе установок выражают себя только в индивидуальных действиях, единообразных или многообразных, изолированных или комбинированных. Но есть и другие установки, обычно, хотя и не всегда, наиболее общие, которые как и первые, прямо выражаются в действиях, но, кроме того, обнаруживают также непрямое проявление в более или менее эксплицитных и формальных *правилах* поведения, посредством которых группа стремится сохранить, отрегулировать и сделать наиболее общим и повторяющимся соответствующий тип действий среди своих членов... Их можно рассматривать и как действия, как проявления установок, как индексы, показывающие, что если группе требуется определенный вид действий, то установка, которая, как предполагается, проявляет себя в этих действиях, разделяется всеми, кто придерживается данного правила. Но в то же время само существование правила поведения говорит о том, что есть некоторые, пусть слабые и изолированные, установки, которые не сочетаются полностью с установкой, выраженной в правиле, и что группа чувствует необходимость предотвратить переход этих установок в действия... В таком аспекте правила и действия, рассмотренные не с точки зрения установок, *выраженных* в них, а с точки зрения установок, *вызвавших* их, вполне аналогичны любым другим ценностям — экономическим, художественным, научным, религиозным и т. д. ... Такие ценности не могут, следовательно, быть предметом социальной психологии; они составляют особую группу объективных культурных данных наряду со специальными областями других наук о культуре, таких, как экономика, теория искусства, филология и т. д. Правила поведения и действия, рассматриваемые как соответствующие или нет этим правилам, составляют по отношению к их объективному значению определенное число более или менее связанных и гармоничных систем, могущих в целом быть названными *социальными институтами,* а тотальность институтов, обнаруживаемая в конкретной социальной группе, составляет социальную организацию этой группы. При изучении социальной организации как таковой мы должны подчинять личностные установки социальным ценностям, как мы делаем это в других специальных науках о культуре, по той причине, что установки имеют для нас значение только как влияющие и изменяющие правила поведения и социальные институты.

Социология как теория социальной организации есть, таким образом, специальная наука о культуре, подобная экономике или филологии и, таким образом, противостоящая социальной психологии как общей науке о субъективной стороне культуры... Следовательно, социальная психология и социология могут быть отнесены к общему рангу социальной теории, поскольку обе они занимаются отношениями индивида и конкретной социальной группы, хотя их платформы на этой общей почве вполне противостоят друг другу, хотя их области не равно широки: социальная психология включает в себя установки личности в отношении всех культурных ценностей данной социальной группы, в то время как социология может изучать только один тип этих ценностей — социальные правила — в их связи с индивидуальными установками.

Мы увидели, что главная сфера интересов социальной психологии включает в себя наиболее общие и наиболее фундаментальные культурные установки, обнаруживающиеся в конкретных обществах. Точно так же существует и главная сфера, образующая методологический центр социологического интереса. В него входят те правила поведения, которые непосредственно связаны с активными отношениями членов группы друг с другом, а также каждого члена и группы в целом. И в самом деле, именно эти правила, выражающиеся в нравах, законах, групповых идеалах, систематизированные в таких институтах, как семья, племя, сообщество, свободная ассоциация, государство и т. д., составляют центральную часть социальной организации и обеспечивают посредством этой организации существенные условия жизнедеятельности группы как определенной культурной целостности, а не просто скопления индивидов. Следовательно, все другие правила, которые данная группа может разрабатывать и трактовать как обязательства, имеют вторичное социологическое значение по сравнению с первыми.

Это не означает, что социология не должна выходить в своих исследованиях за границы этого методологического центра ее интересов. Каждая социальная группа, особенно на более низких стадиях социальной эволюции, склонна контролировать все индивидуальные действия, а не только те, что прямо относятся к ее основополагающим институтам. Так, мы находим социальные регуляции экономических, религиозных, научных, творческих действий, даже техники и речи, и нарушение этих регуляций часто рассматривается как затрагивающее само существование группы. ... Во всех цивилизованных обществах некоторая часть культурной деятельности — религиозной, экономической, научной, творческой и т. д. — находится вне социальной регуляции, а другая, возможно, даже большая, часть хотя еще и подчинена общественным правилам, но уже не рассматривается как непосредственно затрагивающая существование или единство общества и в самом деле не затрагивает его. Поэтому было бы большой методологической ошибкой вообще пытаться включать в сферу социологии такие культурные области, как религия или экономики на том основании, что в определенных социальных группах религиозные или экономические нормы рассматриваются как часть социальной организации, а в некотором смысле и являются ею. [...]

Главные проблемы современной науки — это проблемы каузального объяснения. Детерминация и систематизация данных только первый шаг в научном исследовании. Если наука хочет заложить основу техники, она должна попытаться понять и проконтролировать процесс *становления.* Социальная теория не может уклониться от решения этой задачи, и путь ее осуществления только один. Социальное становление, так же как и становление в природе, необходимо анализировать во множественности фактов, каждый из которых представляет собой последовательность причины и следствия. Идея социальной теории состоит в аналитическом расчленении тотальности социального становления на такие причинные процессы и в последующей систематизации, позволяющей нам понять связи между этими процессами. [...]

Но если общая философская проблема свободной воли и детерминизма в данном случае несущественна, то проблема наилучшего из возможных метода каузального объяснения весьма насущна. В самом деле, ее разрешение является фундаментальной и неизбежной исходной задачей всякой науки, которая, как и социальная теория, все еще пребывает на этапе формирования... Факт как таковой уже абстракция; мы изолируем определенный ограниченный аспект конкретного процесса становления, отрицая, по крайней мере временно, всю его бесконечную сложность. Вопрос лишь в том, производим ли мы эту абстракцию методически или нет, знаем ли мы, что и почему мы принимаем или отбрасываем, или же просто некритически пользуемся старыми абстракциями «здравого смысла». Если мы хотим достичь научных объяснений, мы должны помнить, что наши факты должны быть определены таким образом, чтобы можно было подвести их под общие законы. Факт, который не может рассматриваться как проявление одного или нескольких законов, причинно необъясним. ...Только если социальная теория преуспевает в определении каузальных законов, она может стать основой социальной техники, так как техника требует возможности предвидеть и просчитывать следствия данных причин, а это требование реализуемо только тогда, когда мы знаем, что определенные причины всегда и повсюду производят определенные следствия…<…>

Некритически следуя примеру естественных наук, социальная теория и социальная практика забыли взять в расчет одно существенное различие между природной и социальной действительностью, которое состоит в том, что в то время как следствие физического феномена целиком зависит от объективной природы этого феномена и может быть просчитано на основе его эмпирического содержания, то следствие социального феномена зависит к тому же и от субъективной позиции, занимаемой личностью или группой относительно данного явления, и может быть просчитано, если мы знаем не только объективное содержание предполагаемой причины, но также и значение, которое она имеет в данный момент для данных мыслящих существ.

Это простое рассуждение должно показать социальному теоретику или технику, что социальная причина не может быть проста, как естественная причина; она сложна и должна включать в себя как объективный, так и субъективный элементы, ценность и установку. В противном случае, из-за того что нам в каждой конкретной ситуации придется искать объяснения, почему данная личность или данное общество отреагировали на данное явление именно так, а не иначе, наш результат будет случаен и непредсказуем.

По сути, социальная ценность, воздействуя на индивидуальных членов группы, вызывает в каждом из них более или менее разный эффект; даже когда она воздействует на одного и того же индивида в разные моменты его жизни, ее влияние не единообразно. Типичным примером является воздействие произведений искусства. [...]

За исключением элементарных реакций на чисто физические стимулы, которые можно считать идентичными ввиду идентичности «человеческой природы» и принадлежащими как таковые к индивидуальной психологии, все рассматриваемые социальной психологией единообразия являются продуктом социальных условий. Если

члены определенной группы идентичным образом реагируют на определенные ценности, то это происходит потому, что они были социально приучены делать именно так, потому, что традиционные правила поведения, доминирующие в данной группе, навязывают каждому ее члену определенные способы
разрешения практических ситуаций, встречающихся в жизни .....
Итак, даже если мы обнаруживаем, что все члены социальной группы одинаково реагируют на определенную ценность — единственная причина реакции, потому что это частный эффект определенных социальных правил, воздействующих на членов группы, принявших в силу определенной предрасположенности эти правила; этот эффект может быть в любой момент уравновешен действием различных причин и прогрессом цивилизации и в самом деле все чаще и чаще уравновешивается.

Короче говоря, когда социальная теория допускает, что определенная социальная ценность сама по себе есть причина определенной индивидуальной реакции, напрашивается вопрос: «Но почему эта ценность произвела именно такой результат во время воздействия на именно эту личность или группу именно в этот момент?» Разумеется, невозможно научно ответить на этот вопрос до тех пор, пока для объяснения этого «почему» мы не узнаем все прошлое личности, общества и человечества.

Аналогичные методологические трудности возникают, когда социальная теория пытается объяснить изменение в социальной организации как результат деятельности членов группы. ...С методологической точки зрения, однако, не более и не менее... трудно объяснить и величайшие изменения, привнесенные в социальный мир Карлом Великим, Наполеоном, Марксом или Бисмарком, или же крестьянином, который затевает судебное дело против своих родственников или покупает участок земли для увеличения своего хозяйства. Труд и великого и рядового человека есть результат его тенденции изменить существующие условия его отношения к социальному окружению, которая заставляет его отрицать определенные существующие и создавать определенные новые ценности. Различие состоит в ценностях, послуживших объектом деятельности, а также в природе, важности и сложности поставленных и разрешенных социальных проблем. Изменение в социальной организации, производимое великим человеком, может быть, таким образом, эквивалентным сумме мелких изменений, вносимых миллионами обычных людей. Однако идея, что творческий процесс лучше поддается объяснению, когда он длится в течение жизни нескольких поколений, чем когда он осуществляется в несколько месяцев или дней, или же что, разделяя творческий процесс на миллион мелких частей, мы сведем к нулю его иррациональность, эквивалентна концепции о том, что надлежащей комбинацией механических элементов в машине мы сумеем произвести перпетуум-мобиле.

То, что социальные результаты индивидуальной деятельности зависят не только от самого действия, но и от социальных условий, в которых оно осуществляется — простой и хорошо известный факт. Следовательно, причина социального изменения должна включать как личностный, так и социальный элементы. Игнорируя это, социальная теория всякий раз, когда она хочет объяснить простейшее социальное изменение, сталкивается с бесконечной задачей, поскольку в разных условиях одно и то же действие производит весьма разные результаты... Метод, который позволяет нам определять лишь случаи стереотипной деятельности и оставляет нас беспомощными перед лицом изменившихся условий, вовсе не научен и становится все менее и менее практически полезным по мере возрастания изменчивости в современной социальной жизни.

Более того, социальная теория не учитывает, что единообразие результатов определенных действий само по себе представляет проблему и, точно так же как и их вариации, требует объяснения.

Основополагающий методологический принцип и социальной психологии и социологии — принцип, без которого они никогда не достигнут научного объяснения,— следовательно, таков: *причиной социального или личностного феномена никогда не бывают только социальный или личностный феномен, но всегда сочетание социального и личностного феноменов.*

Или еще точнее: *причиной ценности или установки никогда не бывают только или установка, или ценность, но всегда сочетание ценности и установки*

Но поскольку социальная действительность включает в себя не только индивидуальные акты, но и социальные институты, не только установки, но и ценности, закрепленные традицией и обусловливающие установки, но это ценности участвуют в производстве конечного результата вполне независимо, а часто и вопреки намерениям социального реформатора. Так, социалист, предполагая, что солидарное и правильно направляемое действие масс осуществит схему совершенной социалистической организации, полностью игнорирует влияние всей существующей социальной организации. Последняя будет участвовать наряду с революционными установками масс в созидании новой организации не только вследствие оппозиции придерживающихся традиционных ценностей, но и потому, что многие из этих ценностей, будучи социально санкционированными правилами для определения ситуации, будут

продолжать обусловливать многие подходы масс и таким образом станут неотделимой частью причин конечного результата. [...]

Главный источник этой грубой методологической ошибки, разнообразные последствия которой мы показали выше, заключается, вероятно, в том, что социальная теория и рефлексирующая практика начали с проблем правовой и политической организации. Вынужденные, таким образом, иметь дело с относительно единообразными установками и относительно постоянными условиями, отличающими цивилизованные общества, существовавшие несколько тысячелетий тому назад, и относясь, кроме того, к физической силе, как к предположительно безупречному инструменту достижения социальной стабильности и единообразия всякий раз, когда желаемые установки отсутствовали, социальная теория и рефлексирующая практика оказались способны поддерживать и развивать, не замечая ее абсурдности, точку зрения, которая была бы научно и технически оправдана только в том случае, если человеческие установки были бы абсолютно и универсально единообразными, а социальные условия — абсолютно и универсально стабильными.

Систематическое применение и развитие указанных выше правил с необходимостью поведет нас в совершенно ином направлении. Окончательным результатом будет... система законов социального становления, в которой определения, философские детерминации сущности, очерки эволюции будут играть ту же роль, что и физические науки, т.е. будут образовывать либо институты, помогающие проанализировать действительность и открыть ее законы, либо выводы, помогающие понять общее научное значение и связь законов.

Очевидно, что подобный результат может быть достигнут только путем долгого и настойчивого сотрудничества социальных теоретиков. На формирование физической науки в ее нынешнем виде ушло почти 4 столетия, и хотя работа представителя социальных наук несравненно облегчена значительным опытом научного мышления в целом, благоприобретенным человечеством со времени Ренессанса, она в то же время значительно затруднена некоторыми особенностями социального мира, отличающими его от мира природы. Мы не включаем в число этих трудностей сложность социального мира, которая столь часто и бездумно акцентировалась. Сложность — характеристика относительная; она зависит от метода и цели анализа. Ни социальный, ни природный мир не представляют собой готовых и абсолютно простых элементов, и в этом смысле они одинаково сложны, потому что они бесконечно сложны. Но эта сложность — метафизическая, а не научная проблема. В науке мы рассматриваем любой факт как простой элемент, если он ведет себя как таковой во всех комбинациях, в которых мы его находим. Любой факт, который может неограниченное число раз повторить себя, т.е. в котором отношение между причиной и следствием может быть предположено как необходимое и постоянное, есть простой факт. ... Предубеждение сложности обязано своим существованием натуралистическому подходу к социальной реальности. ... Но если мы изучаем социальный мир без всяких натуралистических предубеждений, просто как множество специфических данных, причинно взаимосвязанных в процессе становления, вопрос о сложности сбивает с толку социальную теорию не больше, а даже меньше чем физическую.<...>

Ввиду преобладающей тенденции обобщений здравого смысла пренебрегать различиями установок и ценностей, главной опасностью для социологии в поиске ею законов является скорее переоценка, чем недооценка общности тех законов, которые она может открыть. Поэтому мы должны помнить, что в допущении применимости определенного закона исключительно при данных социальных условиях меньше риска, чем в предположении, что он может быть распространен на все общества.

Идеал социальной теории, как и всякой другой номотетической науки, состоит в том, чтобы истолковать возможно большее количество фактов возможно меньшим числом законов, т.е. не только причинно объяснить жизнь отдельных обществ в отдельные периоды, но и подчинить эти отдельные законы общим законам, применимым ко всем обществам во все времена, принимая во внимание историческую эволюцию человечества, которая постоянно приносит новые данные и новые факты и таким образом побуждает нас искать новые законы в дополнение к уже открытым. Но то, что социальная теория как таковая не может проверить свои результаты лабораторным методом, а должна полностью полагаться на логическое совершенство своего абстрактного анализа и синтеза, делает проблему контроля обоснованности обобщений особенно важной.<...>

Мы упоминали выше о том, что социальная теория как номотетическая наука должна четко отличаться от всякой философии социальной жизни, пытающейся определить сущность социальной действительности или наметить единый процесс общественной эволюции. Это отличие становится особенно заметным, когда мы касаемся проблемы проверки обобщений.

Каждый научный закон относится к эмпирическим фактам как таковым во всем их разнообразии, а отнюдь не к их подспудной общей сути, и, следовательно, каждое новое открытие в охватываемой этим законом области воздействует на него тут же и

непосредственно — или частично подтверждает его, или делает недействительным. И поскольку научные законы относятся к повторяющимся фактам, они автоматически применимы и к будущему и к прошлому, а новые события в охватываемой законом сфере должны браться в расчет либо как подтверждающие или опровергающие обобщение, основанное на прошлых событиях, либо как требующие дополнения этого обобщения новым.

Таким образом, прямая зависимость обобщений от новых событий и новых открытий есть существенный критерий социальной науки как противоположности социальной философии. ... Социальный теоретик должен следовать их примеру и методически искать только такие обобщения, которые могут быть фальсифицированы новыми фактами, и должен оставлять эмпирически недостижимые сущности там, где им и должно быть и где они имеют действительную, хотя и другую, значимость — в философии.

Конечной проверкой социальной теории, как мы подчеркивали по ходу всех наших рассуждений, будет ее применение на практике, и таким образом ее обобщения будут проверены возможной неудачей. Однако практическое применение не есть экспериментирование. ... Различие между экспериментом и применением двояко. 1. Сами проблемы обычно различаются по сложности. Эксперимент, с помощью которого мы проверяем научный закон, искусственно упрощен исходя из частной теоретической проблемы, в то время как при применении научных результатов для достижения практической цели мы имеем дело с гораздо более сложной ситуацией, требующей использования нескольких научных законов и вычисления их взаимодействия. ... 2. В лабораторных экспериментах вопрос о немедленной практической ценности успеха или неудачи исключается ради их теоретической ценности. ... Во всех так называемых социальных экспериментах, сколь мал бы ни был их масштаб, присутствует вопрос об их практической цене, потому что объектами этих экспериментов оказываются люди; представитель социальных наук не может игнорировать вопрос о влиянии своих «экспериментов» на будущее тех, на кого они воздействуют. Следовательно, он почти никогда не может быть оправдан, если рискует неудачей ради проверки своей теории. ... Это означает, что кроме использования только таких обобщений, которые могут вступить в противоречие с новыми данными, он не должен дожидаться случайно представившихся ему данных, а должен искать их, должен применить метод систематического *наблюдения*. ... Его гипотеза не может рассматриваться как полностью верифицированная до тех пор, пока он последовательно не проведет поиска могущих противоречить ей данных, и не докажет, что эти противоречия только кажущиеся, объяснимые вмешательством определенных факторов.

Если допустить, что социальная теория удовлетворительно выполняет свою задачу и продвигается в открытии новых законов, которые могут быть применены для регуляции социального становления, то что будет результатом этого для социальной практики? Прежде всего ограничения, с которыми до настоящего времени боролась социальная практика, будут постепенно устранены. Поскольку теоретически возможно определить, какие социальные воздействия должны применяться к определенным, уже существующим установкам для того, чтобы произвести определенные новые установки, и какие установки должны развиваться по отношению к уже существующим общественным ценностям для того, чтобы побудить личность или группу произвести некие новые общественные ценности, то во всей сфере человеческой жизни нет ни одного явления, которое рано или поздно не оказывалось бы под сознательным контролем. В природе социального мира или в природе человеческого сознания нет объективных препятствий, способных существенно оградить социальную практику от постепенного достижения той же степени эффективности, что и в практике индустриальной. Препятствия носят лишь субъективный характер.

Это, во-первых, традиционная оценка общественной деятельности как похвальной самой по себе, уже в силу одних только ее намерений. ... Второе препятствие для развития совершенной социальной практики — хорошо знакомое нежелание сторонников «здравого смысла» принять контроль научной техники. Против этого нежелания существует только одно оружие — успех. Именно это показывает нам история индустриальной техники.<…>

Но наиболее значительная трудность, которую должна преодолеть социальная практика, прежде чем достичь уровня эффективности, сравнимого с эффективностью индустриальной практики, заключается в трудности применения научных обобщений. Законы науки абстрактны, в то время как практические ситуации конкретны, и для того чтобы определить, какие практические вопросы может помочь разрешить данный закон или каковы научные законы, которые могут быть применены для решения данного практического вопроса, требуется специальная интеллектуальная деятельность. В естественной сфере эта интеллектуальная деятельность была воплощена в технологии, и только с тех пор, как технолог встал между ученым и практиком, материальная практика определенно приобрела характер сознательной и планомерно развиваемой техники и перестала быть зависимой от иррациональных и часто неразумных традиционных правил.

Если материальная практика нуждается в технологии вопреки тому, что обобщения, которые физическая наука предоставляет ей, уже экспериментально проверены, но эта нужда еще более настоятельна в общественной практике, где применение научных обобщений — первая и единственная их экспериментальная проверка.

Мы не можем вступать здесь в детальные разъяснения, какой должна быть социальная технология, но мы должны принять в расчет главный пункт этого метода — общую форму, которую предполагает всякая конкретная проблема социальной техники. Какой бы ни была цель социальной практики — модификация личностных установок или социальных институтов — в попытках достичь ее мы никогда не найдем элементов, которые бы нам хотелось использовать или модифицировать, изолированными и пассивно ожидающими нашего воздействия; они всегда включены в активные практические ситуации, сформированные независимо от нас и с которыми должна согласовываться наша деятельность.

Ситуация — это набор ценностей и установок, с которыми индивид или группа имеют дело в процессе деятельности и по отношению к которым планируется эта деятельность и оцениваются ее результаты. Ситуация включает три вида данных: 1) объективные условия.., которые в данный момент прямо или опосредованно воздействуют на сознательный статус индивида или группы; 2) предшествующие установки индивида или группы, которые в данный момент оказывают действительное влияние на их поведение; 3) определение ситуации, т.е. более или менее ясную концепцию условий и осознание установок. Определение ситуации с необходимостью предваряет любой акт воли, потому в данных условиях и с данным набором установок возможно неисчислимое множество действий, и одно определенное действие может появиться, только если эти условия отобраны, истолкованы, определенным образом объединены и если достигнута определенная систематизация установок, так что одна из них становится доминирующей и субординирует другие... Когда ситуация разрешена, результат деятельности становится элементом новой ситуации...

В то время как задача науки состоит в аналитическом разложении путем сравнительного изучения всего процесса деятельности на элементарные факты и она должна, следовательно, игнорировать разнообразие конкретных ситуаций для того, чтобы найти законы причинной зависимости абстрактно изолированных установок или ценностей от других законов и ценностей, задача техники состоит в том, чтобы обеспечить средства рационального контроля над конкретными ситуациями. Очевидно, что ситуация может быть контролируема либо изменением условий, либо изменением установок, либо изменением и тех и других, и в этом отношении легко охарактеризовать роль техники как применения науки. Сравнивая ситуации определенного типа, социальный техник должен определить, какие доминирующие ценности или доминирующие установки обусловливают ситуацию в большей мере, чем остальные, и в дальнейшем вопрос будет только в изменении этих ценностей или установок желаемым образом с помощью знания социальной детерминации, содержащегося в социальной теории.

Разумеется, может так случиться, что вопреки адекватному научному знанию общественных законов, допускающих модификацию этих факторов, наши попытки влиять на ситуацию или потерпят поражение, или произведут ситуацию еще более нежелательную, чем та, которой мы хотели избежать. Значит, недостаток скрывается в нашем техническом навыке. ... И поскольку нельзя ожидать от каждого практика полной научной компетентности и еще более невозможно заставить его разработать научно обоснованный и детальный план действий для каждого конкретного случая в отдельности, то особая задача социального техника состоит как раз в том, чтобы подготовить — с помощью науки и практического наблюдения — подробные схемы и планы действий для всех разнообразных *типов* ситуаций, которые можно найти в данном направлении социальной деятельности, а практику оставить задачи отнесения данной конкретной ситуации к надлежащему типу. Это та самая роль, которую играли все организаторы социальных институтов, но техника как таковая должна быть более сознательной и методически совершенной, а каждая сфера социальной деятельности должна иметь своих профессиональных техников. Эволюция общественной жизни делает необходимыми постоянное развитие и модификацию социальной техники, и мы можем надеяться, что эволюция социальной теории постоянно будет давать социальному технику новые и полезные научные обобщения; последний должен, следовательно, находиться в постоянном соприкосновении как с социальной жизнью, так и социальной теорией, а это требует более глубокой специализации, чем та, которую мы видим сейчас.

Однако каким бы эффективным ни стал этот тип социальной техники, его применение всегда будет иметь определенные пределы, вне которых более полезным будет другой тип техники. В самом деле, намеченная выше форма социального контроля предполагает, что индивид или группа рассматриваются как пассивный объект нашей деятельности и что мы от случая к случаю изменяем для него ситуации в соответствии

с нашими планами и намерениями. Но применение этого метода все более и более затрудняется по мере того, как ситуации становятся все более и более сложными, от случая к случаю новыми и неожиданными, все более подверженными собственной рефлексии индивида.<…>

Мы предположили при посредстве этого аргумента, что возможно производить любые желаемые ценности и установки, если развита соответствующая техника, но это предположение практически оправдано только в том случае, если мы найдем личностные установки, которые не могут не откликнуться на класс стимулов, которые общество способно применить к ним. И мы ясно видим эту склонность. Каждый индивид имеет широкое множество желаний, которые могут быть удовлетворены только за счет его инкорпорации в общество. Среди общих образцов желаний мы можем перечислить: 1) желание нового опыта, свежих стимулов; 2) желание признания, включая, скажем, сексуальный отклик и общее социальное одобрение, обеспечивающееся различными способами — от показа украшений до демонстрации ценности путем научных достижений; 3) желание властвовать, или «воля к власти», выраженная в собственности, домашней тирании, политическом деспотизме, основанных на инстинкте ненависти, способном сублимироваться в похвальные амбиции; 4) желание безопасности, основанное на инстинкте страха и негативно выражающееся в ситуации несчастности, переживаемой индивидом, оказывающемся в состоянии постоянного одиночества или в условиях социального табу. Общество и в самом деле выступает агентом подавления многих желаний индивида; оно требует от него быть нравственным, подавляя по крайней мере те желания, которые несовместимы с благополучием группы, но тем не менее оно является единственной средой, в которой могут быть удовлетворены какие бы то ни было его представления и желания.<…>

Посредством примеров мы указываем здесь некоторые проблемы, с которыми мы столкнулись при изучении польских крестьян и для которых данное исследование представляет собой удачный отправной пункт.

1. *Проблема индивидуализации.* Насколько индивидуализация совместима с социальной сплоченностью? Какие формы индивидуализации могут рассматриваться как социально полезные или социально вредные? Какие формы социальных организаций дают возможность максимального проявления индивидуализма?<...>

2. *Проблема эффективности.* Отношение между индивидуальной и социальной эффективностью. Зависимость эффективности от различных индивидуальных подходов и от различных форм социальной организации.<;...>

3. *Проблема анормального поведения — преступность, бродяжничество, проституция, алкоголизм и т. д. В* какой степени анормальное поведение есть неизбежное проявление врожденных потенций индивида и в какой обязано своим существованием социальным условиям?<...>

4. *Проблема занятости.* Современные разделение и организация труда приносят огромное и постоянно растущее количественное преобладание занятий, которые почти полностью лишены стимулов и потому представляют небольшой интерес для работающего. Этот факт с необходимостью глубоко затрагивает проблему человеческого счастья, и хотя бы только поэтому восстановление стимулов к труду — одна из важнейших проблем, стоящих перед обществом.<…>

5. *Отношения полов.* Среди множества проблем, попадающих под этот заголовок, две представляются нам проблемами фундаментального значения — первая главным образом социопсихологическая, вторая главным образом социологическая: 1) каким образом в отношениях полов может быть достигнут максимум взаимного отклика при минимуме вмешательства в случае интереса; 2) каким образом различные системы отношений между мужчиной и женщиной могут воздействовать на общую социальную эффективность группы.<...>

6. *Проблема общественного счастья.* …Мы уверены, что проблема заслуживает исключительного специального рассмотрения и с теоретической и с практической точек зрения и что намеченный выше социологический метод дает наиболее надежное направление ее изучения.

7. *Проблема борьбы рас (национальностей) и культур.*<...>

8. Тесно связана с предшествующей *проблема идеальной организации культуры.* Это старейшая и крупнейшая социологическая проблема, лежащая на границе между теорией и практикой. Существует ли совершенная форма организации, которая соединит широчайший индивидуализм и сильнейшую общественную организацию, которая, используя все человеческие потенции, исключит любую анормальность, приведет в гармонию высочайшую эффективность и величайшее счастье? И если возможна одна и только одна такая организация, придет ли она автоматически как результат борьбы между культурами и как выражение закона выживания наиболее пригодной..? Или такая организация должна быть вызвана к жизни сознательной и рациональной социальной техникой, изменяющей исторические условия и подчиняющей все культурные различия одной совершенной системе? Или, наоборот, такой единый идеал невозможен? Наверное,

существует множество форм совершенной организации общества.., и каждая нация просто попытается привести свою собственную систему к возможно большему совершенству, извлекая пользу из опыта других, но не имитируя его. В этом случае борьба рас и культур будет остановлена путем не разрушения исторических различий, а признания их ценности для мира и растущего взаимного узнавания и уважения. Каким бы ни было окончательное решение проблемы, очевидно, что единственным способом ее разрешения является систематическое социологическое изучение различных культур.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ИНТЕГРАЦИОНИЗМ

П. А. Сорокин. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА И ЭВОЛЮЦИОНИЗМ[1]

[1] Sorokin P. Sociocultural Dymanics and Evolutionism // Twentieth Century Sociology. N.Y., 1945. P. 96—120 *(Перевод Л. Гурьевой)*

I

Сдвиг в изучении «что» социокультурных изменений.

I. XIX век. Наши сегодняшние представления о социокультурной динамике значительно отличаются от представлений, бытовавших в XVIII и XIX веках. Мы до сих пор пользуемся термином О. Конта «социальная динамика», но подразумеваем под этим нечто отличное от того, что имели в виду Конт и представители общественных и гуманитарных наук в XIX веке. В социологии, общественных и гуманитарных науках XX века по сравнению с общественными и гуманитарными науками двух предшествующих столетий произошел значительный сдвиг в изучении *«что», «как» и «почему» социокультурных изменений и их единообразия.*

Социокультурное изменение представляет собой сложный многоплановый процесс. Оно имеет множество различных аспектов, каждый из которых может стать самостоятельным предметом исследования социальной динамики, и внимание исследователей может быть сосредоточено то на одном, то на другом его аспекте. Аспекты социокультурного изменения, находящиеся в центре внимания сегодня, уже не те, что интенсивно изучались в XVIII и XIX веках. Общественнонаучная мысль XVIII—XIX веков была занята большей частью изучением разнообразных *линейных тенденций развития,* разворачивающихся во времени и в пространстве. Она оперировала главным образом понятием человечества вообще и стремилась отыскать «динамические законы эволюции и прогресса», определяющие магистральное направление человеческой истории. Сравнительно мало внимания уделялось социокультурным процессам, *повторяющимся* в пространстве (в разных обществах), во времени или в Упространстве и во времени. В противоположность интересу, доминировавшему в XVIII и XIX веках, главный интерес философии, общественных и гуманитарных дисциплин в XX веке сместился в сторону изучения социокультурных процессов и связей, остающихся *неизменными* везде и всегда или *повторяющихся* во времени и пространстве или во времени и в пространстве ритмов, флуктуации, осцилляции, «циклов» и их периодичности. Таково главное отличие в изучении «что» социокультурного изменения в XX веке по сравнению с предыдущими двумя столетиями. Попытаемся кратко прокомментировать этот сдвиг.

В XVIII и XIX веках подавляющее большинство ученых, философов, представителей общественных и гуманитарных наук твердо верили в существование вечных линейных тенденций изменения социокультурных явлений. Основное содержание исторического процесса заключалось для них в развертывании и все более полной реализации этой «тенденции прогресса и эволюции», стабильной «исторической тенденции» и «закона социокультурного развития». Одни изображали эти тенденции в виде прямой линии, другие — в виде «спирали», третьи — в виде волнообразной линии разветвления с небольшими временными возвращениями в исходное положение. Это все лишь разновидности концепции поступательного развития как основы социокультурного процесса[2]. Поэтому главной целью и главной заботой естествоиспытателей, философов, представителей общественных и гуманитарных наук в эти столетия были отыскание и описание этих «вечных законов прогресса и эволюции» и разработка основных стадий, или фаз, которые проходит этот процесс, все более полно реализуясь во времени. На

отыскании, описании и подтверждении существования тенденций и соответствующих им стадий были сосредоточены усилия биологии и социологии, философии, истории, социальной философии и других общественных и гуманитарных наук XIX века. Хотя, например, в истории эти тенденции занимают сравнительно немного места, в самом изложении исторических событий, однако, они служат как бы путеводной звездой, принципом обоснования при упорядочении и интерпретации конкретного фактического материала. В этом смысле вся общественная мысль XVIII и XIX веков отмечена верой в линейные законы эволюции и прогресса.

В *физико-химических науках* эта вера выразилась в появлении и быстром утверждении принципа энтропии Карно-Клазиуса как вечного и необратимого направления изменения в любой термодинамической системе[3], включая Вселенную.

[2] О четырех разновидностях линейных концепций социокультурного изменения см. мою книгу: Social and Cultural Dynamics. N. Y., 1937. Vol. I. Chap. 4.

[3] Об энтропии см.: C l a u s i u s R. Le second principe Fondamental de la theorie mecanique de chaleur // Revue des cours scientifique. Paris, 1868. P. 158; D u h e m P. L'evolution de la mecanique. Paris, 1902; P o i n c a r e H. Thermodynamique. Paris, 1892.

В *биологии* господство этой точки зрения проявилось в открытии и всеобщем принятии «закона эволюции», почти единодушно толкуемого как линейная тенденция в прямолинейной, спиралевидной, разветвляющейся и других разновидностях прогрессивного нарастания дифференциации и интеграции; перехода от простого к сложному, от «низшего к высшему», от «менее совершенного к более совершенному», «от амебы к человеку», от рефлексов и инстинктов к рассудку и разуму, от отдельного индивида к семье, племени, современному государству; и также в убеждении, что несмотря на узколобых и реакционных политиков, не мы, так наши потомки увидят весь человеческий род объединенным в «Сообщество наций», «Всемирную федерацию». «Весь ход эволюции характеризуется непрерывным исчезновением менее приспособленных и выживанием более приспособленных ... устранением антисоциального и ростом специализации и кооперации»[4]. Линейная интерпретация биологической и социальной эволюции была до сих пор и остается (пусть и не столь явной сегодня) главной догмой биологии.

То же самое справедливо и в отношении концепции социокультурного изменения, господствовавшего в *философии, социальной философии, философии истории* XVIII и XIX веков. Типичны в этом смысле концепции Гердера, Фихте, Канта и Гегеля. И Гердер и Кант видели главную тенденцию исторического процесса в прогрессивном сокращении насилия и войн, стабильном расширении сферы мира и росте справедливости, разума и нравственности[5]. Для Фихте человеческая история в целом представляет собой последовательность 5 стадий — все более полную реализацию свободы, истины, справедливости и красоты. По Гегелю, основное направление исторического процесса заключается в прогрессирующем росте свободы от свободы для никого на заре человеческой истории, через стадии свободы для одного, свободы для некоторых и кончая свободой для всех[6].

[4] C o n k l i n P. The Direction of Human Evolution. N.Y. 1925. P. 15, 17, 75, 78. Теория биосоциальной эволюции Конклина вполне типична для концепции биологической эволюции, преобладавшей в XIX и частично в XX веке. Так же линейно, но, правда, не столь антропоморфно биологическая эволюция понималась и рядовыми биологами XIX века. Согласуются с таким пониманием и формулы эволюции Милн-Эдвардса, К.фон Баэра, Герберта Спенсера и Э. Геккеля. Близки к ним и теории биологической эволюции Дж.А.Томпсона, Дж.С.Хаксли, С.Л.Мор гана, сэра А.С.Вудворда и даже многих биологов XX века. Они не только являют ся линейными, но и отождествляют эволюцию с прогрессом. Ср.: H a e c k e l E. Prinzipen der generellen Morphologie. Tuebingen, 1906; S m u t s J. C. Holism and Evolution. N.Y., 1925; и материалы двух симпозиумов по эволюции:
Greation by Evolution. N.Y., 1928 и Evolution in the Light of Modern Knowledge. N.Y., 1925.

[5] H e r d e r I. Outlines of a Philosophy of the History of Man. London, 1803; K a n t I. The Idea of a Universal History on a Cosmo-Political Plan. Hanover, 1927.

[6] F i c h t e I. Characteristics of the Present Age. 1804; H e g e l G. Philosophy of History. New York; London, 1900.

Для *социологии и социальной философии* XIX века показательны общие теории социальной динамики Тюрго, Кондорсе, Бурдена, Сен-Симона, Конта и теория эволюции Герберта Спенсера. Для Конта весь исторический процесс есть последовательный переход человеческого мышления, культуры и общества от теологической стадии к метафизической и затем к позитивной.

Поэтому «социальная динамика» Конта вряд ли может иметь дело с какими-либо повторяющимися социокультурными процессами, она целиком посвящена выведению и подтверждению его «закона трех стадий». «Социальная динамика» Спенсера представляет собой простое приложение его формулы эволюции-прогресса, согласно которой весь социокультурный универсум переходит со временем из состояния неопределенной бессвязной однородности в состояние определенной согласованной

разнородности с растущей дифференциацией и интеграцией человеческой личности, культуры и общества[7].

Находясь во власти таких линейных представлений о социокультурном изменении, большинство социологов и ученых-обществоведов XIX века сводили изучение динамики социокультурных явлений даже в чисто фактографических исследованиях главным образом к выявлению и определению различных линейных тенденций, последовательных стадий развития, исторических тенденций и законов эволюции исследуемых явлений. В результате большинство открываемых ими «единообразий изменения» приобретало линейный характер. Вот лишь несколько тому примеров[8]. Теория Фердинанда Тенниса[9] согласно которой человечество со временем переходит от объединений типа Geme-inschaft[10] к объединениям типа Gesellschaft[10], является линейной теорией.

[7] Conte A. Cours de philosophie positive. Vol. 1. Paris, 1877. P. 8,ff и остальные тома; о теориях его предшественников см.: Mat his R. La loi des trois etats. Nancy, 1924. См. также: Spencer H. First Principles. London, 1870. Chap. 22 et passim; Principles of Sociology. London, 1885. 3 Vols. Несмотря на то что спенсеровская формула эволюции-прогресса включает и противоположный эволюции процесс разложения, Спенсер опускает этот аспект при рассмотрении социокультурной эволюции-прогресса. Такое пренебрежение этим противоположным процессом весьма симптоматично для всего направления.

[8] Библиографию работ всех упоминаемых авторов см. в моих кн.: Contemporary Sociological Theories. N. Y., 1928, Social and Cultural Dynamics (все четыре тома). Воспроизведение такой обширной библиографии в этой короткой статье заняло бы слишком много места.

[9] Общность (нем.).

[10] Общество (нем.).

Теория постепенной эволюции от общества, основанного на «механической» солидарности, к обществу, основанному на «органической» солидарности, сопровождающейся заменой «репрессивного» права «реституитивным», тоже линейная теория. К разряду линейных относится и социальная динамика Лестера Ф.Уорда, постулирующая нарастающий с течением времени телеологический, кругообразный, искусственны», самонаправляющийся и самоконтролирующийся характер человеческой адаптации; и динамика «убывающего влияния физических законов и возрастающего влияния психических законов» Г. Т. Бокля; и законы перехода обществ от «простых» к «составным» («двух-, «трехсоставным» и т.д.) Герберта Спенсера и Дюркгейма. Не менее линеен и сформулированный Д. Новиковым закон эволюции борьбы за существование: от самых ранних форм кровавого «физического истребления» к менее кровавой «экономической» борьбе, а затем к политической борьбе и от нее к последней бескровной форме чисто «интеллектуального» соревнования; и разделяемая десятками обществоведов точка зрения на историю как на прогрессивное увеличение сферы мира и сокращение сфер войны; сформулированный А. Костом закон пяти стадий эволюции социальных структур от «Burg» к «City», «Metropolis», «Capitol» и, наконец, к «World Center of Federation» и «закон высоты» П. Мужелля, согласно которому наиболее крупные поселения и города основываются со временем на все меньших и меньших высотах; и подобные представления об исторических тенденциях движения цивилизаций на запад, на восток или на север, разделяемые разными авторами; и утверждаемое А. Гобино историческое движение от чистых и неравноценных рас к смешанным и равноценным с вырождением «человеческого стада, застывшего в своем ничтожестве»; и конец человеческой цивилизации как последний пункт этого движения;' и сформулированный Л. Винарским закон социальной энтропии, ведущей ко все большему социокультурному выравниванию каст, социальных групп, классов, рас и индивидов и в конце концов — к безжизненному социокультурному равновесию и концу человечества; и извечная тенденция ко все более глубокому и полному равенству, понимаемая как положительное направление истории (в противоположность ее пониманию как смерти общества и культуры), отстаиваемая множеством социологов, антропологов, политологов, этиков, философов и историков. Даже теории социальной динамики Е. де Роберти и Карла Маркса были не вполне свободны от этого линейного «наваждения» XIX века: если сам Маркс не дал ясно очерченной теории последовательных стадий социальной эволюции, то тем не менее он постулировал одно-единственное эсхатологическое направление истории: тенденцию к социализму как конечной стадии социального развития человечества. Его последователи, начиная с Энгельса, Бебеля и Каутского и кончая Г. Куновом и целым легионом менее выдающихся марксистов, изобрели целый ряд исторических законов эволюции — экономических, политических, ментальных, религиозных, семейных и других социокультурных явлений с соответствующими стадиями развития.

Как и Маркс, Е. де Роберти и некоторые другие ученые не слишком стремились изобретать разнообразные извечные тенденции и стадии развития, но даже они считали основной тенденцией исторического процесса рост концептуальной мысли в одной из четырех ее форм (научной, философской или религиозной, эстетической и рационально-прикладной), как их сформулировал Е. де Роберти. Г. де Гриф, как и многие другие политологи, исходил из тенденции политической эволюции, направленной

от ранних режимов, основанных на силе, к общественной организации, основанной на свободных договорных отношениях. Направление движения от «состояния войны» к «культурному состоянию», указанное Г. Ратценхофером и Албионом Смоллом, или противоположное, как у П. Лилиенфельда,— от раннего типа децентрализованных и неуправляемых политических групп к режимам централизованного, автократического и организованного политического контроля; или направление социального развития, по Л. Т. Хобхаузу: общество, основанное на родстве; общество, основанное на власти, и, наконец, конечная стадия — общество, основанное на гражданстве; или у Ф. Гиддингса: «зоогеническая, антропогеническая, этногеническая и демогеническая» стадии социокультурного развития (последняя стадия в свою очередь делится на несколько линейных подстадий: военно-религиозную, либерально-легальную и экономико-этическую — все эти теории являются разновидностями концепций линейного развития, большое число которых было предложено обществоведами XIX и начала XX века. К ним вполне могут быть отнесены десятки описанных социологией и антропологией, историей и правом тенденций эволюции семьи, брака и родства — все эти отношения имеют однообразные стадии развития: от промискуитета «первобытных» половых отношений к моногамной семье (проходя 3, 4 или 5 стадий в зависимости от воображения таких авторов, как Дж. Бахофен, Дж. Ф. Макленнап, сэр Джон Люббок, Ф. Энгельс, А. Бабель, Л. Г. Морган и многие другие); от патриархальной семьи — к родственной семье, основанной на равенстве полов; от патрилинейной к матрилинейной системе наследования и родства или наоборот; от равенства к неравенству полов или наборот — предлагались все возможные направления развития.

В этих и других общественных и гуманитарных науках громогласно «открывались» все новые и новые вечные исторические тенденции и их стадии развития: от фетишизма или тотемизма к монотеизму и иррелигиозности; от религиозных и магических суеверий к рациональному научному мышлению; от этической дикости к разумному нравственному человеку; от первобытного уродства к возрастающей и совершенствующейся красоте и т.д. и т.п. Ученые, работавшие в области *политических наук,* без колебаний формулировали целый ряд разнообразных «законов прогрессивной политической процесс-эволюции»: от «автократической монархии к демократической республике» или наоборот (в зависимости от политических симпатий ученого); от прямой демократии к представительной демократии или наоборот; от первобытной анархии к централизованному управлению или наоборот; от «правительства силы» к правительству общественного служения»; и каждое направление — с последовательными промежуточными стадиями, определенным образом сменяющими друг друга в более или менее единообразной последовательности. И в *экономике* многие выдающиеся мыслители были заняты экономическими тенденциями развития и стадиями, которые должны проходить, как они полагали, все народы. Стадии экономического развития, по Ф. Листу: варварская, пастушеская, земледельческая, земледельческо-промышленно-коммерческая; теория трех стадий Б. Хилдебранда: Naturalwirtschaft", Geld-wirtschaft[12], Greditwirtschaft[13]; закон 3 стадий Карла Бучера: натуральное хозяйство, город и национальная экономика; теория 5 стадий Густава Шмоллера могут служить типичными примерами таких линейных «экономических динамик». Экономическая наука прошлого века также линейно рассматривала и экономическую эволюцию от коллективного сельского хозяйства к индивидуальному или наоборот; от первобытного коллективизма к капиталистическому индивидуализму или наоборот и т.д., вплоть до еще более частных тенденций, якобы имеющих место в процессе экономического изменения.

Такая же линейная концепция исторического изменения господствовала в *археологии и истории.* Если в фактологических работах при непосредственном изложении исторических событий обсуждение тенденций, направлений и законов эволюции-прогресса не занимало много места, то такие тенденции и законы (разделяемые социологами и историками) служили путеводными звездами и полномочными принципами организации хаотического материала и особенно его интерпретации. Археологический и исторический «закон технологической эволюции» с его стандартизированными стадиями — Палеолит, Неолит, Медный, Бронзовый, Железный и Машинный век — лишь один из линейных законов, которым историки руководствуются как фундаментальным принципом при упорядочении материала. Другим таким принципом является и сама линейно истолкованная идея прогресса, послужившая действительным основанием для большей части исторических трудов XIX века. От этой идеи не были свободны даже авторы явно описательных работ, открыто выступавшие против «философствования» в истории. Типичным примером тому служит «Кембриджская Новая история», на одной из первых страниц которой, несмотря на антипатию ее авторов и редакторов ко всякой философии истории, мы читаем: «Мы хотим открыть непреходящие тенденции. ... Мы принимаем прогресс в человеческих отношениях как научную гипотезу, в соответствии с которой должна быть написана история. Этот прогресс неизбежно должен быть направлен к какой-то цели»[14]. Вряд ли стоит добавлять, что и в других якобы чисто фактологических повествованиях историки XIX века, начиная с Моммзена, Л. фон Ранке, Ф. де Куланжа, Ф. Гизо и кончая

авторами «Кембриджской Новой истории», действительно сформулировали множество линейных законов эволюции во всех областях социальной и культурной жизни[15].

[11] Природно-хозяйственная (нем.).

[12] Денежно-хозяйственная (нем.).

[13] Кредитно-хозяйственная (нем.).

[14] Cambridge Modern History. Pop. ed. N.Y., 1934. Vol. 1. P. 4. Эта работа, заметьте, была написана в XIX веке. Современный пример, Fischer H. History of Europe. London, 1905, где заявление: «на страницах истории черным по белому написано «прогресс» (Vol. I. P. VII), противоречит провозглашенному неприятию исторических генерализаций.

[15] Так, в уже цитированной выше «Кембриджской Новой истории» читаем: «Практическое применение научных знаний будет расширяться и... грядущие века станут свидетелями безграничного роста власти человека над природными ресурсами и разумного использования их на благо человеческого рода» (Vol. XII. P. 791]

Итак, социологии, другим общественным, философским и даже естественным наукам XIX века центральная проблема физической, биологической и социокультурной динамики казалась очень простой — следовало лишь отыскать и описать линейные тенденции, которые якобы разворачиваются во времени. В области социокультурных изменений задача упростилась невероятно: все было сведено к построению главной линии развития — прямой, волнообразной, ветвящейся или спиралеобразной, ведущей от «первобытного» человека, общества, культуры к современным. Вся история была расписана как школьная программа, по которой «первобытный» человек или общество — первоклассник — заканчивает начальную школу, затем среднюю (или проходит другие ступени, если их в классификации больше 4) и, наконец, оказывается в выпускном классе, который называется «позитивизм», или «свобода для всех», или еще как-нибудь в зависимости от фантазии и вкусов автора.

2. *XX век.* Уже в XVIII и XIX веках изредка раздавались голоса, остро критиковавшие эту догму и предлагавшие иные теории социокультурной динамики. В XX веке эти голоса умножились и, наконец, возобладали. Первым результатом этого изменения стала все расширяющаяся критика положений линейной теории социокультурного изменения и линейных законов, сформулированных биосоциальными науками прошлого столетия. Эта критика имеет под собой как логически», так и фактологическую почву.

Критиковавшие логику линейных теорий показали, что, во-первых, линейный тип изменения лишь один из многих возможных; во-вторых, для того чтобы линейное движение или изменение было возможно, изменяющийся объект должен либо находиться в абсолютном вакууме и не испытывать воздействия внешних сил, либо действие этих сил на протяжении всего процесса изменения должно быть скомпенсировано, т.е. эти силы должны находиться в таком «замечательном равновесии», чтобы они могли нейтрализовать друг друга в каждый момент времени и, таким образом, позволить изменяющемуся объекту двигаться в одном направлении, будь это движение прямолинейным, спиралеобразным или колебательным.

Очевидно, что реализовать обе эти предпосылки практически невозможно; даже «материальная точка» в механике никогда не движется ни в абсолютном вакууме, ни под действием полностью компенсирующих друг друга сил; даже материальные тела находятся под влиянием хотя бы двух сил: инерции и гравитации, которые силой инерции превращают их прямолинейное и единообразное движение в круговое или криволинейное. Это также верно и в отношении нематериальных объектов. А если принять во внимание тот факт, что человек, общество и культура — гораздо более сложные «тела», что они подвержены постоянному влиянию неорганических, органических и социокультурных сил, то их линейное изменение на протяжении всего исторического времени становится еще менее вероятным. Прибавьте к этому и тот неоспоримый факт, что каждая из этих «единиц изменения» сама постоянно изменяется в процессе своего существования и таким образом может изменять направление социокультурного изменения, и тогда утверждение о вечной линейности потеряет всякий смысл.

В силу этой и других подобных причин теория вечных линейных тенденций все чаще отвергалась и заменялась другой, которую можно было бы назвать *принципом предела* в линейной тенденции изменения. Согласно данному принципу линейно развиваются лишь некоторые социокультурные явления на протяжении ограниченных отрезков времени, которые различны для разных социокультурных единиц. Из-за постоянных изменений самих единиц, изменения и непрекращающегося воздействия огромного числа внешних по отношению к ним сил временно линейный характер их движения нарушается и сменяется «поворотами и отклонениями»; в результате глобальный процесс социокультурного изменения приобретает нелинейный характер[16].

[16] Систематический анализ нелинейных форм развития см. в моей кн.: Social and Cultural Dynamics. Vol. **I.** Ch. 4; **Vol.** IV. Ch. **12—16** et passim в остальных томах.

В-третьих, многие другие предположения, лежащие в основе линейных теорий, такие, как спенсеровский принцип «нестабильности однородного», оказались необоснованными — логически и фактологически.

В-четвертых, было показано, что логическая структура линейных теорий внутренне противоречива. Например, теория Спенсера утверждает, что высшим проявлением единообразия всех видов изменения, начиная с движения материальных тел и кончая социокультурными процессами, является ритм, в котором чередуются фазы эволюции и разложения, интеграции и дезинтеграции, дифференциации и де-дифференциации. Если последовательно применить эту теорию к изменению социокультурного явления, то она будет противоречить любой неограниченной линейной теории эволюции. Она предполагает, что «эволюция» и ее направление должны смениться «разложением» с направлением, противоположным или хотя бы отличающимся от направления «эволюции». Находясь во власти линейной концепции, Спенсер пренебрегает этим требованием своей собственной теории и, выделяя лишь направление эволюции, не только противоречит своим собственным принципам, но и сталкивается с целым рядом других трудностей[17]. То же самое с небольшими поправками можно сказать практически обо всех линейных теориях изменения.

[17] См. об этом мою: Dynamics, vol. IV, p. 670—693 et passim.

В-пятых, в линейных теориях уязвимо для критики оперирование «человечеством» как единицей изменения. Большинство этих теорий прослеживают соответствующую линейную тенденцию в истории человечества в целом. Линейные теории, не касающиеся важнейшего вопроса о том, может ли «человечество»,— ни в коей мере не объединенное в какую-либо реальную систему в прошлом,— рассматриваться как единица изменения, происходящего с «начала человеческой истории по настоящее время», вряд ли имеют какое-либо реальное значение. Очевидно, что такая тенденция не может реализоваться и в жизни-истории каждого человека, потому что миллионы людей в прошлом жили и умирали, не достигая позднейших ступеней заданного пути и не проходя всех его якобы необходимых этапов. Таким же образом подавляющее большинство человеческих сообществ существовали и исчезали, находясь на начальных стадиях того или иного направления развития, а тысячи современных обществ до сих пор находятся на самых ранних ступенях развития. В то же время многие сообщества никогда не проходили начальных стадий развития, а возникали уже с характеристиками более поздних этапов.

Далее, огромное число обществ и групп прошли в своем развитии не те этапы, которые описываются соответствующими «законами эволюции-прогресса», и в отличной от предписанной этими «законами» временной последовательности. Иные группы показали регресс от более поздних стадий к более ранним. И наконец, в жизни каждого индивида, группы и человечества в целом в каждый данный момент времени можно обнаружить сосуществование множества стадий развития — от самых ранних до наиболее поздних. Если теперь из «человечества», к которому предположительно относится этот закон, исключить всех индивидов и все группы людей, развитие которых отклоняется от направления «закона эволюции» с его стадиями, то останется (если вообще что-нибудь останется) совсем небольшая группа, «историческое изменение» которой подчиняется так называемым универсальным тенденциям и законам линейного развития. Одного этого довода достаточно, чтобы считать эти тенденции и законы в лучшем случае частными закономерностями, относящимися лишь к очень небольшой части человечества, а никак не универсальными законами социокультурной эволюции.

К этой и аналогичной логической критике положений и принципов разнообразных линейных теорий социокультурного изменения может быть добавлена не менее существенная фактологическая критика. Суть этой критики в подборе обширного фактического материала, явно противоречащего провозглашенным тенденциям и законам. Социологи, психологи, философы, историки, этнографы и другие ученые показали, что эмпирические процессы жизни-истории индивидов и групп людей не соответствуют воображаемым тенденциям развития и не проходят соответствующих этапов развития. Факты явно противоречат утверждениям о существовании каких-либо универсальных и вечных линейных тенденций или каких-либо универсальных стадий эволюции, относящихся ко всему человечеству, к любым группам и индивидам.

Результатом логической и фактологической критики линейной динамики на протяжении двух последних столетий стал наблюдаемый в XX веке спад энтузиазма открывателей таких тенденций и законов. Попытки продолжить создание таких динамик, конечно, не исчезли полностью, но их становится все меньше и меньше и они все чаще ограничиваются отдельными обществами, временными и многими другими рамками и

оговорками.

Находя теории социальной динамики линейного толка мало продуктивными, исследователи сосредоточились на других аспектах социокультурного изменения, и прежде всего на его *постоянных и повторяющихся чертах: силах, процессах, взаимосвязях, проявлениях единообразий.*

Внимание социологии и других общественных наук к *постоянным чертам* социокультурного изменения проявлялось по-разному.

Во-первых, тщательно изучались *постоянные силы, или факторы,* социокультурного изменения и *постоянные проявления* социокультурной жизни и организации. Сторонники механистической и географической школ, например, исследовали с этой точки зрения различные формы энергии (В. Оствальд, Е. Солвэй, Л. Винарский, В. Бехтерев и др.) или особые космические силы — климат, солнечные пятна и другие географические факторы (Э. Ханингтон, В. С. Дживанс, Г. Л. Мур и др.), и описали их постоянные воздействия на социальные и культурные явления, начиная с экономических изменений и кончая подъемом и падением наций. Приверженцы биологической и физиологической школ в социологии и общественных науках брали в качестве таких постоянных сил наследственность, расу, инстинкты, рефлексы, различные физиологические порывы, жизненные процессы, эмоции, чувства, желания, «резидуи», идеи и пытались доказать постоянное социокультурное действие каждой биопсихологической переменной (Зигмунд Фрейд, психоаналитики, сторонники теории наследственности, такие, как Ф. Гальтон, Карл Пирсон и др., Г. С. Чемберлен, О. Аммон, В. де Лапуж, К- Ломброзо, Е. А. Ху-тон и другие представители расово-антропологической школы; бихевиорист Джон Б. Уотсон; психологисты Уильям Мак-Дугалл, Ч. А. Эллвуд, Е. А. Росс, Е. Л. Торндайк, У. И. Томас, Вильфредо Парето, Л. Петражицкий, Г. Блюхер, Уильям Троттер, Грэхем Уоллес, Лестер Ф. Уорд, Уильям Грэхем Саммер, Габриэль Тард, Торстейн Веблен и др.). Другие социологи пытались выявить действие на остальные социокультурные явления таких разнообразных условий, как плотность и численность населения, «изобретательность», «экономический» или «религиозный» и другие факторы вплоть до «мобильности», «моральной плотности», «общественной аномии». Во всех этих исследованиях делались попытки высветить постоянную роль каждого из этих «факторов-переменных» в поведении людей, в социальной структуре и культурной жизни, постоянное действие каждого из этих факторов и, наконец, объяснить, «как» и «почему» колебаний и изменений самих этих факторов.

Во-вторых, внимание к *постоянным и повторяющимся* чертам социокультурного изменения проявилось в глубоком изучении *постоянных и всегда повторяющихся процессов в социокультурном универсуме.* Значительное место в социологии XX века занимают исследования таких всегда повторяющихся процессов, как изоляция, контакт, взаимодействие, амальгамация, культивация, изобретение, имитация, адаптация, конфликт, отчуждение, дифференциация, интеграция, дезинтеграция, организация, дезорганизация, диффузия, конверсия, миграция, мобильность, метаболизм etc., с одной стороны, а с другой стороны — исследования этих повторяющихся процессов, поскольку они касаются вопросов групповой динамики, того, как общественные группы возникают, организуются, обретают и теряют своих членов, как распределяют их внутри группы, как они меняются, дезорганизуются, как они умирают и т.д. (Габриэль Тард, Георг Зиммель, Леопольд фон Визе, Роберт Е. Парк, Эрнст У. Бёрджесе, Е. А. Росс, Эмори Богардус, Коррадо Джини, П. Карли, Питирим Сорокин и авторы почти всех учебников социологии). Таким образом, в социологии XX века был проведен тщательный анализ основных социокультурных процессов, постоянно повторяющихся в жизни-истории любого общества в любое время.

Третьим проявлением внимания к повторяющимся процессам было интенсивное изучение *устойчивых и повторяющихся значимо-причинно-функциональных* связей между различными космосо-циальными, биосоциальными и социокультурными переменными, как они выступают в постоянно изменяющемся социокультурном мире. Несмотря на то что эти отношения изучались уже в XIX веке, в наше время их исследование необычайно углубилось. Основные условия географической, биологической, психологической, социологической и механистической школ в социологии XX столетия были направлены как раз на отыскание и описание причинно-функциональных или причинно-значимых единообразий во взаимосвязях между двумя или несколькими переменными: между климатом, мышлением и цивилизованностью; между солнечными пятнами, деловой активностью и уровнем преступности; между наследственностью и той или иной социокультурной переменной; между технологией и философией или изобразительным искусством; между плотностью населения и идеологией; урбанизацией и преступностью; формами семьи и формами культуры; общественным разделением труда и формами солидарности; общественной аномией и числом самоубийств; состоянием экономики и преступностью, душевными расстройствами, внутренней напряженностью, беспорядками или войнами; между формами религии и формами политической и экономической

организации и т.д. и т.п., начиная с самых узких и кончая предельно широкими. Эти исследования дали множество формул причинно-функциональных и причинно-значимых единообразий, повторяющихся в развитии различных обществ и в каждом обществе в различные периоды. Проверив многие подобные обобщения, сделанные ранее, ученые нашли их либо совершенно ложными, либо нуждающимися в серьезных исправлениях.

Наконец, четвертым проявлением внимания к *устойчивым и повторяющимся* аспектам социокультурного изменения стало изучение *постоянно повторяющихся ритмов, осцилляции, флуктуации, циклов и периодичностеи* в ходе социокультурного процесса. Занятые поисками линейных тенденций, социология и все общественные науки XIX века уделяли мало внимания этим повторяющимся чертам социокультурного изменения. За небольшим исключением (Гегель, Тард, Феррара, Данилевский и некоторые другие), обществоведы и социологи прошлого века пренебрегали богатой традицией китайских и индийских мыслителей, традицией Платона, Аристотеля и Полибия, Ибн Хальдуна и Дж. Вико, сосредоточивших свои исследования социальной динамики на повторяющихся циклах, ритмах, осцилляциях, периодичностях, а не на вечных линейных тенденциях. XX век подвел итоги работы этих мыслителей и энергично их продолжил.

Самые первые в общественных и гуманитарных науках XX века и наиболее глубокие исследования циклов, ритмов, флуктуации и периодичности появились в теории и истории изобразительного искусства, а затем в экономике, в исследованиях промышленных циклов. Большинство же социологов и других представителей общественных и естественных наук несколько отстали в изучении повторяющихся единообразий, так как они с опозданием обратились к новой области исследований. Даже сегодня многие социологи не отдают себе отчета в том, что произошел решительный отход от линейных тенденций и что научный интерес сместился на повторяющиеся ритмы и периодичности. Раньше или позже, но во всех общественных, философских и даже естественных науках произошла или происходит смена исследовательского интереса. Со значительным опозданием осознали это естественные науки, и теперь даже открыт Институт изучения циклов в области физико-химических и биологических явлений. Что касается всей совокупности философских, общественных и гуманитарных дисциплин XX века, то они уже дали значительное число научных работ, посвященных социокультурным ритмам, циклам и периодичностям в изобразительном искусстве и философии, этике и праве, экономике, политике, религии и других социокультурных процессах. Одно только перечисление всех единообразий ритма и темпа, типов и периодичности флуктуации и других важных результатов этих исследований заняло бы несколько сотен страниц, как это произошло в моей «Динамике»[18].

[18] Видимо, наиболее полный и сжатый обзор и анализ основных исследований социокультурных ритмов, циклов, периодичностей и единообразий темпов дан в моей работе «Social and Cultural Dynamics». Vol. IV. Ch. 6—11. et passim во всех ее четырех томах. Как уже отмечалось, большинство социологов с опозданием обратили должное внимание и направили свои усилия на изучение этих явлений. Несмотря на всевозрастающее в XX веке количество монографической литературы, посвященной ритмам, циклам, флуктуациям, периодичностям, в социологии, общественных, гуманитарных, философских и естественных науках, в большинстве социологических работ, даже самых современных, эти вопросы либо просто обходятся, либо им уделяется слишком мало внимания.

Целый ряд ритмов с двумя, тремя, четырьмя и большим числом фаз, периодических и не периодических, коротких и продолжительных, в узких и широких, простых и сложных социокультурных процессах выявили и проанализировали: в искусстве — У. М. Ф. Петри, О. Г. Кроуфорд, П. Лигети, Г. Вёльфлин, Ф. Мантре, Дж. Петерсен, Е. Уэкслер, У. Пиндер, П. Сорокин и многие другие; в философии — К- Джоел, П. Сорокин и другие; в экономических процессах — большая группа экономистов, начиная с М. Туган-Барановского и кончая Уэсли Митчелом и Джозефом Шумпетером; в политических процессах — О. Лоренц; в культурных образцах — А. Л. Кребер; в жизни-истории функционирования обширных социокультурных систем и суперсистем — Л. Вебер, Альфред Вебер, Освальд Шпенглер, Арнольд Дж. Тойнби, Сорокин и многие другие. Линейная последовательность стадий, или фаз, социокультурного процесса во времени тоже получала более надежную основу благодаря изучению ритма и последовательности фаз. Оставив охоту за какими-то странными и сомнительными последовательностями стадий линейного процесса, проходящего через всю человеческую историю, которой занимались в XIX веке, и сосредоточившись на изучении повторяющихся процессов, исследователи XX века смогли показать существование многих ритмов с определенной повторяющейся временной последовательностью фаз. Наконец, эти работы значительно расширили наши познания в области периодичности и длительности разнообразных социокультурных процессов.

Итак, социология и все общественные науки XX века нашли изучение ритмов, циклов, темпов и периодичностей более продуктивным, дающим более богатые и определенные

результаты, чем поиски извечных исторических путей развития, которыми они занимались в XIX веке. Не остается сомнений, что ритмы и повторяющиеся процессы будут изучаться еще тщательнее, усерднее, интенсивнее в последующие десятилетия и, по всей вероятности, на этом пути общественные науки ждут гораздо большие достижения, чем в XIX веке.

Таковы вкратце основные изменения в изучении «что» социальной динамики, происшедшие в социокультурной мысли XX века в сравнении с XIX.

II

Новое в изучении «почему» социокультурного изменения. Параллельно с обрисованным выше сдвигом в рассмотрении «что» социокультурного изменения ряд изменений произошел и в изучении «почему» и «как», его причин и механизмов. Опять-таки данные изменения не представляют собой нечто абсолютно новое, совершенно неизвестное социологии и общественным наукам XIX века. Они скорее явились результатом смещения основного исследовательского интереса и смены господствующей модели мышления, дальнейшим прояснением того, что было недостаточно ясно в XIX столетии, и более отчетливой дифференциацией того, что было тогда недостаточно дифференцировано.

Во-первых, *сегодня придается больше веса социокультурным переменным как факторам социокультурного изменения.* Несмотря на то что теории, в которых подчеркивается важная роль географического, биологического и психологического факторов в социокультурном изменении, продолжают развиваться, они вряд ли добавили что-либо к тому, что уже было сказано ими в прошлом веке. Основные достижения и основной взгляд принадлежат социологическим теориям, которые рассмотрели различные социальные и культурные факторы как главные движущие силы социокультурного изменения. Тщательные исследования изменения числа самоубийств и преступлений, экономических колебаний, войн и революций, смены политических режимов, стилей в изобразительном искусстве или динамики обширных культурных и социальных систем со всевозрастающей надежностью подтверждают догадку о том, что основные факторы этих изменений находятся в самих социокультурных явлениях и тех социокультурных условиях, в которых они происходят и функционируют. Оказывается, что внешние по отношению к ним географические и биологические силы являются второстепенными факторами, способными облегчить движение социокультурной системы или подорвать и даже сокрушить ее, но, как правило, не определяющими ее нормальное развитие, взлеты и падения, основные качественные и количественные изменения в ее жизни-истории. Направление факторного анализа получило свое естественное завершение в *ряде систематических теорий имманентного социокультурного изменения,* согласно которым каждая социокультурная система несет в себе семена своего собственного изменения и гибели. Таким образом, в нашем столетии возродились и развиваются старые теории имманентного изменения Платона и Аристотеля, Полибия и Вико, Гегеля и Маркса, Момзена и Конта, которыми так или иначе пренебрегали в прошлом веке[19].

[19] Об этих теориях и принципах имманентного изменения см. мою «Dynamics» (vol. IV, ch. 12, 13), в которой дан, вероятно, самый полный в социологической литературе обзор и анализ этого вопроса.

С развитием этих теорий в социологической мысли нашего века произошло второе изменение, состоявшее в придании *все большего значения и особой роли имманентным, или внутренним,* силам каждой данной социокультурной системы в ее жизнедеятельности и в придании *меньшего веса и лишении особого значения* факторов, *внешних* по отношению к данной социокультурной системе . Господствующим направлением факторного анализа социального изменения в XIX веке было объяснение изменения каждого данного социокультурного явления — будь то семья или деловое сообщество, литература или музыка, наука или право, философия или религия — посредством изучения внешних по отношению к данному явлению факторов (географических, биологических и других социокультурных условий, внешних по отношению к данной социокультурной системе). В XX веке ученые все чаще обращаются к основаниям главных изменений в функционировании данной социокультурной системы во всей совокупности ее собственных актуальных и потенциальных свойств и ее связях с другими социокультурными явлениями. Все внешние силы (географические, биологические и социокультурные), с которыми система непосредственно не связана, должны рассматриваться, как правило, лишь как второстепенные факторы, подрывающие либо облегчающие (а иногда даже уничтожающие) реализацию потенций системы[21].

[20] Это не относится к социокультурным совокупностям несистемного характера (congeries). О различии между системой и congery см. в моей «Dynamics» (vol. IV, ch. 1—4).

[21] Об этом см. упоминавшиеся выше том и главы «Dynamics». Следует отметить, что, подобно мольеровскому герою, который говорит прозой, не отдавая себе в этом отчета, многие социологи и

представители общественных наук не осознают этих изменений в полной мере. В своих исследованиях эти ученые подчеркивают решающую роль социокультурных факторов в причинном объяснении тех или иных социокультурных изменений, но в то же время выступают против принципов имманентного изменения и его имманентных факторов, явно оставаясь на «экстерналистской» точке зрения. Они как будто не понимают, что акцент на социокультурных факторах социокультурного изменения как главных факторах уже означает — с небольшими исключениями и оговорками — признание имманентной теории социокультурного изменения.

Третьим изменением в области *«почему»* социокультурного развития стали *возрастание внимания к роли отдельных факторов (переменных) в отдельных социокультурных изменениях, особенно к роли социокультурных факторов, и большая точность в их изучении.* В XX веке социология не открыла ни одного нового фактора социокультурных изменений, неизвестного социологии прошлого века. Но, изучая причинные связи, социология XX века гораздо точнее определила эти факторы — географические, биологические и особенно социокультурные, весьма неопределенно именовавшиеся ранее экономическими, религиозными, идеологическими, юридическими и т.д. В интересах точности эти широкие и довольно неопределенные факторы были разложены на множество более определенных и четких «независимых переменных» и гораздо более тщательно изучены в их причинных связях с рядом более частных «зависимых социокультурных переменных». Разложив всеобъемлющий и неопределенный «экономический фактор» марксизма на такие переменные, как экспорт, импорт, цена товаров, уровень заработной платы и доходов, структура расходов, индекс деловой активности и т.д., и исследовав связи каждой из этих переменных с особыми формами преступлений, психических расстройств, самоубийств или сменой политических идеологий, социология XX века дала нам более определенное знание о связях между этими переменными, чем социология прошлого века. Таким же образом социология нашего века поступила и с другими предельно широкими факторами.

Возросшая точность факторного анализа явилась также результатом накопления в социологии и общественных науках XX столетия богатого фактического материала. Поскольку идеалом науки была «социология, нацеленная на факт», ею был накоплен более обширный систематизированный фактический материал, столь необходимый для выдвижения и проверки любой гипотезы о причинной связи. Этот более обширный и более качественный фактический материал позволил социологии и общественным наукам XX века надежно проверять обоснованность причинных гипотез. В результате часть прежних теорий причин социокультурного изменения была признана ложной, другие объяснения пришлось уточнить и ограничить, а некоторые оказались даже более обоснованными, чем это казалось раньше[22]. Этому возросшему стремлению к точности и надежности теорий *«почему»* социокультурных изменений мы обязаны значительными достижениями современной социологии, но в нем же коренится и один из ее самых больших грехов — принесение приблизительной действительности в жертву обманчийой точности.

[22] См. факты и теории в моих «Contemporary Sociological Theories», passim; «Dynamics», passim.

Главным изменением в социологии и общественных науках XX века стали, однако, *нарастание разногласий и раскол на два противоборствующих направления в изучении каузально-факторных проблем «почему» социокультурного изменения.* В менее явной, скрытой форме это противоречие существовало уже в XIX веке. В XX веке оно углубилось, расширилось и переросло в открытый конфликт. Первый подход состоит в некритическом применении методов и принципов причинно-функционального анализа в том виде, в каком они утвердились в естественных, физико-химических науках. Второй подход заключается в специфически социокультурном понимании причинности, существенно отличающемся от сформулированного в естествознании, разработанном для изучения особой природы социокультурных явлений, причинных и функциональных связей между ними как в статическом, так и в динамическом аспекте. Сторонники «естественнонаучной модели причинности» в области социокультурных явлений считают, что эти явления по своей структуре подобны, даже идентичны физико-химическим и биологическим явлениям; следовательно, такие плодотворные в своей области методы и принципы причинного анализа естественных наук будут вполне адекватными и для причинного анализа — как статического, так и динамического аспекта социокультурных явлений.

В соответствии с этими посылками сторонники «естественнонаучной причинности в общественных явлениях» в XX веке, во-первых, стремились к тому, чтобы выбираемые ими факторы, или «переменные» (изменения), были «объективными, поведенческими, операциональными» — чем-то материальным и осязаемым.

Во-вторых, их образ действий был «механическим и атомистическим» в том смысле, что они брали за переменную любой «транссубъективный» фактор, независимо от того, является ли он неотъемлемой частью какого-либо реального единства или изолированным явлением. Начиная с причин преступлений или «счастья в браке» и кончая более

масштабными явлениями, факторный анализ такого типа пытается перебрать по одному длинные или короткие ряды возможных факторов (например, для супружеского согласия или счастья: телосложение, цвет кожи, экономическое положение, вероисповедание, профессия, доход, климат, раса, национальность, etc., etc) и оценить, причем количественно, их относительную значимость для исследуемого явления, приписывая каждому из факторов строго определенный «индекс влияния». Эта процедура повторяется при выявлении любых причинных связей.

В-третьих, опять же в полном соответствии с этими предпосылками для упорядочения и «обработки» данных заимствуются разнообразные принципы естественных наук: физики и механики (от теории относительности Эйнштейна до современных теорий физики микрочастиц), принципы химии и геометрии, биологии и математики (современные течения «социальной физики», «социальной энергетики», «геометрической и топологической социологии», квазиматематические теории социального изменения и причинности, социометрические, «рефлексологические», «эндокринологические», «психоаналитические», «биологические» и другие социологические теории причинности и изменения).

В-четвертых, некоторые энтузиасты особенно усердно стараются применить «точный количественный метод» причинного анализа в форме различных псевдоматематических процедур и сложных статистических операций, твердо уверовав в возможность достижения истины посредством сложных механических операций, предписываемых их псевдоматематикой и псевдостатистикой[23].

[23] Литературу по естественнонаучной причинности см. в моих книгах: Sociocultural Causality, Space, Time. Durham, 1943, chap. 1,2; Contemporary Sociological Theories, Ch. 1,11. Из современных работ, в которых эти тенденции доведены почти до абсурда, вполне представительны: D o d d S. C. Dimensions of Society. N.Y., 1942; C h a p p i e E. D., A r e n s b e r g C. M. Measuring Human Relations. Provincetown, 1940; H o r s t P., W a l l i n P., G u ll m a n L. and oth. The Prediction of Personal Adjustment. N.Y., 1941. Самое грубое, незрелое и наивное изложение философии этого рода см. в кн.: L u n d b e r g G. A. Fondations of Sociology. N.Y., 1939.

В результате приверженности к этой якобы[24] «естественнонаучной причинности» теоретические и конкретные исследования социокультурных явлений и факторный анализ XX века создали обилие «исследований», переполненных цифрами, диаграммами, показателям, сложными формулами — очень точными и «научными» на вид — простых и сложных причин существования и изменения любых социокультурных явлений, которые им приходилось изучать. Несмотря на шумные заявления и претензии сторонников этого направления, реальные результаты их весьма энергичных усилий разочаровывают. При тщательном рассмотрении их утверждения и посылки оказываются разновидностью грубейшей материалистической метафизики, непоследовательной и внутренне противоречивой, искажением методов и принципов естественных наук, логики и математики. А действительные результаты, полученные посредством этих «точных на вид» формул и операций, как правило, оказываются либо тщательной разработкой очевидного, либо формулами, обманчивыми в своей точности и противоречащими друг другу: с высокими показателями у одного и того же фактора в одной серии исследований и низкими в следующей, с высокими положительными коэффициентами корреляции между какими-либо переменными в одних работах и низкими или отрицательными коэффициентами между теми же переменными в других.

[24] «Якобы» потому, что то, что они проповедуют как методы и принципы естественных наук, как правило, оказывается их собственным примитивным искаженным пониманием этих принципов. Их «математика» — это псевдоматематика, их геометрия и топология не имеют никакого отношения к настоящим геометрии и топологии; их «физика», «химия» и «биология» не более чем дилетантская стряпня, чуждая науке. И это открыто заявляют настоящие математики, химики, биологи, которым приходилось отзываться об этих работах.

Логико-математическая несостоятельность большинства этих предпосылок вместе с фактической бесплодностью достигнутых результатов вызвала значительное и растущее противодействие этой праздной игре в «естественнонаучную причинность» в общественных явлениях со стороны других социологов и обществоведов. Следуя традиции великих мыслителей прошлого, таких, как Платон и Аристотель, и некоторых выдающихся ученых XIX века, таких, как сам Конт, Г. Риккерт, В. Дильтей и другие, они представили целый ряд ясных и убедительных доводов против этой «игры».

Во-первых, они констатируют, что каждая зрелая естественная наука имеет специфические принципы, методы и методики анализа причинных связей, соответствующие природе исследуемых явлений. Принципы, методы и методики чисто математических наук отличны от физических или биологических; методы и методики биологии отличаются от методов физики или химии; даже в рамках одной науки принципы, методы и методики физики микромира не те же самые, что в физике макромира. Поэтому, возражают они, неправомерно утверждать, что существуют какие-то общие «естественнонаучные принципы, методы и методики», и тем более некритически

применять их к изучению социокультурной причинности.

Во-вторых, они указывают на коренные различия в природе и структуре социокультурных и физических, биологических явлений; следовательно, изучение социокультурной причинности требует набора принципов, методов и методик, отличных от тех, которые применяются в физике или биологии, и соответствующих характеру причинных связей в социокультурном мире.

В-третьих, они утверждают, что, имея в виду «нематериальный» компонент этих явлений, невозможно безусловно оперировать «объективными», «материальными», «поведенческими», «операциональными» переменными, взятыми атомистически и механически, так как каждая социокультурная переменная (включая религиозные, экономические, юридические, этические, эстетические, политические и другие, которыми оперируют «социологи-естественники») «объективно» воплощается во множестве «материальных носителей», различающихся химически, физически, биологически, перцептивно, материально, и ни одна из этих переменных не ограничена в своих материальных проявлениях каким-либо одним классом материальных явлений. Поэтому никому, даже «социологам-естественникам», непозволительно рассматривать какой-либо «объективный» материальный объект или неизменное проявление какого-либо из этих факторов, классов или групп социокультурных явлений; любая такая попытка, где бы и когда бы она ни предпринималась, оборачивается самыми грубыми ошибками.

Четвертое возражение состоит в том, что атомистическое изучение любого социокультурного фактора в его взаимосвязи с другими переменными невозможно, так как один и тот же социокультурный фактор *A* может совершенно по-разному относиться к переменной *B* в зависимости от того, являются ли *A* и *B* частями одной социокультурной системы (unity) или изолированными явлениями (congeries), дан ли фактор *A* в данной социокультурной констелляции или же в другой, например, фактор принадлежности к одной расе *(A)* оказывает ощутимое влияние на выбор партнера в браке *(B)* в обществе, где придается большое значение общности или различию рас партнеров, и небольшое (если вообще оказывает) влияние на тот же выбор *B* в обществе, где общности или различию рас партнеров придается небольшое значение или вообще не придается никакого значения; объективно одно и то же действие, скажем *A* дает *B* тысячу долларов, может иметь десятки социокультурных значений — от выплаты долга или зарплаты до пожертвования или взятки. Подобно этому причинная связь данного действия с другими действиями *A и B и c* другими социокультурными явлениями находится в диапазоне от теснейшей причинной связи до нулевой, от связей с С и *Д* или *M* и до связей с десятками других социокультурных переменных.

В-пятых, следует признать, что причинные связи в социокультурных явлениях вообще совершенно отличны от связей в атоми-стичных несистемных совокупностях, агрегатах (congeries). В силу этих и многих других причин вряд ли можно говорить, что между социокультурными явлениями существуют чисто причинные связи, такие, как в физических, химических и даже биологических явлениях. Скорее в этой области мы находим большей частью связи по значению и типологические связи (Sinn-Ordnung, Sinn-Zusammenhaenge, Verstenhende[25] и идеально-типические взаимосвязи В. Дильтея, Г. Риккерта, Макса Вебера, Т. Литта, Г. Гайгера и других представителей школы Дильтея — Макса Вебера) или взаимосвязи «динамической групповой оценки» (dynamic group assessment) (Макайвер), или то, что я называю значаще-причинными связями. Вряд ли возможно изучать эти специфические связи, механически применяя к ним догматические правила статистических методов, методы индукции или любые другие правила и методы той или иной естественной науки. Точность результатов таких исследований обманчива. Необходимы иной подход, иные методики, учитывающие «значащую составляющую» социокультурных явлений (отсутствующую в физико-биологическом мире), так как эта составляющая играет ведущую и решающую роль и является «ключом» как к простейшим, так и к сложнейшим системам значаще-причинных, статистических и динамических связей в социокультурном мире.

Ряд социологов и обществоведов, рассуждая таким образом, на протяжении последних 20 лет пытаются создать систематическую теорию социокультурной причинности. Некоторые из них попытались применить эту теорию к конкретному анализу социокультурных систем — как широких, так и узких, не избегая даже предсказаний, касающихся дальнейшего развития этих малых и крупномасштабных социокультурных процессов[26].

[25] Смысловой порядок, смысловая связь, понимание.— *Прим. перев.*

[26] Современный анализ, краткое изложение и система социокультурной причинности даны в кн.: Maclver R. M. Social Causation. Boston, 1942, и в моих кн.: Sociocultural Causality, Spase, Time и Social and Cultural Dynamics, vol. IV et passim.

Несмотря на то что эти теории специфической социокультурной причинности в настоящий момент весьма приблизительны и далеки от завершения, их развитие в ближайшее десятилетие обещает поставить причинный анализ в общественных науках на

гораздо более твердое основание, чем то, которым он обладал до сих пор. А с улучшением инструмента исследований мы вправе ожидать и более значительных и плодотворных результатов, чем прежде.

Таковы вкратце основные различия в изучении социальной динамики в XIX и в XX столетиях.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Р. К. Мертон. Явные и латентные функции[1]

[1] M e r t o n R. K. Social Theory and Social Structure. Glencoe, 1957 *{Перевод Ю. Асеева).* Впервые опубликован в кн.: Структурно-функциональный анализ в современной социологии. Вып. 1. М., 1968. С. 82—179.

Функциональный анализ является как самым перспективным, так, по-видимому, и наименее систематизированным направлением среди современных социологических теорий. Развиваясь одновременно на многих интеллектуальных фронтах, он рос скорее вширь, чем вглубь. Достижения функционального анализа таковы, что можно с полным основанием утверждать, что те большие ожидания, которые были с ним связаны, будут постепенно осуществлены. Современные же слабости функционального анализа говорят о необходимости периодически пересматривать прошлое, чтобы лучше строить будущее.

Эти периодические переоценки полезны уже хотя бы потому, что они выявляют многие трудности, которые в противном случае оставались бы невысказанными и не рассмотренными в открытой дискуссии.

Как и все схемы интерпретации, функциональный анализ основывается на тройственном союзе теории, метода и фактов. Из этих трех союзников метод, несомненно, является самым слабым. Многие крупные исследователи, работающие в области функционального анализа, занимались созданием его теоретических положений, равно как и прояснением его основных категорий; некоторые обращались к фактам, имеющим прямое отношение к функциональной теоретической схеме; и лишь очень немногие высказывались по вопросу о том, как должен осуществляться функциональный анализ. Однако само обилие и разнообразие работ, проводимых в рамках данного направления, с необходимостью приводит к заключению, что исследователи пользуются *какими-то* методами, а это в свою очередь пробуждает надежду, что, наблюдая их работу, мы сможем многому научиться.

Хотя методы и могут весьма плодотворно рассматриваться без обращения к теории или к основополагающим фактам — это, собственно, и составляет задачу методологии или логики научного исследования,— все же для эмпирических дисциплин более плодотворными будут такие исследования метода, которые учитывают должным образом как теоретические проблемы, так и основные данные, ибо использование «метода» включает в себя не только логику, но также и практические проблемы согласования данных с требованиями теории, может быть, к сожалению тех, кто должен преодолевать трудности исследования. Такова по крайней мере наша предпосылка.

Поэтому наше изложение будет сопровождаться систематическим обзором некоторых из основных положений функциональной теории.

Терминологическая путаница в функциональном анализе

С самого момента возникновения в функциональный метод в социологии проникла терминологическая путаница. *Очень часто один и тот же термин используется для обозначения различных понятий, точно так же как одно и то же понятие обозначается различными терминами.* Как ясность анализа, так и адекватность научной коммуникации становятся жертвами этого легкомысленного употребления слов. Зачастую функциональный анализ страдает от непреднамеренного изменения концептуального содержания некоторого термина, а коммуникация с другими блокируется, когда тождественный, в сущности, характер мыслимого содержания затемняется применением для его обозначения целого ряда различных терминов. Для того чтобы убедиться, как сильно конфликтующие словари функционального анализа затемняют его концептуальную ясность и блокируют научную коммуникацию, нам достаточно проследить хотя бы некоторые из многочисленных и причудливых употреблений понятия «функция».

Один термин, различные понятия

Термин «функция» до его распространения в социологии употребляется как в научных дисциплинах, так и в повседневной речи. Естественным результатом этого является то, что

значение данного термина в социологии в собственном смысле слова зачастую становится неясным. Ограничивая наше рассмотрение только пятью значениями, обычно приписываемыми данному термину, мы игнорируем большое количество других.

Во-первых, существует обиходное употребление, согласно которому функцией называют некоторое публичное собрание или праздничное мероприятие, обычно включающее какие-то церемониальные моменты. Следует считать, что в газетном заголовке термин «функция» употребляется именно в этом смысле: «Мэр Тобин не поддерживает общественную функцию», так как в тексте сообщения разъясняется, что «Мэр Тобин объявил сегодня, что он не интересуется никакой общественной функцией и не уполномочивал кого бы то ни было продавать билеты или распространять объявления о каком бы то ни было мероприятии». Как ни распространено подобное употребление термина, оно слишком редко попадает в научную литературу, для того чтобы можно было считать, что оно вносит какой-то весомый вклад в хаос, господствующий в терминологии. Очевидно, что *данное* значение термина «функция» полностью чуждо функциональному анализу в социологии.

Во втором значении термин «функция» фактически эквивалентен термину «профессия». Макс Вебер, например, определяет профессию как «способ специализации, спецификации и комбинации функций индивидуума в той мере, в какой этот способ обеспечивает ему постоянную возможность получения дохода или прибыли»[2]. Это употребление термина является частым, почти типичным для некоторых экономистов, которые говорят о «функциональном анализе группы», когда они описывают функциональное распределение занятий в этой группе. Так как здесь имеет место его отождествление, то было бы целесообразно последовать предложению Сарджента Флоренса[3], который считает, что описательное выражение «анализ профессий» более точно передает характер такого рода исследований.

[2] W e b e r M. Theory of Social and Economic Organization. London, 1947, P. 230,

[3] F l o r e n c e P. S. Statistical Method in Economics. N. Y., 1929. P. 357 358.

Третье значение представляет собой частный случай второго и распространено как в повседневном языке, так и в политической науке. Термин «функция» часто употребляется для обозначения деятельности, входящей в круг обязанностей человека, занимающего некоторое социальное положение, или, более конкретно, для обозначения круга обязанностей, связанных с некоторой должностью или политической позицией. Отсюда возникает термин «функционер», или «официальное лицо». Хотя функция в этом смысле частично совпадает с более широким значением, которое приписывается данному термину в социологии и антропологии, все же лучше исключить и это понимание функции, так как оно отвлекает наше понимание от того обстоятельства, что функции осуществляются не только лицами, занимающими определенные положения, но и широким кругом стандартизированных деятель-ностей, социальных процессов, культурных стандартов и систем верований, обнаруживаемых в некотором обществе.

С того момента, как Лейбниц ввел понятие «функция», оно имеет самое точное значение в математике, где оно обозначает переменную, рассматриваемую в отношении к одной или большему числу других переменных, через которые она может быть выражена и от значения которых зависит ее собственное значение. Это понимание термина, хотя и в более широком (и часто менее точном) смысле, выражается в таких фразах, как «функциональная взаимозависимость» и «функциональные отношения», которые столь часто применяются 'исследователями в области общественных наук. Так, когда Мангейм утверждает, что «каждый социальный факт есть функция места и времени, в которых он происходит», или когда демограф заявляет, что «величина рождаемости есть функция экономического статуса», оба они явно пользуются термином «функция» в его математическом значении, хотя и не употребляют при этом уравнений, с помощью которых выражается последнее. Как правило, вопрос о том, употребляется ли термин «функция» в этом математическом смысле, становится ясным из контекста. Однако исследователи в области общественных наук нередко мечутся между математическим и другим, связанным, хотя и отличным от него, значением, которое также включает в себя понятия взаимозависимости, взаимного отношения или же взаимосвязанных изменений.

Именно это пятое значение слова и является главным в функциональном анализе в том его виде, в котором он применялся в социологии и социальной антропологии. Данное значение, хотя частично и возникло под влиянием математического понимания этого термина, однако в большей степени оно обязано своим происхождением биологическим наукам, где термином «функция» обознаются «жизненные или органические процессы, рассматриваемые с точки зрения того, какой вклад они вносят в сохранение организма»[4]. При внесении в данное понимание соответствующих поправок, связанных с тем, что речь идет об исследовании человеческого общества, оно оказывается весьма близким тому ключевому понятию функции, которое было принято как чистыми, так и умеренными антропологами-функционалистами[5].

Рэдклифф-Браун очень часто и совершенно недвусмысленно прослеживает

происхождение своей рабочей концепции социальной функции из аналогичной модели в биологических науках. Как и Дюркгейм, он утверждает, что «функцией повторяющегося физиологического процесса является некоторое соответствие между ним и потребностями (т. е. необходимыми условиями существования) организма». И в социальной сфере, где отдельные человеческие существа, «основные элементы», связаны сетью социальных отношений в единое целое, «функцией любой повторяющейся деятельности, такой, как наказание за преступление или церемония похорон, является та роль, которую она играет в социальной жизни как в целом, и, следовательно, тот вклад, который она вносит в сохранение структурной преемственности»[6]. Малиновский, несмотря на некоторые отличия в формулировках, присоединяется к Рэдклифф-Брауну, делая стержнем функционального анализа изучение «той роли, которую социальные или культурные явления играют в обществе». «Этот тип теории,— поясняет Малиновский в одной из своих ранних деклараций о целях функционализма,— стремится к объяснению антропологических фактов на всех уровнях развития *их функцией, той ролью, которую они играют внутри интегрированной системы культуры, способом их взаимосвязи внутри системы...»* .

[4] Bertalanffy L. von. Modern Theories of Development. N. Y., 1933. 9ff., 184 if; B a y l i s s W. M. Principles of General Physiology. London, 1915. P. 706; C a n n o n W. B. Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage. N. Y., 1929. P. 222.

[5] L. ow i e R. H. The History of Ethnological Theory. N. Y., 1937. Ch. 13.

[6] R a d c l i f f-B r o w n A. R. On the Concept of Function in Social Science. N. Y., 1935. P. 395—396; On Social Structure // The Jorn. of the Royal Anthropolo gical Institute of Great Britain and Ireland. 1940. 70. Part 1. P. 9—10.

Как мы вскоре увидим, такого рода часто повторяющиеся фразы, как «роль, играемая в социальной или культурной системе», имеют тенденцию затемнять важное различие между понятием функции как взаимозависимости и понятием функции как процесса. Точно так же в этом разделе нашей работы нам не следует обращать внимание на то, что постулат, утверждающий, что каждое культурное явление имеет *некоторые* устойчивые отношения к другим явлениям, что оно имеет *некоторое* определенное место в культуре, взятой как целое, едва ли дает наблюдателю или аналитику конкретные ориентиры метода исследования. Обо всем этом речь будет впереди. Сейчас мы только должны обратить внимание на то, что более поздние формулировки прояснили и расширили это понятие функции, подвергнув его целому ряду последовательных уточнений. Так, например, Клакхон пишет: «...рассматриваемый феномен культуры «функционален» в той мере, в какой он определяет способ реакции, являющейся адаптивной (adaptive) с точки зрения общества и регулятивной (adjustive) с точки зрения индивида»[8].

[7] M a l i n o w s k i B. Anthropology // Encyclopedia Britannica. First Supplementary Volume. London; New York, 1926. P. 132—133.

[8] K l u c k h o h n C Navaho Witchacraft // Peabody Museum. Cambridge, 1944. XXII. N 2. P. 47.

Из этих словоупотреблений термина «функция»,— а мы коснулись лишь нескольких из большого числа имеющихся — становится ясным, что многие понятия охватываются одним и тем же термином. Здесь начало путаницы. И если окажется, что одно и то же понятие выражается при помощи многих различающихся терминов, то путаница только усугубится.

Одно понятие, различные термины

Среди большого количества терминов, используемых в настоящее время равнозначно и почти синонимично с термином «функция», мы находим следующие: «применение», «полезность», «цель», «мотив», «намерение», «стремление», «следствие». Если бы эти и аналогичные термины употреблялись для того, чтобы обозначить одно и то же строго определенное понятие, то, безусловно, в нашем перечислении их большого разнообразия было бы мало смысла. Но дело заключается в том, что небрежное употребление этих терминов при кажущемся подобии их значений приводит ко всевозрастающим отступлениям от последовательного и строгого функционального анализа. Те аспекты значения каждого из этих терминов, которые скорее различают, чем отождествляют их, делаются (непреднамеренной) основой для выводов, которые становятся все более сомнительными по мере того, как они все дальше отходят о центрального понятия функции. Один или два примера подтвердят нашу мысль о том, что неустойчивая терминология приводит к возрастанию недоразумений.

В нижеследующем отрывке, взятом из наиболее содержательных исследований по социологии преступности, можно обнаружить эти смещения значения формально синонимичных терминов и сомнительные выводы, которые основываются на этих смещениях (ключевые термины выделены курсивом для того, чтобы облегчить анализ

хода этого рассуждения).

«.Цель наказания. Делаются попытки определить *цель* или *функцию* наказания в различных группах в разное время. Многие исследователи подхватывают один из *мотивов* и объявляют его главным и единственным *мотивом* наказания. С одной стороны, подчеркивается *функция* наказания в восстановлении солидарности группы, которая была ослаблена преступлением. Томас и Знанецкий указали, что *назначение* наказания за преступление у польских крестьян состоит прежде всего в том, чтобы восстановить то положение, которое существовало до этого преступления, и возродить солидарность группы, в то время как *соображения* мести являются *вторичными.* С данной точки зрения наказание *прежде всего озабочено* группой, и только *после этого* преступником. С другой стороны, искупление и предотвращение преступления, возмездие за него, преобразование преступника, доход для государства и многое другое постулируются в качестве *функций* наказания. Как в прошлом, так и в настоящем нельзя было бы сделать вывод, что один из таких *мотивов* является определяющим *мотивом;* наказание, по-видимому, вырастает из *многих мотивов* и выполняет *много функций.* Это верно как с точки зрения отдельных жертв преступления, так и с точки зрения государства. Представляется безусловным, что современные законы не являются строго последовательными с точки зрения *целей* или *мотивов;* по-видимому, те же самые условия существовали в предшествующих обществах»[9].

[9] Sutherland E. H. Principles of Criminology. Philadelphia, 1939. P. 349— 350.

Обратим прежде всего внимание на совокупность терминов, якобы выражающих одно и то же понятие: цель, функция, мотив, предназначение, вторичные соображения, главная забота, задача. При рассмотрении этих терминов становится ясно, что *они могут быть сгруппированы по совершенно отличным концептуальным системам координат.* Иногда некоторые из этих терминов — мотив, назначение, цель и задача — совершенно недвусмысленно относятся к *целям наказания, открыто провозглашаемым представителями государства.* Другие же термины — мотив, вторичные соображения — относятся *к целям жертв преступления.* И обе группы этих терминов оказываются схожими в том плане, что они относятся к *субъективным предположениям о результатах наказания.* Понятие функции включает в себя точку зрения *наблюдателя,* но не обязательно участника. Социальные функции обозначают *наблюдаемые объективные следствия,* а не субъективные намерения (цели, задачи, мотивы). А неумение разграничить объективные социологические последствия и субъективные намерения неизбежно приводит к путанице в функциональном анализе, что можно видеть из нижеследующего отрывка (и здесь ключевые термины выделены курсивом).

«Дискуссия о так называемых «функциях» семьи приобрела чрезвычайно нереалистический характер. Семья, говорят нам, выполняет важные функции в обществе; она обеспечивает продолжение рода и воспитание подрастающего поколения; она выполняет экономические и религиозные функции и т. д. Нам едва ли не стараются внушить, что люди *женятся и заводят детей потому,* что они стремятся исполнить эти необходимые общественные функции. Фактически же люди женятся *потому,* что они любят друг друга, либо по не менее романтичным, но не менее личным причинам. *Функция* семьи, *с точки зрения индивидуумов,* как раз и состоит в том, чтобы удовлетворить их желания. *Функция* семьи или любого иного общественного института заключается *всего лишь в тех целях, в которых они используются людьми.* Социальные *«функции»* в большинстве случаев представляют собой *рационализацию установившейся практики;* сначала *мы* действуем, а уже потом объясняем наши действия; *мы* действуем *по личным основаниям,* но оправдываем *наше* поведение, исходя из общественных или этических *принципов.* В той мере, в какой эти *функции* общественных институтов основываются на чем-то реальном, они представляют собой выражение социальных процессов, в которые люди вступают, *стремясь* удовлетворить свои желания, функции возникают из взаимодействия конкретных человеческих существ и конкретных *целей»*[10].

[10] Waller W. The Family. N.Y., 1938. P. 26

Данный отрывок представляет собой любопытную смесь небольших островков ясного мышления, окруженных морем путаницы. Всякий раз, как в нем ошибочно отождествляются (субъективные) мотивы с (объективной) функцией, ясный функциональный подход оказывается отброшенным, ибо отнюдь не обязательно предполагать, как мы увидим вскоре, что *мотивы* вступления в брак («любовь», «личные основания») тождественны *функциям,* осуществляемым семьей (социализация детей). И опять же не обязательно предполагать, что *основания,* выдвигаемые людьми для объяснения своего поведения («мы действуем по личным основаниям»), являются теми же самыми, что и наблюдаемые последствия этих стандартов поведения. Субъективное намерение может совпадать с объективным следствием, но этого, опять же, может и не произойти. Эти два фактора изменяются независимо друг от друга. Но если, однако, утверждается, что мотивированное поведение людей может привести к (необязательно

предполагавшимся) функциям (объективным следствиям.— *Прим. перев.),* то здесь перед нами открывается выход из моря путаницы.

Краткий обзор соперничающих терминологий и их печальных результатов может рассматриваться в качестве своеобразного ориентира для последующих попыток систематизации понятий функционального анализа. При этой систематизации нам, очевидно, представляется случай ограничить применение социологического понятия функции, и возникнет необходимость четкого разграничения субъективных категорий намерения и объективных категорий наблюдаемого следствия. В противном случае сущность функционального подхода может затеряться в тумане расплывчатых определений.

Основные постулаты функционального анализа

Главным образом в антропологии, но не только в ней, функциональные аналитики повсеместно применяли три взаимосвязанных постулата, которые, как мы постараемся показать, оказались спорными и ненужными для функциональной теории.

В сжатом виде эти постулаты утверждают, во-первых, что стандартизированные социальные деятельности или же элементы культуры являются функциональными для *всей* социальной или культурной системы; во-вторых, что *все* эти социальные и культурные элементы выполняют социальные функции; и, в-третьих, что они тем самым являются *необходимыми.* Хотя все эти три догмата веры обычно встречаются в исследованиях рядом друг с другом, все же представляется более целесообразным рассмотреть их в отдельности, так как с каждым из них связаны свои специфические трудности.

Постулат функционального единства общества

Типичная формулировка этого постулата принадлежит Рэдклифф-Брауну: «Функцией отдельного социального обычая является его вклад в *совокупную социальную жизнь,* которая представляет собой функционирование *социальной системы в целом.* Такой взгляд предполагает, что социальная система *(социальная структура общества в целом* вместе со всеми социальными обычаями, в которых эта структура проявляется и от которых зависит ее существование) имеет определенный тип единства, который мы можем назвать «функциональным единством». Мы можем определить его как состояние, в котором все части социальной системы работают совместно с достаточной гармоничностью или внутренней согласованностью, т. е. не порождая устойчивых конфликтов, которые не могут быть ни разрешены, ни урегулированы» [11].

Важно заметить, однако, что Рэдклифф-Браун в ходе дальнейшего изложения рассматривает это понятие функционального единства как гипотезу, которая требует дальнейшей проверки.

На первый взгляд представляется, что Малиновский ставит под сомнение эмпирическую преемлемость этого постулата, когда он замечает, что «социологическая школа» (куда он относит Рэдклифф-Брауна) «преувеличивает социальную солидарность примитивного человека» и «игнорирует личность»[12].

Однако становится очевидным, что Малиновский не столько отбрасывает это сомнительное положение, сколько добавляет к нему другое. Он продолжает считать стандартизованные деятельности и верования функциональными «для культуры в целом» и, развивая эту мысль, предполагает, что они точно так же функциональны и для каждого члена общества. Так, обращаясь к вопросу о примитивных верованиях в сверхъестественное, он пишет: «Здесь функциональная точка зрения подвергается серьезной проверке... Она должна показать, каким образом верования и ритуалы способствуют социальной интеграции, технической и экономической эффективности, каким образом они оказывают влияние на культуру в целом — и косвенно, следовательно, на биологическое и духовное благосостояние *каждого индивидуального члена этой культуры»*[13].

[11] Radcliff-Brown A. R. Op. cit. P. 397.

[12] Malinowski B. Op. cit. P. 132; The Group and the Individual in Functional Analysis // Amer. Journ. of Sociol. 1939. 44. P. 938—964.

[13] Malinowski B. Anthropology. P. 135.

Если ничем не ограниченная гипотеза о функциональном единстве общества в целом сама по себя является сомнительной, то сомнительность данного предположения увеличивается вдвое. Вопрос о том, выполняют ли элементы культуры функции для общества, рассматриваемого в качестве некоторой системы, равно как и для всех членов этого общества, по-видимому, скорее представляет собой эмпирический вопрос фактов, чем аксиому.

Клакхон, очевидно, отдает себе отчет в существовании этой проблемы, поскольку он

расширяет данную альтернативу, включая в нее возможности того, что «культурные формы являются регулятивными или адаптивными... для членов общества *или* для общества, рассматриваемого в качестве продолжающегося целого». Это первый и необходимый шаг к признанию того, что *структурные единицы,* обслуживаемые анализируемой функцией, могут быть различными. Побуждаемые силой эмпирических наблюдений, мы будем иметь возможность в последующем изложении еще более расширить диапазон вариаций этих единиц.

Кажется достаточно ясным, что понятие функционального единства не является постулатом, недоступным эмпирической проверке. Напротив, степень интеграции является эмпирической переменной, изменяющейся во времени в одном и том же обществе и являющейся различной в разных обществах. То, что все человеческие общества должны иметь некоторую степень интеграции, есть вопрос определения и постулируется нами "в качестве истинного положения. Но не все они имеют ту *высокую* степень интеграции, при которой *каждая* культурно-стандартизированная деятельность или убеждение являются функциональными для всего общества как целого, или одинаково функциональными для людей, живущих в нем. Для того чтобы усомниться в истинности своего предположения о функциональном единстве, Рэдклифф-Брауну достаточно было бы только взглянуть на свою излюбленную область аналогий. Здесь мы находим значительные вариации в степени интеграции даже среди индивидуальных биологических организмов, хотя с точки зрения здравого смысла именно здесь все части организма работают во имя «единой» цели. Рассмотрим хотя бы этот отрывок.

«Легко можно видеть, что имеются *высокоинтегрированные организмы,* находящиеся под постоянным контролем нервной системы или гормонов. В этих организмах утрата какой-нибудь значительной части оказывает сильное воздействие на всю систему и зачастую приводит к смерти. Однако, с другой стороны, существуют *низшие организмы со значительно меньшей степенью корреляции,* в которых потеря даже большей части тела вызывает только временное неудобство до регенерации восстановления тканей. Многие из этих более свободно организованных животных оказываются *столь слабо интегрированными, что их различные части могут находиться в активной оппозиции друг к другу.* Например, когда обыкновенная морская звезда переворачивается на спину, то часть ее лучей стремится перевернуть животное в одном направлении, в то время как другая часть стремится перевернуть его в противоположном направлении... Благодаря своей слабой *интеграции* морской анемон может сдвинуться, оставив часть своей ножки, прилипшей к скале, так что животное разрывается на части»[14].

[14] Sorokin P. A. Forms and Problems of Culture-integration // Rural Sociology. 1936. I. P. 121 — 141; 344—374.

Если все это истинно применительно к отдельному организму, то это представляется *тем более* истинным, коль скоро речь идет о сложных социальных системах.

Не надо ходить слишком далеко, чтобы показать, что положение о полном функциональном единстве человеческого общества неоднократно противоречило фактам. В одном и том же обществе социальные обычаи или чувства могут быть функциональными для одних групп и дисфункциональными для других. Антропологи часто говорят о «возросшей солидарности общины» и «возросшей семейной гордости» как примерах функционально-приспособительных чувств. Однако, как указывали Бейтсон [15] и другие, возрастание гордости среди индивидуальных семей может приводить к разрушению солидарности небольших местных общин. Постулат функционального единства не только часто противоречит фактам, но он имеет также небольшую эвристическую ценность, поскольку он отвлекает внимание аналитика от возможных, в корне отличных последствий данного социального или культурного явления (обычаи, убеждения, стандарта поведения, института) для различных социальных групп и для индивидуальных членов этих групп.

[15] Bateson G. Nayen. Cambridge, 1936. P. 31—32.

Если совокупность фактов и наблюдений, противоречащих положению о функциональном единстве, столь многочисленна и легко, как мы уже указывали, доступна, то интересно поставить вопрос: как могло случиться, что Рэдклифф-Браун и его последователи продолжали придерживаться этого положения? Одним из возможных ответов на него является то обстоятельство, что данная концепция в ее новейшей форме была разработана социальными антропологами, т. е. людьми, имеющими дело прежде всего с изучением дописьменных обществ. Учитывая то, что Радин назвал «высокоинтегрированным характером большинства аборигенных цивилизаций», гипотеза функционального единства может быть относительно приемлемой для некоторых, если не всех, дописьменных обществ. Но мы очень дорого расплачиваемся за перенос этой, возможно, полезной гипотезы из области небольших дописьменных обществ в область больших, сложных и высокодифференцированных письменных обществ. Нигде, по всей

видимости, опасности подобного переноса этой гипотезы не являются столь наглядными, как в функциональном анализе религии. Этот вопрос заслуживает краткого рассмотрения хотя бы только потому, что здесь становятся весьма рельефными все ошибки, связанные с некритическим принятием данной гипотезы.

Функциональная интерпретация религии. При исследовании той цены, которую приходится платить за перенос молчаливо принимаемой гипотезы о функциональном единстве общества из области относительно небольших и относительно хорошо объединенных дописьменных групп на область более дифференцированных и, может быть, менее объединенных обществ, целесообразно рассмотреть труды социологов, в особенности тех из них, которые весьма щепетильны по отношению к тем методологическим предпосылкам, на которых они основываются. Рассматриваемый нами вопрос имеет некоторое значение и в более широком смысле, имея в виду распространение попытки применять к изучению развитых обществ без соответствующих модификаций понятия, сложившиеся при изучении дописьменных культур (этот же вопрос возникает при оценке переноса методов и техники исследования, но этой проблемы мы не будем здесь касаться).

Широкие внепространственные и вневедомственные обобщения относительно «интегративных функций религии» в значительной степени были получены из наблюдений, сделанных в допись-менных обществах, хотя, безусловно, и не только в них. Нередко случается, что ученые в области социальных наук молчаливо принимают результаты анализа религий дописьменных обществ и, экстраполируя их, приписывают интегральной функции религии *вообще.* А отсюда уже совсем недалеко до нижеследующих утверждений: *«Причина, по которой религия является необходимой,* по-видимому, заключается в том, что человеческое общество *приобретает свое единство* прежде всего благодаря тому, что некоторые высшие ценности и цели оказываются общими у членов этого общества. Хотя эти цели и ценности являются субъективными, они влияют на поведение, и их интегрированность делает возможным функционирование данного общества как единой системы»[16].

[16] M a l i n o w s k i B. Anthropology. P. 132.

В очень развитых обществах, построенных на базе научной технологии, священники постепенно теряют свой статус, так как священная традиция и сверхъестественное отодвигаются на задний план... (но) ни одно общество не оказалось секуляризованным до такой степени, чтобы *полностью* устранить веру в трансцендентальные цели и сверхъестественные сущности. Даже в секуляризованном обществе должна существовать *некоторая* система, служащая для интеграции высших ценностей, для их ритуалистического выражения и для эмоционального приспособления индивида, связанного с разочарованием, смертью или несчастьем.

Исходя из дюркгеймовского подхода к религии, который у него основывался прежде всего на изучении дописьменных обществ, эти авторы стремятся выделить *только* явно-интегрированные следствия религии и игнорируют ее возможные дезинтегративные следствия *в определенных типах социальных структур.* Однако рассмотрим следующие хорошо известные факты и зададим несколько вопросов данной теории.

1. Когда в одном и том же обществе существуют различные религии, в обществе часто имеет место глубокий конфликт между различными религиозными группами (достаточно только рассмотреть громадную литературу о религиозных конфликтах в европейских обществах). В каком же смысле тогда религия вносит свой вклад в интеграцию тех многочисленных обществ, где существуют различные религии?

2. Очевидно, что «человеческое общество достигает своего единства» (коль скоро оно обнаруживает это единство) прежде всего благодаря тому, что основные ценности и цели оказываются общими для его членов. Но где доказательство того, что нерелигиозные люди, скажем, в американском обществе, в меньшей мере разделяют общие «ценности и цели», чем люди, преданные религиозным доктринам?

3. В каком смысле религия вносит свой вклад в интеграцию больших обществ, если содержание ее доктрины и ценностей противоречит содержанию других, нерелигиозных, ценностей, которых придерживаются многие люди в том же самом обществе? Укажем, например, на конфликт между католической церковью, выступившей против законодательной регламентации детского труда, и светскими ценностями, препятствующими эксплуатации труда подростков. Можно указать также на резко отличные оценки контроля рождаемости, которые имеются у различных групп в нашем обществе.

Этот список весьма банальных фактов относительно роли религии в современных цивилизованных обществах мог бы быть сильно увеличен, и все эти факты, безусловно, хорошо известны тем антропологам и социологам-функционалистам, которые описывают религию в качестве интегративной силы, никак не ограничивая при этом диапазон социальных структур, для которого данное положение является справедливым. Вполне возможно, что теоретическая ориентация, вынесенная из исследований дописьменных

обществ, помешала этим исследователям видеть столь наглядные во всех иных случаях факты о функциональной роли религии в полирелигиозных обществах. Может быть, именно этот перенос гипотезы функционального единства привел к зачеркиванию всей истории религиозных войн, инквизиции (которая разъединяла людей в одном обществе вслед за другим), смертельных конфликтов между религиозными группами. Как бы там ни было, фактом остается то, что защитники данной точки зрения игнорируют весь этот превосходно известный материал и предпочитают ему примеры, взятые из исследования религии в дописьменных обществах. Вторым поразительным фактом является то, что в статье, цитированной нами выше, в которой говорится о «религии, создающей интеграцию общества с помощью чувств, верований и ритуала», в то же самое время ни слова не упоминается о возможной разделяющей роли религии. » Тезис об интегративной функции религии мог бы, конечно, означать, что религия обеспечивает интеграцию тех, кто верит *в те же самые* религиозные ценности. Однако маловероятно, что защитники этого тезиса исходят из такого его толкования, так как это было бы просто равносильно утверждению, что интеграция общества обеспечивается любой формой единодушия по любым совокупностям ценностей.

Все это еще раз иллюстрирует опасность принятия гипотезы функционального единства, которая *может* быть вполне разумным приближением при описании некоторых дописьменных обществ, в качестве составной части некоторой прямо не формулируемой модели *обобщенного* функционального анализа. Как правило, в дописьменных обществах имеется только одна господствующая религиозная система, так что, абстрагируясь от отдельных лиц с отклоняющимся поведением, количество членов данного общества и количество членов религиозной общины фактически совпадают. Очевидно, что в социальной структуре этого типа общая совокупность религиозных ценностей в качестве одного из своих следствий *может* иметь усиление общих чувств и социальной интеграции. Но распространить данное положение на другие типы общества было бы весьма затруднительно.

Мы еще будем иметь возможность вернуться к другим теоретическим следствиям современного функционального анализа религии, но сейчас и вышеизложенного достаточно, чтобы показать, какую опасность таит в себе принятие никак не ограниченного постулата функционального единства. Вопрос о единстве в обществе в целом не может решаться ариорно. Это вопрос фактов, а не мнений. К основным положениям теории функционального анализа следует отнести требование определения социальных единиц, для которых данное социальное или культурное явление оказывается функциональным. В ней должна быть специально предусмотрена возможность того, что некоторое социальное явление может иметь различные последствия, функциональные и дисфункциональные, для индивидов, подгрупп и для более широкой социальной структуры и культуры.

Постулат универсального функционализма

Взятый в наиболее сжатой форме, данный постулат утверждает, что все стандартизированные социальные или культурные формы имеют позитивные функции. Точно так же, как и в случае с другими аспектами функциональной теории, наиболее крайняя формулировка этого постулата была выдвинута Малиновским: «Функциональный взгляд на культуру поэтому *настаивает* на принципе, согласно которому *в каждом типе цивилизации каждый обычай, материальный объект, идея и верование выполняют некоторую жизненную функцию...»* [17].

Хотя, как мы уже это видели, Клакхон допускает, что социальные единицы, обслуживаемые некоторой культурной формой, могут быть разными, он присоединяется к Малиновскому, постулируя функциональную ценность всех сохраняющихся форм культуры. («Моим основным постулатом... является то, что ни одно культурное явление не сохранится, если оно не представляет собой в некотором смысле регулятивной или адаптивной реакции...» [18].) Этот принцип универсального функционализма может иметь и может не иметь эвристического значения; это еще следует выяснить. Но мы должны быть готовы к тому, что и он, так же как и предыдущий постулат, отвлекает наше критическое внимание в сторону от целого ряда нефункциональных последствий существующих культурных форм.

[17] Ibid.

[18] K l u c k h oh n C. Op. cit. P. 32.

И в самом деле, когда Клакхон стремится проиллюстрировать данное положение обнаружением «функций» у якобы бесполезных явлений, то он выдвигает такой тип функции, который *по определению,* а не в результате фактического исследования может быть обнаружен у всех сохраняющихся явлений культуры. Так, он утверждает, что «в настоящее время не используемые пуговицы на рукавах пиджака европейского костюма выполняют «функцию» сохранения привычного, поддержания традиций. Люди, как

правило, чувствуют себя более уютно, если они ощущают непрерывность поведения, если они чувствуют, что они следуют ортодоксальным и социально одобренным формам поведения»[19].

Здесь, по-видимому, перед нами тот крайний случай, в котором приписываемая функция очень мало или вообще ничего не прибавляет к прямому описанию стандарта культуры или формы поведения. Мы вполне вправе предположить, что все установившиеся элементы культуры (которые могут не очень определенно быть охарактеризованы как «традиции») обладают этой минимальной функцией «сохранения привычного, поддержания традиций», хотя и не только ею. Это все равно, что сказать, что «функция» конформности с любой установившейся практикой заключается в том, чтобы избежать санкций, вызываемых поведением, отклоняющимся от прямой практики. Все это, несомненно, правильно, но вряд ли очень поучительно. Однако это напоминает нам о необходимости заняться в будущем исследованием *типов функций,* которые социологи приписывают явлениям культуры. В настоящий момент на основании вышеизложенного можно выдвинуть предварительное предположение, согласно которому любое явление культуры или социальной структуры, хотя и может иметь функции, однако было бы преждевременным категорически заявлять, что любое такое явление должно быть функциональным.

Постулат универсального функционализма, безусловно, является историческим результатом ожесточенной, бесплодной и длительной дискуссии о «пережитках», которая развернулась среди антропологов в начале этого столетия. Понятие социального пережитка, т. е., словами Риверса, «обычая... (который) не может быть объяснен его современной полезностью, но становится понятным, если мы проследим его историю»[20], восходит по крайней мере ко временам Фукидида. Но когда эволюционные теории культуры стали господствующими, понятие социального пережитка стало приобретать все большее и большее стратегическое значение для реконструкции стадий развития культур, в особенности для дописьменных обществ, не обладавших никакими письменными источниками. Для функционалистов, которые стремились отойти от того, что они считали фрагментарной и зачастую спекулятивной «историей» дописьменных обществ, атака на понятие социального пережитка приняла форму атаки на всю интеллектуально отталкивающуюся систему эволюционной мысли. По-видимому, в результате этого их нападки на данное понятие, являющееся центральным для эволюционной теории, оказались чрезмерно утрированными, а сформулированный ими «постулат», согласно которому «каждый обычай (повсюду)... выполняет какую-то жизненную функцию», не менее преувеличенным.

[19] Ibid.

[20] R i v e r s W. H. R. Survival in Sociology // The Sociological Review. **1913.** N 6. **P.** 293—305; Ty l o r E. B. Primitive Culture. N. Y., 1874. P. /0—159; L o w i e R. H. Op. cit. 44 ff, 81 f; D u r k h e i m E. Rules of Sociological Method. Ch. 5. P. 91.

Было бы весьма прискорбно, если бы полемике прошлого было позволено создавать явно утрированные теоретические положения в настоящем. Коль скоро мы обнаружим, обозначим и исследуем социальный пережиток, он не может быть уничтожен магической силой какого-бы то ни было постулата. А если мы не можем указать ни одного примера этих пережитков, то спор прекращается сам собою. К тому же можно сказать, что даже в том случае, когда пережитки такого рода выявляются в современном цивилизованном обществе, они, как нам кажется, мало что добавляют к нашему пониманию человеческого поведения или же динамики социального изменения. Социолог-исследователь современного общества, не требующий того, чтобы эти пережитки выступали в сомнительной роли плохих заменителей письменной истории, может их просто игнорировать безо всякого заметного ущерба. Устаревшая и не имеющая значения дискуссия отнюдь не должна побуждать его к принятию весьма общего постулата, согласно которому любое явление культуры должно выполнять жизненные функции. И в данном случае перед.нами проблема для эмпирического исследования, а не для априорного решения.

Вопрос о том, являются ли последствия того или иного культурного явления функциональными, решается не априорно, а в процессе исследования. Более плодотворным методологическим принципом можно было бы считать некоторую предварительную гипотезу, согласно которой устойчивые культурные формы имеют *чистый баланс функциональных последствий* или для общества, рассматриваемого как единое целое, или для подгрупп, достаточно сильных, чтобы сохранить эти формы нетронутыми; путем прямого принуждения или же опосредованно с помощью убеждений. Такая формулировка одновременно помогает избежать тенденции функционального анализа сосредоточивать внимание на положительных функциях и обращает внимание исследователя также на другие типы последствий.

Постулат необходимости

Последний из этого трио постулатов, широко принимаемых функционалистами в области общественных наук, в некотором отношении является самым двусмысленным. Эта двусмысленность отчетливо видна в вышеприведенном манифесте Малиновского, который утверждает что «в любом типе цивилизации любой обычай, материальный объект, идея и верования выполняют некоторую *жизненную* функцию, решают некоторую задачу, представляют собою *необходимую часть* внутри действующего целого»[21].

[21] Mai i n o w s k i B. Anthropology. P. 132.

Из этого отрывка вообще неясно, утверждает ли он необходимость *функции* или же *явления* (обычай, объект, идея, верование), которые выполняют эту функцию, либо же он утверждает необходимость *и того и другого.*

Эта двусмысленность весьма распространена в литературе. Так, например, в уже цитировавшихся нами описанных роли религии, данных Дэвисом и Муром, на первый взгляд кажется, что необходимым считается *институт:* «Причина того, почему необходима религия...»; «...религия... играет уникальную и необходимую роль в обществе». Однако оказывается, что авторы считают необходимым не столько институт религии, сколько те функции, которые, как предполагается, выполняет религия, ибо они считают религию необходимой постольку, поскольку она заставляет членов общества принять «некоторые общие высшие ценности и цели». Эти ценности и цели, как они утверждают, «должны... представляться членам этого общества как обладающие какой-то реальностью, а роль религиозных верований и ритуала и состоит именно в том, чтобы создать и усилить эту видимость реальности. С помощью ритуала и веры общие цели и ценности связываются с воображаемым миром, символизируемым конкретными священными предметами, а этот мир в свою очередь оказывается в связи с фактами и испытаниями жизни индивидуума. С помощью поклонения священным предметам и тем существам, которые они символизируют, и с помощью принятия сверхъестественных предписаний, являющихся одновременно и кодексами поведения, осуществляется эффективный контроль над поведением людей, так что последнее оказывается поведением, направленным на поддержание институционной структуры и конформным со всеобщими целями и ценностями».

Пресловутая необходимость религии тогда основывается на гипотезе о том, что только через «поклонение» и сверхъестественные предписания» может быть достигнут необходимый минимум «контроля над человеческим поведением» и «интеграции посредством верований и чувств».

Короче говоря, постулат незаменимости, как он обычно излагается, содержит два связанных между собой и одновременно различных утверждения.

Во-первых, предполагается, что существуют определенные *функции,* которые являются незаменимыми в том смысле, что если они не будут выполняться, то общество (или группа, или индивид) прекратит существование. Это, следовательно, выдвигает понятие *функциональных предпосылок* или *предварительных условий, функционально необходимых* для общества, и нам представляется случай проанализировать это понятие более детально.

Во-вторых, и это совсем другое дело, предполагается, что *определенные культурные или социальные формы являются необходимыми* для выполнения каждой из этих функций. Второе утверждение связано с понятием специализированных и незаменимых структур и порождает самые разнообразные теоретические трудности, ибо можно показать, что оно не только явно противоречит фактам, но и включает в себя ряд дополнительных предположений, которые мучили функциональный анализ с самого начала. Оно отвлекает наше внимание от того факта, что одни и те же функции, необходимые для существования групп, выполнялись в условиях, которые подлежат исследованию различными социальными структурами и культурными формами. Развивая это положение, следует сформулировать основную теорему функционального анализа: *точно так же как одно и то же явление может иметь многочисленные функции, так и одна и та же функция может по-разному выполняться различными явлениями.* Потребности удовлетворения той или иной жизненной функции скорее рекомендуют, чем предписывают принятие определенной социальной структуры по этой теореме; иными словами, имеется некоторый диапазон вариаций структур, удовлетворяющих данную функцию (предел этой вариабельности устанавливается с помощью понятия об ограничениях, накладываемых структурой, о чем мы будем говорить ниже).

Таким образом, в противоположность этому понятию незаменимых культурных форм (институтов, стандартизированной деятельности, систем убеждений и т. д.), существует понятие *функциональных альтернатив, функциональных эквивалентов или функциональных заменителей.* Это понятие многими признается и широко применяется; однако следует отметить, что оно не может без противоречия входить в ту теоретическую систему, которая содержит постулат незаменимости конкретных культурных форм. Так,

после рассмотрения теории Малиновского о «функциональной необходимости таких институтов, как магия», Парсонс делает следующее осторожное замечание: «...во всех тех случаях, когда элементы неуверенности включаются в преследование эмоционально важных целей, мы вправе ожидать появления если не магии, то по крайней мере, явлений, которые *функционально эквивалентны ей»* [22].

[22] P a r s o n s T. Essays in Sociological Theory Pure and Applied. Glencoe, 1949. P. 58.

Это положение весьма далеко от собственной теории Малиновского, согласно которой магия выполняет *необходимую* функцию внутри культуры. Она удовлетворяет некоторую определенную потребность, которая не может быть удовлетворена ни одним другим факторам примитивных цивилизации .

Это удвоенное понятие необходимой функции и незаменимого типа взаимосвязи определенного верования с действием полностью исключает понятие функциональных альтернатив.

Фактически понятие функциональных альтернатив, или эквивалентов, неоднократно возникало во всякой научной дисциплине, принимавшей точку зрения функционального анализа. Оно, например, широко используется в психологии, как великолепно показывает статья Инглиша. В неврологии, на основании экспериментальных и клинических данных Лешли опроверг «предположение о том, что индивидуальные нейроны специализируются для выполнения конкретных функций», и вместо этого выдвинул положение о том, что отдельная функция может быть выполнена некоторым множеством альтернативных структур [24].

[23] M a l i n o w s k y B. Op. cit. P. 132.

[24] E n g I i s h H. B. Symbolic Versus Functional Equivalents in the Neuroses of Deprivation // Journ. of Abnormal and Social Psychology. 1937. N 32. P. 392; L a s h l e y K. S. Basic Neural Mechanisms in Behavior // Psychological Review. 1930. N 37. P. 1—24.

У социологии и социальной антропологии еще больше оснований для того, чтобы стремиться избегать постулата необходимости данных структур, и для того, чтобы систематически пользоваться понятием функциональных альтернатив и функциональных заменителей. Аналогично тому как неискушенные в науке люди в течение длительного времени ошибочно считали, что «странные» обычаи и верования других обществ являются «простыми предрассудками», так и функционалисты в области общественных наук рискуют совершить ошибку, хотя и противоположного рода, излишне быстро, во-первых, устанавливая функциональное или адаптационное значение этих обычаев и верований, и, во-вторых, не видя того, какие иные способы действий исключаются этой приверженностью к данным методам удовлетворения тех или иных функций. Так, например, часто некоторые функционалисты с большой легкостью делают вывод о том, что магические или религиозные ритуальные акты и верования являются функциональными, потому что они благотворно влияют на душевное состояние и чувство уверенности верующего. Однако в целом ряде случаев вполне может быть, что эта магическая практика мешает нам увидеть и принять светскую и значительно более адаптивную практику. Как заметил Ф. Л. Уэллс: «Прибитая подкова над дверями во время эпидемии оспы хотя и может поднять дух домочадцев, но, безусловно, не остановит оспу. Такие верования и обряды не выдерживают тех светских тестов, которым их подвергают, и чувство уверенности, даваемое ими, сохраняется лишь постольку, поскольку избегают этих действительных тестов» [25].

[25] W e I I s F. L. Social Maladjustments: Adaptive Regression // Handbook of Social Psychology. Clark Un. Press, 1935. P. 880. 398

Те из функционалистов, которые, следуя своей теории, обнаруживают последствия подобных символических ритуальных действий *только* в состояниях сознания индивидуума и которые таким образом приходят к заключению о функциональности магической практики, игнорируют то обстоятельство, что подчас именно эта практика может осуществляться вместо значительно более эффективных видов деятельности. И те теоретики, которые обосновывают необходимость стандартизированных практик или господствующих институтов их положительным влиянием на рост эмоциональной солидарности, должны прежде всего обратить внимание на возможные функциональные заменители этих практик и институтов, а уже потом делать вышеуказанный вывод, ибо факты значительно чаще опровергают, чем подтверждают его.

Итак, из рассмотрения трех функциональных постулатов вытекает несколько основных положений, которыми следует руководствоваться в нашей попытке кодифицировать данный метод анализа.

Во-первых, при разборе постулата *функционального единства* мы обнаруживаем, что нельзя предполагать полную интеграцию всех обществ. Вопрос об интергрированности общества — это вопрос эмпирического исследования, и решая его, мы должны быть

готовыми к тому, что общества обнаружат различные степени интеграции. При рассмотрении особого случая функциональной интерпретации религии мы обратили внимание на то обстоятельство, что, хотя природа человека и может быть исключительно цельной, отсюда не следует, что структура дописьменных обществ аналогична структуре высокодифференцированных «письменных» обществ. Различие степени их однородности — скажем, наличие нескольких различных религий в одном и их отсутствие в другом, — может сделать весьма рискованными переносы выводов с одного на другое. Из критического рассмотрения этого постулата следует, что теория функционального анализа должна включать в себя требование *спецификации* той социальной единицы, которая обслуживается данной социальной функцией, равно как и признание того, что явления культуры имеют множество следствий, некоторые из которых являются функциональными, а другие могут быть и дисфункциональными.

Рассмотрение второго постулата *универсального функционализма,* который утверждает, что все устойчивые формы культуры обязательно являются функциональными, привел нас к ряду других соображений, которые необходимо учесть при систематизации метода функционализма. При этом рассмотрении выявилось, что мы не только должны быть готовыми обнаружить дисфункциональные, равно как и функциональные, последствия этих форм, но и то, что перед теоретиком обязательно встанет трудная проблема разработки метода определения чистого балансового итога последствий того или иного социального явления, если он хочет, чтобы его исследование имело практический характер. Совершенно очевидно, что заключение эксперта-социолога, основывающееся на оценке ограниченного и, может быть, произвольно подобранного ряда возможных последствий того или иного планируемого действия, будет подвержено частым ошибкам и совершенно справедливо будет рассматриваться как имеющее небольшую ценность.

Мы обнаружили, что *постулат необходимости* содержит два различных положения: одно из них утверждает необходимость определенных функций, и отсюда возникает понятие *функциональной необходимости* или *необходимых функциональных предпосылок;* второе говорит о необходимости существующих социальных институтов, культурных форм и тому подобное. На основании критического анализа последнего положения нами было сформулировано понятие *функциональных альтернатив, эквивалентов или заменителей.*

Кроме того, распространенность этих трех постулатов, как порознь, так и вместе, является источником часто раздающегося обвинения, согласно которому функциональный анализ необходимо связан с определенными идеологическими обязательствами. Так как этот вопрос неоднократно будет возникать перед нами при исследовании других аспектов функционального анализа, лучше будет рассмотреть его сейчас, если мы не хотим, чтобы наше внимание постоянно отвлекалось от аналитических проблем, подлежащих разрешению, призраком некой социальной науки, зараженной идеологией. [26]

[26] V i n e r J. Adam Smith and Laissez Faire // Journ. of Political Economy. 1937. N 35. P. 206.

Функциональный анализ как идеология. Консервативность функционального анализа

Многие критики с возрастающей резкостью обвиняли функциональный анализ в том, что какова бы ни была его интеллектуальная ценность, он неизбежно связан с «консервативной» (даже «реакционной») ориентацией. Для некоторых критиков функциональный анализ представляет собой не более чем современную версию доктрины XVIII века о принципиальной и неизменной тождественности общественных и личных интересов. Он рассматривается как секуляризованная версия доктрины, выдвинутой Адамом Смитом, который в своей «Теории морального чувства», например, писал о «гармоническом порядке природы, направляемом божественной силой, который обеспечивает благосостояние человека, приводя в действие его индивидуальные склонности».

Отсюда, говорят эти критики, функциональная теория есть просто ориентация консервативного социолога, который защищает существующий порядок вещей и выступает даже против умеренных изменений. С этой точки зрения, функциональный анализ систематически игнорирует предостережение А. Токвиля о том, чтобы не путать знакомое, привычное с необходимым: «...то, что мы называем необходимыми институтами, зачастую оказывается не более чем институтами, к которым мы привыкли...». Еще следует доказать, что функциональный анализ неизбежно становится жертвой этого милого заблуждения, однако, рассматривая постулат необходимости, мы можем видеть, что *этот* постулат, если его принять, легко дает основание для такого идеологического обвинения. Мюрдаль является одним из самых недавних и весьма типичных критиков, обвиняющих функциональный анализ в консервативных склонностях: «...если некоторая вещь имеет «функцию», то эта вещь хороша или по крайней мере имеет значение. Термин «функция» имеет смысл *только* в том случае, если мы будем определять его через некую предположительную *цель;* если эта цель останется

неопределенной или же просто принимается за «интерес общества», содержание которого не уточняется, то хотя возможность индивидуальных расхождений в практических выводах из данной доктрины и будет значительной, все же ее основное направление окажется вполне определенным: *описание социальных институтов с помощью их функций должно вести к консервативной телеологии»*[27].

Замечания Мюрдаля поучительны не столько из-за их выводов, сколько из-за их предпосылок, ибо, как мы уже отметили, он основывается на двух постулатах из тех, которые так часто принимаются функционалистами для того, чтобы обосновать свое обвинение всего функционального анализа в том, что при характеристике институтов с помощью функций мы неизбежно впадаем в «консервативную телеологию». Но нигде Мюрдаль не ставит под сомнение необходимость самих постулатов. Было бы интересно поставить вопрос, насколько неизбежной окажется консервативная тенденция функционального анализа, если мы избегнем предпосылок Мюрдаля.

Фактически же, если бы функциональный анализ в социологии действительно был связан с телеологией, не говоря уже о консервативной телеологии, то он немедленно подвергся бы, и подвергся с полным основанием, еще более резким обвинениям, чем эти, как часто уже происходило с телеологией в истории человеческой мысли. Функциональный анализ подвергся бы reductio ad absurdum. Тогда функциональному анализу была бы уготована судьба Сократа (хотя и по другим причинам), который утверждал, что Бог поместил наш рот как раз под носом для того, чтобы мы могли наслаждаться запахом пищи [28].

[27] M y r d a l G. An American Dilemma. V. II. N. Y., 1944. P. 1056.

[28] F a r r i n g t o n . Science in Antiquity. London. 1936.

Либо же, как это было с христианскими теологами, строившими свои аргументы на основе постулата предназначения, функциональный анализ мог бы быть мистифицируем каким-нибудь Бенджамином Франклином, который доказывал, что Бог со всей определенностью выразил «пожелание, чтобы мы выпивали, так как именно Он расположил локтевой сустав таким образом, что мы можем поднести стакан к самому рту и не промахнуться. Да будем поэтому со стаканом в руке благословлять божественную премудрость, благословлять и пить!» Либо же он мог оказаться жертвой более серьезных замечаний, типа замечаний Мишле, который писал: «Как мудро все устроено природой. Как только дитя появляется в мир, оно находит мать, готовую заботиться о нем». Подобно всякой иной системе мысли, граничащей с телеологией, функциональный анализ в социологии, хотя он и стремится не вступать на эту трудную и бесплодную территорию, постоянно оказывается перед опасностью сведения к абсурду, коль скоро он принимает постулат, согласно которому все существующие социальные структуры являются необходимыми для выполнения определенных функциональных потребностей.

Радикальность функционального анализа

Достаточно интересно отметить, что другие наблюдатели пришли к выводам, прямо противоположным тому обвинению функционального анализа, согласно которому он по своей природе связан со взглядом, утверждающим, что все, что есть, так и должно и быть и что мы живем в лучших из всех возможных миров. Эти наблюдатели, Ла Пьер например, полагают, что функциональный анализ по своей природе представляет собой метод, который критичен по своему мировоззрению и прагматичен в своих оценках: «Имеется... значительно более глубокий смысл, чем это может показаться на первый взгляд, в определенном сдвиге, произошедшем в общественных науках, от структурных описаний к функциональному анализу. Данный сдвиг знаменует собою разрыв с социальным абсолютизмом и морализмом христианской теологии. Если важным аспектом любой социальной структуры является ее'функция, то из этого следует, что никакая структура не может оцениваться только сама по себе. На практике это значит, например, что патриархальная семейная система будет иметь положительное значение с точки зрения коллектива *лишь в той мере, в какой* она удовлетворяет коллективным целям. Как социальная структура, сама по себе *она не имеет никакой* внутренне присущей ей ценности, так как ее функциональная ценность каждый раз будет варьироваться в зависимости от времени и места.

Функциональный подход к коллективному поведению, несомненно, *оскорбит всех тех, кто верит, что специфические социопсихологические структуры имеют внутреннюю ценность сами по себе.* Таким образом, для тех, кто верит, что церковная служба хороша уже потому, что она — церковная служба, утверждения, что некоторые церковные службы представляют собой формальные обряды, лишенные всякого религиозного значения, что другие службы сравнимы по своим функциям с театральными представлениями и что, наконец, имеются и такие службы, которые оказываются своеобразной формой увеселения и поэтому сравнимы с пьяными пирушками, — все эти утверждения покажутся оскорбительными нападками на честность

приличных людей или же по крайней мере бреднями безумца»[29]

[29] La P i e r e R. Collective Behavior. N. Y., 1938. P. 55—56. 402

Тот факт, что функциональному анализу могут приписываться прямо противоположные идеологические ориентации, свидетельствует о том, *что по своей природе* он не является ни консервативным, ни радикальным. На этом основании можно считать, что функциональный анализ *внутренне* не связан с какой-то определенной идеологией, хотя, как и любая другая форма социологического анализа, он может быть соединен с любой из большого числа идеологических ценностей. Не впервые из некоторой теоретической ориентации в социальных науках или в социальной философии извлекались прямо противоположные идеологические следствия. Поэтому представляется целесообразным исследовать наиболее яркие примеры таких теорий, в которых социологические и методологические концепции явились предметом самых различных идеологических обвинений, и сравнить их, насколько это возможно, с функциональным анализом. Сравнимый случай дает нам диалектический материализм, и его протагонистами в нашей работе будут историк экономики, социальный философ и профессиональный революционер К. Маркс и его ближайший друг и помощник Ф. Энгельс.

Идеологические ориентации диалектического материализма	Сопоставимые идеологические ориентации функционального анализа
1. Мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал исчерпывающую и сознательную картину ее *общих форм* движения. У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо поставить ее на ноги, чтобы вскрыть под *мистической оболочкой рациональное зерно*	1. Некоторые функционалисты-аналитики безо всяких оснований предполагают, что *все* существующие социальные структуры выполняют необходимые социальные функции. Все это — слепая вера, мистицизм, если хотите, а не окончательный результаты основательного и систематического исследования. Данный постулат должен быть не унаследован, а приобретен в процессе реального исследования, для того чтобы он мог быть принятым учеными в общественных науках.
2. В своей мистифицированной форме диалектика стала немецкой модой, так как казалось, будто она прославляет существующее положение вещей.	2. Три постулата функционального единства, универсальности и необходимости составляют некоторую систему предпосылок, которая неизбежно приводит к прославлению существующего порядка вещей.
3. В своем рациональном виде диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в *позитивное понимание существующего* она включает в то же время *понимание его отрицания,* его необходимой гибели.	3. В своих эмпирически направленных и аналитически точных формах функциональный анализ зачастую вызывает подозрения тех, кто считает существующие социальные структуры вечными и неизменными. Эта более точная форма функционального анализа включает в себя не только изучение *функций* существующих социальных структур, но также и изучение их *дисфункций* для индивидуумов, занимающих различное социальное положение, для подгрупп или социальных прослоек и для более широких обществ. В качестве временной гипотезы, как мы увидим ниже, эта версия функционального анализа принимает, что если *чистый баланс совокупности следствий* существующей социальной структуры окажется определенно дисфункциональным, то тогда возникает сильное и настойчивое давление, ставящее своей целью изменение этой структуры. Возможно, хотя это еще не установлено, что по достижению определенной критической точки это давление неизбежно приведет к более или менее предопределенным направлениям социальных изменений.
4. *«Каждую осуществленную форму* она рассматривает в движении, следовательно, также и с ее *преходящей стороны,* она ни перед чем не преклоняется и по самому существу своему критична и революционна»[30].	4. Хотя функциональный анализ часто сосредоточивается скорее на *статике* социальной структуры, чем на *динамике* социального изменения, все же это обстоятельство не является присущим данному типу

[30] M a r x K. Capital. V. I. Chicago, 1906. P. 25-26.

5. «...Все общественные порядки,

сменяющие друг друга в ходе истории, представляют собой лишь преходящие ступени бесконечного развития человеческого общества от низшей ступени к высшей. Каждая ступень необходима и, таким образом, имеет свое оправдание для того времени и для тех условий, которым она обязана своим происхождением.

6. Но она становится непрочной и лишается своего оправдания перед лицом новых, более высоких условий, постепенно развивающихся в ее собственных недрах. Она вынуждена уступить место более высокой ступени, которая в свою очередь также приходит в упадок и гибнет.

7. На всем и во всем видит она (диалектика. — *прим. перев.)* печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед ней, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему… У нее, правда, есть и консервативная сторона: каждая данная ступень развития познания и общественных отношений оправдывается ею для своего времени и своих условий, но не больше. Консерватизм этого способа понимания относителен, его революционный характер абсолютен — вот единственное абсолютное, признаваемое диалектической философией.

анализа. Обращая внимание на дисфункции, точно так же как на функции, этот способ анализа может выявить не только основы социальной стабильности, но и потенциальные источники социального изменения. Выражение «исторически развитые формы» весьма полезно потому, что оно может напомнить нам, что социальные структуры, как правило, претерпевают отчетливые изменения. Остается обнаружить те давления, которые производят изменения различных типов. В той мере, в какой функциональный анализ полностью концентрируется на функциональных следствиях, он склоняется к ультраконсервативной идеологии; в той же мере, в какой он обращается только к функциональным следствиям, он склоняется к ультрарадикальной утопии. В сущности же, он не радикален и не консервативен. 5. Вынужденные признать, что социальные структуры находятся в процессе постоянного изменения, функционалисты-аналитики тем не менее должны исследовать взаимозависимые и часто взаимоподдерживающие элементы социальной структуры. Как правило, оказывается, что большинство обществ интегрированы в такой степени, что многие, если не все, их отдельные элементы взаимно согласуются друг с другом. Социальные структуры не представляют собой случайного набора атрибутов, но эти атрибуты взаимосвязаны и часто взаимно поддерживают друг друга. Признание этого факта отнюдь не означает некритического принятия каждого status quo; не признать его — означает подвергнуться искушениям радикального утопизма.

6. Напряжение и деформации в социальной структуре, которые накапливаются как дисфункциональные следствия существующих элементов этой структуры, не замыкаются с по
мощью соответствующего социального планирования в какой-то небольшой ее части, но со
временем приводят к разрушению институтов и фундаментальным социальным изменениям. Когда эти изменения выходят за пределы некоторой критической точки, определить
которую бывает затруднительно, то принято говорить, что возникла новая социальная система.

7. Однако мы вновь и вновь вынуждены повторять, что ни изменение само по себе, ни
статичность сама по себе не могут быть предметом исследований аналитика-функционалиста. Когда мы рассматриваем ход всемирной истории, то можно достаточно ясно видеть, что все основные социальные структуры со временем либо постепенно изменяются, либо же внезапно прекращают свое существование. И в том и в другом случае они не являются вечно устойчивыми и неподдающимися изменению. Но в некоторый данный момент наблюдения любая такая социальная структура может быть достаточно хорошо приспособлена как к субъективным ценностям многих или большинства людей, входящих в нее, так и к тем объективным обстоятельствам, с которыми она сталкивается. Признать это обстоятельство — означает быть верным фактам, а не предвзятой идеологии. И в равной мере, если при наблюдении социальной структуры обнаружится, что она потеряла связь с потребностями людей или со столь же устойчивыми условиями действия, то и это должно быть признано. Только тот, кто посмеет признать как то, так и другое, может быть функционалистом-аналитиком.

Это систематическое сравнение идеологических ориентации диалектического материализма и функционального анализа по одним и тем же вопросам приводит нас к выводу о том, что функциональный анализ, как и диалектика, отнюдь не *необходимо* связан со специфическими идеологическими тенденциями. Это не значит, что такого рода тенденции в скрытой форме не присутствуют в работах по функциональному анализу. Но эта идеологическая направленность представляется скорее внешней, чем внутренней характеристикой функциональной теории. Здесь, как и в других областях интеллектуальной деятельности, возможность злоупотребления чем-то не исключает возможности его применения. *Критически* пересмотренный функциональный анализ является нейтральным по отношению к основным идеологическим системам. В этой мере и только в этом ограниченном смысле он подобен тем теориям или инструментам физических наук, которые индифферентны к их использованию противоположными группами и в целях, которые часто не входили в намерения ученых.

Идеология и функциональный анализ религии

И в данном случае было бы весьма поучительным рассмотреть, хотя бы кратко, дискуссии, возникающие в связи с проблемой функции религии, для того чтобы показать, как *логика* функционального анализа принимается людьми, которые во всех остальных отношениях занимают противоположные позиции.

Вопрос о социальной роли религии, безусловно, не является новым, он неоднократно поднимался на протяжении веков. Все наблюдатели, занимавшиеся этим вопросом, сходились на том, что религия представляет собою институционализированное средство социального контроля. Эта точка зрения выражается и в учении Платона о «благородной лжи», и во мнении Аристотеля, что религия «стремится убедить массу», и в аналогичном суждении Полибия, согласно которому «массы... могут быть управляемы только с помощью страха и ужаса перед таинственным и трагичным». Если Монтескье говорит о римских законодателях, что они стремились «внушить народу, который не боялся ничего, страх перед богами и использовать этот страх для того, чтобы вести этот народ туда, куда они пожелают», то Джавахарлал Неру отмечал на основе своего собственного опыта, что «единственными книгами, которые британские чиновники от всей души рекомендовали (политическим заключенным в Индии), были религиозные книги или романы. Удивительно, как близка сердцу британского правительства религия и как беспристрастно оно поощряет все ее виды». Существует, как можно видеть, древняя и прочная традиция мысли, утверждающая в той или иной форме, что религия служит тому, чтобы управлять массами. Представляется также, что способы выражения этой основной идеи дают нам ключ к идеологическим установкам того или иного мыслителя.

Как обстоит дело с современным функциональным анализом религии? В своем критическом анализе нескольких главных современных теорий в социологии религии Парсонс суммирует некоторые из основных выводов по вопросу о «функциональном значении религии»: «...если моральные нормы и чувства, их поддерживающие, имеют такое первостепенное значение, то с помощью каких механизмов, *отличных от внешних процессов принуждения,* они сохраняются в обществе? По мнению Дюркгей-ма, именно религиозный ритуал имел важнейшее значение как механизм *выражения и укрепления тех чувств,* которые чрезвычайно существенны для *институционной интеграции* общества. Эта точка зрения, как это ясно видно, близка ко взглядам Малиновского относительно значения похоронных церемоний как некоторого механизма, *вновь утверждающего солидарность группы* в связи с тяжелым эмоциональным напряжением. Таким образом, Дюркгейм выявил в более резкой форме по сравнению с Малиновским некоторые аспекты специфических отношений между *религией и социальной структурой* и к тому

же показал новую функциональную перспективу данной проблемы, постольку поскольку он применил ее к обществу как целому, абстрагируясь от конкретных ситуаций эмоционального напряжения и нагрузки на индивидуума».

И опять же, суммируя существенное открытие одного из главных сравнительных исследований в области социологии религии, Парсонс замечает, что, «может быть, самой поразительной чертой анализа религии Вебером является доказательство теснейшей связи между вариациями социально санкционированных ценностей и целей светской жизни и вариациями в господствующей религиозной философии великих цивилизаций» [31].

Аналогичным образом при исследовании роли религии среди расовых и этнических меньшинств в США Дональд Янг отмечает тесную связь между их «социально санкционированными целями и ценностями в светской жизни» и их «доминирующей религиозной философией»: «Одной из функций, которую призвана выполнить религия некоторого меньшинства, может быть функция *примирения с низким социальным статусом данного меньшинства и дискриминационными последствиями этого статуса.* Доказательства того, что религия выполняет эту функцию, могут быть обнаружены среди всех американских этнических меньшинств. С другой стороны, религиозные институты могут развиваться таким образом, что они будут побуждать и поддерживать восстания против низкого социального статуса. Так, индейцы-христиане, за некоторым исключением, оказываются *более послушными,* чем индейцы-язычники. Особые культы, объединяющие как христианские, так и языческие элементы, были обреченными на неудачу попытками выработать *способы религиозного выражения, пригодные для индивидуальных и групповых обстоятельств.* Один из этих культов («танец призрака») с его учением о наступлении тысячелетней эры свободы от белого человека поощрял восстания. Христианство у негров, несмотря на то что в нем поощрялась словесная критика существующего порядка, подчеркивало вместе с тем необходимость *принятия* горестей этого мира в надежде на лучшие времени в потусторонней жизни. Многочисленные варианты христианства и иудаизма, принесенные иммигрантами из Европы и Мексики, несмотря на наличие общих националистических элементов, точно так же делали упор скорее на *последующем вознаграждении за земные страдания, чем на непосредственном немедленном действии»* [32].

[31] P a r s o n s T. Op. cit. P. 61, 63.

[32] Y o u n g D. American Minority Peoples. N. Y., 1937. P. 204. См. также: S i m p s o n G. E., Y i n g e r J. M. Racial and Cultural Minorities. N. Y., 1953. P. 522—530.

Эти разнообразные и рассеянные замечания, заметно различные по своему идеологическому происхождению, обнаруживают сходство по некоторым основным моментам.

Во-первых, все они рассматривают последствия конкретных религиозных систем для господствующих чувствований, для определения ситуации и действия. Наблюдается весьма большая степень согласованности мнений о том, каковы эти последствия. Ими считаются: укрепление господствующих моральных норм, покорное принятие этих норм, сдерживание честолюбий и откладывание вознаграждения (если того требует религиозная доктрина) и тому подобное. Однако, как замечает Янг, при определенных условиях религии могут провоцировать восстания, или же, как показал Вебер, религии выступали как факторы, мотивирующие и направляющие поведение большого количества мужчин и женщин, ставящих своей целью видоизменение социальной структуры. Поэтому было бы неверно заключать, что все религии и повсюду имели только одну функцию, а именно — создавать апатию масс.

Во-вторых, марксистская точка зрения имплицитно, а функционализм явно утверждают следующее основное положение: системы религии *влияют на поведение,* они *не просто* эпифеномены, но частично независимые детерминанты поведения, ибо, по-видимому, отнюдь не безразлично, примут или не примут «массы» некоторую религию, как не безразлично, принимает или не принимает человек опиум.

В-третьих, как предшествующие, так и марксистские теории рассматривают дифференциальные последствия религиозных верований и ритуалов для различных подгрупп и слоев в обществе, например, для «масс» точно так же как это делает немарксист Дональд Янг. Функционалист, как мы видели, не обязательно должен исследовать последствия той или иной религии для общества в целом.

В-четвертых, начинает складываться мнение, что функционалисты с их акцентированием того, что религия представляет собой некий *социальный механизм* для «укрепления чувств, имеющих чрезвычайно существенное значение для институционной интеграции общества», могут и не отличаться значительно по их *концептуальному аналитическому аппарату* от марксистов. Последние, как мы видим, превратили метафору «Религия — опиум народа» в нейтральную констатацию социального факта и утверждают, что религия действует в качестве некого социального механизма, имеющего целью укрепить определенные светские, равно как и священные, чувства среди верующих.

Различие во взглядах появляется только тогда, когда речь заходит об *оценке* этого факта, принимаемого обеими теориями. В той мере, в какой функционалисты говорят только об «институционной интеграции», не исследуя различные следствия интеграции, осуществляемой вокруг различных типов ценностей и интересов, они ограничивают себя чисто *формальной* интерпретацией, ибо интеграция является явно формальным понятием. Общество может быть интегрировано вокруг норм строгой кастовости, регламентации и покорности подчиненных социальных слоев, как оно может быть интегрировано вокруг норм открытой мобильности широких областей самовыражения и независимости суждений среди социальных слоев, временно занимающих низшее положение. И в той мере, в какой марксисты утверждают, безо всяких ограничений, что все религии и повсюду, безотносительно к их доктринальному содержанию и организационным формам, являются «опиумом» для массы, они также склоняются к чисто формальной интерпретации, которая не предусматривает возможности того, как мы это видим в цитате из Янга, что конкретные религии в конкретных социальных структурах скорее активизируют, чем усыпляют массы. Отсюда, именно в *оценке* этих функций религии, а не в логике анализа, порывают друг с другом марксисты и функционалисты. И именно с *оценками* вливается идеологическое содержание в сосуды функционализма. Сами же эти сосуды остаются нейтральными к их содержимому и в равной степени могут служить для хранения как идеологического яда, так и идеологического нектара.

Логика процедуры. Распространенность функциональной ориентации.

Конечно, функциональная ориентация не является новой и не ограничивается общественными науками. На социологической сцене она появилась относительно поздно, если сопоставлять с ее ранним и широким распространением в целом ряде других дисциплин.

Центральная идея функционализма, выраженная в практике объяснения фактов путем установления их значения для больших структур, частью которых они являются, может быть найдена, по существу, во всех науках о человеке: в биологии и физиологии, психологии, экономике и юриспруденции, антропологии и социологии. Распространенность функционального мировоззрения сама по себе не гарантирует его научной ценности, хотя и говорит о том, что накопленный опыт побудил принять эту ориентацию всех наблюдателей-исследователей человека как биологического организма, как психологического субъекта действия, члена общества и носителя культуры.

Более существенным является то, что опыт, накопленный ранее другими науками, может предоставить в наше распоряжение полезные методологические модели для функционального анализа в социологии. Использовать каноны аналитической процедуры этих, зачастую более точных дисциплин отнюдь не означает полностью принять их специфические концепции и методики. Воспользоваться логикой исследования, успешно применяемой в биологии, не означает вновь вернуться к принятию бесполезных по большей части аналогий и гомологии, которые в течение такого длительного времени зачаровывали последователей организмиче-ской социологии. Исследовать *методологические* рамки биологической науки не означает принять понятия, характеризующие специфический *предмет* этой науки.

Логическая структура эксперимента, например, не отличается в физике, химии или психологии, хотя их субстанциональные гипотезы (гипотезы, относящиеся к их специфическим предметам исследования. — *Прим. перев.),* технические средства, основные понятия и практические трудности могут весьма сильно отличаться друг от друга. Точно так же заменители эксперимента в антропологии, социологии или биологии — планомерное, организованное наблюдение, сравнение и метод «различий» — не отличаются по своим *логическим структурам.*

Обращаясь к краткому рассмотрению кэнноновской логики исследования в физиологии, мы стремимся поэтому найти некую методологическую модель, которая может оказаться полезной и для социологии, но мы не принимаем неудачных гомологии Кэннона между структурами биологических организмов и общества. Логика исследования в физиологии, по Кэннону, выглядит приблизительно следующим образом. Принимая основную идею Клода Бернара, Кэннон вначале указывает, что организм *требует* относительной устойчивости и постоянства. Тогда одна из задач физиолога состоит в том, чтобы дать «конкретное и детальное объяснение способов обеспечения устойчивых состояний организма». Рассматривая эти «конкретные и детальные» объяснения, приводимые Кэнноном, мы видим, что *общая манера их построений* оказывается неизменной безотносительно к тому, какую специфическую поблему он рассматривает. Характерное построение объяснения у Кэннона выглядит следующим образом: «Для того чтобы кровь... служила в качестве циркулирующей среды, выполняющей различные *функции* некоторого всеобщего переносчика питательных веществ и шлаков... *должны*

быть некие механизмы, удерживающие кровь в сосудистой системе всякий раз, как возникает опасность ее утечки». Или же, беря другое положение: «Для того чтобы сохранить существование клетки, необходимо, чтобы... кровь с достаточной скоростью приносила к живым клеткам (необходимые) запасы кислорода».

Установив *потребности* органической системы, Кэннон затем переходит к детальному описанию различных *механизмов,* с помощью которых удовлетворяются все эти требования (например, те сложные изменения, которые приводят к образованию тромба: местное сжатие пораненного сосуда, приводящее к уменьшению интенсивности кровотечения, ускоренное образование тромба благодаря выделению адреналина и его действию на печень и т. д.), или же он описывает различные биохимические устройства, которые обеспечивают нужный запас кислорода в нормальном организме и те компенсационные процессы, которые имеют место тогда, когда одно из этих устройств перестает действовать нормально.

В общей форме логика функционального подхода в биологических науках включает следующую взаимосвязанную последовательность шагов. Во-первых, устанавливаются определенные функциональные требования организма, которые должны быть удовлетворены, чтобы организм мог выжить или действовать с некоторой степенью эффективности. Во-вторых, имеется конкретное и детальное описание механизмов (структур и процессов), с помощью которых происходит типичное удовлетворение этих требований в «нормальных» случаях. В-третьих, если некоторые из типичных механизмов для удовлетворения этих требований нарушены или функционируют неадекватно, наблюдатель чувствует необходимость найти компенсирующие механизмы (если таковые имеются), которые выполняют необходимые функции. В-четвертых, во всем вышеизложенном подразумевается, что существует детальное описание структуры, *для которой* выполняются функциональные требования, равно как детальное описание механизмов, *с помощью которых* выполняется функция.

Логика функционального анализа столь прочно установилась в биологических науках, что вышеприведенные правила принимаются почти как нечто само собой разумеющееся. В социологии нет столь четко разработанной логики функционального анализа. Здесь не существует единого мнения о том, какой должна быть схема исследования. Для одних анализ состоит в установлении эмпирических взаимоотношений между «частями» социальной системы; для других — в выявлении «ценности для общества» некоторой социально стандартизированной практики или социальной организации; для третьих — в детальных описаниях целей формальных социальных организаций.

Исследование разнообразных методов проведения функционального анализа в социологии приводит нас к выводу, что социологи в отличие, скажем, от физиологов, как правило не обладают операционно рациональной процедурой исследования, не собирают необходимых данных систематическим образом, не применяют одинаковых критериев истинности. Иными словами, мы находим в физиологии некоторую совокупность стандартных понятий, методик и схем, характеризующих метод функционального анализа, в то время как в социологии мы наталкиваемся на конгломерат понятий, методик и схем, которые зависят, как подчас кажется, от интересов и вкусов отдельных социологов. Конечно, это различие между двумя науками *связано* — и, может быть, в значительной степени — с различиями в характере данных, исследуемых физиологами и социологами. Относительно большие возможности для постановки экспериментов в физиологии, как очень хорошо известно, едва ли существуют в социологии. Но это вряд ли объясняет систематическое упорядочение процедур исследования и концептуального аппарата, которое мы наблюдаем в одном случае, и разрозненный, часто нескоординированный и нередко ошибочный характер этих процедур и аппарата в функциональной социологии.

Парадигма для функционального анализа в социологии

В качестве первого опытного шага в направлении кодификации функционального анализа в социологии предлагается парадигма понятий и проблем, которые являются центральными для данного подхода. Как скоро станет ясным, основные компоненты данной схемы возникли в ходе предыдущего изложения из критического рассмотрения терминологии, постулатов, понятий и идеологических ориентации, приписываемых функциональному анализу. В схеме они собраны вместе в компактной форме, что позволяет одновременно рассматривать основные требования функционального анализа и помогает исследователю вносить коррективы в выдвигаемые им интерпретации, чего трудно достичь, когда понятия разбросаны и скрыты в длинных рассуждениях. Данная парадигма дает нам основное ядро понятий, методик и выводов функционального анализа.

Прежде всего необходимо отметить, что парадигма не представляет собой ряд категорий, которые вводятся *заново;* это скорее *кодификация* тех понятий и проблем,

которые представали перед нами в ходе критического анализа имеющихся исследований и теорий в функциональном анализе. (Обращение к предыдущим разделам этой главы покажет, что в них были заложены основания для включения в парадигму каждой категории.)

1. Явление (явления), которому приписываются функции

Все социологические явления могут подвергаться — а многие из них и были подвергнуты — функциональному анализу. Основное требование состоит в том, чтобы объект анализа представлял *стандартизованное* (т. е. типизированное, повторяющееся) явление, такое, как социальные роли, институционные типы, социальные процессы, культурные стандарты, эмоциональные реакции, выраженные в соответствии с нормами данной культуры, социальные нормы, групповые организации, социальные структуры, средства социального контроля и т. д.

Основной вопрос: что должно входить в протокол наблюдения данного явления, если оно должно быть подвергнуто систематическому функциональному анализу?

2. Понятия субъективных предпосылок (мотивы, цели)

На некотором этапе функционального анализа мы неизбежно прямо или косвенно обращаемся к представлениям о мотивах деятельности индивидов, включенных в исследуемую систему. Как показало предыдущее изложение, эти понятия субъективных склонностей часто ошибочно отождествляются со связанными с ними, но отличными от них понятиями объективных последствий некоторого мнения, убеждения и поведения.

Основной вопрос: в каких типах аналитических исследований достаточно брать наблюдаемые мотивации как *первичные факты,* как данные, и в каких их следует рассматривать как *проблематичные,* производные из других данных?

3. Понятия объективных (функции, дисфункции) последствий

В современных истолкованиях понятия «функция» существует два типа неточностей:

1) тенденция ограничивать социологические наблюдения *позитивными* вкладами социологического явления в социальную или культурную систему;

2) тенденция путать субъективную категорию *мотива* с объективной категорией *функции.*

Для устранения этой путаницы требуются соответствующие концептуальные разграничения.

Первая проблема требует понятия множественности последствий и *чистого балансового итога совокупности последствий.*

Функции — это те наблюдаемые последствия, которые способствуют адаптации или приспособлению данной системы.

Дисфункции — это те наблюдаемые последствия, которые уменьшают приспособление или адаптацию системы. Существует также эмпирическая возможность *нефункциональных* последствий, которые просто безразличны для рассматриваемой системы.

В любой данный момент явление может иметь как функциональные, так и дисфункциональные последствия. Это ставит перед нами трудную и важную проблему развития принципов определения чистого итогового баланса совокупности последствий (это, конечно, особенно важно при использовании функционального анализа для направления, формирования и проведения политики).

Вторая проблема, возникающая при неточном употреблении понятия мотивов и функций, требует от нас введения понятийного разграничения между случаями, в которых субъективные цели совпадают с объективными последствиями, и случаями, когда они расходятся.

Явные функции — это те объективные последствия, которые вносят свой вклад в регулирование или приспособление системы и которые входили в намерения и осознавались участниками системы.

Латентные функции, соответственно, те объективные последствия, которые не входили в измерения и не были осознаны.

Основной вопрос: каковы результаты превращения ранее скрытых функций в явные функции (включая проблему роли знания в человеческом поведении и проблемы «манипуляции» человеческим поведением)?

4. Понятия социальной обслуживаемой функцией единицы

Мы уже видели те трудности, которые возникают *при ограничении* анализа функциями, выполняемыми для «общества» в целом, поскольку явления могут быть функциональными для одних индивидов и подгрупп и дисфункциональными для других.

Необходимо поэтому рассматривать *некоторую совокупность* единиц, для которых явление имеет предназначенные последствия: индивиды, занимающие различный статус, подгруппы, большие социальные системы и культурные системы (терминологически это предполагает понятия психологической функции, групповой функции, социетальной функции, культурной функции и т. д.).

5. Понятие функциональных требований (потребности, предпосылки существования)

Функциональный анализ и всякое исследование, с ним связанное, предполагает подразумеваемое или явно выраженное понятие функциональных требований рассматриваемой системы. Как отмечалось в другой работе[33], это понятие является одним из самых туманных и наиболее спорных с точки зрения эмпирического содержания в функциональной теории. При социологическом употреблении оно часто оказывается либо тавтологией, либо определяется *постфактум.* Имеется тенденция ограничивать его содержание условиями «выживания» данной системы; имеется тенденция, как у Малиновского, включать в это понятие как социологические, так и биологические «потребности».

[33] Merton R. K. Discussions on theory» // ASR. 1949. N 13. P. 164—168. Parsons «Position of sociological

Отсюда возникает трудная проблема установления типов функциональных требований (всеобщих vs. специфических) и методов проверки теоретических предположений относительно данных требований. Основной вопрос: что необходимо для установления законности применения такой переменной, как «функциональное требование», в ситуации, где невозможно строгое экспериментирование?

6. Понятие механизмов, через которые выполняются функции

Функциональный анализ требует «конкретного и детального объяснения механизмов», с помощью которых выполняется функция. Это относится не к психологическим, а к социальным механизмам (т. е. разделение по ролям, обособление институциональных требований, иерархическое расположение ценностей, социальное разделение труда, ритуалы и церемонии и т. д.).

Основной вопрос: имеется ли в нашем распоряжении полный перечень социальных механизмов, аналогичный, скажем, обширному перечню психологических механизмов? Каковые методологические проблемы, связанные с различением действий этих социальных механизмов?

7. Понятие функциональных альтернатив (функциональных эквивалентов или заменителей)

Как мы уже установили, если мы отказываемся от необоснованного положения о функциональной необходимости конкретных социальных структур, то мы испытываем потребность в некотором понятии функциональной альтернативы, эквивалента или заменителя. Это ставит перед нами проблему определения *диапазона изменчивости* явлений, оставаясь в котором, они могут выполнять определенную функцию. Этот диапазон вносит подвижность в застывшую картину существующего и неизбежного.

Основной вопрос: поскольку научное доказательство эквивалентности предполагаемых функциональных альтернатив требует в идеальном случае строго поставленного эксперимента и поскольку это часто практически неосуществимо в крупномасштабных социологических ситуациях, то какие практические методики исследования смогли бы наиболее полно заменить логику эксперимента?

8. Понятия структурного контекста (или ограничивающего влияния структуры)

Диапазон вариаций в явлениях, при которых они могут выполнять соответствующие функции в социальной структуре, не является беспредельным. Взаимозависимость элементов социальной структуры ограничивает фактические

возможности изменений или функциональных альтернатив. Понятие ограничивающего влияния структуры соответствует в сфере социальных структур тому, что Гольденвейзер назвал «принципом ограниченных возможностей» в широком смысле. Непонимание значения взаимозависимости и ограничивающего воздействия структуры ведет к утопическому мышлению, в котором молчаливо предполагается, что определенные элементы социальной системы могут быть устранены, не повлияв при этом на всю систему. Взаимозависимость и влияние структуры признается как марксистами (например, Марксом), так и немарксистами (Малиновским).

Основной вопрос: насколько данный структурный контекст ограничивает диапазон вариаций явлений, в котором они могут эффективно удовлетворять функциональные требования? Можно ли найти при условиях, которые еще следует определить, некоторую неопределенную сферу, в которой любая из широкой совокупности альтернатив будет выполнять данную функцию?

9. Понятие динамики и изменения

Мы отмечали, что функциональный анализ *имеет тенденцию* сосредоточивать внимание на статике социальной структуры и пренебрегать изучением структурных изменений.

Такое подчеркивание статики не является *внутренне присущим* теории функционального анализа. Подчеркивание статического момента в данной теории возникает как побочное следствие того, что ранние функционалисты-антропологи выступили против предшествующей тенденции в антропологии писать надуманные истории дописьменных обществ. Эта практика, полезная в то время, когда она впервые была применена в антропологии, принесла вред, когда она была перенесена в работы некоторых социологов-функционалистов.

Понятие дисфункции, которое связано с напряжением, принуждением, давлением на структурном уровне, дает некоторый аналитический метод изучения динамики и изменений. Каким образом наблюдаемые дисфункции могут иметь место в конкретной социальной структуре, не вызывая ее нестабильности? Создает ли накопление напряженности и деформаций в социальной системе некоторую силу, которая стремится направить изменения таким образом, чтобы они приводили к уменьшению напряженности?

Основной вопрос: сосредоточивая преимущественное внимание на понятии *социального равновесия,* не игнорируют ли тем самым функциональные аналитики явление *социального неравновесия?* Какие находящиеся в нашем распоряжении методики позволяют социологу более точно определять накопление напряжений и деформаций в социальной системе? В какой мере знание структурного контекста позволит социологу предвидеть наиболее вероятные направления социальных изменений?

10. Проблемы, связанные с установлением достоверности положений функционального анализа

При изложении парадигмы мы неоднократно привлекали внимание читателя к тем специфическим моментам в гипотезах, наблюдениях, характеристиках, связанных с функциональным анализом, достоверность которых должна быть установлена. Установление истинности тех или иных положений данной теории требует прежде всего разработки строгих методик анализа, приближающихся, насколько возможно, к логике экспериментального исследования. Это требует систематического рассмотрения всех возможностей и недостатков сравнительного функционального анализа (как межкультурного, так и межгруппового).

Основной вопрос: в какой степени функциональный анализ ограничен трудностью определения адекватных выборок социальных систем, которые могут быть подвергнуты сравнительному (квазиэкспериментальному) изучению?

11. Проблемы идеологического функционального анализа знания

Ранее подчеркивалось, что функциональный анализ не является органически связанным с определенной идеологической позицией. Это не противоречит факту, что *отдельные* работы этой школы и *отдельные* гипотезы, выдвигаемые функционалистами, могут играть определенную идеологическую роль. Тогда специфической проблемой социологии знания становится: в какой степени социальная позиция социолога-функционалиста (т. е. его отношение к «клиенту», финансирующему исследование) повлияла на саму постановку проблемы, на его

предположения и понятия, заставила его игнорировать возможные выводы из находящихся в его распоряжении данных?

Основной вопрос: как определить идеологическую окраску функционального анализа и в какой мере некоторая специфическая идеология связана с основными положениями, принимаемыми социологами? Связаны ли эти положения со статусом и ролью социолога в исследовании?

Прежде чем мы приступим к более детальному исследованию некоторых частей этой парадигмы, давайте выясним, каким образом могла бы быть она использована, ибо можно умножать таксономии понятий до бесконечности, никак не влияя на решение задач, стоящих перед социологическим анализом. Каковы же тогда цели парадигмы и как ею можно будет пользоваться?

Цель парадигмы

Первая и основная цель данной парадигмы — дать... систематическое руководство для адекватного и плодотворного применения функционального анализа. Эта цель, очевидно, предполагает, что данная парадигма содержит некоторый минимальный набор понятий, с которыми должен оперировать социолог для того, чтобы осуществить правильно построенный функциональный анализ. Очевидно также, что данная парадигма время от времени может использоваться и для критической оценки работ в области функционального анализа. Таким образом, она должна служить в качестве компактного, сокращенного руководства для проведения исследований в области функционального анализа и для оценки достоинств и недостатков ранее проделанных исследований. Недостаток места позволяет нам рассмотреть применение лишь части парадигмы для критической оценки отобранных в данных целях исследований.

Во-вторых, парадигма должна подводить нас непосредственно к постулатам и (часто молчаливо принимаемым) предположениям, лежащим в основе функционального анализа. Как мы уже обнаружили в первых разделах этой главы, некоторые из этих гипотез имеют очень большое значение, другие — несущественны и без них можно обойтись, и, наконец, третьи оказываются сомнительными и даже вводящими в заблуждение.

В-третьих, парадигма пытается сделать социолога восприимчивым не только к узко научному значению различных типов функционального анализа, но и к их политическим, а иногда и к идеологическим следствиям. В парадигме особое внимание уделено моментам, где функциональный анализ предполагает скрытое политическое мировоззрение, и моментам, в которых он оказывает влияние на «социальную технологию».

Очевидно, в данной главе не могут быть детально рассмотрены большие и сложные проблемы, охваченные нашей парадигмой. Такое рассмотрение должно быть осуществлено в специальной книге. В последующем изложении мы ограничимся только применением первых частей данной парадигмы к весьма небольшому количеству случаев функционального анализа в социологии. Время от времени мы будем использовать эти случаи в качестве отправных точек для рассмотрения специфических проблем, неполно и несовершенно проиллюстрированных этими исследованиями.

На что должно быть обращено внимание при функциональном анализе

На первый взгляд кажется, что простое *описание* явления, подвергающегося функциональному анализу, заключает в себе мало или не заключает никаких трудностей. По-видимому, необходимо описывать данное явление «так полно и так точно», как это только возможно. Тем не менее при более пристальном рассмотрении этой рекомендации сразу становится очевидным, что она принесет мало пользы наблюдателю. Представьте себе только, с какими трудностями столкнется новичок-функционалист, располагающий только этой рекомендацией, когда он попытается ответить на вопросы: *что* я должен наблюдать, *что* я должен занести в мой протокол наблюдателя и *что* я могу без всякого ущерба опустить?

Отнюдь не предполагается, что в настоящее время можно дать детальный и обстоятельный ответ на эти вопросы; мы не можем не признать, что данный вопрос сам по себе вполне законен и что *косвенные* ответы на него частично были даны. Для того чтобы вычленить эти имплицитные ответы и обобщить их, необходимо проанализировать имеющиеся работы по функциональному анализу с точки зрения того, *какие типы данных систематически включаются в эти работы, безотносительно к тому, какое явление подвергается анализу и почему включают именно эти, а не другие данные.*

Скоро станет очевидным, что функционалистская ориентация в значительной мере

определяет то, что включается в описание явления, подлежащего интерпретации. Так, описание магического обряда или церемониала не ограничивается описанием заклинания или магической формулы, ритуала и его участников. Оно включает систематическое описание людей, участвующих в ритуале, равно как и зрителей, описание типов и норм взаимодействия между исполнителями и аудиторией, изменения в этих стандартах взаимодействия в ходе церемониала. Отсюда описание ритуала вызывания дождя у хопи, например, не ограничивается описанием действий, направленных на то, чтобы побудить богов вмешаться в метеорологические явления. Оно включает также и описание лиц, которые в той или иной степени вовлечены в данный обряд. И описание участников церемонии (и ее зрителей) дается с помощью *структурных понятий,* т. е. путем определения места всех этих людей в их взаимосвязанных социальных статусах.

Короткие выдержки из работ функционалистов покажут нам, как функциональный анализ начинается с систематического описания (и, желательно, с составления схем) статусов и социальных связей лиц, участвующих в исследуемом поведении.

Обряд, отмечающий достижение половой зрелости у девушек племени чирикахуа: расширенная семья (родители и родственники, способные оказать финансовую помощь) несет расходы по проведению этой четырехдневной церемонии. Родители выбирают время и место ее проведения. «Все члены непосредственного окружения девушки и почти все *члены местной группы* племени принимают участие в церемонии. *Гости из других местных групп, равно как и прибывшие из отдаленных групп,* должны быть представлены на церемонии. Число их возрастает по мере приближения последнего дня церемонии». *Вождь местной группы,* к которой принадлежит семья девушки, произносит речь, приветствуя всех участников. Короче, в этом описании большое внимание обращается на следующие статусы и группы, связанные в той или иной степени с церемониалом: «девушка, ее родители и семья, местная группа, особенно ее вождь, члены других местных групп и племя, представленное жителями отдаленных поселений»[34].

[34] Op 1 e r M. E. An outline of Chiricahua Apach Social Organization// Social Anthropology of North American Tribes. Chicago, 1937. P. 173—239; 226—230.

Как мы увидим в свое время, *простое описание* церемонии, показывающее статусы и принадлежность к различным группам участвующих в ней лиц, *дает основную идею функции, выполняемой данной церемонией.* Короче говоря, структурное описание участников анализируемой деятельности подсказывает гипотезу для последующей функциональной интерпретации.

Другой пример снова покажет нам характер таких описаний, включающих понятие роли, статуса, принадлежности к группе и взаимосвязи между ними. Стандартизированные реакции на миррири (брат слышит ругательство в адрес сестры) у австралийских аборигенов: когда муж бранит свою жену в присутствии ее брата, то брат ведет себя на первый взгляд аномальным образом, бросая копье в жену, а не мужа... Дальнейшее описание этого обычая включает в себя описание статусов его участников. *Сестры* являются членами *клана* брата; муж — выходец из другого клана.

И в данном случае необходимо отметить, что в описании устанавливается место участников обряда в социальных структурах и эта локализация оказывается основой последующего функционального анализа их поведения[35].

Так как эти примеры взяты из дописьменных обществ, то может показаться, что данное требование к описанию касается только этих обществ. Обращаясь к другим примерам функционального анализа стандартов поведения, обнаруживаемых в современных западных обществах, мы, однако, можем установить, что точно такое же требование предъявляется и к ним. Здесь же мы встречаемся и с другими указаниями относительно характера «требующихся дескриптивных данных».

«Комплекс романтической любви» в американском обществе: хотя все общества признают «случайные сильные эмоциональные привязанности», современное американское общество является одним из немногих, которое спекулирует на романтических привязанностях и по крайней мере в общественном мнении делает эти привязанности основанием для выбора партнера по браку. Данный характерный стандарт выбора уменьшает или устраняет выбор партнера родителями или более широкой группой родственников[36].

[35] W a r n e r W. L. A Black Civilization — A Social Study of an Australian Tribe. N. Y., 1937. P. 112—113.

[36] L i n t o n R. Study of Man. N. Y., 1936. P. 174—175; P a r s o n s T. Age and Sex in the Social Structure of the United States // ASR. 1942. N 7. P. 604—616; Он же. The Kinship System of the Contemporary United States // American Anthropologist. 1943. N 45. P. 22—38; Он же. The Social Structure of the Family // The Family; Its Function and Destiny. N. Y. 1949. P. 173—201; M e r t o n R. K. Intermarriage and the Social Structure // Psychiatry. 1941. N 4. P. 361—374; T h o r n e r I. Sociological

Aspects of Affectional Frustration // Psychiatry. 1943. N 6. P. 157—173.

Необходимо заметить, что подчеркивание значения одного стандарта выбора партнера по браку исключает тем самым другие известные стандарты выбора. Этот случай показывает нам *второй* тип данных, которые желательно включить в описание явлений, подвергающихся функциональному анализу. При описании типического (модельного) образца решения некоторой стандартизированной проблемы (выбор партнера по браку) наблюдатель, в тех случаях когда это возможно, указывает на те альтернативные образы поведения, которые исключаются первыми. Это, как мы увидим, позволяет определить структурный контекст стандарта поведения и, указывая на соответствующий сравнительный материал, нацеливает на проверку функционального анализа.

Третий составной элемент описания некоторого явления, подготавливающего почву для последующего функционального анализа этого явления,— еще одно требование к подготовке образца для анализа,— заключается в том, что описание должно включать «значение» ...исследуемой деятельности или стандарта поведения для членов группы. И действительно, как скоро станет очевидным, полный и обстоятельный анализ значений, связываемых с данным явлением, очень много может подсказать относительно возможных направлений функционального анализа. Один пример функционального анализа, взятый из работ Веблена, может проиллюстрировать этот общий тезис: «Культурный стандарт демонстративного потребления: демонстративное потребление относительно дорогих товаров «означает» (символизирует) обладание достаточным богатством для того, чтобы «позволить» себе такие траты. Богатство в свою очередь является почетным. Лица, осуществляющие это демонстративное потребление, получают удовлетворение не только от прямого потребления, но также и от повышенного социального статуса, отражаемого мнениями и отношениями тех, кто наблюдает их потребление. Данный стандарт бытует преимущественно среди праздного класса, т. е. тех, кто может и по большей своей части действительно воздерживается от участия в производительном труде» (здесь перед нами статусный или ролевой компонент описания). Однако этот стандарт распространяется и на другие социальные слои, которые из зависти стараются подражать праздному классу и, так же как и он, испытывают чувство гордости, расточительно тратя деньги. В конечном итоге демонстративное потребление стремится вытеснить другие критерии потребления, например «эффективную» трату денег (здесь перед нами явная ссылка на альтернативные типы потребления, которые отходят на второй план при акцентировании культурой рассматриваемого стандарта)[37].

[37] V e b l e n T. The Theory of the Leisure Class. N. Y., 1934. P. 25.

Как хорошо известно, Веблен в последующем изложении приписывает целый ряд функций стандарту демонстративного потребления — функции повышения социального статуса, его утверждения, завоевания «хорошей репутации», демонстрации денежного могущества (p. 84). Эти последствия, испытываемые участниками такого рода стандартизированной деятельности, доставляют им удовольствие и в значительной мере объясняют существование самого стандарта. *Основание для того, чтобы приписать все эти функции данному стандарту поведения, было дано почти полностью уже самим его описанием,* которое включает явные отсылки к (1) статусу тех, кто в той или иной мере обнаруживает данный стандарт поведения; (2) известным альтернативам тому типу потребления, которое оказывается подчеркнуто демонстративным и расточительным, а не состоит в частом потреблении продукта как такового; (3) различным значениям, которые приписываются в данной культуре поведения демонстративного потребления.

Эти три компонента образца, подлежащего анализу, ни в коем случае не являются исчерпывающими. Полный описательный протокол, достаточный для последующего функционального анализа, неизбежно охватит некоторую совокупность непосредственно психологических и социальных последствий поведения. Но они могут быть лучше всего исследованы при использовании понятия функции. Для того же чтобы дескриптивный протокол имел оптимальную ценность для функционального анализа, необходимо, повторяем мы, чтобы описание явления не проходило по прихоти или интуиции наблюдателя, но обязательно включало бы в себя по крайней мере три вышеназванные характеристики. Хотя еще и много можно было бы сказать о требованиях, предъявляемых к дескриптивной фазе анализа, и эта краткая характеристика образцов описания может сослужить пользу в том отношении, что она указывает на *возможность* кодификации методов функционального анализа до такой степени, что в конечном счете социолог-наблюдатель будет производить наблюдения, руководствуясь определенной схемой.

Еще один пример проиллюстрирует другие требования, предъявляемые к описанию анализируемого явления: табу на браки вне группы. Чем больше степень групповой солидарности, тем более отрицательным становится отношение к бракам, одним из партнеров в которых является член другой группы. «Безразлично, что является причиной стремления к групповой солидарности...» Брак с партнером со стороны означает либо

уход члена группы в другую, либо же прием в группу члена, который не был полностью социализован в плане ценностей, чувствований и обычаев этой группы[38].

[38] A d a m s R. Interracial Marriage in Hawaii. P. 197—204; M e r t o n R. K. Intermarriage and the Social Structure; op. cit.'P. 368—369; D a v i s K. Intermarriage in Caste Societies // American Anthropologist. 1941. N 43. P. 376—395.

Этот отрывок подсказывает нам четвертый тип данных, которые следует включать в описание социальных или культурных образцов, прежде чем подвергнуть их функциональному анализу. Участники рассматриваемой социальной практики неизбежно имеют *некоторую* совокупность мотивов для конформного или отклоняющего поведения. *Описание должно, в той мере, в какой это возможно, включать в себя отчет об этих мотивациях. Но эти мотивы не должны смешиваться, как мы уже это видели, ни с (а) объективными стандартами поведения, ни с (б) социальными функциями этих стандартов.* Включение мотивов в описание явлений помогает объяснить *психологические* функции, выполняемые данным стандартом поведения, и часто дает ключ к пониманию его социальных функций.

До настоящего времени мы рассматривали явления, которые представляют собой явно выраженные стандарты деятельности и верований, стандарты, признаваемые в качестве таковых членами данного общества. Так, члены данного общества могут с различной степенью точности описать контуры церемониала, символизирующего достижение девушками племена чирикахуа половой зрелости, выбор супруга(и) на основе комплекса романтической любви, ритуал миррири у австралийских аборигенов, интерес, проявляемый к демонстративному потреблению, и табу, наложенное на выбор брачного партнера вне группы. Все это составные элементы, явно входящие в данную культуру и в качестве таковых более или менее известные всем тем, кто принадлежит к этой культуре. Представители общественных наук, однако, не ограничиваются этими явлениями и признанными культурой стандартами поведения. Время от времени они открывают скрытые стандарты культуры, некоторую совокупность обычаев или убеждений, которые упорядочены столь же строго, как и явные стандарты, но которые не рассматриваются их участниками в качестве нормативных, регулятивных предписаний поведения. Примеров такого рода очень много. Так, статистика показывает, что в квазикастовой ситуации, которая определяет отношения между неграми и белыми в США, господствующим видом межрасовых браков (в тех случаях, когда они имеют место) являются браки между белыми женщинами и неграми-мужчинами. Хотя этот стандарт заключения межрасовых браков, который мы можем назвать гипозамией, и не является институционализированным, он является удивительно устойчивым.

Или же рассмотрим другой пример фиксированного, но, по-видимому, неосознанного стандарта поведения. Малиновский сообщает, что жители Тробриандских островов, совместно занятые постройкой каноэ, занимаются не только выполнением этой чисто технической задачи, но устанавливают и укрепляют связи между собой в процессе работы. Многое из того, что в последнее время было выявлено по вопросу о тех первичных группах, которые называются «неформальными органлз-ациями», имеет отношение к тем стандартам поведения, которые наблюдаются исследователями общества, но не осознаются, по крайней мере полностью, его участниками.

Все это указывает на пятое требование к дескриптивному протоколу: закономерности поведения, связанного с деятельностью, которая номинально рассматривается как главная, должны быть включены в протокол наблюдателя (хотя они и не являются частью явного культурного стандарта), так как эти *непроизвольно проявляющиеся закономерности* часто дают нам основной ключ к специфическим функциям всего стандарта. Как мы увидим, включение этих «непроизвольных» закономерностей в дескриптивный протокол почти сразу же направляет внимание исследователя в сторону того, что мы назвали скрытыми функциями.

Суммируя все вышеизложенное, дескриптивный протокол должен тогда включать:

1) установление положения участников стандартизированного поведения в социальной структуре — дифференциальное участие;

2) рассмотрение альтернативных способов поведения, исключаемых благодаря преобладанию наблюдаемого стандарта (т. е. следует обращать внимание не только на то, что происходит, но и на то, что устраняется благодаря существующему стандарту);

3) эмоциональное и рациональное значение, вкладываемое участниками в это стандартизированное поведение;

4) различие между мотивами участия в такого рода поведении и его объективной стороной;

5) закономерности поведения, не осознаваемые участниками, которые тем не менее связаны с главным стандартом поведения.

Весьма вероятно, что все эти требования к протоколу наблюдателя далеки от полноты, но все же они представляют собой первый, пробный шаг в направлении

спецификации моментов наблюдения, которые облегчают последующий функциональный анализ. Они были предложены для того, чтобы служить в качестве более конкретных рекомендаций, чем те, которые обычно встречаются в общих указаниях о методике исследования, как, например, рекомендации наблюдателю быть внимательным к «контексту ситуации».

Явные и латентные функции

Как отмечалось в предыдущих разделах, разграничение между явными и латентными функциями было введено для того, чтобы исключить то смешивание *сознательной мотивации* социального поведения с его *объективными последствиями,* которое часто обнаруживается в социологической литературе. Наше рассмотрение терминологии современного функционального анализа показало, как легко социолог может отождествить *мотивы* и *функции* и к каким печальным последствиям это приводит. Мы указывали далее, что мотивы и функции изменяются независимо друг от друга и что отсутствие внимания к этому обстоятельству обусловливает то, что среди социологов существует непроизвольная тенденция смешивать субъективные категории мотивации с объективными категориями функций. Именно этим и объясняется наша приверженность к не всегда похвальной практике введения новых терминов в быстро растущий специальный словарь социологии, практике, которая рассматривается многими неспециалистами как оскорбление их интеллекта и преступление против общедоступности науки.

Как легко видеть, я заимствовал термины «явное» и «латентное» у Фрейда, который их использует в другом контексте (хотя и Френсис Бэкон уже много лет назад говорил о «латентных процессах» и «латентных конфигурациях» по отношению к процессам, которые недоступны для поверхностного наблюдения).

Само же различение мотивов и функций неоднократно на протяжении многих столетий проводилось исследователями человеческого поведения. И в самом деле, было бы весьма странно, если бы то разграничение, которое приобрело для нас значение важнейшего разграничения функционального анализа, не было бы кем-то уже сделано из той большой группы исследователей, фактически применявших функциональный подход. Нам достаточно будет упомянуть только несколько из тех, кто за последние десятилетия считал необходимым разграничение между субъективными целями и функциональными последствиями действия.

Джордж Мид: «...это отношение враждебности к нарушителю закона имеет своеобразную положительную сторону (читай латентную функцию) объединения всех членов данной общины в эмоциональной солидарности агрессии. В то время как самые великолепные гуманистические призывы обязательно окажутся противоречащими интересам многих членов общин либо же не затронут интересов и воображения большинства и оставят тем самым эту общину разделенной и индифферентной, крик о помощи при воровстве или убийстве адресуется к самым глубинным комплексам человеческой психики, лежащим под поверхностью индивидуальных, сталкивающихся устремлений, и граждане этой общины, которые были разделены своими расходящимися интересами, сплотятся против общего врага»[39].

Эмиль Дюркгейм в аналогичном анализе социальных функций наказания также сосредоточивается на его латентных функциях (последствиях для общины), а не ограничивает себя только его явными функциями (последствиями для преступника).

В. Дж. Самнер: «...с самых первых действий, с помощью которых люди пытаются удовлетворить свои нужды, каждое из них является самодавлеющим и стремится только к немедленному удовлетворению некоторой потребности. Из периодически возвращающихся потребностей возникают привычки личностей и обычаи групп, но эти привычки и обычаи представляют собой следствия, являющиеся непредвиденными и непреднамеренными. Их замечают только после того, как они прочно утвердятся, и даже после этого проходит длительное время, прежде чем их оценят должным образом»[40].

Хотя данное высказывание не касается латентных функций стандартизированных социальных действий для рассматриваемой социальной структуры, в нем с достаточной ясностью проводится существенное различие между целями, имеющимися в виду, и объективными последствиями.

Р. М. Макайвер: «Наряду с прямыми результатами действий социальных институтов существуют другие результаты, которые находятся вне непосредственных целей человека... эти типы результатов... могут, хотя и непреднамеренно, иметь большое значение для общества»[41].

[39] M e a d G. H. The Psychology of Punitive Justice // American Journ. Of Sociology. 1918. N 23. P. 591.

[40] S u m n e r W. G. Folkways. Boston, 1906. P. 3.

[41] *Ma e l v e r* R. M. Community. London, 1915. P. 314.

У. И. Томас и Ф. Знанецкий: «Хотя все новые (кооперативные, польские, крестьянские) институты образованы с определенными целями удовлетворения специфических потребностей, их социальные функции ни в коем случае не ограничиваются их явными и осознанными целями... каждый из этих институтов — коммуна или сельскохозяйственный кружок, ссудный банк или же сберегательная касса, или же театр — являются не просто некоторым механизмом для воплощения определенных ценностей, но также и ассоциацией людей, каждый член которой должен участвовать в общей деятельности этой ассоциации в качестве живого, конкретного индивидуума. Каков бы ни был господствующий, официальный интерес, во имя которого был основан данный институт, ассоциация как конкретная группа человеческих личностей включает и много других неофициальных интересов; социальные контакты ее членов не ограничиваются тем, что они совместно стремятся к достижению некоторой общей цели, хотя последняя, безусловно, представляет собой как главную причину образования самой ассоциации, так и наиболее прочное звено, ее сохраняющее. Благодаря этой комбинации абстрактного, политического, экономического или же весьма рационального механизма для удовлетворения специфических нужд с конкретным единством социальной группы новый институт является также лучшим опосредующим звеном между первичной крестьянской группой и вторичной национальной системой»[42].

[42] Thomas W., Znaniecki F. V. The Polish Peasant in Europe and America. V. 5. N. Y., !920. P. 156.

Эти и многие другие наблюдатели социальных явлений время от времени разграничивали категории субъективных отношений («нужды», «интересы», «цели») и категории, как правило, не осознаваемых, но объективных функциональных последствий («своеобразная положительная сторона», «никогда не осознаваемые последствия», «непроизвольная ... услуга обществу», «функция, не ограниченная сознательной и явной целью»).

Так как случаи для разграничения явных и скрытых функций представляются довольно часто и так как концептуальная схема должна направлять внимание наблюдателя на существенные элементы ситуации и предупреждать возможность оставления их незамеченными, то представляется целесообразным охарактеризовать данное различие с помощью соответствующих терминов. В основе разграничения между явными и латентными функциями лежит следующее: первые относятся к тем объективным и преднамеренным последствиям социального действия, которые способствуют приспособлению или адаптации некоторой определенной социальной единицы (индивидуум, подгруппа, социальная или культурная система); вторые относятся к непреднамеренным и неосознанным последствиям того же самого порядка.

Имеется ряд указаний на то, что применение социальных терминов для обозначения данного разграничения может иметь определенное эвристическое значение, так как эти термины включаются в концептуальный аппарат теории, способствуя как процессу систематического наблюдения, так и последующему анализу. За последнее время, например, разграничение между явными и скрытыми функциями было использовано при анализе межрасовых браков, социальной стратификации, аффективного переживания неудачи, социологических теорий Веблена, распространенных в Америке ориентации по отношению к России, пропаганды как средства социального контроля, антропологической теории Малиновского, магических образов у индейцев навахо, проблем социологии знания и мод, динамики личности, мер национальной безопасности, внутренней социальной динамики бюрократии[43] и многих других социологических проблем.

[43] Davis A. K. Some Sourses of American Hostility to Russia // AJS. 1947. N 53. P. 174—183; Parsons T. Propaganda and Social Control // Parsons T. Essays in Sociological Theory; Kluckhohn C. Bronislaw **Malinowski,** 1884—1942 // JAF. 1943. N 56. P. 208—219; Он же. Navaho Witchcraft Op. cit. P. 46—47; Barber B., Lobe I L. S. Fashion in Women's and the American Social System // Social Forces. 1952. N 31. P. 124—131; Mowrer O. N., Kluckhohn C Dynamic Theory of Personality // Personality and the Behavior Disorders. V. I. N. Y., 1944. P. 72; Jahoda M., Cook S. W. Security Measures and Freedom of Thought: an Explanatory Study of the Impact of Loyalty and Security Programs // Yale Law Journ. 1952. N 61. P. 296—333; Selznick Ph. TVA and the Grass Roots. S. F., 1949; Gould-ner A. W. Patterns of Industrial Bureaucracy. Glencoe, 1954; Blau P. M. The Dynamics of Bureaucracy. Chicago, 1955; Davis A. K. Bureaucratic Patterns in Navy Officer corps // Social Forses. 1948. N 27. P. 142—153.

Само разнообразие этих вопросов свидетельствует о том, что теоретическое разграничение между явными и латентными функциями не ограничивается узкой и частной областью человеческого поведения. Однако перед нами все еще стоит большая задача определения конкретных областей, где может быть использовано данное

разграничение, и решению этой большой задачи мы и посвятим оставшуюся часть главы.

Эвристические цели этого разграничения

Это разграничение позволяет понять стандарты социального поведения, которые на первый взгляд кажутся иррациональными. Прежде всего данное различение помогает социологической интерпретации многих видов социальных действий, которые продолжают существовать даже и тогда, когда явно поставленные перед ними цели никак не осуществляются. Издавна в таких случаях различные наблюдатели, в особенности неспециалисты, называют эти действия «предрассудками», «иррациональностями», «простой инерцией традиции» и т. д.

Другими словами, когда поведение группы не достигает и часто не может достичь явно поставленной и провозглашенной цели, существует склонность приписывать такое поведение недостатку внимания, невежеству, пережиткам или так называемой инерции. В качестве примера возьмем церемониалы хопи по вызыванию обильного дождя. Эти церемониалы могут быть названы предрассудком примитивных народов, и предполагается, что этим все сказано. Однако необходимо отметить, что, называя эти церемонии «предрассудком», мы никак не объясняем поведение группы. Такое объяснение, в сущности, подменяет анализ подлинной роли этого поведения в жизни группы употреблением бранного эпитета «предрассудок». Если же, однако, принять понятие скрытой функции, то оно может напомнить нам, что это поведение *может* выполнять функцию для группы, совершенно отличную от явной его цели.

Понятие скрытой функции уводит наблюдателя за пределы вопроса, достигает ли поведение провозглашаемой для него цели. Временно игнорируя эти явные цели, оно направляет внимание *на другой* ряд последствий, например, на влияние, оказываемое им на отдельных членов племени хопи, участвующих в церемониале, равно как и на поддержание устойчивости и непрерывности большой группы. Если бы мы при анализе данного поведения ограничились только решением вопроса, действительно ли оно выполняет явную (преднамеренную) функцию, то вопрос такого рода относился бы к сфере метеоролога, а не социолога. И безусловно, наши метеорологи согласились бы с тем, что церемониал дождя не вызывает дождя; но едва ли бы тем самым мы коснулись существенной стороны вопроса. Такое заключение равносильно утверждению, что церемония не имеет предписываемого ей технологического значения, что цель этой церемонии и ее фактические последствия не совпадают. Но, имея в нашем распоряжении понятие скрытой функции, мы продолжим наше исследование, анализируя воздействие церемонии не на богов дождя или метеорологические явления, но воздействие церемонии на группу, осуществляющую эту церемонию. И здесь-то и может быть обнаружено, как показывали многие наблюдатели, что этот церемониал имеет-таки функции, но функции, которые не являются преднамеренными или же являются латентными.

Церемониалы могут выполнять латентную функцию укрепления групповой солидарности, периодически собирая разрозненных членов группы для участия в общей деятельности. Как давно уже отметили Дюркгейм и другие, церемониалы такого рода являются средством коллективного выражения тех чувств, которые в конечном счете и оказываются основным источником группового единства. Путем систематического применения понятия латентной функции *иногда* можно обнаружить, что *явно* иррациональное поведение является положительно функциональным для группы. Оперируя понятием скрытой функции, мы не будем спешить с выводом, что если деятельность группы не достигает своей номинальной цели, то существование этой деятельности может быть описано только в качестве примера «инерции», «пережитка» или «манипуляций подгрупп, имеющих власть в обществе».

Необходимо отметить, что социологи, наблюдающие некоторую *стандартизированную практику, предназначенную для достижения целей, которые вообще с точки зрения физических наук не могут быть достигнуты этим путем,* очень часто, почти всегда пользовались понятием, близким к понятию скрытой функции. Именно так и будет обстоять дело, если мы займемся исследованием, например, ритуалов индейцев пуэбло, связанных с вызыванием дождя или молитвами о плодородии. *Однако в тех случаях, когда социальное поведение не направляется на достижение явно недосягаемых целей, исследование побочных или латентных функций поведения социологами становится менее вероятным.*

Различение между явными и скрытыми функциями направляет внимание на теоретически плодотворные области исследования. Это различение направляет внимание социолога как раз на те области поведения, мнений и верований, в которых он может наиболее плодотворно приложить свои специфические знания и навыки. Ибо какова задача социолога, когда он ограничивает себя изучением явных функций? В значительной степени он имеет дело с определением того, достигает ли практика, предназначенная для определенной цели, эту цель. Он исследует, например, достигает ли

новая система оплаты своей цели — уменьшения текучести рабочей силы или цели увеличения производства. Или же он поставит вопрос, достигла ли пропагандистская кампания поставленной цели: увеличения «готовности сражаться», «готовности покупать военные займы» или же увеличения «терпимости к другим этническим группам». Конечно, все это важные и сложные типы исследования. Но пока социологи *ограничивают* себя изучением явных функций, задача их исследования определяется для них скорее практиками (будь то капитаны индустрии, лидеры профсоюзов или, предположим, вождь племени навахо, в данный момент это несущественно), чем теоретическими проблемами, составляющими суть социологии. Имея дело прежде всего с явными функциями, с проблемой, достигает ли та или иная практика или организация, учрежденная с определенными целями, поставленных перед нею задач, социолог превращается в искусного регистратора уже известных систем поведения. *Его оценки и анализ ограничены вопросом, поставленным перед ним нетеоретиком,* человеком дела, например, получим ли мы такие-то и такие-то результаты от введения новой системы оплаты. Но вооруженный понятием, скрытой функции, социолог направляет свое исследование именно в ту область, которая является наиболее обещающей для теоретического развития социологии. Он рассматривает известный (или планируемый) вид социальной практики, чтобы установить его скрытые, неосознаваемые функции (конечно, так же как и явные функции). Он рассматривает, скажем, отдаленные последствия новой зарплаты для профсоюза, в котором состоят рабочие, или же последствия некоторой пропагандистской кампании не только для реализации поставленной перед ней цели увеличения патриотического пыла, но и для ее влияния на свободу выражения мнений людьми в том случае, когда они расходятся с официальной политикой, и т. д. Короче, мы полагаем, что *специфический* интеллектуальный вклад социолога состоит прежде всего в изучении непреднамеренных последствий (к которым относятся скрытые функции) социальной практики, так же как и в изучении ожидаемых последствий (среди которых находятся явные функции)[44].

Есть основание полагать, что именно в том пункте, где исследовательское внимание социологов смещается с плоскости явных в плоскость скрытых функций, социологи вносят свой специфический и главный вклад в исследование общества. В подтверждение данного положения можно было бы сказать многое, но и небольшого количества примеров будет вполне достаточно.

Исследование предприятий Уэстерн Электрик в Хауторне[45].

[44] Merton R. K., Fiske M., Curtis A. Mass Persuasion. N. Y., 1946. P. 185—189.
[45] Roethlisberger F. J., Dicks on W. I. Management and the Worker. Harvard, 1939.

Как хорошо известно, на ранних стадиях данного исследования рассматривалась проблема зависимости «производительности труда рабочих от освещенности». В течение двух с половиной лет в центре внимания стояла следующая проблема: воздействуют ли изменения освещенности на производительность труда? Первоначальные результаты показывали, что в довольно широких пределах не существует однозначного отношения между освещенностью и производительностью. Производительность увеличивалась как в экспериментальной группе, где увеличивалась (или *уменьшалась)* освещенность, так и в контрольной группе, где освещенность не менялась. Короче, исследователи ограничили свои изыскания только областью явных функций. То обстоятельство, что они не учитывали понятия латентной социальной функции, привело к тому, что первоначально они не обращали внимания на социальные следствия данного *эксперимента* для отношений между членами проверяемой и контрольной группы, или же для отношений, складывающихся между рабочими и представителями администрации в помещениях, где производились исследования. Иными словами, у исследователей данного вопроса отсутствовала специфически социологическая координатная система и они выступали просто как «инженеры» (точно так же как если бы группа метеорологов исследовала «влияния» церемониала хопи на выпадение дождя).

И только после длительного проведения исследований экспериментаторам пришла в голову мысль исследовать воздействие новой «экспериментальной ситуации» на самовосприятия и самооценки рабочих, участвующих в эксперименте, на отношения, складывающиеся между членами данной группы, на солидарность и единство этой группы. Элтон Мейо пишет в этой связи: «Неудача с исследованием освещенности заставила их осознать необходимость регистрации всего, что происходит в комнате, а не только фиксации очевидных инженерных и технологических аспектов проблемы. Их наблюдения поэтому включили в себя не только записи технологических и инженерных изменений, но и записи физиологических или медицинских изменений, равно как в определенном смысле и записи социологических и антропологических изменений. Все это приняло форму некоего «журнала», который давал максимально полный отчет о фактических событиях каждого дня...»[46].

Короче, только после длительной серии опытов, которые полностью игнорировали латентные социальные функции эксперимента (как некоторой преднамеренно созданной социальной ситуации), была введена специфически социологическая система отсчета. «Понимание этого обстоятельства,— пишут авторы,— привело к тому, что исследование изменило свой характер. Исследователи больше не стремились установить, к каким последствиям приводит изменение отдельных переменных. Вместо понятия контролируемого эксперимента они ввели понятие социальной ситуации, которая должна быть описана и понята как система взаимозависимых элементов». С этого момента, как сейчас хорошо известно, исследование оказалось нацеленным в весьма значительной степени на выискивание скрытых функций тех стандартизированных систем поведения, которые бытовали среди рабочих, на выявление неформальных организаций, возникавших в их среде, на выявление игр рабочих, организованных «мудрыми администраторами», и на организацию советов с рабочими, их интервьюирование и т. д. Новая концептуальная схема полностью изменила характер и типы данных, собираемых в последующих исследованиях.

Достаточно только обратиться к уже цитировавшемуся отрывку из классической книги Томаса и Знанецкого, появившейся около 30 лет назад, чтобы согласиться со следующим замечанием Шилза: «...и в самом деле, история исследования первичных групп в американской социологии является превосходным примером *разрывов в развитии данной дисциплины:* значение некоторой проблемы подчеркивается одним из основоположников социологии, затем ее не исследуют, чтобы с энтузиазмом вновь подхватить ее, как будто бы никто не думал о ней прежде»[47].

[46] Mayo E. The Social Problems of an Industrial Civilization. Harvard, 1945. P. 70.

[47] Shils E. The Present State of American Sociology. Glencoe, 1948. P. 42.

Томас и Знанецкий неоднократно подчеркивали, что с точки зрения социологии какова бы ни была главная функция ассоциации, «последняя в своем качестве конкретной группы человеческих личностей неофициально служит удовлетворению и многих других интересов; социальные контакты между ее членами не ограничиваются только контактами, связанными с преследованием ими общей цели...». И между тем целые годы экспериментальной работы ушли на то, чтобы исследовательская группа, работавшая на предприятиях Уэстерн Электрик, обратила внимание на латентные социальные функции первичных групп, возникающих в индустриальных организациях. Следует заметить, что мы приводим здесь данный случай не для того, чтобы дать пример неудачного планирования экспериментальных работ; не это было нашей непосредственной целью. Мы привели его только для того, чтобы проиллюстрировать важность понятия латентной функции и связанных с ним понятий функционального анализа для *социологического* исследования. Он ясно показывает, как включение данного понятия в концептуальный аппарат социологической теории (несущественно при этом, используется или нет термин «латентная функция») может сделать социолога чувствительным к целому ряду важных социальных переменных, на которые в противном случае легко не обратить внимания. Применение специального термина для обозначения данного понятия, может быть, уменьшит число такого рода случаев отсутствия преемственности в будущих социологических исследованиях.

Обнаружение скрытых функций означает важное увеличение социологического знания. Есть еще один аспект, в котором исследование скрытых функций представляет собой большой вклад в общественную науку. Именно латентные функции некоторой деятельности или верования не являются достоянием обыденного сознания, поскольку они оказываются непреднамеренными и неосознанными социальными и психологическими последствиями. Поэтому открытия в области скрытых функций представляют собой больший прирост социологического знания, чем открытия в области явных функций. Они представляют, следовательно, и большие отклонения от знаний о социальной жизни, основанных на здравом смысле. В той мере, в какой латентные функции более или менее отклоняются от открыто провозглашаемых явных функций, исследование, обнаруживающее латентные функции, очень часто приводит к парадоксальным выводам. Эти кажущиеся парадоксы возникают в связи с тем, что распространенная и предвзятая точка зрения, рассматривающая некоторую стандартизированную практику или же верования только с позиций их явных функций, претерпевает резкое видоизменение при выявлении их вспомогательных или побочных функций. Введение понятия латентной функции в социальное исследование приводит нас к выводам, которые показывают, что «социальная жизнь не так проста, как она кажется на первый взгляд», ибо, коль скоро люди ограничиваются *некоторыми* последствиями (например, явными последствиями) некоторой социальной практики или же мнения, то им сравнительно легко дать моральную оценку этим явлениям. Моральные оценки, основывающиеся, как правило, на этих явных последствиях, имеют тенденцию быть выдержанными только в черных или белых тонах. Но выявление других (латентных) функций часто усложняют эту картину. Проблемы моральных оценок (которые не являются непосредственным предметом

нашего исследования) и проблемы управления социальными процессами (которые нас занимают) приобретают дополнительные трудности, которые обычно включаются в ответственные социальные решения.

Пример одного исследования, которое неявно использовало понятие латентной функции, покажет нам, в каком смысле мы говорим о «парадоксе», т. е. о расхождении между очевидной, явной функцией и реальными функциями, включающими в себя и латентные, к которому приводит использование данного понятия. Так, возвращаясь к хорошо известному анализу демонстративного потребления, данному Вебленом, мы понимаем, что не случайно последнего считали социальным аналитиком, обладающим особым талантом подмечать парадоксальное, ироническое, сатирическое, ибо к этому часто, если не всегда, приводит применение понятия скрытой функции (или ее эквивалента).

Стандарт демонстративного потребления

Явной целью покупки предметов потребления является, конечно, удовлетворение потребностей, для которых эти предметы предназначены. Так, автомобили, очевидно, предназначены для того, чтобы обеспечивать передвижение; свечи — для освещения; определенные пищевые продукты — для поддержания жизни; редкие произведения искусств — для эстетического наслаждения. Так как эти продукты *действительно* используются в этих целях, то большей частью принимается, что этим и исчерпываются их социально значимые функции. Веблен указывает, что именно в этом и заключалось распространенное понимание данного вопроса (в до-вебленовскую элоху, конечно). «Целью приобретения и накопления обычно считается потребление накопленных благ... По крайней мере это считается экономически законной целью приобретения, и *от теории требуется объяснение только этой цели»*[48].

[48] V e b l e n T. Op. cit. P. 25.

Однако, говорит Веблен далее, мы как социологи должны пойти дальше и рассмотреть латентные функции приобретения, накопления и потребления, а эти латентные функции весьма далеки от указанных явных функций. «Только в том случае, коИа мы рассмотрим потребление товаров в смысле, очень далеком от его наивного значения (т. е. далеком от явной функции), мы можем обнаружить в нем некий иной побудительный мотив, который неизменно приводит к накоплению». И одной из тех латентных функций, которые помогают объяснить устойчивость и социальную локализацию демонстративного потребления, является то, что оно символизирует «финансовую силу и завоевание и поддержание высокого социального статуса». «Педантичная разборчивость» по отношению к качеству «пищи, вина, жилища, услуг, украшений, одежды, развлечений» имеет своим результатом не только большее удовлетворение, получаемое от потребления «высших», а не «низших» товаров, но также и *повышение или подтверждение высокого социального статуса.* Последнее, по мнению Веблена, и является основным мотивом этой разборчивости.

Парадокс Веблена состоит в том, что люди покупают дорогие товары не столько потому, что они превосходят по качеству другие товары, но именно потому, что они дороги.

Результатом его функционального анализа было открытие некоторого латентного уравнения («высокая стоимость — признак более высокого социального статуса»), скорее чем явного уравнения («высокая стоимость—высокое качество товаров»). Он не отрицает, что явные функции имеют *некоторое* значение в возникновении потребления демонстративного типа. Они также действуют здесь. «Из только что сказанного не вытекает, что не имеется других побудительных мотивов к приобретению и накоплению помимо желания выделиться с точки зрения финансового положения и тем самым завоевать уважение и зависть со стороны сограждан. Желание увеличить комфорт и застраховаться от нужды имеет место на любой стадии».

И опять: «Было бы странным утверждать, что в потребительную стоимость некоторого товара или услуги никогда не входит их действительная полезность, сколь бы ни выступало на первый план желание афишировать свои траты» и приобрести социальную респектабельность. Но только *эти прямые, явные функции не могут полностью объяснить распространенные типы потребления. Иначе говоря, если латентные функции повышения и подтверждения социального статуса будут устранены из стандартов демонстративного потребления, то эти стандарты претерпели бы серьезнейшие изменения такого порядка, которые не могли бы быть предвидимы экономистом «традиционного» типа.*

В результате анализа латентных функций Веблен приходит к выводу, отличному от распространенного представления, согласно которому конечным результатом потребления, «безусловно, является прямое удовлетворение потребности». «Люди едят икру, потому что они голодны, покупают «Кадиллак», потому что они хотят приобрести хорошую машину, ужинают при свечах, потому что им нравится мирная, уютная обстановка». Данное толкование потребления, характерное для обыденного сознания,

уступает место в анализе Веблена выявлению побочных латентных функций, которые точно так же, а может быть, даже в еще большей мере, выполняются данной практикой. Конечно, в последние десятилетия анализ Веблена столь глубоко проник в общественное сознание, что эти скрытые функции сегодня признаны повсеместно. (Здесь возникает интересная проблема изменений, происходящих в преобладающей системе поведения, когда его латентные функции становятся широко осознанными — и тем самым перестают быть латентными. Рассмотрение этой важной проблемы в данной работе не представляется возможным.)

Открытие латентных функций не просто делает представление о функциях, выполняемых определенными социальными стандартами поведения, более точными (точно так же как при исследовании явных функций), *но означает качественно отличное приращение знания.*

Различение между явными и скрытыми функциями предотвращает замену социологического анализа наивными моральными оценками. Поскольку оценки общественной морали имеют тенденцию основываться прежде всего на явных последствиях той или иной социальной практики или кодекса правил, то можно ожидать, что социологический анализ, базирующийся на выявлении скрытых функций, будет время от времени вступать в противоречия с этими моральными оценками, ибо ниоткуда не следует, что латентные функции будут действовать точно так же, как и явные последствия, на которых и основываются, как правило, эти оценки. Так, значительная часть американского населения судит о политической машине как о чем-то «плохом» и «нежелательном». Основания для такого морального суждения довольно разнообразны, но все они сводятся в основном к убежденности в том, что политическая машина нарушает моральный кодекс: политический патронаж нарушает принципы подбора кадров на основе объективной квалификации, а не на основе партийной лояльности или же в зависимости от того вклада, который сделало данное лицо в избирательный фонд партии; боссизм нарушает принцип, согласно которому голосование должно основываться на индивидуальной оценке качеств кандидата и политических платформ, а не на верности вождю; подкуп и,«благодарность» явно нарушают права собственности; «защита» от возмездия за преступления совершенно очевидно нарушает закон и противоречит общественной морали и т. д.

Учитывая все эти стороны политической машины, которые вступают в большее или меньшее противоречие с моралью, а иногда и с законом, мы стоим перед настоятельной необходимостью исследовать, почему она продолжает функционировать. Распространенные «объяснения» устойчивости политической машины оказываются здесь совершенно неуместными. Конечно, вполне может быть, что если бы «респектабельные граждане» оказывались на уровне своих политических обязанностей, если бы избиратели были активными и сознательными, если бы число лиц, занимающихся подготовкой выборов, было существенно уменьшено по сравнению с несколькими дюжинами или сотнями, которые действуют сегодня в ходе подготовки городских, окружных, штатных и федеральных выборов, если бы «богатые и образованные» классы, без участия которых «даже наилучшее правительство неизбежно быстро дегенерирует», как пишет не всегда демократически настроенный Брайс, руководили поведением избирателей, если бы были произведены все эти и множество других аналогичных изменений в политической структуре, то, может быть, «пороки» политической машины и были бы уничтожены[49]. Но необходимо заметить, что изменения этого рода не осуществляются, что политические машины, как фениксы, возрождаются целыми и невредимыми из своего собственного пепла, что, короче говоря, данная структура обнаружила замечательную жизненность во многих областях американской политической жизни.

Поэтому, отправляясь от функциональной точки зрения, согласно которой устойчивые социальные системы и социальные структуры *обычно* (не всегда) выполняют позитивные функции, *которые в настоящее время не могут быть адекватно выполненными с помощью других существующих систем и структур,* мы подходим к следующему предположению: может быть, эта организация, опороченная публично, в *современных условиях* выполняет какие-то жизненные скрытые функции[50]. Краткое рассмотрение современных исследований структур данного типа поможет нам проиллюстрировать некоторые дополнительные стороны функционального анализа.

[49] Saitt E. M. Machine Political // Encyclopedia of the Social Sciences. IX. 658b, 659a; Bentley A. F. . The Process of Government. Chicago, 1908. Chap. 2.

[50] **Croly** H. Progressive Democracy. N. Y., 1914. P. 254.

Некоторые функции политической машины

Не входя в детальное описание различий, отличающих политические машины друг от друга — Твид, Вайр, Крамп, Флинн, Хейг ни в коем случае не могут рассматриваться как одинаковые типы политических боссов,— мы кратко рассмотрим функции, более или

менее общие для политической машины как родового типа социальной организации. Мы не стремимся дать полного перечисления всех различных функций политической машины, равно как мы не утверждаем, что все эти функции одинаково выполняются любой и каждой политической машиной.

Основная структурная функция руководителя (босса) — организовать, централизовать и поддерживать в нужных рабочих условиях «разъединенные элементы власти», которые в настоящее время рассеяны в нашей политической организации. С помощью централизованной организации политической власти босс и его аппарат могут удовлетворять потребности различных подгрупп, которые не могут быть адекватно удовлетворены предусмотренными законом и культурно одобренными социальными структурами.

Чтобы понять роль боссизма и политической машины, необходимо рассмотреть ... два типа социологических переменных: (1) *структурный контекст,* который делает трудными, если не невозможными, для морально одобренных структур выполнение существенных социальных функций и тем самым создает предпосылки для возникновения политических машин (или их структурных эквивалентов), выполняющих эти функции, и (2) подгруппы, чьи специфические потребности удовлетворяются только с помощью латентных функций политической машины.

Структурный контекст. Конституционные рамки американской политической организации преднамеренно исключают легальную возможность создания сильно централизованной политической власти и, как уже отмечалось, «таким образом препятствуют возникновению эффективного и ответственного руководства. Создатели конституции, как отметил Вудро Вильсон, установили сложную систему взаимного контроля и уравновешивания, целью которой является удержание правительства в некотором состоянии механического равновесия с помощью постоянного дружеского соперничества его отдельных составных частей». Они не доверяли власти как опасной для дела свободы и поэтому рассредоточили ее и установили барьеры, препятствующие ее концентрации. Эта дисперсия власти имеет место не только на национальном уровне, но и на местах. «В результате,— как замечает Сэт,— когда люди или отдельные группы людей требуют позитивного действия, никто не имеет достаточной власти, чтобы действовать. Неофициальная политическая машина обеспечивает необходимое противоядие в этом плане»[51].

Конституционное рассредоточение власти не только создает трудности для принятия эффективного решения и начала действия, но и сковывает начавшееся действие различными юридическими соображениями. Вследствие этого возникла «значительно более человеческая система неофициального правления, главной целью которого скоро сделался обман законного правительства. Беззаконность внеофициальной демократии явилась просто противоядием по отношению к легализму официальной демократии. После того как юристу было позволено подчинить демократию закону, оказалось необходимым позвать босса, для того чтобы он выручил жертву, что он и сделал в некоторой степени за соответствующее вознаграждение»[52].

Официально политическая власть является рассредоточенной. Были придуманы различные средства для того, чтобы достичь этой открыто провозглашенной цели. Было осуществлено не только разделение власти между различными правительственными учреждениями, но и срок занятия должности в этих учреждениях до известной степени ограничен, одобрение получила практика смены руководства. Были также строго очерчены прерогативы каждого из этих учреждений. Однако, пишет Сэт языком строгой функциональной теории, «руководство необходимо, и поскольку его нелегко осуществить, оставаясь в конституционных рамках, на сцене появляется босс, обеспечивая это руководство извне в грубой и безответственной форме»[53].

[51] Salt E. M. Op. cit.

[52] Snerwood R. E.Roosevelt and Hopkins. An Intimate History. N. Y., 1948. P. 30.

[53] Sa i t E. M. Op. cit.

Выражая это в более общей форме, *функциональные недостатки официальной структуры породили альтернативную (неофициальную) структуру для выполнения существующих потребностей более эффективным путем.* Каково бы ни было ее специфическое историческое происхождение, политическая машина упорно продолжает существовать как аппарат для удовлетворения неудовлетворяемых иначе потребностей различных групп населения.

Обращаясь теперь к нескольким из этих подргрупп и к их специфическим потребностям, мы тем самым видим некоторую совокупность латентных функций политической машины.

Функции политической машины для различных групп. Хорошо известно, что одним из источников силы политической машины является то, что ее корни уходят в местные общины и сообщества. Политическая машина не рассматривает избирателей как аморфную, недифференцированную массу

голосующих. Проявляя острую социологическую интуицию, машина осознает, что голосующий - это личность, живущая в специфическом районе, со специфическими личными проблемами и личными желаниями. Общественные вопросы являются абстрактными и далекими; личные проблемы — чрезвычайно конкретны и непосредственны. Машина действует не через общие призывы к удовлетворению широких общественных интересов, но через прямые, квазифеодальные отношения между местными представителями машины и избирателями в их районе. Выборы выигрываются на избирательных участках.

Машина устанавливает связи с обычными мужчинами и женщинами путем тщательно разработанной сети личных отношений. Политика превращается в личные связи. Участковый уполномоченный партии «должен быть другом каждому человеку, проявляя наигранную, если не реальную, симпатию к обездоленным и используя в своей благотворительной работе средства, предоставленные в его распоряжение боссом». В нашем, в основном безличном, обществе машина через своих местных агентов выполняет важную социальную функцию гуманизации и персонализации всех видов помощи нуждающимся в ней. Корзинки с провизией и помощь в устройстве на работу, юридический и неюридический советы, улаживание небольших конфликтов с законом, помощь способному, но бедному пареньку в получений партийной стипендии в местном колледже, уход за потерявшими близких родственников— целая гамма нужд, несчастий, в которых пострадавший нуждается fi друге, и особенно в друге, знающем жизнь и могущем помочь кое в чем,— все это может 7 сделать участковый уполномоченный, всегда готовый прийти на помощь попавшим в затруднительное положение.

Чтобы оценить эту функцию политической машины, важно отметить не только то, что эта помощь оказывается, но и то, *какими путями она оказывается.* ХГуществует много официальных агентств для оказания разных видов помощи. Благотворительные общества, муниципальные здания, бесплатная юридическая помощь, медицинская помощь в бесплатных госпиталях, отделы помощи безработным, иммиграционные власти — все эти и множество других организаций могут оказать самые разнообразные виды помощи. Но какой контраст между профессиональными методами сотрудника муниципального отдела благосостояния, который воспринимается обращающимися как холодная бюрократическая машина, оказывающая ограниченную помощь после детального исследования того, каковы у «клиента» *законные* права на получение такой помощи, и неформальными методами участкового уполномоченного, который не задает вопросов, не выясняет законности оказания помощи и не «сует нос» в личные дела[54].

Для многих потеря «самоуважения» — слишком высокая цена за официальную помощь. В полную противоположность муниципальному чиновнику по делам благотворительности, который так часто является представителем иного социального класса, образовательного ценза и этнической группы, участковый уполномоченный является «одним из нас», который понимает, о чем идет речь. Снисходительная щедрая леди едва ли сравнится с все понимающим другом в беде. В этой борьбе между альтернативными структурами за выполнение номинально одной и той же функции обеспечения помощи и поддержки нуждающимся ясно, что представитель политической машины лучше связан с группами, которые он обслуживает, чем безличный, профессиональный, социально отдаленный и связанный законом служащий по обеспечению благосостояния. И так как политический деятель время от времени может влиять на официальные организации по оказанию помощи, в то время как чиновник муниципалитета практически никак не влияет на политическую машину, то это обстоятельство только усиливает эффективность последней. Более простыми и, может быть, также более резкими словами эту существенную функцию политической машины охарактеризовал в беседе с Линкольном Стеффенсом Ломасни, политический лидер одного из районов Бостона: «Я думаю,— сказал он,— что в каждом районе должен быть человек, к которому может прийти любой парень — неважно, что он наделал,— и получить помощь. "*Помогайте, вы понимаете это, плюньте на свои законы и права, помогайте*"[55].

[54] Sherwood R. E. Op. cit.

[55] The Autobiography of Lincoln Steffens. N. Y., 1931. P. 618; Chapin F. S. Contemporary American Institutions. N. Y., 1934. P. 40—54, 570, 572-573.

Таким образом, неимущие классы составляют одну подгруппу, желания которой более адекватно удовлетворяются политической машиной, а не узаконенными социальными структурами.

Для второй подгруппы, подгруппы бизнеса (прежде всего большого, но также и «малого»), политические боссы выполняют функцию по обеспечению этой группы политическими привилегиями, которые несут с собой непосредственные экономические выгоды. Корпорации, среди которых предприятия общественного пользования (железные дороги, городской транспорт, электростанции, предприятия связи) оказываются наиболее показательными в этом отношении, стремятся получить специальную политическую поддержку, которая позволила бы им укрепить их положение и приблизиться к своей цели — получению максимальных прибылей. Интересно, что корпорации часто хотят избежать хаоса неконтролируемой конкуренции. Они желали бы большей надежности, короля в экономике, который контролировал бы, регулировал и организовывал конкуренцию, но такого, который бы не был официальным лицом, подчиненным в своих решениях общественному контролю (последнее было бы «правительственным контролем», а значит табу). Политический босс выполняет эти требования превосходным образом.

Если отвлечься на минуту от моральных соображений, то нельзя не прийти к выводу, что политический аппарат босса построен таким образом, что он может выполнить все эти функции с минимальными издержками. Держа в своих опытных руках нити управления различными правительственными подразделениями, бюро и агентствами, босс рационализирует отношения между широкой публикой и частным предпринимательством. Он является представителем мира бизнеса в других, чуждых (и иногда недружественных) правительственных кругах. Эти его экономические услуги хорошо оплачиваются респектабельными клиентами бизнеса. В статье, названной «Апология взятки», Линкольн "Стеффенс говорит, что «наша экономическая система, которая предоставляет богатство, власть и одобрение людям, оказавшимся достаточно смелыми и способными приобрести нечестным путем лес, шахты, нефтяные поля и привилегии, является порочной»[56]. «Босс и его машина стали составной частью организации экономики,— утверждал Линкольн Стеффенс на конференции руководителей бизнеса в Лос-Анжелесе.— Ни одно предприятие, будь то открытие железной дороги или разработка леса и т. д., не может начать действовать, если его руководитель не будет подкупать или не присоединится к коррупции правительства. По секрету вы не можете не признаться мне, что дело обстоит именно так. И я скажу вам здесь полуофициально, что дело обстоит именно так. И так по всей стране. Это означает,— делает вывод Стеффенс, обращаясь к участникам конференции,— что мы имеем организацию общества, в котором по ряду причин вы и вам подобные, наиболее способные, умные, деятельные руководители общества должны (вынуждены) выступать против общества и его законов»[57].

[56] Ibid.

[57] Ibid.

Так как спрос на особые привилегии заложен в самой структуре этого общества, то босс выполняет различные функции для этой второй подгруппы лиц, ищущих привилегий. Эти «потребности» бизнеса в их настоящей форме не могут быть адекватно удовлетворены обычными и одобренными культурой социальными структурами; отсюда незаконная, но более или менее эффективная организация политической машины стремится предоставить эти услуги нуждающимся. Поэтому занимать *исключительно* моральную позицию по отношению к «продажной политической машине» — значит упускать из виду структурные условия, которые порождают это столь резко критикуемое «зло». Принятие же функционального подхода не означает апологии политической машины, но означает более прочную основу для изменения или уничтожения машины путем создания специфических структурных механизмов с целью устранения этих требований мира бизнеса или для удовлетворения этих требований альтернативными средствами.

Третий ряд характерных функций, выполняемых политической машиной для специальных подгрупп, составляют функции по обеспечению альтернативных каналов социальной мобильности для тех, кому не доступны принятые возможности личного «продвижения». Чтобы постичь источники этой «потребности» (социальной мобильности) и то, как политическая машина помогает удовлетворить эту потребность, следует рассмотреть структуру нашей культуры и общества. Как известно, американская культура всячески подчеркивает значение денег и власти в качестве критерия «успеха», законного для всех членов общества. Деньги и власть, отнюдь не являясь

единственными целями деятельности, задаваемыми нашей культурой, тем не менее остаются наиболее важными ценностями. Однако определенные подгруппы и определенные экологические зоны не имеют благоприятных возможностей для достижения этих показателей успеха (денег и власти). Они образуют, короче говоря, подгруппу населения, «которая усвоила отношение культуры к финансовому успеху как главному успеху и вместе с тем не имеет *доступа к общепринятым и узаконенным средствам* достижения такого успеха». Обычные профессиональные возможности лиц в таких зонах почти полностью ограничиваются сферой ручного труда. При условии того, что наша культура крайне низко оценивает физический труд и, наоборот, подчеркивает престиж административно-чиновничьего труда, становится совершенно ясно, что в результате возникает тенденция к достижению целей, одобряемых культурой, *любыми возможными средствами.* С одной стороны, «от этих людей требуется направлять свое поведение в сторону накопления богатства (и власти) и, с другой стороны, как правило, они лишены эффективных возможностей делать это узаконенными средствами».

Именно в этих условиях социальной структуры политическая машина выполняет существенную функцию обеспечения путей социальной мобильности для лиц, поставленных в неблагоприятное положение. В этом контексте даже продажная политическая машина и «рэкет» «представляют собой триумф аморальной изобретательности над морально предписываемым «поражением», когда каналы вертикальной мобильности закрыты или сужены в обществе, которое уделяет большое внимание экономическому процветанию (власти) и социальному продвижению всех его членов». Как заметил один социолог на основе многолетних наблюдений в районе трущоб, «социолог, который осуждает рэкет и политические организации как отклонения от желательных стандартов поведения, пренебрегает тем самым некоторыми существенными элементами жизни в трущобах...» Он не выявляет функций, которые они выполняют для членов (групп, проживающих в трущобах). Ирландские и более поздние иммигранты сталкивались со значительными трудностями при устройстве в нашей городской, экономической и социальной структуре. Считает ли кто-нибудь, что иммигранты и их дети могли бы достичь современной степени социальной мобильности, если бы они не захватили контроль над политической машиной некоторых наших крупных городов? То же самое справедливо для организации рэкета. *Политика и рэкет оказались* важными средствами социальной мобильности для лиц, которые в силу этнической; принадлежности и низкого социального статуса не могли продвигаться по «респектабельным» каналам[58].

[58] W h y t e W. F. Social Organization in the Slums // ASR. 1943, N 8. P. 34— 39.

Это представляет тогда третий тип функций, выполняемых политической машиной для определенной подгруппы. Эта функция, можно отметить мимоходом, выполняется *самим фактом* существования и действия политической машины, ибо именно в этой машине эти индивидуумы и подгруппы более или менее удовлетворяют потребности, порожденные в них культурой. Мы имеем в виду те услуги, которые политический аппарат оказывает своему персоналу. Но рассматриваемый в более широком контексте, показанном нами, он уже не кажется нам более *простым* средством повышения социального статуса *лиц,* стремящихся к прибыли и власти, но выступает как организационное средство обеспечения подгрупп, которые в противном случае либо вообще оказались бы исключенными из «гонки» за деньгами и властью, либо же поставленными в ней в неблагоприятные условия.

Как политическая машина обслуживает «узаконенный» бизнес, точно так же она выполняет аналогичные функции для «незаконного» бизнеса-порока, преступления и рэкета, и в данном случае фундаментальная социологическая роль машины в этом плане может быть оценена более полно только тогда, когда мы временно отбросим отношение морального негодования и исследуем с полным беспристрастием фактические действия этой организации. При таком подходе мы сразу же обнаруживаем, что подгруппа профессиональных преступников, рэкетиров или игроков имеет существенное сходство с организацией, требованиями и действиями подгрупп промышленников, людей бизнеса или торговцев; как есть короли леса и короли нефти, так есть короли порока и короли рэкета. Если растущее узаконенное предпринимательство организует административные и финансовые синдикаты для того, чтобы «рационализировать» и «объединить» различные области производства и деловой активности, то и растущий рэкет и преступность организуют синдикаты для того, чтобы внести порядок в сферы производства противозаконных благ и услуг, в области, которые в противном случае остались бы хаотичными. Если узаконенный бизнес считает разрастание мелких предприятий расточительным и малоэффективным явлением, заменяя, например, сотни мелких бакалейных лавок гигантскими торговыми кварталами, то и незаконный бизнес усваивает этот деловой подход и синдикализирует преступность и порок.

И наконец, что является во многих отношениях самым главным, существует фундаментальное сходство, если не почти полное тождество, в экономических ролях узаконенного и незаконного бизнеса. *Оба бизнеса имеют в некоторой степени дело с обеспечением товарами и услугами, на которые имеется экономический спрос.* Оставляя в стороне моральные соображения, обе эти деятельности оказываются бизнесом, индустриальными и профессиональными организациями, распространяющими предметы потребления и услуги, нужные некоторым людям, и для которых существует рынок, где эти предметы потребления и услуги превращаются в товары. А в преимущественно рыночном обществе следует ожидать, что всякий раз, как появится рыночный спрос на определенные предметы и услуги, немедленно возникнут соответствующие предприятия.

Как хорошо известно, порок, преступность и рэкет являются «большим бизнесом». Обратите внимание на то, что в США в 1950 году, как предполагалось, было около 500 000 профессиональных проституток, и сравните эту цифру с приблизительно 200 000 врачей и 30 000 медицинских сестер. Весьма трудно решить, у кого была большая клиентура: у женщин и мужчин — представителей медицинской профессии либо у женщин и мужчин — профессиональных представителей порока. Безусловно, было бы трудно оценить активы, доходы, прибыли и дивиденды незаконных игорных предприятий в США и сравнить их с активами, доходами, прибылями и дивидендами, скажем, обувной промышленности, но вполне возможно, что обе индустрии приблизительно равны в этих отношениях. Не существует точных цифр относительно того, какие деньги тратятся ежегодно на незаконное приобретение наркотиков; вероятно, что на них тратится меньше денег, чем на покупки сладостей, но также вполне вероятно, что эта сумма превышает сумму затрат на книги.

Не стоит большого труда, чтобы установить, что со *строго экономической точки зрения* не имеется существенного различия между поставкой узаконенных и незаконных товаров и услуг.

Продажа спиртных напитков великолепно иллюстрирует это положение. Было бы бессмысленно оспаривать то, что до 1920 года (когда в силу вошла 18-я поправка к конституции) продажа спиртных напитков являлась экономической услугой, что с 1920 по 1933 год производство и продажа спиртных напитков перестали быть экономической услугой, осуществляемой в рыночных условиях, и что с 1934 года по настоящее время она снова приобрела вид экономической услуги. Или же было бы абсурдно с *экономической* (не моральной) точки зрения утверждать, что продажа запрещенного спиртного в «сухом» штате Канзас является в меньшей степени ответом на рыночный спрос, чем продажа открыто произведенного спиртного в соседнем «мокром» штате Миссури. Примеры такого рода могут быть увеличены во много раз. Можно ли утверждать, что в европейских странах, где проституция легализована, проститутка оказывает экономическую услугу, в то время как в США, где проституция не санкционирована законом, проститутка не оказывает экономической услуги? Или же что специалист по абортам действует на экономическом рынке, когда он имеет одобренный легальный статус, и находится вне его, если закон запрещает его деятельность? Или же утверждать, что игорные дома удовлетворяют специфический спрос на развлечения в Неваде, где они являются самыми большими , деловыми предприятиями наиболее крупных городов штата, но что они существенно отличаются с точки зрения их экономического статуса от кинотеатров в соседнем штате Калифорния? . Непонимание того, что все эти бизнесы могут отличаться от /[«узаконенных» бизнесов только с *моральной,* а не с *экономической* точки зрения, приводит к весьма путаным выводам. Коль скоро ' признается экономическое тождество этих двух видов бизнеса, мы можем предполагать, что если политическая машина оказывает определенные услуги «узаконенному большому бизнесу», то тем более вероятно, что она будет оказывать подобие же услуги «незаконному большому бизнесу». И, безусловно, так во многих случаях и бывает.

Характерной функцией политической машины для ее клиентов из мира преступности, порока и рэкета является то, что она дает им возможность функционировать при удовлетворении экономического спроса на большом рынке без вмешательства государственных властей. Как большой бизнес, так и большой рэкет и организованный преступный мир могут вносить деньги в партийные избирательные кассы для того, чтобы свести правительственное вмешательство к минимуму. В обоих случаях, в разной степени, политическая машина может обеспечить «защиту». В обоих случаях многие черты структурного контекста являются тождественными: (1) рыночный спрос на предметы потребления и услуги; (2) забота предпринимателей о максимизации прибылей своих предприятий; (3) потребности в частичном контроле за правительственной машиной, которая в противном случае могла бы вмешаться в деятельность бизнесмена, направленную на получение максимальных прибылей; (4) потребности в эффективном, сильном и централизованном агентстве, которое обеспечило бы эффективную связь «бизнеса» с правительственной машиной.

Отнюдь не предполагается, что предшествующее изложение исчерпало все функции

политической машины или же все подгруппы, обслуживаемые ею; мы по крайней мере можем видеть, что *в современных условиях она выполняет некоторые функции для этих разнообразных подгрупп, функции, которые не выполняются адекватным образом структурами, одобряемыми и принятыми в данной культуре.*

Несколько дополнительных выводов из этого анализа политической машины могут быть бегло упомянуты здесь, хотя совершенно очевидно, что они требуют обстоятельной разработки.

Во-первых, предыдущий анализ имеет прямое значение для *социальной инженерии.* Он помогает объяснить, почему периодические попытки «политических реформ», попытки «изгнать негодяев» и «очистить политику», как правило (хотя и необязательно), оказываются такими недолговечными и безрезультатными. Этот анализ подтверждает основную теорему: *любая попытка уничтожить существующую социальную структуру без создания адекватной альтернативной структуры для выполнения функций, ранее выполнявшихся уничтоженной организацией, обречена на провал* (нет нужды говорить, что эта теорема применима к гораздо более широкой сфере, нежели один пример с политической машиной). Когда «политическая реформа» ограничивает свою задачу «изгнанием мошенников», то начинается не что иное, как социологические фокусы. Эта реформа может привести к появлению новых фигур на политических подмостках; она может служить непреднамеренной социальной функцией убеждения избирателей в том, что моральные добродетели останутся незапятнанными и в конечном счете восторжествуют; она может в действительности вызвать изменение персонала политической машины; она даже может на какое-то время настолько урезать деятельность машины, что многие ранее удовлетворявшиеся потребности останутся неудовлетворенными. Но если только реформа не предполагает «реформации» социальной и политической структуры в такой степени, что существующие потребности удовлетворяются альтернативными структурами, или если она не производит таких изменений, которые полностью уничтожают эти потребности, то политическая машина неизбежно возвратится к исходному состоянию в социальном порядке вещей.

Стремиться к социальным изменениям, не учитывая должным образом явных и латентных функций, выполняемых социальной организацией, подлежащей изменению,— это скорее заниматься социальными заклинаниями, чем подлинной социальной инженерией. Понятия о явных и латентных функциях (или об их эквивалентах) являются обязательными моментами в теоретическом багаже социального инженера. В этом фундаментальном смысле данные понятия не просто «теоретичны» (в ругательном значении этого слова), но чрезвычайно практичны. При проведении преднамеренного социального изменения их можно игнорировать только ценой значительно возрастающего риска поражения.

Второй вывод из проведенного анализа политической машины также имеет значение для более широкой сферы в сравнении с рассмотренной нами областью. Часто отмечался тот парадокс, что опору политической машины, составляют как «респектабельные» элементы делового мира, которые, конечно же, противостоят преступникам и рэкетирам, так и совершенно опустившиеся элементы дна. На первый взгляд это обстоятельство приводится как пример весьма странного сожительства. Дипломированный судья нередко произносит приговор тому самому рэкетиру, рядом с которым он сидел прошлым вечером на неформальном ужине политических заправил. Районный прокурор сталкивается с освобожденным преступником по дороге в заднюю комнату, где политический босс проводит собрание. Крупный бизнесмен и крупный рэкетир могут почти с равным основанием жаловаться на «вымогательские» поборы в фонд партии, требуемые боссом. Социальные противоположности сходятся в прокуренной комнате преуспевающего политика.

В свете функционального анализа все это не представляется более парадоксальным. Поскольку машина обслуживает как деловой, так и преступный мир, то обе, на первый взгляд противоположные, группы взаимодействуют.

Анализ политической машины подводит к еще более общей теореме: *социальные функции данной организации помогают определить структуру (включая набор персонала, входящего в эту структуру), точно так же как структура помогает определить эффективность, с которой выполняются данные функции.* С точки зрения социального статуса группа бизнесменов и группа преступников являются, конечно, противоположными полюсами. Но статус не определяет полностью поведение и взаимоотношения между группами. Функции видоизменяют эти отношения. Учитывая их характерные потребности, различные подгруппы в большом обществе являются «объединенными», каковы бы ни были их личные желания или намерения, централизованной структурой, которая обслуживает эти потребности. Иными словами, со многими оговорками, которые требуют дальнейшего анализа: структура влияет на функцию, а функция влияет на структуру.

Заключительные замечания

Обзор некоторых существенных моментов структурного и функционального анализа лишь намечает наиболее важные проблемы и возможности данного способа социологического мышления. Каждый из зафиксированных в парадигме пунктов требует дальнейшего теоретического рассмотрения и накопления опыта в области эмпирических исследований. Но ясно и то, что в функциональной теории освобожденная от сковывающих ее традиционных постулатов, которые превращали ее едва ли в что-либо большее, чем запоздалая рационализация повседневной практики, социология находит одну из основ систематического и важного для эмпирических исследований метода. Есть основания надеяться, что намеченное здесь направление будет стимулировать дальнейшую систематизацию функционального анализа. Со временем каждая часть парадигмы превратится в документированный, проанализированный и систематизированный раздел истории функционального анализа.

Т. Парсонс. СИСТЕМА КООРДИНАТ ДЕЙСТВИЯ И ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ ДЕЙСТВИЯ: КУЛЬТУРА, ЛИЧНОСТЬ И МЕСТО СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ[1]

[1] Публикуемый материал представляет собой первую главу кн.: P a r s o n s T. The Social System. N. Y., 1951. Перевод Г. Беляевой. Впервые опубликован в кн.: Структурно-функциональный анализ в современной социологии. Вып. I. М., 1968. С. 35^38.

Предметом настоящей книги являются изложение и иллюстрация некоторой концептуальной схемы, разработанной для анализа социальных систем с точки зрения специфической системы координат действия. Книга задумана как теоретический труд в строгом смысле этого слова. В ней не будет непосредственного рассмотрения вопросов, связанных с эмпирическими обобщениями как таковыми или с вопросами методологии, хотя и тем и другим в содержании книги будет отведено значительное место. Естественно, что ценность предложенной здесь концептуальной схемы в конечном счете должна быть проверена использованием ее в эмпирическом исследовании. Но тем не менее мы не пытаемся здесь излагать в систематическом виде наши эмпирические знания, что было бы необходимо для работы по общей социологии. В центре данного исследования стоит разработка теоретической схемы. Систематическое рассмотрение ее эмпирического использования будет предпринято отдельно.

Главным отправным пунктом является понятие социальных систем действия. Имеется в виду, что *взаимодействие* индивидов происходит таким образом, что этот процесс взаимодействия можно рассматривать как систему в научном смысле и подвергать ее теоретическому анализу, успешно примененному к различным типам систем в других науках.

Основные положения системы координат действия подробно излагались ранее, и здесь их нужно лишь кратко резюмировать. Эта система координат описывает «ориентацию» одного или многих действующих лиц — в исходном случае биологических организмов — в ситуации, включающей в себя другие действующие лица. Данная схема, описывая таким образом элементы действия и взаимодействия, является схемой *отношений.* При помощи ее анализируются структура и процессы систем, состоящих из отношений таких элементов к их ситуациям, включающим другие элементы. Эта схема касается *внутренней* структуры элементов в той мере, в какой структура затрагивает непосредственно системы отношений.

Ситуация определяется как то, что состоит из объектов; ориентации, т. е. ориентации данного субъекта действия, дифференцируются по отношению к различным объектам и их классам, составляющим его ситуацию. С точки зрения действия удобно классифицировать все объекты как состоящие из трех классов объектов: социальных, физических и культурных. Социальным объектом является /деятель, которым в свою очередь может быть любой другой индивид («другой»), субъект действия, который принимается сам за центр системы («Я»), или некоторый коллектив, который при анализе ориентации рассматривается как нечто единое. Эмпирические сущности, не «взаимодействующие» или не «реагирующие» на «Я», представляют собой физические объекты. Они являются средствами и условиями действия «Я». Культурными объектами являются символические элементы культурной традиции, идеи или убеждения, экспрессивные символы или ценностные стандарты в той степени, в какой они рассматриваются как объекты ситуации со стороны «Я», а не «интериоризо-ваны» как элементы, вошедшие в структуру его личности.

Действие — это некоторый процесс в системе «субъект действия — ситуация», имеющий мотивационное значение для действующего индивида или — в случае

коллектива — для составляющих его индивидов. Это значит, что ориентация соответствующих процессов действия связана с достижением удовлетворения или уклонением от неприятностей со стороны соответствующего субъекта действия, как бы конкретно с точки зрения структуры данной личности это ни выглядело. Лишь поскольку отношение к ситуации со стороны субъекта действия будет носить мотивационный характер в таком понимании, оно будет рассматриваться в данной работе как действие в строгом смысле. Предполагается, что конечный источник энергии или «усилия» в процессах действия проистекает из организма, и в соответствии с этим всякое удовлетворение и неудовлетворение имеют органическую значимость. Но с точки зрения теории действия конкретная организация мотивации не может анализироваться в терминах потребностей организма, хотя корни мотивации находятся именно здесь. Организация элементов действия прежде всего является функцией отношения действующего лица к ситуации, а также истории этого отношения, в этом смысле «опыта».

Фундаментальное свойство действия, определенного таким образом, заключается в том, что оно состоит не только из реакции на частные «стимулы» ситуации. Кроме этого действующее лицо развивает *систему* ожиданий, относящихся к различным объектам ситуации. Эти ожидания могут быть организованы (structured) только относительно его собственных потребностей-установок (need-despositions) и вероятности удовлетворения или неудовлетворения в зависимости от альтернатив действия, которые может осуществить данное действующее лицо. Но в случае взаимодействия с социальными объектами добавляются новые параметры «Я». Часть ожиданий «Я», во многих случаях наиболее значительная часть, сводится к вероятным реакциям «другого» на возможное действие «Я». Эта реакция предусматривается заранее и таким образом влияет на собственные выборы «Я».

Однако и на том и на другом уровне различные элементы ситуации приобретают специальные «значения» для «Я» в качестве «знаков» или «символов», соответствующих организации его системы ожиданий. Знаки и символы, особенно там, где существует социальное взаимодействие, приобретают общее значение и служат средством коммуникации между действующими лицами. Когда возникают символические системы, способные стать посредниками в коммуникации, мы говорим о началах культуры, которая становится частью систем действия соответствующих действующих лиц.

Здесь мы будем рассматривать лишь системы взаимодействия, достигшие культурного уровня. Хотя термин «социальная система» может быть использован в более элементарном смысле, в данной работе этой возможностью можно пренебречь и сосредоточить внимание на системах взаимодействия множества действующих лиц, ориентирующихся на ситуацию там, где система включает общепризнанную систему культурных символов.

Таким образом, сведенная к самым простым понятиям социальная система состоит из множества индивидуальных действующих лиц, взаимодействующих друг с другом в ситуации, которая обладает по меньшей мере физическим аспектом или находится в некоторой среде действующих лиц, мотивации которых определяются тенденцией к «оптимизации удовлетворения», а их отношение к ситуации, включая отношение друг к другу, определяется и опосредуется системой общепринятых символов, являющихся элементами культуры.

Понимаемая таким образом социальная система является всего лишь одним из трех аспектов сложной структуры конкретной системы действия. Два других аспекта представляют собой системы личности отдельных действующих лиц и культурную систему, на основе которой строится их действие. Каждая из этих систем должна рассматриваться как независимая ось организации элементов системы действия в том смысле, что ни одна из них не может быть сведена к другой или к их комбинации. Каждая из систем необходимо предполагает существование других, ибо без личностей и культуры не может быть социальной системы. Но эти взаимозависимость и взаимопроникновение существенным образом отличаются от сводимости, которая означает, что важные свойства и процессы одного класса систем могут быть теор'етически *выведены* из теоретического знания об одной или двух других системах. Система координат действия является общей для всех трех, благодаря чему между ними оказываются возможными определенные трансформации. Но на принятом здесь теоретическом уровне эти системы не могут быть объединены в одну, хотя это может быть допустимо на каком-то другом теоретическом уровне.

Можно прийти к тому же, утверждая, что на современном уровне теоретической систематизации наше динамическое знание о процессах действия весьма фрагментарно. Поэтому мы вынуждены пользоваться типами эмпирической системы, описательно представленными в понятиях системы координат в качестве необходимой точки отсчета. В соответствии с этой позицией мы понимаем динамические процессы, рассматривая их как «механизмы», влияющие на «функционирование» системы. Описательное представление эмпирической системы должно быть осуществлено под углом зрения

«структурных» категорий, которым соответствуют определенные мотивационные образования, необходимые для того, чтобы создать пригодное знание о механизмах.

Прежде чем приступить к дальнейшему обсуждению широких методологических проблем анализа систем действия, особенно социальной системы, было бы целесообразно остановиться несколько подробнее на элементарных компонентах действия вообще. В самом общем смысле система потребностей-установок индивидуального действующего лица, по-видимому, состоит из двух первичных, или элементарных, аспектов, которые можно назвать аспектом «удовлетворения» и аспектом «ориентации». Первый из них относится к содержанию взаимообмена действующего лица с миром объектов, к тому, что он получает из этого взаимодействия, и к тому, что это «стоит» для него. Второй аспект относится к тому, каково его отношение к миру объектов, к типам или способам, с помощью которых организуется его отношение к этому миру.

Выделяя аспект отношения, мы можем рассмотреть первый аспект как «катектическую» ориентацию, которая придает значимость отношению «Я» к рассматриваемому объекту или объектам при поддержании баланса удовлетворения — неудовлетворения его личности. С другой стороны, наиболее элементарной и фундаментальной категорией «ориентации», по-видимому, является когнитивность, которая в самом широком смысле может трактоваться как определение соответствующих аспектов ситуации в их отношении к интересам действующего лица. Это — когнитивный аспект ориентации, или познавательное схематизирование, по Толмену. Оба эти аспекта должны быть представлены в чем-то, что может рассматриваться как единица системы действия, как элементарное действие (unit act).

Но действия не бывают единичными и дискретными, они организованы в системы. Этот момент даже на самом элементарном системном уровне заставляет рассматривать компонент «системной интеграции». С точки зрения системы координат действия эта интеграция является упорядочением возможностей ориентации при помощи отбора. Потребности удовлетворения направлены на альтернативные объекты, имеющиеся в ситуации. Познавательное схематизирование сталкивается с альтернативой суждения или интерпретации относительно того, чем объект является или что он значит. По отношению к этим альтернативам должен существовать определенный порядок выбора. Этот процесс может быть назван оцениванием. Следовательно, существует оценочный аспект в любой конкретной ориентации действия. Самые элементарные компоненты любой системы действия могут быть сведены к действующему лицу и его ситуации. Что касается действующего лица, то наши интересы будут сосредоточены на когнитивном, катектическом и оценочном видах ориентации; в ситуации будут выделены объекты и их классы.

Элементы действия на самом широком уровне распространяются по категориям трех основных видов мотивационной ориентации. Все три вида подразумеваются в структуре того, что названо ожиданием. Кроме катектических интересов, когнитивного определения ситуации и оценочного отбора, в ожидание входит временной аспект ориентации относительно будущего развития системы «действующее лицо — ситуация» и памяти о прошлых действиях. Ориентация в ситуации обладает некоторой структурой, т. е. она соотнесена со своими стандартами развития. Действующее лицо делает «вклад» в определенные возможности развития. Для него важно, как они осуществляются, поскольку одни возможности должны быть реализованы скорее, чем другие.

Эта временная характеристика отношения действующего лица к развитию ситуации может быть расположена на оси активность — пассивность. На одном полюсе действующее лицо может просто «ожидать развития» и не предпринимать никаких активных действий относительно него. В другом случае оно может активно пытаться контролировать ситуацию в соответствии со своими желаниями или интересами. Будущее состояние системы «действующее лицо — ситуация», в которой действующее лицо занимает пассивную позицию, можно назвать предвосхищением. То же состояние системы в случае активного вмешательства (включая сюда предотвращение нежелательных событий) может быть названо целью. Целенаправленность действия, как мы увидим, в частности, при обсуждении нормативной ориентации, является основным свойством всех систем действия. Однако с аналитической точки зрения эта целенаправленность кажется стоящей на более низком уровне по сравнению с понятием ориентации. Оба типа должны быть четко отделены от понятия «стимул — реакция», поскольку в нем нет явной ориентации на будущее развитие ситуации. Стимулы можно рассматривать как непосредственно данные, не занимаясь теоретическим анализом.

Основное понятие «интрументального» аспекта действия может употребляться только в случаях, когда действие позитивно целенаправлено. В этом понятии формулируются соображения относительно ситуации и отношения к ней действующего лица, открытые перед ним альтернативы и их возможные последствия, которые имеют значение для достижения цели.

Коротко остановимся на исходной структуре «удовлетворение потребностей».

Конечно, общая теория действия в конце концов должна прийти к решению вопроса о единстве или качественной множественности исходных генетически данных потребностей, их классификации и организации. В частности, в работе, касающейся социальной системы на уровне теории действия, в высшей степени целесообразно тщательно рассмотреть принцип экономии в таких противоречивых сферах. Необходимо допустить, однако, крайнюю поляризацию той структуры потребностей, которая объединяется в понятии баланса удовлетворения — неудовлетворения и которая имеет свои производные в антитезе притяжение — отталкивание. Помимо сказанного выше и определенных общих положений об отношениях между удовлетворением потребностей и другими аспектами действия нет необходимости, по-видимому, переходить к весьма общим понятиям.

Основная причина этого состоит в том, что в своей значимой для социологии форме мотивации выступают перед нами как организованные на уровне личности, т. е. мы имеем дело с более конкретными структурами, понимаемыми как продукты взаимодействия генетически данных компонентов-потребностей с социальным опытом. Именно единообразие на этом уровне и является эмпирически значимым для социологических проблем. Для того чтобы пользоваться знанием об этом единообразии, вовсе не обязательно вскрывать генетические и опытные компоненты. Главное исключение здесь возникает в связи с проблемами пределов социальной вариабельности в структуре социальных систем, которые могут быть заданы биологической организацией соответствующей популяции. Конечно, при возникновении подобных проблем необходимо мобилизовать весь наличный материал, чтобы сформулировать суждение относительно более специфических потребностей удовлетворения.

Проблема, связанная с этим, относится не только к потребностям удовлетворения, но и к способностям. Любой эмпирический анализ действия предполагает биологически заданные способности. Нам известно, что между индивидами они распределены в высшей степени дифференцированно. Но с точки зрения самых общих теоретических целей здесь может быть применен тот же принцип экономии. Обоснованность данной процедуры подтверждена знанием того, что индивидуальные различия, вероятно, более важны, чем различия между большими популяциями, а потому маловероятно, чтобы наиболее важные различия крупных социальных систем обусловливались прежде всего биологическими различиями в способностях населения. Для большинства социологических задач влияние генов и жизненного опыта можно учесть, не выделяя их в виде самостоятельных факторов.

Было отмечено, что самая элементарная ориентация действия у животных предполагает наличие знаков, являющихся по крайней мере началом символизации. Это внутренне присуще понятию ожидания, включающему определенное «отвлечение» от частностей непосредственно существующей стимулирующей ситуации. Без знаков весь ориентационный аспект действия был бы бессмысленным, включая понятие «селекция» и лежащие в его основе «альтернативы». На уровне человека сделан определенный шаг от знаковой ориентации к подлинной символизации. Это — необходимое условие для возникновения культуры.

В основной схеме действия символизация включена как в когнитивную ориентацию, так и в понятие оценивания. Дальнейшая разработка роли и структуры систем символов и действия связана с рассмотрением дифференциации, обусловленной различными аспектами системы действия и аспектом признания и его отношением к коммуникации и культуре. Прежде всего нужно иметь в виду последнее.

Как бы ни были важны неврологические предпосылки, по-видимому, невозможно, чтобы истинная символизация, в отличие от использования знаков, могла возникнуть и функционировать без взаимодействия действующих лиц и чтобы отдельное действующее лицо могло усваивать символические системы только посредством взаимодействия с социальными объектами. По меньшей мере симптоматично, что этот факт хорошо увязывается с элементом «двойного совпадения» в процессе взаимодействия. В классических ситуациях, когда животное обучается, оно имеет альтернативы для выбора и развертывает ожидания, которые могут стать «спусковым крючком» посредством знаков или «ключей». Но знак — часть ситуации, которая является стабильной независимо от того, что делает животное; единственная «проблема», стоящая перед ним, сводится к умению правильно интерпретировать эту ситуацию... Но в социальном взаимодействии возможные реакции «другого» могут приобретать значительный размах, выбор внутри которого зависит от действия «Я»-Итак, для того чтобы процесс взаимодействия оформился структурно, смысл знака должен быть еще больше абстрагирован от частностей ситуации. Это значит, что смысл знаков должен остаться постоянным для весьма широкой совокупности обстоятельств, которая охватывает область альтернатив не только действия «Я», но и «другого», а также возможные перемены и комбинации отношений между ними.

Какими бы ни были происхождение и процессы развития символических систем, совершенно ясно, что удивительная сложность систем человеческой деятельности невозможна без относительно стабильных символическим систем, значение которых в

основном не связано с частными ситуациями. Самым важным следствием из этого обобщения является возможность коммуникации, поскольку ситуации двух действующих лиц *никогда* не бывают идентичными и без способности к абстрагированию значений от отдельных частных ситуаций коммуникация была бы невозможной. Но в свою очередь стабилизация , символических систем, распространяющаяся на всех индивидов в течение всего времени, вероятно, не могла бы поддерживаться, если бы она не функционировала в процессе коммуникации во взаимодействии множества действующих лиц. Именно такая общепринятая символическая система, которая функционирует во взаимодействии, и будет называться здесь *культурной традицией.*

Между этим аспектом и нормативной ориентацией действия существует глубокая связь. Символическая система знаний является элементом порядка, как бы налагающегося на реальную ситуацию. Даже самая элементарная коммуникация невозможна без некоторой степени согласия с «условностями» символической системы. Говоря несколько иначе, взаимная зависимость ожиданий ориентируется на общепринятый *порядок* символических значений. Поскольку удовлетворение «Я» зависит от реакции «другого», то условный стандарт начинает устанавливаться в зависимости от тех условий, которые будут или не будут вызывать реакцию удовлетворения, и отношение между этими условиями и реакциями становится частью значимой системы ориентации «Я» на ситуацию. Поэтому ориентация на нормативный порядок и взаимная блокировка ожиданий и санкций — что является основным для нашего анализа социальных систем — коренятся в глубочайших основах системы координат действия.

Это основное отношение является общим для всех типов и видов ориентации взаимодействия. Но тем не менее важно выработать определенные различия с точки зрения относительной важности трех очерченных выше модальных элементов: катектического, когнитивного и оценочного. Элемент общепринятой символической системы в качестве некоторого критерия или стандарта для выбора из имеющихся альтернатив ориентации может быть назван ценностью.

В каком-то смысле мотивация — это ориентация относительно улучшения баланса удовлетворения — неудовлетворения действующего лица. Но поскольку действие не может быть понято без когнитивного и оценочного компонентов, присущих его ориентации с точки зрения системы координат действия, постольку понятие мотивации будет употребляться здесь как включающее все три аспекта, а не только катектический. Но имея в виду роль символических систем, необходимо от этого аспекта мотиваци-онной ориентации отличать аспект ценностной ориентации. Этот аспект касается не значения предполагаемого состояния дел для действующего лица с точки зрения баланса удовлетворения — неудовлетворения, а содержания самих стандартов выбора.

В этом смысле понятие ценностной ориентации является логическим средством для формулировки одного из центральных аспектов выражения культурной традиции в системе действий.

Из определения нормативной ориентации и роли ценностей в действии следует, что все ценности включают то, что может быть названо социальным значением. Поскольку ценности являются скорее культурными, а не личностными характеристиками, постольку они оказываются общепринятыми. Даже если они у индивида идиосинкразичны, то все же благодаря своему происхождению они определяются в связи с принятой культурной традицией; их своеобразие состоит в специфических отклонениях от общей традиции.

Однако ценностные стандарты могут быть определены не только по своему социальному значению, но и с точки зрения их функциональных связей с действием индивида. Все ценностные стандарты, рассматриваемые в связи с мотивацией, имеют оценочный характер. Но все же в своем *первичном* значении стандарты могут быть связаны с когнитивным определением ситуации, с катектическим «выражением» или с интеграцией системы действия как некоторой системы или ее части. Следовательно, ценностная ориентация может быть в свою очередь расчленена на три вида: *когнитивные, оценочные (appreciative)* и *моральные* стандарты ценностной ориентации.

Теперь несколько слов для объяснения этой терминологии. Как уже отмечалось, данная классификация связана с видами мотивационной ориентации. Познавательный аспект ориентации не вызывает больших трудностей. С точки зрения мотивации дело в познавательном интересе к ситуации и ее объектам, в мотивации познавательного определения ситуации. С другой стороны, позиции ценностной ориентации касаются стандартов, при помощи которых определяется обоснованность когнитивных суждений. Некоторые из них, подобно самым элементарным законам логики или правилам наблюдения, могут являться культурными универсалиями, в то время как другие элементы подвержены изменениям в культуре. В любом случае это составляет суть избирательного оценивания стандартов предпочтения среди альтернативных решений

проблем познания или альтернативных интерпретаций явлений и объектов.

Нормативный объект когнитивной ориентации считается очевидным. С катектической ориентацией вопрос обстоит сложнее. Дело в том, что отношение к объекту может приносить или не приносить удовлетворение действующему лицу. Не следует забывать того, что удовлетворение является всего лишь частью системы действий, в которой действующие лица ориентированы нормативно. Не подлежит сомнению, что этот аспект должен рассматриваться вне связи с нормативными стандартами оценки. Это всегда связано с вопросом правильности и уместности ориентации в данном отношении в связи с выбором объекта и установки относительно него. Поэтому сюда всегда включаются
стандарты, посредством которых могут быть осуществлены выборы из возможностей, имеющих катектическое значение.

Наконец, оценочный аспект мотивационной ориентации также имеет соответствие в ценностной ориентации. Оценивание касается проблемы интеграции элементов системы действия, суть которой выражена в проблеме: «Нельзя съесть пирог и сохранить его». И когнитивный и оценивающий ценностные стандарты имеют к этому прямое отношение. Но любое действие имеет как когнитивный, так и катектический аспект. Следовательно, первичность когнитивных интересов еще не снимает проблему интеграции конкретного действия с точки зрения катектических интересов и наоборот. Поэтому в системе действия центр тяжести должен быть сосредоточен на оценочных стандартах, которые не являются ни когнитивными, ни катектическими, а представляют собой их синтез. По-видимому, их удобнее всего назвать моральными стандартами. В некотором смысле они устанавливают стандарты, с точки зрения которых рассматриваются более частные оценки.

Из общего характера систем действия с очевидностью следует, что моральные стандарты в принятом здесь смысле несут большое социальное содержание. Это объясняется тем, что любая система действия при конкретном рассмотрении является в каком-то аспекте социальной системой, хотя для определенных целей проблема личности остается весьма важной. Моральное содержание не сводится целиком к социальному, хотя без социального аспекта невозможно представить себе конкретную систему действий, интегрированную во всех отношениях. В частности, с точки зрения любого действующего лица определение типов взаимных прав и обязанностей, а также стандартов, определяющих его взаимодействие с другими, является решающим аспектом общей ориентации этого действующего лица в ситуации. Благодаря этому специфическому отношению к социальной системе моральные стандарты становятся таким аспектом ценностной ориентации, который с точки зрения социологии приобретает величайшую важность. В последующих главах дается обсуждение этого вопроса.

Несмотря на существование прямой параллели между классификациями типов ценностей и мотивационной ориентации, очень важно подчеркнуть, что эти два исходных аспекта или компонента системы действия логически независимы в том смысле, что содержание этих классификаций может независимо изменяться. Из данного «психологического» катектического значения объекта нельзя вывести специфических оценочных стандартов, в соответствии с которыми происходит оценка объекта, и наоборот. Классификация видов мотивационной ориентации составляет основу для анализа проблем, которые связаны с интересом действующего лица. С другой стороны, ценностная ориентация представляет стандартную основу того, что обеспечивает удовлетворительные решения этих проблем. Ясное осознание независимой изменяемости этих типов или уровней ориентации чрезвычайно важно для построения удовлетворительной теории в области культуры и личности. Можно сказать, что недостаточное понимание этого момента приводит ко многим трудностям в этой области; в частности, именно этим объясняется постоянное колебание многих общественных наук между «психологическим» и «культурным» детерминизмом. Действительно, можно сказать, что эта независимая изменяемость является логическим основанием для самостоятельного значения теории социальной системы в отличие от теории личности, с одной стороны, и теории культуры — с другой.

Вероятно, это положение лучше всего рассмотреть на проблеме культуры. В антропологической теории не существует единодушия в определении понятия культуры. Но здесь можно выделить три основных момента этого определения: во-первых, культура *передается,* она составляет наследство или социальную традицию; во-вторых, это то, чему *обучаются,* культура не является проявлением генетической природы человека; и в-третьих, она является общепринятой. Таким образом, культура, с одной стороны, является продуктом, а с другой стороны — детерми-нантой систем человеческого социального взаимодействия.

Первый пункт определения — передаваемость — служит наиболее важным критерием для различения культуры и социальной системы, поскольку культура может распространяться из одной социальной системы в другую. По отношению к частной социальной системе она является «стандартным» элементом, аналитически и эмпирически

абстрагируемым от этой социальной системы. Существует чрезвычайно важная взаимозависимость между культурными стандартами и другими элементами социальной системы, но эти элементы не интегрируются полностью ни с культурой, ни друг с другом.

Такой подход к проблеме культуры открывает широкие возможности для рассмотрения этих проблем. Символическая система обладает своими собственными видами интеграции, которые можно назвать стандартами устойчивости. Наиболее общий пример—логическая устойчивость когнитивной системы, но стили в искусстве и системы ценностной ориентации подлежат аналогичным стандартам интеграции. Примерами таких символических систем могут служить философские трактаты или произведения искусства.

Но в качестве интегрирующей части конкретной системы социального взаимодействия подобная норма интеграции культурной системы через стандарты устойчивости реализуется только приблизительно. Это происходит из-за напряжений, возникающих из условий взаимозависимости с ситуационными и мотивационны-ми элементами конкретного действия. К этой проблеме можно подойти, рассматривая процесс «обучения» культурным стандартам.

Это наиболее общее понятие в антропологической литературе, по-видимому, связано по своему происхождению с моделью усвоения интеллектуального содержания. Но далее оно было распространено на обозначение процессов, благодаря которым достигается интеграция элементов культуры в конкретном действии индивида. Под этим углом зрения следует рассматривать обучение языку и решению математических задач с помощью дифференциального исчисления. Таким же образом происходит и усвоение норм поведения и ценностей искусства. Следовательно, обучение в этом широком смысле означает включение стандартных элементов культуры в систему действия отдельного индивида.

При анализе способности к обучению возникает проблема: как система личности может осваивать элементы культуры? Один аспект этой проблемы состоит в условиях совместимости данного элемента культуры с другими ее элементами, которые могут быть или уже освоены индивидом. Но кроме этого существуют и другие аспекты. Каждое действующее лицо — биологический организм, действующий в некоторой среде. Как генетическая природа организма, так и среда, выходящая за рамки культуры, накладывают на это усвоение определенные ограничения, хотя эти ограничения очень трудно вычленить. И наконец, каждое действующее лицо ограничено пределами взаимодействия в социальной системе. Последнее соображение особенно важно при рассмотрении проблем культуры, поскольку оно затрагивает аспект общепринятой культурной традиции. Такая традиция должна быть «порождена» одной или несколькими социальными системами, и эту традицию можно признать функционирующей лишь тогда, когда она становится частью действительной системы действия.

С точки зрения теории действия эта проблема может быть выражена так: каким образом вполне устойчивая культурная система может быть связана с характеристиками как личности, так и социальной системы, чтобы обеспечивалось полное «соответствие» между стандартами культурной системы и мотивацией отдельных действующих лиц данной системы? Можно утверждать без дополнительного доказательства, что такой крайний случай не совместим с основными функциональными требованиями как личностей, так и социальных систем. Интеграция целостной системы действия, какой бы частичной и несовершенной она ни была, является своего рода «компромиссом» между стремлениями к устойчивости ее личных, социальных и культурных компонентов таким образом, что ни один из них не достигает совершенной интеграции. Проблема отношения культуры и социальной системы будет обсуждаться ниже. Самое главное здесь состоит в том, что «обучение» системе культурных стандартов действующего лица и ее существование не могут быть поняты без анализа мотивации в конкретных ситуациях не только на уровне теории личности, но и на уровне механизмов социальной системы.

Существует определенный элемент логической симметрии в отношениях социальной системы к культуре, с одной стороны, социальных систем обеспечивает разработку такой концептуальной схемы, благодаря которой будет найдено место исследуемой частной социальной системы в том обществе, частью которого она является. Тем самым почти исключается возможность, что исследователь упустит существенные черты общества, которое выходит за пределы данной частной социальной системы и предопределяет её свойства. Не стоит говорить о том, насколько важно определить ту систему, которая является объектом социологического анализа, составляет ли она общество, а если нет, то какое место в обществе занимает данная частная социальная система, являющаяся его частью.

Несколько раз уже отмечалось, что мы не готовы разрабатывать законченную динамическую теорию в области действия и что поэтому систематизация теории при современном уровне знания должна быть осуществлена в структурно-функциональных

терминах. Было бы целесообразно кратко осветить значение и следствия этого положения, прежде чем приступить к его анализу по существу.

Можно принять без доказательства, что вся научная теория касается анализа единообразных элементов в эмпирических процессах. Это обычно считают динамической точкой зрения в теории. Проблема состоит в том, чтобы установить, насколько состояние теории развилось, чтобы позволить осуществлять дедуктивные переходы от одного аспекта или состояния системы к другому так, чтобы возможно было сказать, что если в секторе *A* имеются факты *W* и *X,* то в секторе *B* должны быть факты *Y* и *Z*. В некоторых частях физики и химии можно широко распространить эмпирическую зону действия такой дедуктивной системы. Но в науках о действии динамическое знание такого характера в значительной степени фрагментарно, хотя и нельзя говорить о его полном отсутствии.

В такой ситуации существует опасность утратить все преимущества систематической теории. Но оказывается возможным сохранить некоторые из этих преимуществ и в то же время обеспечить основу для упорядоченного роста динамического знания. Это и есть тот лучший тип теории, который представлен и использован на структурно-функциональном уровне теоретической систематизации.

Прежде всего следует преодолеть узкий эмпиризм путем описания явлений как частей или процессов внутри систематически представленных эмпирических систем. Используемые здесь дескриптивные категории не являются ни случайно избранными, ни построенными на основании здравого смысла. Они составляют тщательно разработанную связную систему понятий, которую можно применять ко всем соответствующим частям или аспектам любой конкретной системы. Это позволит сравнивать и переходить от одной части и (или) состояния системы к другой части и от системы к системе. Огромное значение при этом имеет то, что этот ряд дескриптивных категорий должен быть таким, чтобы динамические обобщения, объясняющие процессы, являлись непосредственной частью теоретической системы. Это как раз и есть то, что осуществляется благодаря мотивационному аспекту системы координат действия. Представление процессов социальной системы как процессов действия в вышеуказанном специфическом смысле делает возможным обращение к существующим теориям мотивации, развитым в современной психологии, и тем самым доступ к огромному резерву знаний.

Особенно важным аспектом нашей системы категорий является структурный аспект. Мы не в состоянии «схватить» закономерности динамического процесса в социальной системе целиком и полностью. Но для того чтобы осуществить это, мы должны получить картину той системы, которой они соответствуют, и там, где имеются изменения, мы должны проследить все промежуточные стадии. Система структурных категорий является такой концептуальной схемой, которая обеспечивает упорядочение динамического анализа. С расширением динамического знания исчезает *независимая* объясняющая значимость структурных категорий. Но кардинальная важность их научной функции тем не менее не уменьшается.

Поэтому прежде всего в данной работе необходимо выработать категории структуры социальных систем, видов структурной дифференциации внутри таких систем и степеней вариабельности каждой структурной категории в разных системах. Из-за фрагментарного характера нашего динамического знания тщательное и систематическое внимание к этим проблемам в высшей степени необходимо для социологии. Но в то же время должно быть совершенно ясно, что такой морфологический интерес сам по себе не является целью, но его продукты составляют незаменимые инструменты для решения других задач.

Если у нас есть достаточно обобщенная система категорий для систематического описания и сравнения структуры систем, то тем самым мы имеем порядок, при помощи которого становится возможным мобилизовать наше динамическое знание о мотивационных процессах с максимальной эффективностью. Но в связи с проблемами, которые являются содержательными с точки зрения социальной системы, знание, которым мы обладаем, является по своим аналитическим достоинствам фрагментарным, очень неровным и неадекватным. Самым эффективным способом организации этого знания для наших целей является приведение его в связь со схемой категорий, описывающих социальную систему. Именно здесь вступает в силу столь много обсуждавшееся понятие функции. Конечно, динамический процесс в социальной системе мы должны «расположить» структурно. Но помимо этого мы должны проверить значение соответствующих обобщений. Эта проверка значимости принимает форму функциональных аспектов процесса. Проверка состоит в том, чтобы ответить на вопрос, какими будут для системы последствия двух или более альтернативных результатов динамического процесса. Такие последствия будут выражены в понятиях поддержания стабильности или изменения, интеграции или разрушения системы в некотором смысле.

Определение места мотивационных процессов в этом контексте функциональной значимости для системы обеспечивает основу для формулировки введенного выше понятия механизма. Мотиваци-онная динамика в социологической теории в первом случае

должна выступать в форме указания механизмов, которые «отвечают» за функционирование социальных систем, за поддержание или разрушение данных структурных типов, для типичного процесса перехода от одного структурного типа к другому.

Такие механизмы всегда представляют собой механическое обобщение относительно действия мотивационных сил в данных условиях. Однако аналитическая основа таких обобщений может быть крайне изменчивой. Иногда мы только эмпирически знаем, что это происходит таким-то образом, в других случаях могут быть более глубокие основания для обобщения, как, например, приложение установленных законов обучения или действия защитных механизмов на уровне личности.

Выражение мотивационных проблем через понятие механизма необходимо для того, чтобы установить, в какой мере наше знание мотивов является *существенным* для понимания функционирования социальной ситемы, ибо для научной плодотворности некоторого обобщения это определение существенности столь же важно, как и правильность самого этого обобщения.

Т. Парсонс. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ[1]

[1] Social Change /Ed. by A. Etzioni. N.Y., 1966. Перевод Г. Беляевой и Л. Седова. Впервые опубликован в кн.: Структурно-функциональный анализ п современной социологии. Вып. 2. М., 1969. С. 138—162.

Данный предмет был бы слишком широк для обсуждения в небольшой статье, если бы я не ограничился самым высоким уровнем обобщения. Поэтому мне хотелось бы остановиться в основном на главном типе изменения в социальной системе, который больше всего похож на процесс роста организма. Здесь обычно рассматривают не только элемент количественного роста «масштабности» системы, примером чего в области социального может служить рост населения, но также и то, что важно для качественного, или структурного, изменения. Я хотел бы остановиться на одном из видов изменения второго типа, а именно на процессе структурной дифференциации и сопутствующего ему развития стандартов и механизмов, интегрирующих дифференцировавшиеся части.

Один из важных канонов науки состоит в том, что невозможно исследовать все сразу. Поскольку основа обобщения в науке состоит в демонстрации связности процесса изменения, то всегда будет существовать различие между теми чертами наблюдаемых явлений, которые изменяются, и теми, которые не изменяются при соответствующих пространственно-временных ограничениях. Если нет *соответствующего* критерия неизменности, с которым можно соотнести изменяющееся, то нельзя определить и специфические черты изменения.

Понятие структуры является для меня сокращенным выражением этого основного положения. Структура системы является тем рядом свойств компонентов и их отношений или комбинаций, который для частных аналитических целей логически и эмпирически может трактоваться как константный. Однако если существует веское эмпирическое подтверждение того, что такие постоянные элементы системы одного типа полезны для понимания изменения элементов другого типа, то такая структура оказывается непроизвольным методологическим допущением, а положения о ней и границах ее эмпирической стабильности становятся эмпирическими обобщениями, значимость которых зависит от степени их динамичности.

Поэтому любую систему, с одной стороны, можно представить как структуру, т.е. ряд единиц или компонентов со стабильными свойствами (которые, конечно, могут быть и отношенческими), а с другой стороны, как события, процессы, в ходе которых «нечто происходит», изменяя некоторые свойства и отношения между единицами.

Данное понятие стабильности используется здесь в качестве определяющей характеристики структуры. В этом смысле надо отличать этот термин от термина «структура», которым характеризуется система как целое или некоторая подсистема такой системы. В принятом здесь понимании термин «стабильность» эквивалентен более специфическому понятию стабильного равновесия, которое в другом отнесении может быть как статичным, так и подвижным.'Система стабильна или находится в относительном равновесии, если отношение между ее структурой и процессами, протекающими внутри нее, и между ней и окружением таково, что свойства и отношения; названные нами структурой, оказываются неизменными. Вообще говоря, в динамических системах такое поддержание равновесия всегда зависит от постоянно меняющихся процессов, «нейтрализующих» как экзогенные, так и эндогенные изменения, которые, если они зашли слишком далеко, могут привести к изменению структуры. Классическим примером равновесия в этом смысле является поддержание температуры тела, близкой к постоянной,

млекопитающими и птицами...

Процессами, противоположными стабильным и равновесным, являются те, которые вызывают структурное изменение. Такие процессы существуют, и именно они больше всего интересуют нас сейчас. Так, даже в физике, где масса атома отдельного элемента служит прототипом стабильной структурной точки отсчета, последние открытия приводят к признанию принципа изменения, согласно которому одни структуры «атомной идентичности» посредством расщепления и синтеза преобразовываются в другие. Причина, по которой важно помнить об аналитическом различении понятий структуры и процесса, стабильности и изменяемости, состоит не в предпочтении одного предмета в паре другому, а в требованиях упорядоченной процедуры научного анализа.

Мне представляется, что различие между этими двумя парами понятий является различием в уровнях системного отнесения. Структуру системы и ее окружения следует отличать от процессов *внутри* системы и процессов *взаимообмена* между системой и ее окружением. Существуют процессы, которые поддерживают стабильность системы— как через внутренние структуры и механизмы, так и через взаимообмен с ее окружением/Такие процессы, поддерживающие состояние равновесия системы, следует отличать от иных процессов, которые изменяют указанный баланс между структурой и более «элементарными» процессами таким образом, что приводят к новому ... состоянию системы, состоянию, которое должно описываться в терминах, фиксирующих изменение первоначальной структуры. Конечно, это различение относительно, но эта относительность носит существенный и упорядочивающий характер. Этим я хочу сказать, что для любого достаточно развитого уровня теоретического анализа существуют по крайней мере две систематически связанные перспективы, в которых можно рассматривать проблему непрерывных изменений.

Эти соображения составляют основу подхода, при помощи которого я хотел бы проанализировать изменения в социальных системах. Мне хотелось бы попытаться обсудить тот тип изменения, который только что противопоставлялся стабильности. Поэтому будет сделано предположение, что существуют системы или ряд систем,' для которых понятие равновесия вполне релевантно, но которые рассматриваются как претерпевающие процесс изменения, сначала нарушающий внутреннее равновесие, а затем приводящий систему через это состояние к новому равновесному состоянию...

Начнем с вопроса о структуре социальных систем и введем как формальный, так и содержательный уровни рассмотрения. Формальный уровень состоит в том, что любая эмпирическая система может рассматриваться как состоящая из: 1) *единиц,* таких, как частица или клетка, и 2) из *стандартизованных отношений* между этими единицами, таких, как относительное расстояние, «организация» в ткани и органы. В социальной системе минимальной единицей является *роль* участвующего индивидуального деятеля (или, если угодно, статус-роль), а минимальное отношение представляет собой стандартизованное взаимодействие, когда каждый участник функционирует как деятель, в той или иной мере ориентируясь на других, и наоборот, каждый является объектом для всех остальных. "Единицами социальных систем более высокого порядка являются коллективы, т.е. организованные системы действия, характеризующиеся исполнением ролей множеством человеческих индивидов. Может быть, было бы удобнее говорить об этих единицах как о единицах *ориентации,* когда речь идет о деятелях, и о единицах *модальности,* когда рассматриваются объекты.[1]

В социальной структуре элемент стандартизованного отношения частично является нормативным. Это означает, что с точки зрения единицы это отношение включает в себя ряд ожиданий относительно поведения этой единицы по оси приемлемое— неприемлемое, правильное—неправильное. С позиций других единиц, с которыми эта единица отнесения находится во взаимодействии, это оказывается рядом стандартов, в соответствии с которыми могут узакониваться позитивные или негативные санкции. В связи с различением роли и коллектива на уровне единиц устанавливается различение между нормой и ценностью на уровне отношенческого стандарта. Ценность — нормативный стандарт, который определяет желаемое поведение системы относительно ее окружения без дифференциации функций единиц или их частных ситуаций. Норма в свою очередь является стандартом, определяющим желаемое поведение для единицы или класса единиц в специфических для них контекстах, дифференцированных от контекстов, связанных с другими классами единиц.

Положение о том, что отношенческие стандарты являются нормативными, означает, что они состоят из институционализированной нормативной культуры. То же распространено и на сами единицы. Это станет ясно, если показать, что единица на одном уровне отнесения становится системой на другом уровне. Поэтому то, что мы называем структурными свойствами единиц на одном уровне, на следующем становится отношенческими стандартами, которые упорядочивают отношения, Последние в свою очередь представляют свойства более мелких единиц, составляющих этот уровень. В более широком смысле справедливо поэтому утверждение, что структура социальных систем в общем *состоит* из институционализированных стандартов нормативной культуры. Конечно, далее важно

помнить о том, что эти стандарты должны рассматриваться на двух различных уровнях организации, которые мы называем уровнем единиц и уровнем стандартизованных отношений между этими единицами.

Вернемся теперь к парадигме стабильной системы, обсужденной выше. Это — процесс в системе, который может быть понят как процесс взаимообмена входов и выходов между единицами (подсистемами) в системе, с одной стороны, и между системой и ее окружением при посредстве своих единиц — с другой. Существует некоторый «поток» таких входов и выходов между всеми парами классов единиц независимо от того, является отношение внутренним или внешним. То, что я называю нормативным стандартом, управляющим отношением, можно рассматривать как регулятор этого потока. Для осуществления стабильного взаимообмена в движении входов и выходов, с одной стороны, должна быть сохранена известная гибкость, а с другой стороны — должны существовать определенные механизмы канализации этого процесса, сдерживающие его в определенных границах.

Классическим случаем является обмен «ценных» вещей, а именно товаров, услуг и денег, составляющий содержание рыночного процесса. Нормативными стандартами здесь являются институциональные стандарты, определяющие деньги, а также нормы контракта и аспекты собственности помимо денег представленные у Дюркгейма в известной фразе о недоговорных элементах контракта. Равновесие рыночной системы зависит от поддержания границ флуктуации уровня этих потоков в соответствии с рядом изначально данных условий. 'Стабильность *структуры* рыночной системы в этом смысле является, с другой стороны, результатом стабильности нормативной стандартной системы институтов.

Далее. Что же мы подразумеваем под устойчивостью институционального комплекса? Во-первых, конечно, стабильность самих нормативных стандартов. Один термин «норма», по-видимому, слишком узок, особенно если он приравнивается к термину «правило», так как он предполагает такой уровень простоты, который допускает описание в одном утверждении, а это заведомо неверно для случаев собственности или контракта. Во-вторых, стабильность предполагает минимальный уровень связанности действующих единиц определенными внутренними обязательствами, т.е. их предрасположенности к действию в соответствии с определенными ожиданиями, а не к уклонению или сопротивлению им и к применению соответствующих санкций, позитивных или негативных, к другим единицам в связи с их ожидаемым действием, уклонением или сопротивлением. В-третьих, институци-онализация предполагает принятие эмпирического и одинаково всеми понимаемого «определения ситуации» в смысле понимания того, чем *является* система отнесения [2] это определение ситуации может быть настолько идеологически искаженным, что всякое функционирование становится невозможным[3].

Наконец,; институционализация означает некоторый порядок интеграции частного нормативного комплекса в более общий комплекс, управляющий системой в целом на нормативном уровне. Так, доктрина «отдельных, но равных» оказалась плохо интегрированной с остальными частями американской системы конституционных прав, сформулированных на основе конституционного принципа «равного отношения ко всем». Можно сказать, что решение, принятое Верховным судом в 1954 году, было шагом к институциональной интеграции или, во всяком случае, это была важнейшая проблема, стоящая перед судом.

Эндогенные и экзогенные источники изменения

Понятие стабильного равновесия предполагает, что с помощью интегративных механизмов эндогенные изменения поддерживаются в определенных границах, соответствующих основным структурным характеристикам, а с помощью адаптивных механизмов в таких границах удерживаются флуктуации в отношениях между средой и системой.]Если мы посмотрим на стабильное равновесие с позиций принципа инерции, то объяснить изменение в этом стабильном состоянии можно, только представив себе достаточно мощные дезорганизующие силы, способные преодолеть стабилизирующие или уравновешивающие силы и механизмы. Как только мы обнаружим возмущающее действие, которое отвечает этим критериям, то следующая проблема, которая встает перед нами, состоит в том, чтобы проследить влияние этого возмущения на систему и определить те условия, в которых могут быть предсказаны или (ретроспективно) объяснены новые стабильные состояния.

Такие изменения в принципе могут быть как эндогенными, так и экзогенными, или теми и другими одновременно, но при решении проблемы важно помнить, что я имею дело с понятием «социальная система» в строго аналитическом смысле. Поэтому изменения, берущие начало в личностях членов социальной системы, поведенческих организмах, «лежащих в их основаниях», или культурных системах как таковых, должны классифицироваться как экзогенные, в то время как с точки зрения здравого смысла казалось бы, что к таким изменениям можно отнести только изменения в физической среде (включая другие организмы и существа) и, может быть, в области

«сверхъестественного».

Формальная парадигма для анализа общей системы действия, которую я употреблял вместе с другими авторами, подсказывает, что, во-первых, самые важные непосредственные каналы экзогенного влияния на социальную систему находятся в культурной и личностной системах и, во-вторых, что способы их влияния различны. Непосредственное влияние культурной системы прежде всего связано с аккумуляцией эмпирического знания, а следовательно, относится к проблематике социологии знания. Как бы это ни было важно, из-за ограниченности места я не буду здесь этого касаться, а рассмотрю лишь пограничный взаимообмен между социальной системой и личностью.

Существует двойная причина, по которой граница между социальной системой и личностью является особенно важной. В самом непосредственном виде этот взаимообмен связан с «мотивацией» индивида в аналитическо-психологическом смысле, а следовательно, с уровнем его «удовлетворенности» или — в негативном аспекте — фрустрации. Но *косвенно* наиболее интересный момент состоит в том, что самый важный структурный компонент социальной системы, называемый нами институционализированными ценностями, институционализирован через его интернализацию в личности индивида. В некотором смысле социальная система «втиснута» в пространство между культурным статусом ценностей и их значимостью для интеграции личности.

Проблема анализа независимой изменяемости культурных ценностей и личностей выходит за рамки этой статьи. Можно только предположить, что такая проблема, как харизматическая инновация, по крайней мере частично, попадает в эту рубрику. Однако, исходя из наличия относительной стабильности личности и культуры, мы можем предположить, что в личности типичного индивида есть нечто, что мы можем назвать интегрированным единством ценностных и мотивационных установок (commitments), рассматриваемое как стабильное, и что это единство в свою очередь может считаться *определяющим* фактором *ориентационного* компонента любой роли, т.е. совокупности экспектаций соответствующих классов индивидуальных деятелей. Это истинно как при анализе целого общества, так и **при** анализе его подсистем. Из этого вытекает, что для целей анализа конкретного процесса изменения институционализированные ценности должны рассматриваться как постоянные.

Я также исхожу из того, что структура нормативных стандартов, которая определяет отношение класса действующих единиц к объектам своей ситуации, также является изначально заданной, но в то же время эта структура является и первой независимой переменной. Поэтому проблема состоит в том, чтобы объяснить процессы изменения в этой нормативной структуре, в институтах. Таким образом, модальности объектов выступают как области зарождения изменения. Поэтому я буду постулировать изменения в отношении социальной системы к ее окружению, которое сначала выражается в изменении определения ситуации одним или несколькими классами действующих внутри единиц и которое затем начинает оказывать давление на нормативные институциональные стандарты в сторону их изменения. Этот описываемый мной тип давления связан с дифференциацией.

Модель дифференциации

Имея в виду эти предварительные замечания, попытаемся очертить в самых общих терминах основные этапы цикла дифференциации, а затем проанализировать выделение производственных коллективов из семейно-хозяйственных ячеек.

Мы можем начать с постулирования недостаточности вклада в область достижения цели социальной системы, преуспевающей процесс дифференциации. Примером такой системы и служит недифференцированная семья, которая одновременно выполняет и производственную функцию. С функциональной точки зрения можно сказать, что «фрустрация» ее способностей в достижении целей или исполнения связанных с ней экспектаций может концентрироваться на одном из двух важных для нее уровней: либо на уровне ее производства, либо на уровне эффективности в исполнении того, что позже станет функцией «резидуальной» семьи, а именно социализации и регуляции личностей-членов.

Во-вторых, это касается границы между семьей и другими подсистемами в обществе. Важными пограничными понятиями являются здесь понятия рынков труда и товара, а также понятие идеологического «обоснования» позиции данной единицы в обществе, которое может принимать или не принимать религиозную окраску. Но за всем этим также стоит проблема вклада личности в социальную систему на более общем уровне; в данном случае это, очевидно, будет носить особенно важный характер, потому что в семейных и профессиональных ролях для взрослой личности сосредоточены наиболее важные обязательства при исполнении социетальной функции.

В-третьих, имеет место некоторое равновесие между этими двумя компонентами фрустрации, а именно между фрустрацией в отношении средств и вознаграждений

(связанных с производственной функцией) и фрустрацией в связи с нормативными аспектами экспектационных систем (связанных с функцией социализации индивидов). Этот последний компонент является совершенно необходимым условием процесса, ведущего к дифференциации.

Сложность этих трех различий может показаться непреодолимой, хотя на самом деле трудности не столь уж велики. Третье различие наиболее важно, поскольку здесь речь идет о нормативном компоненте. Остальные два различия связаны с экзогенными и эндогенными источниками изменения в системе: личности в ролях в определенной социальной системе действуют «прямо» на систему, а не через свои взаимодействия с другими социальными системами.

Самый важный пункт состоит здесь в том, что *каковы бы ни были источники возмущения,* если оно касается подсистемы достижения цели социальной системы, то его результаты сначала сказываются в двух направлениях. Одно из них связано с функциональной'проблемой доступа к средствам, позволяющим выполнять первичные функции, а именно с проблемой того, какие средства доступны и при каких условиях они оказываются пригодными. Другое направление касается того вида интегра-тивной поддержки, которую получает данная единица внутри системы, в том смысле, в каком мы говорим, что кто-то «имеет мандат» для совершения какого-то дела. За всем этим на более высоком уровне контроля стоит «общая легитимизация» функционирования единиц. Поддержка в этом случае может быть определена как конкретизированная для каждой единицы или класса единиц легитимизации. Напротив, легитимизация относится больше к функциям, чем к оперативным правилам.

Эти три проблемы увязываются в иерархии контроля. Первой является проблема адаптации, и она должна быть решена прежде всего, если мы хотим, чтобы были созданы предпосылки для решения остальных. То, что подразумевается под «решением» на более низком уровне, при функционировании на более высоком уровне выполняет роль *условия.* Условие в таком понимании всегда представляет собой двойственное образование в том смысле, что для одного уровня оно выступает как ресурс (в кибернетическом смысле), а для другого как нормативно контролирующий «механизм», или стандарт.

Здесь следует ввести другое известное социологическое понятие, а именно «аскрипция». Аскрипция — это, по существу, сплав независимых функций в одной и той же структурной единице. С этой точки зрения дифференциация является процессом «освобождения» от аскриптивных явлений. В таком понимании это процесс достижения «свободы» от определенных ограничений. Но это также процесс включения в нормативный порядок, который может подчинить ставшие теперь независимыми единицы определенному типу нормативного контроля, совместимого с функциональными требованиями более широкой системы, частью которой они являются. Однако при дифференциации единица получает определенную степень свободы выбора и действия, что было невозможно раньше. Это верно всегда, какая бы из частей, получившихся в результате деления, ни рассматривалась нами.

Дополнительным .моментом этого освобождения от аскрептив-ной привязанности к предопределенному способу существования является свобода в предложении гораздо большего разнообразия услуг в обмен на доход. Иными словами, рабочая сила становится гораздо более дифференцированной и более широкий аспект специфических талантов может найти себе применение. Конечно, при этом возникает целый ряд новых условий, потому что более специализированные таланты часто требуют такого обучения и практики, которые не везде существуют.

С точки зрения домашнего производства эти два фактора могут рассматриваться как относительно «внешние». Мы можем сказать, что процесс дифференциации не может иметь места, пока не будет минимальной гарантии наличия этих условий. Гарантированность в свою очередь зависит от двух моментов, касающихся более разветвленных систем отношений, внутри которых протекает указанный процесс. Во-первых, это момент, связанный с природой рынка труда, на котором получающий заработок предлагает свои услуги, и со степенью, в которой он защищен от того, чтобы принимать невыгодные предложения. На современном рынке труда (если рассматривать его оперативный уровень) существует для этого по крайней мере три механизма. Это конкуренция между потенциальными нанимателями, меры самозащиты групп нанимающихся, например заключение трудового договора, и установление и охрана нормативного порядка «более высоким» авторитетом, .например государственными органами. Результатом регулирования условий с помощью любой комбинации этих механизмов является освобождение единицы от возможного давления со стороны какого-то одного источника существования, например зарплаты. При помощи таких средств, как денежные механизмы и кредит, нанимаемый получает выигрыш во времени и освобождается от давления момента даже в большей степени, чем собственник.

Давайте теперь обратимся ко второму вопросу: поддержке исполнения функции. В этом контексте занятие сельскохозяйственным трудом рассматривается скорее как

«способ жизни», а не «бизнес». Переход к специализированному наемному труду оправдывается более высоким уровнем эффективности такой организации, обеспечивая более высокий уровень жизни, но в то же время является и проблематичным, поскольку предполагает потерю «независимости» и утрату ощущения себя как самостоятельного хозяина. С другой стороны, возникает проблема потери семьей ее функций, состоящая в том, что дифференцировавшаяся семья больше не «совершает полезной работы», а превращается просто в потребительскую единицу; этот вопрос особенно часто встает в связи с якобы имеющим место перемещением роли женщины исключительно в сферу «досуга». Мы можем разобрать этот вопрос в терминах степеней свободы, стараясь при этом тщательно различать два уровня, упомянутые выше как поддержка и легитимизация.

Проблема, для решения которой я обращаюсь к контексту поддержки,' есть проблема позиции семьи в глазах местного «общественного мнения». Поддержка этой семьи зиждется на представлении о том, что приемлемый статус в общине связан с наличием «собственного дела», со всеми ассоциациями, возникающими по поводу понятия собственности, согласно которым человек, работающий по найму, принадлежит к гражданам второго сорта. Подобно тому как в контексте средств жизни, доступных для дифференцированных единиц, релевантной системой координат или «референтной группой» является рынок, как трудовой, так и потребительский, в контексте «поддержки» системой координат служит местная община, поскольку место жительства и место работы типичного взрослого находятся в ее пределах. В дифференцированном случае основная структура местной общины в Америке состоит из родственных собственнических единиц — прежде всего из фермерских семей, хотя тот же структурный принцип распространяется как на мелкий бизнес, так и на свободные профессии в небольших городах. В дифференцированном случае такими основными структурами выступают, с одной стороны, группы совместно проживающих родственников, а с другой стороны, нанимательские организации, предоставляющие работу.

Поскольку основные «цели» этих родственных единиц как таковых являются аскриптивными, а именно состоят в социализации детей и в регулировании личностных проблем своих членов,— то община в результате такой дифференциации приобретает все возрастающую свободу в виде новых уровней и новых возможностей в «производственных» достижениях, которые возможны на более высоком уровне организации и невозможны в пределах родственных единиц. Для получения всех необходимых ей благ типовая семья не нуждается более в обращении к другим единицам той же структуры, что раньше держало ее в рамках, накладываемых этой структурой, а члены общины могут обеспечивать функции общины как в семейной, так и в производственной сферах без того, чтобы находиться в аскриптивных связях относительно друг друга.

Однако это становится возможным только при наличии механизмов, регулирующих условия, которыми эти две категории функций связаны друг с другом. Частично это делается за счет рыночных отношений. Но сюда же относятся и другие вещи, такие, как обязательство по поддержанию совместных интересов общины как через налогообложение, так и через добровольные каналы. Здесь уже должны быть новые «правила игры», в соответствии с которыми оба ряда действующих единиц могут жить в одной общине без возникновения чрезмерных трений. Центр этих уравновешивающих институтов лежит в основном в сфере стратификации, возможно, прежде всего потому, что более крупные масштабы организации производственных единиц при дифференциации делают невозможным сохранение основы равенства семейных единиц, имевшего место внутри семейно-фермерской общины.

Это ведет к проблеме легитимизации, состоящей в обосновании или в критическом отношении с точки зрения институционализированных ценностей данной системы к основной структуре организации социально важных функций. Здесь проблема состоит в том, чтобы очистить формулу легитимизации от организационных частностей менее дифференцированной ситуации. Эти задачи явно принадлежат сфере идеологии. Для того чтобы дифференциация была легитимизирована, нужно сломать веру в то, что только «собственники» относятся к категории «ответственных граждан», или в то, что организации, не контролируемые родственными единицами, пользующимися в местной общине высоким престижем, обязательно преследуют «эгоистический интерес» и не приносят «общественной пользы». С другой стороны, необходимо внедрить в сознание, что семья с «утраченными функциями» может тем не менее оставаться «хорошей семьей».

Возможно, что наиболее важным в новой легитимизации является новая концепция адекватного, социально желаемого *человека,* особенно в его двух дифференцированных сферах действия и ответственности — в его профессиональной роли и в его семье. Ясно, что в таком случае возникают крайне важные проблемы изменения в роли женщины. Первая стадия этого изменения касается, вероятно, идеологической легитимизации более дифференцированной роли женщины, чем это было раньше, а

именно в обосновании того, что в семье, которая утратила производственные функции, женщина вправе целиком посвятить себя мужу и детям. Вторая фаза включает в себя различные формы участия в жизни общины и профессиональную деятельность женщины.

Вот те три контекста, в которых должно сказаться непосредственное воздействие движущих сил структурного изменения, если в результате происходит дифференциация первоначально слитной структуры. Для полноты следовало бы упомянуть другие, более косвенные, проблемные сферы. Одна из них — проблема содержания потребительских вкусов, связанная с изменением жизненного уровня и его отношения к профессиональному вкладу получателя дохода. Вторая проблема — отношение ценностей на различных уровнях конкретизации не только к непосредственным проблемам легитимизации различных классов структурных единиц в системе, но и к более общим нормам и стандартам, которые регулируют их отношения. Наконец, косвенно относящейся сюда проблемой является то, что Дюркгейм называл органической солидарностью. Я интерпретирую ее как нормативную регуляцию адаптивных процессов и механизмов. Как мне представляется, это и есть главное связующее звено между тем, что я назвал поддержкой, с одной стороны, и реалистической игрой «интересов» различных единиц — с другой.

Все это изложение весьма бегло касалось различных «функциональных» контекстов, в которых должна иметь место некоторая реорганизация, если процессу дифференциации в том виде, как он нами был определен, суждено завершиться и стабилизироваться в новой структуре. Существенным для такой точки зрения является то, что каждый из таких контекстов предлагает сложный баланс отношений входа — выхода так, что слишком большое нарушение равновесия в одном из направлений может привести к срыву дифференциации. Головоломная сложность нарисованной нами картины несколько упрощается, если учитывать иерархию контроля и, следовательно, тот факт, что твердое установление «надлежащих» стандартов на более высоких уровнях дает возможность осуществления контроля над довольно широким диапазоном изменений нижестоящего уровня.

Последствия дифференциации

В выводе мне хотелось бы попытаться суммировать некоторые из основных условий успешной дифференциации, которые также в каком-то смысле являются характеристиками ее исхода в определенных отношениях. Первое из условий является тем, что я называю фактором *благоприятной возможности.* Это такой аспект структуры ситуации, который самым непосредственным образом относится к процессу дифференциации как таковому. Протекание процесса, конечно, предполагает наличие фактора потребности или спроса, т. е. того источника возмущения, о котором упоминалось выше. Осуществление процесса дифференциации предполагает в свою очередь фактор руководства в смысле некоторой ответственности отдельного лица или группы не только за «рутинное» управление, но и за реорганизацию. Характерным примером здесь может служить фигура предпринимателя так, как она представляется в экономической науке.

Но для подлинной дифференциации должен существовать некоторый процесс, при помощи которого средства, ранее приписанные менее дифференцированным единицам, освобождаются от этой предписанности. Благодаря соответствующим адаптивным механизмам они становятся доступными для использования вновь возникающими классами единиц более высокого порядка. Примером таких средств для процесса, рассмотренного выше, могут служить трудовые услуги, освобожденные от предписанности к хозяйственно-семейной ячейке и ставшие доступными для нанимающих организаций при институциональной регуляции по правилам рыночной системы и институционализированных отношений контракта. Этому должна, разумеется, сопутствовать доступность для резидуальных домашних ячеек (лишенных собственного хозяйства) необходимых средств, полученных от реализации заработанных денег на рынке потребительских товаров. Следовательно, в структурных терминах фактор благоприятной возможности выглядит как возможность институ-ционализации взаимного доступа к средствам, в данном случае через рыночные механизмы.

Второе основное содержание структурной реорганизации относится к тому способу, при помощи которого два новых и различных класса единиц связываются друг с другом в более широкую систему, в первую очередь с точки зрения структуры коллектива. В случае с производящим домашним хозяйством речь идет, я полагаю, о перестройке местной общины. Последняя не может быть больше агрегатом родственных единиц, владеющих собственностью и дополняемых лишь несколькими структурами, связывающими ее с более широким обществом, а организуется вокруг взаимоотношений между ячейками «дома» и ячейками, «дающими работу». Это, конечно, влечет за собой кристаллизацию самых важных *дифференцированных* ролей в одном и том же индивиде. В первую очередь это касается типичного взрослого мужчины.

Все это может быть названо переструктурированием способов, при помощи которых отдельная единица — коллектив или роль — включается в более упорядоченные коллективные структуры в данном обществе. Поскольку любая первичная коллективная единица (или ролевая единица) является частью общества, вопрос о ее включении не может быть подвергнут сомнению; напротив, абсорбция иммигрантской родственной группы во враждебном обществе относится совершенно к другой проблеме, чем та, которая обсуждается. Главное здесь состоит в том, что коллективы должны быть переструктурированы на уровне непосредственно более высоком, чем уровень изначальной единицы, на котором происходит объединение как старой резидуальной единицы, так и новой во вновь созданную единицу более высокого порядка или создание новой категории таких единиц. Существо дела состоит в том, что должна быть установлена новая коллективная структура, внутри которой оба типа единиц выполняют существенные функции и во имя которой они обе могут пользоваться той «поддержкой», о которой говорилось раньше. Эта проблема с особой остротой встает при возникновении новых единиц или их классов.

Третий контекст, в котором в ходе процесса дифференциации должны быть реорганизованы нормативные компоненты структуры, состоит в том, что создаются обобщенные комплексы институционализированных норм, применимых не к одной структуре коллектива, а ко многим. Для крупномасштабных и высокодиф-ференцированных социальных систем примером является система юридических норм, но не только она. Стандарты исполнения или достижения, техническая адекватность и т. п. также включаются сюда.

В примерах, которыми мы пользовались для иллюстрации, особенно важными являются стандарты, на основе которых легитимизируются нанимающие коллективы. Здесь важно выделить две различные стадии, сменяющие собственническую ячейку, служившую для нас точкой отсчета, т. е. ту ячейку, в которой все производственные роли выполнялись членами семьи. На следующем этапе обычно появляется «семейная фирма», в которой все менеджерские и предпринимательские роли еще основаны на родственных связях, а роли «рабочих» уже нет. Такого рода организации еще распространены в «мелкособственническом» секторе американской экономики, а также и в некоторых других областях. Но на следующем этапе происходит полное высвобождение организации из уз родства. Самым важным юридическим результатом этого развития было появление идеи обобщенной корпорации и ее легитимизации во многих областях, главным образом, конечно, в сфере экономики.

На ролевом уровне можно привести пример того, как институционализируются стандарты компетентности в качестве определяющих условий найма в различных классах ролей. За этими стандартами в свою очередь стоят уровни образования. Эти стандарты, подобно юридическим нормам, не зависят от каких-либо партикуляристских ориентации нанимающих коллективов или родственных групп. Именно в данном смысле эти стандарты являются универсалистическими. Правила корпоративной организации определяют виды вещей, которые отдельные организованные группы могут производить, и виды ответственности, которую они несут за это; стандарты образования определяют формальные требования на право занятия различных видов должностей, а следовательно, как виды открытых для данного класса индивидов возможностей для занятия тех или иных постов, так и меры ограничения этих возможностей.

Выше было выдвинуто предположение, что процесс дифференциации в том значении, которое мы придаем этому термину, предполагает появление единицы, выполняющей функции более высокого порядка, если оценивать их с точки зрения системы, внутри которой эта единица действует, нежели функции прежней единицы, из которой она дифференцировалась. Если это так, то нормы, управляющие выполнением этой функции, включая отношения ее исполнителей к другим единицам в социальной структуре, должны быть более обобщенными, чем прежде. Именно это имеется в виду, когда мы говорим, что они становятся более универсалистическими; они определяют стандарты, которые не могут относиться только к прежним функциям более низкого порядка и к выполняющим их единицам. Этот универсалистиче-ский критерий связан с высвобождением ресурсов из системы жесткого предписания. Примером может служить компетентность как характеристика, необходимая для занятия роли, совершенно не связанной с родством. Таким образом, мы можем говорить о повышении и усложнении (upgrading) стандартов нормативного контроля в более дифференцированной системе по сравнению с менее дифференцированной.

Предыдущее изложение основывалось на определенной предпосылке, а именно, что ценностный стандарт системы, лежащий в ее основании, в ходе дифференциации остается неизменным. Однако отсюда не следует, что ценности не претерпевают никаких изменений. Одно из основных положений концептуальной схемы, использованной здесь, гласит, что в каждой социальной системе в качестве высшего уровня структуры существует система ценностей. Эти ценности заключают в себе определения, с точки зрения ее членов (если ценностная система институционализирована), желательности того

или иного типа системы на уровне, независимом от внутренней структурной дифференциации или частной ситуации. Эта «система» ценностей включает как свою характеристику в терминах стандартных переменных, так и элемент содержания, а именно определение того, с каким типом системы эти стандартные переменные соотносятся. В разбираемом нами случае имеются как ценности семьи, так и ценности нанимающих производственных ячеек. В терминах стандартных переменных они могут быть одинаковыми, т. е. включать в себя общий для всех американцев стандарт «инструментального активизма». Но когда эти ценности действуют в каждом из этих двух типов ячеек в отдельности, то они конкретизируются по отношению к каждому из типов функций, а не к их частностям.

Если мы говорим, что произошла дифференциация, то это значит, что ценности новой системы, включающей в себя как новые, так и резидуальные единицы, отличаются по содержанию от ценностей первоначальной единицы, хотя их характеристика в терминах стандартной переменной может оставаться неизменной. Эти новые ценности должны быть более обобщенными в том смысле, что они могут легитимизировать функции обеих дифференцированных единиц в единой формуле, которая позволяет каждой из них делать то, что она делает, и, что столь же существенно, не делать того, чем заняты другие. Трудность институционализации более обобщенных ценностей видна хотя бы из широкого распространения того, что мы называем романтическими идеологиями, бездоказательными утверждениями того, что «утрата функций» совершенно неизбежна для старой единицы после дифференциации и является свидетельством неудачи реализации системы ценностного стандарта. Например, новая зависимость домашнего хозяйства от заработка в системе найма часто интерпретируется как утрата чувства независимости существования. Это, конечно, идеология, но как таковая она свидетельствует о неполной институционализации переструктиро-ванных ценностей.

Отношение между ценностями более высокой социальной системы и ценностями дифференцированных подсистем может быть названо отношением *конкретизации* при низведении обобщенного стандарта более широкой системы на «уровень» подсистемы с учетом ограничений, накладываемых на последний функцией и стуацией. Так, предпринимательская фирма руководствуется ценностью «экономической рациональности», выражающейся в производительности и платежеспособности, и уделяет значительно меньше внимания более широкой системе ценностей, чем это делала недифференцированная производственно-семейная ячейка. Что касается семьи, то она в экономическом аспекте своего существования теперь следует ценности «потребления».

Все вышесказанное способно наметить всего лишь несколько ориентиров в этой весьма сложной и проблематичной сфере. В статье я касался только одного аспекта теории социального изменения. Я вынужден был ограничиться абстракциями, почти не обращаясь к эмпирическим правилам. Однако мне кажется, что вывод о принципиальной решаемости этих проблем в эмпирико-теоретических терминах был бы оправданным. Более того, в нашем распоряжении имеется достаточно разработанная концептуальная схема, которая, по крайней мере на уровне категоризации и постановки проблем, приближается к типу логически закрытой системы, что делает возможным *систематический* анализ взаимозависимостей. Мы можем определить основные диапазоны переменных, важных с точки зрения эмпирического анализа, и основные механизмы, при помощи которых эти изменения значений переменных отражаются в системе. Мы можем определить степень предполагаемых дефицитов и излишков на входах и выходах и в отдельных случаях весьма точно определить те пороговые значения, за пределами которых равновесие окажется расстроенным.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Эта терминология использована в статье «Ещё раз о стандартных переменных» (ASR. 1960. № 8).

[2] Это определение является нормативным для действующих единиц, но экзистенциальным для наблюдателей. Здесь деятель поставлен в положение наблюдателя своей собственной ситуации действия, т. е. рассматривается как потенциально «рациональный».

[3] Очевидно, наиболее серьезным источником конфликта в ООН являются идеологические различия между западными и коммунистическими странами в определении природы этой организации международного порядка, на страже которого она стоит. Коммунисты вешают ярлык «империализма» и «колониализма» на все, что так или иначе не входит в сферу контроля. Если это верно, то ООН не исполняет своих функций.

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

А. Шюц. Формирование понятия и теории в общественных науках[1]

Название моей статьи намеренно отсылает к названию симпозиума, происходившего в декабре 1952 года на ежегодном заседании Американской философской ассоциации. Эрнест Нагель и Карл Г. Гемпель способствовали чрезвычайному оживлению обсуждения сложной проблемы, сформулированной в точной и ясной форме, столь характерной для этих ученых. Предметом обсуждения является спор, более чем на полвека разделивший не только логиков и методологов, но также и обществоведов на две научные школы.

Одна из них считает, что методы естественных наук, которые повсюду привели к таким великолепным результатам, являются единственно научными методами, и они поэтому должны быть полностью применимы в исследовании человеческих проблем. Неспособность осуществить это на деле помешала обществоведам разработать объяснительную теорию, сопоставимую по точности с той, что была разработана естественными науками, и поставила под сомнение эмпирическую работу теорий, разработанных в специальных областях знания, таких, как, например, экономика.

Другая научная школа полагает, что существует фундаментальное различие в структуре социального мира и мира природы. Этот взгляд привел к другой крайности, а именно к выводу, что методы общественных наук tote coelo[1] отличны от методов естественных наук. В поддержку этой точки зрения был выдвинут ряд аргументов. Было отмечено, что общественные науки - идиографические, характеризуются индивидуализирующей концептуализацией; нацелены на единичные ассерторические утверждения, в то время как естественные науки - номотетические, характеризуются генерализирующей концептуацией и нацелены на общие аподиктические утверждения. Последние должны иметь дело с постоянными отношениями величин, которые могут быть измерены и подтверждены экспериментально, тогда как ни измерение, ни эксперимент не осуществимы в общественных науках. Вообще считается, что естественные науки должны иметь дело с материальными объектами и процессами, а общественные науки - с психологическими и интеллектуальными и, следовательно, метод первых заключается в объяснении, а метод последних - в понимании.

Большинство из этих чрезвычайно распространенных утверждений при более тщательном рассмотрении оказываются несостоятельными, и по нескольким причинам. Одни из сторонников приведенных выше аргументов имеют довольно ошибочное представление о методе естественных наук. Другие склонны отождествлять методологическую ситуацию общественных наук с методом общественных наук вообще. Исходя из того, что история должна иметь дело с уникальными и неповторяющимися событиями, они делали вывод, что все общественные науки ограничены единичными ассерторическими утверждениями. Так как эксперименты едва ли возможны в культурной антропологии, игнорировался тот факт, что в социальной психологии, хотя бы в некоторой степени, могут успешно использоваться лабораторные эксперименты. Наконец, и это самое главное, эти аргументы не принимают во внимание тот факт, что правила построения теорий в равной степени имеют силу для всех эмпирических наук, имеют ли они дело с объектами природы плис человеческими деяниями. И там и тут господствуют принципы обоснованного вывода и верификации, теоретические идеалы единства, простоты, универсальности и точности.

Такое неудовлетворительное состояние дел проистекает главным образом из того факта, что развитие современных общественных наук происходило в период, когда научная логика была связана в основном с логикой естественных наук. В ситуации, напоминающей монополистический империализм, методы последних часто объяснялись единственно научными, а специфические проблемы, с которыми сталкивались обществоведы в своей работе, игнорировались. Оставшись в своей борьбе против этого догматизма без помощи и опоры, исследователи человеческих проблем вынуждены были развивать свое собственное понимание того, какой, по их мнению, должна быть методология общественных наук. Они делали это, не имея достаточных философских знаний, и прекращали свои попытки, когда достигали уровня обобщения, который, казалось бы, оправдывал их глубоко прочувствованное убеждение в том, что цель их исследований не может быть достигнута путем заимствования методов естественных наук без их модификации. Нет сомнения в том, что их аргументы зачастую необоснованы, формулировки недостаточны, а многочисленные недоразумения затемняют полемику. Не то, что обществоведы говорили, а то, что они подразумевали, является поэтому главным предметом нашего дальнейшего рассмотрения.

---

[1] Абсолютно.- *Прим, перев.*

Поздние работы Феликса Кауфмана[2] и еще более поздние статьи Нагеля[3] и Гемпеля[4] подвергли критике многие ошибки в аргументах, выдвинутых обществоведами, и подготовили почву для нового подхода к проблеме. Здесь я сосредоточусь на критике профессором Нагелем выдвинутого Максом Вебером и его школой утверждения, что общественные науки стремятся "понять" социальный феномен в терминах "значащих" категорий человеческого опыта и что, следовательно, "причинно-функциональный" подход естественных наук непригоден в исследовании общества. Эта школа, какой ее видит доктор Нагель, утверждает, что все социальное, значимое человеческое поведение является выражением мотивированных психических состояний, .что вследствие этого обществовед не может быть удовлетворен наблюдением социальных процессов просто как последовательности "внешним образом связанных между собой" событий и что установление корреляций или даже универсальных связей в этой последовательности событий не может быть его конечной целью. Напротив, он должен конструировать "идеальные типы", или "модели мотиваций", - термины, в которых он стремится "понять" явное социальное поведение, относя побудительные причины поведения на счет включенных в него действующих лиц. Если я правильно понял критику профессора Нагеля, он утверждает следующее.

1. Эти побудительные причины недоступны чувственному восприятию. Это следует из того, что обществовед должен мысленно идентифицировать себя с участниками наблюдаемого действия и видеть ситуацию, с которой они столкнулись как действующие лица, так, как видят ее они сами. Однако несомненно, что нам вовсе не нужно испытывать психические переживания других людей для того, чтобы знать, что они у них есть, или предсказывать их явное поведение.
2. Ссылка на эмоции, установки и намерения в качестве объяснения явного поведения есть двойное допущение: предполагается, что участники некоторого социального процесса находятся в определенном психическом состоянии; предполагается определенная последовательность таких состояний, а также последовательность таких состояний и явного поведения. Тем не менее ни одно из психических состояний, которые мы представляем себе в качестве объектов нашего исследования, в действительности такими характеристиками обладать не может, и даже если бы эти наши ссылки на психические состояния были корректны. Ни одно из явных действий, которые якобы вытекают из этих состояний, не может показаться нам понятным или разумным.
3. Наше "понимание" природы и действия человеческих мотивов и их перехода в новое поведение не является более адекватным, чем наше понимание "внешних" причинных связей. Если через "значащие связи" мы утверждаем только, что отдельное действие есть частный случай модели поведения людей, проявляющегося в различных обстоятельствах, и что поскольку некоторые из соответствующих обстоятельств реализуются в данной ситуации, можно ожидать, что определенная форма этой модели проявится, когда не будет непреодолимой пропасти, отделяющей такие объяснения от тех, которые предполагают "внешнее" знание причинных связей. Получать знания о действиях людей на основании данных об их явном поведении так же возможно, как возможно обнаруживать и познавать атомный состав воды на основе данных о физическом и химическом поведении этого вещества. Поэтому неприятие "объективной", или "бихевиористской", общественной науки сторонниками точки зрения, согласно которой задачей общественных наук является обнаружение "значащих связей", лишено оснований.

Но я вынужден не согласиться с выводами Нагеля и Гемпеля по ряду вопросов фундаментального порядка. Я позволю себе начать с краткого изложения не менее важных вопросов, по которым я полностью с ними согласен. Я согласен с профессором Нагелем в том, что всякое эмпирическое знание предполагает процесс контролируемого вывода, что его результаты должны быть изложены в форме утверждения, проверить которое может всякий, кто готов сделать это посредством наблюдения[5], хотя я, в противоположность профессору Нагелю, не считаю, что это наблюдение должно быть чувственным наблюдением в строгом смысле этого слова. Более того, я согласен с ним, что в эмпирических науках под "теорией" понимается формулировка определенных отношений между рядом переменных величин в терминах, в которых может быть объяснен довольно обширный класс эмпирически установленных зависимостей[6]. Кроме того, я полностью согласен с его заявлением о том, что ни тот факт, что в общественных науках всеобщность этих зависимостей имеет довольно узко ограниченный характер, ни тот факт, что они позволяют делать предсказания лишь в довольно ограниченной степени, не составляют главного различия между общественными и естественными науками, так как многие отрасли последних проявляют те же самые свойства[7]. Как я попытаюсь показать в дальнейшем, мне кажется, что профессор Нагель не

---

[2] Особенно его Methodology of the Social Sciences.
[3] Ibid. P. 189-209. P. 210-230.
[4] Ibid. P. 210-230.
[5] Ibid. P. 202.
[6] Ibid. P. 192.
[7] Ibid. P. 206.

понимает постулата Макса Вебера о субъективной интерпретации. Как бы то ни было, он был прав, утверждая, что метод, требующий, чтобы ученый-наблюдатель отождествлял себя с исследуемым социальным агентом в целях понимания его мотивов, или метод, требующий отбора изучаемых фактов и их интерпретации в личной системе ценностей отдельного наблюдателя, приведут лишь к неконтролируемому частному и субъективному отражению человеческих действий в голове этого отдельного исследователя, но никогда не приведут к научной теории[8]. Но я не знаю ни одного представителя общественных наук крупного масштаба, который когда-либо защищал бы концепцию субъективности, подобную той, которую подвергает критике профессор Нагель. Наверняка, это не было позицией Макса Вебера.

Я считаю также, что осознать эту жизненно важную для обществоведов мысль нашим авторам помешала лежащая в основании их рассуждений философия сенсуалистического эмпиризма, или логического позитивизма, отождествляющая опыт с чувственным наблюдением и предполагающая, что единственной альтернативой контролируемому и, следовательно, объективному чувственному наблюдению является наблюдение субъективное и, следовательно, неконтролируемая и неверифицируемая интроспекция. Здесь не место возобновлять старый спор, связанный с неявными метафизическими допущениями этой лежащей в основании их рассуждений философии. С другой стороны, для того чтобы разъяснить свою собственную позицию, мне следовало бы подробно изложить некоторые принципы феноменологии. Вместо этого я намерен отстаивать несколько довольно простых положений.

1. Основная задача общественных наук - получать упорядоченное знание социальной реальности. Под термином “социальная реальность” я понимаю всю совокупность объектов и событий внутри социокультурного мира как опыта обыденного сознания людей, живующих своей повседневной жизнью среди себе подобных и связанных с ними разнообразными отношениями интеракции. Это мир культурных объектов, социальных институтов, в котором все мы родились, внутри которого мы должны найти себе точку опоры и с которым мы должны наладить взаимоотношения. С самого начала мы, действующие лица на социальной сцене, воспринимаем мир, в котором мы живем, - и мир природы, и мир культуры - не как субъективный, а как интерсубъективный мир, т.е. как мир, общий для всех нас, актуально данный или потенциально доступный каждому, а это влечет за собой интеркоммуникацию и язык.

2. Все формы натурализма и логического эмпиризма просто принимают на веру эту социальную реальность, которая, собственно, и является предметом изучения в общественных науках. Интерсубъективность, интеракция, интеркоммуникация и язык просто предполагаются как неявное основание этих теорий. Считается, что обществовед уже решил все свои фундаментальные проблемы до того, как начинается научное исследование. Как подчеркнул Дьюи с ясностью, достойной этого выдающегося философа, всякое исследование начинается и заканчивается внутри социально-культурной среды; разумеется, профессор Нагель полностью отдает себе отчет в том факте, что наука и ее саморегулирующийся процесс есть социальное предприятие[9]. Но требование описания и объяснения человеческого поведения в терминах контролируемого чувственного наблюдения резко останавливается перед описанием и объяснением процесса, посредством которого ученый В контролирует и верифицирует полученные путем наблюдения данные ученого А и сделанные им выводы. Для этого В должен знать, что наблюдал А, какова цель его исследования, почему он решил, что наблюдаемый факт заслуживает наблюдения, имеет отношение к научной проблеме, например, и т.п. Такое знание обычно называется пониманием. Объяснение того, как возможно такое взаимопонимание людей, остается задачей обществоведа. Но каким бы ни было его объяснение, ясно одно: такое интерсубъективное понимание между ученым В и ученым А проистекает не из наблюдения ученым В за явным поведением ученого А и не из интроспекции, проделанной ученым В, и не в результате отождествления В с А. Как показал Феликс Кауфман[10], на языке логического позитивизма это означает, что так называемые протокольные предложения о физическом мире имеют совершенно иное качество, чем протокольные предложения о психофическом мире.

3. Отождествление опыта, и опыта явных действий в частности, с чувственным наблюдением вообще (именно это и предлагает Нагель) исключает из возможного исследования целый ряд областей социальной реальности.

а) Даже идеально чистый бихевиоризм, как было отмечено, например, Джорджем Г. Мидом[11], может объяснить лишь поведение наблюдаемого, но не ведущего наблюдение бихевиориста.

б) Одно и то же явное поведение (например, какая-нибудь пышная процессия, запечатленная кинокамерой) может иметь совершенно различное значение для исполнителей. Едва ли ученого-обществоведа будут интересовать сами по себе военные действия, меновая торговля, прием

---

[8] Ibid. P. 201-203.

[9] Ibid. P. 199.

[10] Op. cit. P. 126.

[11] Mind, Self and Society.

дружественного посла или еще что-нибудь в этом роде.
в) Более того, понятие человеческого действия, как с точки зрения здравого смысла, так и с точки зрения общественных наук, включает в себя также и то, что может быть названо “негативным действием”, т.е. намеренное воздержание от действия[12], которое, конечно же, не поддается чувственному наблюдению. Так, например, непродажа определенного товара по определенной цене с экономической точки зрения, несомненно, является действием, так же как и продажа этого товара.
г) Далее, как показал У. И. Томас[13], социальная реальность содержит в себе элементы веры и убеждения, которые реальны, поскольку так их определяют участники, и которые ускользают от чувственного наблюдения. Для жителей Салема в XVII столетии колдовство было не обманом, а элементом их социальной реальности, и вследствие этого оно является предметом изучения для общественной науки.
д) Наконец, и это самое важное, требование чувственного наблюдения явного человеческого поведения берет в качестве модели отдельный и сравнительно небольшой сектор социального мира, т.е. те ситуации, в которых индивидуальное действие предстает перед наблюдателем, что называется, “лицом к лицу”. Но существует множество других областей социального мира, в которых ситуации подобного рода не превалируют. Если мы опускаем письмо в почтовый ящик, мы предполагаем, что анонимные люди, именуемые почтальонами, совершат ряд действий, известных нам и не наблюдаемых нами, так что адресат, быть может, тоже нам неизвестный, получит послание и прореагирует таким образом, что это тоже ускользнет от нашего чувственного наблюдения; результат же всего этого будет тот, что мы получим книгу, которую заказывали. Или если я читаю статью, в которой говорится, что Франция опасается перевооружения Германии, то я отлично понимаю, о чем речь, и для этого мне не нужно знать ни француза, ни немца, не говоря уже о наблюдении за их явным поведением.
В своей повседневной жизни люди имеют обыденное знание этих различных сфер социального мира, в котором они живут. Это знание не является лишь фрагментарным, хотя и ограничено преимущественно определенными участками этого мира, а также часто непоследовательно и представляет все степени ясности и отчетливости, начиная с глубокого понимания, или, в терминах Джемса, “знания о”, до “ознакомительного знания”, или, простой осведомленности, и кончая слепой верой в вещи, которые принимаются как само собой разумеющееся. Здесь имеются значительные различия между различными людьми и различными социальными группами. Но несмотря на все эти недостатки, обыденного знания повседневной жизни достаточно, чтобы наладить взаимоотношения с людьми, культурными объектами, социальными институтами, т.е. с социальной реальностью. Это так, потому что мир (и природный, и социальный) с самого начала является интерсубъективным и, как будет показано ниже, наше знание о нем так или иначе социализировано. Колее того, социальный мир с самого начала является миром значений. Другой человек воспринимается не как организм, а как такой же человек, а его явное поведение воспринимается не как событие в пространстве и времени внешнего мира, а как действия такого же человека, как и мы. Мы, как правило, “знаем”, что делает Другой, ради чего он это делает, почему он делает это именно в данное время и в данных конкретных обстоятельствах. Это означает, что мы воспринимаем действия другого человека с точки зрения мотивов и целей. И точно так же мы воспринимаем культурные объекты с точки зрения человеческого действия, результатом которого они являются. Инструмент, например, не воспринимается как вещь во внешнем мире, каковой, конечно же, он тоже является, а с точки зрения цели, ради которой он был изготовлен более или менее анонимными людьми и его возможного использования другими людьми.
Тот факт, что в обыденном мышлении мы принимаем на веру наши актуальные или потенциальные знания о значении человеческих действий и их результатов, является, я думаю, именно тем, что ученые-обществоведы хотят выразить, когда говорят о понимании, или Verstehen, как технике, имеющей дело с человеческими действиями. Verstehen - это не метод, используемый в общественных науках, а особая форма опыта, в которой обыденное сознание получает знание о социально-культурном мире. Оно не имеет ничего общего с интроспекцией; это результат процессов познания или окультуривания тем же путем, что и повседневный опыт так называемого природного мира. Более того, Verstehen - это, вне всяких сомнений, личное дело наблюдателя, который не может быть проконтролирован посредством опыта других наблюдателей. По крайней мере он поддается контролю лишь в той степени, в какой личные чувственные восприятия индивида поддаются контролю любого другого индивида в определенных условиях. Например, при слушании дела в суде присяжных, где обвиняемый показал “злой умысел” или “намерение” убить человека, т.е. мог знать о последствиях своего поступка, и т.д. Здесь мы имеем даже определенный “Устав судопроизводства”, заканчивающийся “процедурными правилами” в юридическом смысле и своего рода верификацией полученных данных, которые являются результатами Verstehen Апелляционного суда и т.д. Более того, прогнозы, основанные на Verstehen, пользуются большим

[12] Weber M. The Theory of Social and Economic Organization. P. 88.
[13] Thomas W. I. Social Behaviour and Personality. P. 81.

успехом в обыденном сознании. То, что должным образом проштампованное и адресованное письмо, опущенное в почтовом ящике в Нью-Йорке, будет получено адресатом в Чикаго, - нечто большее, чем просто счастливая случайность.
Тем не менее как защитники, так и критики Verstehen утверждают, и не без оснований, что Verstehen “субъективно”. К сожалению, однако, этот термин употребляется каждой из спорящих сторон в различном смысле. Критики понимания называют его субъективным потому, что, как они полагают, понимание мотивов действий другого человека зависит от личной, неконтролируемой и неверифицируемой интуиции наблюдателя или относится к его личной системе ценностей. А такие социологи, как Макс Вебер, называют Verstehen субъективным потому, что его целью является выяснение того, какое “значение” придает субъект своему действию, в противоположность тому значению, которое имеет его действие для его партнера или для нейтрального наблюдателя. Из этого вытекает знаменитый постулат Макса Вебера о субъективной интерпретации, о котором подробнее будет сказано ниже. Вся дискуссия страдает от неспособности провести четкое различие между Verstehen, как: 1) формой опыта обыденного познания человеческого поведения, 2) эпистемологической проблемой, 3) специфическим методом общественных наук.
До сих пор мы концентрировали свое внимание на Verstehen как на способе, с помощью которого обыденное сознание находит свое место в социальном мире и налаживает свои взаимоотношения с ним. В то время как эпистемологический вопрос стоит так: “Как возможно такое понимание, или Verstehen?” Используя изречение Канта, сделанное, правда, в другом контексте, скажу, что это “скандал в философии”, что до сих пор удовлетворительного решения проблемы нашего познания другого сознания и в связи с этим интерсубъективности нашего опытного исследования как природного, так и социально-культурного мира не было найдено и что на протяжении весьма длительного времени эта проблема вообще ускользала от внимания философов. Но решение этой очень трудной проблемы философской интерпретации связано как раз с тем, что в первую очередь принимается на веру в нашем обыденном сознании и практически решается без каких- либо затруднений в каждом из наших повседневных действий. А так как человек рожден матерью, а не выведен в пробирке, то опыт существования других людей и значение их действий, конечно же, являются первым и наиболее изначальным эмпирическим наблюдением.
С другой стороны, такие разные философы, как Джемс, Бергсон, Дьюи, Гуссерль и Уайтхед, согласны в том, что обыденное знание повседневной жизни является несомненной, но всегда сомнительной предпосылкой, в пределах которой начинается исследование и в пределах которой оно только и может быть доведено до конца. Именно этот Lebenswelt[14], как назвал его Гуссерль, является источником тех научных и даже логических понятий, это социальная среда, в рамках которой, согласно Дьюи, возникают непонятные ситуации, которые в процессе исследования должны быть трансформированы в обоснованные утверждения, а Уайтхед отметил, что цель науки- выработать теорию, которая согласовывалась бы с опытом путем объяснения идеальных объектов, конструируемых здравым смыслом, посредством мыслительных конструкций, или идеальных объектов науки. Все эти мыслители единодушны в том, что любое знание о мире, как в обыденном сознании, так и в науке, включает в себя мыслительные конструкции, синтез, обобщение, формализацию, идеализацию, специфичные для соответствующего уровня организации мысли. Например, понятие природы, с которым имеют дело естествоиспытатели, является, как показал Гуссерль, идеализированной абстракцией из Lebenswelt, абстракцией, которая, конечно же, с необходимостью включает в себя людей с их личной жизнью и все объекты культуры, которые возникают как таковые в практической человеческой деятельности. Однако именно этот слой Lebenswelt, от которого должны абстрагироваться естествоиспытатели, и есть социальная реальность, которую должны изучать общественные науки.
Такое понимание проливает свет на некоторые методологические проблемы, специфичные для общественных наук. Прежде всего из этого явствует: предположение о том, что строгое проведение принципов формирования понятия и теории, превалирующих в естественных науках, приведет к надежному знанию социальной реальности, внутренне противоречиво. Если теория и могла бы быть развита на таких принципах (т.е. в форме идеально чистого бихевиоризма, а это, конечно, возможно себе представить), то она ничего не сказала бы о социальной реальности как опыте повседневной жизни людей. Как говорит сам профессор Нагель, она была бы слишком абстрактной, и ее понятия, несомненно, имели бы весьма отдаленное отношение к очевидным и характерным особенностям любого общества. С другой стороны, теория, направленная на объяснение социальной реальности, должна развивать особые, незнакомые естественным наукам схемы для того, чтобы согласовываться с повседневной практикой социального мира. Это то, чем в действительности занимаются все науки о человеке - экономика, социология, юридические науки, лингвистика, культурная антропология и др.
Такое положение дел базируется на том факте, что в структуре идеальных объектов, или мыслительных конструкций, сформированных общественными науками, и идеальных объектов,

[14] Жизненный мир - *Прим. перев.*

сформированных естественными науками, имеется существенное различие. Именно естествоиспытатель и никто другой призван в соответствии с процедурными правилами своей науки определить сферу наблюдения, а также факты, данные и события, имеющие отношение к его проблеме или непосредственной исследовательской задаче. Причем эти факты и события не выбраны заранее, а сфера наблюдения не является заранее интерпретированной. Мир природы в том виде, как он исследуется естествоиспытателем, ничего не “значит” для молекул, атомов и электронов. Но сфера наблюдения обществоведа - социальная реальность - имеет специфическое значение и конкретную структуру для людей, живущих, действующих и думающих в ее пределах. Серией конструкций обыденного сознания они заранее выбирают и интерпретируют этот мир, который они воспринимают как реальность их повседневной жизни. Это и есть те идеальные объекты, которые определяют их поведение, мотивируя его. Идеальные объекты, сконструированные обществоведом для познания этой социальной реальности, должны извлекаться из идеальных объектов, сконструированных обыденным сознанием людей, живущих своей повседневной жизнью в своем социальном мире. Таким образом, теоретические конструкции естественных наук, если можно так выразиться, являются конструкциями второй степени, т.е. конструкциями конструкций, созданных действующими лицами на социальной сцене, чье поведение обществовед должен наблюдать и объяснять в соответствии с принципами своей науки. Таким образом, исследование основных принципов, в соответствии с которыми человек в повседневной жизни анализирует свой опыт и, в частности, опыт социального мира, является первостепенной задачей методологии общественных наук. Здесь не место останавливаться на процедурах феноменологического анализа так называемой естественной установки, посредством которой это может быть сделано. Мы вкратце упомянем лишь некоторые проблемы, имеющие отношение к этому вопросу.

Мир, как было показано Гуссерлем, с самого начала воспринимается как форма повседневности, в донаучном мышлении повседневной жизни он воспринимается в форме типичности. Уникальные объекты и события, данные нам в уникальном аспекте, являются уникальными в пределах горизонта типичной осведомленности, или предварительного знакомства. Существуют горы, деревья, животные, собаки, в частности ирландские сеттеры, и среди них мой ирландский сеттер Ровер. Я могу рассматривать Ровера как уникального индивида, моего незаменимого друга и товарища, или же как типичный случай “ирландского сеттера”, “собаки”, “млекопитающего”, “животного”, “организма” или “объекта внешнего мира”. Исходя из этого можно показать, что свойства и качества данного объекта или явления - будь то индивидуально-уникальное или типичное явление - зависят от моего актуального интереса и системы сложно переплетенных уместностей, от моей практической или теоретической “насущной проблемы”. Эта “насущная проблема” в свою очередь возникает из обстоятельств, с которыми я сталкиваюсь ежеминутно, в каждый момент моей повседневной жизни и которые я решил назвать моей биографически определенной ситуацией. Таким образом, типизация зависит от моей “насущной проблемы”, для определения и решения которой этот тип был образован. Далее можно показать, что по крайней мере один аспект биографически и ситуационно определенных систем интересов и уместностей субъективно переживается в обыденном сознании повседневной жизни как система мотивов действия, выбора, который надо сделать, намерений, которые надо осуществить, целей, которые должны быть достигнуты. Именно это понимание действующим лицом зависимости мотивов и целей его действий от его биографически определенной ситуации имеет в виду обществовед, когда говорит о субъективном значении, которое действующее лицо приписывает своему действию или с которым оно его связывает. Это означает, что, строго говоря, действующий человек, и только он один, знает, что он делает, почему он это делает, а также где и когда его действие начинается и заканчивается. Но мир повседневной жизни с самого начала является также и социально-культурным миром, где я связан многочисленными связями с другими людьми, которые либо близко знакомы мне, либо вовсе со мной незнакомы. В определенной степени, достаточной для многих практических целей, я понимаю их поведение, если понимаю их мотивы, цели, предпочтения и планы, возникающие в их биографически определенных ситуациях. Однако только в особых ситуациях, и к тому же лишь частично, могу я воспринять мотивы других людей, их цели и т.д., короче, те субъективные значения, которые они придают своим действиям в их уникальности. Я могу, однако, воспринять их в их типичности. Для этого я конструирую модели типичных мотивов и целей действующих лиц, даже их личных позиций, частным случаем которых как раз и является их актуальный поступок. Эти типические модели поведения других людей становятся в свою очередь мотивами моих собственных действий, и это ведет к феномену самотипизации, хорошо известному обществоведам под всевозможными наименованиями.

Здесь я показываю происхождение в обыденном сознании повседневной жизни так называемых конструктивных, или идеальных типов, понятие, которое в качестве инструмента общественных наук было проанализировано профессором Гемпелем в такой отчетливой форме. Но по крайней мере на уровне здравого смысла конструирование этих типов не включает в себя ни интуицию, ни теорию, если мы понимаем эти термины в значении гемпелевской формулировки. Как мы увидим,

существуют также и другие виды идеальных, или конструктивных, типов, образованные обществоведами, которые имеют совершенно другую структуру и действительно включают в себя теорию. Но Гемпель не провел различия между этими двумя разновидностями идеальных типов. Далее, мы вынуждены утверждать, что обыденное знание повседневной жизни с самого начала социализировано во многих отношениях.

Во-первых, оно структурно социализировано, так как основано на фундаментальной идеализации, что если я поменяюсь местами с другим человеком, то буду воспринимать ту же самую часть мира, по существу, в той же перспективе, что и он; наши специфические биографические обстоятельства становятся для всех практических целей иррелевантными.

Во-вторых, оно генетически социализировано, потому что большая часть нашего знания (как его содержание, так и особые формы типизации, в которые оно организовано) имеет социальное происхождение и дана в социально санкционированных терминах.

В-третьих, оно социализировано в смысле социальной классификации знания. Каждый индивид, познающий только часть мира, и общее знание той же самой части мира различаются по степени ясности, отчетливости, осведомленности или просто веры.

Эти принципы социализации обыденного знания, и в частности социальной классификации знания, объясняют по крайней мере частично, что обществовед имеет в виду, говоря о структурно-функциональном подходе к изучению человеческого поведения. Концепция функционализма - по крайней мере в современных общественных науках - происходит не из биологической теории функционирования организма, как считает Нагель. Она относится к социально классифицированным конструкциям моделей типичных мотивов, целей, личностных позиций, которые инвариантны и, следовательно, интерпретируются как функции структуры самой социальной системы. Большинство этих взаимосвязанных моделей поведения стандартизированы и институционализированы, т.е. их типичность социально оправдана законом, фольклором, правами и обычаями, и большинство из них используется в обыденном и научном мышлении в качестве схем интерпретации человеческого поведения.

Вот очень приблизительный очерк некоторых главных особенностей конструкций, включенных в повседневный опыт обыденного сознания интерсубъективного мира, который называется Verstehen. Как было сказано выше, они представляют собой конструкции первого уровня, на которых должны надстраиваться конструкции второго уровня, конструкции общественных наук. Но здесь-то и возникает главная проблема. С одной стороны, как было показано, конструкции первого уровня, конструкции здравого смысла, относятся к субъективным элементам, т.е. Verstehen действий действующего лица с его точки зрения. Следовательно, если общественные науки действительно направлены на объяснение социальной реальности, то научные конструкции второго уровня также должны включать в себя ссылку на субъективное значащее действие, т.е. на значение, которое действие имеет для действующего. Я думаю, это и есть то, что Макс Вебер подразумевал под своим знаменитым постулатом о субъективной интерпретации, которая до сих пор действительно наблюдалась в теоретической конструкции всех общественных наук. Постулат о субъективной интерпретации должен быть понят в том смысле, что все научные объяснения социального мира могут и в определенном смысле должны ссылаться на субъективное значение действий людей, из которых берет начало социальная реальность.

С другой стороны, я соглашался с утверждением профессора Нагеля, что общественные науки, как и все эмпирические науки, должны быть объективными в том смысле, что их утверждения подлежат контролируемой верификации, и не должны ссылаться на личный неконтролируемый опыт.

Как возможно примирить эти противоречивые на первый взгляд принципы? Действительно, самый серьезный вопрос, на который методология общественных наук должна дать ответ, состоит в следующем: как возможно сформировать объективные понятия и объективно верифицируемую теорию субъективно значащих структур? Основной тезис, что понятия, формируемые общественной наукой, являются конструкциями конструкций, образованных в обыденном сознании действующих на социальной сцене людей, имеет свое объяснение. Научные конструкции второго уровня, построенные в соответствии с процедурными правилами, действительными для всех эмпирических наук, являются объективными, идеально-типическими конструкциями и как таковые - конструкциями другого рода по сравнению с конструкциями первого уровня - конструкциями обыденного сознания, над которыми они должны надстраиваться. Эти теоретические системы содержат в себе общие гипотезы, которые могут быть подвержены испытанию в смысле определения профессора Гемпеля. Эта схема использовалась обществоведами, имеющими дело с теорией, задолго до того, как это понятие было сформулировано Максом Вебером и развито его школой.

Прежде чем описать некоторые характерные черты этих научных конструкций, рассмотрим вкратце особое отношение обществоведа-теоретика к социальному миру в противоположность действующему лицу на социальной сцене. Ученый-теоретик - как ученый, а не как человек (которым он, конечно же, тоже является) - не включен в наблюдаемую ситуацию, которая представляет для него не столько практический, сколько познавательный интерес. Система

уместностей, определяющих обыденную интерпретацию в повседневной жизни, возникает в биографической ситуации наблюдателя. Решив стать ученым, обществовед заменил свою личную биографическую ситуацию тем, что вслед за Феликсом Кауфманом я назову научной ситуацией. Проблемы, которые перед ним стоят, не должны иметь никакого значения для человека в мире и наоборот. Любая научная проблема определена фактически существующим положением дел в соответствующей науке, и ее решение должно быть достигнуто в соответствии с процедурными правилами этой науки, которые, помимо всего прочего, гарантируют контроль и верификацию выдвинутого решения. Научная проблема, будучи поставленной однажды, одна определяет, что для ученого будет уместно и какую понятийную структуру ему следует использовать. Это и ничто иное, как мне кажется, имел в виду Макс Вебер, когда постулировал объективность социальных наук, их независимость от ценностных моделей, которые определяют или должны определять поведение действующих лиц на социальной сцене.

Как поступает обществовед? Он наблюдает определенные факты и события социальной реальности, относящиеся к человеческому поведению, и конструирует типические модели поведения или образа действий, которые он наблюдал. Вслед за этим он упорядочивает эти типические модели поведения некого идеального действующего лица (или действующих лиц), которые, как он себе представляет, наделены сознанием. Однако это сознание ограничено таким образом, что не содержит в себе ничего, кроме элементов, относящихся к представлению моделей наблюдаемого образа действий. Таким образом, он приписывает этому воображаемому сознанию ряд типичных идей, намерений, целей, которые принимаются инвариантными в предполагаемом сознании воображаемой модели поведения. Этот гомункулус, или марионетка, взаимосвязан в предполагаемых моделях интеракции с другими гомункулусами, или марионетками, сконструированными подобным же образом. Среди этих гомункулусов, которыми обществовед заселяет свою модель социального мира повседневной жизни, мотивы, цели, роли - вообще, системы зависимостей - распределены так же, как научные проблемы, требующие проверки. Однако, и это самое важное, эти конструкции, вне всяких сомнений, не являются произвольными. Они требуют логической последовательности и адекватности. Последнее означает, что каждое понятие в подобной научной модели человеческого действия должно быть сконструировано таким образом, что человеческое действие, осуществленное в реальном мире индивидуальным действующим лицом и обозначенное типической конструкцией, было бы понятно как самому действующему лицу, так и другому человеку в терминах обыденного сознания повседневной жизни. Выполнение требования логической последовательности гарантирует объективную действительность идеальных объектов, сконструированных обществоведом, выполнение требования адекватности гарантирует их совместимость с конструкциями повседневной жизни.

Далее, обстоятельства, при которых работает такая модель, могут меняться, т.е. как изменившаяся может восприниматься ситуация, с которой марионетки должны встретиться, но не набор мотивов и целей, составляющих единственное содержание их сознания. Я могу, например, сконструировать модель производителя, действующего в условиях свободной конкуренции, и модель производителя, действующего при картельных ограничениях, а потом сравнить выпуск одного и того же товара одной и той же фирмой в двух моделях[15]. Таким образом, возможно предсказать, как такая марионетка или система марионеток поведет себя в определенных обстоятельствах, и обнаружить определенные “детерминированные отношения между рядом переменных, в терминах которых ... эмпирически установленные регулярности могут быть объяснены”. Однако это и есть определение теории, которое дает профессор Нагель. Легко заметить, что каждый шаг в конструировании и использовании научных моделей может быть верифицирован путем эмпирического наблюдения при условии, что мы не ограничиваем это понятие чувственным восприятием объектов и явлений внешнего мира, а включаем в него опытную форму, посредством которой обыденное сознание в повседневной жизни понимает человеческие действия и их результаты с точки зрения основных мотивов и целей.

В заключение можно сделать два кратких замечания.

Во-первых, ключевым понятием базисной философской позиции натурализма является так называемый принцип непрерывности, хотя остается под вопросом, означает ли этот принцип непрерывность существования, или анализа, или умственного критерия проверки, при котором работают модели. Мне кажется, что этот принцип непрерывности в любой из этих различных интерпретаций соответствует охарактеризованной схеме общественных наук, которая устанавливает непрерывность даже между практикой повседневной жизни и концептуализацией общественных наук.

Во-вторых, несколько слов о проблеме методологического единства эмпирических наук. Мне кажется, что обществовед может согласиться с утверждением, что принцип различия между общественными и естественными науками не следует искать в различной логической закономерности, управляющей каждой из этих отраслей знания. Но это не означает признания того,

---

[15] Machlur F. The Economics of Seller's Competition. P. 9f.

что общественные науки должны отказаться от специфических схем, которые они используют для изучения социальной реальности, ради идеального единства методов, на котором основано совершенно недопустимое, утверждение, что только методы, используемые естественными науками, и в частности физикой, являются единственно научными. Насколько мне известно, представителями движения за “единство науки” до сих пор не было сделано ни одной серьезной попытки решить или хотя бы поставить вопрос о том, не являются ли методологические проблемы естественных наук в их сегодняшнем состоянии лишь частным случаем более общей, до сих пор не изученной проблемы, как вообще возможно научное знание и каковы его логические и методологические предпосылки. Лично я убежден, что феноменологическая философия подготовила почву для такого исследования. Его результат покажет, что специфические методологические схемы, созданные обществоведами для более глубокого познания социальной реальности, являются более подходящими для открытия общих принципов, присущих всему человеческому знанию, чем аналогичные схемы, разработанные в рамках естественных наук.

ПРЕДИСЛОВИЕ **1**

БИХЕВИОРИЗМ. ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБМЕНА **3**

П. М. Блау. РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ И ИХ ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ[1] 3
Краткий обзор сборника *4*
Эмерджентные свойства *8*
Различия в концепции социальной структуры *12*
Б. Ф. Скиннер. ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ 16
Дж. К- Хоманс ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ 24
Область интересов функционализма *25*
Природа теории *26*
Функциональные теории *27*
Альтернативная теория *28*
Объяснение социального изменения *30*
Заключение *32*

ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ **33**

Ф. Знанецкий ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОЦИОЛОГИИ 33
Социология как теория «обществ» или «сообществ» *33*
Социология как общая теория культурных явлений *36*
Теория социальных действий *37*
Теория социальных отношений *38*
Теория социальных персонажей *38*
Теория социальных групп *39*
Общая дефиниция социальных систем *40*
Р. Макайвер РЕАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 41
Ложные следы. Скептицизм в отношении социальной эволюции *41*
Проблема начал *42*
Когда и как началось государство? *42*
Возникновение (emergence), а не начало *43*
Какие виды социальных феноменов имеют определенные начала и окончания? *44*
Первобытное общество как функционально недифференцированное *45*
Роль диффузии в социальной эволюции *46*
Антиэволюционные влияния *47*
Главное направление социальной эволюции *47*
Каким образом эволюционный ключ помогает нам понимать общество *48*

НЕОМАРКСИЗМ. РАДИКАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ **50**

Н. Бирнбаум. Кризис в марксистской социологии 50
Теория общественных классов *53*
Теория государства *56*
Анализ культуры *58*
Марксистская антропология *60*
Методологические проблемы *62*
Г. Маркузе. Одномерный человек 65

[1] *Публикуемый "текст представляет собой предисловие, часть первой главы и*

заключение кн. M a r e u s e H. Der eindimensionale Mensch. Berlin. 1967. P. 11—38, 258—268. Перевод А. Букова. ... *65*
Паралич критики: общество без оппозиции ... *65*
Одномерное общество Новые формы контроля ... *68*
Заключение ... *75*
Ч. Миллс. Высокая теория* ... 79

ТЕОРИИ СИМВОЛИЧЕСКОГО ИНТЕРАКЦИОНИЗМА ... 89

Г. Блумер. КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ... 90
Сфера коллективного поведения ... *90*
Элементарное коллективное поведение. Круговая реакция и социальное беспокойство. Природа круговой реакции ... *91*
Механизмы элементарного коллективного поведения ... *93*
Элементарные коллективные группирования ... 95
Экспрессивная толпа ... *97*
Масса ... 98
Общественность ... *100*
Общественное мнение ... *101*
Пропаганда ... *103*
Общественность, толпа и масса ... 104
Социальные движения ... 105
Общие социальные движения ... 105
Специфические социальные движения ... 106
Экспрессивные движения ... *112*
Возрожденческие и националистические движения ... *115*
Выводы относительно коллективного поведения ... *115*
Дж. Мид. От жеста к символу ... 116
Мышление ... 117
Смысл ... 120
Дж. Мид. Интернализованные другие и самость ... 121
Предпосылки генезиса самости ... *121*
Дж. Мид. Азия ... 122
Дж. Мид. Психология лунитивного правосудия ... 128
Дж. Морено. Социометрия [1] ... 140
Социометрия и другие социальные науки (1937) ... *141*
Изучение структуры человеческого общества ... *141*
Типы социометрических процедур ... *142*
Оформление и изучение социометрических данных ... *143*
Концепции и открытия ... *144*
Стратегическая роль социометрии среди других социальных наук ... *145*
Степень социометрического сознания ... *146*
Три измерения общества: внешнее общество, социометрическая матрица и социальная реальность (1949) ... *148*
Дополнительные замечания о разнице между критериями диагностическим и действия ... *152*
Социометрические тезисы ... *157*

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ... 159

Ф. Гиддингс. Основания социологии. ... 159
ИДЕЯ СОЦИОЛОГИИ[1] ... *159*
Социальные законы и причины ... *166*
Природа и цель общества ... *171*
Ч. Кули. СОЦИАЛЬНАЯ САМОСТЬ[1] ... 172
Ч. Кули. ПЕРВИЧНЫЕ ГРУППЫ[1] ... 179
У. Томас, Ф. Знанецкий ... 182
Методологические заметки ... *182*

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ИНТЕГРАЦИОНИЗМ ... 195

П. А. Сорокин. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА И ЭВОЛЮЦИОНИЗМ ... 195

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ... 207

Р. К. Мертон. Явные и латентные функции[1] ... 207
Терминологическая путаница в функциональном анализе ... *207*

Один термин, различные понятия.....*207*
Одно понятие, различные термины.....*209*
Основные постулаты функционального анализа.....*211*
Постулат функционального единства общества.....*211*
Постулат универсального функционализма.....*214*
Постулат необходимости.....*216*
Функциональный анализ как идеология. Консервативность функционального анализа.....*218*
Радикальность функционального анализа.....*219*
Идеология и функциональный анализ религии.....*222*
Логика процедуры. Распространенность функциональной ориентации.....*224*
Парадигма для функционального анализа в социологии.....*225*
1. Явление (явления), которому приписываются функции.....226
2. Понятия субъективных предпосылок (мотивы, цели).....226
3. Понятия объективных (функции, дисфункции) последствий.....226
4. Понятия социальной обслуживаемой функцией единицы.....227
5. Понятие функциональных требований (потребности, предпосылки существования).....227
6. Понятие механизмов, через которые выполняются функции.....227
7. Понятие функциональных альтернатив (функциональных эквивалентов или заменителей).....227
8. Понятия структурного контекста (или ограничивающего влияния структуры).....227
9. Понятие динамики и изменения.....228
10. Проблемы, связанные с установлением достоверности положений функционального анализа.....228
11. Проблемы идеологического функционального анализа знания.....228
Цель парадигмы.....*229*
На что должно быть обращено внимание при функциональном анализе.....*229*
Явные и латентные функции.....*233*
Эвристические цели этого разграничения.....*235*
Стандарт демонстративного потребления.....*238*
Некоторые функции политической машины.....*239*
Заключительные замечания.....*246*
Т. Парсонс. СИСТЕМА КООРДИНАТ ДЕЙСТВИЯ И ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ ДЕЙСТВИЯ: КУЛЬТУРА, ЛИЧНОСТЬ И МЕСТО СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ.....246
Т. Парсонс. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ.....254
Эндогенные и экзогенные источники изменения.....*256*
Модель дифференциации.....*257*
Последствия дифференциации.....*260*
ПРИМЕЧАНИЯ.....*262*
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ.....263
А. Шюц. Формирование понятия и теории в общественных науках.....263